



КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ



Литературный ежегодник

Орган творческого объединения писателей Коломны

ИЗДАЁТСЯ КОМИТЕТОМ ПО КУЛЬТУРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОЛОМНА

ВЫХОДИТ С 1997 ГОДА

2015

ВЫПУСК
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАГЛАВНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ

УСАДЬБА ЛАЖЕЧНИКОВА6

ПЕРВАЯ КОЛОНКА

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОЛОМНУ7

ПРОЗА

ВАЛЕРИЙ КОРОЛЁВ

УГОРЬЕВСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ. Повесть ...23

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ

МЕТАНИЯ ДУШИ. Отрывок из романа59

ЕВГЕНИЙ ШИШКИН

Я СВОБОДЕН. Рассказ81

ПОЭЗИЯ

ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ РУССКИЕ СНЫ. Рассказ	95
ИГОРЬ АЗЕРИН СЫН. Рассказ	107
СЕРГЕЙ КАЛАБУХИН ПОСМЕРТНЫЙ РАБ. Фантастический рассказ	113
АЛЕКСЕЙ КУРГАНОВ ДВА РАССКАЗА	129
ЕВГЕНИЙ ЮШИН СОЛОВЬИНЫЙ РОДНИК. Стихи	147
ВАЛЕНТИН СУХОВСКИЙ УСТОИ. Стихи	157
ИРИНА КОТЕЛЬНИКОВА ЛЮБИТЕ НАС, ПОКА МЫ НА ЗЕМЛЕ... Стихи	167
ВЕРА КУЗЬМИНА ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА ДЕТСТВА. Стихи ...	175
РОМАН СЛАВАЦКИЙ СЕРЕБРО. Стихи	181
МИХАИЛ МЕЩЕРЯКОВ ЗАБЫТЫЙ ВКУС. Стихи	191
КАРИНА СЕЙДАМЕТОВА СЛОВО РУССКОЕ, ВЕСКОЕ, ГРОЗНОЕ. Стихи	195

ТЕАТР

МИР ЛАЖЕЧНИКОВА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОХОД

БЫЛА ВОЙНА...

КСЕНИЯ НАГАЙЦЕВА

ИЩУ ТЕБЯ, БРОСАЮ ЯКОРЯ... Стихи 201

АННА ЛЕКСИНА

ДОЖДЬ ДЛЯ НАС. Стихи 209

НАДЕЖДА КОНДАКОВА

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ
МАРИНЫ (МНИШЕК). Пьеса 217

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ПЕРВЫЙ РОМАН
«РУССКОГО ВАЛЬТЕР СКОТТА» 269

КОНСТАНТИН ЗАЛЕСНОВ

КУПЕЦ И ЦАРЬ 293

ИВАН ЛАЖЕЧНИКОВ

ПОХОДНЫЕ ЗАПИСКИ РУССКОГО
ОФИЦЕРА. (Послесловие Владимира
Викторовича) 325

ЕВГЕНИЙ ЛОМАКО

ДНЕВНИК ЛАРИСЫ ГОРЯЧЕВОЙ 375

ГАЛИНА ГОРЧАКОВА

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ 393

ЕКАТЕРИНА АБРАМОВСКАЯ

ВОЕННЫЕ СТРОФЫ. Стихи..... 411

РОДИМАЯ СТОРОНА

АЛЕКСАНДР СУСЛОВ
ЗЕМСКИЙ ВРАЧ 431

ЛИЛИЯ СОЗА
КОЛОМЕНСКИЕ ТРАКТИРЫ 453

АЛЕКСАНДР САХАРОВ
КРЫМСКИЕ СТРАНИЦЫ
«КОЛОМЕНСКОГО ТЕКСТА» 465

АНАТОЛИЙ КУЗОВКИН
КОЛОМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ 479



Фото Юрия Имханицкого. Усадьба Лажечникова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ХРАНИТЕЛЬ ГРАДА



*Коломны Град — загадочный, старинный,
Разбитый кремль, разрушенный уезд...
Он принял эти древние руины
И поднял на плечах, как будто крест!*

*Раскрыты в красках лики дорогие,
Преобразились дух и вещество!
Душа Коломны, словно панagia,
Скрывается на сердце у него.*

*И снова он вершит свою молитву,
И Город просыпается, омытый
Потоками святой живой воды.*

*И нынче мы Творца смиренно просим
Благословить: и восемьдесят вёсен,
И все его несчётные труды!*

Роман Славацкий

Правящему архиерею Московской епархии, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, исполняется 80 лет. Наверное, не найдёшь в церковной истории Коломны человека, который бы столько сделал для духовного возвышения города.

Когда в 1989 году Владыка поставил цель превращения Коломны в настоящий кафедральный град — церковную столицу Московии, скептики и маловеры лишь недоумённо пожимали плечами. А сегодня Коломенская кафедра поражает красотой возрождённых святынь! И ключом к этому чуду стали сердце Владыки, его мудрость, его дар находить добрых, умных и неравнодушных людей — соратников на ниве возрождения Святой Руси.

Дорогой Владыка! Пусть Всещедрый Господь подаст Вам сил для новых благодатных трудов на многая и благая лета, бесконечно любимый и родной для нас человек!

ЗАГЛАВНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Виктор Мельников

УСАДЬБА ЛАЖЕЧНИКОВА

Вскрикнул трамвай по-птичьи и от зимы умчался.
Белой Коломной бродит сонная тишина.
Медленный снег ложится в тихие такты вальса.
Жаль, что музыка эта нам уже не слышна...

Точно кино немое, шорохом, в стиле ретро, —
Как на экране ветхом — Старого града вид.
Белую пряжей крыши кроют витые ветры.
Словно седой дворецкий, век на тебя глядит.

Мчат экипажи... Кони! Это, похоже, свадьба:
Розы на шали свахи жарким горят огнём.
Сани летят сквозь вечность... Обок лежит Усадьба.
Где же её хозяин? — Гости грустят о нём.

Двигутся в окнах тени. Светится дом приветно.
Печи, ковры, шандалы — всё как при нём почти.
С лаской глядит писатель, точно сойдя с портрета,
Словно бы привечая тех, кто его почитит.

Пышный покой разбужен звонкими голосами.
Святочный бал и маски — праздника пёстрый лёт.
Видится плен Парижа, и боевое знамя,
И Ледяного дома призрачный обиход...

Кружится над фарфором дух травяного чая,
Старых часов настенных здесь остановлен бег...
...А за окном кружится, века не замечая,
В звуках старинных вальса медленный белый снег.

Первая колонка

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОЛОМНУ

Один из героев Грибоедова полагал — «На всех московских есть особый отпечаток». «Он ярославец», — исчерпывающе определял Некрасова Достоевский. Орловский отпечаток есть у Лескова, нижегородский — у Горького... Не столь очевидно и выпукло «местничество» Пушкина, Тургенева, Гончарова, но оно есть и у них. Что же касается И. И. Лажечникова, то до конца своих дней он остался коломенцем, хотя после 1812 года подолгу в родном городе не жил и освоил Москву, Петербург, Казань, Тверь, Витебск... Заметим, что уютно ему жилось только в городах, исторически и душевно сродственных Коломне: в разжалованной из столиц Москве и в забывшей о былых амбициях Твери. Мысль о том, что писатель есть произведение не только своего времени, но и места, впервые, кажется, высказал Гёте. В применении к Лажечникову о его «нравственной связи» с городом-родиной говорил на юбилее писателя в 1869 году его земляк Н. П. Гиляров-Платонов. «Человек коломенский» — разумеется, одна из многих вариаций русскости. Вариативные качества тонки и трудно поддаются определению. Их вызывает к жизни специфика окружающей среды, природный и культурный ландшафт, живая память рода, семьи, землячества. Многие здесь определяется воспоминаниями, вынесенными из детства.

В очерке «Новобранец 1812 года» Лажечников фиксирует свои ранние наиболее значимые впечатления, пропущенные через призму военного года, который мог всё это — и жизнь страны, и жизнь отдельной личности — перечеркнуть.

«Мы приехали в Коломну. Это моя родина. ... Сколько воспоминаний о моём детстве толпилось в голове моей, когда мы въехали в Запрудье! Предстали передо мною, как на чудной фантазмагорической сцене, и вечерние, росистые зори, когда я загонял влюблённого перепела на обманчивый зов подруги, и лунные ночи на обломке башенного зубца, при шуме вод смиренной Коломенки, лениво движущих мельничные колёса; ночи, когда я воображал себя на месте грустного изгнанника, переселённого Грозным из Великого Новгорода в Коломну. Вспомнил я прогулку на козле и доброго француза-гувернёра с длинной косою за плечами, которую вместе с головою свою вынес он из-под гильотины. ... Всё это и многое, многое, что глубоко бросило семена в сердце моём, прошло теперь мимо меня во всех радужных цветах разочарования».

Лирическое и высокое, печальное и комическое перемешаны здесь в характерном для Лажечникова добродушно-ироничном стиле. Замечательны штрихи коломенской «исходной картинки»: мерещится старинный сторожевой град, обратившийся со временем в большую деревню со всеми престестями соприродного бытия. Восприимчивая душа с живостью переселяется в далёкого прадеда, скорее всего, из тех полутора сотен посадских семей Новгорода и Пскова, что в 1569 году опричники согнали с насиженных мест. Прадеду ещё повезло: он оставил Новгород накануне кровавого побоища, учинённого царём над подданными, подозрительными своей самостоятельностью.

Тень Грозного осенила и Коломну. Отсюда в 1552 году молодой царь двинул рати на Казань. Памятником той славной победы стоял Брусенский монастырь, а в нём — шатровая Успенская церковь. В городе церковей и садов мирно уживались потомки псов-опричников и их жертв.

Впоследствии судьба тоже забросила Лажечникова в Казань, будто для того, чтобы провести по следам великого тирана, обратившего государственную мощь в бесчеловечную деспотию и позор мстительных разборок.

Значимо в этом контексте упоминание о французе-гувернёре Болье, бежавшем, как и предок Лажечникова, из родного дома, спасаясь от бойни Великой французской революции. Рассказы эмигранта, его страхи и сетования, возможно, тоже сыграли свою роль в формировании писательской отзывчивости воспитанника. Влияние это, как заметил ещё С. А. Венгеров, обнаруживается в полудетских «Моих мыслях» — первой публикации Лажечникова, состоявшейся в «Вестнике Европы» в 1807 году. Вот, к примеру, «мысль» о губительности самовластия: «Какое различие между женщиной и царём персидским? — Деспотическое правление первой основано на законах природы — то есть красоты, добродетели; а второго — на законах, установленных, с одной стороны, жестокостью, с другой — страхом. Как приятна и сладостна неограниченная власть первой, ибо она связывает смертных узами любви! — Как несносно беспредельное могущество второго, ибо оно оковывает подданных тяжкими цепями тиранства!» Наивно выраженная, эта мысль ведёт в перспективе к двум основаниям творческого мира Лажечникова: к поэтизации любви и заклятию всех видов насилия.

Страдания притесняемой личности вообще составляют печальный тон романов Лажечникова. Для писателя это была не только историческая, национальная, общественная, но и глубоко интимная, семейная драма.

Изгнание предков во времена опричнины лишь один из её актов. Память рода хранила и другие эпизоды. Недавно по архивным документам была воссоздана история одного из Ложечниковых (так изначально писалась фамилия) — Ивана Тимофеевича, троюродного деда, которого будущий романист, вероятно, ещё застал в живых. Сын бургомистра, породнившегося через жену со знаменитыми коломенскими купцами Хлебниковыми, Иван Тимофеевич не был, однако, застрахован от жестоких притеснений. Однажды основательно обокраденный, он сделался должником, подвергся преследованию городничего, устроившего «потешную» охоту на несчастного. Престарелая мать его скончалась от начальственных побоев, а самого Ивана Тимофеевича отдали в услужение за долги. «Охотник», разумеется, остался безнаказанным: не равнять же дворянина с купцом.

Похожая «охота» городничего описана в третьей главе первой части романа И. И. Лажечникова «Немного лет назад». И не сказала ли память рода в описании бесчеловечных потех в «Ледяном доме»? Любили подобным образом увеселять себя начальственные люди во все века русской истории.

Охота на купца в романе «Немного лет назад» имела, впрочем, и другое прототипическое обстоятельство — арест отца писателя. В биографии, составленной Ф. В. Ливановым со слов самого Лажечникова, это событие описывалось следующим образом: «Отец Ивана Ивановича Лажечникова, от природы умный, честный и правдивый, любил остричь на счёт пороков некоторых заслуживающих того лиц; как человек прямой, он сострил однажды и над одним высокопоставленным в г. Коломне духовным лицом. Священник местный, домашний русский учитель, облагодетельствованный отцом Лажечникова, желая подслужиться начальству, шепнул ему об этом. Слова были переданы высшему в Коломне духовному лицу и скоро достигли, разумеется с прибавлениями, до Петербурга». Мать уехала хлопотать за арестованного в Москву, очевидно, захватив с собою и сыновей. К этим ранним впечатлениям Лажечников не раз вернётся в мемуарной прозе — так потрясли они детский ум. Но, может быть, самое концентрированное выражение нашли они в главах «Ледяного дома» о знаменитом установлении «слова и дела» — доноса и скорой расправы.

Символика «Ледяного дома» сформирована, конечно, национальной памятью. Но одушевлена она была и родовой, семейной, личной памятью автора.

Ещё отчий дом вспоминался писателю своей библиотекой. Для Коломны богатая домашняя библиотека не была совсем уж исключительным явлением. Своей огромной книжной коллекцией был знаменит коломенский откупщик П. К. Хлебников. Особый вклад в становление местных культурных традиций внёс один из образованнейших людей своего времени П. Ф. Жуков, бывший в 1775 — 1778 гг. коломенским воеводой. В свою библиофильскую деятельность он вовлёк коломенских купцов. Его уникальное книжное собрание составило впоследствии основу петербургской университетской библиотеки.

Ещё одно детское воспоминание Лажечникова связано с посещением Бобренева монастыря. «Туда Ваня ездит иногда на богомолье с своею матерью. Там лик Спасителя так приветливо на него смотрит, а добрый старец-архимандрит, благословляя его и давая ему свою ручку по-

целовать, всегда жалуется его просвирой». Это воспоминание в «Беленьких, чёрненьких и сереньких», может быть, отчасти документировано. Богородице-Рождественский Бобрёв монастырь, долгое время остававшийся заштатным, был возобновлён как раз в год рождения Лажечникова, став дачею Коломенского епископа. В 1800 году его приписали к Богоявленскому Старо-Голутвину монастырю. Настоятелем назначили о. Самуила (1760—1829), оставившего глубокий след в истории русского монашества своей деятельной верой и беспредельным человеколюбием.

С этой стороны судьба оказалась благосклонной к Ивану Ивановичу: на протяжении всей долгой жизни он не утратил детски-наивной, простодушной веры, что не очень-то характерно для людей новой секулярной эпохи. Фундамент такой веры закладывался в большой степени при соприкосновении с «тёплым» народным православием. Потому, верно, и запомнились мальчику «приветливый» лик Спаса да нравственная педагогика дядьки Ларивона со всеопределяющей категорией стыда. «Слово *стыдно* так запечатлелось в душе малютки, что он и во всех возрастах, во всех случаях жизни чтит его свято, как одну из заповедей Господних. Первому лепету молитвы няня выучила ребёнка, но молиться с благоговением — Создателю Господу Богу — внушал ему дядька, который сам всегда так молился, иногда со слезами на глазах».

Культурная среда семейного общения не замыкалась тесными рамками уездного купеческого общества. Указание писателя на «Екатерининских орлов», гостивших у его отца, коломенского городского головы, особенно заманчиво для биографа «русского Вальтера Скотта» (как называли Лажечникова). Среди соседей по уезду, имевших, как правило, собственные дома и в Коломне, были потомки княжеских фамилий Лобановых-Ростовских (случайно ли, что один из них, скорее всего, Яков Ильич, назначенный от сената наблюдать за делами в Московской губернии, и был одним из спасителей арестованного купца?), Голицыных (отпрыска рода трагического князя-шута Анны Иоанновны Лажечников увековечил в «Ледяном доме», сославшись на услышанные от потомков семейные предания), Черкасских, Гагариных, наконец, и достоправного фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева (его Лажечников вывел в романе «Последний Новик»). Но, конечно, самым близким было знакомство с Николаем Васильевичем Обресковым (Обрезковым), с 1808 года московским губернским предводителем дворянства, а в 1810—1816 гг. — московским гражданским губернатором. По свидетельству генерал-губернатора Ф. В. Ростопчина, Обресков был человеком тонкого ума, отлично понимавшим людей, с которыми имел дело. А ревнитель московских дворянских традиций С. Н. Глинка увидел, что Николай Васильевич к тому же «человек красивый, баловень роскоши и неги, умом гибкий и речистый в русском слове». В преданиях семьи Лажечниковых дружба с Обресковым занимает особое место. Вероятно, при освобождении Ивана Васильевича из Петропавловской крепости не обошлось и без его заступничества.

Иван Ильич был знаком и с братом Н. В. Обрескова Александром, генералом от кавалерии. На его имя в своё время было куплено имение Кривякино (поскольку купцам это запрещалось). Сам по себе «миллионный» договор между генералом и купцом, державшийся на одном только честном слове, весьма характеризует нрав обеих сторон.

Этот эпизод тоже нашёл отражение в романе Лажечникова «Немного лет назад». Честному губернатору, благодетелю родительского дома посвящено несколько страниц: «Человек он был прежде, чем сделался губернатором, и, сделавшись губернатором, остался человеком».

Н. В. Обрескову было суждено сыграть решающую роль в судьбе будущего писателя. По его рекомендации шестнадцатилетний Ваня начал службу в Московском архиве Коллегии иностранных дел (по обычаю того времени зачислили его туда ещё в двенадцатилетнем возрасте). У этого весьма привилегированного заведения была слава «рассадника для образования лучшего в Москве дворянства». В 1810 году, когда Обресков стал гражданским губернатором, он взял коломенского юношу в свою канцелярию. Наконец, в 1812 году по его рекомендательному письму Иван Лажечников и его младший брат Николай были приняты сразу же офицерами в московское ополчение.

Итак, после шестнадцати коломенских лет «архивный юноша» Лажечников на шесть лет стал московским жителем. За эти годы (1806—1812) он, разумеется, не раз навестил отчий дом, а потому хорошо изучил московско-коломенскую дорогу, во многих колоритных подробностях описанную в автобиографических произведениях, замечательно дополняющих «дорожную тему» русской литературы.

Впрочем, дорога эта вошла в мир Лажечникова ещё в детстве. Первым литературным опытом тринадцатилетнего Вани было «Описание Мячковского кургана» на французском языке. У старинного села Мячкова, что на дороге между Люберцами и Бронницами (нынешняя автострада проходит в стороне от него), рядом с исторически знаменитой, поминаемой Карамзиным Брашевской переправой через Москву-реку (на этом самом месте Лажечников впоследствии завяжет узел романтического любовного сюжета повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие») возвышается необыкновенно живописный курган. Он-то и поразил воображение подростка, подогретое, как мы полагаем, ещё и народной легендой. «Вековое устное предание, — свидетельствовал краевед и современник Лажечникова Н. Д. Иванчин-Писарев, — утвердило, что это «насыпь над убиенными» в битве с полчищем Батыя. «Здесь, на этой возвышенной площадке стоял некогда древний храм во имя Воскресения Христова... Создатели его, вероятно, говорили мысленно этим усопшим: “Вы забудетесь в памяти людей и их писаниях, но в великий день возрождения воскреснете к венцам нетленным!”»

Можно представить, что чувствовал Иван Лажечников, когда 12 октября 1812 года, как он сам уверяет, на Мячковском кургане дал клятву, «что честь и Отечество будут везде моими спутниками».

* * *

Зарево московского пожара, как утверждает автор «Новобранца 1812 года», было видно даже из Кривякина (Н. П. Гиляров-Платонов писал, что зарево видели и жители Коломны). Через село проходили толпы беженцев. В этом ужасном зрелище взор юноши замечал и то, что согревало душу. «В эту тяжёлую годину все делились между собою, как братья;

каждый, кто бы он ни был, садился за чужой стол, как семьянин; многие богачи сравнивались с бедняками, и часто бедняк из сумы своей одолжал вчерашнего богача. Всё это казалось, в годину общего бедствия, делом очень обыкновенным».

Сопоставляя свидетельство Лажечникова с документальными источниками, мы могли бы сказать, что взгляд мемуариста несколько избирателен. В его поле не попали, например, факты, о которых 3 сентября доносил Кутузову генерал Татищев: о разгуле мародёров — не французских, но именно русских, по дороге от Бронниц к Коломне. Генерал же дал и объяснение. Раненым солдатам, уходившим из Москвы, нечего было есть.

Отменяют ли эти факты свидетельство Лажечникова? Думаю, что нет. Война не монументальна. Было и то, было и другое. Факты, поведанные Лажечниковым, имели-таки место, и они драгоценны даже на фоне противоречащих им, как проступающий среди мерзостей и греха образ Божий в человеке. Другое дело, что Лажечников, по натуре неискоренимый романтик, возносит идеальное, отрывая его от земной мешанины.

Дальнейшие события: бегство из отчего дома и вступление в действующую армию — тоже обросли — в духе времени — красивою легендой. Внимательное критическое чтение «Новобранца 1812 года» поможет увидеть за легендарным реальное.

Побег из родительского дома, одно из самых романтических событий биографии Лажечникова, предстаёт перед нами в двух версиях: в *напечатанном* в 1853 году очерке «Новобранец 1812 года» и в *устном рассказе* Лажечникова более позднего времени. Рассказ со слов писателя записал его внучатый племянник Р. Ф. Гардин и сохранил в составе своих рукописных мемуаров.

Вот как предстаёт это событие в очерке:

«В городе остановился отставной (помнится, штаб-офицер) кавалерист Беклемишев, поседель в боях, который, записав сына в гусары, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком ехал туда же гусарский юнкер Ардал, сын богатого армянина. Я открыл им своё намерение; старик благословил меня на святое дело, как он говорил, и обещался доставить в главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с собою». На пути беглеца возникло неожиданное препятствие: верный своему долгу, догадливый дядька Ларивон принял строгие меры: дверь в сад была заперта на замок, а двор и ворота взяты под усиленную охрану. «Я зарыдал, как ребёнок. Вся эта сцена (объяснение с дядькой — В. В.) происходила в верхнем этаже очень высокого дома. Из дверей сеней (верхних — В. В.) виден был сквозь пролом древнего кремля (между Грановитой башней и Ивановскими воротами — В. В.) огонь в квартире старого гусара. ... Я вышел на балкон, чтобы взглянуть в последний раз на этот заветный огонёк и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго тешили меня. Вдруг, с правой стороны балкона, на столетней ели, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто предлагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок ... обдираю себе до крови руки и колена, становлюсь на землю и пробегаю минуты в три довольно обшир-

ный сад, бывший за домом, на углу двух переулков (улиц Ивановской и Поповской, ныне Гражданской — В. В.). От переулка, ближайшего моей цели (т. е. ул. Ивановской — В. В.), был забор сажени в полторы вышины (т. е. более трёх метров — В. В.): никакая преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный волтижер. ... Перебежать переулок и площадь (Житную, ныне Двух революций — В. В.), разделявшую дом наш от кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом нескольких минут ... мы сели в повозку и промчались, как вихрь, через огород, берегом Коломенки и через Запрудье. Кормили лошадей за сорок вёрст, потом в Островцах».

Далее — остановка в подмосковном селе Троицком, прощение и благословение отца (неизвестно как нашедшего беглеца), визит к Обрескову, поступление по его рекомендации в московское ополчение офицером. «Через несколько дней» перевод в московский гренадерский полк, а затем — в адъютанты к начальнику гренадерской дивизии принцу Мекленбургскому Карлу.

А вот как те же события описывал Лажечников в поздние годы жизни своему внучатому племяннику:

«Неожиданно проходит через г. Коломну отряд принца Вюртембергского, служившего в русской армии и двигавшегося на соединение с войсками Кутузова, причём принц останавливается на днёвку в доме Лажечникова. Ваничка Лажечников очень понравился принцу (он получил очень солидное образование дома и свободно говорил на французском и немецком языках), и тот, услышав заветную мечту юноши, предлагает отцу исполнить стремление сына, но Иван Ильич, хотя и польщённый ходатайством принца, всё-таки ловким манером, под разными предлогами отклоняет его. Вот тут-то Ваничка решает на героический поступок, а именно: при помощи своего сверстника и участника детских игр, сына домашнего водовоза, залезает в бочку, и тот вывозит его за город, вслед ушедшему отряду. ... Спешно достигает и умоляет принца принять его в юнкера, клянясь иначе наложить на себя руки. Отзывчивый принц посылает фельдгегера за стариком Лажечниковым и, когда тот приехал, уламывает отца благословить сына на защиту родины. ... В первом же деле он отличается, производится в офицеры и назначается уже личным адъютантом принца Вюртембергского».

Сопоставим теперь два этих мемуарных рассказа с документальным источником: послужными списками Лажечникова 1823 и 1827 гг. Из них следует, что 22 (или 23) сентября 1812 года Иван Иванович вступил в Московское ополчение в чине прапорщика, 24 декабря того же года переведён в Московский гренадерский полк, а 2 марта 1813 года назначен адъютантом к командиру гренадерской дивизии принцу Мекленбургскому Карлу.

Получается, что в чём-то более аутентичной является версия «Новобранца 1812 года». Фантазмы позднейшего устного рассказа можно объяснить ошибками памяти рассказчика или слушателя (Р. Ф. Гардин писал воспоминания через полвека после общения с дедом). Отсюда путаница с принцем (Вюртембергский вместо Мекленбургского), которому в устном рассказе отведена всеобъемлющая роль. Он заменяет собою фигурирующих в очерке Беклемишева (старая дворянская фамилия известных в Коломенском уезде помещиков) и Обрескова. Такое сглаживание,

унификация, перестановки и перемены сопутствующих обстоятельств характерны для забывчивых мемуаристов. Фальсификации, как правило, не подлежат лишь главные, опорные обстоятельства. Таковым в обеих версиях, несомненно, является самое бегство из отчего дома. Способ бегства — через балкон или с помощью водовозной бочки — вряд ли можно отнести к мнемонически нестабильным фактам. Мемуарист мог легко перепутать принцев, но эпизод с водовозной бочкой не придумаешь (если, конечно, автор не злостный выдумщик — а в этом Р. Ф. Гардин не замечен). Так что именно так этот эпизод выглядел в позднем устном рассказе Лажечникова для семейного круга.

Предпочтительность «семейной» версии определяется для нас её сугубой прозаичностью. В своих автобиографических произведениях Лажечников был склонен к сочинительству. Это сочинительство всегда стремилось к романтизации.

Прыжок с балкона — это красиво! Правда, необъяснённым осталось, как подростка не заметили двое сторожей: дядька Ларивон и его помощник, усиленно контролировавшие пространство перед домом. Также проблематично с балкона дома Лажечниковых увидеть «заветный огонёк» «сквозь пролом древнего кремля». Зато эта подробность очень украсила эпизод.

Путешествие в водовозной бочке на этом фоне отдаёт нерасцвеченной натуральностью. Впрочем, оно не исключает участия в этой проделке старого вояки Беклемишева вместо любого из принцев: Вюртембергского либо Мекленбургского.

Мы никогда не узнаем с абсолютной достоверностью, как всё было на самом деле. И ударный эпизод биографии Лажечникова — бегство из Коломны — останется в двух изводах: «романическом» и «прозаическом». Автобиограф сознательно творит легенду из подручного жизненного материала и становится... писателем.

* * *

Прощание с родительским кровом оказалось, судя по всему, бесповоротным. Отец писателя умер в 1837 году, а мать ещё раньше (после её смерти отец перебрался из Коломны в Москву), дом на Астраханской был продан после войны 1812 года, когда торговые дела отца и дяди пришли в совершенный упадок, что было тогда массовым явлением; купеческий род Ложечниковых прекратился. У нас, увы, нет данных о каких-либо связях писателя с родителями после 1812 года. К более позднему времени относятся возобновление тесных отношений с младшим братом, унаследовавшим имение Кривякино.

Можно было бы предположить, что служба вдали от родины, военная, а затем гражданская, и при этом активная литературная деятельность заставили забыть родные пенаты. Однако такое предположение ошибочно.

Мы не знаем, как часто Лажечников навещал свою малую родину в течение четырёх десятилетий, с 1812 по 1854 г. За это время он стал крупным чиновником (вице-губернатором Твери, Витебска), известным всей России писателем. Точно можем сказать одно: его возвращения в Ко-

ломну в эти годы происходили в литературном, творческом, измерении. Первое произведение, прославившее Лажечникова, — «Походные записки русского офицера» (1820), начиналось с записи: «Село Кривякино. 20 сентября 1812 г.». Далее следовало прощание с отчим домом, с родными полями, клятва на Мячковском кургане.

Воображаемое возвращение в Коломну находим затем в знаменитых исторических романах писателя. Самое значительное из них — в романе «Последний Новик», настоящем художественном исследовании патриотизма. Главный герой романа, трагической судьбой оторванный от своей родины, лелеет в душе детские воспоминания: «Деревню, в которой провёл я первые годы моего детства и которую описываю, называли Красное село. Часто говаривали в ней о Коломне, и потому заключаю, что она была неподалёку от этого города. Не знаю, там ли я родился, но там, или близко этих мест, хотел бы я умереть». *Красное село* — старое название Кривякина. Получается, что Лажечников подарил герою-патриоту свои детские воспоминания.

Роман пишется в конце 1820-х годов, когда, «перекрестившись за избавление... из плена казанского» (фраза из письма Лажечникова, вдоволь настрадавшегося на службе в Казанском учебном округе), Лажечников на три года ушёл в отставку. Жил в Москве и в подмосковном Ильинском, в имении графа А. И. Остермана-Толстого, у которого когда-то служил адъютантом. Теперь он управляющий имением. Наконец может отдаться любимому занятию — изучению русской истории.

Не исключено, что в тот второй московский период Лажечников побывал и в Коломне. «Последний Новик» свидетельствует о реальном (или только воображаемом) сентиментальном путешествии автора (вместе со своими героями) по родным местам. В исповеди Последнего Новика Кривякино — впервые у Лажечникова — описано с исключительной точностью. В эти дорогие автору места он отправляет другого столь же симпатичного ему героя, но с противоположной, шведской, стороны — Густава Траутфеттера. Таким образом коломенская земля символически соединяет двух патриотов воюющих стран: России и Лифляндии. Истинный патриотизм — говорит своим романом Лажечников — не ведаёт злобы, идиосинкразии.

Правда, впечатления пленного шведского офицера не так уж идиличны: «Густав Траутфеттер проводил время своего скучного заточения в Коломне (за сто вёрст от Москвы). Квартира ему была назначена у одного богатого купца, смотревшего на постояльца своего, как обыкновенно невежественный класс русских смотрит на иностранца — существо, которое в глазах их есть нечто между человеком и животным. С ним вместе никогда не ели, не пили; для него была даже собственная посуда, осквернённая устами басурманскими. Впрочем, хозяин ласкал его, исправно натапливал печь в его комнате и потчевал его пирогами, говядиной и мёдом хоть до упаду... Нередко дочери хозяина, две пригожие девушки, из затворнических своих светлиц то бросали цветы в милого незнакомца, то не жили слух его заунывными песнями».

Нетрудно заметить, что в этом коломенском эпизоде уже намечена тема будущего романа Лажечникова «Басурман»: внутренне противоречивое отношение к «басурману» русских людей и пути изживания национального изоляционизма.

Между «Последним Новиком» и «Басурманом» располагается «Ледяной дом», где ирония в адрес земляков (точнее, землячек) прорывается в одном полушутливом описании: «Вот человеческий лик, намалёванный белыми и румянами, с насурмлёнными дугою бровями, под огромным кошником в виде лопаты, вышитым жемчугом и яхонтами. Этот лик носит сорокаведёрная бочка в штофном, с золотыми выводами, сарафане; пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют её. Голубые шерстяные чулки выказывают её пухлые ноги, а башмаки, без задников, на высоких каблуках, изменяют её осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу».

Эпизод в целом предвещает будущее сатирическое описание женского общества купеческой Коломны в «Беленьких, чёрненьких и сереньких». Обратим внимание лишь на одну подробность. Пастильница — торговка пастилой. Лажечников в данном случае проявил лучшее качество исторического романиста школы Вальтера Скотта — достоверность бытовой детализации. Слава коломенской пастилы утвердилась именно в описываемые времена Анны Иоанновны.

* * *

По воле начальства сменивший тверское вице-губернаторство на витебское Лажечников через силу отработал полгода в полурусском крае и подал прошение об отставке. Возвращение на родину, начало третьего, полторалетнего, московского периода, описано им в письме к тверскому приятелю А. К. Жизневскому 28 июля 1854 года: «Наконец я вырвался из места своей ссылки; 9 числа прибыл я в Москву. Здесь я постигнул чувство, которое ощущают невольники, получившие свободу. Я успел уже съездить к брату в деревню, за 70 вёрст от Москвы, по коломенской дороге. Имение его прекрасное, живописно расположено на Москве-реке. В нём провёл я своё детство и юность. Чудные воспоминания об этом времени, прекрасный сад, дети, шумящие около меня, как пчелиный рой, дивное время, книги, умное и любезное соседство и — пуще всего — свобода, полная свобода, сделали для меня пребывание в этом сельском убежище земным раем. Я не видал, как прошли 9 дней».

Накануне переезда в Петербург и новой службы в цензурном ведомстве Лажечников полтора месяца в июне–июле 1855 года вновь гостит в Кривякине. В письме А. К. Жизневскому 23 июня он сообщает: «Здесь я уже почти с неделю и вполне наслаждаюсь деревенскою жизнью. Гуляю, купаюсь, ужу рыбу и всё карпию, которых в полчаса ловлю до пяти и которые вершков в 5 и более — люблю тащить этакую штуку. Местоположение прекрасное, сад огромный, вода и воздух превосходные; по Москве-реке движутся караваны барок. Думаю, пробуду ещё дней десяток в этом земном раю».

Новый петербургский период (в столице писатель жил ещё по возвращении с войны) оказался недолгим: выслужив, наконец, полный пенсион, весной 1858 года Лажечников с облегчением покидает и нервную цензурскую должность, и хлопотную столицу. Подавая прошение об увольнении, в графе «Где желаете получать пенсию?» он решительно отвечает: «В городе Коломне Московской губернии».

Первый «пенсионный» год и в самом деле проходит в Кривякине и в Коломне. 28 июня 1858 года Лажечников пишет письмо из Коломны А. М. Княжевичу, хлопочет о семействе умершего старшего брата. Судя по письмам М. Н. Лонгинову, Е. П. Ковалевскому, Л. Л. Добровольскому и в Общество любителей российской словесности, всю вторую половину 1858 года и первую половину 1859 года И. И. Лажечников с женой живёт в основном в Кривякине у младшего брата. Письма посылаются то из Кривякина (пять писем), то из Коломны (три письма). Последнее из сохранившихся отправлено было 5 апреля 1859 года из Кривякина.

В это время Иван Иванович и его супруга ждали запоздалого первенца. 28 июля 1859 года родилась дочь Зинаида (всего у Лажечникова будет трое детей).

Оформление пенсии, между тем, затянулось на целый год. И Лажечниковы всё же перебираются в Москву.

Возвращение в Коломну продолжилось в творческом пространстве последних — автобиографических — книг Лажечникова. Трудные для него пятидесятые годы были трудны и для России, и для русской литературы: обе выходили с утратами и надеждами, в какое-то новое историческое измерение. В муках вызревали реформы, и в муках же рождалась новая литературная эпоха. Уходящая эпоха принесла Лажечникову громкую славу «русского Вальтера Скотта». И теперь надо было либо уйти вместе с нею (и сам-то Вальтер Скотт казался старой игрушкой), либо заново родиться.

Шестидесятилетнему писателю удалось если не вернуть былую славу, то уж точно занять своё место под новым солнцем. Прикосновение к родной земле дало свои плоды. Лажечников нашёл достойный для его дарования выход в автобиографическую и мемуарную прозу, где он возвратился в коломенское измерение детства, отрочества и юности.

Романы «Последний Новик» — «Ледяной дом» — «Басурман» можно назвать трилогией русской истории. Драматизм описываемых событий у Лажечникова неизменно окрашен авторским лирическим участием. Возможно, поэтому столь естественным стал для него переход к автобиографическим произведениям, также составившим своеобразную трилогию: «Новобранец 1812 года» — «Беленькие, чёрненькие и серенькие» — «Немного лет тому назад». Объединяющим все эти разножанровые произведения (очерк — повесть — роман) оказался главный, он же лирический, герой (Иван Лажечников — Ваня Пшеницын — Володя Патокин), а вместе с ним — его родина, уездный город (Коломна — Холодня — Луковки) с его жителями и окрестностями.

В начале 1858 года в письме к М. Н. Каткову, редактору «Русского вестника», где полтора года назад были опубликованы «Беленькие, чёрненькие и серенькие», Лажечников сообщал: «Если Бог даст, в марте буду в Москве и тогда примусь усердно за сотрудничество в “Русском вестнике”. Хочется нанять под Москву хорошую избушку и отдохнуть от тревог должностных и всяческих. Мои “Беленькие” разовьются в роман: видно, такова моя натура...»

Речь в письме о будущем романе «Немного лет назад», опубликованном в 1862 году отдельным изданием. Время действия романа — в основном эпоха недавней Крымской войны с отступлениями в предысторию. Перед нами хроника рода Патокиных (несомненно влияние недавней

«Семейной хроники» С. Т. Аксакова. Только там — история дворянского, а здесь — купеческого рода), в которой отчётливо просматриваются некоторые реальные эпизоды из жизни деда и отца писателя, а в новобранце Крымской войны Владимире Патокине очевидна автобиографическая, а вернее, автопсихологическая основа. Роман начинается в уездном городе Луковки (не сыграла ли некоторую роль в выборе названия известная в Коломне фамилия Луковниковых, дом которых доньяне красуется в историческом центре?), а затем перемещается в Красное сельцо (старинное название Кривякина). Владимир Патокин отстаивает достоинство — и личное, и родовое. В этом плане особенно драматична судьба его отца, умершего должником, неплательщиком по векселям. Отец завещает сыну оправдать его честь. Этот романский мотив имеет особый автобиографический подтекст.

Согласно архивным документам, отец писателя умер, находясь под следствием за неисполнение казённого подряда. Похожая ситуация выведена и в романе «Немного лет назад». Описывая разительный переход от богатства к нищете, переживаемый матерью Владимира, автор не удерживается от глубоко личного замечания: «И в такой нужде находилась женщина, которая за несколько лет назад жила в великолепных палатах, окружённая многочисленной прислугой и всею обстановкою роскошной жизни, задавала генералам и не генералам обеды с аршинными стерлядями и зимнею клубничкой. Поверьте мне, это не вымысел романиста, а факт из действительной жизни».

Причина разорения купца-миллионщика Патокина, как объясняет автор, — «мягкость характера». Сам герой полагает, что он родился не «фабрикантом», а «садоводом». Прямодушный англичанин Джонс резюмирует: «Добрый, благородный человек, но слабость характера его погубит». Появление таких характеров в среде русского купечества автор склонен объяснить «прогрессом», пробуждающим высокие культурные запросы, человечность и милосердие.

В беспощадной конкурентной борьбе такие «овцы» (в язвительной рецензии на роман Щедрина, не обинуясь, называет героя «кисляем») неизбежно должны пасть жертвою волков». Образчиком последних в романе выведен приказчик Опенкин, обирающий своих хозяев и при этом полагающий причину падения купеческого рода Патокиных в том, что они оторвались от «своей» среды. «Великолепные палаты» в Луковках и миллионная усадьба в Красном сельце должны подтвердить справедливость его логики: «Не так дела ведут степенные купцы». Впрочем, оголтелая «практичность» Опенкина привела его к худшему падению: автор заставил его пройти «под колоколами» (сцена на Соборной площади Луковок — торжество христианской морали), а затем повеситься на чердаке присвоенных им «великолепных палат».

Роман Лажечникова может быть прочитан как оправдание родителей, предпринятое сыном-писателем. Судьба разорившегося купца Лажечникова, не последовавшего по родительским стопам, получила должное объяснение, и это своеобразный памятник, поставленный ему сыном. А рядом — другой памятник. Матери.

Возможно, такую и была мать писателя, какую предстаёт она в повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие» (Прасковья Михайловна) и

в романе «Немного лет назад» (Марфа Михайловна): гордой, самолюбивой, властной, но при этом наделённой отзывчивым сердцем. Ей суждено стать спасительницей мужа, его свободы и чести. Внутреннее благородство высокой пробы побеждает мелкие мещанские наклонности холмогорской, луковской (коломенской) обывательницы.

Реабилитировал ли Лажечников своих родителей? Реабилитировал ли русскую провинцию, получившую в ту эпоху «репутацию отсталости и безумия» (как писал один умный критик)? Трудно ответить однозначно. Это была очень сильная попытка. Писатель вознёс бытие над бытом и создал то, что стало можно называть *коломенским текстом*.

Продолжение следовало. Коломенский текст ещё не раз оживал в русской литературе. Являлись новые черты, которые Лажечников не заметил или не мог заметить (жизнь клира у Н. П. Гилярова-Платонова, тектонический разлом истории у Б. А. Пильняка). Но поэтически пересотворённая им Коломна уже существовала и собственным светом освещала реальный исторический город.

* * *

4 мая 1869 года Москва праздновала 50-летие литературной деятельности своего любимца — Ивана Ивановича Лажечникова (полвека отсчитали от публикации «Походных записок русского офицера», хотя автор начал печататься гораздо раньше). В зале городской думы, как описывали репортёры, «на эстраде красовался, окружённый растениями, в довольно большую величину портрет юбиляра». Звучали приветствия от имени наследника престола (будущего Александра III), от собратьев по перу А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, М. П. Погодина, Ф. Н. Глинки, Н. П. Гилярова-Платонова, прибыли послания и подарки от городов и весей, от редакций и гимназий... От родной Коломны явилась солонка с надписью «Хлеб-соль ешь, а правду режь». Не было только... самого юбиляра. За нездоровьем и, может быть, из-за растерянности перед столь пышным актом виновник торжества прислал благодарственное письмо, заявившее собственное понимание происходящего: «Вы, конечно, оценили не талант, а честное служение моё русской литературе, которому я никогда не изменял».

Похожая нота царственно-благородной скромности есть у современника Лажечникова Евгения Баратынского:

Мой дар убог, и голос мой не громок,

Но я живу, и на земле моё

Кому-нибудь любезно бытиё...

В одном из писем Лажечников с ностальгией вспоминает «время, когда не только образованные путешественники, проезжавшие через Тверь, где я жил, но и приказчики с барок приходили приветствовать *счастливого* писателя». Не золотой ли это век словесности, когда читатель простодушно идёт к писателю как к задушевному другу и благодетелю? Теперь мы понимаем, что на этой счастливой волне сочувствования с русским читателем написаны лучшие вещи Лажечникова: три исторических романа — «Последний Новик», «Ледяной дом», «Басурман» — и повесть коломенская «Беленькие, чёрненькие и серенькие».

Что говорить, есть благоприятные, тёплые времена для литературы и есть холодные, студёные, когда слова будто отскакивают от ледяной поверхности.

Лажечников вспоминал, как ещё юношей в театре увидел Карамзина и не мог отвести глаз от своего кумира. Экзальтация была комична, но очень показательна для наступавшей в России эры литературы с её почитанием художника слова. Мера таланта, разумеется, важна. Но не менее важно ощущение национальной культуры как *общего дела*.

Вл. Викторович

НАШИ УТРАТЫ

ПРОЩАНИЕ С МАСТЕРОМ



В Москве, 14 марта 2015 года, за несколько часов до своего 78-летия скончался известный русский писатель, уроженец Иркутской области Валентин Григорьевич Распутин. Завершился земной путь великого гражданина России, классика русской литературы, бескорыстного рыцаря русского слова.

Прощание с писателем и панихида прошли в Храме Христа Спасителя Москвы. Похоронен Валентин Распутин в Иркутске рядом с могилой дочери и жены.

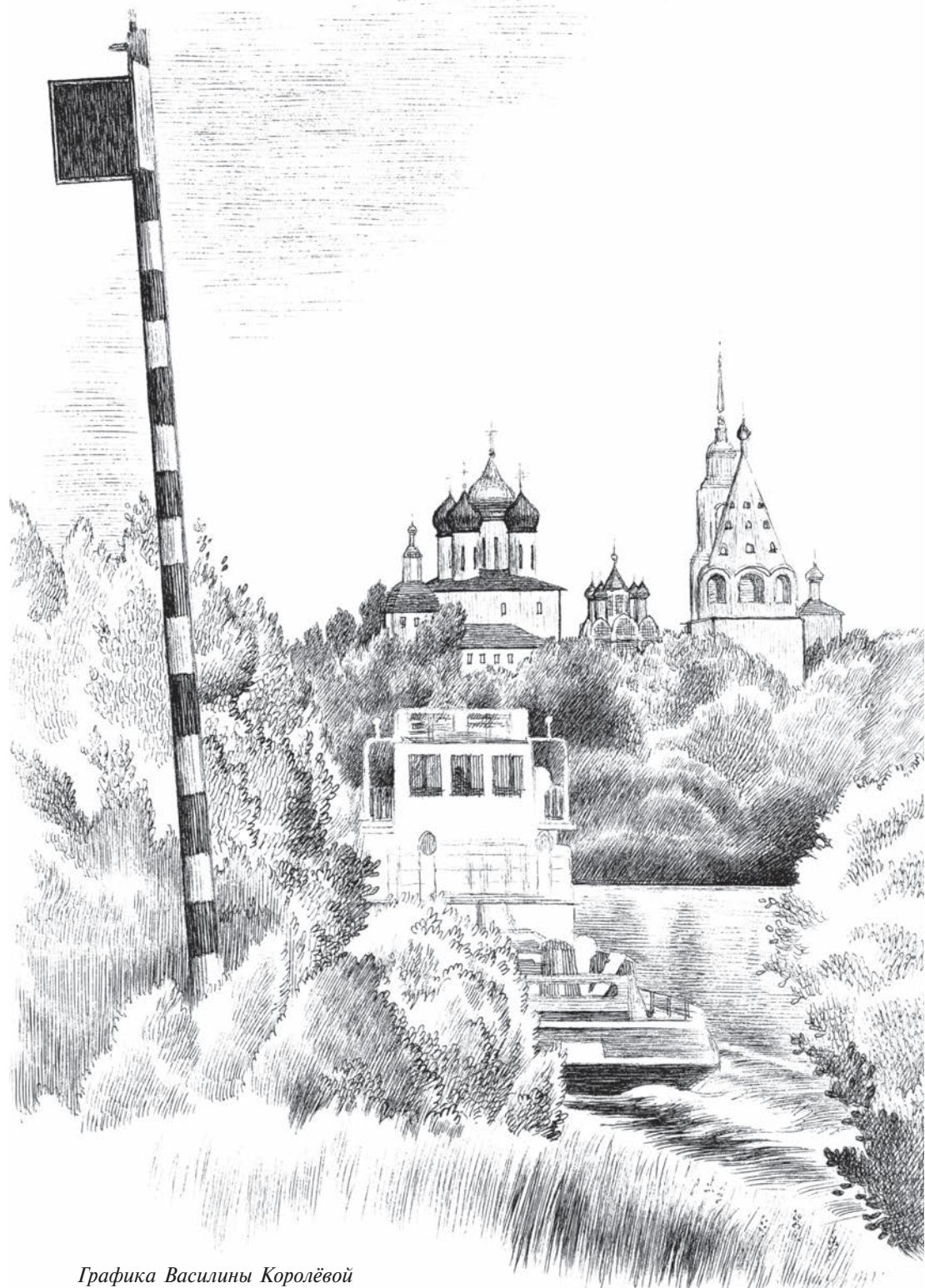
Да примет Господь его душу с милосердной любовью! Светлая память и наша великая благодарность писателю земли русской.

Коллектив редакции

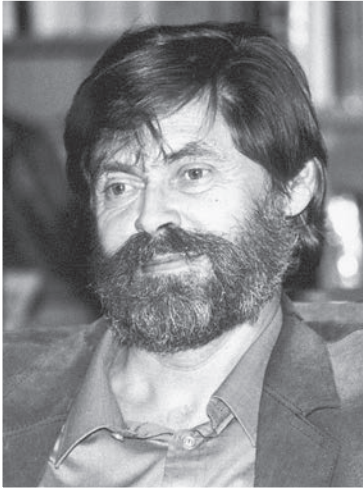


Проза





Графика Василины Королёвой



Валерий Васильевич Королёв (1945–1995) — замечательный русский писатель, чьи произведения составили классику современного «коломенского текста». Родился в Москве. Там же окончил Институт культуры. Ради литературного труда бросил престижную работу и перебрался в коломенскую провинцию. Печатался во многих всероссийских журналах.

Однако после безвременного ухода писателя основные его работы оставались неизданными. Они составили золотой фонд «Коломенского альманаха». На страницах ежегодника увидели свет шедевры королёвской прозы: «Родимая сторона», «Древлянская революция», «Похождения сына боярского Еропкина», «Добрые люди»... Именно они задали высокую планку нынешней коломенской прозе: рядом с вещами Королёва публиковать откровенно слабые работы было просто невозможно.

Сборник повестей писателя вышел отдельным изданием в 2000 году.

Именем Королёва названа Центральная городская библиотека.

Сегодня Коломна отмечает 70-летие Валерия Васильевича и вспоминает 20-летие его кончины. Повесть, помещённая в нынешнем альманахе, написана в конце 80-х годов прошлого века. Она — прекрасный образец королёвского стиля.

Повесть

УГОРЬЕВСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ

«**Б**езмерно дорогой и больше чем любимой Александре от Андрея», — читаю я в который уж раз и, в который уж раз перевернув фотографию, истово рассматриваю молодцеватого капитана, сходного чем-то с моим тестем. С фотографии глядит вихрастый, ушастый мальчишка, но так как тёща, в который уж раз, восхищается: ты посмотри, какой он был молодец — я и пишу — молодцеватого.

Пока я рассматриваю капитана, тёща зудит над ухом, сообщая мне сведения, которые я давно знаю наизусть: Андрей Иванович в молодости был писаным красавцем, высокий, стройный, глаза — серые-серые, щёки — кровь с молоком, и никогда, бывало, не скажет: эй, ты, подай это, а всё — Сашенька да Шурочка, да ангел мой. Чудная жизнь. Ласк его только на год хватило, а потом пошло, и пошло. Я ему: Андрюша, ну как так можно? А он: замолчи! Ну и замолчу. Но сколько можно молчать? Молчишь-молчишь, молчишь-молчишь и опять скажешь...

Обычно на этом тёща умолкает. Забирает фотографию, аккуратно заворачивает в папиросную бумагу, прячет в комод, выходит в прихожую и с порога другой комнаты спрашивает: Андрюша, супчик кушать будешь? Не дождавшись ответа, возвращается, докладывает мне: сердится, читает. И продолжает разговор: ну как можно прочитать столько книг и быть чёрт знает чем? Именно чёрт знает чем, потому что вести себя так может только предмет неодушевлённый. Как Дима родился — так и лежит. Лежит, сердится и книги читает. Книги

учат добру, а здесь разве добро, когда сорок лет вместе и всё дура? Безмерно дорогой и больше чем любимой... Да тьфу!..

Мы с тещей о многом беседуем. Осуждаем геноцид, обсуждаем стихи современных поэтов, рассуждаем о музыке, касаемся воспитания подрастающего поколения, охраны окружающей среды и много другого, чего касается радиовещание. Но так или иначе беседы наши переходят в один и тот же разговор. Ассоциативное мышление тещи блестяще. Меня поражает её способность чувствовать в беседе еле заметную зацепку, дающую логическую возможность повернуть к злободневной теме: Андрей Иванович — это геноцид и гербициды вместе... Жизнь наша с ним, как поэзия того поэта: так много плохих стихов, что два-три хороших не помнятся... У Андрея Ивановича совершенно нет восприятия воспитательного момента... Душа его, как концертный зал, в котором отсутствует резонанс... Безмерно дорогой и больше чем любимой — плагиат, он слова эти с чужого письма сцарапал...

Я женился семь лет назад и семь лет, по утрам, разговариваю с тещей. В досупружеской жизни я просыпался хмурым, сидел за столом, прихлёбывал чай, обдумывал предстоящий рабочий день. Семь лет назад всё изменилось. Настенные часы отзвонили шесть раз, а я уже одет, обут, причёсан, стою посреди кухни с чашкой кофе в руке, радио включено, напротив за столом — теща, в комнате направо спит тесть, в комнате налево спит жена. Ещё там спят две девочки — наши дочки. Сейчас я допью кофе и пойду их будить. Это моя обязанность. Выну дочерей из кроваток, посажу на горшки и шёпотом, чтобы не разбудить жену, начну говорить. У дочерей впереди трудный день, и я должен их на него настроить. Дошкольное воспитание в коллективе — основа основ. Так утверждает жена.

Тёща протягивает мне кофейник — хочешь ещё? Я кручу головой — нет, жую бутерброд и слушаю о том, что между людьми должна быть духовная связь, если она рвётся, люди уже не люди, что Андрей Иванович порвал эту связь и как человек с большой буквы не существует.

Я возражаю: дескать, на заводе, где Андрей Иванович работает, считают, что он — прекрасный человек. Но оказывается, я не гляжу в корень: поведение на производстве — не показатель, главное — как ты относишься к семье, к жене. Например, я, зять, отношусь к семье и жене положительно. Правда, должность у меня — стыдно сказать, но теперь никуда не денешься. Взялся за гуж — держись.

Я гляжу на тещу, на её высокий и широкий, разлинованный морщинами лоб, на нос, нависший над губой, унылый, обиженный, и вспоминаю, как я когда-то впервые увидел её. Она тогда сказала, что рада познакомиться, что я должен осознать: меня принимают в их семью. Потом спросила, чем я занимаюсь, и я ответил. «Бедный ты, бедный, — всплеснула она руками и вздохнула: — Ну, что ж, буду нести и этот крест».

Бутерброд съеден, кофе допит. Я захожу в комнату. Дочери спят — Верочка, старшая, укрывшись с головой, Любаша, младшая, поверх одеяла. Жена тоже спит на нашей тахте, на правом боку, лицо серьёзное, дышит равномерно. На руке, лежащей поперёк тела, блестят часы.

Я встаю между кроватками и шепчу: Верочка, Любаша. Так я повторяю несколько раз, повышая и повышая голос и, наконец, командую: а ну, подъём!

Верочка выглядывает из-под одеяла и говорит: доброе утро. Любаша, наоборот, залезает под одеяло и молчит. Дочки наши — погодки. Верочка — блондинка с голубыми глазами, Любаша — кареглазая и темноволосяя. Верочка постоянно задаёт вопросы, Любаше всегда всё ясно.

Пожелав доброго утра, Верочка спрашивает: холодно ли на улице? Какое платьице надеть? Может, сегодня обуться в сандалики вместо ботинок?

Любаша из-под одеяла заявляет: на улице холодно — в кроватке тепло, она — маленькая, и ей нужно спать больше, она ни в коем случае в садик не пойдёт, мне, папе, нечего и надеяться.

Она так говорит каждое утро. Я стягиваю с неё одеяло. Беру на руки, несу к горшку, советую образумиться, и она выдвигает последний довод: в садик не пойду, потому что у воспитательницы, Татьяны Викторовны, глаза злые. Я делаю строгое лицо и заявляю: этого не может быть. Любаша возражает: может, может, а я отвечаю, что очень огорчён.

Я действительно огорчён. Я уверен, что на всём свете нет женщины добрее Татьяны Викторовны, и целый год убеждаю в этом Любашу. Татьяна Викторовна, со своей стороны, старается понравиться ей. Но наши усилия не приносят успеха.

Наконец дочери одеты. Я веду их в ванную, умываю, причёсываю, потом захожу к жене и шёпотом сообщаю, что вернусь поздно. Та, не открывая глаз, спрашивает: взял ли я ключ?

Наши супружеские отношения с женой просты: спрашивать о ключе — единственная её обязанность. Мы меряем нашу совместную жизнь таким аршином, о котором до свадьбы и не слышали, как, впрочем, и не подозревали, что может существовать такая вот жизнь.

Я отвечаю жене, что ключ взял, и вспоминаю: «Человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья». Выходя из комнаты, думаю: счастлив ли я?

На кухне тёща занимается зарядкой. Выпрямившись, расправив плечи, откинув голову, будто солдат в строю, держится за спинку стула и поочерёдно выбрасывает в стороны ноги. Это называется «тренировать пресс». Тёща — человек больной. Мне кажется, что на свете нет той болезни, которой бы не болела тёща. Удивительно, как у неё хватает сил ежедневно заниматься зарядкой. Сидит, сидит унылая, опустошённая, безвольно бросив на колени тёмные грубые руки, глядит отрешённо в стенку и вдруг командует сама себе: а ну, встать! И встаёт. И начинается зарядка. Медленно начинается, тяжело. Мне всегда больно смотреть на начало, и я предпочитаю появляться на кухне, когда тёща усилием воли уже «раскачала» своё полное тело, когда глаза её обретают осмысленный блеск.

Во время зарядки тёща мне объясняет, тоже в который уж раз, что во всех её болезнях виноват Андрей Иванович: тот в жизни ничем не болел, и вместо него болеет она. Видно, так на свете заведено, что за грехи грешника расплачивается безгрешный. Внешне — закон несправедливый, но глубже копнуть — великая суть в нём: ты потворствовал грехам — значит соучастник, значит и получи по заслугам, болей. Сначала чувствовала, догадывалась, потом знала, а что делала в противовес? Только время от времени плаксивым голосом просила: Андрюшенька, ты меня оставь, пожалуйста. Скажешь так и забудешь. Потому что помнить постоянно некогда. Потому что у старшенького (шурина моего) сносились ботинки, а

у младшенькой (моей жены) что-то с лёгкими. Нужны деньги на ботинки и на путёвку в санаторий, а где достать? А ещё надо отложить на чёрный день. На Андрея Ивановича какая надежда? Для него семья — так: у всех семья, вот и у него семья, в своей семье иногда спал, а вся жизнь на стороне. Работа, работа, постоянно работа, с утра до вечера и с вечера до утра. Попросишь денег — даст, не попросишь — забудет или скажет: тебе вечно не хватает, сколько ни дай. Вот и стала стесняться просить. Ему же на руку. Бывало, утром проснётся чуть свет, «Шипром» попрыскается и пошёл, фон-барон, и дня три его нет, в связи с производственной необходимостью. Мне, бывало, на базаре: Саша, да у него — на стороне. Стою, только глазами хлопаю. Куда денешься, когда на мне дети? Вернёшься домой, вечером скажешь: Андрюшенька, оставь меня, пожалуйста. И опять забудешь. Потому что и обстирать всех надо, и обшить, и картошку копать, и капусту вот-вот время рубить приспееет, а там всё лишнее, что останется, надо на тот же базар везти, потому что не вытянуть свою мелюзгу без лишнего. Крутишься, бывало, туда-сюда, туда-сюда сутки напролёт нечёсаная, немытая, будто баба рязанская, про всё забудешь: и про прошлое, и про будущее, и про то, что у Андрея Ивановича на стороне есть...

На этом месте рассказа тёща обычно вздыхает, кладёт руки на бёдра и общает, что она когда-то окончила педагогический институт, что и у неё были планы, но вот, видно, уж такая судьба, появился он — и всё прахом пошло. Всю жизнь только и слышно: дура, кулёма. Ответишь: ну, если я дура, Андрюша, уйди к ней. Замолчи, рявкнет, так твою распротак. Пойдёшь к матери, а та: терпи, Саша, он муж тебе, муж от Бога. Я на него и в заводе жаловалась, а мне: он — отличный производственник, но мы его пристыдим. После два года глядел на меня зверем.

Сегодня тёща про свою жизнь не рассказывает. Приставив ногу, она советует быстренько прочитать газетную статью о суевериях. Больно уж хороша статья. Коротко, но содержательно написана. Прочитала вчера, мол, и расстроилась: верила, верила во всякую всячину — и зря, не приметы, оказывается, виноваты, а просто жизнь не складывалась.

Тёща у меня — референт по печати. Постоянно она газет не читает, но в свободное от работы на садовом участке время нет-нет да прочитает какую-нибудь статью. Если статья нравится, то её обязательно читаю и я. Потом мы статью обсуждаем.

Я велю дочкам поцеловать бабушку, попрощаться с дедушкой и выпроваживаю их на улицу. Сам сажусь на табуретку. Статья небольшая, в одну четвёртую страницы. В ней доходчиво объясняется, что чёрный кот — блеф, что приметы имеют ведущие в далёкое-предалёкое прошлое религиозные корни, дающие ростки только на благодатной социальной почве, и вообще — вере в приметы подвержены люди со слабой психикой и неудачники. Рекомендуются плюнуть на всё и беречь своё здоровье: приметы совершенно не влияют на ход событий, события происходят, несмотря ни на что, и, как бы мы ни выискивали отражение их в приметах, предугадать события можно одним лишь разумом.

Тёща заканчивает зарядку. Я сворачиваю газету, на вопрос «ну, как?» отвечаю: да так — и добавляю, что пора идти. Тёща глядит на ходики, махающие маятником, и соглашается: пора, отведёшь девочек и сделай то, что я просила.

Тёща много чего просила вчера. Так уж повелось, что в семье считается, будто я самый незанятый человек на свете, будто у меня наилегчайший характер, будто я, по сути своей — «летун», только сложились вот так обстоятельства, что я влюбился, женился, наплодил детей. Теперь и рад бы улететь куда-нибудь, да супружеские узы держат. Но я не успокоился: перестал «летать» по стране — зато преспокойно порхаю по нашему городку Угорьеву. Работал во Дворце культуры — ушёл, из заводской многотиражки — ушёл, был комендантом общежития — не понравилось. Нацелился, было уж, на кладбище в могильщики... но тут вмешалась родня. Семейный совет открыл шурина. Сказал, что так дальше продолжаться не может, их род в городе — уважаемый род, всё было в роду, но леунов не было, а этот (то есть я) — точно бельмо в глазу.

Тесть перебил шурина: мол, бегаёт с места на место и что-то пишет. Писал бы дельное — давно бы приняли в писательский союз, писания — причина для ничегонеделания, тридцать пять лет дурню — пора бы и поумнеть, я в его годы цехом командовал, этот же — мастер только детей строгать...

После этих слов жена всплакнула. Тесть вскочил со стула и в ванную побежал. А я глядел в пол и думал о жене.

Когда мы решили пожениться, она знала о моих писаниях, даже гордилась и говорила, что верит в мой талант. Но оказывается, одно дело самой гордиться и верить, другое — заставить гордиться и верить родню. Кое-что я знал, кое о чём догадывался, но обо всей мере моральных трудностей, с которыми пришлось столкнуться жене, я мог только предлагать. Знаю лишь точно, что она мнению родных обо мне сопротивлялась и почти выстояла, но стала для меня просто женой. А я для неё стал просто мужем. Точнее, мужем-эгоистом. Мой эгоизм, оказывается, особенный эгоизм. Оказывается, не получая ничего, я ничего и не требую. Прикрылся этой своей неприязательностью, словно щитом, и под сенью её творю свои дела. А ещё, оказывается, у меня есть фундамент. Семь лет назад он был шаткой платформой, сколоченной кое-как из неструганных горбылей случайности и необходимости. Со временем платформа укрепилась. Теперь она превратилась в надёжный монолит, состоящий из сплошного кредо, краткий смысл коего сводится к тому, что живущий праведно ничего путного не напишет. От греха к раскаянию, от раскаяния к греху — вот путь испытаний души и совести. Истина — через заблуждение...

Не помню, чтобы я думал об этом, а тем более говорил. Жена же утверждает, что читает мои мысли. Дескать, может, они и великие, но уж семь лет в Угорьеве знают её не как жену мужа своего, а как дочь своего отца, и наших дочерей все называют — внучки Андрея Ивановича, — тебя же (то есть меня) никто не принимает всерьёз.

Я выхожу на улицу и вдыхаю запах древесных листьев, промытых предутренним скоротечным дождём. Верочку ставлю слева от себя, Любашу — справа, беру за руки.

Стоит та часть лета, когда тополь уже сбросил с себя пух, но липа ещё не зацвела. Городок наш — маленький. Называется он Угорьев, хотя в окрестностях его нет ни одной горы. Семь лет я пытаюсь выяснить причину названия, но этого не знает никто. Даже работники краеведческо-

го музея, наверняка знающие, когда в здешних местах появился человек. И это не удивительно. Память людская способна и не на такое. Например, кто есть или был Иван Иванов, именем которого названа эта улица? Или кто есть на самом деле я сам? Иногда мне кажется, что я сплю, бодрствую, ем, пью, дышу, но не существую и, постепенно, начинаю забывать, что существовал. Люди, которые при встрече, в прошлом, улыбались мне за двадцать шагов, теперь, даже столкнувшись со мной, смотрят сквозь меня, рука моя, протянутая, сиротливо повисает, и я невольно обращаюсь, пытаясь углядеть то, что, казалось бы, должно стоять за мной.

Мудрено ощущать себя в маленьком городе. Ещё мудренее, когда вокруг тебя одни личности, а ты — человек маленький. До приезда в Угорьев я такого чувства не знал. Я ощущал, что мне принадлежит весь мир. На поверку же оказалось, не принадлежит даже этот городок, даже собственная жена, даже Татьяна Викторовна. И я уже сомневаюсь: принадлежу ли я себе сам?

Да, казалось когда-то, что мне принадлежит мир и я могу многое. В году пятьдесят четвёртом в нашей семье произошёл спор. Папа доказывал, что сын его должен обладать мужской профессией, мама — что у сына профессия должна быть чистой и благородной. В результате меня определили в музыкальную школу. Так началась моя целенаправленная жизнь. Лет в пятьдесят я смог бы стать народным артистом, профессором консерватории, серьёзным работником в серьёзном учреждении. Но теперь совершенно ясно: не стану никем. Потому что, как сказал про меня тесть, так никто не делает, что человек, поступающий раз за разом так, — дурак, а дурак не завоеует приличного места в обществе. Я, конечно, его зять, и он потянет связи свои, устроит меня на достойное место, но при условии: на месте этом мне до окончания века сидеть. Если, разумеется, не пригласят выше. Меня возмущает тестева уверенность в моей дурачине. Кажется, просто рассудил тесть, а на самом деле всё гораздо проще: что же это за общество, где человек только тогда не дурак, когда занимает приличное место? Не потому ли у нас столько приличных мест? В центре Угорьева, например, глаза разбегаются от обилия табличек, увенчанных государственным гербом. Я никогда не стремился занять приличного места, но когда лет десять назад такое случилось, принялся действовать так, как мне казалось нужным действовать: с просителями беседовал, будто священник в исповедальне, буквально пропадал в подведомственных организациях, вникал в круг их проблем, пытаясь отделить зерно от мякины, наблюдения и выводы заносил в толстую тетрадь, словом, толком не спал, не ел, пытался нащупать связи между некими закономерностями. Через год у меня была готова обширная докладная записка. В ней убедительно доказывалось, что у всех организаций единый набор проблем, что наша, ведущая организация, проблемами этими не занимается и по сути подведомственные организации никуда не ведёт, а, образно выражаясь, верхом сидит на них, помахивает кнутом и не спеша едет. И едет не в гору, а с горы. Завершал записку вывод: дескать, рыба с головы гниёт, а поспеу, дабы плодотворно другими руководить, нужно самим перестроиться.

Ни с кем не посоветовавшись, никого не предупредив, я огласил записку на производственном совещании.

Записка ошарашила всех, как граната. В том смысле, что взорвалась она в моих руках. Все молчали. Да и что тут скажешь, если человек вот так, по своей глупости погиб? Знал же: осторожно надо обращаться с запальным кольцом, и на тебе — дёрнул.

Только главный начальник мой, седой и мудрый, попытался меня спасти. В звенящей тишине глухо прозвучал его голос: «Все свободны. А ты, друг, посиди».

«Дорогой мой, ведь ты пока всего-навсего инструктор, — сказал руководитель, когда наши соратники вышли. — Может, в отпуск? А? Отдохнёшь, одумаешься, а я тем временем всё замну».

«Нет», — ответил я и положил записку ему на стол.

«Нет?»

«Нет».

«Вольному воля, — вздохнул он. — Ступай, пиши заявление», — и опустил первое моё литературное произведение в мусорную корзину.

Выйдя с трудовой книжкой на улицу, я впервые спросил себя: кто я и что мне принадлежит? Разве я в этом мире по праву рождения не хозяин? Почему меня лишили права улучшить этот мир?

Я уехал из родного города. Жил и работал в нескольких местах. Начал писать роман. Вернулся в Угорьев, влюбился, женился и всё же снова задаю себе те же вопросы: кто я на самом деле и что в этом мире принадлежит мне? Кем я был — не помнит никто, кто я сейчас — опять же никто знать не хочет. Из всего мира, несомненно, мне принадлежат только дочери. Их у меня не отнимают. Наоборот, даже подчёркивают, что они всё же мои и я ответственен за их воспитание. Они идут рядом. Любаша молчит. Верочка задаёт вопросы о том, о чём и, между прочим, зачем у человека голова? Я отвечаю, что голова у человека для того, чтобы есть. Верочка озадачена, но Любаша, вроде бы и не слушавшая нас, ставит меня на место, заявив, что в голове помещаются мысли.

Действительно, мысли помещаются в голове. Вот я разговариваю с дочерями, а голова думает, думает совершенно не о том, о чём я говорю. Меня озадачила прочитанная статья. Уж больно впечатляюще написана. Настолько впечатляюще, что я ощущаю в себе моральный крах. Выходит, с сегодняшнего дня я стою лицом к лицу с произволом судьбы. Выходит, мне надеяться не на что. Бывало, увидишь чёрную кошку, свернёшь с дороги — и ты защищён. А теперь как жить?

Можно подумать, что вопрос «как жить?» я задал себе только сейчас. Нет, впервые я спросил себя об этом в семилетнем возрасте. Я забыл дома тапочки, и учитель физкультуры поставил мне двойку. Я плакал. Мне не хотелось идти домой. Казалось, что наступил конец. Конец чего — я не понимал, но что именно конец — ощущал отчётливо. Ведь я был такой хороший, и всё было так хорошо, и вдруг... К такой оценке моего «я» психика была не подготовлена. Впрочем, она не подготовилась к этому и в последующие тридцать лет. Тридцать лет я периодически задаю себе вопрос «как жить» и не нахожу ответа. Единственное, что я знаю достоверно на тридцать седьмом году — жить совершенно по-угорьевски я не могу. И вновь и вновь повторяю: как жить? Моему уму непостижимо, отчего я до сих пор ещё вижу голубым небо, ощущаю запах омытых дождём тополей, ровен с женой, нежен с дочерьми, пытаюсь быть нежным с Та-

тьяной Викторовой? И совсем уж непостижимо, откуда во мне появляется сила, чтобы писать? Считается, что чем больше мы решаем вопросов, тем больше у нас понятий о вещах. Я знаю, что нескладность жизни происходит от недостатка ретивости и ревностности, что совокупность понятий составляет образ мыслей. Ну а какой толк? И ретивость вроде у меня есть, и ревностность, и образ мыслей, а мне: изобретатели — это лентяи, им лень работать — вот и — выдумывают Бог вещь что. Или работай спокойно, или не мешай нам работать.

И я был вынужден переходить на другую работу, чтобы не мешать. Переходил, переходил и допереходился. Дальше некуда. А всё, как объяснил мне тесть, потому что решил проверить соответствие истине неких истин не на чужом, а на своём опыте.

Улица изгибается вправо, а налево начинается переулочек, и мы, трое, вступаем в него. Переулочек немощёный. Вернее, видимо, он считается мощёным, потому что кое-где, между лужами, виднеется белёсый, старей-престарый асфальт с вкрапленными в него кусочками щебня. Асфальт с камушками — так называют его Верочка.

Чтобы благополучно миновать лужи, мы выстраиваемся гуськом: Верочка — первая, за ней Любаша, за Любашей я. Такой строй удобен: мне видно, куда дочери идут, и можно спокойно рассказывать сказку — поглядываешь на красную и жёлтую панамки и не повышая голоса говоришь.

Вступая в этот переулочек, я всегда начинаю рассказывать сказку и рассказываю до тех пор, пока не подойдем к детскому саду. Если сказка длинная и мы подходим к детскому саду прежде, чем я успеваю рассказать её — досказываю на следующее утро. Таков обычай.

Любаша предлагает рассказать сказку про Несмеяну-царевну — сказка эта, мол, не длинная, до садика как раз успеешь. И я начинаю говорить глубоким голосом. Прабабка моя, Василиса, говорила так же. Бывало, пустит нас, внучат — Лидку, Гальку, Юрку, меня — поперёд себя по тропинке, перекинет крашенку с малиной в левую руку, утрёт лицо ладонью, будто умоется, глянет вправо, на синюющую на лугу речку, влево, на чернеющий за полем лес, и заведёт нараспев: «Как подумаешь, куда велик божий свет! Живут в нём люди богатые и бедные, и всё им просторно, и всех их призирает и рассуждает Господь. Живут роскошные — и празднуют; живут горемычные — и трудятся; каждому своя доля!..»

Я тоже говорю нараспев. Правда, не гляжу вправо и влево — ни поля, ни лесе, ни луга, ни речки там нет. По обеим сторонам переулочка тянутся дощатые заборы, через заборы свешиваются ветви вишен и слив, за заборами, над сливами и вишнями — затейливые светёлки. В заборах — ворота. Двое-трое ворот изукрашены древней глухой резьбой. Все наличники, светёлки, ворота в этом переулочке я знаю как свои пять пальцев. Вступая в переулочек, я обычно вздыхаю про себя: эх, матушка старина! Мне всегда хочется прослезиться при виде старины. Мне кажется, что наша старина особенная, эдакая, именно наша старина, которая потрясает не древностью формы, а физическим состоянием. Глядишь на неё и умиляешься: старина стоит, скрипит, ведь сколько времени прошло, а не падает.

Я рассказываю сказку. Впереди, над светёлками, белеет фронтон детского сада. Скоро я увижу Татьяну Викторовну и между нами произойдёт ничего не значащий для окружающих разговор, полный на самом деле

особого смысла. Если бы мы с Татьяной Викторовной не могли бы вот так разговаривать по утрам, жизнь наша покрылась бы мраком. У нас с Татьяной Викторовной нет будущего. Мы не можем вместе пройти по улице, не можем на людях посмотреть друг другу в глаза. Мы давно не можем с уверенностью сказать: мол, завтра или послезавтра, или на той неделе встретимся и день или полдня будем с тобой. Чтобы у тех, кто живёт бок о бок с Татьяной Викторовной и со мной, было почти всё, у нас нет почти ничего. Великий композитор воскликнул когда-то: «Жизнь есть трагедия, ура!» И я тоже восклицаю: «Жизнь есть трагедия!» Но у меня не хватает мужества добавить «ура».

В начале супружеского счастья я игриво спросил жену: как бы она поступила, если бы я в кого-нибудь влюбился? Жена тоже игриво ответила, что удавилась бы с горя, и я, её муж, мучился бы совестью всю жизнь. Вот это, дескать, была бы месть!

В свою очередь и она спросила: а как бы в подобном случае поступил я? Я самодовольно хмыкнул и ответил, что, прежде чем повеситься, убил бы её.

С тех пор прошло всего семь лет, но никто из нас не вешается и не убивает.

Ни о чём так не судится поверхностно, как о характере человека. Себя-то чтобы понять, надо пуд соли съесть, а понять другого, тем более женщину... Мы с женой прожили семь лет, и за семь лет раз четырнадцать я решал: наконец-то её узнал. И четырнадцать раз убеждался, что её не знаю. И пытался, пытался, пытался узнать вновь. Пытался до тех пор, пока не появилась Татьяна Викторовна. Когда оказалось, что узнавание — лишнее дело, что нам с женой удобнее жить просто так, каждому самому для себя, но для людей вроде бы друг для друга. Так и живём. Жена по утрам долго спит, потом уходит в свой клуб на работу. Когда я возвращаюсь со своей работы, она опять спит. По воскресеньям ритм меняется: жена просыпается рано и уходит «навещать подруг». Я просыпаюсь позже. Поднимаю дочерей, умываю их, одеваю, кормлю, и мы гуляем целый день. Читаем книжки, рассказываем сказки, судим-рядим о том, о сём.

Домой возвращаемся часов в пять. Жена к тому времени уже дома. Она принимает дочерей и заявляет, что я свободен. И в шесть часов вечера из дома ухожу я. Обязательно ухожу. Если даже мне идти некуда.

Иногда я пытаюсь решить, кто нас с женой такими сделал? Она сделала меня или я сделал её? Или нас обоих сделали такими тесть и тёща? Или виноват в этом наш городок? Или вообще виновата жизнь?

Когда я, мысленно, дохожу до жизни, то расстраиваюсь тем, что мы — временны, жизнь — вечна, и что вечная эта жизнь состоит и будет состоять из таких, как мы. Но тут же успокаиваю себя: в вечной жизни наметился прогресс: сравнить тестя с тещёй и нас с женой — мы друг друга поедом не едим, жена моя не горбатится на работе, а я не хожу с видом, будто нашёл философский камень, и в спорах не отстаиваю свою правоту возгласом: «Мы же — люди не глупые!». Верочка спрашивает: почему на одних домиках наличники белые, а на других синие? Не красивее было бы, если все наличники выкрасить бы в один цвет?

Я поднимаю взгляд на уровень окон и собираюсь сказать, что красота и единство в разнообразии, но не говорю: Верочка, конечно же, меня не

поймёт, а сейчас объяснять что-то я не могу, сейчас я могу лишь рассказывать сказку. Сказка сама собой слетает с губ и не мешает думать о постороннем. Например, о том, почему дети спрашивают: «а почему», взрослые же почти не спрашивают? А почему не спрашивают? И какое значение в нашей жизни имеет «почти»? Получается, вроде почти огромное. Ведь мы пользуемся этим словом почти постоянно. Говорю Верочке: мы, мол, почти пришли в детский сад, и на все вопросы я отвечу вечером.

Мы гуськом входим в детсадовскую калитку и разворачиваемся в обычный строй: я — в середине, Верочка — слева, Любаша — справа. Время — без двадцати пяти минут восемь. У меня есть десять минут для того, чтобы отвести Верочку в группу «Василёк», Любашу — в группу «Берёзка», снять с Любаши кофточку, сандалии, обувь в чешки (Верочка всё это делает сама). Потом нужно сдать Любашу с рук на руки Татьяне Викторовне, сказать: «Доброе утро, Татьяна Викторовна», — и заглянуть, по мнению Любаши, в злые, а на самом деле в очень добрые глаза цвета дымчатого топаза.

Всё происходит так, как происходит каждое утро. Только вместо обычного «здравствуйте» Татьяна Викторовна отвечает: «Здравствуйте, товарищ Вольнов, — и добавляет: — начался новый трудовой день, я после вчерашнего дня отдохнула, а впереди две смены, потом то да сё, а потом нужно ещё навестить сестру — сестра неожиданно заболела».

Я сочувственно качаю головой и удивляюсь: как вы всё успеваете? Она соглашается: да, тяжело, тяжело, не мы крутим жизнью, жизнь нами крутит. А вообще, всё бы ничего, но вот сестра, дай бог, часам к десяти к ней вырваться. Раньше никак не получится: и постирать надо, и на завтра щи сварить, Светке заштопать колготки, с Серёжей повторить английский.

Татьяна Викторовна чуть улыбается, прищуривая глаза, и они мне говорят: я — несурзная женщина, но знаешь, как я тебя люблю?! А ты меня люби хоть чуточку. Мне и чуточки хватит, чтобы быть сильной. Иначе торговлю эту не вынести.

Я тоже улыбкой и взглядом отвечаю: не беспокойся, я люблю тебя, буду у сестры твоей ровно в десять.

Я выхожу на улицу. Солнце уже забралось на светёлки. Лужи из пепельно-серых превратились в жёлтые. Асфальт подсох. Высокая трава вдоль заборов тоже подсохла. Порывистый ветерок пытается положить траву на землю. Трава сопротивляется, чуть слышно звенит, и сквозь звон мерещатся мне слова из сказки про Несмеяну-царевну: «Каждому своя доля».

Ускоряя шаг, я трясую головой, чтобы не слышать про долю, но ветерок налегает на траву крепче, трава уже не звенит, она postanьывает, и в моей голове под стон травы кто-то убеждённо вещает, раз за разом, раз за разом, подчёркивая интонацией то первое слово, то второе, то первое, то второе: «Ка-а-ждому своя доля, каждому своя-я доля, ка-а-ждому своя доля...»

И я начинаю размышлять о доле. Вот, говорят: доля, доля. Этому — доля, и этому — доля, и тому — доля. А от чего доля-то? От какого целого? Кто это целое между нами делит? И из чего оно состоит? Почему одному доля маленькая, но сладкая, а другому большая-пребольшая, да горькая, как полынь? И почему, чем горше у человека доля, тем человек лучше? Неужели, если бы Татьяна Викторовне доля досталась послаще, то Татьяна Викторовна была бы другой?

От этой мысли мне становится не по себе: мне не хочется, чтобы Татьяна Викторовна была другой, хотя я к ней очень требователен. Я стал требователен с тех пор, как понял, что люблю её. Никогда, ни от какой женщины я не требовал столько, и мне от своей требовательности тяжело. Татьяне Викторовне тоже тяжело, но она молчит и терпит. Она удивительно терпелива во всём, что касается меня. Это помогает мне любить её, несмотря на сложности, с которыми нам пришлось столкнуться, о которых мы и не подозревали. Поживший человек всё почти делает по привычке. Татьяна Викторовна, по своей терпеливости, мои навыки не замечает, а я её навыки не замечать не могу. Мне всё время кажется, что она поступает со мной так, как семнадцать лет поступает со своим мужем, и даже носовой платок, сложенный для меня особым способом, вызывает во мне безумную ревность. Я непримирим во всём: мне не нравится цвет губной помады её, фасон причёски, привычка называть меня «лапа мой», привычка садиться с левой стороны от меня, не снимать с руки ни при каких обстоятельствах часы, и ещё многое, что воспринимается нормально, если женщина не замужем, и оскорбительно, если она — чужая жена. И, наконец, меня совершенно выводит из себя её муж, человек мне незнакомый. Он постоянно стоит между нами. Время от времени Татьяна Викторовна меня убеждает, что муж, по существу, ей никто, что он всего-навсего — отец её детей. На три-четыре дня это приносит облегчение, и три-четыре дня мы с Татьяной Викторовной по-настоящему счастливы. Но только три-четыре дня.

Больше же всего меня мучает то, что Татьяна Викторовна смирилась со своей долей. Замуж она вышла в восемнадцать лет. Из глухой деревни попала в город, удивилась непонятной жизни, сжалась в комочек да такой и осталась. Расслабиться ей мешали воспринятые с молоком матери понятия, что у всех мужа — и у тебя муж, а что Бог дал — то и твоё, и ничего более, живи, терпи, работай, пестуй детей. Другие и того хуже живут, а её Петенька хоть не пьяница. Придёт с работы, поест и спать. Утром проснётся — и на работу. И так без перерыва семнадцать лет.

Попробовала Татьяна Викторовна раз ввести мужа в разум, но тот ответил что-то вроде того: ты — баба, вот и крутись, а на кой ляд тогда я тебя за себя брал?

День у Татьяны Викторовны начинается в половине пятого утра. Она просыпается, ставит варить щи (Петенька предпочитает обедать дома), накручивает волосы на термобигуди, гладит бельё, высушенное накануне. Потом готовит завтрак и будит младшую дочь. Тут просыпается Петя. В трусах садится за стол, съедает яичницу с салом, пьёт какао и не глядя лапает клеёнку слева от себя. Татьяна Викторовна сигареты туда уже положила, Петя закуривает и идёт по другим делам.

В это время просыпаются два старших сына. Им тоже яичница, потом чистые рубашки и носки, потом в кипящий бульон засыпается капуста, потом взгляд на часы — шесть часов, дочку в охалку — и в детский сад. Работает Татьяна Викторовна, как правило, по две смены: не хватает воспитательниц да денег в семье недостаёт. А вечером снова дочь в охалку — и по магазинам. Домой прибежит — Петя читает газету и пьёт чай, сыновья сражаются в шашки. По телевизору — клуб кинопутешественников. Сядет Татьяна Викторовна к телевизору, минутку передохнёт — и

готовить ужин, потом кормить своих мужчин, потом мыть посуду, потом стирать, штопать, потом детей укладывать спать. Потом Петеньке: встань с тахты, голубчик, на минуточку, я постелю постель...

В субботу обязательно генеральная уборка, стирка и мытьё детей, стряпанье на воскресенье. В воскресенье, с утра, можно передохнуть, а потом, благо свободна, приготовить обед и ужин на понедельник да Петю встретить честь честью с двухдневной рыбалки — он, лапа мой, устал за два дня.

От вечной спешки у Татьяны Викторовны иногда нарушается координация движений. Она ставит чайник мимо плиты, сыплет сахарный песок мимо чашки, роняет посуду, разжимая пальцы раньше, нежели нужно разжать их. У неё побаливает желудок. Она не может спать на левом боку. Она лет десять мечтает о разводе, но сама боится заявление подать и надеется, что это когда-нибудь сделает Петя. Если заявление подаст Татьяна Викторовна, то люди скажут, что она — плохая жена. Ведь отказаться от Пети, трезвого человека, может только такая женщина, у которой на уме чёрт знает что.

Я убеждаю Татьяну Викторовну, что это глупости, что Петя от такой вольготной жизни сам не откажется никогда, что нужно разводиться, пока он её не вогнал в гроб. Татьяна Викторовна всегда соглашается, но тут же всегда спрашивает: а почему, дескать, не разводишься ты? И я начинаю спрашивать себя: а почему, действительно, я не развожусь? Почему не разводятся мой тесть и тёща? Почему у нас у всех такая bestолковая жизнь, и какого рожна нам надо, чтобы она стала толковой? Может, нам всем сразу развестись и соединиться с теми, кого мы любим? Но ведь мы все когда-то соединились по любви. Выходит, любовь и семейная жизнь — разные вещи. Любовь первоначальна, но, видно, не бесконечна, и ей, по правилам, положено перевоплощаться в счастливую семейную жизнь. А мы почему-то не знаем этого правила. В нас от рождения вложены безусловные рефлексы любви, но условные рефлексы счастливой семейной жизни не вложены. Кто их не вложил и почему вложить? Почему, когда дело касается очень важного, от чего зависит смысл бытия, у нас выходит именно так, что толком ничего не выходит?

Боже мой, как много я стал задавать сам себе вопросов. Виноват в этом, я думаю, наш милый городок. До приезда сюда я не то что себя, но и других-то ни о чём не спрашивал. А всё началось с того, что в первый же день жизни здесь у гипсовой спортсменки возле стадиона в руке вместо копы оказалась кочерыжка. Я удивился и спросил одного, другого, третьего: почему? Они не дали мне вразумительного ответа, и я теперь, дабы не беспокоить окружающих, спрашиваю только сам себя. Спрашиваю о многом, но из многого на многое не могу ответить. Например, почему в Угорьеве городским отделом культуры заведует отставной майор? Почему по речке Угорьевке постоянно плывёт бензин? Почему моё писательство расценивается как забава умалишённого? Почему и жена моя, и Татьяна Викторовна круглосуточно не снимают с рук часы и почему часы на руке жены меня даже не раздражают, а на руке Татьяны Викторовны вызывают безумную ревность? Ох, как хочется во всём отыскать суть!

Выйдя из переулку, я поворачиваю налево. Путь мой лежит в гараж шурина. Там меня встретит тесть, и мы с ним кое-что сделаем. Это исключительный случай, потому что тесть никогда не делает кое-что. Дея-

тельность его носит только государственное значение. Даже обычное лежание на тахте с книжкой имеет глубочайший смысл: Андрей Иванович не читает, а, по его выражению, беседует с писателем. Содержание бесед не знает никто. Лишь изредка мне, как пишущему человеку, высказываются мнение о личности автора.

Я выхожу на крепкий асфальт центральной угорьевской улицы и шагаю под сенью собравшихся зацвести лип. Утро только-только переросло в день, а день едва заметно начал крепнуть. Автомобили взметают с обочин подсохшую пыль, и солнце, висящее над липами, уже чуть-чуть померкло. Пыль, как мне кажется, обязательная принадлежность всех таких маленьких городков. Принадлежность и неприятная, и приятная. Неприятная, потому что от пыли бывает трудно дышать, и приятная, потому что она наша, собственная, всеобщая.

Есть у меня такая манера обобщать, не имея на то серьёзных оснований. Повидал за свою жизнь десяток пыльных городков, и бац — всеобщая пыль. Как будто не найдётся у нас теперь десятка городков непыльных. Ведь я слышал о таких. Жизнь движется вперёд, а я — пыль да пыль. Привычка. К примеру, в Угорье, как и везде теперь, тоже есть современный микрорайончик, а я радуюсь при виде стен бывшего угорьевского монастыря и совершенно не радуюсь двадцати бетонным щелястым коробкам, взбодрившимся на юру. Потому что монастырь выстоял века, а бетонные коробки, по-моему, вряд ли выстоят. Потому что монастырь без реставрации ещё стоит, а бетонные коробки, не успев заселить, уже реставрируют. Значит, как мне кажется, в них не заложена сила для самостоятельного пути в будущее, а следовательно, нечему и радоваться.

Удивительно, что прошлое вызывает у нас слёзы умиления, а настоящее часто не радует. Но, наверное, так и положено. Если бы люди, на протяжении истории, восхищались бы только настоящим, никакой истории у людей не было бы. Придумали бы каменный топор и носились бы с ним, как с писаной торбой, по сю пору. А может статься, не дошло бы дело и до топора.

Я — мастер поразмышлять над историей человечества. Люблю прогуляться по Угорью, отыскать иногда в заросшем травой переулке какой-нибудь флигелёк, разглядеть его, ощупать тёмные, будто графитовые бревна и начать от брёвен этих «петли метать», перескакивая через века и тысячелетия, мысленно забываясь в такие дебри, откуда сегодняшнего настоящего не видать совсем. Щупаю я флигелёк и движением этим пытаюсь определить человеческое творческое начало. Думаю о том, что было давным-давным-давно и что будет в далёком-далёком будущем? Что есть настоящее и какой это исключительный по значению момент и для прошлого, и для будущего, и для самого себя, настоящего. И, в конце концов, что есть наш маленький городок? Какое значение он имеет во всей нашей жизни и что есть все мы в нашем маленьком городке: мои тесть, тёща, шурина, жена, Татьяна Викторовна и я? Что мы восприняли от прошлого? Что дадим будущему? Кем мы являемся сами для себя в настоящий момент? Сознательно мы существуем или бессознательно, и в каком состоянии лучше всего существовать, чтобы совесть была чиста? И так ли уж необходима нам совесть? Жизнь наша — тихая, едва заметная в масштабах страны, как едва заметен на карте наш Угорье. Так ли уж

важно, при каких условиях, как мы жить будем? Так ли уж важно, что мы вообще живём на свете? И ещё: что бы случилось, если бы не было никогда ни нас, ни нашего городка?

Было бы то, что было? Стало бы то, что есть? Что бы потом получилось? Но это всё — только игра воображения. Мы существуем: и тесть, и теща, и шурин, и жена, и Татьяна Викторовна, и я.

Я шагаю по крепкому асфальту центральной улицы нашего городка и размышляю, что всегда и во всём лучшее местоположение — центр. Ведь центр — сосредоточие всевозможных событий, и если даже участие твоё в событиях равно нулю, ты всё-таки можешь иногда ходить по крепкому асфальту. Я и иду. Шурюсь на молодое солнце. Обгоняя меня, пронесются автомобили. Липы чуть-чуть шевелят листьями, стряхивая с себя пыль. Рабочий день начался два часа назад. Прохожих мало. Это даёт возможность спокойно думать.

Я вступаю на площадь. Прямо передо мной тянется к небу башнями и колокольней бывший угорьевский монастырь. Справа щетинится растущими по карнизам карликовыми берёзками одноглавая церковка Троицы на слезах. Слева внушительным железобетонным кубом покоится торговый центр. Чуть правее горюнится похожий на вытащенную на сушу пристань автовокзальчик. Посередине — огромная, словно цирковая арена, клумба. Над клумбой — обелиск, поставленный в честь того, что чуть ли не тысячу лет назад Угорьев был упомянут в летописи. Монастырь — краснокирпичный, церковная штукатурка цвета не имеет, торговый центр — ярко-белый, автовокзальчик вроде бы зелёный, клумба усажена чем-то бледно-розовым, обелиск блистает нержавеющей сталью. Над площадью бесшабашно-синее небо, и от этого настроение моё становится бесшабашным. Я расправляю плечи, трясую головой, и мысли мои становятся бесшабашными. Мне вдруг хочется торговый центр подвинуть влево, вокзальчик стереть с лица земли, церковку Троицы на слезах заново оштукатурить, монастырь поставить на место клумбы. Но куда деть обелиск?

Я мысленно ставлю то в одну точку площади, то в другую, то в третью эту махину из блестящего металла, но она нигде не глянется. Тогда я осторожно беру в обе ладони церковку Троицы на слезах, обелиск ногой отодвигаю почти за город и опускаю церковку в центре клумбы. Отступаю на пару шагов, смотрю — в моей перестановке есть какой-то смысл. Но тут меня берёт оторопь: а что скажет главный архитектор нашего городка? Ведь он любит изменять лицо Угорьева сам, не посвящая никого в свои замыслы. По крайней мере, я не знаю, во имя чего он приказал сломать пожарную каланчу, вырубить сады вокруг неё и на том месте сложить гору из бетонных плит. Ещё я, глядя на обелиск, не знаю, почему не ощущаю, что Угорьеву почти тысяча лет.

Я подавляю оторопь, гляжу на небо и вновь в сердце слышу бесшабашный мотив. Повинуясь ему, задвигаю обелиск подальше, за горизонт, где обелиску, по моему мнению, удобнее превращаться в исторический памятник, и хватаюсь за куб дома торговли. Но тут неожиданно командую сам себе: стоп, к чему столько грандиозных перестановок? Станет ли городок наш другим, если я здесь всё по-своему нагорожу? Ведь Угорьев определяют люди, а не пейзажи. Уж коли мне хочется что-то изме-

нить в угорьевской жизни — надо начинать с людей. С другой стороны, можно ли изменить людей, не меняя пейзажей, к которым они привыкли? И с третьей стороны: по какому праву я вот так, запросто, переделываю пейзажи и собираюсь переделывать людей? Можно ли переделывать других, когда внутри себя сам нагромоздил так, как не нагромоздила бы и сотня угорьевских главных архитекторов?

Эта мысль удерживает меня от дальнейших перестановок. Я вынимаю руки из карманов брюк, голову, пригнув к плечу, ставлю прямо, то есть принимаю вполне нормальный для угорьевца вид, и продолжаю движение по площади. Путь мой лежит вокруг монастыря, по берегу Угорьевки, к заводу, где работают мои шурин и тесть. Времени для размышления достаточно. А поразмышлять мне надо. Ох, как надо поразмышлять! Хоть немного навести порядок, разобраться в горе ломаного и целого, накопившегося в душе за семь лет, отыскать тот стержень, который помогает осознать свою значимость, который у всех есть, кроме меня. Например, у тестя — это участие в войне и послевоенная сорокалетняя беспорочная трудовая деятельность. У тещи — тяжело прожитая жизнь и скопленная про чёрный день копейка. У шурина — «Волга», купленная в двадцать семь лет, и одинаковая фамилия с тестем. У жены то, что она совершила подвиг, родив двух дочерей, и что зарплата её, по сравнению с моей, на сорок рублей больше. У Татьяны Викторовны — способность изыскивать время, чтобы любить меня.

Мне тоже хочется иметь стержень. Странно, я не могу жить, как все, но хочу быть в равном со всеми сознании. Точнее, я не хочу, я просто не могу без этого. Мне до дрожи в коленях, до тошноты хочется оказаться в строю достойно несущих своё достоинство. Лучше же не в строю, а чуть впереди. И тогда, как мне кажется, всё изменится. В угорьевском стаде я перестану ощущать себя посторонним верблюдом. Все поймут, что сегодняшнее состояние моё было естественным для человека, пошедшего ва-банк со стопроцентной уверенностью в выигрыше. Господи, как прекрасно мне будет писаться. Писательство станет моим узаконенным трудом. Мне никто не будет намекать, что, садясь за стол, я обкрадываю семью и общество.

Много ли нужно, чтобы всё случилось именно так? По сути, не много. Роман я написал и отослал в издательство. Остались пустяки: побыстрее бы признали рукопись талантливой и приняли к печати. Себе я внушил, что я — писатель, и теперь надо это внушить другим. Сложившаяся жизнь требует соответственных себе дел и от дел этих соответственных результатов.

В противном случае ты становишься несостоятельным человеком, а впоследствии — несостоявшейся личностью. К сегодняшнему дню я совершил многое: порвал с прошлой жизнью и профессией, сложил новую жизнь, написал роман и считаю себя несостоятельным человеком. Если из издательства придёт отрицательный ответ, я — несостоявшаяся личность. Тогда круг замкнётся. Тогда вряд ли у меня хватит сил на новый роман. Я представляю, как круг станет сжиматься. Необоримо страшное состояние. И в нём я буду виноват сам. Сидел бы сейчас на своём изначальном месте, за полированным столом, всецело и всесторонне уважаемый, перебирал бы серьёзные бумаги, решал бы чужие судьбы и потихоньку,

исподволь ковал бы свою судьбу. Вернее, она бы сама ковалась. Особых усилий от меня не требовалось. Качество моей судьбы зависело от количества перебранных мною серьёзных бумаг.

Но к чему судить-рядить о том, чего уж никогда не будет. Кто-то пошутил, что если бы царь Иван Васильевич вместо Казани взял Лиссабон, то в Португалии было бы теперь что-нибудь другое. Но царь Иван Васильевич взял всё-таки Казань, а я всё-таки отказался от полированного стола и шагаю по Угорьеву, и мысли мои скачут, и я их не могу взнудать.

В последнее время в моём мышлении порядка никакого. Я уже думаю, что Иван Грозный шёл через Угорьев на Казань и из Казани возвращался через Угорьев, что здесь, в Угорьеве, он в честь взятия Казани приказал воздвигнуть храм. Ещё я думаю: почему царь взял Казань? Как будто трудно ему было сходить в Португалию. Жутко интересно: в результате что было бы сейчас? Был бы я и кем бы я был? Ещё я шепчу, почти не разжимая губ: «Желай, и желания твои будут исполнены. Но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь...»

Да, она здесь, она здесь. Я, почти не разжимая губ, это повторяю и повторяю и всё больше и больше не хочу соразмерять свои желания со своей жизнью, которую я и ненавижу, и люблю.

А молодой день всё крепнет и крепнет. Ещё какие-нибудь полтора-два часа, и он потребует от меня зрелых мыслей и определённых суждений. Я сяду за обычный неполированный стол и попытаюсь писать, то есть переключать зрелые мысли и определённые суждения на бумагу. В преддверии этого мне всегда тяжело. Я чувствую себя глупым, неспособным изложить на бумаге связно и пары слов. Я просто себя ненавижу за нахальство, когда, пыхтя и потя за своим столом, пытаюсь сказать что-то новое, переплюнуть тех, которые уже всё сказали.

О предстоящем процессе писания я стараюсь не думать. Иду вдоль монастырской стены, сворачиваю за угловую башню, спускаюсь к речке Угорьевке, к распластанному на воде наплавному мосту.

На другом берегу, за серым забором, громоздятся цеха завода.

Вдоль забора тянутся частные гаражи. Путь мой лежит к гаражам, в святая святых каждого угорьевца, сподобившегося приобрести в собственность автомобиль, в святая святых моего шурина.

Шурин — постоянный мой оппонент в спорах. Когда мы с ним познакомились, он заявил, что его тридцатилетняя жизнь полна свершений: в восемнадцать лет он купил себе мотоцикл, в двадцать три кооперативную квартиру, в двадцать семь — «Волгу», а сейчас отделяет гараж. Я поправил его: наверное, доделывает? Шурин настоял: именно отделяет, ибо гараж приобретён вместе с «Волгой».

Я тогда сказал, что моя жизнь намного скромней: в двадцать лет я только окончил институт, а в двадцать семь впервые сменил работу, что будет дальше — трудно сказать. И усомнился: при том заработке, который шурина имеет на заводе, вряд ли он смог бы всё свершить сам.

С тех пор я шурина — враг. Причину ненависти он мне растолковал так: «Я только думаю, а ты — задумываешься».

Ещё он сказал, что такие, как я, таким, как он, мешают жить. Вы, мол, придумываете всякое, чего никогда не было и чего никогда не будет.

Но, слава Богу, мол, что нас много, а вас — пшик. И вообще, мол, большинство двигает прогресс, а задумывающиеся суют им палки в колёса.

Я ему: «И правильно. Иначе вы, по своей «прогрессивности», всю землю разбазарите, а жить надо экономно».

«Э, — ответил, — хватит экономить. Жить надо привольно. Земля наша всё выдюжит. Татар выдюжила, поляков выдюжила, немцев выдюжила — и ничего».

«Э, — сказал я, — татар и прочих выдержать было немудрено. — Мы им сопротивлялись. Себе же сами сопротивляться не научились».

А он: «Вот то-то и оно, это только ты мог додуматься, чтобы я сам себе сопротивлялся. Ты — враг созидателей. Не думай, что я только гаражи отделять могу. Если надо — материки местами поменяю. Нил будет впадать в Ледовитый океан, Амур — в Каспийское море. На Антарктиде растопим лёд — станем там нефть добывать. Грандиозно?»

И мне пришлось согласиться: грандиозно. Только, родственник ты мой малахольный, что ты потом жрать будешь?

Ответил: «Мало того, что ты вредный, ты ещё и скучный человек. Продукты станем возить, к примеру, с Венеры. Жалко, мы не доживём до этого. Ну, внуки, правнуки доживут. Эх, и жизнь у них будет весёлая!»

А пока шурин готовит весёлую жизнь моим дочерям. Своих детей у него нет, и он постоянно повторяет: «Мне что, много надо? Мне, чтобы пока более или менее жилось, а там — всё племянницам. Ты, писатель хренов, ещё будешь меня благодарить. Ты ведь в долгах, как в шелках — дочерям-то замуж выйти не с чем будет. А я — человек реальный. Конечно, дочери — твои, но и мне они — родная кровь.

Так уж извини-подвинься — чтобы родная кровь да жила кое-как? Ну нет!»

Я слушаю его и временами ощущаю себя слабым человеком. Потому что временами мне хочется думать, как он, делать, как он. Временами я не против, чтобы реки потекли вспять, а на месте Европы была бы Азия. Я хочу купить кооперативную квартиру, машину, отделать гараж и в выходные дни кататься по Угорьеву. Увидав знакомых, останавливать машину, выходить и калякать о том, о сём. В руках крутить ключи от машины, а на пальцах моих — обручальное кольцо и платиновый перстень. А потом — домой, обедать. А дома довольная жизнью жена, ковры, полированная мебель, собака-овчарка и хрустальная люстра под потолком за полторы тысячи...

Но мысли такие, слава богу, одолевают меня редко. Они скоротечны, и от них в душе остаётся лишь тоненький осадок недовольства собой, да ещё потом я с полдня сглатываю слюну, как если бы захотел полакомиться вяленой воблой, но не сумел достать её.

А шурин мой вот достаёт всё: и воблу, и запчасти для своей и чужих машин, и кафельную плитку, и цемент, и бензин, и много чего ещё, и английские штиблеты, подошвами которых я сейчас попираю древнюю угорьевскую землю. Широка и смелость взгляда в будущее у него совмещаются со смелостью и размахом настоящим. Не в пример мне он — вполне современный человек и, к тому же, начитан. Иногда он, глядя пристально мне в глаза, говорит: «Всяко убо древо, еже не творит плода добра, посекают...» Расплачиваясь за «левый» навоз, купленный для садо-

вого участка, может пошутить: «Отвратительные средства ради благих целей делают и сами цели отвратительными». А на собрании владельцев гаражей заявил, что он — честен, как булат, и самолюбив, как порох.

Тесть от характеристики своего сына, шурина моего, воздерживается.

Тёща — не поймешь, то ли восхищается, то ли осуждает, говорит про шурина, что вот он суёт руки во всё и всё к рукам его липнет. И не страшно ему!..

Я много раз слышал подобное и от других и удивлялся: произошла какая-то странная трансформация в русском языке: во всех случаях слово «стыд» заменялось словом «страх». И мне становилось страшно: что если трансформация пойдёт дальше? Что если слово «зло» заменится словом «добро», слово «чёрное» заменится словом «белое», а равнодушие станет обозначать любовь?

О своём страхе я рассказал тёще и получил такой ответ: ты, мол, зя-тёк, за тремя осинами леса не видишь, кое-что давно одно другим заменилось. Отец мой, путевой обходчик, себя и семью из шести человек кормил. Детей своих и себя я, женщина, уже сама кормила. Вы с женой вместе ни себя, ни дочек уже не можете прокормить, а шурин твой считается уважаемым человеком.

Очень часто от тёщи достаётся всем: и мне, и тестю, и жене, и шурина. Когда тёща в сердцах, она «пластает» налево и направо, и тогда, как говорится — горе кувшину. Шурина она «пластает» за то, что тот уж слишком умеет жить, а меня, что не умею жить совершенно. К тому же, не научил жить жену. Муж, мол — глава семьи, и учить жить жену обязан. Я спрашиваю тёщу: дескать, Андрей Иванович вас жить научил? Отвечает: меня жить жизнь научила. И давай, в который уж раз, растолковывать, что их, детей, у отца с матерью было пятеро и цацкаться отцу да матери с ними было некогда. Детей приучали к труду. Всему, мол, головой был труд, потому-то все пятеро и выросли положительными, а мы с женой, как болонки — только можем тявкать с тёплых коленей. Я спрашиваю тёщу: почему же она не воспитала шурина и жену так, как надо, если знала, как воспитывать? Оказывается, не смогла — Андрей Иванович виноват. Ему, мол, на воспитание детей не хватало времени, а ей, тёще, тоже не хватало — она работала да к тому же тащила семью. Потому что мода пришла: вместо воспитания давать образование. Я, мол, ей, жене твоей, образование дала, а ты теперь давай воспитывай. Спрашиваю: а шурина кто воспитывать станет? Отвечает: мол, опять же жизнь, то есть — при помощи новых законов и общественного мнения. За них, таких, мол, скоро возьмутся — слышал, что по радио-то говорят? И вообще, передай своей жене, что я варить обед больше не буду.

Я передал это жене, и та ответила: ишь ты, она слишком много хочет, а моя задача проста: ходить на работу, воспитывать детей и не мешать тебе выходить в люди. Кроме всего, я — молодая женщина, и должна ещё нравиться. Спрашиваю: кому? Отвечает: ну, не тебе же. У тебя, мол, и в любовниках, и в жёнах — литература. Я предполагала, что пишущие — скучные люди, но не до такой же степени! Ты же, если не пишешь, то думаешь, если не думаешь, то пишешь. С тобой же не о чем поговорить. Я — женщина, понимаешь — женщина, ты даже не знаешь, чего я хочу. А у меня мечта — колечко хочу с аметистом.

Вступив на мост через Угорьевку, я возмущённо вздыхаю: это со мной-то не о чем поговорить!? Ведь говорили когда-то и как хорошо говорили, мечтали о таком, что дух захватывало. Радовался тогда: нашёл наконец единомышленника. Даже цитату удобную у святого Иеронима отыскал: «Взывайте к женщинам, если страшитесь успеху вашего учения, быстро усваивают, ибо несведущи, легко распространяют, ибо проворны, надолго сохраняют, ибо упрямы».

Вот и верь цитатам. Прочитал тогда и подумал, что знаю всё. А на поверку, что я знаю?

Знаю, за что не люблю жену.

Но не знаю, за что люблю Татьяну Викторовну.

Я застаю тестя сидящим на скамеечке возле бампера шуриновой машины. Мало кто может наблюдать, как сидит тесть наедине с самим собой. Если бы сидящего тестя, незаметно для него, выставить на всеобщее обозрение, человечество охватила бы вселенская жалость. Сидит себе маленький, седенький старичок-сморчок, подпёр сухоньким кулачком впалую щёчку, за весь белый свет страдает. Между кулачком и вислым носиком в звёздчатой ложбинке сверкает слеза. Словно бриллиант сверкает, свидетельствуя о непорочности тестевых помыслов.

Но так выглядит тесть наедине с самим собой. Стоило мне лишь появиться в секторе его обзора, как он быстро поднялся со скамеечки, упёрся поясницей в капот, руки на груди сложил. Ложбинка возле носа разгладилась, слезы как не бывало, взгляд отвердел. Это был уже не страдалец за человечество, но наивысший судья людей. Он выпятил губы, принявшие совместно с носом вид сковородника, и сказал, что приготовил для меня поучительное слово: на литературе пора поставить крест. Он, тесть, подыскал мне должность, при которой можно хорошо жить, а главное — стать уважаемым человеком. Ты, мол, пойми, такова жизнь. Человек уважается в соответствии с местом, на котором сидит, и соответственно тому, что он на этом месте может. И для себя, и для знакомых. И для семьи. Вот шуринок, то есть его, тестев, сын. У него должность, от которой зависят все: и кто ниже, и кто выше сидит, и те, которые на одинаковом уровне с шурином. Уровень может быть одинаковым, но позиции разные. Это, как в бою: у всех позиции как позиции, а у одного ключевая. Вот реальность. Он, тесть, своих детей всегда учил понимать реальную жизнь. И ты, зятёк, или понимай с нами вместе, или шагай своей дорогой. Вот тебе моё последнее слово. То, что тёща наказала сделать — наплевать и забыть. Сейчас придёт шуринок, и мы повезём тебя устраивать на новую работу.

Слушая тестя, я вспоминаю книгу, прочитанную давным-давно. В ней говорилось, что несколько веков назад всё было могуче и молодо. Стойкие люди не останавливались на полпути ни в любви, ни в искусстве, ни в ратных делах. Произведения искусства всегда задумывались с поэтическим вдохновением и могли обессмертить царствование короля или дух нации.

Я читал ту книгу и мечтал жить, как в те времена. Я мечтал своим поэтическим вдохновением возвеличить моё время и прославить наш дух в будущих веках. Я мечтал, и я пытался сделать. Но у меня не получилось. Видно, я просто уже не молодой, не могучий и не стойкий человек, и мне уже недоступно поэтическое вдохновение. Я не могу обессмертить дух на-

ции, потому что у меня нет сил отстоять собственный дух. Я — простое, ординарное ничтожество. Сейчас, выслушав тестя, я для вида поспорю чуть-чуть с ним, усмехнусь (мол, почему не поразвлекся) и с независимым видом поеду в машину.

Но мой независимый вид — блеф, он — для отвода глаз. Дабы тесть и шурин не догадались, что я сломлен, а я — сломлен окончательно. Мне стыдно от этого перед самим собой, и, маскируя стыд, я помаленьку начинаю спорить с тестем. Я говорю, что начинающим писателям было трудно во все времена, что не надо далеко ходить — взять, к примеру, Антона Павловича Чехова. Как легко — с одной стороны, и как трудно, с другой, он начинал...

В это время в гараж входит шурин. Он подаёт руку отцу, мне, приваливается, точь-в-точь как тесть, поясницей к капоту, слушает, слушает меня и заявляет: всё это, мол, фигня. Страдал Чехов за людей, писал, думал переделать их, но что вышло? Девяносто тысяч за всё про всё и вагон из-под устриц. Жить надо при жизни. Посмертной славой сыт не будешь. И вообще, всё, что можно написать, уже написано. Если ты напишешь что-нибудь другое — это вредно: жизнь к нам притерпелась, мы — к ней, нам вместе удобно. А тех, которые хотят нарушить это удобство, надо просто-напросто убивать. Меня не надо переделывать. Я — совершенно совершенен. Настолько совершенен, что свою неполноценность осознаю и совершенно не терплю, когда ещё кто-нибудь мне на неё указывает.

Шурин на секунду умолкает, я пытаюсь возражать, но тут в бой вступает Андрей Иванович. Он вновь создаёт из носа и губ сквородник, подтягивает подбородок к ключицам, словно его вот-вот стошнит и, почти не двигая губами, изрекает сдавленным голосом, будто чревовещатель: мол, подумаешь, нашёл кого ставить в пример, подумаешь, Чехов, подумаешь, певец русского безвременья! Безвременья никогда и нигде не было, а было нытьё. Такие вот нытики ныли от личной неприкаянности. Потому что работать не хотели. Выучился, мол, на врача — будь врачом. А то — писать, писать. Оно, конечно, проще писать, чем брать на себя ответственность и лечить людей. Я, мол, если бы захотел в своё время, тоже бы подался в писатели. И что, думаешь, писал бы хуже? Нет, но не подался. Пользы в сочинительстве не вижу. Сочинительство — сплошное смятение умов. «Когда же мы встретимся?», «Кануны», «Царь-рыба», «Закон вечности». Всё это — бред сивой кобылы, и бред скучный до тоски. А то и ещё название — «Живой». Ну — это вообще безобразие. А то ещё тебе: «Серая мышь». И что, мы после той мыши выпивать бросили? То-то вот. Значит, нечего и огород городить. Хватит сочинять. Надо писать реальную литературу. Про таких, например, как я, которые от молодых ногтей не нюжились, знали, что есть настоящий курс, и правила точно по тому курсу. У меня вон, за спиной, завод копит, так сказать — детище, а вы всё душа, душа... Да если бы по душе-то, вместо завода чистое поле было.

Слушаю я тестя и не верю своим ушам. Оказывается, тесть не только читает, но обдумывает прочитанное. Оказывается, ум его особой крепости. Боже мой, в каком только горниле выплавился такой ум? Какие при плавке добавлялись присадки? Что за мастер вложил душу в этот труд? И что за душа была у этого мастера? Но, главное, как мне теперь быть?

Вот два человека, отец и сын, разные внешне, но такие одинаковые. Я стою перед ними. За моей спиной, за речкой, за монастырём, за площадью в детском садике играют мои дочери. Стою я и не знаю, как и чем моих милых дочек отгородить от этих людей.

А тесть будто читает мои мысли. Он взывает к моей совести: мол, себя не жалеешь — ладно, его, тестеву, седую голову — ещё ладней, но у тебя дочери. Что ты им после себя оставишь? То, что мы вот с ним — кивок на шурина — наработали? А сам? Ты же — отец, а тебе не то что перед людьми — даже перед дочерьми не стыдно. Где совесть твоя?

Я слушаю его и думаю: а где же, действительно, моя совесть?

Вернее, наличие её в себе я ощущаю, но она у меня какая-то слабая. Так, зудит постоянно, покусывает, как покусывает пальцы щенок, у которого не хватает силы взъяриться и укусить до крови, поддерживает моё недовольство всем, но окончательно никак меня не взбунтует. Я не даю ей расти и мужать. Потому что с недоразвитой совестью мне удобней — не надо совершать чётко определённых поступков, можно успокаивать себя: дескать, я упал с обшей для всех яблони и, если вершить свои дела откровенно наперекор всем, не долго и замочиться. Я по-волчьему не вою, но подвываю, тихо так, не разжимая губ — и меня терпят. И я пользуюсь этой терпеливостью: принимаю денежные подачки, дабы содержать семью, пишу произведения, которые, вполне возможно, никому не нужны, люблю женщину, которую мне не положено любить, и хочу, чтобы дочери мои выросли достойными. Достойными чего? Достойными того, что я сейчас влезу в машину, купленную на неизвестно какие доходы, поеду занимать должность, которую не заслужил, буду разыгрывать роль почтенного семьянина и крадучись навещать Татьяну Викторовну, а потом писать рассказ про то, что жить надо правильно. А как правильно? Как шурин и тесть? Они живут уверенно, что через минуту я сломясь и приму их облик. Скоро меня возьмут в оборот достаток и сытость. Испытание достатком и сытостью — как я это переживу? Какую обрету сущность?

Самому себе говорить правду страшно. Ясно: я не выдержал испытания неприкаянностью и нуждой и, оказывается, подспудно, ждал этого разговора с тестем. Ждал и дождался, и теперь рад. Скоро я буду, безмерно буду потреблять, ибо демонстративное потребление для меня станет средством самоутверждения. Надо же, мнил себя сосной, а вышел бузиной. Парадокс! Но, как кто-то сказал, парадокс — одна из форм истины.

Тесть подытоживает своё поучительное слово: мол, мы — люди не глупые, хватит трепаться. Если, мол, все станут только трепаться, то кто тогда будет дела вершить?

Усаживаясь в машину, я спрашиваю тестя: если все начнут дела вершить, кто же тогда станет те дела судить?

Тесть отвечает, что судить всем, кому вздумается, нечего. Существует порядок: меня судит тот, кому положено сверху. Я сужу того, кого положено, внизу. А тот, кого положено мне судить, судит тех, которых ему положено. И так далее, и так далее всё вниз и вниз.

Возражаю: но те, кому не положено, тоже хотят судить. Тесть отвечает: мало ли что хотят... Да не дай бог... Да тогда пойдёт такой суд да ряд, что нам, людям не глупым, руки поотшибают... Тогда, зятьёк доро-

гой, остановится прогресс... Тогда вместо «Волги» придётся опять на лошадях ездить...

Тесть ещё что-то собирается сказать, но машина трогается, по наплавному мосту перебирается через Угорьевку. Шурина поддаёт газа, и я, глядя в окошко, начинаю размышлять о том, что кто из русских не любит быстрой езды. Который раз замечаю, как вдруг хорошеет наш городок, когда проезжаешь по нему на приличной скорости. Глаз не справляется с быстрой сменой картин. Обычные улицы кажутся магистралями, пустыри — скверами, запущенные, но ещё не вырубленные сады — парками, а заложенная семь лет назад гостиница, над которой ржавеет высокий кран, — великой стройкой. Поражает чистота и опрятность. Дома кажутся свежеевыкрашенными — на старом шифере крыши не замечается зелёный мох, на трамвайных остановках ни окурочка. Машина летит словно на крыльях. Вот пейзаж, пейзаж, пейзаж, ещё пейзаж... Масса пейзажей, симфония пейзажей в темпе престо, где главная и побочная темы сплетены в единый мотив, название которому — порядок. И тебя вдруг прошибает слеза от этого благолепия, и ты забываешь, что Угорьеву почти тысяча лет и что ни на одной из его улиц и площадей нет ни одной водосточной решётки. Вот почему я люблю быструю езду. Тесть прав: не дай Бог, остановится прогресс, и придётся на лошадях ездить. Теперь не девятнадцатый век. Теперь чтобы почувствовать восторг от Угорьева, мало скакать со скоростью двадцать вёрст в час, нужно нестись, еле касаясь дороги колёсами.

Между тем тесть и шурина разговаривают о своём. Шурина доказывает, что надежда мира — в дальнейшем развитии технической цивилизации, и я спрашиваю себя: в таком случае с какой скоростью придётся ездить по Угорьеву через сто лет? Наверное, придётся не ездить, а летать над самой землёй. Чтобы мелькало, мелькало за окошком, и душа радовалась — если что-то мелькает, значит, что-то и существует, значит, ещё не оскудела земля и есть от чего отталкиваться в стремлении к прогрессу. А когда почва превратится в песок и голубое угорьевское небо станет почти чёрным, мы полетим к другим планетам и от них отталкиваться начнём и летать чуть ли не со скоростью света. Потому что и тогда душа радоваться должна. Иначе она поймёт, что мы творим, и ужаснётся от нашего творчества. Но бесконечного ли? Для нас тысячелетие — тысячелетие, но для мироздания оно — миг. Выходит, покончить с мирозданием можно за час.

Всегда, додумываясь до подобного, я становлюсь врагом прогресса. Мне кажется, что я неоспоримо прав, что человечество во все времена не было подготовлено к прогрессу, что человечеству противопоставлено не только создавать машины, но и разводить лошадей, что оно никогда не управляло созданным, но созданное управляло им. Побуждало и побуждало создавать новое и новое, вроде бы более совершенное и отвлекало людей от совершенствования самих себя. Понукало к быстрой езде, когда нужно бы ещё учиться ходить по земле медленно.

У меня вдруг появляется желание бросить вызов тестю, шурина и машине «Волга» — детищу прогресса: попросить шурина остановиться, выйти и так трахнуть дверцей, чтобы провалилось внутрь её стекло. Но тесть, словно почуяв это, оборачивается и предупреждает: ты, мол, не кипятись,

как приедем — веди себя ровно и осаночку, осаночку соответственную прими, а то я знаю тебя, сядешь на стул и растянешься на нём, будто маркаронина. Тоже мне, свободный художник!

И бунтарский дух во мне сникает. Я съёживаюсь, свешиваю сцепленные кисти рук между колен и гляжу на стриженную под полубокс тестеву голову. Полубокс — великая стрижка. Мне не нужно заглядывать тестю в лицо. Достаточно видеть прямую, решительную его шею и костлявый затылок, чтобы забыть себя и делать то, что тесть делает: пасует тесть туловище своё вправо, и я — вправо, наклонится влево, и я влево. Точь-в-точь повторяю, только движения мои маленькие, дёрганные.

Я хочу освободиться от притягательной силы тестя и сесть позади шуррина. Но против силы этой у меня силы нет. Я — словно перед чёрной дырой в космосе.

И мне вспоминаются благословенные времена, когда сила тестя подчинялась другой силе, когда спина его сгибалась, шея втягивалась в плечи, а затылок мягчел и превращался в ошмётток студня, покрытого волосом. Тогда ещё был жив тестев брат. Брат сидел в инвалидном кресле-коляске маленький, согбенный, седенький, а Андрей Иванович вроде меня дёргался перед ним и бубнил: «Да, ты, видно, прав; возможно, ты прав; тут есть доля истины».

Брат пристукивал ладошкой по неподвижным коленям и дребезжащим голоском говорил, что Андрей Иванович — Иуда, что надо быть хоть чуточку человеком, чтобы он хоть помолчал — стыдно соглашаться с тем, чего не придерживался раньше и не станешь придерживаться в дальнейшем.

Но Андрей Иванович продолжал талдычить: «Ты, видимо, прав, ты, возможно, прав», — и брат махал рукой: тяжело жить с дураками, но каково всю жизнь жить со сволочью. Ты, мол, Андрей, меня понимаешь? Тесть отвечал, что понимает, мы, дескать, с тобой — люди не глупые.

Брат на кресле-коляске откатывался к стене, потом стремительно возвращался к столу и почти шёпотом заявлял, что тестю вместе с ним, братом, на одну доску вставать не стоит. Мол, общего у нас с тобой лишь мать и отец, а во всём остальном мы разные: у меня, может, бытие от сознания и отстаёт, а вот у тебя они стоят рядом, крепко стоят, друг друга подпирают, дорогу перегораживают, мешают по ней идти. И ты, мол, Андрей, прекрасно это понимаешь — сам говоришь, что ты человек не глупый. Тебе при равновесии бытия и сознания удобно из мутной воды рыбин таскать. Ты говоришь, что живёшь, чтобы работать? Нет. Ты работаешь, чтобы жить. И работа твоя — тройная.

Первое — должностные обязанности. Эта работа у тебя на втором месте: ты понимаешь, что вламывая изо всех сил по должности, на должности не удержишься. Второе — ублажение тех, кто стоит хоть на ступеньку выше. Вот эта-то работа у тебя на первом месте, потому что как бы ты ни напортился в своём цеху — тебя спасут. И третье — выпячивание своих должностных успехов на фоне недостатков в деятельности таких же, как ты, начальников. Эта работа хоть и на третьем месте, но считается у тебя величайшим подспорьем: благодаря ей ты кажешься самым белым из всех кобелей. На всех этих поприщах ты трудишься в поте лица, но лишь для того, чтобы жить по-хански. Чтобы ежедневно был кишмиш,

бакшиш и гарем... А иначе ты не осознал бы себя Человеком с большой буквы. Для тебя власть не средство созидания, а средство личного существования. Ты — турок синопский.

Брат переводил дыхание. Тесть вновь начинал бормотать: «Ты, наверно, прав, ты, наверно, прав», — тёща кидалась между ними, приглашала к столу, говорила, что хватит, в кои-то веки собрались посидеть по-родственному и на тебе — пошли пустые разговоры.

Я гляжу на затылок Андрея Ивановича и думаю, что тесть мой — удивительный человек: нянчится со мной, везёт меня определять на должность. Точно так он нянчился и с братом: возил его по клиникам, выискивал профессоров, добывал экзотические лекарства, а на похоронах вдруг выпрямился, и затылок его заостенел. Когда родные и знакомые принялись бросать в могилу деньги, он из кармана вынул пригоршню монет, выбрал затёртую копеечку чеканки тридцатого года, глазами стрельнул вправо-влево и щедрым жестом бросил на гроб.

Я помню, как упала копейка на крышку, обитую муаром. «Позолота сотрётся. Свиная кожа остаётся», — шепчу и думаю про нашу память. Думаю, что память сама по себе не мыслит. Она как бы чернорабочая, подъярёмная рассудка, и прекрасно живётся тем, кто может заставлять память что-то помнить, а что-то забывать.

Моя же память постоянно бунтует, и я подчас не в силах с ней справиться. Она помнит что надо и что не надо. Она мешает разуму выполнять, по словам шурина, основную функцию: отыскать способы лелеять тело, в котором он живёт. Разум мой не в состоянии перерабатывать материал, щедро предоставляемый памятью. Порой он выхватывает из груди первое попавшееся, которое могло бы быть приспособлено к данной ситуации, но приспособлять которое никак нельзя, и я совершаю нелепые поступки.

Сейчас память ни с того ни с сего говорит мне: «Привожу выдержку из Слова Даниила Заточника: князь Ростислав сказал: «Лучше мне смерть, нежели Курское княжение». «Князь?» — спрашиваю память. Та утверждает: «Князь». «Ну, — отвечаю, — а мне и сам Бог велел».

Тут же ладонью крепко нажимаю на плечо шурина. Тот останавливает машину, я выхожу, приподнимаю на уровень уха раскрытую ладонь — адью, и направляю в противоположную цели поездки сторону. Я не слышу возгласов тестя и шурина и не желаю слышать. Это же надо до чего дошло, все вертят мной кому как захочется! Тёща заставляет добывать торф для садового участка, шурин — выслушивать философическую галиматью, тесть устраивает на приличную должность, жена планирует, когда я должен сидеть дома, а когда гулять. Даже взаимоотношения с Татьяной Викторовной не полностью взаимные: встречаться или не встречаться, где встречаться, во сколько встречаться — решает она. Меня дёргают, и я дёргаюсь, словно марионетка. Додрыгался до того, что забыл кто я и зачем я. Экая непозволительная роскошь! Нет, сейчас, сейчас же за стол и писать, писать, писать.

Пусть будет отказ из издательства, пусть будет второй отказ, третий. Но я всё же напишу такую книгу, которую все сразу поймут, которую все и сразу примут к сердцу, и люди переродятся в бытие своём, и моя родная земля благочестием всех одолеет, благочестие осветит семейную

жизнь, быт, труд, благотворительность, странноприимство. Наступит золотой век на веки веков!..

Я ощущаю, что лоб и щёки мои горят. Я почти бегу по обсаженной липами центральной улице. Сердце моё готово разорваться от переполнивших его чувств. Руки мои трясутся — им бы сейчас авторучку...

Но пробежав с полкилометра, я начинаю сдерживать себя. Эдак литература не делается. В таком состоянии можно махом исписать двадцать страниц и... наступит депрессия. Литературная работа — кропотлива. Её надо делать в ровном духе и ежедневно.

Я делаю глубокий вдох, резкий выдох, начинаю дышать ровно.

Чтобы окончательно успокоиться, сворачиваю в переулочек и выхожу на тихую улицу, параллельную центральной. Справа, слева стоят одноэтажные особнячки, огороженные друг от друга глухими заборами. В приоткрытые калитки видны затравяневшие дворы. Во дворах сирень, рябины. Между рябин, на верёвках сушится бельё. Под сиренью врыты в землю столики. Вечерами за столиками сидят старушки и судят-рядят о жизни в особнячках. Сейчас же во дворах тихо. Лишь колыхнется на верёвках бельё: мелочь разная вроде наволочек — часто-часто, простыни — плавно и медленно. Пододеяльники раздуваются непомерно и, когда ветер стихает, долго худеют.

Если мне нужно сосредоточиться, я всегда хожу по этой улице. Вступая в неё, я попадаю в странную эпоху. Будто я шёл, шёл по пространству человеческой истории и зашёл в овраг, перерезавший взаимосвязь исторических законов. С одного склона оврага доносится аромат чувств, с другого — аромат мысли. Запах в самом же овраге невозможно определить. Пахнет чем-то препротивным, вроде гнилой квашеной капусты.

Но, как ни странно, улица эта меня успокаивает. Я шагаю по тротуару, угадываю за облупившимися стенами особнячков неспешное, отрешённое существование, пытаюсь нащупать связь его с прошлым, увидеть исток в будущее. Память моя, подъярёмная моего рассудка, уже не буйствует, строго ведёт себя, выдаёт информацию логичную. Я вспоминаю, как сидел в кухне одного из особнячков. Я тогда чуть ли не целый день ходил по этой улице, заходил то в тот особнячок, то в другой и везде слышал о том, что комнату можно сдать, почему не сдать, был бы постоялец приличный, живи, не балуй: в десять часов чтобы дома, и никаких женщин (у меня слышь-ка — сноха, не дай Бог, её ввести в смущенье). Да потом и люди, мало ли что они могут подумать. Попросту-то сказать, тут, в окружности-то, не люди, сволочи. Им бы абы порассуждать, что как у кого в дому... Соринку в чужом глазу углядят, а в своём бревна не видят. А сами-то все в ряд — уроды да ворьё. Сосед справа мать-старуху путём не кормит. Левый со свояченицей спит. А напротив — каторжник. И что только его участковый терпит? Прошлый год у меня Шарика зарезал и лист шифера унёс. Что ж, говорю, дрын ты стоеросовый, делайшь? А ну — отдавай шифер. А он мне: ты, стерва, молчи. Не ты ли в прошлый год у меня свёз доски? А я, поверишь, гражданин дорогой, не брал их, крест вот, не брал. Не трогаем мы никого, мы к этому не привычны, но уж ты, в случае чего, сосед там или кто, сделай милость и нас не тронь. А так живём ничего себе. Дом, конечно, государственный, но в

дому всё своё. И худо, и хорошо, а как говорится — всё наше. Но это никого не касается. Сын пьёт. Зато зять по струнке ходит. Сноха, конечно, ведьма. Зато дочь молодец: от скуки на все руки, и всё в дом, всё в дом.

Доходец имеется. Комнату сдаю для порядка, чтобы не пустовала. Ну, что ещё? Ну, ещё, конечно, жена. Но ты её в расчёт не принимай. Дура она у меня. Кабы не я — давно бы пропала. В руках я её держу. Шалавая она. Что, как — сроду рассудить не может. Ей бы только на людях побыть. А если постоянно на людях да на людях, разве в таком аспекте путёвая жизнь получится? Вот так я рассуждаю. Я ей, шалавой, телевизор финский цветной купил — сиди, смотри, а на людей глядеть да дурусть казать нечего. Они, люди-то, разве чего дадут? Они если что только унесут. А ещё хуже — что визнают. А у меня порядок: что, как, почему в дому — ни гу-гу. Участковый — на что уж свой человек, но и ему всё знать не положено. Потому как знание всезнайству — рознь. Отчего теперь жизнь пошла тяжёлая? Я так соображаю — от всезнайства. Всё всем знать — не приведи Бог. Всем всё знать — всем ко всему приспособливаться. Одно — когда я приспособливаюсь, другое — когда ко мне приспособливаются. Это, мил друг, получится, как у борца на ковре: хочешь ухватить и в то же время ловчишься — ну как тебя ухватят. А такое положение уже не жизнь — сплошной кошмар. Ты не подумай, я не против правды, но я хочу так: коли я по правде, то и правда — по мне.

Тогда я так и не снял комнату. Жена сказала, мол, будем жить. Я, мол, тебя не гоною, у нас дети, а свободу твою не отнимаю. Единственное условие: о нашем договоре не должен знать никто.

С тех пор чуть что — она мне: дорогой, я ей: дорогая. Она: ты не смог бы, милый, сделать? Я: с удовольствием, радость моя.

Так и сосуществуем по правде и по лжи, и правда, и ложь у нас неприкосновенны. И вроде бы всё нормально.

Однако иногда, ох, как хочется, чтобы она вцепилась мне в волосы. Ох, как хочется схватить её за запястья, отодрать от себя и с исцарапанными щеками прийти к Татьяне Викторовне и смело сказать: гони ты муженька своего и давай жить...

А улица между тем устремляется в гору. Особнячки дружной чередой тоже вроде бы устремляются вместе с ней, но постепенно отстают, и на середине подъёма их всего два-три.

Улица кончается. Передо мной простирается великолепный пустырь. При виде его я всегда обмираю и еле сдерживаю желание встать на колени перед ним — уж больно значительно его естество, животрепещущее и никчёмное. Огромен он, величав, но он — пуст. «Всё, как у нас с Татьяной Викторовной, — рассуждаю я. — Необозримое чувство, высочайшая степень безумства, которой не суждено обрести высочайший смысл. Ох мне этот пустырь!»

Стою я на краю пустыря и ёжусь, словно голый.

На противоположном краю пустыря еле виднеется красно-кирпичное зданьице — место моей работы. Это зданьице, склад, ночами я стою. Вместе с тем склад — место моей литературной деятельности. Всё своё свободное от домашних забот время я провожу сидя за колченогим столиком и пишу, вдыхая запах скобяных изделий.

Миновав пустырь, я вхожу в красно-кирпичное зданьице, иду коридором, попадаю в складское помещение и направляюсь к своему столу, притулившись между стеллажей у окна, затянутого решёткой.

Тут же из-за стеллажа появляется Таня, тоже Татьяна Викторовна. Я называю её Татьяна Викторовна № 2. Ей двадцать лет, и она меня любит. Поэтому я никогда не смотрю в её глаза, ищущие мой взгляд, и разговариваю с ней леденяще-вежливым тоном.

Я произношу: «День добрый», — и выдвигаю ящик стола. На дне ящика прикрытая журналом «Огонёк» лежит рукопись. Сейчас я буду писать. Вернее, начну тереть лоб, ерошить волосы, ёрзать по стулу, в перерывах записывать одно-два слова и изредка заходить за стеллаж, чтобы хлебнуть чаю. Татьяна Викторовна № 2 знает о моей слабости к чаю, постоянно приобретает в неведомых мне местах заварку «Со слоном», а я, два раза в неделю, поощряю её конфетами. Чай и конфеты — единственное, что связывает нас.

Я раскрываю рукопись, читаю последнее предложение: «Он женился на своей жене, чтобы любить её вечно», — и зачёркиваю его. Мысль правдивая, но изложена, как кажется мне сегодня, слишком пышно. Вычёркиваю я много. Точнее, я больше вычёркиваю, чем пишу. В моих рукописях невычеркнутое к вычеркнутому относится как один к трём, если бы не такой стиль работы, я давно бы завалил романами все известные мне издательства. Старичок, бывший учитель, работающий на нашем складе дворником из любви к физическому труду, утверждает, что мой стиль работы — признак таланта. Но утверждать подобное — его стиль. Старичок постоянно в чём угодно видит признаки. Если верить ему, вся история человечества — признак, и мне как участнику этой истории часёнко становится не по себе. Тем не менее мне приятно, что старичок разглядел во мне такой признак, хотя, по-моему, быть талантливым — страшно. Взять, к примеру, мои усаживания за стол. Внешне кажется, что сажусь за него просто. Но сесть за стол для меня — подвиг. И таких подвигов я совершаю более ста в год. Каждый раз внутри меня происходит титаническая борьба двух страстей. Первая — отвращение к письму. Вторая — желание писать. Страсти эти почти равносильны. Бывает, что побеждает первая, и я не пишу два-три дня. Но, случается, побеждает вторая, и я сажусь за стол, записываю слова, вырывая их из мозга, словно из тела своего куски мяса. Глядя со стороны, нельзя увидеть, как я мучаюсь. Но если бы заглянуть внутрь меня...

Зачеркнув предложение, я решаю описать, как мучается мой герой. Он почти отравлен миазмами окружающей его среды. Он хороший. Он никак не научится думать и не чувствовать отвратительных запахов. Его тошнит. Всё существо его наизнанку выворачивает от духовной рвоты. Он бьёт себя в лоб кулаком и спрашивает: как дальше жить, как жить?

Я долго ерошу волосы. Потом ставлю точку и беру чистый лист бумаги, чтобы начать новую главу. Открывается дверь, и входит старичок, бывший учитель. Ладонью приглаживает лысину, кланяется и короткими шажками следует к моему столу. Садится, спрашивает, как пишется? Отвечаю, что пишется так-сяк, и в свою очередь спрашиваю: появились ли какие-нибудь новые признаки? Он отвечает, что признаки есть. Дескать, сама наша жизнь — признак. А в местном масштабе все призна-

ки за то, что Угорьев — не Рио-де-Жанейро, и даже не Васюки. Вчера, мол, приезжал знаменитый гроссмейстер и во Дворце культуры играл в шахматы сам с собой. Обедать оставляли — отказался и уехал. Обиделся. Живёте, сказал, как в болоте. Такой город! В прошлом — сосредоточие творческой мысли, и ни с того ни с сего шахматисты перевелись. Это, сказал, признак морального вырождения. Небось, спросил, у вас уж и унтер-офицерша высекла сама себя.

Ну, мы с худруком жмёмся, стоим. А директор дворца — человек откровенный. «У нас, — ответил гордо, — унтер-офицерш давно нет».

Гроссмейстер даже в лице изменился. Руки не подал. В машину сел, и всё — только пыль из-под колёс. А пыль улеглась — скучно стало. Стоим, как три богатыря, глядим на дорогу. За спиной дыбятся дворец, солнце за Угорьевкой к лугу приникло. На клумбе георгинчики топорщатся, а перед ними прыгает-чирикает воробей. И ни души вокруг. Был ли гроссмейстер, не был — не известно. Тоска. Вы заметили: даже безалаберщина, бестолковщина перевелись в людях, уж больно пошло рациональное житьё-бытьё. На взгляд — вроде бы вахлачество, а на деле каждая мышка в своём домишке загородилась — на козе не подъедешь.

Мыслимое ли дело, на нашей-то почве и дети лейтенанта Шмидта перевелись. Вы, например, в своей жизни, когда-нибудь видели живём ребёнка лейтенанта Шмидта? Нет? То-то. А это — признак, молодой человек!

Рассказывает старичок о признаках, а сам руку — в бок, лысина сверкает, седенькая эспаньолка топорщится. Словно он только что выкушал стакан "Мадам Клико". Эдакий лихой отставной гусарский ротмистр: имения и свои, и жены промотал, и хоть бы что ему. Всё прошёл, всё пережил, всё видит насквозь и распрекрасно себя чувствует, курилка.

Я предлагаю старичку со мной пить чай. Мы отправляемся за стеллаж, усаживаемся за журнальный столик. Татьяна Викторовна подаёт чашки. Мы прихлёбываем чай и молчим. Старичок перетряхивает свои мысли, дабы сообщить мне ещё о кое-каких признаках. Татьяна Викторовна № 2 заполняет формуляр и, заметно размышляет о чём-то, слишком медленно и аккуратно пишет буквы. Наконец, старичок ставит чашку на блюдце и раскрывает рот, я изображаю на лице внимание, но Татьяна Викторовна решительно откладывает ручку и просит меня на минуточку пройти за другой стеллаж.

За другим стеллажом я редко бываю. Тут вотчина Татьяны Викторовны. Тут сосредоточены предметы, определяющие её духовную жизнь: полочка с книгами любимых поэтов, маленькие офорты, пишущая машинка, на которой Татьяна Викторовна № 2 отстукивает свои стихи.

Я иногда думаю, что именно Татьяна Викторовна № 2 как раз подошла бы мне в подруги. Для этого нужно было бы немного: в прошлом не встретиться со своей женой, не влюбляться в Татьяну Викторовну № 1, а с Татьяной Викторовной № 2 познакомиться лет десять назад. Странно: в середине жизни мы осознаём, как надо было бы жить, чтобы жить иначе, но уже не можем ничего переменить. Наверно, это тоже признак чего-то.

Со злостью я гляжу сквозь стеллаж на старичка: лишь благодаря ему я научился распознавать признаки. Конечно, я и раньше видел их, но не понимал, что это именно они.

Татьяна Викторовна № 2 дотрагивается до моего плеча. Я оглядываюсь и настораживаюсь: она держит руки за спиной, прямой нос её вздёрнулся, щёки пылают. Шестое чувство подсказывает: сейчас может произойти инцидент, который станет прецедентом. Я делаю шаг, дабы выскокить из-за стеллажа, но Татьяна Викторовна меня опережает, встаёт на моём пути и выхватывает из-за спины пакет. Оказывается, сегодня мой день рождения. Татьяна Викторовна рада, очень рада. Она ждала этого дня и приготовила скромный подарок. В пакете тетрадка её лирических стихов — всё лучшее, написанное за три года нашей совместной работы на складе. Только вы, мол, не читайте сейчас, это всё-таки стихи. Прочтите дома, в спокойной обстановке.

Я благодарю Татьяну Викторовну № 2 и выхожу из-за стеллажа. Старичок-учитель продолжает пить чай. Я желаю ему приятного аппетита и иду за свой стол. Пакет, чтобы не забыть, кладу на видное место. Эх, если бы Татьяна Викторовна № 1 тоже писала стихи!

Подобные возгласы у меня не редки. То мне вдруг, как сейчас, захочется, чтобы Татьяна Викторовна № 1 писала стихи, то, чтобы интересовалась живописью, то, чтобы изучала древнекитайскую поэзию, или, на худой конец, систематически читала журнал «Экран». Необходимо, чтобы у нас с Татьяной Викторовной обозначилась какая-нибудь общая цель. Я всё больше и больше убеждаюсь: даже великая любовь обречена, если не оживить её общим для влюблённых смыслом.

А у нас с Татьяной Викторовной № 1 просто любовь. Буйствует она, обоюдная, но всё же не объединяющая. Потому что у нас — разные задачи. У меня главное — литература, у Татьяны Викторовны — семья. Каждый вершит своё главное, не обретая в своём главном общего для нас значения. Меня это выбивает из колеи. Частенько я «соскакиваю с зарубки», и на бедную Татьяну Викторовну из моих уст сыплется Бог знает что. Я обвиняю её в мыслимых и немыслимых грехах: и духовно-то она не развивается, и жизнь-то мне перекорёжила, и, хотя любит меня, не забывает и о муже.

В такие минуты Татьяна Викторовна вроде бы исчезает. Я вижу лишь её глаза, огромные-огромные, наполненные серо-зелёным ужасом, и слышу почти невнятное бормотание: «Ты говори, говори, только не думай одно, я с ним не живу, я на него только стираю и готовлю».

Я отбрасываю мысли и пытаюсь сосредоточиться на рукописи, но мне не пишется. То слова попадают не те, то стул подо мной стоит криво, то на кончик пера приклеился волосок. Старичок-учитель ворошит подшивку. Татьяна Викторовна № 2 притихла за стеллажом. Время идёт. Я откладываю авторучку и начинаю думать о том, во имя чего старичок ищет признаки? Во имя чего Татьяна Викторовна № 2 глядит мне в затылок из-за стеллажа? Во имя чего я пишу роман? На что мы надеемся? Почему мы сидим вместе на складе? И вообще, что такое человек и кто такой человек? Как понять мне его по-человечески?

Я беру авторучку, чтобы записать эти мысли, но в дверь заглядывает шурин. Ясно, шурин — посланец. Сейчас уговаривать начнёт. Станет доискиваться, есть ли у меня совесть? А если есть, то почему позорю честь родни? Благо был бы толк в моих писаниях. Чтобы хорошо жить, надо хорошо зарабатывать. В нашей стране, зятьёк, все профессии в почёте, тем

паче должности. Тебе должность-то и дают. Да где ты ещё заработаешь так? К тому же — почёт и уважение во всём городе. А ты кочевряжишься.

Ты бы жену, детей пожалел. Чья твоя жена, чьи дети? Непристроенной личности, вот чьи они. Жена твоя со стыда восьмой год сохнет. Дочери пока ничего не понимают, но скоро тоже понимать начнут, оглянуться не успеешь — придётся им упоминать тебя в анкетах. Ну, был бы ты алкоголик — тогда понятно, а то нормальный человек. Это-то и непонятно людям. Непонятно, почему мы, то есть род, терпим тебя. Люди думают, может, он просто шизик? Пойми ситуацию: сестра моя, ужас, с шизиком живёт. Племянницы, двойной ужас, шизиковы дочери! Кончай валять дурака, садись в машину и поедем.

Но разговор с шурином происходит совсем другой. Мы стоим в коридоре, курим сигареты. Каждый свои: я — «Дымок», шурин — «Герцеговину Флор». Случай небывалый, потому что до сегодняшнего дня при встречах со мной шурин разыгрывал демократа: давал мне «Герцеговину», брал мой «Дымок» и, прикурив от моей спички, снисходительно общал: а ничего табачок.

Сегодня «Герцеговина Флор» мне не достаётся. Шурин присаживается на подоконник и заявляет, что, значит, вот так: на семейном совете решили — из состава родни тебя исключить. А теперь давай утрясём кое-какие вопросы, хотя, в принципе, они тоже решены. Первое: завтра ты съезжаешь на частную квартиру. Второе: увольняешься со склада. И третье: как только уволишься, уезжаешь из города навсегда. Деньги, так сказать подъёмные, я тебе дам — возвращать не надо. Так что начинай думать, куда поедешь. Дети? Ну, дети — теперь не твоя печаль. Раньше надо было о них думать. И сеструха в накладе не останется. Не век же ей куковать с тобой. Человек есть. Есть человек. И хороший человек. Ей только мигнуть ему, и у неё дом — полная чаша. А с твоим писательством — лишь мышей разводиться, потому что, кроме мышей, твои романы никому не нужны.

Шурин соскакивает с подоконника и уходит, а я же возвращаюсь к своему столу. Склоняюсь над рукописью и делаю вид, что усиленно работаю. Пишу, пишу, пишу... Но на лист бумаги, повторяясь и повторяясь, ложится одна фраза: «Только для мышей. Только для мышей. Только для мышей...» Старичок-учитель шуршит газетами. С разворота «Огонька» глядит на меня Лев Толстой. А я заканчиваю свой труд. «Только для мышей...» Ещё страничку — «Только для мышей...» Ещё. Ещё. «Только для мышей...» Дай Бог мне силы вложить в эти три слова всё, что думаю обо всём. Смотрите, Лев Николаевич: после разговора с шурином я не побежал водку пить — я работаю, я, наконец, понял смысл бытия: «Только для мышей, только для мышей...» Ещё страничку... Ещё... Ещё страничку. А теперь хватит. Стоп. Роман закончен. Я вложил в него всё, что мог. Лучше написать — выше моих сил. Надо только пометить на последнем листе: «г. Угорьев, 17-е сентября 1985 г. » Так, теперь расслабиться и подумать о предстоящем отъезде. Ясно, что этот Угорьев — не судьба моя. Придётся поискать другой Угорьев. А лучше всего еле заметный на карте населённый пункт с каким-нибудь незначительным названием вроде Воронина, Михалина, Слободы. Туда уеду и буду учительствовать, до конца дней своих. И похоронят меня на каком-нибудь воронинском погосте. В

Угорьеве же без меня проживут. Здесь у всех между собой есть общее: у тестя с тёщей, у шурина с кем-то, у жены — с тем. И у Татьяны Викторовны № 1 с мужем. А Татьяна Викторовна № 2 через годик бросит писать стихи, и у неё тоже появится общее с каким-нибудь угорьевцем. Здесь я никому не нужен. Уеду — им лучше будет: мама с папой развелись — и развелись. А то действительно станут считать, что их отец — шизик. Уж это-то им внушат.

Я складываю в целлофановую сумку рукопись, пакет со стихами, прощаюсь с Татьяной Викторовной № 2, кланяюсь старичку и выхожу на улицу. После такой встряски хорошо бы перекусить. Из кармана достаю тридцать три копейки и рассуждаю: за двадцать копеек куплю сигарет, за десять — булочку. А три копейки оставлю про запас, дабы можно было подумать: вот и у меня про чёрный день кое-что есть.

Сознание того, что про чёрный день кое-что есть — великое сознание. Прожив семь лет с тестем, я пришёл к выводу, что именно это сознание уравнивает тело с душой. Равенство тела и души — прекрасная вещь. Она толкает человека на удивительные поступки. По крайней мере, даёт несокрушимую уверенность, что вполне бы мог совершить их, но пока не хочешь. Много раз я слышал, как тесть внушал тёще: самый раз, мол, именно сейчас поторопить твою смерть, да только некогда, ох, жил бы я тогда, ох, как жил, как распрекрасно бы жил! Тёща отвечала тестю, что он старый мерзкий развратник — никому не нужен. Слышно было, как тесть вскакивал с дивана, распахивал гардероб и взвизгивал: «А это что, это что?! Да за такие деньги любая со мной жить будет!»

Не дослушав, я ушёл в свою комнату. На лице моём отражалось впечатление от услышанного. Жена спрашивала: «Опять?» Я кивал, и жена опять спрашивала: «Неужели и мы будем такими?»

Поначалу я отвечал, что нет, что мы — другое поколение, что мы из другого теста, что у нас с ней литература — святая цель, что в конце концов мы — интеллигентные люди, что пожелать смерти другому — убить себя.

Но однажды жена сказала, что я никчёмный человек и жить со мной — тоска зелёная. Я резким шёпотом ответил: «Жить с тобой ещё зелёней... Мысли твои — на уровне рефлексов, а идеи заменились золотым кольцом. Какой ты преподаватель музыки? Ты ремесленница. Тото Кутуньо — твой предел».

«А твой предел, — шёпотом же отвечала жена, — балабонить о великом искусстве и сидеть на шее чужих родителей».

Тихо, вежливо поговорили. Какой бы состоялся тогда разговор, имей каждый из нас по сберегательной книжке? Но зато с тех пор совместное существование с женой стало проще. Да и то сказать: кто нас сложности учил? Мои покойные мать с отцом прожили просто. Тёща с тестем по сию пору просто живут. И все в Угорьеве живут ой как просто. Только простота жития наружу не выставляется. Каждый отдаёт дань общественному мнению, и, таким образом, существует два жития-бытья: одно — на показ, другое — для внутреннего пользования.

Нервная система вышла наружу для общения с внешним миром. Я шагаю к булочной и чувствую, что ещё немного, и смогу рассудить всех: и тестя, и тёщу, и шурина, и жену, и обеих Татьян Викторовн и старичка-

учителя, и даже самого себя. И даже продавщицу в булочной, которая, как обычно, обсчитает меня на копейку. Про чёрный день останется две копейки. Вот и вся цена моя. Какой вес у меня? Да никакого. Что я могу? Да ничего. Вернее, могу, могу только судить людей. Кто-то сказал: «После счастья повелевать людьми самая высшая честь судить их». Но могу ли я судить людей? Кто и за какие заслуги облёк меня таким правом? Ведь сказано: судить людей — честь. Выходит, я сам себя удостоил такой чести? Нет, пришло время кому-то рассудить мою судьбу. Не в булочную мне надо спешить, а на пустырь. Там чиркнуть спичкой и сжечь рукопись, и начать писать роман, новый роман. Роман о никчёмном человеке, возмнившем себя гением. Не я должен судить людей, пусть люди судят меня.

Я резко поворачиваюсь и почти бегу на пустырь. Там среди развесистых лопухов сажусь на валун-камень. То, что, выплавившись в жару сердца, слагалось на бумаге более двух лет, сгорает за пять минут. Пепел кружится над лопухами. Лопухи лениво шевелят листьями, разгоняя его. Я ощущаю, будто внутри меня кружится тоже пепел. Скоро что-то должно войти в меня, а потом выйти наружу. Я почти готов познать, выносить и родить. Родить удивительно простое и сложное, состоящее из истины и заблуждения, правды и лжи, не преувеличивая по своему произволу ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвёртого. А две копейки, которые должны были остаться у меня про чёрный день, я сейчас же истрачу на неотложное дело.

Оставив за спиной камень-валун, пепел и лопухи, пересекаю пустырь, спускаюсь к особнячкам, выхожу на центральную улицу и по телефону-автомату звоню Татьяне Викторовне № 1. Говорю, что не могу ждать до вечера, прошу отпроситься с работы. Татьяна Викторовна тут же соглашается: она давным-давно не отпрашивалась, а сегодня особенный день — сегодня она кое-что твёрдо решила.

Я с облегчением вешаю трубку. Вот и хорошо. Значит, без лишних слёз и договоримся. Общего у нас с Татьяной Викторовной нет, я пришёлся не по Угорьеву, Угорьев — не по мне. На том и порешим. И завтра же — шапку в охапку.

До дома сестры Татьяны Викторовны иду пешком. Решение принято, я постепенно успокаиваюсь и уже могу воспринимать окружающий ландшафт. В преддверии отъезда Угорьев видится мне нормальным. Как должным, так положенным так во веки веков лежать. Пыль на асфальте, пыль на листьях лип не вызывает во мне протеста, а гипсовая спортсменка, стоящая возле стадиона, навеивает светлую грусть: мне бы раньше научиться глядеть спокойно на угорьевский ландшафт — ах, как бы распрекрасно я сейчас жил!

Возле гипсовой спортсменки продают бочковой квас. Мне теперь — чёрт не брат, тратиться так тратиться — пристраиваюсь к концу очереди, смело отсчитываю деньги, решаю выпить большую кружку, а если захочется, то ещё. Что-то, а квас в Угорьеве умеют делать.

Отхлёбываю холодную тёмно-коричневую жидкость и продолжаю грустить. Эх, грусть, грусть. Теперь она надолго во мне поселилась, и где бы, что бы мне ни пришлось пить, ещё долго я буду отрыгивать угорьевским патриотизмом, настоянным на исконном угорьевском напитке.

Но, несмотря на грусть, жить мне нужно будет спокойно. А что надо, чтобы спокойно жить? Надо уметь жить в своё удовольствие. А посему надо прямо сейчас привыкать жить так.

И я решительно достаю из кармана ещё шесть копеек. Жить в своё удовольствие — быть посему. Всё великое начинается с малого. Пусть же задуманная моя самостоятельная самодовольная жизнь начнётся с этой второй кружки кваса, которую я наверняка всю не выпью, но зато с удовольствием куплю.

Оставляю недопитую кружку и продолжаю путь. Иду, поглядываю по сторонам и радуюсь народившемуся во мне самодовольству. Оно агукает уже, пускает пузыри, и я его нежно поглаживаю. Я ещё способен увидеть угорьевские контрасты, но они меня теперь умиляют. Боже мой, как огромно и размашисто центральное городское административное здание, как мал и скромн городской приют, как многозначительны в своей строгости старинные торговые ряды и как однозначен зияющий разбитой витриной магазин напротив. А вот на зелёном заборе афиши — танцы, танцы! Мне приятно, что в Угорьево постоянно танцуют. Я вижу в этом большой смысл: до чего же строго, целесообразно жили те, кто строил ряды, и до чего же развесёлые у них потомки.

Умиление всё растёт и растёт. Вот уж мурашки бегут по телу. Выпитый квас бодрится в желудке, бьёт в нос, и на глазах моих выступают слёзы. Я ещё раз, сквозь слёзы, бросаю взгляд в сторону афиш и вспоминаю слова тестя: «Мы — жили, но жили мы, чтобы дети наши жили хорошо». Сколько же усердия нужно было вложить в свою жизнь, дабы жизнь детей и внуков превратить в сплошные танцы, дабы административные здания дыбились, а приюты не бросались в глаза, дабы магазины с выбитыми витринами стояли рядом с торговыми рядами?

Я умиляюсь, в сладком волнении закуриваю. Голова кружится. Оказываясь, от умиления тоже может кружиться голова. Я же считал, что кружится она только от славы. А получается, начни жить в своё удовольствие, потом умились — и тот же резонанс. Выходит, жить можно и не напрягаясь. Зачем радеть о славе? В конце-то концов, если пошевелить мозгами, получается: бесславье — слава наоборот. В Угорьево чуть ли не пятьсот лет мяли кожи и ткали рогожи, и их с охотой покупали от Астрахани до Костромы. Но кожно-рогожная слава прошла. Теперь в Угорьево есть завод, производящий моторы, которые нигде не хотят брать. Но берут, потому что положено. Об этом систематически пишут в прессе. Раз в полгода тесть сообщает: «А о нас-то опять писали», — убеждённо добавляет: «Дураки». Шурин на это отвечает, что пусть пишут, писакам, дескать, тоже надо зарабатывать на хлеб. Хорошо, дескать, что хоть такие моторы, а если бы никаких? И у тестя с шурином начинается производственный разговор. Презрительно выпячивая губы, они убеждают друг друга, что, с горы глядя, рассуждать просто, а ты попробуй этот мотор произведи. Это — во-первых. Во-вторых, главное — люди при деле, заработок у людей, то да сё. В корень смотреть надо: мы для моторов или моторы для нас? А план на заводе перевыполняется. Бывает, конечно, и невыполняется. А этим писакам, видишь, ровно сто процентов дай. Пишут, а не знают, что легче: больше или меньше дать, чем ровно столько.

Я умиляюсь тестевой и шуриновой откровенностью, поворачиваю налево и шагаю по аллее из подпирающих небо берёз. Думаю о теще: какая она добрая, как семь лет кряду стирает мои рубашки, как семь лет разговаривает со мной, по-разному разговаривает, но по-человечески, как то-скуют старые её глаза, как стесняясь произносит она иногда слово «грех», забытое в Угорьеве. О жене не думаю. О ней думать — думать о дочерях, а это не входит в мои планы.

Дом сестры Татьяны Викторовны высится на холме. Это удивительное произведение архитектуры. Нечто длинное, трёхэтажное из белого кирпича, выстроенное в пору борьбы с архитектурными излишествами. Жилище без фасада, в которое вход со всех сторон и только со двора. Но сегодня безликость дома сестры Татьяны Викторовны меня устраивает. При взгляде на него умиление из меня улетучивается, все мысли укладываются на покой и остаётся одна, трезвая, прямая, острая, как кинжал, но милосердная. Сейчас я взберусь на холм, вбегу на второй этаж и скажу с хода: пришло время, Таня, расстаться нам. И объясню: мы — разные люди, у нас разная жизнь, у нас ничего нет общего. Я завтра уезжаю и, естественно, не могу взять тебя с собой.

Татьяна Викторовна плакать не станет, потому что, судя по телефонному разговору, поняла: наши отношения не могут продолжаться вечно. Видно, наступил момент, когда уже нет сил разрываться между мной и мужем. Таким образом, наши отношения не станут трагедией и не превратятся в фарс. Они вовремя прекратятся, и вдали от Угорьева я буду вспоминать о Татьяне Викторовне с прозрачной грустью и лёгкой нежностью.

Взбираюсь на холм, вбегаю на второй этаж. Дверь мне открывает сестра Татьяна Викторовна. Смущённо улыбается, опускает глаза и кивает на маленькую комнату — она там. Я расправляю плечи, откашливаюсь, собираюсь начать разговор, переступаю порог комнаты. И осекаюсь — Татьяна Викторовна в сиреневом шёлковом платье стоит с опущенной головой, словно в чём-то виновата. Я делаю шаг, соображая: зачем сиреневое платье, почему виноватый вид? Татьяна Викторовна идёт ко мне: шаг, потом три шага быстро-быстро, кладёт мне руки на плечи, приникает головой к груди и лепечет на одном дыхании: «Я беременна, он — твой, я решила его оставить...» Она повторяет и повторяет одно и то же, а я, постигая и постигая смысл, целую её в щёку, потом в другую, потом всё быстрее и быстрее в лоб, в нос, в глаза, целую, целую...

Домой я возвращаюсь поздно. Над Угорьевом взошла луна и внимательно следит за мной. То глядит, прислонившись к кресту церковки Троицы на слезах, то улыбается из-за речки Угорьевки, то выкатывается на макушки лип, и крест в ночном небе становится рыжим, речка, перечёркнутая серебряной полосой, страшно глубокой, а липы — большими-большими и чёрными-чёрными, чернее наичернейшей черноты. Окна в домах давно погасли, и теперь только луна да редкие фонари своим светом соединяют прошедший день с будущим. Мысли мои потухли, как в окнах свет, чувства стали прохладными, как просвеченный луной воздух, и лишь одна-единственная мысль время от времени сполохом высвечивает сознание: «Как хорошо, что я не сказал ей, что собрался уезжать, как хорошо...»

Сверкнув, мысль эта каждый раз гаснет. Я сознаю её неоконченность, чувствую, что у неё есть продолжение, но никак в момент вспышки не могу ухватить последнее слово и объяснить самому себе: почему всё-таки хорошо? Наверняка у меня имеется причина восклицать так. Её надо найти. Сейчас не найду её — и завтра наступит новый день, каких у меня в прошлом тысячи. Завтра снова будет плохо, как в прошлом, потому что в прошлом я никогда не боролся за хорошо. С тех пор, как бросили в мусорную корзину мою докладную записку. Точно, именно тогда всё и началось.

— Искать, искать, — шепчу я, — надо искать.

И я двинулся искать причину. Снова обошёл церковь Троицы на слезах, спустился к речке Угорьевке, прошёл по центральной улице, по самой середине, там, где днём мчатся машины. В конце улицы оглянулся — на церковь — в лунном свете крест был рыжим.

И я вдруг понял, что несмотря на полночную темноту, мир этот прекрасен. Он мой. Уж если так получилось, что мне довелось в нём родиться, то я по праву рождения всё-таки хозяин ему. Хозяин же обязан улучшать мир. Но право на это надо отстаивать. Иначе его не улучшить, потому что командовать будут тесть и шурин. Право — вот главное, оно должно у меня быть, хотя я и не занимаю приличную должность.

«Уволишься со склада? Уехать? Чёрта с два, — думаю я, поворачивая к дому. — Я здесь останусь, в Угорье. Потому что здесь всё: и я, и продолжение моё, Верочка с Любашей и тот, кто появится. Завтра же надо придумать, где нам с Татьяной Викторовной жить. Завтра же! А Верочку и Любашу в детский сад буду водить я — это моё право. Вот тогда действительно всё станет хорошо».

Все окна нашей квартиры ярко светятся. За дверью раздаётся громкий разговор. Слышно, как тесть ходит по прихожей, повторяя: «Невероятно, невероятно». А тёща вторит ему: «Невероятно, но — факт». Жена в паузах вставляет, что ничего невероятного нет, а шурин, не слушая никого, не в такт бубнит: «Ну, это меняет дело, совершенно меняет дело...»

Я открываю замок ключом. «А вот и он, вот и он!» — восклицают вразнобой тесть, тёща и шурин, а жена ко мне кидается, говорит, что я — дорогой, укоряет, что припоздился. Его, мол, ждут, ждут, а он где-то бродит. Мы волнуемся. Папа не может пить свой вечерний кефир, мама отложила вечернюю зарядку, брат отсрочил кое-какие дела, я перенесла репетицию на завтра. Стол два часа как накрыт. Проходи, садись. Папа с братом водочки выпьют, а мы шампанского.

Меня усаживают за стол. Жена садится по левую руку, шурин по правую. Тесть с тёщей усаживаются напротив. Я молчу. Я ошарашен и озадачен. Такого внимания к себе я не помню с медового месяца. А тесть из-под скатерти достаёт бумажный лист, сдвигает очки на кончик носа, встаёт, откашливается и начинает читать: «Рады сообщить вам, что ваш роман нам понравился. Просто жаль, что мы не знали о вас раньше. Впрочем, времени впереди у нас достаточно, мы надеемся на постоянные рабочие отношения с вами. Такая чуткая к душе человеческой проза — в наших традициях. Редактировать ваш роман будет Исидор Петрович Косяков. В ближайшее время вам необходимо приехать в издательство для оформления договора».

Окончив чтение, тесть принимает стойку смиренно. Жена плещет в ладоши. Шурин из бутылки с шампанским пробкой стреляет в потолок. В комнате

пахнет салютом. Шурин ухватывает стопку и говорит, что теперь родня будет мной гордиться, что я выбрал верный путь, что успех мой не случаен, что успеха добивается лишь тот, кто крепко держится за своё дело, что я — богатырь, что теперь в Угорье со мной станут носиться, как с писаной торбой...

Много, очень много чего ещё говорит шурин, а я молчу. Письмо из издательства не производит на меня никакого впечатления. Я думаю о Татьяне Викторовне и смотрю в тётчины глаза. Они не тоскуют, и я рад этому.

Укладываясь спать, мы долго беседуем с женой. Вернее, говорит она, а я помалкиваю. Раздеваясь, подхожу к спящим дочерям, укрываю их и слушаю, какие перспективы теперь раскрываются передо мной, как мы будем приняты в верхнем угорьевском обществе, как станем ходить в гости и принимать гостей, как эффектно с пальчика жены будет брызгать искрами колечко с бриллиантом. Да, именно с бриллиантом, другое теперь купить — не тот тон.

С мечтой своей жена засыпает. А я всё лежу и гляжу в потолок. Потом вспоминаю, что сегодня у меня день рождения, что на столе лежит пакет с подарком от Татьяны Викторовны № 2 и что обещал я вскрыть его дома.

Поднимаюсь с постели, зажигаю ночник, разрываю пакет и выпрастываю из него тетрадку. На титульном листе аккуратнейшим почерком выведено: «Безмерно дорогому и больше чем любимому Владимиру от Татьяны».

Я прячу тетрадку в стол, гашу ночник и пытаюсь заснуть. Заснуть мне совершенно необходимо. Потому что Владимир — это я. Потому что очень скоро наступит утро. Потому что с утра я начну с тётшей делать зарядку.

Теперь без зарядки мне не обойтись.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДУАЙЕН



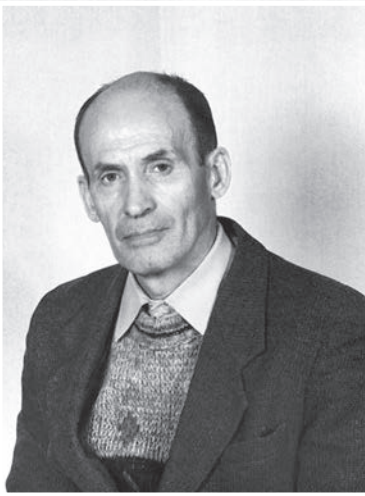
Владимира Дагурова вполне можно было бы назвать дуайеном — то есть наиболее почтенным и старшим участником коломенского литературного цеха. Дагурову — 75. Но при этом он вовсе не похож на «ветхого летами аксакала». Искромётный юмор и молодое озорство превращают каждую минуту общения с ним в глоток кислорода, в источник бодрости и творческой энергии!

«Московский коломенец», он накрепко связан и с нашим городом, и с нашим альманахом. Читатели ежегодника отлично знакомы с его потрясающим творческим диапазоном: от сатирической эпиграммы — до героической поэмы, от серьёзной прозы — до иронических мемуаров.

Дорогой Владимир Геннадьевич! Бывай в Коломне почаще, а то мы без тебя как-то «закисаем». И не забывай о «Коломенском альманахе», в котором тебя всегда любят и ждут!

Коллектив редакции

МЕТАНИЯ ДУШИ



Владимир Фёдорович Соловьёв (1940–2011) родился в городе Егорьевске. Окончил станко-строительный техникум, затем МВТУ им. Баумана. В 1968 году переехал в Коломну. Здесь начал заниматься литературным творчеством.

Учился на заочном отделении Литературного института им. М. Горького. В его багаже — романы, повести, пьесы и более тридцати рассказов.

В 2003 году в Москве вышла его книга прозы.

Мы предлагаем читателю отрывок из романа Владимира Соловьёва «Метания души». Содержание романа — борьба корысти с бескорыстием, утверждение беспроеигрышных вечных ценностей, таких как дружба, любовь, нравственная чистота героев. Произведение звучит гимном величию, загадке и непредсказуемости человеческой души.

Отрывок из романа

В середине июня доктор биологических наук Олег Владимирович Бестужев получил приглашение на Международный конгресс, посвящённый актуальным проблемам генетики. Задолженностей по текущей работе за ним не числилось, и директор института Марк Анатольевич Джеваго не нашёл повода воспрепятствовать престижной командировке, хотя втайне завидовал одарённому коллеге.

Париж Бестужева очаровал. В свободное от заседаний время он бродил по улыбающимся оживлённым улицам и бульварам, наслаждаясь призывно журчащим смехом женщин и свежестью молодой листвы. На газонах, прямо на траве, группками сидели и лежали отдыхающие, резвились дети. На скамьях парами и в одиночку нежились вылезшие из зимнего сидения в квартирах старики. Всё дышало умиротворением, покоем.

Но сатана, ревниво следивший за каждым шагом не запятнанного ничем безнравственного учёного, внёс в гармонию очарования встреч с зарубежными коллегами, интересных докладов, впечатлений ложку дёгтя — у Бестужева болезненно воспалились глаза. Он решил, не обращаясь к врачу, подлечиться стандартными глазными каплями. С профессиональным интересом Олег разглядывал в аптеке витрину с биопрепаратами. Внимание привлекла упаковка «Эскурзина». Французский язык он знал в совершенстве и без труда прочёл написанное мелким шрифтом: «Производитель — фирма «Легонта»». Это была фирма, с которой держал тесный контакт директор их института. «Эскурзин» — лекарство от колита — заинтересовал Олега потому, что изобретённый

им самим пять лет назад препарат со сходным наименованием «Эспури-мизин», успешно прошедший клинические испытания, после долгих проволочек Минздрав запретил на основании какой-то путаной аргументации, главным пунктом которой была ссылка на уже имеющиеся за рубежом эффективные препараты. Бестужев имел обыкновение быстро охладеть к своим завершённым разработкам, поэтому не стал проверять зарубежные аналоги. Но сейчас препарат, производителем которого была «Легонта», заинтриговал его.

Парижские коллеги помогли провести в лаборатории химический анализ и установить параметры «Эскурзина». Результаты ошеломили его: препарат был даже не аналогом его «Эспури-мизина», а в чистом виде подлинником — туда даже не удосужились ввести для маскировки хоть один дополнительный нейтральный компонент. Были все основания заподозрить «Легонту» в присвоении его изобретения с помощью каких-то афёр.

Бестужев никогда не вникал в финансовую сторону своих творений, но тут произвёл прикидочные вычисления и увидел, что обокрали его по крупному. Поступлений от реализации за авторство хватило бы на проведение давно задуманного им эксперимента, подтверждающего бессмертие человеческой души.

Прилетев с конгресса в Москву, он тут же отправился в министерство, показал там приобретённый во Франции «Эскурзин» и попытался поднять старый вопрос о причине блокирования его собственного препарата. Он потерпел полное фиаско. Невразумительными доводами о несостоятельности претензий за давностью лет его «отфутболивали» из одного отдела в другой, пока он не попал в отдел, заместителем начальника в котором был Голованов Игорь, его университетский товарищ. Олег попросил совета, как восстановить справедливость.

— Теперь никак, — сказал Голованов. — Надо было действовать по горячим следам. А теперь на твоём препарате повязано уже столько высокопоставленных лиц со своей долей поступлений от него, что возмись ты распутывать клубок — попадёшь в лабиринт без обратного выхода. Тебе будет противостоять вся королевская рать и в академии, и в правительстве.

— Неужели такой беспредел, Игорь?

— Увы, Олег. Радуйся, что хоть голова на месте. Знаешь, сколько изобретателей бесследно исчезает? Их убивают. А творения оказываются на зарубежном рынке. Так что мой совет — забудь об ушедшем. Вцепляйся сейчас когтями и зубами в свой препарат от кожного зуда. Ты ознакомился с заключением на его клинические испытания?

— Разве оно уже готово? — удивился Олег.

— Ну вот, опять тебя, значит, хотят кинуть. Заключение блистательное, его направили в ваш институт ещё полмесяца назад. Хватай за горло директора немедленно, иначе поезд опять уйдёт.

По пути из Москвы домой Бестужев усиленно размышлял, пытаясь постигнуть непостижимое: почему люди способны без всяких угрызений совести обворовывать докторов наук, получающих зарплату впятеро меньшую, чем уборщица в каком-нибудь частном заведении? И даже, как поведет Голованов, могут пойти на убийство!

Поезд привёз его домой в двенадцатом часу ночи. Спать он лёг с несвёлой головой.

Здоровый сон, однако, исцелил. Бестужев проснулся с ощущением неземной лёгкости в ещё полусонном теле. Точнее, тела не было вообще, были переливы беспричинной радости. Он спрыгнул с кровати и, подскокив к окну, отодвинул штору. С весёлостью воспринял нереальное: вместо серой панельной девятиэтажки, самодовольно заслонявшей небо, глазам предстал оранжевый одноэтажный домик в три оконца и рядом — симпатичная зелёная ёлочка. Вдруг вспомнился запах акварельных красок и связанное с ним чувство полноты жизни, волнуемое обещание какое-то. Прихотливые глубины памяти высветили цветную обложку учебника по географии: голубое небо, синяя-синяя река и оранжевые сосны, сбегаящие по зелёному крутому берегу. И тут же вспомнились сказки Пушкина и гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки». Исходивший от них свет омыл душу свежестью, заморозил далёкостью своей и близостью. Он переживал юную радость мировосприятия, ясно осознав сейчас, что эта радость была дарована бесплатно, без востребования каких-либо усилий за право наслаждаться ею. Она была неотъемлемой частицей, чудесным свойством беспредельной, как Вселенная, души — той удивительной субстанции, загадка которой занимала его с ранних лет.

За окном с назойливой неутомимостью пищал сигнал автомобильного противоголоного устройства. Бестужев наконец его услышал. Мир виртуальной радости рассеялся: перед глазами поднялась привычная уродливая громадина девятиэтажки, из её окон была разнокалиберная поп-рок-«музыка».

На завтрак Олег приготовил овсяную кашу с сухофруктами. Vegetарианская каша не портила его фигуры: в свои тридцать три года он был идеально строен, и, возможно, благодаря именно вегетарианству в лице у него не было заметно ни малейшей примеси каких-либо низменных или недобрых чувств, а мужественность гармонично сочеталась с благородством. А может, благородством наградили просто гены, исследованием которых он занимался в институте синтетической биологии, где трудился после окончания университета десять лет.

На работу он отправился пешком. Олег всегда ходил пешком, если не поджимало время, хотя в гараже у него ржавела от безделья старенькая «Таврия».

Придя в свой отдел прикладной генетики и рассказав коллегам о парижских впечатлениях, Бестужев пошёл на третий этаж, где находился кабинет директора. Джеваго, глянув на вошедшего, кивнул на стул и продолжил дело — он что-то писал. Крупная лысеющая голова, уверенное, быстрое движение руки, заложенная за ухо сигарета — во всём облике Марка Анатольевича ощущались властность, мощь, энергия. Если бы не эти его качества, на месте их института, расположенного в престижном районе — недалеко от центра да ещё на нешумной улице, — давно было бы казино или ресторан. Десять лет назад институт, заимев крупные долги, был на грани банкротства. Суд уже готовил решение о ликвидации, но Джеваго, преодолев неимоверные трудности, сумел доказать, что восстановление платёжеспособности возможно. Олег в то время только пришёл в институт молодым специалистом. Ознакомительную беседу Джеваго проводил с ним сам. Он спросил, в какой отдел хочет попасть Бестужев.

— В отдел биоэнергетики, — не раздумывая, ответил Олег.
— Неплохой выбор, — одобрил директор. — А мотивы?
— Меня интересуют проблемы, связанные с тайной жизни.
— О-о, это заявка на талант. Пойдёшь в отдел прикладной генетики, у нас там самые талантливые. Будешь заниматься биотехнологиями: они дают деньги. Нам надо выживать.

Десять лет Бестужев добросовестно трудился в отделе прикладной, то есть коммерческой, генетики. Но все эти годы он хотя бы по часу в день посвящал вопросам, связанным с тайной жизни, и накопил по этой части немало интересных наработок. Ему, например, удалось блестяще подтвердить предположения некоторых зарубежных учёных о том, что в генах человека заложена информация обо всех событиях, имевших место в истории Земли. Благодаря научным публикациям, его имя было известно и в отечественных научных кругах, и за рубежом.

Кончив писать, Джеваго достал из-за уха сигарету, закурил и бодро произнёс:

— Рассказывай.

Бестужев коротко доложил о главных событиях конгресса.

— Письменный отчёт представлю на следующей неделе, — завершил он свой доклад. — А сейчас хочу затронуть вопрос, не связанный с командировкой, но возникший благодаря ей. Дело в том, Марк Анатольевич, что в Париже я случайно наткнулся в аптеке на противоколитный препарат, являющийся точной копией моего препарата «Эспуриимизин». Производитель копии — «Легонта».

Глаза у Марка Анатольевича настороженно сверкнули.

— Странно, не правда ли? — продолжал Бестужев. — В России мой препарат заблокировали, а не наша фирма преспокойненько им торгует. Я в своё время не стал доискиваться причины блокирования — слишком много волокиты, но сейчас этот вопрос заинтересовал меня в связи с меркантильными соображениями. У нашего института, вы говорите, нет денег на проведение отвлечённого эксперимента, затрагивающего вопрос о бессмертии человеческой души, а я считаю себя обязанным его провести — денег на него от реализации в России моего «Эспуриимизина» вполне хватило бы.

— Кто ж тебя так обаял? — директор саркастически усмехнулся.

— Душа, Марк Анатольевич, душа и обязала.

— Упрямый ты, мой гений! Ставить вопрос о существовании души на уровень научного...

— Но он уже поставлен — и у нас, и за рубежом исследования условий жизни души вне тела уже ведутся. Загробный мир материален, поскольку смерть, если бы она сопровождалась уничтожением души, — абсурд, бессмыслица: все краски жизни заключены в душе, вне неё — лишь электромагнитные поля да волны, то есть с гибелью души и неповторимый мир погиб бы. Между жизнью и смертью нет непроходимой стены: это единый процесс с единой целью.

— И какая же цель у этого процесса?

— Цель бог весть какая, нам знать не дано. Видимо, стремление к совершенству.

— А в чём совершенство, нам знать дано?

— В освобождении от мелочного, суетного хотя бы. От власти денег, например. Только чтобы доказать это научно, к сожалению, опять же нужны деньги.

— Да, жизнь груба, — удовлетворённо произнёс Джеваго. — Занимайся как ты лучше своей универсальной биодобавкой, она суперперспективна. Бестужев глянул отстранённо. Так же отстранённо произнёс:

— Мы с инженером Авиловым спроектировали на свободных мощностях установку для экспериментального обнаружения души, она кардинально отличается от всего, что я выискал на эту тему в публикациях.

— Молодцы! — похвалил Джеваго. — Только денег у нашего института для таких экспериментов всё равно нет. И потом, мы же режимное предприятие: мы должны согласовывать тематику разработок с режимным ведомством, а оно вряд ли даст согласие на твой эксперимент. Обратись к президенту, может, он поможет.

Взгляд Бестужева полыхнул огнём.

— Да не смотри так, ради бога: у тебя жуть в глазах, мне страшно. Правда, Олег, лишних денег нет... Ты немало сделал для института, я с радостью сделал бы и тебе приятное, но...

— А поступления от биотехнологий?

— Они все уходят на разработку новых биотехнологий. Слушай, разве тебе мало других интересных тем? Приелись биотехнологии — займись клонированием. Перспективно, денежно. Менеджера специально для тебя сыщу.

— Клонирование безнравственно, по-моему. Какими глазами я буду смотреть на страдания и смерть сотворённых мной малышей-клонёнков? Из тысячи один, может быть, получится нормальным.

— Обратись к Нерлинскому: может, он придумает, как из твоей затеи сделать деньги, профинансирует тогда.

— У меня ещё надежда на препарат от кожного зуда. Кстати, Марк Анатольевич, вы что-то не торопитесь порадовать меня заключением на его клинические испытания. В министерстве мне сказали — блистательное заключение ещё полмесяца назад вам адресовали...

Лицо у директора побагровело. С минуту он не мог говорить из-за возникших вдруг трудностей с дыханием. Взяв наконец себя в руки, попытался смягчить удар хилым встречным нападением:

— За моей спиной в игры информационные играешь? Контачишь с министерством напрямую?

— Я заехал туда только вчера, прямо из аэропорта. Попытался прояснить вопрос об «Эспуримизине» и вот получил такую неожиданную радость.

— Видишь ли, Олег, — голос у Джеваго сделался вкрадчиво-мягким, — заключением на твой препарат заинтересовалось одно высокопоставленное режимное ведомство, там усмотрели в нём какую-то крамолу. Сам понимаешь: ведомства такого рода рассматривают попавшие к ним вещи досконально, а то могут и вовсе «похоронить». Поэтому я не спешил разочаровывать тебя, хотя заключение Минздрава действительно блистательное.

— Дайте мне координаты этого ведомства, я съезжу.

— Тебя туда не пустят. Ведомство режимное, я же сказал.

— А вас пустят?

— Да. Я держу с ними контакт и постараюсь...

— Постараетесь с помощью взяток заблокировать и этот мой препарат, чтобы рука об руку с «Легонтой» тайно производить и продавать его за рубежом? И будете набивать свой карман отчислениями от выручки...

Директор вскочил со стула с искажённым бешенством лицом.

— Как ты смеешь меня оскорблять?! Я привлеку тебя к уголовной ответственности за клевету! — Увидев, однако, что Бестужева ничуть не тронул такой эффектный взрыв, он с ненавистью выдавил: — Вот ты какой, тих-х-хоня!

— Плод вашей дальновидности, Марк Анатольевич. Вы, видимо, специально подобрали коллектив «тихонь», занятых лишь бескорыстным творчеством.

— Ладно, успокойся: никто твой препарат присваивать не собирается.

— А моё средство от колита? Махинациями с высокопоставленными лицами вы добились передачи его «Легонте». Я располагаю сведениями о вашем участии в этой афере. — «Блефовать так блефовать!» — подумал про себя Олег. — Мне даже известны размеры поступлений, которые вы получаете от «Легонты».

Джевага опустил на стул. Багровость схлынула с его лица, оно стало неестественно белым. Подчёркнутым спокойствием он пытался замаскировать свой страх. Он хорошо знал твердолобую бестужевскую принципиальность: уж если на него наедет убеждённости в своей правоте, вести переговоры об уступках, компромиссных вариантах, выплатах бесполезно — он неподкупен, он будет требовать разбирательства и наказания виновных. Выход один — превентивная война. Придя к такому выводу, Джевага миролюбиво произнёс:

— Каюсь, Олег, твои претензии небезосновательны. Страна погрязла в коррупции, и наш институт — не исключение. Мне захотелось копнуть наши тёмные делишки, да вот копнул и не заметил, как сам в грязь залез. Но ты преувеличиваешь степень моего участия в нарушении законности: просто обстоятельства вынудили сыграть неблагоприятную роль. Только в воровстве я не замешан. Я представлю тебе свои счета. И... давай вот что: давай соберёмся — ты, я, директор «Легонты» — и выложим всё, как на духу, что мы там наложили противозаконного.

— Может, проще привлечь правоохранительные органы? Я в финансовых счетах смыслю мало, а профессионалы быстро расставят точки над «i».

— Да ведь это позор, несмываемое пятно с нашего института! Разве ты не понимаешь?..

— Добрая слава нашего института значит для меня не меньше, чем для вас.

— Зачем тогда наводить на эту славу грязное пятно? Разве невозможно найти компромиссное решение своими силами?

— Пятно уже наведено этой историей на нечто более святое, чем слава нашего института, — на человеческую душу. Мне не хочется копаться в этой грязи. Мне хочется вашей реабилитации в моих глазах. Предпримите для этого всё, что в ваших силах, сделайте это, прошу вас...

Джеваго стремительно поднялся:

— Обещаю, сделаю, Олег. Сколько времени даёшь на реабилитацию?

— Сколько вам понадобится. С препаратом от кожного зуда только вот прошу форсировать. В залог своей доли выручки от него я бы взял кредит на эксперимент.

— А почему бы тебе не форсировать технологию биодобавки? Под её залог тебе Нерлинский охотно даст кредит.

— Форсируй не форсируй, а меньше четырёх месяцев не выйдет. Да ещё бог весть сколько на клинические испытания уйдёт.

— Ну, добро. В ближайшее время еду в режимное ведомство вырывать заключение на твой препарат от зуда.

Они скрепили согласие рукопожатием.

Когда Бестужев покинул кабинет, Джеваго погрузился в размышления. Страх прошёл: он знал, что Бестужев, если уж чего пообещал, то непременно выполнит. Тем не менее превентивную войну против него надо начинать немедленно.

Он позвонил бизнесмену Нерлинскому и генеральному директору «Легонты» Уильяму Уэдсли и, сообщив, что на повестке дня вопрос, не терпящий отлагательств, предложил немедленно собраться. Место встречи назначили в офисе Нерлинского. Через час съехались. Хозяин офиса принял гостей не в рабочем кабинете, а в специально предназначенной для таких приёмов комнате. Очередная размолвка с обожаемой Нерлинским женой так его расстроила, что в качестве противоядия от хандры он не нашёл ничего лучше, как принять на вооружение философски ироничный взгляд на вещи. Таким взглядом он смотрел и на предстоящий разговор, поэтому, когда сели, сказал с претензией на шутку:

— Раз вопрос не терпит отлагательств, предлагаю решать его дважды, как поступали в таких случаях наши предки-скифы: один раз трезвыми, второй раз вдребедень — и выберем серединку.

— Сейчас доложу суть дела, сразу охоту к шуткам потеряешь, — мрачно пообещал Джеваго. — Бестужев раскопал-таки сведения о препарате от колита: ему известно даже, кто сколько кладёт себе на этом бизнесе в карман. Горят и наши планы «подоить» его препарат от кожного зуда. Кто-то сообщил ему в министерстве, что заключение уже у меня. А по вопросу о препарате от колита он грозит обратиться в правоохранительные органы. Тогда всплывёт на свет божий и факт использования незаконным путём наших инструкторских технологий, Эдуард, — обратился он к Нерлинскому. Затем глянул на Уэдсли. — И факт предоставления «Легонте» земельных угодий под генномодифицированные овощи. Договориться с Бестужевым с помощью мелких уступок невозможно, надо что-то другое. Патент на препарат от зуда — слишком жирно для него. Короче, какие будут мысли?

— Чего там мыслить, прыгать надо! — снова мрачно пошутил Нерлинский, имея в виду старинный анекдот про двух алкашей и свисающую с потолка бутылку водки. — Уволь этого гения с работы — и дело с концом.

— Увольнением ничего не решишь. Ему тогда даже легче будет воевать за патент.

— Тогда «заказать» у Дикого. Ты дал ему прилично хапнуть на блокировании «Эспуримизина» — тебе и карты в руки.

— А почему бы тебе не обратиться к Бороде? — со злостью возразил Джеваго. — Он ближайший компаньон твой был.

— Борода на мокруху не пойдёт, — Нерлинский с невинным видом закатил глаза под потолок. — Он предпочитает чистый бизнес.

— Нельзя убирать Бестужева сейчас, — вступил в разговор Уэдсли. — Вот закончит биодобавку, тогда уж...

— Что «тогда уж»? Может, свой вариант предложишь?

— Как представитель зарубежной фирмы я не вправе вмешиваться в такие вещи. Это ваше внутреннее дело.

Джеваго изумлённо поднял брови:

— А наживаться на продаже наших внутренних вещей ты вправе?

— Давайте без упрёков, господа, — примиряющее произнёс Нерлинский. — В сложившейся ситуации ссориться нам непозволительно. Может, как-то всё же улесть этого Бестужева? Ввести в наш круг, поделиться с ним наварчиками...

— Я же сказал: на компромисс он не пойдёт, — со скучным видом возразил Джеваго.

— Тогда шантаж?

— Рычагов нет: он рыцарь без страха и упрёка.

— А через родственников?

— Ни жены, ни детей, ни сестёр, ни братьев. Родители погибли.

— А любовница?

— Наверно, есть: мужик он, по всему, нормальный. Только с бабой я его не видел. Но идея интересная.

— Моё дело сторона, конечно, — сказал, потупившись, Уэдсли, — но если дело дойдёт всё же до «заказа» — лучше, я думаю, нанять киллера в высокопоставленных сферах — это гарантия надёжности и безопасности. А ваши местные мафиози непредсказуемы: сегодня они выполнят ваш «заказ», а завтра вас же будут шантажировать.

— Там посмотрим, — проронил Джеваго. — Может, подсунуть ему обольстительную бабёнку? Глядишь, влюбится. А там Борода через неё надавит.

— Есть у меня такая, — сказал Нерлинский. — Красавица, интеллектуалка, вдова. Могу с Бородой переговорить. Платить ему, естественно, будем поровну.

— Переговори, — с живостью откликнулся Джеваго. — Можно ещё один вариант попробовать. У Бестужева есть близкий друг, тоже работает у нас в институте. Дружба между ними незаурядная, их аяксами зовут.

— Будем считать, по-трезвому решение мы приняли, — подвёл итог Нерлинский. — Предлагаю почтить мудрость древних скифов: выпьем — глядишь, и ещё какое-нибудь решение всплывёт.

Он нажал на кнопку. Явилась секретарша. Через несколько минут стол уже пестрел бутылками и тарелками с закуской.

Джеваго, слегка захмелев и обретя обычную свою самоуверенность, вальяжно возвестил:

— Мы можем убить трёх «зайцев» разом. Во-первых, отбить у него охоту царапаться за патент на противозудный препарат. Во-вторых, выбить из него дурь с этим его заумным экспериментом. В-третьих, понудить его к завершению биодобавки — он её, как я сегодня понял, окончательно за-

бросил из-за помешательства на эксперименте, а ведь её реализация сулит немалые наварчики. Я бы даже подкинул ему за неё пару-тройку миллионов. Но патент он у меня не выцарапает. Я не переносу вещей, идущих вразрез с моими интересами. Творения моих подчинённых — мои творения. Бестужеву и зарплаты хватит: творцы для поддержания хорошей формы должны недоедать.

— Что это у него за эксперимент?

— Идеей бессмертия одержим. Со своим другом инженером уже спроектировал установку для выявления души. Денег для такого эксперимента ему, конечно, ни в жизнь не наскрести, но, как все гении, он невозможного не признаёт и будет долбить лбом стену. А золотая биодобавка будет тем временем стоять на мёртвой точке.

— Ты как директор можешь приказать ему заняться на работе делом, биодобавкой то есть.

— Не могу. Эта биодобавка — свободная тема, вроде НИР: он волен ею заниматься, волен бросить. Будь у меня шальные деньги — дал бы ему на этот чёртов эксперимент с условием, что завершит прежде биодобавку. Но у меня шальных денег нет. Может, ты чего придумаешь, Эдуард?

Нерлинский с пьяно значительным видом поразмышлял минуту, потом ответил:

— Нет, вкладывать деньги в виртуальные фантазии не хочу. Деньги у меня тоже не шальные.

На следующий день Джеваго с шаловливой интонацией сказал Бестужеву:

— Жена нашего мэра в воскресенье даёт в честь дня своего рождения костюмированный бал. Я получил приглашение, а воспользоваться им не могу — товарищ приезжает. Может, повеселишься вместо меня? Игры, лотереи, танцы, угощение отменное... Возьми с собой женщину, приглашение у меня на двоих.

— Нет у меня женщины, — весело оповестил Бестужев.

— Тем лучше: раскованнее будешь себя чувствовать. Развеешься доктору наук не вредно.

— Чего вы уговариваете, Марк Анатольевич? Я с удовольствием отдохну денёк от одиночества.

Не заходя в свой отдел, Бестужев отправился в отдел главного механика, где работал его друг Пётр Авилов.

Авилов сидел за кульманом. Костистый, рослый, широкоплечий, с рельефно очерченной мускулистой шеей и массивной головой, без единого грамма лишнего жира, он производил впечатление несокрушимой скалы. Бесшабашная весёлость его взгляда как нельзя лучше отвечала такому впечатлению. Увидев друга, поднялся. Они уже виделись утром, но встретились с таким воодушевлением, точно позади год разлуки. Бестужев помахал приглашением.

— Замечательно! — обрадовался Пётр.

— Костюм вот только для бала нужен: не знаю, что придумать.

— А жена моя на что? — с живостью воскликнул Авилов. — Она непременно что-нибудь придумает. Приходи вечером — я ей сейчас позволю, она твоих любимых ватрушек напечёт.

Вечером похолодало. Когда Олег побрился и принял душ, начался дождь. Выходить из дома в такую погоду не хотелось, но перспектива общения с друзьями пересилила. Зонта он дома не держал. Пришлось надеть давно нуждавшуюся в чистке дождевую куртку.

Дом Авилова располагался на тихой улице. Едва Бестужев подошёл к ограде палисадника, дверь калитки, щёлкнув замком, отворилась сама, и он увидел на крыльце Петра с супругой. Катерина, южного типа красавица с бархатно-тёмными глазами, бросилась Олегу на шею, расцеловала.

— Боже, как давно тебя так не целовала! — радостно воскликнула она, откровенно любуясь гостем.

— Катерина, не забывай, что рядом муж, — заметил Пётр. — Кстати, меня ты т а к тоже давно не целовала.

— Перебьёшься, — она озорно вскинула к нему глаза. — Довольно и того, что терплю такого толстокожего.

На крыльцо с подушкой в руке выскочил восьмилетний Генка, младший сын Авилых. Не замечая гостя, он опрометью кинулся к беседке. Следом за ним промчался девятилетний Вовка. Братья продолжили начатую дома «разборку» в саду. Маневрируя вокруг беседки, они с молодецкими воплями тузили друг друга подушками.

Приняв от гостя в прихожей куртку, Катерина вынесла постановление:

— Куртку оставишь у нас. Дождь кончился. Я её почищу.

Пока она собирала на стол, друзья, устроившись в креслах, повели разговор о воплощении в металл спроектированной ими установки.

— Деньги, деньги, деньги! — возмущённо восклицал Бестужев. — Вопиющий парадокс: чтобы доказать на фоне бессмертия души, что деньги — ничтожнейшая вещь, тоже нужны деньги.

— Добудем, ибо слово «надо» — великое слово.

— Я ни о чём уже не способен думать, кроме как об эксперименте. Неведомые силы вызывают к моей совести: «Докажи, докажи опустившимся до стяжательства людям, что у человека есть душа и что она бессмертна!»

— Можешь считать, что лично мне ты уже доказал, — произнёс, как всегда с весёлостью, Авиллов. — У тебя в глазах сейчас такой огонь, такая сила — на тыщу доказательств хватит.

— Огня-то нам достанет. А вот такой презренной мелочи, как деньги... Четыреста «честных» способов добычи денег, какими похвалялся великий комбинатор в «Золотом телёнке», мне, конечно, не по плечу, а вот встать, как Киса Воробьянинов, в людном месте с протянутой рукой, пожалуй, смог бы ради эксперимента. Только такими подаяниями на доказательство бессмертия не наскребёшь.

— Да если ты — ты, Олег! — встанешь в людном месте с протянутой рукой, то на кой шут ещё эксперименты — и так всем ясно станет, что душа бессмертна. Слушай, а зачем протягивать руку нищим, когда легче богатею обойти? Давай обойдём?

Обговорить вопрос о процедуре обхода миллионеров они не успели. В двери гостиной появилась Катерина. Присев в грациозном реверансе, она победно сообщила: «Кушать подано, господа!»

Стол был покрыт не белоснежной скатертью, а клеёнкой, зато Катерина поместила на нём все самые обожаемые Олегом кушанья. В центре высилась объёмистая фарфоровая миса с шампиньонами в сметано-яично-

горчично-винном соусе. Её окружали тарелки с румяными ватрушками, жареным картофелем, аппетитно-розовато-белыми в разрезе груздями. Были и жареные грибки. И трёх видов овощные салаты.

— Кремлёвский стол! — восхитился Бестужев. — Позавидуешь мужу такой волшебницы.

— Так это она для тебя так расстаралась, — заметил муж. — Мне она к ужину вермишель со свиной тушёной подаёт.

— Клеветник несчастный! — возмутилась Катерина. — Не со свиной, во-первых, а с говяжьей — я сама свинину не люблю. Во-вторых... В общем, клеветник ты, Петя, вот ты кто.

Она наложила гостю в одну тарелку по ложке разных салатов, в другую — картошечку с груздями, в третью — жареных грибков. Расправясь со всем этим, он вторично обнародовал свои соображения относительно кулинарных способностей хозяйки:

— Если бы ты, Катюша, была не замужем и даже не столь красива, а всего лишь умела бы так готовить, то даже такой закоренелый холостяк, как я, не устоял бы перед соблазном предложить тебе руку и сердце.

— Да, это к счастью для тебя, что она замужем уже, — отозвался с нейтрально скучным выражением Авилов. — А то бы она одним только телевизором в гроб тебя свела. Представь, без всяких признаков аллергии может хоть три часа без перерыва в него смотреть. Не говорю уж про сериалы, она даже рекламу переносит без истерики. Я, когда она телевизор смотрит, про себя думаю: почему с приходом в нашу жизнь телевизоров эволюция разума повернула вспять?

Бестужев засмеялся, но, заметив, что Катерина надула губки, поспешил принять серьёзный вид.

— Эволюция привязана ко времени, — объявил он сверхторжественно, точно лектор перед аудиторией. — А время вспять не поворачивает. То, что представляется поворотом вспять — на самом деле разбег для прыжка вперёд. Этот процесс вечен.

— Если он вечен, — произнёс Авилов с артистично недоумённой гримасой, — то что всё-таки было раньше — курица или яйцо? Меня вот ещё беспокоит пупок — был ли он у Адама? Его не женщина ведь родила.

— Во! — торжествующе воскликнула Катерина. — Видишь, Олег, какой у меня муж! Ты про вечную душу говорил, ведь верно? А он всё к яйцам свёл! И к пупку! Что вас только сблизило, не понимаю. Ты, Олег, умница, доктор наук, занимаешь определённое положение в обществе. А ты кто, Петя?

— Что значит «определённое положение»? — Авилов недоумённо пожал плечами. — Разве божж, к примеру, занимает не определённое положение в обществе?

— Инженеришка ты несчастный, вот ты кто. И я за него ещё замуж вышла!..

— Она меня когда-нибудь доведёт до стресса, — пожаловался Авилов другу.

— Скорей снижение цен в стране объявят, — возразила Катерина.

— Стресс теперь не страшен, — утешил Петра гость. — Любой стресс снимает настойка полохаудровализии.

— В аптеке продают? — изумился Пётр.

— На нашей планете этого растения пока что нет. Оно произрастает на планетах галактики, следующей за соседней с нашей в направлении Тельца. Это примерно двести триллионов квадриллионов километров.

— А-а! — зачарованно произнёс Авилов. — А кто тебе сказал, что она там произрастает?

— Я там побывал вчера.

Катерина хихикнула.

— Правду говорю. Я же готовлюсь к эксперименту. По вечерам провожу погружения в подсознание. Зашториваю окно, затыкаю промасленной ватой уши, ложусь, расслабляюсь и погружаюсь в своё истинное «Я». Только войти в своё «Я» пока не удаётся: всё куда-то в сторону заносит. Вчера вот в другую галактику попал. Но тренируюсь. Я ведь сам залягу в качестве подопытного, когда дойдёт до эксперимента. Надеюсь когда-нибудь погрузиться в себя на генетическом уровне. Интересно же посмотреть, что я такое был до своего рождения — в генах ведь это записано, как и информация обо всей Вселенной, о каждом её миге.

Тут доктор наук заметил выражение скуки на лице хозяйки.

— Катюшенька, прости ради бога, больше не буду про генетику.

— Нет, подожди! — грозно возопил Авилов. — Ответь, пожалуйста, на такой вопрос: зачем человеку мучиться на Земле, если он, как явствует из твоих речей, существо вне времени и пространства?

Олег моментально забыл о только что данном Кате обещании:

— Период жизни на Земле, видимо, необходим для личности, поскольку она делается Личностью лишь под воздействием воспитательной среды. Правит бал энергия. Один её вид необходим для возникновения элементарных частиц, другой, а именно воспитательная энергия социальной среды, — для возникновения Личности. Но что интересно: энергия может сотворить Личность лишь из человека. Обезьяне никакая воспитательная энергия не поможет.

— Ты имеешь в виду обезьян, на которых Катя смотрит в телевизоре? — спросил Авилов.

Бестужев рассмеялся и снова попросил прощения у хозяйки дома. Беседа, к её удовольствию, потекла в житейском русле, полном изумрудов остроумия и шуток. В честь гостя Катерина надела лучшее своё шёлковое платье и сознавала, что она в нём привлекательна до неотразимости. Это побуждало её к оживлённой речи. Она говорила без умолку, самозабвенно.

— Экая машина! — восхитился Пётр. — Прямо перпетуум мобиле! Ни смазывать не надо, ни батарейки заменять.

Катерина смолкла и с минуту внимательно смотрела на мужа. Снисходительность в её глазах сменилась жалостливостью, она миролюбиво молвила:

— Дурак.

Бестужев вступился за друга:

— Дурак не сумел бы уговорить такое сокровище пойти за него замуж.

— Знал бы, какое она «сокровище», — нечто стал бы уговаривать?! — возразил Авилов.

— Ох, что бы я тогда, бедненькая, делала? — картинно простонала Катерина и в качестве иллюстрации с выразительным надрывом пропела куплет из ретро-песенки:

Ох, как же страшно мне теперь,
Что я не ту открыл бы дверь,
Не той бы улицей прошёл,
Тебя не встретил, не нашёл...

Авилов пристально смотрел на неё, взгляд его был серьёзен. Бестужев увидел в этом взгляде пылкую влюблённость юноши, целомудренно приглушаемую поклонением умудрённого годами мужа. Катерина тоже поняла его взгляд и смутилась, опустила глаза.

Сглаживая возникающую неловкость, Олег сообщил о затруднении с костюмированным балом.

— Даже маски простой нет, придётся нарядиться в обычный свой костюм.

— Да где это видано? — Катерина всплеснула руками. — На костюмированный бал — в обычном! Пошли, примерку сделаю. Я тебе такой костюмчик сотворю — всем мэрам и всяким там миллионерам скучно станет.

Взяв портновский сантиметр, она принялась выяснять параметры его фигуры. Замерив талию, недоверчиво воскликнула: «Бог мой, семьдесят пять всего! Как у девочки! Вот что: ты у меня испанским грандом станешь. Все дамы на балу будут твои».

Гостеприимный дом друзей Бестужев покинул в двенадцатом часу. На душе у него было легко, покойно.

Два выходных прошли в одиночестве, как всегда. Хотя вроде и не так уж одинок он в этом мире. Есть друзья, коллеги, любимая работа — чего ещё? Подружки нет. Женщин — красивых, добрых, умных, глупых — всяких — судьба дарила, а вот в подружке, умеющей не сковывать свободу мысли, почему-то отказала.

Он смотрел в окно на заслоняющую небо девятиэтажку. В голову полезли невесёлые мысли. Читать научные журналы не хотелось. «Развлекусь-ка я маленько беллетристикой», — решил он и засел в кресло с недавно приобретёнными книгами о душе: «О том, пока ещё на этом» Владимира Сафонова, «Начало начал» Т. С. Тихоплава и «Физика веры» В. Ю. Тихоплава.

За чтением чувство одиночества развеялось. Он вдруг ощутил себя счастливейшим из смертных. Далеко не всем даровано, как ему, осознание своего единства с Вселенной, Временем, Пространством. Он — избраннык, он способен ощущать на вкус волнуемые тайны, обступающие со всех сторон. Почему, зачем, когда явился этот мир, кто его придумал — если Бог, то кто придумал Бога? Почему так устойчивы его законы и почему они именно такие? Что могло бы быть вместо Вселенной, низвергающейся во все стороны беспредельной пропастью? Почему способ её существования во Времени — беспредельность? И каким образом зародилась жизнь? Откуда взялся ни с того, ни с сего Пра-Ген и почему заложенные в генах предпосылки Личности могут реализоваться только в социальной среде, но приобретённые воспитанием социальной среды качества почему-то не передаются по наследству: надо выработать их каждый раз заново, рождаясь в этот мир. От родителей даруются только биологические свойства. В чём кроется тайный смысл такого вопию-

ще неэкономного ограничения на запрограммированную свыше устремлённость к совершенству? Может, в том и кроется, что НАДО ограничить? Вселенная ведь была всегда и всегда будет — если не так, то сразу возникает вопрос: а что же было до её начала и что будет в случае её конца? А раз она ВСЕГДА, значит, при заложенной в ней устремлённости к совершенству в любой момент Времени, в том числе и настоящий, СОВЕРШЕНСТВО было бы уже достигнуто, а «хомо сапиенс», тем не менее, не избавился в этот настоящий момент от такого чудовищного пережитка, как власть денег. Парадокс. Загадка, которую можно объяснить лишь умышленным ограничением СОВЕРШЕНСТВА. Может быть, это подтвердит когда-нибудь бессмертная душа? А у него, счастливца, есть великая цель — подтвердить реальность её бессмертия. Где вот только «смертные» денежки для этого достать?

В понедельник Авилов узнал от знакомого репортёра «Коммерсанта» адреса городских госпредприятий и предпринимателей-миллионеров. Друзья решили обойти богачей на следующий день, во вторник, взяв отгулы. Предчувствие негативного результата не сулящей удовольствия процедуры выбивало из колеи, к тому же — понедельник.

Стрелки часов подошли наконец к пяти. Сдав в архив рабочие материалы, Бестужев отправился домой. Изученную досконально дорогу от института до дома он проходил на автомате, мог бы, наверно, и вслепую её пройти, ничего неожиданного бы не случилось. Но на этот раз случилось. Он пересекал в рассеянности дорогу не по штатному переходу, а в более удобном для дальнейшего пути до дома месте, где всегда переходил, нарушая правила движения — здесь дорога делала «колено», огибая сквер. Всё было мирно, тихо, и вдруг в ушах у него, даже как будто в самом сердце, взвизгнул дикий звук автомобильных тормозов.

Он не успел даже испугаться, лишь, остановившись, ошеломлённо повернулся. В метре от него застыл в неподвижности белый «мерседес». Через лобовое стекло машины с удивительным спокойствием смотрела сидевшая за рулём женщина. Она не успела посигналить, потому что выскочила внезапно из-за угла, но это он сообразил потом, а сейчас, подавив ошеломление, разглядывал с несвойственной ему неделикатностью открытый участок её груди, украшенный золотым кулоном. В ушах у неё сияли золотые серьги с бриллиантами, в узле каштановых волос на голове тоже посверкивало что-то недешёвое — это роскошество Бестужев отметил мельком, заворожённый обаянием тайны её облика, от которого исходила будто бы глубинная тоска, даже трагизм какой-то. Женщина была редкой красоты. Миндалевидный разрез глаз, аристократический овал лица, точёный нос, чётко очерченные губы. «Не грех бы было познакомиться», — подумал он. Но какое-то величаво-грозное знание в надменном взгляде незнакомки внушало робость.

Олег так и не посмел сказать ей ни полслова. Удалившись метров на десять в глубину сквера, оглянулся — «мерседес» стоял на прежнем месте. Лишь когда он сделал пару шагов назад к нему, машина плавно тронулась и резво набрала скорость. Он запомнил её номер, помимо воли.

Во вторник с утра друзья отправились по богачам. Руководителей и частных бизнесменов они распределили поровну.

Олег начал обход с госпредприятий. На его долю таких досталось два: одно производило оптические приборы, другое, специализировавшееся прежде на разработке аппаратуры для исследования космоса, занималось теперь производством кастрюль, скороварок и прочих разных сковородок. Руководитель первого на просьбу проспонсировать эксперимент ответил: «Бог подаст, самим на эксперименты не хватает». Руководитель второго отказал не столь категорично: «В настоящий момент у нас в бюджете минус».

Идея эксперимента о душе весьма заинтересовала директора хлебокомбината. Он долго расспрашивал подробности. В заключение глубокомысленно заметил: «Да, не хлебом единым жив человек. А мы вот в хлебе ковыряемся, заумные вещи нам не по карману».

Директор мясокомбината, маленький, толстенький, с багровыми мясистыми щёчками и заплывшими жирком глазами, долго не мог понять, чего визитёру конкретно надо. Когда наконец понял, рассердился: «Инвестиции на изучение души? Вы не туда попали, молодой человек: у нас другой профиль».

Директор хладокомбината холодно спросил: «А какое отношение, извините, наше предприятие имеет к вашему эксперименту? Если вам нужна морозильная установка, могу предложить только списанную: исправные у нас все в деле».

Моральный стресс смертельно утомил Бестужева. Ему казалось, сил на обход трёх оставшихся адресов уж не достанет. Но взяла верх привычка доводить всякое дело до конца.

Остались офисы частных бизнесменов. Сферой деятельности одного была парфюмерия. Второй владел лесоперерабатывающим заводом. Третьего, миллионера Нерлинского, завязанного бизнесом с наработками их института, Бестужев решил оставить «на десерт».

Парфюмер обнадёжил любезным приёмом. Узнав, что перед ним доктор биологических наук, он живо поднялся из-за стола. Его розовощёкое лицо расцвело в улыбке:

— Рад приветствовать коллегу. Я тоже родом из науки: не биологической, правда, а технической. И пониже рангом — кандидат. Присаживайтесь. Чем могу быть полезен?

— Обращаюсь к вам с просьбой о финансовой помощи в деле, реализация которого вознаградит вас нравственным удовлетворением.

— Вообще-то, я предпочитаю деньги, — раздумчиво проговорил парфюмер. — А в чём суть вашего дела?

Визитёр изложил суть эксперимента.

— Какая корысть лезть в загробный мир? — удивился парфюмер. — Деньги-то мы здесь ведь делаем!

— Деньги — это бумажки, фантики, никчёмная игра. Материальные блага добываются не деньгами, а трудом. А оправдание и смысл жизни — в познании. Разве не так, кандидат технических наук? Разве не свет истины подвигнул вас стать кандидатом?

— Свет в карман не запихнёшь.

— Это не карманная категория, это — устремлённость к высшему. Именуемый жизнью миг с карманом, полным денег, разве важнее бессмертия?

— Бессмертие — вещь недоказуемая.

— Я как раз и прошу помочь это доказать.

— Нет у меня лишних денег. Уж простите...

Олег долго раздумывал, стоит ли идти к владельцу лесозавода — и так всё ясно. Но всё же пошёл. Офис «короля» лесопереработки находился на территории самого завода. Поплутав между длинными цехами и горами брёвен, Бестужев разыскал наконец цех, где было управление. Поднявшись по винтовой лестнице, очутился в фанерной конторке, похожей на голубятню.

— Что вам? — грубо спросил объёмистый, килограммов под сто, мужчина.

Страдая от сознания бесперспективности вынужденного унижения, Олег всё же доложил о цели своего визита. Владелец завода терпеливо, не перебивая, дослушал его до конца, потом сердито поинтересовался:

— Вам делать больше нечего? Если нечего — не отвлекайте других от дела.

— Всего вам доброго, — попрощался Бестужев и пошёл по винтовой лестнице вниз, на волю.

Владелец лесозавода доконал его. Унижаться ещё перед миллионером Нерлинским не было нужды — ответ будет несомненно тот же.

В шесть вечера он позвонил Авилову:

— Как дела?

— Ни одного не смог уговорить. Они даже чувства юмора не имеют, чтоб им пусто было! А у тебя как?

— Точно так же. Ладно, Бог с ними, богатеями: пусть остаются при своих деньгах. Мы всё равно своего добьёмся.

— Вот это ты молодец... А я, признаться, скис маленько.

Положив трубку, Бестужев подумал, что слово «скис» маловыразительно. Он испытывал нечто посложнее. Отчаяние пробуждало в нём демоническую ярость, готовность пойти на всё ради достижения заветной цели. В сознании мелькали какие-то нереальные фантастические планы.

Вдруг в ушах явственно прозвучал суровый голос: «Бессмертную душу ищешь? Смотри, свою не потеряй». Его потряс озноб испуга — до того голос был реален. Смысл фразы тоже не располагал к чрезмерной храбрости. Однако суеверный приступ страха быстро позабылся.

В маскарадный костюм для Бестужева Катерина вложила всю свою сверхкипучую энергию. У неё не было ни выкройки, эскиза, ни даже приблизительного представления об одежде испанских грандов: она руководствовалась лишь просмотренными в детстве кинофильмами о Средневековье да собственным чутьём. Материалом для костюма послужил коричневого цвета натуральный бархат, который она планировала на жакет и юбку для самой себя. На отделку пошла золотая и серебряная тесьма, буфы, кружева, шёлк, бисер. Сапожки и поясной ремень пошила по её заказу знакомая, работавшая в ателье. Шпагу с великолепным эфесом изготовил в мастерской института Пётр.

Костюм получился даже лучше, чем она рассчитывала. Величие и строгость средневековой Испании гармонично сочетались в нём с чарующим светом музыки этой романтической страны. Когда Олег в первый раз примерил его, Катерина ойкнула, обессиленно опустилась на стул и со счастливой улыбкой восхитилась:

— Какой же ты красивый, Олеженька! Посмотри на себя в зеркало. Он посмотрел и смутился — действительно красивый.

— У тебя талант художника, Катюша. Именно таким я и представлял себе испанского гранда.

Окончательную примерку делали принародно. Первым высказал своё суждение Генка:

— Классно!

— Как в Польше, — согласился Вовка.

А их отец, оглядев фигуру друга со всех сторон, обеспокоился:

— Я опасюсь за твоё целомудрие, Олег. Дамы на балу лишат тебя его непременно. Поймают в туалете или прямо во время танцев... Жена, надо соорудить ему пояс верности. Ключ от него положим на хранение в сбербанк.

— Без пояса обойдётся, — смеясь, возразила счастливая Катерина. — Его маска защитит, — с этими словами она надела на лицо Бестужеву маску из того же материала, что и костюм.

Все сошлись во мнении, что маска придала гранду совсем уж неотразимый шарм.

— Нет, маска его не защитит, — сделал резюме Авиллов. — Слишком сексапильная фигура.

Бал жена мэра замыслила с размахом, предназначив для этой цели четырёхэтажное здание педагогического института, где имелся отвечающий её взыскательному вкусу просторный актёрский зал и столовая, а для костюмировок и других затей — лекционные аудитории. Чтобы предупредить поползновения к протесту со стороны руководства института, его в полном составе включили в число приглашённых на бал.

В день бала бригада поваров с утра принялась жарить-парить изысканные кушанья. В шесть вечера начали съезжаться приглашённые. Институтская автостоянка оказалась мала, подъезжающие ставили машины на обочине по периметру квартала. У входа гостей встречали наряженные под дворецких добры молодцы из охраны мэра. Пропускали по приглашительным билетам.

Бестужева подвёз на своей машине Пётр.

— С Богом, — сказал он. — Смотри, не подкачай там.

В вестибюле напротив входной двери висел весьма искусно подсвеченный указатель: «Гардероб — первый этаж слева. Комнаты костюмировок — третий этаж для женщин, второй этаж для мужчин. Банкетный зал — третий этаж. Туалеты на всех этажах».

Вручив одетому в сине-красную ливрею гардеробщику пакет с маскарадным костюмом, Бестужев расслабился и двинулся знакомиться с обстановкой. По длинным коридорам прогуливались с праздничными лицами, сверкая украшениями, дамы, ведомые напыщенными господами. Одиночек, как он сам, Олег не видел: были только пары. Они сходились, образовывались кружки, слышались оживлённые приветственные возгласы, негромкий женский смех. Над головами плавали разноцветные надувные шарики.

Праздное одиночество в толпе отборных представителей городской элиты его не тяготило — Олег осознал это без всяких угрызений совести. Светлое предчувствие чего-то сказочно-прекрасного, как бывало на

новогодних ёлках в детстве, веселило душу. Работа, волнения, связанные с поисками денег для эксперимента, и даже сам эксперимент — всё в сравнении с этим светлым чувством представилось вдруг эфемерным.

Ретро-музыка смолкла, и кокетливый женский голос из динамика объявил: «Милостивые судари и сударыни! Просим пожаловать в банкетный зал». В центре зала было свободное пространство, видимо, для танцев. Вдоль стен на ближней от входа половине — диваны, кресла, на дальней — столы, уставленные яствами. На возвышении позади трибуны — стулья для оркестрантов. Олег пошёл к столам.

— Вы смотрите, где сесть? — обратилась к нему распорядительница.

Он молча наклонил голову.

— Вы один?

Он опять кивнул.

— Вот здесь вас устроит? — распорядительница указала на столик, за которым в одиночестве сидела броской красоты блондинка.

— Ещё как устроит! — весело ответил он. — Спасибо.

Сидевшая за столом незнакомка озарила его ждущим взглядом. На вид она была одного с ним возраста. Когда он поглядел на неё внимательней, в зрительной памяти ясно высветилась другая незнакомка — та, что едва не сбила его с ног своим белым «мерседесом». Сидевшая за столиком была чем-то похожа.

— Вы позволите? — спросил он, взявшись за спинку стула.

Голубые глаза блондинки кокетливо стрельнули, затем она потупилась, молча указав на стул. Олег сел и улыбнулся. Через пару минут он знал о ней всё: зовут Марианной, вдова, муж-бизнесмен умер два года назад, мать и отец тоже умерли. По образованию она педагог, но не работает: живёт на оставленные покойным мужем средства.

Распорядительница между тем поднялась на трибуну и призвала всех поздравить именинницу. Раздались разрозненные вопли: «С днём рождения! Долгая лета!» Распорядительницу сменил мэр города. Мясистая челюсть у него была вдвое шире лба, как у бульдога. Такими же бульдожьими были коротенькие, толстенные руки. И он не говорил, а лаял, как бульдог. Он поздравил супругу с днём рождения. Смысл его дальнейшей речи был туманный — какие-то инновации, инвестиции вперемишку с проблемами ЖКХ. Но закончил он неожиданно просто и понятно: «Уважаемые дамы и господа! Выпьем за процветание нашего города». Вцепясь бульдожьей хваткой в стоявший перед ним фужер, он лихо опрокинул в бульдожьую пасть его содержимое. Дружные аплодисменты были ему наградой.

Олег спросил, какое вино предпочитает сотрапезница. Марианна, не смутясь, ответила, что для разгона предпочла бы рюмку водки. Пришлось последовать её примеру, хотя водку он не любил. Перекусив, они выпили по фужеру белого «мартини», спустя немного — по фужеру крепёного вина. Он неожиданно быстро опьянел, собственная речь стала доставлять большое удовольствие, как и воркование Марианны.

— Вы женаты, Олег? — спросила она.

— Увы, холост.

— Как вам это удаётся? Вы такой видный мужчина... Может, вы женоненавистник?

— Сидя за столом с такой прелестной женщиной, как вы, женоненавистником быть трудно.

— Благодарю. Почему вы едите только рыбу?

— У меня на мясное аллергия.

— Вы опасный мужчина.

— Для кого? — искренне удивился он.

Его наивное недоумение развеселило её, она симпатично рассмеялась.

— Для женщин, разумеется, — интимно понизив голос, она добавила: — Потому что вы милый.

Она ему всё больше нравилась. «Может, судьба? — подумал он. — Скромна, застенчива, красива, педагог...»

— Благодарю за комплимент, Марианна. Вы так обаятельны, красивы. Ваш муж, должно быть, безумно вас любил.

— О, да! Готов был заниматься со мной любовью днём и ночью, — эта резанувшая его слух фраза была произнесена ею без всякого смущения и даже с щегольством, точно она сообщала о самом обыденном, но весьма важном. — Вы тоже, я уверена, любовник пылкий, — добавила она.

— Должен вас разочаровать, я не похотлив. Любовь в моём понимании — нечто другое, связанное с душевным и духовным.

— О, я вас прекрасно понимаю, — поспешила она загладить оплошность, — любовь — это не только постель, конечно.

Но ему уже было ясно, что поползновения этой прелестницы на роль его любовницы несостоятельны.

Распорядительница объявила, что пора наряжаться в маскарадные костюмы. Шумно задвигались стулья. Возбуждённый говор, хлынув из зала в коридоры, на некоторое время стих за дверьми костюмированных, затем возобновился, но уже в новом качестве — интимно приглушённым. Дамы и господа повисли чинными костюмами на вешалках, а в коридоры вышли представители замечательного мира. Здесь были простодушный Иванушка из сказок и прелестная Золушка, задорный Буратино и тихая Русалочка, трагикомичный Дон Кихот и весёлая крестьянка в сарафане. Поэтически изящная, источающая ностальгическое обаяние фигура испанского гранда, под маской которого крылся доктор биологических наук, вписалась в этот весёлый мир ярким изумрудом, хотя цвет одеяния был и не зелёный. Перед ним остановилась девушка в нарядном переднике, с подносом и вручила ему сложенный листок. Выпив предложенный ею бокал вина, он прочитал написанное на листке: «Я узнала вас, гранд. Ищите же меня!» Не составляло большого труда вычислить, что послание исходит от разделявшей с ним застолье Марианны.

Олег пошёл в банкетный зал, где гремел уже оркестр и танцевали. Он пригласил на танец женщину с неплохой фигурой. Потом другую. Полуулыбки, полувзгляды, полущёпот, значимая недосказанность — эта ни к чему не обязывающая игра увлекла его. Про Марианну он забыл. И вдруг почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. Он подошёл к столу, чтобы выпить бокал вина, и тут ощутил спиной едва уловимое движение — словно приятным лёгким ветерком повеяло.

Обернувшись, он потрясённо замер: в противоположном конце зала, отдельно ото всех, чуть выступив вперёд из ряда сидящих и стоящих, стояла Королева. Это было одиночество богини. Величавое и вместе с тем

изящное сложение, серебристо-голубое платье, кольцо из бриллиантов с голубым сапфиром... На королевской короне — сверкающая диадема из алмазов. Хрустальный свет её облика излучал оттенок будто бы угрозы. Узенькая маска подчёркивала красоту. Он узнал её. Это была женщина из «мерседеса», едва не сбившего его. Она, несомненно! Сложение, волосы, посадка головы, сверкающие бриллианты — всё её! И эта протупающая в облике угроза... Он вдруг ужаснулся: «Я не осмелюсь пригласить её на танец!»

Заиграл оркестр. Королева отступила в ряд сидящих и стоящих. Мужчины даже приблизиться к ней не решались. И всё же нашёлся один пошляк — пригласил. Олег почувствовал нездоровое желание дать ему по роже, но столь крутая мера не понадобилась: Королева отказала наглицу.

Объявили белый танец. К Бестужеву подошла дама в оранжевого цвета маске. Он легко распознал в ней Марианну. Он танцевал с ней молча, притворяясь, будто не узнал. Она такого испытания не выдержала, заговорила первой:

— Великий гранд, вы женоненавистник, да?

— Что вы! Не думайте обо мне столь возвышенно: я всего лишь од-нолюб.

Едва танец кончился, она стремительно куда-то убежала.

Уставших оркестрантов сменили магнитофонные записи, сделанные, видимо, специально к этому элитному балу — никакой поп-рок-музыки, никакой вульгарщины, только старые добрые вальсы, танго и фокстроты.

Когда зазвучал «Грустный вальс» Сибелиуса, Бестужев словно бы в задумчивости двинулся в противоположный конец зала. Подойдя к Королеве, кинул голову в поклоне вниз. Прошли тысячелетия, как ему показалось, прежде чем он ощутил женственно невесомое прикосновение её руки. Такой же невесомой оказалась она вся, когда они закружились в вальсе. Он ощутил нечто отдалённое и близкое, связанное с ней. Нечто напоминающее застенчивый восторг. Она была радостью, печалью, болью, счастьем; она была рок его, предначертанный Пра-Геном. Нестандартная для вальса мелодия Сибелиуса раздумчивым своим течением заволаживала и вдруг всплеском вызова всем тёмным силам ввергала в вихре серпантинных лент в стихию грустного веселья и отчаянной надежды. Видно, не Сибелиус придумал эту музыку: она всегда звучала во Вселенной как утверждение грустной красоты. Она была частицей той души, которую люди называют Богом. В ней слышалась возвышенная женщина: она мягко волновалась в ожидании какого-то ответа и на пределе своего волнения ответ как будто получала и успокаивалась, но тут же снова начинала волноваться в неторопливом ожидании повторного ответа, уже без беспокойства, в ликовании, в признательном восторге счастья. Какую-то особенную радость порождала эта музыка. Не безудержную, плотскую, самоуверенную. Это была радость утончённая, с налётом романтической светлой грусти. Отблеск вечности окрашивал её. Она не зависела от внешних обстоятельств. Под её воздействием Бестужев ясно вдруг почувствовал, что всё самое близкое, святое, светлое — с ним навсегда. Какая тайна крылась за этим «навсегда», неведомо, но прекрасная музыка и прекрасная партнёрша безмолвно утверждали, что он, Бестужев, безмерно шире мига, заключённого между рождением и смертью.

Он решился, наконец, заговорить:

— Я узнал вас, уж простите. Пять дней назад на меня чуть не наехал белый «мерседес» — за рулём были вы, ведь верно?

Она величаво повела головой с неопределённостью — не то отрицала, не то подтверждала это предположение.

— Как вас зовут?

— Элеонора.

— А меня Олег. Позвольте мне надеяться, Элеонора, что мы с вами встретимся ещё.

— Я замужем. Но мне тоже хотелось бы надеяться на нашу встречу. С вами у меня связано что-то очень давнее. Я это ощущаю, хотя разум говорит, что это просто грёзы, — она улыбнулась. Её улыбка даже из-под маски была обворожительна. Она выражала одновременно и юную доверчивость, и знание.

Танец кончился. Он проводил её до места, где она стояла. Однако остаться подле неё не посмел: пошёл к столам в противоположный конец зала. На следующий танец снова пригласил её. Они станцевали подряд три танца.

В очередном перерыве женский голос из динамика заговорил о Королеве и Испанском гранде. Оказывается, их признали лучшей танцевальной парой и приглашали получить приз.

Олег стоял перед распорядительницей бок о бок со своей партнёршей. Ему представилось, будто его, принца, венчают с Королевой и сейчас наденут обручальное кольцо. Но обошлось без драмы. Вместо кольца распорядительница вручила фарфоровую статуэтку, изображающую летящую в танце пару. Их окружили улыбающиеся лица. Олег пожимал поздравляющие руки и тоже улыбался. И вдруг заметил, что Элеоноры рядом нет. Он оглядел зал, трижды обежал его, потом принялся бегать по этажам, заглядывая во все комнаты и закоулки. В конце концов, заблудился в одном из коридорных лабиринтов. В поисках выхода попал в полутёмный узенький проход. С другого конца прохода на него смотрела Элеонора. Она была уже без маски. Они медленно двинулись навстречу друг другу. Олег увидел перед собой запрокинутую голову женщины. Соприкосновение их губ было целомудренно несмелым. Прежде чем она высвободилась из объятий, он успел подумать, что одним только вот этим поцелуем вознаграждён за свой крест одиночества более чем сполна.

Она убежала. Бал заканчивался. Олег с рассеянной улыбкой шёл по коридору. Вдруг столкнулся лицом к лицу с Марианной. В ответ на её недобрый взгляд что-то неловко произнёс. Она холодно проговорила:

— Ты пожалеешь, что меня отверг. Я отомщу.

— Мщение — неблагодарный труд, Марианна, — проговорил он мягко. — Тем более по отношению ко мне. Я не боюсь передряг, ей-Богу.

Элеоноры Олег так и не нашёл. В костюмерной из гранда превратился опять в доктора биологических наук, спустился в вестибюль. Выйдя на парадные ступени, проскакал по ним, точно первоклашка, и с блаженным видом пошёл по ночным улицам неведомо куда.

ОЗЕРОВЦЫ



Культурному центру «Дом Озерова» — 35 лет! А кажется, что этот первый выставочный зал Коломны был здесь всегда. Парадный купеческий особняк — украшение Старого города, выстроенный на рубеже XVIII—XIX веков, как полагают, по проекту самого Матвея Казакова, Дом Озерова носит

имя человека, который был одним из крупнейших благотворителей Коломны XIX века. Под этим именем культурный центр и вошёл во все современные справочники.

И особенная, чудесная жизнь поселилась в этих стенах! Каждый год здесь экспонируется 30—40 выставок. Сказочное переплетение жанров, множество художников из десятков городов и стран изменили духовное пространство древней Коломны. Сейчас в «Доме Озерова» работают три зала, в которых выставляются произведения живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии, народного творчества. В 2013 году в «Доме Озерова» открылся музейно-выставочный зал народного художника России, академика Михаила Георгиевича Абакумова.

В этом гостеприимном доме собираются писатели, чтобы провести творческие встречи и презентации книг, артисты Коломны, а также музыканты и солисты, выступающие на лучших мировых сценах. Более 50 тысяч человек ежегодно приходят сюда, чтобы открыть для себя прекрасный и загадочный мир искусства.

Авторы «Коломенского альманаха» никогда не забудут, что презентация его первого выпуска прошла в «Доме Озерова», что для всех нас его стены стали родными!

Мы поздравляем славных волшебников чудесного Дома с юбилеем! Впереди у вас долгий путь и великая цель. Красота спасёт Коломну и всех нас!



Я СВОБОДЕН



Евгений Васильевич Шишкин родился в 1956 году в Кирове. В 1979 году окончил факультет автоматики и вычислительной техники Кировского политехнического института, а в 1985-м — филологический факультет Горьковского университета, в 1995 году — Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького в Москве.

Рассказы Евгения Шишкина правдивы, психологичны. Герои его не выдуманы: они тут, рядом, живут вместе с нами. И переживают. Больно ранит несбывшаяся мечта, неудачная любовь. Но эти люди находят в себе силы выдерживать, выстоять и, главное — не отчаиваться и не ныть, а принимать суровую прозу жизни такой, какова она есть на самом деле.

Евгений Шишкин — член Союза писателей России. Лауреат многих литературных премий, в том числе имени В. Шукшина и А. Платонова. В настоящее время работает заведующим отделом прозы самого многотиражного «толстого» журнала «Наш современник».

Живёт в Москве.

Рассказ

Сегодня утром Вавилов видел её. За все прошедшие с того времени девять лет он не искал с ней встречи, не вынашивал проектов ускорить, подхлестнуть эту встречу — он терпеливо, истово ждал сегодняшней фатальной случайности, которая не могла не произойти, которая обязана была свети, столкнуть, соединить их хоть на миг, хоть на мимолётный взгляд, хоть на полслова. Вавилов не просто видел её сегодня — не впрямую из окна машины в уличной толпе или из окна офиса, когда можно было ошибиться, — он смотрел на неё достаточно долго и был совсем близко — так близко, что можно было разглядеть светленькие штрихи морщинок у её глаз на загоревшем первым майским загаром лице — лице немного постаревшем и похудевшем и как бы обострившемся, с теми неизменными, всегда чем-то взволнованными малахитовыми глазами, с дежурным тонким полусъеденным слоем помады на чуть обветренных губах. Он даже разговаривал с ней, он вобрал в себя каждое её слово, каждый вздох, он даже ощутил в себе её неловкость: он перед ней — в светлом итальянском костюме, в галстук за сто долларов, она — в простой тёмной юбке, в футболке, уже застиранной, босоножки разбитые, в руках — потёртая, вылинявшая матерчатая авоська, чем-то набитая, наверное, продуктами. Свернувшиеся в жгут лямки старой авоськи резали ей руку, Вавилов видел белые надавленные следы на её ладони, когда она перекладывала авоську из одной руки в другую.

— Давай я тебе помогу, — Вавилов потянулся к ней, он уже дотронулся до этих жгутиков-лямок и заодно, нечаян-

но, коснулся её руки — руки такой знакомой, освоенной, такой незабываемой и теперь такой недоступной...

— Нет-нет. Не надо. Я сама справлюсь. Нет... Вас вон люди ждут. До свидания, — она сказала это быстро, испуганно и как-то вся замкнулась, залезла в себя, словно в ракушку, словно в панцирь, и, чуть ссутулясь, пошла. В каждом её движении, в каждом её шаге чувствовалось, что она хочет поскорее скрыться от него, от Вавилова, от его взгляда и от взглядов тех двоих, которые стояли за его спиной. Вавилов чувствовал, как ей поскорее хочется скрыться за прохожими, затеряться и исчезнуть, покончив с этой неловкостью своего бедного положения, с неожиданностью этой встречи. Покончить с ним...

Он смотрел ей вслед, долго и неотрывно. И даже когда она окончательно скрылась, исчезла, растворилась в потоке прохожих, в деревьях, в зданиях, в безнадёжности, в той безмерности координат времени и пространства, из которого появилась, Вавилов всё ещё стоял неподвижно и не хотел верить в то, что это уже произошло, уже состоялось, и повторить, переиграть это уже невозможно.

Он не хотел оборачиваться к тем людям — референту Сергееву и охраннику Котову, которые стояли за ним, ему не хотелось видеть нарядный фасад двухэтажного особняка с зеркально-затемнёнными окнами и дубовой дверью, и всё больше в нём нарастало чувство провала. На какой-то миг в глазах у него всё помутнело, и ему стало так же нестерпимо больно и дурно, как было тогда, девять лет назад. Вавилов почувствовал, что может сейчас упасть, и никто из тех двоих, которые стояли за спиной и которые бросятся поднимать его и зырять по чердачным окнам соседних домов и искать наёмного убийцу-снайпера, не поймут, не догадаются, им даже на ум не придёт, от какой силы их шеф, крепкий молодой мужчина, вдруг повалился и чуть не сдох под окнами своего офиса — офиса, в котором он своим умом, волей, деловой хваткой, изворотливостью контролирует весь «бензиновый» бизнес города.

Вавилову всегда хотелось отомстить ей своим богатством и успехом, а ещё больше хотелось своим богатством и успехом вернуть её из прошлого девятилетней давности. Но теперь оказалось: она даже не хочет знать-ся с ним и хоть как-то оценить и преклониться перед его силой, властью, деньгами, и теперь ему уже нечего и некому доказывать — всё впустую, всё зря, всё напрасно, и в душе у него было погано, скверно, как на замусоренном пустыре, где ветер гоняет обрывки бумаг, фантики, истлевшие окурки папирос — дешёвого «Беломорканала», который приходилось курить в армии.

Вавилов повернулся к своим подчинённым, хотя ему не хотелось видеть и вспоминать о них, ему даже не хотелось вспоминать о себе самом: кто он, кому принадлежит роскошный особняк с зеркальными стёклами. Но он, наконец, повернулся, исподлобья взглянул на них. Они — и референт Сергеев, этот чистюля и пройдоха, и крепых-охранник Котов, с короткой стрижкой и волковатыми глазами, человек тупой и преданный, — смотрели на него, на Вавилова, как-то виновато, переминались перед ним, будто чего-то не учили, прошляпили, пролопушили. Вавилов равнодушно окинул их взглядом и обернулся назад — туда, в город, в безмерность, из которой она появилась на минуту и опять скрылась, — огля-

нулся так, как будто надеялся остановить, растянуть эту минуту. Потом стал подниматься по ступенькам к дубовым дверям.

— Может быть, вернуть... — заговорил негромко и учтиво чуткий Сергеев и тут же поправил себя: — ...попытаться вернуть эту женщину?

— Что?— словно его тронули за живое, вскрикнул Вавилов. — Нет! Ни в коем случае! Этого делать не надо! Поздно! Всё! — отрубил он и подошёл к дубовой двери. Подошёл, ненавидя себя за то, что не позволил Сергею вернуть её; Сергеев смог бы; Вавилов потому и держит этого ушлого референта Сергеева, что тот может всё устроить: сауны и проститутки для клиентов и партнёров, взятки чиновникам и подкупы депутатов, подарки их жёнам и отпрыскам и ещё многое из того, что может человек, который пролезет в игольные уши — только дай ему денег... Сергеев, конечно бы, вернул её, но Вавилов понимал, что «поздно!» и уже сказал «нет!».

Почти так же он осёк мать — тогда, всё те же девять лет назад, когда мать приезжала к нему в армейский госпиталь. Мать спросила его осторожно и уступчиво — уступчиво, потому что мать всегда была против неё:

— Сынок, ну хочешь, я сама поговорю с ней? Может быть, она... — мать, однако, замялась, да и Вавилов выпалил ей:

— Нет! Не надо, мама! Не напоминай мне больше о ней. Всё!

Возможно, именно тогда он упустил шанс, ниточку: ведь могло что-то измениться, если бы он позволил матери встретиться с ней. Но он, ненавидя себя за своё упрямство, за свою неразумную взвинченность, уже произнёс «нет!». И ему хотелось плакать, зарыться лицом в подушку, укутаться одеялом, утонуть в темноте беспросветного отчаяния и слёз: ведь ничего уже не исправить! — и хотелось, чтобы мать поскорее ушла, уехала, оставила его; ему даже хотелось прогнать мать, потому что она презирала её. Но Вавилов не мог этого сделать: в палате были и другие солдаты — больные и раненые (раненые были из Афганистана), и Вавилов молчал, прятал глаза и здоровой рукой стискивал железный уголок кровати — до боли в суставах, чтобы отвлечь себя, чтобы не раскиснуть, не опозориться слезами, окончательно возненавидев в своём одиночестве и себя, и весь мир, и каждого в нём человека, в том числе — мать... Он не сдержался и ещё раз, будто заклинание, прошептал матери:

— Я больше ничего не хочу о ней слышать. Я больше никогда не хочу её видеть. Всё!

Он обманывал себя. Он ждал её, он мечтал её видеть, он сторал от ожидания, он вздрагивал почти всякий раз, когда палату извещали о посетителе; он был почему-то уверен, что она всё уже знает и может приехать в любой день — поезд приходил сюда из их города ежедневно. Он просыпался с одной мыслью, что она приедет сегодня, и всё смотрел на дверь палаты. Но из посетителей к нему был ещё только один человек: заехал проведать замполит части подполковник Еркач.

У подполковника Еркача были добрые глаза, мохнатые брови, мятые брюки и совсем не военная выправка; он говорил со стариковской мягкой умудрённостью:

— Ну-ка, оставьте нас, ребяташки, наедине с Вавиловым. Покурите-ка пока. Вот, — подполковник Еркач достал пачку сигарет, все солдаты из госпитальной палаты вышли.

Вавилов лежал перед подполковником, щуря от стыда глаза; увёртывался от его понятливого взгляда, не давал залезть к себе в душу, в мысли, в самое больное — в сердце, которое было сейчас закрыто бинтами, опоясывавшими грудь, потому что нельзя было перебинтовать простреленное плечо, не охватив бинтами грудь.

— Не надо меня успокаивать. Я всё понимаю, товарищ подполковник. И, пожалуйста, не надо меня комиссовать. Я не хочу домой. Отправьте меня в Афганистан. Я подам рапорт...

— Ну-ну, понятненько, — подполковник Еркач покивал головой. — Ты уж больше с оружием-то не балуйся. Ладно? Да и в бега не надумай податься. Не дело это...

Вавилова не комиссовали: рана была не такой серьёзной; Вавилова не отправили и в Афганистан, хотя он написал рапорт; с Вавиловым побеседовал военный психолог, и его отправили служить в другую часть в той же дивизии. Он служил примерно. Он твёрдо решил для себя, что будет просто ждать — ждать, когда сама судьба распорядится их новой встречей; и только чаще, чем раньше, вспоминал, прокручивал, старался осмыслить последние минуты их расставания — там, на вокзале, перед отправкой в армию, когда она, прощаясь с ним, обняла его и со слезами в глазах прошептала: «Береги себя». Она не сказала: «Буду ждать». Она ни разу не произнесла этих слов — «буду ждать». Ни разу! Он тогда и не обеспокоился этим, он просто и не подумал об этом, да он тогда и не мог слушать только её: рядом стояли родные, друзья, мать, которая не признавала её — не признавала, быть может, потому, что она была старше его на два года (всего каких-то несчастных два года, но когда человеку двадцать, два года кажутся огромной дистанцией), а, быть может, потому, что мать всё ещё не могла простить ей ночь на острове, под скалой. А когда Вавилов был уже в вагоне электрички и высунулся в приоткрытое окно, он увидел её на платформе внизу: сверху она казалась какой-то маленькой, незнакомой, и у неё был умоляющий взгляд: малахит её глаз был сер, тускл, водянист и умоляющ, впервые так умоляющ. О чём она просила? Только ли о том — или столько ли о том, чтобы он не забывал её? А может, уже тогда, на вокзале, она умоляла о прощении? ...Прости меня, я не смогу, не выдержу, не осилю ждать тебя два года, целых два года; я сама над собой не властна, я не верю, что ты вернёшься ко мне, я старше тебя, я не хочу и не могу конфликтовать с твоей матерью, она никогда меня не примет... Ну почти, почти это в моих глазах, почти и пойми, чтобы потом не мучиться, не страдать, не проклинать меня... пойми, что эти два года за нами не будет той скалы на острове, которая защищала и заслоняла нас от всего; пойми, что и ты не застрахован от... Но он чего-то так и не понял, не дочитал в её глазах, не разобрал её прощального крика: в динамики грянул марш «Прощание славянки», заглушил её крик, электричка тут же тронулась, и толпа на перроне размыла её умоляющие глаза. Вавилов так и уехал слишком влюблённый, слишком слабодушный от этой влюблённости, и если бы он хоть чуть-чуть не был таким, тогда бы и не было нелепого выстрела, тогда бы вообще не было выстрела...

Но ведь и сейчас, спустя девять лет, он, Вавилов, немного оставался таким. Если бы это было не так, он бы уже ни на что не надеялся, не

уповал на встречу с ней; он бы давно прервал своё одиночество, и его женой была бы Вика. Конечно, Вика! Вика, его личный помощник, его личный секретарь, его личный переводчик, его единственная любовница — вся его. Она молода, красива, даже очень красива, у неё большие умные глаза, мягкие губы, стройная фигура; Вика современна, аккуратна и ему очень преданна.

Вавилов в сопровождении Сергеева вошёл в приёмную, кивнул головой Вике и, глядя куда-то мимо неё, спросил резко и начальственно:

— Сколько уйдёт времени, чтобы подготовить катер?

Вика была в некотором замешательстве, нижняя губка чуть приопустилась от растерянности, а может, и от обиды за такой тон; потом её пальцы стали торопливо выстукивать по телефону, исполняя приказание Вавилова:

— Я сейчас узнаю. Сейчас...

Эти торопливые слова Вавилов услышал уже за спиной, он уже вошёл в свой кабинет.

— Через час. Катер будет готов через час,— доложила Вика, войдя к нему в кабинет вместе с Сергеевым.

— Через час я должен быть на причале,— негромко сказал Вавилов, но сказал так, что если бы последовали какие-то возражения, а они могли последовать: через час его ждали на важном совещании в мэрии, об этом знал и Сергеев, и, конечно, Вика, — то он, Вавилов, прогнал бы их обоих к чертям собачьим! — и Сергеева, и даже Вику, даже её, любящую и преданную ему, — любящую его той особенной любовью, которая возможна лишь при больших деньгах.

О! эта новая генерация женщин, в которых любовь может проснуться только при наличии денег и власти. Вика была именно из этой породы современных... Это была не покупная любовь, не проституция, не голый расчёт, не продажность, просто любовь могла возникнуть при необходимом условии — обеспеченности. Нет, Вика не была захватчицей, лживой, расчётливой, хитро-обворожительной — она могла полюбить, почувствовать нежность только к тому человеку, у которого власть, положение, деньги. Иначе всё — она даже бы не заметила человека. И в этой Викиной любви была своя искренняя страсть, своё обаяние, своя преданность; эту любовь нельзя было считать какой-то приниженной, хотя она была совсем не та — безоглядная, без условий, омутная — как в омут.

А девять лет назад, когда деньги не были ещё так боготворимы, между ними, Вавиловым и ей, только и могла завязаться безденежная, безрасчётная, омутная любовь. Вавилов знал, что и замуж она — когда он был в армии — вышла не за деньги, не за положение, — тот, с кем она уже на четвёртый месяц службы Вавилова делила брачное ложе, не был ни богат, ни известен — что-то средненькое, серенькое, что-то такое, что теперь он, богач Вавилов, который способен покупать решения мэра и голоса депутатов, платить охраняющим его бандитам, содержать нескольких продажных газетчиков, мог раздавить, как клопа. Но тот что-то оказался именно тем, к кому она ушла почти сразу, как только он надел солдатскую форму.

Переписка у них была вялая, настораживающая Вавилова, предвещающая, что вскоре придёт и последнее письмо. И оно пришло: «Я выхожу

замуж. Он ни в чём не виноват. Он не знал меня, когда мы были с тобой вместе. Сама так решила. Прости, если сможешь. Я не смогу тебя ждать. Я не хочу неприятностей с твоей матерью. Я старше тебя. Прости. Забудь меня. Теперь я чужая жена». Вот тогда-то он впервые испытал чувство провала. Это было в день, когда Вавилов с новым нарядом караула выходил на развод на плац под лютый морозный февральский ветер и дежурный по части офицер, капитан Цыж, ретивый службист с безупречной выправкой, стоял перед строем и отрывисто выкрикивал:

— Товарищи солдаты, сержанты! У кого есть жалобы на здоровье? Кто себя чувствует неуверенно, болен или... (ветер, морозный свирепый ветер заглушил тугим порывом его голос).

Вавилов, тогда он был рядовой Вавилов, не вышел из строя, хотя он был вне строя, вне службы, он был вообще вне, он только знал и помнил одно: «чужая жена». Ему нельзя было в караул; ему можно было напиться, подрагаться, попасть на «губу», но ему нельзя было с её словами «чужая жена», со своим одиночеством и с автоматом заступать на пост. И когда караул строевым шагом уходил с плаца, держа равнение «на-право», на капитана Цыжа, когда ветер прохватывал шинель и рукавицы — трёхпалые солдатские рукавицы (трёхпалые — чтобы можно указательным пальцем давить на курок), Вавилов уже знал, что будет делать на посту.

Он заступил на пост третьей сменой, в ночь, когда холод и ветер казались ещё зловещее и крепче, чем вечером на разводе; но у Вавилова не было права мёрзнуть. Заступив на пост, он не только скинул рукавицы, но и сбросил со своих плеч тулуп, который выдавался часовым, и, оказавшись раздетым, он острее почувствовал и холод, и ветер, и ненасытную боль, и хотелось поскорее всё это кончить, разделаться с собой, с её предательством, с этим лютым ветром. Вавилов ушёл за склады, на край поста; пока он шёл, он уже успел замёрзнуть, у него дрожали руки, губы, он весь дрожал... Он прислонился к стене склада, куда падал отсвет прожектора: здесь можно было ещё раз прочитать письмо, где «чужая жена». Он знал письмо почти наизусть, оно сразу врезалось ему в память, но прежде чем кончить с собой, он хотел ещё раз, назло себе и в отместку ей, прочитать вслух два слова: «чужая жена»; ему хотелось прочитать их и разбередить себя, разодрать в лохмотья душу, чтобы ничего живого и цельного в нём не осталось, а потом безбоязненно и безболезненно покончить с собой — и пусть она знает, что она оказалась такой жалкой, пустой, пусть её грызут угрызения, ведь никто и никогда не будет любить её так, как он, ведь ни с кем она больше не окажется на острове, на безымянном острове у скалы, где они... Глаза слезились, ресницы слипались на ветру, всё тело колотило ознобом, Вавилов рвал иззябшими пальцами её письмо, и лепестки, подхваченные морозным ветром, летели по сугробам в безвестность, в никуда, приглашая и его, Вавилова, вслед за собою.

...Сергеев был достаточно опытен, он мягко, будто мимоходом, спросил:

— Кого вместо вас отправить на совещание?

— Что? — откуда-то издалека, из прошлого девятилетней давности, откликнулся Вавилов и поднял глаза на Сергеева.

— Кто сможет вас заменить в мэрии?— ещё мягче, будто голос крался на носочках, спросил Сергеев.

— Реши сам! — отмахнулся от него Вавилов.

— Мне поехать на пристань с вами? — робко спросила Вика, она держала в руках блокнот и ручку наготове, словно хотела стенографировать каждое брошенное им слово.

— Нет. Вам незачем со мной ехать! — быстро сказал Вавилов. Этим «вам» он отсёк Вику от себя, дал понять, что ей нечего совать нос... И вообще нечего кому-то совать нос! И что они здесь делают? Зачем они здесь? Вавилов вспомнил, кто он и почему сидит в кресле, в огромном кабинете, и крикнул:

— Ну что вы здесь торчите? Я уже всё сказал. Всё!

Он отвернулся к окну, к жалюзи, сквозь которые просачивался приплюснутый свет, отвернулся, чтобы не видеть обиженной походки Вики, не видеть Сергея, бесшумно идущего по ковру кабинета. Когда они ушли, Вавилов снова покинул нынешний день.

...У Вавилова сильно замёрзли руки, он почти не чувствовал, он складывал их в пригоршни и дул на них, чтобы отогреть и управлять ими. Ах, зачем он поторопился выкинуть рукавицы! Но о рукавицах вспоминать было нелепо и уж тем более разыскивать их. Вавилов снял с плеча автомат и неуклюже, неловко, злясь и пытаясь, стал снимать застывшими непослушными пальцами штык-нож. Штык-нож не снимался, руки леденила мёрзлая сталь ствола, и Вавилова охватила дикая обида от своей беспомощности — весь этот жестокий мир издевался над ним. Вавилов заплакал, тёплые слезы выкатились на щёки; он из последних сил рванул рукоятку штык-ножа и, срывая кожу на пальцах, отцепил его. Прижал приклад к животу, снял автомат с предохранителя и дёрнул ледяную скобку затвора, вгоняя патрон в патронник. Пружина магазина стремительно вытолкнула патрон, и он с коротким клацаньем лёг на исходную — против ствола, подставив капсулю под боёк по центру. Вавилов всё это представил, и ему стало ещё холоднее, он словно бы почувствовал вместе с холодом ветра холод пули; ему захотелось поскорее всё кончить — прекратить боль, отчаяние, этот лютый холод, от которого сводило даже лопатки. «Зря скинул тулуп и рукавицы», — подумал он, но эта мысль казалась несурзадной: разве нужен уют, чтобы застрелиться? Он поставил автомат прикладом на землю, на твёрдую мёрзлую корку снега, и заглянул под мушку: чёрное отверстие под срезом пламегасителя смотрело на него чёрным зрачком, в глубине которого — невидимое остриё пули. И опять стало до жути холодно. Вавилов почти машинально, почти неосознанно наклонился к стволу, приставил его к груди и потянулся большим пальцем правой руки к курку. Он уже коснулся ледяной глади спускового крючка и даже немного надавил на него, он уже покончил силой своего нажатия со свободным ходом курка, с некоторым конструкторским люфтом механизма; оставалось ещё одно, одно маленькое, крохотное усилие, но Вавилов вдруг почему-то вспомнил, вспомнил не вовремя, что, снимая автомат с предохранителя, поставил скобу в положение «очередь», а зачем ему очередь? ему достаточно и одного, одиночно выстрела. Вавилов потянулся к предохранителю, чтобы перевести; он нащупал замёрзшими пальцами предохранитель, передвинул его, услышав глухой «щёлк», и опять стал налегать грудью на чёрный зрачок. Новый порыв ветра ударил в него, и Вавилов онемел, весь окоченел от хо-

лода и даже перестал дрожать. И уже совсем не оставалось сил переносить этот лютый холод. Нужно было выстрелить. Или бросить всё и идти разыскивать свой тулуп и свои трёхпалые рукавицы. Вавилов потянулся к курку — ему было стыдно, что он замёрз, что его не хватило, чтобы толком, по-настоящему твёрдо выполнить то, что он задумал. Он не мог уже идти назад, но и идти вперёд, в никуда, он уже не мог твёрдо. А выстрел был неизбежен. Вавилов неловко перекосил плечи, дотягиваясь до металлического жала, и наконец-то спустил курок.

Вавилов тут же почувствовал мощную волну нового горячего ветра, который ударил ему в грудь; что-то жгучее просквозило мякоть мышцы пониже ключицы; какая-то сила вырвала автомат и его, Вавилова, отбросила, повалила с ног; и вместе со жгучестью боли в плече пришло чувство освобождения и покоя, и всё тело разомлело от обволакивающего тепла...

Это тепло было чем-то схоже с теплом пляжа под солнцем — там, у подножья скалы, на острове. На том острове, куда он, теперешний Вавилов, устремился после встречи с ней, ломая столь неожиданным шагом расписание дня бизнесмена, устремился, обижая и оскорбляя подчинённых, не считаясь даже с выгодами своего бизнеса; забывая даже о самом себе.

Это забытьё преследовало его сегодня, и он вздрагивал, когда просыпался от воспоминаний под воздействием каких-то неминуемых впечатлений сегодняшней обстановки. В первые секунды этого пробуждения ему становилось невдомёк кто он, где он, куда и зачем он едет и почему с такой скоростью ведёт шофёр его «мерседес», ведёт быстро и будто не по шоссе, а по прямым железнодорожным путям, и все остальные машинёшки отскакивают в стороны от «мерседеса», очищая дорогу. В машине было тихо: ни шофёр, ни охранник не смели открывать рта, пока их не попросят; тихо, как мышка, сидел рядом и Сергеев, который всё же напросился в сопровождающие: он всегда готов выручить, для того и служит, для того и нанят, за это ему и платит Вавилов.

Впереди, слева от шоссе, мелькнуло море, над ним в чистом небе сияло солнце и гляделось в воду. Впрочем, море вовсе и не было морем — это было огромное озеро, которое просто звалось морем из-за величины и отсутствия настоящего моря. Маленькое судно, которое Вавилов называл катером, белое, с красными спасательными кругами, дождалось у нужного причала.

— Мне потребуется автомат, — негромко сказал Вавилов охраннику Котову и, не дожидаясь ответа, зная, что на катере есть автомат, прошёл на нос судна. — Поехали! — махнул он рукой рулевому, который ждал его приказаний.

В глубине судна глухо заурчал мотор, и судно отшвартовалось; развернулось в маленькой акватории маленького порта и вышло на открытую ширь. Ветер бил в лицо Вавилову, галстук вырвался у него из-под пиджака и трепыхался на плече.

— Куда держать курс? — нерешительно спросил Сергеев, подойдя к Вавилову. Сергеев был первым, кто отважился спросить его об этом.

— Что? — встрепенулся Вавилов. — Вы что, оглохли? Я же сказал: на остров! Всё!

Сергеев отошёл. Кстати, Вавилов только сейчас сказал, что они направляются на остров: он просто постоянно думал о том, что ему надо на остров, и ему казалось, что и все остальные уже знают, что надо ехать на остров. После сегодняшней утренней встречи с ней, когда что-то безнадежно провалилось в его судьбе, он сразу подумал об острове, о скале на острове. За все ушедшие годы с того посещения острова, когда был там с ней, он ни разу туда не ездил; он суеверно побаивался ездить туда; он мечтал опять вместе с ней приехать туда; но теперь он ехал один, желая в чём-то убедиться или разубедиться; и остров, и скала на острове оставались ещё каким-то соблазном и последней надеждой, а может быть, уже кладбищем этого соблазна и последней надежды. Впрочем, остров тоже не был островом, как море не было морем; это был полуостров, а ещё точнее — длинная каменная коса, уходившая в глубь водополя и заканчивающаяся скалой, вокруг которой был небольшой пляж с белым искристым песком — некая экзотика и оторванность от города.

...«Последнего рейса может и не быть», — предупредил матрос, когда Вавилов и она решили остаться на острове, а все остальные поднялись на рейсовый катер, собираясь в город. «Ничего, доберёмся», — ответил Вавилов. Матрос равнодушно пожал плечами, втащил трап на катер, стал укладывать восьмёрками толстый канат, которым цеплял катер к крохотной бревенчатой пристани. «Поехали, не ночевать же здесь будете!» — выкрикнул им кто-то с катера, но Вавилов и она сделали вид, что не услышали. А потом катер ушёл. Волны, поднятые катером, набегали на берег, тихо плескались и таяли на песке. «Уехали», — сказала она. «Ну и пусть», — сказал Вавилов и сильнее сжал пальцы её руки в своей ладони. «Теперь мы здесь одни?» — спросила она. «Да», — ответил Вавилов. Они действительно остались одни на этом побережье, у подножья скалы, под лучами склоняющегося к западному горизонту солнца. Когда катер с сопровождающими чайками за кормой исчез из виду, остался лишь нечётким пятном на синем пространстве, Вавилов и она стали безумно целоваться — жадно, неистово, словно два вихря столкнулись, сшиблись, слились, а потом их повязало неразрывное общее объятие, и между ними произошло то, что и должно было произойти между двумя влюблёнными людьми, — произошло то, чего они и хотели, то, о чём они оба, не сговариваясь, думали, когда оставались здесь, на острове, под надзором высокой скалы. А потом они сидели на песке обнявшись, сидели в какой-то оглушающей тишине полного штиля; заходило солнце, на море лежала зыбкая золотая дорожка — и никого вокруг, — никого, будто они одни на всём свете. Тишина была особенной: в ней будто бы воплотилась вечность и бесконечность мира; в ней, в этой тишине, казалось, остановилось время, остановилась их жизнь, их счастье — и тоже превратилось в вечность и бесконечность — под покровительством вечной неразрушимой скалы. Высокая отвесная скала, белая, с морщинами проточин — она стояла, как заслон, как щит, охраняла их тишину, их уединение, она была похожа на парус, под которым они устремились в вечную молодость, в вечное своё счастье... В этом было что-то очень жуткое: не верилось, что всё это происходит с ними, а не с кем-то, что всё это не сон... И она прижималась к Вавилову, как ребёнок, который чем-то изумлён и даже напуган, но абсолютно доверчив и счастлив, что у него есть защита. И Ва-

вилов обнимал её и не выпускал из своих рук её руки. В Вавилове появлялось новое, трогательное и блаженное чувство, когда она становилась будто бы частью его самого; у Вавилова тогда даже запершило в горле от слёз, слёз радости, и он сказал себе, открывая в себе какой-то новый, непознанный мир: «Так вот что такое любовь...»

Последний рейсовый катер так и не пришёл. Солнце спустилось за горизонт, стемнело, стало прохладно, и они сильнее прижимались друг к другу. Ночью под скалой они разожгли костёр и до рассвета смотрели, как колышется пламя, и им не было одиноко с этим костром, под защитой скалы. Ближе к рассвету костёр заметили рыбаки на моторной лодке и сняли их с острова. Домой они вернулись уже утром, когда люди шли на работу. Им встретилась мать Вавилова; мать переживала всю ночь, и вдруг она встретила его с ней; с этого времени она её невзлюбила, не простила, а узнав, что она старше сына и, стало быть, опытнее, по-женски глубоко взревновала его к ней и сказала ему однажды: «Я тебя ей не отдам!» Вавилов только усмехнулся, даже не представляя всей глубины женской неприязни в этих словах; он и не перечил, и не защищал её от матери.

Познав счастливое иго острова, он вспоминал о нём как о святом месте и все девять лет берёг его, не ездил туда, ждал встречи с ним, как ждал встречи с ней. Теперь встреча с ней уже состоялась, и теперь он ехал на остров, к скале, к тому самому месту, где однажды сказал себе: «Так вот что такое любовь». До сегодняшнего дня он надеялся, что ступит на остров опять с ней, но она сегодня растворилась в бесконечности времени, и он ехал на остров один, чтобы в чём-то убедиться, увериться, чтобы на что-то ответить самому себе. Ещё тогда, когда она сегодняшним утром не успела исчезнуть в толпе, в городе, в безмерности, он решил, что должен поехать сюда — к святыне, которую оберегал все эти годы, к символу юности и любви, и здесь проверить себя, испытать себя, понять, в конце концов, самого себя и попробовать распутать, разрубить тот клубок, который наматывался все эти девять лет — с того самого дня, когда он, Вавилов, тогда ещё рядовой Вавилов, не тем выстрелом бросил себя на стылый снег поста.

...Катер приближался к острову, всё ближе становилась скала, всё чётче на ней трещины, всё так же бело, нарядно сверкал песок пустующего пляжа (купальный сезон ещё не наступил). Катер мягко, с шуршанием вошёл носом в береговой песок (крохотной пристани уже не было), пошатнулся и замер. С носа на берег скинули трап, и все, кто был на судне, остановились у этого трапа, пропуская вперёд Вавилова. Вавилов подошёл к трапу, остановился, словно бы раздумывая: стоит ему сходить на берег или остаться, потом оглянувшись назад на охранника Котова.

— Автомат! — твёрдо и приказующе произнёс Вавилов.

Котов помялся, виновато заговорил:

— Извините, но я сам должен...

— Автомат! — ещё твёрже произнёс Вавилов.

Котов принёс автомат. Это был не тот автомат, не автомат Калашникова: коротенький без приклада, импортный, совсем не тот, с которым когда-то Вавилов уходил на пост. Котов, трезво относившийся к своим обязанностям, медлил: он явно не хотел передавать Вавилову оружие и вопросительно поглядывал на Сергеева. Сергеев молчал, делал вид, буд-

то это его не касается, но Вавилов заметил взгляд Сергеева, которым тот подсказывал охраннику: отдай, не связывайся, он всё равно его получит, а тебя за непослушание выгонит с работы.

— Ну! — вскричал Вавилов, выхватил автомат из рук Котова и пошёл по трапу вниз.

Он спустился на берег, резко оглянулся и резко бросил:

— Теперь уезжайте! Всё!

Вавилов зашагал по береговому песку к скале. Катер не уходил. Вавилов стал нервничать: он ждал, чтобы катер отчалил. Вавилов уже так нервничал, что готов был заорать на них: проваливайте прочь! Но в этот момент услышал голос предусмотрительного Сергеева:

— Вот сотовый телефон. Вызовите нас, когда будет нужно!

Вавилов не оглянулся, но услышал, как на песок что-то упало, а потом услышал турканье мотора: катер сдавал задним ходом — уходил. Вавилову стало спокойнее; ему нужно было одиночество, люди ему мешали, раздражали его, он задыхался без одиночества, как тогда, перед караулом, когда хотелось остаться одному — один на один с собой.

Вавилов прошёл всё узкое побережье, весь этот маленький пляж, весь этот маленький пустынный мир, к которому все эти годы, все девять лет относился благоговейно, так же, как к мечте о встрече с ней — о встрече, которая уже состоялась... Он поглядывал на море, которое рябилось волнами от ушедшего катера, на солнце, вокруг которого лежали неподвижные белые облака, на скалу, которая, казалось, постарела и нажила новых трещин. И во всём, что он сейчас видел, включая бумажный мусор, стеклянные бутылки, разбросанные по берегу банки из-под пива и колы, скрывалась какая-то полная невозмутимость и равнодушие. И сколько бы он ни старался растревожить в себе трепет возвращения, радость или сожаление от новой встречи с островом и скалой, ничего не получалось: то, что он здесь искал, было утрачено, да и он здесь был каким-то чужим и безнадежно опоздавшим. Вавилов сел на песок, поставил автомат между коленей, отстегнул магазин, взглянул на патроны, пристегнул магазин обратно и снял автомат с предохранителя; зачем-то опять поставил рычажок на «очередь». Зачем? Зачем все эти годы он на что-то рассчитывал, старался кому-то что-то доказать, о чём-то простодушно грезил, впадал во влюблённость? Зачем этот самообман? Он вспомнил утреннюю встречу с ней; оглянулся на остров, на скалу и уставился вдаль, в море.

Катер не ушёл обратно к городской пристани: катер деликатно, чтобы не злить шефа, сместился подальше от острова в море, не лез на глаза, но всё же оставался на чеку. Это явное проявление повадок Сергеева. Вавилов даже представил, как Сергеев разглядывает его, Вавилова, в бинокль и между делом говорит охраннику Котову: «Да не бойся ты. Не застрелится. Он слишком богат, чтобы стреляться из-за бабёшек. Таких людей убивают киллеры, с ними расправляются конкуренты, а из-за баб... Такой глупости они себе не позволяют. Подурит, побесится немножко и успокоится. Не всё ж время думать про деньги...» (Нечто подобное Вавилов уже слышал от Сергеева, но тогда Сергеев рассуждал не про него, не про Вавилова, а про другого бизнесмена, который, захватив личное оружие, куда-то исчез на трое суток — как многим казалось, «по семейным обстоятельствам...») «Дурак!» — обозвал Вавилов Сергеева и передёрнул

плечами, чтобы больше не слышать в себе самом пошловато-циничный голос референта — этого удобного, проницательного, незаменимого помощника, несносно тупого и ничтожного, если дело не касалось денег. Да знал бы он, этот идиот Сергеев, что никакое, самое унижительное банкротство, что самое безысходное разорение, что никакие угрозы конкурентов не стоят и одной строчки в прощальном письме, которое получает солдат от той, которая его провожала! Вавилов передёрнул затвор, привычно вогнал патрон в патронник, навалился грудью на ствол; осталось просто нажать на курок — дострелить себя. И всё. Всё! И всего-то короткий глухой щелчок, треск сломавшейся ветки, оборвавшейся надежды... Вавилов отвёл ствол от груди. Нет, всё не то, всё не так! Даже автомат какой-то дурацкий, совсем не тот. И сколько бы Вавилов ни распался в себе чувства, как бы ни пытался найти в себе что-то жаркое, испепеляющее, что позволило бы нажать на курок, — все потуги кончались пустотой. Пустынен был остров, равнодушна была старая скала.

Вавилов понимал, что за всем этим скрывается что-то такое, в чём он не хотел признаваться самому себе. Но и откладывать это признание было бессмысленно — бессмысленно после встречи с ней, после острова... Вся его борьба за самоутверждение, вся его спесь крутого бизнесмена, его властолюбие и жестокость, жестокость даже по отношению к Вике, которая любила его, пусть любила не той любовью, но по-своему искренней и честной, — это есть оплата старого долга. Он не смог защитить её от своей матери, он не смог воспротивиться по-настоящему, по-мужски, словам матери «я тебя ей не отдам!». Он не смог застрелиться на посту, потому что было слишком холодно и неудобно, и он пожалел себя и выстрелил мимо... Он не смог ответить сержанту на оскорбление... Когда его, рядового Вавилова, приготовили везти из войсковой санчасти в армейский госпиталь — перевязанного вынесли на носилках из санчасти и уложили в медицинский «уазик», в кабину к усатенькому шофёру-ефрейтору, который дожидался сопровождающего офицера медслужбы, — на время, по-дружески, забрался сержант-сослуживец. Вавилов лежал, прикрываясь шинелью, он от всех прятал глаза, но обострённо слушал всё, что говорили. Человеку, который в чём-то проштрафился, всегда кажется, что окружающие говорят именно про него. На этот раз Вавилов не ошибся. Они — сержант и ефрейтор — заговорили про него.

— Кого везёшь?.. Чего с ним?.. На посту, говоришь?.. И умудрился промахнуться? — спрашивал сержант беспечным компанейским голосом. — Письмо, что ль, получил?.. Разлюбила?..

— Ага... Говорят, так... Знакомое дело, — отвечал шофёр-ефрейтор, чиркая спичкой и закуривая.

— Да плюнул бы на неё! На эту ШЛЮХУ!

— Ага...

— А этот, видно, незакалённый попался. Слабачок... — и сержант усмехнулся.

— Ага, — агакнул согласительно ефрейтор и позевнул. — Дай мне пару сигарет на дорожку, пока везу этого...

Вавилов лежал весь в огне — не от боли, не от тяжести в раненом плече, а от стыда: в нём не нашлось смелости ответить на это оскорбление «шлюха», которым наградил её сержант с компанейским голосом; у

Вавилова не хватило духу крикнуть: «Нет! Она не такая! Заткнитесь вы! Слышите!» Он стыдливо уткнулся в ворот шинели и промолчал. Потому что он слабачок.

И все эти годы, делая карьеру и деньги, Вавилов хотел отомстить им всем, доказать им всем, что он не слабачок. Но все эти годы Вавилов ещё и надеялся на то, что продолжает любить её и что она продолжает любить его. Однако утром она назвала его на «вы», а остров, на котором под скалой он сказал себе однажды: «Так вот что такое любовь», пуст и даже равнодушен к нему. Игра в затянувшуюся любовь кончилась. Месть для любви — не попутчица.

Было тихо; на берег неслышно набегали маленькие волны; в небе стояло солнце, освещало задумчивую скалу на острове; патрон в патроннике уютно и безотказно лежал наизготовку и ждал посылочного удара бойка.

«Нет, больше я не промахнусь!» — сказал Вавилов.

Он взял сотовый телефон, оставленный ему предусмотрительным Сергеевым, потыкал кнопки, зло и брезгливо вызванивая того же Сергеева, а когда поймал его, зло прокричал — прокричал, повинувшись чему-то приобретённому за последние годы:

— Слышишь меня, Сергеев! Поезжай в город! Привези мне сюда Вику, вина и чего-нибудь пожрать! Всё!

Он отшвырнул телефон, резко развернулся к скале и, до боли в пальцах сжимая автомат, надавил на курок.

Рассекая, распарывая, прожигая воздух, пули, как неистовые осы, летели и жалили скалу. Эти пули нарушили покой скалы, и она неохотно пробудилась. Она увидела перед собой, у подножья на берегу, человека. Она даже вспомнила, узнала этого человека. Когда-то он здесь был со своей девушкой, а теперь он здесь был один и палил из автомата и, быть может, салютовал своей полной свободой.

ТАЙНА ТИПОГРАФИИ



Есть в городе удивительное предприятие — Коломенская типография... Вот уже 130 лет она живёт и весьма успешно работает! За это время происходили грандиозные социальные катаклизмы, рушились империи, менялись общественные формации, гремели мировые войны. И для многих остаётся тайной — как среди стольких испытаний, гражданских смут и кризисов устояла наша типография?

История предприятия начинается с декабря 1885 года. Именно тогда в старинном доме на улице Астраханской обосновалась «Типо-литография А. Б. Тембурского». Купец 2-й гильдии Арнольд Борисович Тембурский оказался предприимчивым и успешным человеком. Дело росло, и к 1907 году здесь трудились уже 50 работников.

Казалось бы, нехитрый набор: афиши, визитки, паспарту, конторские книги, этикетки и тетради, рекламные фотографии для Коломзавода Струве... Но для историка такие вроде бы обыденные вещи могут стать настоящим сокровищем, незаменимым источником сведений!

В ноябре 1917 года здесь отпечатали первый номер «Известий Коломенского Совета рабочих и солдатских депутатов». И с тех пор тут публиковались не только городские газеты, но и многотиражки крупных предприятий. В советское время типография достигла мощности в 30 миллионов оттисков!

Но настоящий прорыв произошёл в 1990 году, когда рядом с историческим зданием появился новый большой корпус с офсетным оборудованием. С тех пор техника непрерывно совершенствовалась. И сейчас тут выпускаются не только газеты, но и литературно-художественные издания высочайшего полиграфического уровня.

Примером тому — «Коломенский альманах», который вы держите в руках, дорогой читатель.

Так в чём же тайна Коломенской типографии? В талантливых людях, в умении бережно хранить исторические традиции и «держат марку», несмотря ни на какие времена!

Мы от души поздравляем наших коллег-полиграфистов с юбилейной датой! Пусть на многие лета Коломенская типография остаётся неизменным и таинственным символом нашего славного града!



РУССКИЕ СНЫ



Виктор Семёнович Мельников родился в мае 1948 года в Казахстане. Но детство и юность прошли в Сибири. Суровая красота этого края и мужественность людей сформировали твёрдый и целеустремлённый характер, который очень пригодился в дальнейших странствиях. Мельников исколесил весь Союз от Казахстана до Прибалтики, сменил много профессий, прежде чем нашёл себя в журналистике. Романтика Старой Риги оказала большое влияние на творческое развитие. Но пришло время, по известным причинам, расставаться с Латвией... И это, казалось бы, трагическое обстоятельство, способное сломать жизнь любому человеку, способствовало превращению журналиста в писателя.

Сейчас произведения В. С. Мельникова печатаются во многих российских журналах. Он — автор десяти книг прозы и поэзии. Член Союза писателей России. Главный редактор литературно-художественного издания «Коломенский альманах». Живёт в Коломне.

Новый рассказ Виктора Мельникова «Русские сны» — попытка художественно и психологически осмыслить человеческую драму, которая сегодня совершается на братской Украине.

Рассказ

День медленно затухал, наполняя природу уставшим светом. Мыкола на малой скорости подогнал комбайн к краю поля и заглушил его. Перекинув через плечо сумку с пустым термосом, спустился на землю. На фоне тревожно догорающего заката застывший комбайн казался огромным кораблём, севшим на мель. Мыкола вдруг удивился этому сравнению. Странным и чересчур книжным казалось оно для сорокалетнего мужика, в меру домовитого, приземистого и по-крестьянски крепко сбитого.

В самом деле — откуда на родной и привычной «западенской» земле мог появиться фрегат? Но эта усталая вечерняя заря, это скошенное поле на мгновение действительно показали ему берегом моря, и даже с шумом прибоя.

Мыкола тряхнул головой, освобождаясь от наваждения, и глянул в вечернее небо. Над головой парила хищная птица. Но вдруг она медленно тронулась с места и потянула к ближайшему ночлегу — к тёмной полосе соседнего леса.

Впрочем, лирическое чувство не было чуждо Мыколе. Умелого тракториста и комбайнёра сельчане уважали не только за техническую смётку, но и за голос, и за песенный дар. Нотной грамоте он, конечно, не обучался, но благодаря врождённому абсолютному слуху и природному голосу, впитавшему тепло и сочность украинской природы, пел лучше всех. И это при том, что село, в котором родился, вообще было песенным.

Мыкола почувствовал, как отходит от гудящего напряжения натруженное тело, как наполняется оно этим вече-

ром, этой смуглой высью, запахом жнивы, остывающим земным духом, тихой птичьей переключкой и первыми звёздами...

Поднимая потёртыми ботинками пыль, перемешанную с перстью половы, Мыкола дошёл до своего мотоцикла и опустился на траву. Надкусив травинку, он с прищуром глянул вдаль, где за поворотом скрылась последняя машина с золотистым зерном.

— Какая благодать! — произнёс он вслух и лёг на теплынь земли.

А в густо-синем небе, окрасив облака густым румянцем, уходило на ночной покой оранжевое солнце.

До сознания Мыколы каким-то далёким эхом явственно донеслось, что слова, сказанные только что, вырвались у него по-русски! Более того: он вдруг сейчас вспомнил, что в последние дни ему снятся русские сны!

Особенно памятен был последний... Ослепительно-яркий, цветной, как в детстве!

Он словно перенёсся в мальчишеские годы... На Луганщину, в село Юрьевка, где каждое лето гостил у бабки Маруси. Странно, но «западенскому» мальчишке у бабки нравилось больше, чем дома. Может, от русского приволья, оттого, что здесь разрешалось ему куда больше, чем на родине, с её родительской строгостью, уроками и школой. А может, кровь сказывалась: ведь это была родина отца... В доме старых людей большей частью говорили по-русски. И через несколько дней соседские ребята уже считали его за своего.

Вспыхнул в памяти ослепительный летний день. Он, совсем ещё хлопчик, сбегает со знакомого крыльца. Бабка Маруся что-то кричит вдогонку. А у него в руках котомка со свежими пирожками. И от их сытного духа, от мысли, что впереди ещё целое лето, огромное, как Вселенная, — детское счастье разливается по сердцу. Он бежит на речку. А там друзья — хорошие ребята. Вместе ходят в лес за ягодами, грибами. Вместе в «войнушку» играют. Вместе купаются. И еда общая, и дела общие. Надёжные товарищи: если что натворишь — не выдадут.

Как ослепительно и радостно играют на реке отблески солнца! Как бодрит холодная вода! Но как резко тело сводит судорога, как темнеет в глазах!..

И вот он уже лежит на песке, чувствуя острую боль в лёгких, отхаркиваясь и отплывываясь. Видит сквозь слёзы испуганные лица друзей.

— Ну, ты, Мыколка, даёшь! — ворчит старший пацан. — Хорошо, Васька вовремя заметил, за шкуру тебя из воды вытащил... Ты уж, смотри, бабке Марусе ничего не говори... А то будет нам на орехи. И тебя с нами перестанет пускать...

— Сдурел, что ли? — испуганно ответил Мыкола сквозь кашель. — Коли бабка узнает — все уши оборвёт. Вы сами смотрите, не проболтайтесь.

— М-могила, — отстучал зубами дрожащий Васька.

При воспоминании об этом сне Мыколу словно передёрнуло. Он вскочил с травы, как давеча ночью с постели. К чему этот сон, это окошко в детство? И тут словно холодом окатило — будто ледяной ком опустился на его сердце. И он понял — к чему.

На днях он решился позвонить по мобильному Ваське. Пересказать сон. Да и вообще поговорить. Тыщу лет не виделись! Трубку почему-то взяла

Васькина жена — Люська, которую он помнил ещё девчонкой с мальчишечьими вихрами, разбитыми колёнками и обжигающим взглядом синих глаз. Однажды они даже неумело целовались у клуба. Когда узнал, что она вышла замуж за Ваську, кольнула сердце смешная детская ревность.

— Привет, Люсь! А Васька далеко?

— Васька?! — закричала она вдруг сквозь рыдания. — Васька далеко! Вчера ваши долбанули из «Градов» по нашему посёлку. Нет больше нашего дома! И Васьки больше нет. Будьте вы прокляты!

Онемев от изумления и обиды, Мыкола ошалело смотрел на мёртвый мобильник. Они с Васькой были одногодки. То, что он погиб — не вмещалось в голову: аж в висках ломило. Но проклинать за что?.. Он-то здесь при чём?!

Потом понял — при чём...

Они с бабушкой близко к сердцу принимали всё, что творилось на Украине. Вместе ругали Януковича, за которого дружно голосовали и который подло, по-бандитски обманул всю страну. Вместе радовались, когда начался второй Майдан. Уж теперь-то народ своё возьмёт! Вместе сволочили «москалей» за их телепередачи: лезут, мол, не в своё дело, а ведь ни черта не понимают, у себя бы порядок навели! Однако с каждым днём их брань становилась всё менее уверенной.

Когда же совершился переворот, бабушка пригорюнилась и сказал, покачивая головой:

— Ну и рожи... Боюсь, Мыкола, как бы нам с тобой не пришлось из-за этих упырей нашего бывшего президента-братка добрым словом вспомнить...

А потом началась эта кровавая сеча на Юго-Востоке. И они с отцом пошли голосовать за нового президента-кондитера, надеясь, что тот хоть кровь остановит. Старый сбежал в Россию, побросав свои хоромы и коттеджи с золотыми раковинами и унитазами. От всего открестился, в том числе и от своего народа.

«Кондитер» оказался ещё хуже прежнего. Война не то что не утихла, а стала ещё прожорливее и страшнее. Хотя по первости, когда отключили российские каналы, на душе вроде как даже легче стало. Украинские телевизионщики от души поносили «москалей», и казалось, всё скоро закончится.

Однако не заканчивалось...

Бабушка позвонил в Юрьевку своему брату Егору. Мыколиному дяде, значит. После разговора достал из буфета бутылку горилки и молча пил её весь вечер... После этого телевизор уже не смотрел и «москалей» не ругал.

У Мыколы тоже задору поубавилось. Как-то непонятно стало щемить сердце. И начались у него русские сны...

А потом был разговор с Люськой, и это незаслуженное проклятие. А вчера хоронили соседского хлопца, Степана, которого Мыкола помнил ещё несмышлёным мальцом. Но теперь Степан вырос, окончил школу и уехал в Киев жечь шины. Вернулся с Майдана то ли обкуренным, то ли обколотым, с безумными глазами и с татуированной свастикой на плече. Записался в какой-то батальон. А вчера его хоронили в закрытом гробу.

На сельском кладбище униатский священник говорил горячую речь, караул три раза стрельнул в воздух, но молодая мать молча смотрела на могилу сына, чёрная от горя, и никаких слов не произнесла. Только не промолчала Христина, соседка погибшего, у которой на этой войне тоже было трое сыновей. Мельком взглянула на батюшку и запричитала:

— Боже, сбережи усих нормальных людэй на Украине! Не дай им сойти с ума в цому пэкли и пережиты весь цей кошмар... Сколько нужно ещё смертей, чтобы остановить эту войну? — она ещё что-то хотела сказать, но беззвучно заплакала и отошла в сторону. Ветер тяжело вздохнул вместе с ней и понёсся к другим могилам.

И вот теперь Мыкола сидел на обочине и смотрел в пыльную колею, которая в сумерках всё больше походила на разбитое корыто из давней пушкинской сказки.

Он поднялся. Надо было идти к Наталке.

С женой, Оксаной, жизнь как-то не заладилась. Когда они окончательно рассорились, Мыкола вернулся к родителям. Жалко было оставлять дом, который построил, можно сказать, своими руками, с помощью, конечно, троих весёлых и работающих молдаван. Подбирал под дом самые крепкие брёвна, чтобы изба получилась ладной и вечной. Но, оказалось, всё напрасно. Семья оказалась ветхой, будто сплели её из ивовых веток. От этой женитьбы только одна выгода и была — сын. Честно говоря, Оксана была стервой. Всё село об этом знало, и Мыколу никто не осуждал. Родители тоже его не упрекали и не пеняли. Отец только тяжело вздохнул и отшутился:

— Ну что же, баба з возу — кабриолет может резко увеличить скорость...

О том, что семья распалась, Мыкола не жалел. Только больно рвалось сердце, что сын растёт без него. Виделись они урывками. Мыкола возил мальчика в город, водил в кинотеатр, покупал ему игрушки, городскую одежду. Чтобы было всё, как у других хлопчиков.

У Оксаны, конечно, выдалась нелёгкая судьба. Что тут говорить! Её деда ещё в двадцатых годах раскулачили и сослали на Соловки. Отсидев положенный срок, он не вернулся на родину, а женился на местной и осел в Архангельск-городе. Там родилась мать Оксаны, а затем и она сама. Если мать хоть немного знала украинский язык, то Оксана росла без его корней. И когда Украина «забродила» своей самостийностью, они вернулись в родное село. В школе над Оксаниным оканьем ребятишки посмеивались, и только один Мыкола сочувствовал ей и в обиду не давал. Так эта дружба, переходя из одного класса в другой, переросла в любовь. Но оказалась она недолгой. Растаяла, как вылепленный зимой снеговик.

А с Наталкой они сошлись при грустных обстоятельствах. Отучившись в столице, Наталка вернулась в родное село учителькой в младшие классы. Всё бы хорошо, да вдруг неожиданно у неё умерла мать, соседка Мыколы тётя Ганна, что жила за три дома от родительского. Все её уважали, и в дом Мыколы она часто захаживала потолковать за жизнь и Мыколу как-то особенно отличала среди других пацанов. И когда это несчастье случилось, Мыкола сел на мотоцикл и как-то быстро всё организовал, так что Наталке, оцепеневшей от горя, ни о чём особенно хлопотать не пришлось.

Больше полсела собралось на поминки, все вспоминали тётку Ганну тёплым словом. А она ласково глядела на гостей с фотографии, и от этой улыбки, и от выпитого вина тесно как-то стало на сердце.

И Мыкола затянул любимую песню Ганны, печальную украинскую песню:

Ой, чие то жито?
Чи то покосы?
Ой, чия дивчина
Розпустила косы?
Косы розпустила,
Ня з ким не ходыла.
Парня молодого
Сама полюбыла.

Никто не удивился, не осудил его за песню, а, наоборот, стали подтягивать. Мелодия ширилась, раскладывалась на голоса...

Колы маты сына
Рано ожиныла,
Молоду невестку —
Зразу невзлюбыла.
Проводжала маты
Сына у солдаты,
Молоду невестку
В поле жито жаты.

А потом была ещё песня, потом другая, и ещё, и ещё. И каждую пел Мыкола. А Наталка сидела рядом и плакала.

После похорон Мыкола стал заходить к Наталке, помогать по дому. Сначала с матерью или отцом, а потом и один. Так он захаживал, захаживал, а однажды остался насовсем.

Наталка ждала его на пороге. И у Мыколы сразу сердце зашло от нежности, от этих чёрных сияющих глаз, от ласкового и тёплого тела, от тёмных вьющихся волос, от обжигающей белозубой улыбки. Капелька мадьярской крови придавала его любимой ещё большую красоту. И Мыкола сразу схватил её в объятия, зарылся в эти волосы, вдохнул этот запах, родной до боли, до солёной слезы...

Наталка первой отстранилась, перевела дыхание от поцелуев и рассмехалась.

— Пиды, помыйсь! А то весь пылюкою пропах та соляркою.

Вода из душа струилась, точно тёплый летний ливень, и под ласковый влажный шум Мыкола с удивлением подумал, как легко и свободно вошёл он в мир этого дома. Как будто всю жизнь здесь прожил.

Да что там! Собственно, и настоящая жизнь-то именно здесь у него и началась. Наталка ей смысл придала, открыла глаза на мир. Раньше-то он ни себя не понимал, ни Украины. И стихи её кобзарей казались ему школьной забавой, картонной шелухой, которые он учил наизусть, толь-

ко чтобы получить оценки. Но его Наталке Господь дал дар слова. Она читала ему Шевченко, Франко, Украинку, и после её чтения Мыкола со сладкой сердечной болью понимал, что эти стихи — не какое-нибудь «домашнее задание», а душа народа, напевная, таинственная душа. И Украина — это не страница из учебника, а жизнь. Вот эти стихи, эта песня, живущая у него в душе, это небо с хищной птицей, парящей в синеве, жирный чернозём и золотое зерно, эта любовь Наталки, и ночной жар, и ласки её, и этот дом — согретый улыбкой, — тоже Украина, родной мир, родная Вселенная...

И когда он сел за стол на уютной кухне — это своё и родное чувство лишь усилилось. Наталка поставила перед ним глиняную тарелку с борщом, и вместе с паром от него поплыл по воздуху наваристый и приятный аромат, будто добрые украинские домовые наколдовали его. Ему казалось, что никто лучше Наталки не умеет готовить борщ. Разве что только мать... Прошло всего лишь несколько секунд — и вот уже Мыкола с недоумением смотрел на опустевшую посудину.

Наталка лишь усмехнулась и, не спрашивая, налила добавки.

— Да... знатно ты готовишь, — похвалил свою кохану Мыкола. — Моя бывшая жонка так не умела. Не борщ у неё выходил, а юшка для свинэй.

— Из-за этого и разлучились, чи шо? — удивилась Наталка.

— Да нет, не из-за этого... Из-за её дурной головы.

— Це як же?

— Да смешно даже рассказывать. Когда начался этот киевский гопак, она зараз «свидомая» стала. Видно, боялась, как бы майдановцы не отравили её обратно на Соловки. И чтобы как-то в себе это уравновесить, она и стала под хохлушку косить, да так, что без смеху смотреть не можно. На родной мове гутарить принялась: в голове с русского на украинский переведёт и выдаёт с запинкой. Вышиванку надела, волосы осветлила «пид Юлю», косу уложила. Прямо местная Тимошенница! А как-то взяла и на кухне майданный плакат прилепила с Юлиной личностью. Я захожу, и ровно бис меня дёрнул.

— Тю! — говорю. — Яка гарна паненка! Не дывись, шо жидовка армянська...

Ну все же ведь знают про её еврейские да армянские корни и что она брюнетка по жизни. Но Оксану это так взбесило, я её такой никогда не видел. Побагровела вся, глаза кровью налились.

— Ухоть, — визжит. — Кацап клятый!

И хватъ за утюг! Трясёт им, да и сама трясётся, как припадочная. Что делать? Не драться же с ней... Ну, я и пошёл: бочком, бочком — и за дверь. А то ведь, думаю, дура баба, хлобыстнёт не ровен час по башке, и оборвётся моя молодая жизнь. Самое главное — за что?

— Ха! Ось щирый казак — утюга испугался!

Наталка поставила перед ним миску отварной картошки с белыми грибами, посыпанную укропчиком. А рядом ещё блюдце с запечёнными рёбрышками...

Мыкола ничего не ответил. Только с аппетитом посмотрел на золотистую бульбу да втянул в себя сытный грибной аромат.

Первая порция кончилась быстро.

— Ще?

— Это уже обжираловка. Так и комбайн подо мною прогнётся.

— Комбайн — не коняка! А на бутербродах да на одном чаю целый день — тоже не дело! Ишь!

Вот уже и насыщение стало чувствоваться. Мыкола с благодарностью взглянул на свою кохану и заметил невнятную тень тревоги на её ресницах. Вроде бы даже слезинка мелькнула в глазах.

— Ты чего? Что случилось? — с тревогой спросил он.

Наталка сцепила пальцы рук и выдохнула:

— Батько твуй був. Сказав, шоб ты до них зашов. Бумага тебе какая-то из военкомата пришла.

— Что же ты раньше не сказала? — удивился Мыкола.

— Так я не думала, шо це так серьёзно, — оправдывалась женщина. — Да и ждала, покы ты наишься. Думала: чи до аппетиту тобі будэ?

Мыкола отодвинул миску с последней картофелиной. Действительно, кусок в горло уже не лез.

— Вот и приехали! — посуровел лицом. — Повестку мне принесли. А это значит: запрягайте, хлопцы, коней!

Встал. Начал торопливо одеваться. Лицо сделалось суровым и бледным. Наталка понимающе не спрашивала. Только у порога сказала:

— Повертайся... Я буду тебэ ждать.

И было непонятно, то ли сказала про сегодняшний день, то ли на будущее. Эта фраза зацепилась у Мыколы в голове, и он припрятал её в сердце.

Ночь обняла село звёздной темнотой... Фонари на улице не горели с начала войны, дорога освещалась только окнами домов. Кланялся земле Чумацкий Шлях. Мыкола шёл, спотыкаясь о камни, еле высвеченные луной, а на душе была такая же тревожная ночь, как вокруг. Он ждал этого дня, но всё-таки в душе надеялся, что его имя в мобилизационном бардаке как-то затеряется и о нём забудут. Но выходит, что не затерялось, не забыли... Видимо, майданному упырю понадобилась и его жизнь...

В родительском доме горел свет. Ещё издали Мыкола увидел отца, который сидел на крыльце и курил трубку. Повернул к дому и прибавил шаг. У калитки навстречу с радостным лаем выбежал Викинг. Здоровенный мохнатый пёс подпрыгивал, пытаясь лизнуть Мыколу в лицо, а тот ухватил старого брехуна за ошейник и принялся ласково трепать его загривок. Викинг вырвался и понёсся к крыльцу. Отец встал, обнял сына, и свет, упавший с веранды, озарил его седину и тёмное-тёмное от загара, посечённое морщинами лицо.

— Добре, что пришёл. Мать совсем извелась, — одобрительно произнёс отец, выбивая о ладонь трубку.

На голоса выбежала мать. Глаза у неё были мокрые, она то и дело вытирала их краешком платка.

— Ну что вы, мамо? Что за слёзы?

Мыкола попытался бодриться, хотя понимал, что особых оснований для веселья нет...

Сели за стол, но главный разговор заводить не торопились. Мать принесла горячий чай, плетёную тарелку с пирожками, но к чашкам никто не притронулся.

— Ну, как там жатва? — спросил отец. — Много зерна завалил?

— На дальнем поле всё скошил, — деловито ответил сын. — Где-то около тридцати гектаров. Работать — одно удовольствие. Поле ровное, только с краю бугры, да и хлеб не особенно солоmistый. Ну, и машина зверь! Ни разу не ломалась.

— Ну, а на завтра куды збыраэшься? — вступила в разговор мать.

— Завтра надо переводить комбайн на другое поле. Полдня на это уйдёт. Как бы дожди не пошли...

— А мотоцикл твий дэ?

— У Наталки во дворе оставил.

— Треба б його до нас у двир закотыты. Якшо заберуть у армию, вин тут потребнее буде. Про повистку вона тоби сказала?

— Сказала...

Разговор подошёл к главному.

— Что будешь делать? — хмуро спросил отец. — Через три дня предписано явиться в военкомат.

— Не знаю, батько, — честно признался Мыкола. — Не тянет меня что-то пересаживаться с комбайна на танк. Да и против кого воевать? Против бабки Маруси? Против своих ребят?..

Отец взял трубку и дрожащими пальцами набил табаком, но закуривать не стал. Дома мать курить не разрешала. Только глянул под абажур, словно провозжая невидимое облачко синего дыма.

— Кажется мне, что наша киевская власть продала американцам Луганщину. Сейчас вся Украина похожа на сплошную Полтавскую ярмарку — всё продаётся и покупается...

— Как всегда у нас — паны дерутся, а у холопов чубы трещат, — согласился Мыкола. — Только я одного понять не могу: как до этого всё докатилось? Брат на брата... Правда на правду...

— Всё давно к тому сползало, — пояснил отец. — Эти гадюки развелись не на пустом месте. Их война породила. Немец ушёл — они подались бандитничать в лес. Истребляли всех подряд. Никого не щадили, но и себя не жалели.

Помолчал. Потом, вздохнув, закончил:

— Гнали фашистов, гнали... А они снова маршируют по Крещатику. От мысли, что третью мировую войну развязывает негр, Гитлер, наверно, сейчас каждый день в гробу переворачивается.

— Так мне-то что делать? — прервал его Мыкола. — Не пойдёшь в военкомат — отловят, как барана, и силком отправят, а то и похуже — засадят как дезертира.

Мать не выдержала, вскочила. Её качнуло, и она вцепилась руками в край стола.

— Нэ видпушу тебэ никуды! То мий сказ. Все наши жинки повязали чорни хустины. Можэ, и мени ши зараз повязать? Тоби щэ сына трэба до ума довэсты. Не дозволяю!

— Ладно, мать, не шуми, — успокоил муж. — «Не видпушу, не видпушу!» Можно подумать, тебя спросят. Придут и заберут, и никакого разрешения спрашивать не будут. Это раньше призывали в армию, а сейчас забирают, — подчеркнул последнее слово отец.

— А где повестка-то? — вспомнил Мыкола.

Мать подошла к комоду. Достала из шкатулки серый бумажный листок. Вернулась к столу. Протянула сыну. Тот пробежал глазами неряшливо отпечатанный текст, сложил вчетверо, сунул в карман рубашки.

— Вот что, сынку, — сказал отец. — Выбрось-ка ты эту бумажонку и тикай завтра к русским. Трошки гривен та рублив у нас есть, до границы и на первое время в России хватит. Мать завтра котомку соберёт — и топай ты отсель подальше.

— А как же вы? — встревожился Мыкола. Взглянул на мать, на её сухонькое испуганное лицо с большими синими глазами. — Вас же из-за меня затаскают.

— Да ладно! — отмахнулся отец. — Один раз, может, вызовут. Не знаем, где ты, — вот и весь разговор. Обязательно тебе надо тикать.

— Завтра, пожалуй, не получится, — покачал головой Мыкола. — С утра треба перегнать от Наталки мотоцикл. Потом с председателем надо побалакать насчёт комбайна. И вообще: можа, из-за жатвы отсрочку дадут. И главное — сына увидеть надо, попрощаться...

— Это правильно, — согласился отец. — А теперь пошли спать. Утро вечера мудренее.

Чай в тонких расписных чашках так и остыл.

Ночью Мыколе снова привиделся сон. Вначале он увидел огромное оранжевое солнце, которое, как парашют, опускалось далеко на горизонте. На несжатом поле шёл танковый бой. Один за другим загорались бронированные машины. От лязга металла и взрывов закладывало уши. Оседала на землю ржавая пыль. Пахло бензиновой гарью и обожжённой землёй. Потрескивая, высоким пламенем горела необранная пшеница. В этом огне сложно было разобрать, где свои и где чужие. Башня его танка сотряслась от гигантского взрыва, и огненная волна с силой вышвырнула Мыколу из машины. Он лежал на израненном поле, оглушённый, побитый осколками, и у него не было сил даже шевельнуться. Он лежал и умирал...

А где-то рядом — смутно слышалось — как какой-то украинец матерился от боли на русском языке.

Мыкола чувствовал, как душа покидает его и поднимается к облакам. Прочь от этого сгоревшего танка с перевёрнутой башней, от этой выгоревшей дотла земли. И каким-то последним зрением он успел заметить, как на него двигаются огромные машины, и он не мог разобрать, были это комбайны из его мирной жизни или танки? Мыкола лежал, обняв землю, и на него сыпались пшеничные зёрна.

Потёртая контора бывшего колхоза «Червона Украина» мало изменилась. Разве что вывеску сняли. Даже председатель остался тот же, правда, теперь он стал гендиректором агрофирмы. Впрочем, на селе его продолжали величать по старинке: пан председатель.

Был он плотным лысоватым мужичком с маленькими хитрыми глазами. Благодаря своей недюжинной изворотливости председатель выжил в постсоветское время и хозяйство сохранил. Умел договариваться с ворами, себя не забывал, но и с работниками обращался по-человечески, с пониманием, так что крестьяне от него не бежали.

В кабинете пан Матвей встал навстречу Мыколе. Но за радушной улыбкой угадывалось плохо скрытое беспокойство. Мыкола понял, что дела его неважные, и на помощь рассчитывать здесь вряд ли придётся.

— Учётчица мне доложила, — опередил председатель. — С тридцати гектаров снял хлеб! Вот это жниво! Шофера только жаловались — еле за тобой поспевали. Всё было так хорошо — и на тебе! Приехали эти «братки» с автоматами да с повестками! Видел бы ты их рожи... Хотя ещё увидишь... Не знаю, что делать теперь: хоть сам за штурвал садись. По всему виду, поганю нашему хозяйству будет... — Помолчал. — Ты это... за стариков не беспокойся. Твою зарплату всю до копейки им отдадим. Да и вообще... будем всегда помогать. Вот дело-то какое!

Мыкола кашлянул в кулак.

— Спасибо вам, Матвей Тимофеевич. Я это... хотел спросить. Что мне дальше делать? Перегонять комбайн самому или это другие сделают? Председатель отодвинул от себя бумаги.

— Да сами управимся. Хотя с кем теперь работать? Ведь, кроме тебя, забирают ещё Гриценко, Федюка и Нечипоренко. Яких хлопцев уводят, ёперный театр! Вы уж только возвращайтесь! — он моргнул глазами от неожиданной слезы, чего раньше с ним не случалось, вышел из-за стола и обнял Мыколу. — Прости. Но помочь я вам, ребятки, ничем не могу. Такое заварилось.

Воздух уже окончательно расцвёл, раскрасив золотой полоской облака. Мыкола шёл по битому сельскому асфальту, по голой щебёнке, и грустные яблони кланялись ему вслед. Он знал, куда сейчас идти. К сыну. Мысленно подбирал слова, которые должен сказать. На войне всё может случиться... А вот слова, которые он должен сказать сыну, — они навсегда останутся с ним, как бы ни сложилась его жизнь.

Оксана сидела в саду. Резала яблоки на варенье.

— Тю! Ты глянь, хто це появився! — встретила она его с глумливым смешком.

В её словах была прежняя насмешка и даже злость.

— Чего сразу лаешься? Хотя бы в такой день поговорила бы по-человечески, — устало взглянул на неё Мыкола.

— Це нехай тебэ твоя учителка ласкае, а мы до ухаживания не звичны.

— Як же ж ты гарно по-українски размольяешь! — усмехнулся Мыкола. — Краше моей училки, хоть она и природная западенка. Если бы мы с тобой не расстались, глядишь, и уроки литературы мне не пришлось бы брать.

Оксану это лишь больше разозлило. Встала, молвила с наигранным сочувствием:

— Як же ты, радяньский хлопчик, будешь воевать с «колорадами»? Воны ж тоби, як свои!

— Чего это я радяньский хлопчик?

— Ну як же? Я ж пам'ятаю, с якою радистию носив ты червону тряпку на шый! Аж червонный весь був...

— Носил, как все. Во всяком случае, я не был председателем пионерского звена, как некоторые, — отозвался Мыкола. — Видать, поморы тебя здорово воспитали.

Оксана открыла было рот, но тут же его сомкнула. Крыть ей было нечем.

На этом их разговор прервался. На голоса прибежал сын. Встал напротив — белобрысый, вихрастый, синеглазый — в бабкину породу. Мыкола опустился перед ним на колени, и мальчонка бросился к отцу в объятия.

— Тато, а ты правда на войну идэш?

— Правда, сынок, правда. Но скоро там всё закончится. Перемирие объявили.

— Жалко... — Тарас сделал кислое лицо. — Я бы теж пишов воеваты! И всех цих сепаратистив перестриляв бы! Та-та-та, та-та, — захлёбываясь, застрекотал он, будто в его руках был настоящий автомат.

— Твоя работа? — глянул Мыкола на Оксану.

А та лишь подбоченилась гордо.

— Я настоящего украинца з него воспитаю! Не хочу, щоб зрастав холопом в своей батькищини. З малых рокив трэба любиты ридну хату! А ну, Тарас, скажи батьки, чому ещё навчився?

Мальчишка отодвинулся от отца и, вытянув вперёд руку, крикнул:

— Слава Украины! Хто нэ скаче, той москаль! Москаляку на гиляку!

Отец обхватил его обеими руками и привлёк к себе. Придвинул лицо к лицу. Тарас ещё никогда не видел отцовских глаз так близко. И никогда не видел он в них такой боли.

— А ты знаешь, сынок, что батя твой — тоже москаль? Ты и его хочеш на гиляку?

Мальчишка в изумлении уставился на Мыколу, хлопая огромными глазами. Ему стало жалко отца и хотелось плакать. 105

— Ты уже большой, Тарас. Не всё подряд нужно повторять, чему тебя учат во дворе... Запомни, сынок... лучше быть москалём..., чем скакать всю жизнь, как кузнечик. Ты сейчас многое не поймёшь, но когда ты вырастешь, ты обязательно вспомни наш разговор...

— Не позволяю! — заорала Оксана и выхватила сына. — Не позволяю! Збывайся звидси, поки я милицию не выкыкала! И никола до нас билыше не повертайся.

— Успокойся, жинка, — тихо ответил ей Мыкола. — Может, и не вернусь. Смерть — она ведь не выбирает. Хотя, если честно, что-то мне не очень хочется воевать за таких «патриотов». Ты вот портрет Шевченко повесила в красном углу вместо иконы, а до сих пор не поняла, что и Украину, и Шевченко надо в сердце иметь, а не картонкой на стену вешать. Прощай.

Оксана молчала.

На прощанье Мыкола не выдержал и напомнил:

— Видать, зря я тебя в детстве от пацанов защищал. Сколь волка ни корми, он всё равно в лес смотрит...

Когда Мыкола отворил калитку, то услышал тоненький голосок:

— Тато, не уходи!..

Но он лишь оглянулся в ответ и молча махнул рукой.

Он пришёл домой и всё рассказал отцу.

— Ну, и что теперь будешь делать? — дрогнувшим голосом спросил отец.

— Не знаю, батько, — признался Мыкола. — Но, скорее всего, сбегу при первой возможности. Может, в Россию, а может, и напрямую к ополченцам. Знаю точно: эту гниду надо уничтожить. И чем быстрее, тем лучше это будет для всех. Иначе столько от неё беды будет — никакими слезами не отмоешь.

— Вижу, добрый казак из тебя получился... Бунтует кровь в тебе... — низким голосом произнёс отец.

Помолчали. Отец спросил:

— Где ночевать-то будешь?

— С вами останусь. Можно на сеновал полезу? Хочу надышаться родною травой. К Наталке завтра схожу. Впереди ещё два дня...

— Полежай. Жалко, что ли? Только ночь нынче уже холодная.

Мать принесла им горилки, кусок домашнего окорока и душистый чёрный хлеб. И до позднего вечера они сидели с отцом и вспоминали светлую прошлую жизнь...

Ночь над прикарпатским селом парила прохладным и светлым пологом. Босоногая луна расхаживала по небу, развешивая звёзды. Мыкола не торопился засыпать. Он вглядывался в расшитую серебряным бисером вышину и думал — долго ли ещё суждено ему смотреть на эту красоту? Наконец хмель и усталость сделали своё дело и сон сошёл на его веки.

Выспаться ему так и не удалось. Едва стало светать, двор наполнился чёрной гурьбой обкуренных «братков» с эсэсовскими шевронами на рукавах. Его тут же стащили вниз.

— И чего нэ втик? — спросил черночубый и ударил его прикладом в живот. — Чому дружину свою обижаешь? Думав, на тебэ управы нэ знайдеться?

Мыкола выдержал удар, смолчал. Только прищуренные глаза его польхнули скрытой яростью. Зашёл в дом, перекинул через плечо заготовленный с вечера вещмешок, молча, одним кивком попрощался с родителями и перешагнул родной порог.

За калиткой стояли, понурясь, Гриценко, Федюк и Нечипоренко.

— От це добри вояки! — развеселился толстопузый бандеровец. — Слава України!

— Героям слава... — вяло ответили Гриценко, Федюк и Нечипоренко.

— Героям сало! — добавил в общий хор Мыкола, но его никто не понял.

«Оно и к лучшему, что так захватили, — думал он про себя. — Легче будет к ополченцам перейти. Ещё сочтёмся с вами, суки фашистские...»

Когда подошли к машине, он оглянулся. Три дома смотрели ему вслед.

СЫН



Игорь Николаевич Азерин родился в 1969 году в Азербайджане. По окончании школы приехал в Москву. Учился в Литературном институте им. М. Горького на курсе Л. Ошанина, но потом учёбу прекратил, как и занятия поэзией.

Позже учился в МИСИ на вечернем отделении. После 1998 года стал индивидуальным предпринимателем, занятым в сфере ремонтно-строительных работ.

С 2008 года вновь стал втягиваться в литературную работу, но теперь уже в жанре прозы. Написал роман и несколько рассказов.

В «Коломенском альманахе» печатается впервые. Рассказ «Сын» поражает искренностью, невыдуманной правдивостью. В нём звучат мотивы боли и раскаяния. Но автор не опускается до снисходительной жалости. Финал повествования смел, жизнеутверждающ: зло на земле обязательно должно быть отомщено.

Рассказ

Мне восемнадцать лет. А мамы больше нет. Вот и всё. Мамы больше нет. Я остался один. Один в этой квартире. Один в этом мире. После поминок все разошлись. Отец... Пьяный отец с плохо выбритым пухлым лицом сказал: «Я могу сегодня здесь остаться, если хочешь». Я не захотел. И он был рад этому. Он не хотел оставаться и ожидал, что я откажусь. Это было заметно. Заметно по его интонации, когда он предлагал остаться, и по тому, как он сказал: «Ну, ладно. Тогда я пошёл». Как будто лишний груз сбросил. Мама так не поступила бы. Она не бросила бы меня. Мамочка! Оказывается, никому, кроме тебя, я не нужен...

Тётя Надя, твои подруги — тётя Неля, тётя Наташа, тётя Ира, другая тётя Наташа — они помянули тебя, поплакали, помыли посуду и ушли. Они говорили не только о тебе, мама. Даже о тебе они говорили не много. Хотя им было жалко меня. А мне, мама, жалко тебя. Я здесь — в квартире, в тепле, в уюте. В уюте, который создала ты. А сама ты в земле. В холодной январской земле. И свежая могила твоя уже припорошена идущим сегодня целый день снегом...

Да, мама, я здесь — дома. Вокруг вещи, которых ты касалась, наводя порядок. Всё здесь испытало теплоту твоих рук. Но тебя тут больше не будет. И в мире больше нет твоей теплоты. Твоё изломанное, искромсанное железом тело никого не согреет в этом мире. Оно теперь холодное и безжизненное.

Могильщики были недовольны. У всех были новогодние праздники, а им приходилось долбить мёрзлую землю, чтобы положить в неё очередного

мертвеца. Да, в мире царила праздничная суета. А я хоронил мою маму. Могильщики показывали своё нетерпение. Они были так небрежны. В их жизни моя мама появилась на несколько минут, и они спешили от неё избавиться. Закопать, утрамбовать землю и забыть. А я не хотел расставаться с этим телом, холодным и казавшимся мне теперь таким маленьким. Израненным и безжизненным телом. Телом, которое дало мне жизнь. Только мне. А могло дать жизнь ещё нескольким мальчикам и девочкам — моим братьям и сёстрам — если бы... Если бы нашёлся тот, кто увидел в этом женском теле мать своих будущих детей. Не нашёлся такой человек.

А отец слабый. Он не нуждается в детях. Он нуждается в женском теле, в заботе, в уходе. Он любит выпить пива и смотреть телевизор. Любит выпить водки с друзьями. Он любит компьютерные игры. Он застрял в том возрасте, из которого я вышел. Сегодня я вышел из него окончательно. Я уже взрослее и мужественнее своего отца.

Отец сам ушёл от нас. Ушёл к другой женщине. Не очень чистой, вульгарной и грубой. И нетребовательной. Мама говорила, что он ушёл сам, а она и не пыталась его удержать. Правильно, мама. Он не занимался мною. Только если ты требовала этого. Даже от прогулки со мной он пытался отказываться. Зачем он нужен? Что он давал семье, кроме зарплаты? Ничего! Своей зарплатой он лишь выкупал себе место в нашей жизни. Он, как сорняк, своими корнями и тенью забивал полезные ростки. Своей личностью он заслонял примеры мужества, долга, ответственности, участия, совести, стыда. Мама, он ушёл от нас, но всегда его частица — вздорная и эгоистичная — оставалась в моём характере, в моих поступках. Ты никогда не говорила о нём плохо. Ты своей жизнью подавала мне пример стойкости и верности. Ты была мудрой мамой.

Сейчас мне так одиноко. Мне нужно твоё внимание, мама, твоя забота. Мне одиноко, и только теперь я понимаю, как одинока была ты. Я так часто грубил тебе. Сколько раз я бросал тебе: «Отстань!» Я был ближе всех тебе, роднее всех, но разве ты получила хотя бы миллиардную долю того участия и той ласки, которой одаривала меня? Не только меня — всех! Сама ты была обделена заботой и теплом. Ты говорила, что вышла замуж в девятнадцать лет за моего отца, пятикурсника. Он так и остался единственным мужчиной в твоей жизни. Когда он ушёл, ты отдала мне всё своё время, и силы, и внимание. А я твоё внимание и твою заботу принимал за назойливость и слабость. Почему я так часто не слушал тебя, мама? Сколько раз я ждал, когда ты уйдёшь? Чтобы остаться наедине с самим собой, в одиночестве. И вот ты ушла. И я один. Совсем один. Это не одиночество — это брошенность. Это ненужность. Такой же брошенной и ненужной чувствовала себя ты, когда я, не дослушав тебя, уходил в другую комнату и громко хлопал дверью. А теперь я слушал бы тебя и слушал... но тебя нет. Поздно.

Когда ты была рядом, я поднимался над своей ленью. Я что-то делал. Я продвигался. А без тебя я всегда опускался. Оставаясь в одиночестве, я терял время, я окунался в грязь низменных желаний, я становился слабее и хуже. Мама, когда ты была рядом, я становился чище.

Я включаю телевизор. Переключаю каналы — не вслушиваясь, не вглядываясь, не вникая. Песни, смех, поздравления. С улицы время от вре-

мени доносятся хлопки рвущихся петард. В мире царит веселье, но меня оно совсем не касается. Я вспоминаю, как холмик над маминой могилой покрывался снегом. Мы стояли и смотрели, как белилась новая мамина обитель. Холодная, тесная обитель. Тётя Надя — родная мамина сестра — просто всхлипывала. Её большие красные глаза были совершенно мутными. На кладбище она не проронила ни слезинки. Слёз у неё не осталось. Она выплакала их раньше. Она оплакивала не только сестру, но и свою мать, на похороны которой не поехала, затаив обиду. Оплакивала заодно и сына Алика — наркомана, которого год назад дружок «в угаре» зарезал за семьсот рублей долга. Сначала она думала, что у неё есть сын и он ближе, чем родная мать и весь белый свет. Потом она искала утешения и оправдывала себя перед сестрой. А теперь у неё не осталось никого, потому что с мужем она разорвала отношения давно. Могилка закрывалась снегом, отделяя маму от всей этой дряни, что осталась в нас — обиды, недомолвки, корысть, зависть, злоба.

Почему я не слушался тебя, мама? Изю дня в день ты повторяла: «Выключи телевизор», «Не забудь помыть за собой посуду», «Ты очень долго играешь на компьютере», «Не пропусти тренировку», «Займись, наконец, уроками». Я с завидным упорством сопротивлялся. Я считал тебя помехой. Помехой между мной и миром бескрайних возможностей и бесконечных удовольствий. А теперь я понимаю, что помехой был этот мир, наполненный искушениями и ложными устремлениями. Помехой между мной и заботой единственного бескорыстно любящего меня человека.

А я ведь стеснялся тебя, мама. Помнится, Воропаев после сочинения о работе родителей при всех спросил меня: «Так твоя мать узбечка?» Я не понял его сразу и, разозлившись, сказал: «Ты что, дурак? Моя мать русская». А он ответил: «Какая же она русская, если она «рабочая в мясном цеху»? У нас рабочие — только узбеки». А я в сочинении написал так, как ты говорила. И я почти ничего не знал о твоей работе. Я больше знал о чужих людях. Родители Воропаева окончили Академию народного хозяйства и имели собственную турфирму. И у других моих одноклассников родки были с дипломами и сидели на «тёплых местах». Когда я учился в прежней школе, то там были ребята из разных семей. А потом ты, мама, устроила меня а престижную школу. Тогда мы получили субсидию на жильё и переехали в другой район. Мама, тебе казалось, что в этой школе мне будет лучше, что тут ребята из богатых и культурных семей. Но новых моих одноклассников от прежних отличали не ум, не знания, а надменность и самомнение. Я должен был бы возненавидеть Воропаева и остальных, но я обозлился на тебя. А ведь ты всего лишь хотела, чтобы твой сын имел больше возможностей в учёбе и был в лучшем обществе. Это ты так думала, что это общество лучше.

Тебя тоже воспитывала мать-одиночка. И она, то есть моя бабушка Вера, болела сахарным диабетом, и её не стало несколько лет назад. Родом ты была из деревни. С детства приученная к труду, не стеснялась никакой чёрной работы. Ты приехала в город поступать в институт, но не прошла по конкурсу. Наверное, твоё законное место занял по благу чей-то сынок. Ты поступила в училище. А потом познакомилась с моим будущим отцом. Ты поступила в институт на следующий год, но тогда ты уже ждала меня. Я помешал твоей учёбе. Когда я был совсем маленьким,

в стране была разруха, был «беспредел». Отец зарабатывал в своей конторе копейки, а потом ещё влез в какую-то авантюру. Семья держалась на тебе, мама. Жизнь менялась, я рос. Отец ушёл. Ты работала. Мама, ты делала всё, что было в твоих силах.

А мне хотелось иметь плейер, велосипед, игровую приставку, комп, косуху и многое-многое другое. И я считал, что ты должна мне всё это купить. Я обижался, я не хотел разговаривать с тобой, я не делал уроков, когда ты говорила: «Сынок, у меня нет денег на это. Ты же растёшь. Обувь, вон, не бережёшь — за месяц разбил... Или сейчас такую обувь делают? Снова надо покупать ботинки». И всё равно ты находила возможность сделать мне подарок. Я теперь отказался бы от всего ради того только, чтобы снова пережить мгновение, когда ты, погладив мою голову, говорила: «Растёшь ты у меня быстро. Скоро уже выше меня будешь».

А что имела ты, мама? Несколько пар туфель за всё время, сколько я помню? Пальто, плащ, куртку, которые ты носила годами? Я стеснялся тебя, потому что ты не меняла наряды, как многие другие женщины, не меняла причёсок, как красотки из журналов, как матери моих школьных товарищей. Ты вообще не была «как все». Нет, ты была чистоплотная, аккуратная, ухоженная. Но, как мне тогда казалось, тебе не хватало шика, современности. Теперь я понимаю, что это мне не хватало житейской мудрости, опыта, внутренней уверенности и основательности, поэтому я подкупался фейками, внешней броскостью, ненатуральностью.

Мама больше нет. А мир остался. Как будто всё поменяло полярность. То, что имело положительные черты — стало отрицательным. А то, что несло в себе отрицательные эмоции — стало положительным. Нет, не мир изменился. Это у меня произошла переплюсовка сознания. Я по-другому стал смотреть на мир. Я стал смотреть на него маминими глазами. Теперь я вижу мир в ином свете. В нём есть много такого, от чего надо защищаться. И мама меня защищала. Она принимала на себя грубость, злобу, опасности. И окутывала меня заботой и лаской. Она берегла своего ребёнка от коварного жестокого мира. И сберегла. Этот ребёнок жив. Он теперь в юном жилистом теле. В молодом теле с маминими глазами.

Моей мамы нет. И это несправедливо. Она была хорошей. И её нет. Я вспоминаю... Кажется, это было после школьной линейки. Я учусь в начальной школе. Мама ведёт меня за руку. Мы проходим мимо старшеклассников. Четверо или пятеро парней и две девушки. Курят. Громко что-то обсуждают. Мат. Грязный, отборный мат. Я маленький, но уже многое понимаю. И мне стыдно. Стыдно и неприятно от того, что моя мама — чистая, добрая, светлая — слышит такие слова. Я никогда в жизни не слышал от неё ругательства. А эти подонки считают, что мы достойны такой низкой участи — слышать их ругательства. Мама сделала им замечание. Она пристыдила их. А они ответили тем же матом. Ответили хамством, грубостью. Они рисовались друг перед другом. Они упивались своей безнаказанностью. Что моя мама могла сделать? Что можно сделать, когда нет сил, чтобы уничтожить зло? Уничтожить то, что оскверняет жизнь? Но она хотя бы попыталась воспротивиться скверне. А я не мог защитить маму. Я тогда ещё не мог сопротивляться вместе с ней. Плечом к плечу. Я был ещё мал. Нас обогнал мужчина, который вёл своего сына, первоклассника. Мама обратилась к нему, надеясь на под-

держку. Ведь это был мужчина. Природа наделила его силой, ростом, кулаками. Но мир украл у него мужество и совесть. Он оказался трусом. Он ухмыльнулся, что-то буркнул и, бочком обойдя нас с мамой, потопал далее со своим сыночком. Наверное, эти подонки и сейчас живы. А мамы нет. Это несправедливо. Несправедливо, когда чистый и добрый человек умирает, а подонки продолжают жить. Они множатся, не встречая сопротивления доброй и решительной силы, и овладевают миром.

* * *

Мне двадцать три года. И сегодня я отомстил за смерть моей мамы. Мне хотелось бы совершить возмездие, не таясь, но этот мир не оставил бы мою месть безнаказанной.

Я долго ждал. В день, когда мамино тело навсегда было укрыто землёй и снегом, я вынес приговор её убийце. Он вёл себя вызывающе. Перед судьями он сделал вид, будто раскаивается. Я слышал, как после наигранного и тяжело ему давшегося «раскаяния» его мать произнесла: «Молодец». Так хвалят щенка, от которого наконец-то добились ожидаемого результата. Его ровесники меня задирали. Они хотели, чтобы я не выдержал и ударил убийцу моей мамы или кого-то из них. Тогда они принесли бы справки о лечении зубов, об операциях сшивания, о сотрясении мозга, о счетах на реабилитацию. Эти справки они совали бы в суде, вытребывая полтора-два года свободы для подонка. Этими справками они шантажировали бы меня, чтобы я не чинил им гражданский иск. А мне не надо было от них ничего. Кроме жизни. Одной жизни. Правильно было бы забрать нескольких. Правильно было бы разорить их смердящий улей. Но я великодушен. И согласен был забрать жизнь только у убийцы.

Он сбил мою маму, когда она переходила улицу по «зебре». Он был «обкурен» и летел на чёрной, глухо тонированной машине. Он не остановился. Он прибавил газу. Но врезался в машину на перекрёстке, ударился о бордюр, своротив колесо, а потом выскочил из салона и побежал. Он из богатой семьи, семьи со связями. Он получил пять лет колонии. Там ему жилось легко. Ведь у него всегда были деньги, он регулярно получал передачи и разрешения на свидания. Начальники писали о нём положительные отзывы за некоторую мзду и были не против досрочного его освобождения. И он вышел досрочно.

Я не сомневался в таком исходе, и я ждал его. Один мой товарищ, работающий в полиции, по моей просьбе наводил о нём справки. Я сказал, что хочу заново судиться; для отвода глаз сказал. Через товарища я и узнал, что убийца снова на свободе. Я следил его. Долго наблюдал, выжидая момент. Шли дни, недели, месяцы. Я не торопился. Зачем торопиться? Я готовился. Готовил своё тело, свою волю. Мною давно уже были приготовлены два охотничьих ножа. Рука привыкла к ним. Я взял их оба. На случай, если первый сломается о рёбра. Но лезвие прошло чётко между

рёбер убийцы. Он теперь ездил на большом чёрном внедорожнике. Не имел прав. Не имел права. Но водил машину. И закон «водил за нос». Я ударил его несколько раз и ушёл. Месть совершена. Одним подонком меньше.

Но мир не освобождён. Я всего лишь разменял жизнь на жизнь. Жизнь хорошего человека на жизнь подонка. Это неравноценный обмен. За жизнь хорошего и невинного человека надо брать десять или сто жизней негодяев. Хуже не будет. Будет лучше. Потому что их много. Они подминают под себя справедливость. Они несутся на огромной скорости, потому что не видят в нас личностей, достойных уважения. Мы для них — как столбы или кусты. Они матерятся при нас, считая, что мы — скот, а перед скотом не манерничают. К ним заходишь в кабинет, здороваешься, говоришь с полминуты... Они поднимают на вас глаза, делают вид, будто только теперь вас заметили, и произносят: «Что?» Они не видят в нас равных себе.

Я не знаю, что будет дальше. Возможно, за мной придут. Кроме явных негодяев, этот мир полон ещё и посредниками. Посредниками между Богом и человеком, между законом и гражданином, между преступником и справедливостью. Для посредников, с погонами на плечах и в судейских мантиях, я всего лишь очередной клиент. Но меня это не беспокоит. Я установил некое правило. Установил закон. И выполнил его. Выполнил закон мести. Закон справедливости. Кто-то скажет, что это самосуд. Что если каждый будет вершить справедливость по собственному усмотрению, то мир погрузится в хаос. Но мир уже в хаосе. Когда вы превышаете скорость, не думая о том, что кто-то впереди начинает переходить дорогу — вы сеете хаос. Когда вы материтесь при чужих людях, при детях, при женщинах — вы сеете хаос. Когда вы урываете у жизни свой кусок, пока другой в стремлении к справедливости думает, как бы не обездолжить кого, не обидеть — вы сеете хаос. И вообще, есть басня «Лиса и виноград». И есть «стокгольмский синдром». Когда вы не способны на поступок ради близкого человека, ради справедливости, ради мира, то вы ищите оправдания. Оправдания своей слабости. А месть — это поступок! Это справедливость. Это моя справедливость. Вы боитесь, что моя справедливость коснётся вас? Не бойтесь. Если вы не творите зло — не бойтесь!

Сергей Калабухин

ПОСМЕРТНЫЙ РАБ



Сергей Владимирович Калабухин родился в 1958 году в городе Коломне. Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева.

Верный приверженец дефицитного ныне жанра научной фантастики. Наряду с фантастикой пишет реалистические рассказы и яркие публицистические статьи.

Лауреат Третьего всероссийского фестиваля «Господин Ветер». Награждён медалью им. И. И. Лажечникова.

Новый рассказ Калабухина «Посмертный раб» повествует о том, что, несмотря на высокие достижения техники, так несовершенен ещё человек нравственно. В этом рассказе, как в мудрой старой сказке, зло неизбежно понесёт наказание.

Фантастический рассказ

Штатный критик журнала «ФАСТ» Ричард Кайманов, сунув кредитную карточку в приёмную щель банкомата, напелвал некогда популярный советский шлягер:

— День зарплаты — радостный день!
В миг исчезнет забот моих тень. Эй! Эй!
Эй, гони деньги скорей!

Спрятав купюры и карточку в портмоне, довольный Кайманов обернулся и застыл. Перед ним стоял, держа в дрожащей руке пистолет, известный писатель-фантаст Роман Щербатый. Глаза этого немолодого пузатенького мужичка, одетого в старенький джинсовый костюм, испугали Кайманова смесью горящего в них безумия и страха.

— Это тебе за моего «Изгнанника»!
— вдруг громко взвизгнул Щербатый и выстрелил в стоящего перед ним в растерянности Кайманова.

Первая пуля насквозь прошла левую руку критика, и портмоне, пухлое от банкнот, плюхнулось в грязную лужу, оставшуюся на асфальте тротуара после недавнего дождя. Вторая пуля застряла в бедре правой ноги. Третья пронзила острой болью живот. Кайманов согнулся и упал. Вокруг в ужасе вопили и разбегались прохожие. Роман Щербатый продолжал стрелять в корчащегося у его ног Ричарда Кайманова. Из дверей банка выбежали, что-то крича, вооружённые короткоствольными автоматами охранники, и последнее, что увидел умирающий критик, это фонтанчики крови, вдруг забившие из груди спятившего графомана, и всполохи проблескового маячка невесты откуда взявшейся машины «скорой помощи». Потом убийца тяжело

рухнул на тело своей жертвы. Дюжие санитары быстро погрузили трупы в машину, и «скорая помощь», завывая сиреной, скрылась в потоке машин...

Откровение первое

Ослепительно яркий свет больно ударил по глазам. Кайманов рефлекторно попытался поплотнее зажмурить веки и отвернуться, но у него ничего не получилось. Тогда он вскинул руку, чтобы прикрыть глаза ладонью, но свет продолжал резать зрачки с прежней силой.

— Уберите свет! — крикнул Ричард, и чей-то чужой голос оглушительно повторил его просьбу.

— Спокойно, Кайманов, — проревел в ответ другой голос. — Сейчас всё будет в норме.

Свет исчез, а потом стал плавно нарастать. Перед взором Ричарда постепенно, как фотография в ванночке проявителя, обретало краски и резкость лицо незнакомого мужчины.

— Ну вот, — блеснули в улыбке отменно белые и ровные зубы. — Теперь ты нормально меня видишь?

Незнакомец был лет сорока, с большими залысинами в кудрявой рыжей шевелюре, гитлеровской кляксой усиков под внушительным эйнштейновским носом и девичье-голубыми глазами, опущёнными длинными ресницами.

114

— Да, — ответил Кайманов и вновь услышал вместо собственного голоса чей-то оглушительный рёв. — Почему вы все так орёте?

— Секундочку, — незнакомец что-то сделал за пределами поля зрения Кайманова. Тот попытался повернуть голову или скосить глаза, чтобы немного осмотреться, но вновь ничего не получилось. Он мог смотреть только прямо.

— Раз, два, три, четыре... — начал считать незнакомец, и с каждой новой произнесённой цифрой его голос становился тише, пока не достиг нормальной громкости. — Ну вот, кажется, теперь и со слухом у тебя всё в порядке. Попробуй скажи что-нибудь сам.

— Почему вы мне тычете? Где я? — услышал Кайманов свой вопрос, произнесённый чужим голосом. — Что происходит? Кто вы такой? Что у меня с голосом?

— Ну, вот и ладошки, — вновь улыбнулся незнакомец. — Теперь мы можем нормально общаться. Как ты себя чувствуешь?

— У меня ничего не болит, если вы об этом, — раздражённо ответил Кайманов. — Но я совершенно не контролирую своё тело. Не могу не то что рукой пошевелить, но даже просто моргнуть! Меня что, парализовало? Пуля того маньяка попала в позвоночник? Я теперь калека?

— Нет, господин критик, — почему-то злорадно, как показалось Кайманову, усмехнулся рыжий. — Ты не калека, а уже неделю как мертвец, и твой труп в закрытом гробу вчера был предан кремации, а урна с прахом передана безутешной вдове.

— Что за бред вы несёте? — заорал Ричард. — Какой труп? Какая кремация? Да кто вы такой, наконец? Позовите главного врача!

— Спокойно, Кайманов, не надо так кричать, — продолжал усмехаться рыжий. — Главный для тебя здесь я. Можешь называть меня Эйнштейном.

Настоящее моё имя тебе знать ни к чему. Хочешь, я введу успокоительное или снотворное? Спешить нам с тобой некуда, успеем ещё наговориться.

— Нет, — процедил Кайманов в ярости. — Не надо меня успокаивать. Почему вы упорно не отвечаете на мои вопросы?

— Потому что не успеваю, — развёл руками рыжий. — Больно много их. Но на основные я уже ответил: ты официально умер и похоронен. Что ещё ты хотел знать? Ах, да: это — не больница, а частный научно-производственный центр. Медицинский персонал здесь есть, но я не из его числа. Я вовсе не медик, а, как бы сказать, чтоб ты лучше понял... Ближе всего к истине будет слово «бионик». Знаешь, что это такое?

— Нет.

— Проще говоря, бионика — это попытки человека перенести достижения природы-матушки в технические устройства. В качестве примера могу привести всем известную замену пуговиц на одежде сначала «молниями», а сейчас так называемыми «липучками».

— И что же изобретаете вы, господин Эйнштейн?

— Ничего. Я — учёный, а не изобретатель, и занимаюсь нейробионикой. А если более конкретно и доступно для таких гуманитариев, как ты — пытаюсь создать электронную копию личности человека с помощью компьютера. Завтра вот начнём копировать тебя.

— Да вы не Эйнштейн, а скорее Франкенштейн! — язвительно хмыкнул Кайманов. — Что же вы тут будете копировать, если я, по вашим словам, уже давно труп, сожжён и похоронен? Или вы каким-то образом успели сделать свою работу, и с вами сейчас говорю не я, а искусственный интеллект? И каким же будет следующий ваш шаг? Превратите меня в послушного робота?

— Искусственный интеллект — это миф, — в свою очередь ухмыльнулся рыжий. — Любая программа всегда останется только программой, то есть набором стандартных команд и логических функций. А человек, да что там человек — простая кошка может в одной и той же ситуации поступать по-разному. Это у нас, живых существ, интеллект, а в работе — всего лишь программа. Робот не думает: он действует, у него отсутствует свобода воли. Ты, Кайманов, мыслишь литературными штампами. Работа у тебя такая, критик ты наш!

Рыжий гнусно захихикал.

— Хитроумные роботы-убийцы, — продолжил он. — Всевозможные человекоподобные терминаторы, роботы-полицейские, киборги, детективы и даже няньки наводнили фантастические романы и фильмы. В жизни человекоподобный робот никому не нужен. Очень неудобная форма. Скорее уж, это будет нечто, похожее на луноход, с набором сменных манипуляторов.

— Вы не ответили, — резко прервал снисходительные разглагольствования рыжего незнакомца Кайманов. — И перестаньте мне тыкать! Я с вами на брудершафт не пил. Что со мной и кого вы похоронили вместо меня, если это правда?

— Вместо тебя? — неподдельно удивился рыжий. — Ах, да, понимаю. Что ж, не будем больше отодвигать момент истины. Надеюсь, профессиональный критик в области отечественной фантастики читал роман Александра Беляева «Голова профессора Доуэля»? Ну, или хотя бы смотрел снятый по нему ещё в советские времена фильм?

— Что вы хотите сказать? — в ужасе прохрипел Кайманов. — Вы отрезали мне голову и проводите на ней свои дурацкие эксперименты?

— Мы могли бы это сделать, — вздохнул рыжий, — но к чему лишние заботы? Мозг — вот всё, что нам нужно.

Он протянул руку, и перед взором Кайманова промелькнула размытая картина разноцветных полос. Когда он смог вновь сфокусировать свой взгляд, то увидел стеклянный куб, стоящий на широком пластиковом столе. Внутри этого куба, заполненного прозрачной жидкостью, лежал человеческий мозг, покрытый золотой сеткой электродов и датчиков. Рядом со столом мерцали мониторы каких-то медицинских приборов, на экранах которых бежали гребёнки сигналов. Аппарат искусственного кровообращения гнал по прозрачным трубкам в мозг алую жидкость.

— Вот всё, что от тебя осталось, — услышал Кайманов голос рыжего. — Глаза тебе заменяет видеокамера, вместо ушей — микрофон, говорит за тебя компьютерная программа. Сам компьютер находится в соседнем помещении, он занимает несколько больших шкафов. Там специальная система охлаждения, поддерживающая определённую температуру воздуха. Мы называем его «Суперкомп». Но это для тебя уже совершенно лишние и неинтересные подробности. Ну вот, теперь ты знаешь правду и понимаешь, что обращаться на «вы» к тому, что лежит в той ячейке, просто глупо.

Перед взором потрясённого Кайманова вновь возникла разноцветная пелена, сменившаяся самодовольным лицом рыжего Франкенштейна.

— Ну что, продолжил разговор или дать тебе время пораскинуть мозгами? — хихикнул тот над своей шуткой. — Может, отключить тебя пока?

— Нет, не надо, — Кайманов был в ужасе от увиденного, но перспектива «отключения» страшила его ещё больше. Он хотел знать, что его ждёт в дальнейшем. — Так чего же вы здесь изобретаете? Киборгов, что ли? Для этого вам нужен мой мозг?

— Киборги — это тоже из области фантастики, — вздохнул рыжий. — Если, конечно, имеется в виду металлический болван с человеческим мозгом внутри. Живой мозг нужно питать, беречь от холода, жары и сильных вибраций. А ещё нужна довольно сложная система поддержания равновесия и управления конечностями. Словом, возникает куча никому не нужных проблем. И ради чего?

Это в кино от робота-полицейского отскакивают пули. Нынешнее оружие легко разнесёт его железную башку вместе с мозгами. Если же говорить о киборгах в широком смысле этого слова, то они давно существуют. Мы без особых проблем могли бы запихнуть твой мозг в какой-нибудь полностью автоматизированный танк, самолёт или космический корабль. Если бы, конечно, ты умел всем этим управлять. Я вполне допускаю и даже уверен, что в каком-нибудь из отделов нашего Центра делают нечто подобное. Например, наше здание нашпиговано видеокамерами, однако я точно знаю, что с недавних пор в помещении, где установлены мониторы охраны, никто не дежурит. Понимаешь, о чём я? Ведь включить сигнал тревоги можно и не имея рук. Ты же вот видишь без глаз и слышишь без ушей.

— Не может быть! — возмутился Кайманов. — Кто же пойдёт на такое? Зачем?

— Пойдут хозяева всевозможных охраняемых объектов, — невозмутимо ответил рыжий. — Зарплату таким киборгам-сторожам платить не надо,

форма не нужна, никаких забастовок и прочей фигни. И никаких пенсий по инвалидности или старости. К тому же исчезает человеческий фактор. Люди устают, теряют бдительность, болтают между собой, ходят в туалет, едят, словом — постоянно отвлекаются от работы. Они ненадёжны. А вот такие, как ты, Кайманов, могут смотреть только туда, куда направлена видеокамера. Лучших охранников и искать не надо!

— Какой же дурак согласится на подобное рабство? — фыркнул Кайманов. — Как вы, например, меня можете заставить работать на вас? Перекроете кислород? Или посадите на голодную диету?

— Я мог бы тебя немного попытать, — задумчиво ответил рыжий. — И мне для этого вовсе не нужно ломать тебе кости или гладить раскалённым утюгом. Мне прекрасно известно, где в человеческом мозгу расположены соответствующие центры. Я могу легко погрузить тебя в пучину невыносимой боли. Но зачем? Я вовсе не садист. Уже давно существуют препараты, подавляющие волю, и соответствующие методы гипноза. Ты что же, Кайманов, всерьёз думаешь, что Роман Щербатый, тихоня и трус, пописывающий в тиши кабинета романы о крутых попаданцах в прошлое, вдруг люто на тебя озлобился за критику его последнего «шедевра», неведомо где раздобыл пистолет и пошёл убивать среди бела дня на глазах у прохожих и вооружённых охранников банка?

— Что вы хотите сказать?

— Да, именно то, что ты подумал, — довольно осклабился рыжий. — Его просто зомбировали, вложили в руку оружие и отправили к тебе. Мне понадобились ваши головы. Вернее, мозги. Расходный материал всегда в дефиците, требуется пополнение запасов. Методика переноса человеческого сознания в память компьютера пока не отработана, приходится часто заменять биологический образец. А ты думал, машина «скорой помощи» случайно проезжала мимо банка именно тогда, когда в тебя стрелял «спятивший писатель»?

— Он же мог меня убить!

— Он и убил, — кивнул рыжий. — Но стрелять в голову ему было категорически запрещено. Твой мозг не должен был пострадать, впрочем, как и его. Банк-то принадлежит нашему Центру, и охранники накануне прошли соответствующий инструктаж.

— Но почему вам понадобился именно я? — с тоской вымолвил потрясённый Кайманов. — Неужели мало бомжей, алкоголиков и наркоманов?

— Мне для опытов нужен здоровый образец, — спокойно ответил рыжий. — К тому же, я тоже пишу на досуге фантастические романы. Недавно, после одной из твоих критических статей в журнале, издательство отказалось печатать мой последний роман и заключило контракт с Романом Щербатым. Так что я решил одним выстрелом убить двух зайцев.

— Мсть! — понимающе прорычал Кайманов. — Значит, всё это из-за того, что я раскритиковал ваши тексты?

— Вряд ли это можно назвать критикой, — злобно встрепенулся рыжий. — У нас в России сейчас вообще отсутствует критика как таковая. Издательствам нужно, чтобы вы хвалили их продукцию и ругали конкурентов. Они платят за это вашему журналу, и вы старательно отработываете их деньги. Вы, Кайманов, так называемые профессиональные критики, теперь ничем не отличаетесь от обычных рекламных агентов.

— Утешайтесь этой стандартной отмазкой графоманов и неудачников, — язвительно прошипел Кайманов. — Под каким именем вы публикуете свои книги?

— Я же сказал: моё имя тебе знать ни к чему.

— Понятно, — удовлетворённо хихикнул Кайманов. — Все вы — герои, но только тогда, когда спрячетесь под маской анонима или псевдонимом. А в реале и под собственным именем быстро сдуваетесь.

— А вы — просто литературные проститутки! — раздражённо взмахнул рукой рыжий. — Не будем спорить: сейчас всё это совершенно не важно. Главное то, что отныне ты будешь работать только на меня. Для опытов по основному проекту у нас пока есть мозг Щербатого. Романы я и сам писать умею, так что этот графоман пусть послужит науке. А вот у тебя начинается новая жизнь после смерти. Рабская, как ты правильно недавно заметил. Будешь вкалывать без перекуров и перерывов на обед.

— Каким это образом? — поразился Кайманов. — Я — филолог, управлять самолётом не умею, и охранник из меня никакой.

— Не волнуйся, ты и в дальнейшем будешь писать критические статьи, а деньги за них буду теперь получать я. Зарплата у меня по нынешним временам хорошая, но денег, как известно, никогда не бывает достаточно. К тому же ты должен возместить мне потерянный по твоей вине гонорар за отвергнутый издательством роман. Я буду снабжать тебя текстами и указывать, какие из них нужно хвалить, а какие необходимо разнести в пух и прах.

— Не смещите меня! — взвизгнул Кайманов. — Вы сами сказали, что для всех я мёртв и похоронен.

— Не ожидал, что ты столь наивен, — удивился рыжий. — Тебе ли не знать, что мы живём в эпоху так называемых «литературных проектов», в которых под одним раскрученным именем публикуются тексты совершенно разных авторов, а то и вообще никому не известных «литературных негров»? Объявлений о твоей смерти ни в прессе, ни в Интернете не было. Ты ж не какой-нибудь знаменитый артист или поп-звезда! Хозяину журнала «ФАСТ» совершенно наплевать, кто в действительности пишет от твоего имени критические статьи, если они соответствуют определённой уровню и заданной направленности. Я уже провёл с ним на эту тему переговоры. Контракт находится в стадии подписания.

— А на кой чёрт мне горбатиться на вас? — спросил Кайманов. — Убивать или мучить меня вам невыгодно. Под воздействием препаратов или гипноза я вряд ли напишу статью: для творчества требуется ясный ум и свобода мысли. Это вам не на курок жать.

— Жмут, Кайманов, не на курок, а на спусковой крючок, — презрительно процедил рыжий. — Убивать тебя я, конечно, не буду. Тут ты прав. Да это и не потребует. Ты сам скоро, как наркоман, будешь готов на всё ради дозы.

— Какой ещё дозы? — испугался Кайманов.

— Когда только начинали изучать мозг, то проводили опыты на мышах, крысах, кроликах и прочих животных. Так вот, однажды крысе вживили электроды в центр удовольствия и посадили в клетку с двумя кнопками. Когда крыса нажимала на одну кнопку, то тут же получала пищу, а когда на другую — электроимпульс на вживлённые в её мозг электроды. Вскоре эта крыса умерла от голода, так как всё время нажимала на вторую кнопку,

предпочтя пище непрерывный экстаз. В твоём случае, Кайманов, кнопками управляю я и могу без особого труда причинить тебе невыносимую боль или подарить небывалое наслаждение. Выбор за тобой. Так что, добровольно или нет, но ты будешь на меня работать. И потом, Кайманов, подумай: неужели тебе самому не хочется продолжить занятие любимой работой? Ты действительно предпочтёшь целыми днями бессмысленно паяться в одну точку? Или я могу вообще отключить видеокамеру с микрофоном. Хочешь побыть слепоглухонемым?

— Я подумаю, — с горечью прошептал Кайманов.

— Уверен, мы с тобой поладим, — победно усмехнулся рыжий. — Думай, у тебя целая ночь впереди. Ох, и заболтался же я с тобой. Рабочий день давно закончился, и все ушли по домам. Я отключу тебя пока от периферийных устройств — у нас тут, знаешь ли, не принято общаться с подопытным материалом. Это я только для тебя сделал исключение. Вон, на соседнем столе стоит ячейка с мозгом Щербатого. У того нет и не будет ни видеокамер, ни микрофонов, ни собеседников. Так что цени, Кайманов, мою доброту! Утром тобой займутся мои сотрудники, не пугайся. Они просто подключат тебя к Суперкомпью и начнут копировать в него твою память. Судя по приборам, это не больно. А после работы, когда все разойдётся по домам, я к тебе приду, вновь подключу периферию, и ты мне скажешь своё решение.

Пальцы Франкенштейна забегали по клавиатуре, и внешний мир для Кайманова исчез.

Откровение второе

Со следующего утра жизнь Кайманова превратилась в беспросветную каторгу, в которой его мозг циклически ввергался в три состояния. Когда в Центре начинался рабочий день, Кайманова после обязательной проверки медицинских показаний состояния мозга подключали к суперкомпьютеру, и начинался тошнотворный процесс копирования его памяти. Почти девять часов Кайманов находился в состоянии непреходящего похмелья: его просто выворачивало наизнанку. Будь у него тело, он наверняка как следует проблевался бы или принял какое-нибудь средство от тошноты. В конце концов, хлебнул бы рассолу или выпил баночку пивка. Но тела не было, а химические препараты в данном случае, по словам рыжего эскулапа, были бесполезны, и бедному Кайманову оставалось только покорно ждать окончания процесса.

Когда рабочий день заканчивался и сотрудники лаборатории уходили домой, у Кайманова начиналась вторая смена. Он работал на рыжего Франкенштейна: писал критические статьи для журналов. Причём, судя по их количеству и номенклатуре разбираемых романов, рыжий заключил контракты не только с журналом «ФАСТ», но и с несколькими другими изданиями. Сосал, как говорит, сразу несколько маток.

Шесть предутренних часов Кайманов спал — Франкенштейн прекрасно знал, что живому организму требуется отдых. Специальная программа отключала от мозга Кайманова периферийные устройства, с помощью которых тот читал чужие книги и писал свои статьи, и вводила в кровь лёгкое снотворное.

Суперкомпьютер не входил в местную локальную сеть Центра во избежание утечек информации и хакерских атак. Поэтому для своего личного бизнеса рыжему пришлось использовать медицинский компьютер, к которому были подключены приборы и устройства, обеспечивающие жизнедеятельность мозга Кайманова. Этот компьютер имел стандартный usb-вход, через который рыжий и производил обмен текстов с помощью обычной флэшки. Кайманов довольно быстро научился работать в текстовом редакторе при помощи виртуальной клавиатуры.

Франкенштейн любил поболтать с Каймановым после рабочего дня, когда их никто не видел и не слышал. Однажды он пришёл позже обычного. Кайманов не мог чувствовать запахи, но по внешнему виду рыжего сразу понял, что тот явно навеселе.

— Что отмечали? — осторожно спросил он.

— Покорение Марса! — весело рявкнул Франкенштейн. — Что это ещё за вопросы?

— Ну, мне же интересно, какие у вас тут успехи, — примирительно ответил Кайманов. — Всё-таки от них зависит и моя судьба. А я так и не понял, чем же на самом деле занимается ваш Центр? Зачем копировать память людей в компьютер?

— Ты, Кайманов, действительно такой тупой или притворяешься? — хмыкнул рыжий. — Где твоя фантазия? Ты ж всю жизнь фантастикой занимаешься!

— Я хочу знать реальное положение вещей, а не фантазировать на тему киборгов, — обиженно огрызнулся Кайманов.

— Какие, к чёрту, киборги! — захохотал Франкенштейн. — Ты думаешь, наш Центр единственный? Да таких центров по всему миру разбросано, знаешь, сколько?

— Сколько? — недоверчиво спросил Кайманов.

— Никто точно не знает, — понизил голос рыжий. — Наш Центр — только малая частичка огромного международного Консорциума. Тут миллиарды долларов крутятся, а ты всё про каких-то идиотских киборгов думаешь. В Центрах, разбросанных по всему миру, учёные бьются не только над проблемой переноса человеческого разума на электронный носитель — одновременно проводятся и обратные опыты. Знаешь, Кайманов, кто является основным заказчиком и спонсором Консорциума? Миллиардеры!

— Не понимаю, — искренне признался Кайманов. — Им-то это зачем?

— Всё очень просто, — насмешливо посмотрел на него рыжий. — Никто не хочет умирать. Денежные мешки мечтают жить вечно, меня отягощённые старостью и болезнями тела на новые, молодые и здоровые. Лежать в глубокой заморозке и ждать, когда медицина научится лечить их болезни и омолаживать организмы, миллиардерам не хочется. Никто же не может гарантировать, что они благополучно оживут при разморозке: эта задача возлагается на плечи науки и медицины неопределённого будущего. То есть, денежные мешки, согласившиеся когда-то на заморозку, уплатили огромные деньги за химеру, пустые, ничем не подкреплённые обещания. Поэтому нынешним миллиардерам копирование личности в память компьютера представляется более практичной и достижимой задачей. К тому же оно не требует выпадения из жизни на неопределённый срок.

Миллиардеры, Кайманов, хотят жить, а не «спать» в анабиозе, и Консорциум смоет воспользоваться мечтами и чаяниями денежных мешков. Он переманивает в свой штат лучших специалистов со всего мира. Успехи уже впечатляют. Ты знаешь, Кайманов, что на одном из островов в Тихом океане, принадлежащем Консорциуму, живут и руководят своими империями более десятка миллиардеров? Вернее, живут их мозги, ожидая переноса сознания в новые тела. Точно так же, как ты сейчас живёшь. Только тебе новое тело не светит.

— Это-то я понимаю, — ответил Кайманов, с трудом переваривая откровения Франкенштейна. — Новое тело мне никто не даст. И что же вы сегодня празднуете? Неужели у вас получилось?

— Корпоратив у нас был, — кисло ответил Франкенштейн. — У директора сегодня юбилей.

— А я думал...

— А ты не думай! — пьяно взревел рыжий. — Хватит болтать: работать пора. Я принёс тебе ещё парочку романов. Оба нужно похвалить. Читай и готовь статьи. А про всё, о чём мы тут с тобой говорили, забудь. Это не для твоих мозгов. Сам не забудешь — с помощью Суперкомпа сотру.

Откровение третье

На следующее утро ни Кайманов, ни Франкенштейн не вспоминали о беседе накануне. Кайманова, как обычно, подключили к Суперкомпу, после работы рыжий скопировал на флэшку готовые статьи и ушёл, не сказав ни слова. В заданное время Кайманов уснул.

И так сутки за сутками. Привыкнуть к тошноте Кайманов не мог, но его мозг сам искал выход из неприятного состояния, и вскоре Кайманов заметил, что ему становится легче, если он как бы «перетекает» вместе с информацией в ячейки памяти суперкомпьютера. Тошнота ослабевала, так как мозг «отключал» живую память, используя соответствующую информацию, уже записанную в электронную память Суперкомпа. Чем больше памяти Кайманова копировалось, тем легче ему становилось убежать от тошноты.

И вскоре настал момент, когда Кайманову стало банально скучно бездельничать почти девять дневных часов, и он «огляделся» вокруг. Каким-то странным «зрением» увидел, что «парит» в чёрной бездне, а вокруг него мерцают всеми оттенками жёлтого огромные бесформенные «массивы». Его память мгновенно привлекла на помощь аналогию бесконечного космоса и сверкающих звёздных скоплений. Кайманов «потянулся» к ближайшей «галактике» и «погрузился» в неё.

Массив оказался памятью Романа Щербатого! Оставаясь собой, Кайманов отчётливо «вспомнил», как он пишет «свой» последний роман о бравом капитане спецназа ВДВ России, сознание которого во время ранения в голову каким-то чудом перенеслось в тело матёрого эска, добровольно сменившего лагерь на штрафную роту, которую вот-вот должны были кинуть на штурм какой-то безымянной высоты, чтобы отбить её у засевших там немцев.

Поражённый, Кайманов немедленно «вынырнул» из массива. Чутьочку «отдышавшись» и придя в себя от удивления, он вновь осторожно «окунул-

ся» в память Романа Щербатого. Кайманов не знал, сколько «блуждал» по ней, но контакт внезапно прервался — рабочий день в Центре закончился, и мозг Кайманова отключили от суперкомпьютера. А вскоре появился и Франкенштейн.

То, что рыжий опять пришёл «под мухой», Кайманов понял сразу, хотя тот, в отличие от прошлого раза, был хмур и зол.

— У вас опять корпоратив? — осторожно спросил Кайманов. — Эксперимент наконец удался?

— Если бы! — рыжий вынул из кармана халата плоскую бутылочку, отвинтил крышку и хлебнул прямо из горлышка. — Мы научились копировать память человека в компьютер, но вот личность вместе с памятью почему-то перенести не удаётся. Умеем записывать чужую память из компьютера в живой мозг. Однако личность первоначального владельца при этом не меняется: она просто получает новые знания, что-то сразу усваивая, а что-то блокируя и отсеивая как опасное или ненужное. Бьёмся, бьёмся, а воз и ныне там! Радует только то, что и на эти работы нашлись заказчики, да ещё какие! Мы теперь любые мозги можем на опыты брать, никто нам не помешает.

— Это кто ж такие? — полубопытствовал Кайманов, стараясь выудить у подвыпившего Франкенштейна как можно больше информации.

— Что, и тут тебе фантазии не хватает? — пьяно ухмыльнулся рыжий. — Конечно же, армия и некие анонимные организации. Первым нужны опытные и исполнительные солдаты, которых не надо обучать несколько месяцев, а то и лет, вторым — лишённые инстинкта самосохранения живые роботы, готовые выполнить любой приказ. Всего несколько часов в контакте с Суперкомпом — и готов любой нужный заказчику специалист.

Теперь Кайманов понял, что имел в виду рыжий Франкенштейн, когда говорил, что может усадить его в кресло охранника или за пульт управления самолётом. Его привела в ужас судьба многих и многих несчастных, чей мозг использовали и используют для жутких экспериментов по стиранию «ненужных» знаний и навыков и замене их «нужными».

— Но ведь это — ужасно! — воскликнул он. — Просто бесчеловечно! Куда же смотрят правозащитные организации?

— Не пойму, Кайманов: ты действительно так наивен или просто дурак? — Франкенштейн завинтил крышку и спрятал бутылочку в карман. — А на чьи деньги, по-твоему, существуют все эти организации? К тому же эти опыты преподносятся хозяевами Консорциума как благо для человечества: как возможность превращения маньяков и преступников в добропорядочных и полезных членов общества, прилежных и добросовестных работников. Улавливаешь?

— Но... — растерянно проблеял Кайманов.

— Кстати, ты и Роман Щербатый в этом деле хорошо нам помогли! — вдруг злобно засмеялся Франкенштейн. — Особенно этот бездарный графоман.

— Каким образом? — не поверил Кайманов. — Вы ж говорили о гипнозе...

— Кому теперь нужен гипноз? — отмахнулся рыжий. — Он не надёжен, сложен в исполнении, требует подготовленного специалиста, да и не каждый человек ему поддаётся. А у нас всё просто, быстро и со стопроцентной гарантией.

— А при чём здесь я?

— Заказчик потребовал продемонстрировать наши возможности на совершенно случайных людях, далёких по жизни от какого-либо насилия, без опыта службы в армии или правоохранительных органах, не умеющих обращаться с оружием и тому подобное. И я подсунул ему ваши кандидатуры. Романа Щербатого в своё время военкомат забраковал из-за слабого зрения. Ты же, Кайманов, откосил от армии с помощью липовой справки о якобы имеющемся у тебя плоскостопии, подкреплённой соответствующей суммой нужным людям. Что молчишь? Эх, в первый раз жалею, что передо мной только мозг! Уж очень хочется посмотреть сейчас на твою рожу. Небось, знай ты тогда, что тебя ждёт в будущем встреча со мной — сам бы рванул в военкомат с просьбой забрать тебя в солдаты нашей несокрушимой и легендарной? А? Что молчишь?

Ладно, слушай дальше, раз уж хочешь знать всю правду. Мы взяли Щербатого прямо на улице, когда он вышел из своего дома, чтобы сходить в магазин за продуктами. Привезли сюда, подключили на несколько минут к Суперкомпу, потом дали пистолет и отпустили, сказав, где тебя искать. Он пошёл и без тени сомнения убил. Всё это происходило на глазах восхищённого представителя заказчика. Так-то вот, Кайманов!

И нечего мне тут про права человека вкручивать! Ты сначала долг свой исполни, послужи Родине, а уж потом пасть разевай, если захочешь. Теперь мы легко можем помочь родной армии и государству в том, чтобы ни у одной сволочи, вроде тебя и прочих так называемых правозащитников, даже мысли не возникло бы плевать в их сторону.

А теперь, раб, принимайся за работу!

Откровение четвёртое

Кое-как выдав очередную статейку, Кайманов стал обдумывать всё услышанное от Франкенштейна и своё невероятное проникновение в чужую память в недрах Суперкомпа. Он наконец в полной мере понял трудности Консорциума: массив Щербатого был просто электронной копией его памяти, а не личности. Он не обладал сознанием и собственной волей, не мог самостоятельно мыслить. Очевидно, что и массив самого Кайманова был таким же и обретал разум только во время контакта с живым мозгом.

«Просто мой мозг использует компьютерную память, — понял Кайманов. — Скопировать разум, личность живого человека Франкенштейн пока не может или не умеет. Что ж, это даёт мне какое-то время. Пока я ему нужен, мой мозг будет жить».

С этого дня каторга превратилась для Кайманова в увлекательное путешествие по чужим мирам. Не зря говорят, что каждый человек живёт в своём собственном мире. Самое удивительное было в том, что чужая память мгновенно становилась для Кайманова собственной, как только он проникал в очередной массив. Какая-то её часть успевала «записаться» в мозг, и Кайманов даже после отключения от Суперкомпа продолжал вспоминать чужую жизнь как свою.

«А не начать ли мне писать романы? — как-то подумал он. — У меня есть для этого масса материала: надо просто записать куски чужой жизни».

Но Кайманов тут же отверг эту безумную идею. Во-первых, он не писатель. Как-то однажды пытался им стать, но не получилось. Пошёл в критики — не пропадать же филологическому образованию! А во-вторых, и вернее, в главных — Франкенштейн далеко не дурак и сразу же всё поймёт, а уж какие он примет меры, даже гадать не хочется. Одно ясно: каторжный труд Кайманова многократно увеличится или мгновенно прекратится.

«Хватит с рыжего убудка критических статей, — решил Кайманов. — Романы пусть сам пишет», — и он продолжил свои тайные проникновения в чужую память.

Кого здесь только не было! Бомжи, преступники, солдаты, жертвы несчастных случаев, бывшие работники Консорциума, чем-либо провинившиеся перед начальством, и даже дети разных возрастов. Один из очередных массивов содержал память хакера, неосмотрительно попытавшегося взломать защиту локальной сети Центра. Беднягу быстро вычислили, и того сбила на улице «неизвестная машина». Кайманов узнавал не только жизни и судьбы, но и мгновенно усваивал родные языки, так как люди эти были похищены и убиты в тех странах и городах, где имеется местный филиал Консорциума.

Словом, множество людей погибло в ходе бесчеловечных опытов по поиску бессмертия для умирающих миллиардеров. Кайманов благодарил судьбу за то, что рыжий Франкенштейн решил использовать его мозг для улучшения своего личного благосостояния и потому уберёт от экспериментов. Но он хорошо понимал, что долго это продолжаться не будет. В любой момент может произойти что-то, что разрушит сложившееся положение вещей. Например, рыжий может заболеть, и его заместитель, обнаружив «бесхозный» мозг Кайманова, тут же пустит его в дело, то есть в какой-нибудь очередной эксперимент. Нет, спастись Кайманов не надеялся, но хоть как-то отомстить вивисекторам в белых халатах хотел. Только вот как?

— А вы не бойтесь, что правда о Консорциуме станет известна всем? — спросил он как-то Франкенштейна. — Ведь кто-нибудь из ваших может проговориться о том, что вы тут делаете.

— Это невозможно, — спокойно ответил тот. — Все наши люди регулярно, два раза в год, проходят медосмотр. Один — всеобщий, плановый, другой — индивидуальный, перед уходом в очередной отпуск. Во время этих медосмотров сотрудников подключают к Суперкомпью и, используя соответствующие технологии, «закачивают» в их мозг новые должностные правила и инструкции, стирают «лишнюю» информацию, зомбируют на неразглашение любых сведений о Консорциуме вообще и о Центре, в котором они работают, в частности. Разумеется, в конце процедуры всем стирают память о ней, и сотрудники уверены, что прошли обычный медосмотр, такой же, как в государственной поликлинике. Уволиться из Консорциума можно только одним способом: тело — в морг, мозг — в экспериментальную лабораторию Центра.

— А вы откуда это знаете? — не поверил Кайманов. — Разве вы не проходите эти медосмотры?

— Прохожу, — криво усмехнулся рыжий. — Но я их и провожу. Так что у меня несколько иная программа зомбирования, чем у прочих. Мне не стирают память о процедуре, так как я должен знать и понимать суть того, что делаю с другими.

— А запрет на разглашение?
— Как у всех.
— Не понимаю, — искренне удивился Кайманов. — А как же я? Вы же мне всё рассказали!
— А кто ты такой? — спросил Франкенштейн. — Разве ты человек? Разве ты можешь кому-нибудь что-нибудь рассказать? Ты — просто кусок мяса! Беседовать с тобой — то же самое, что разговаривать со стулом или вон с тем полусохшим цветком в горшке на подоконнике.

Откровение пятое

Последний разговор с рыжим не выходил у Кайманова из головы.
«Смешно, — думал он. — Головы нет, а разговор из неё не выходит. Что-то меня в нём зацепило и не отпускает. Обида? На что? На сравнение с куском мяса? Засохший цветок? Цветок. Запрет на разглашение. Тростник. Причём тут тростник? Вот оно! В детстве мне мама читала сказку про какого-то царя, у которого вдруг почему-то выросли ослиные уши. Царь пригласил к себе лекаря и предупредил, что если тот кому-нибудь расскажет о том, что узнал, то лишится головы. И лекарь молчал. Но его так и подмывало раскрыть секрет царя хоть кому-нибудь. В конце концов, он выбежал из города в поле, упал лицом в траву и прошептал страшную тайну земле. А потом, довольный и успокоившийся, лекарь вернулся домой и обо всём забыл.

Но на том месте, в поле, со временем вырос тростник. Мальчик, пасший за городом овец, срезал тростинку и сделал из неё дудочку. А когда подул в неё, вместо музыки из дудочки послышались слова о том, что у царя выросли ослиные уши. Помню, меня здорово повеселила эта сказочка. А она, оказывается, не просто забавная, но и со смыслом. Ты прав, Франкенштейн, я — полусохший цветок, тростник. Вот только где бы мне найти пастушка?»

И Кайманов перестал произвольно блуждать по массивам в поисках очередных приключений. Он стал искать нестандартную «галактику», место, где зомбируют отпускников. И вскоре нашёл-таки небольшое, интенсивно пульсирующее «облачко». Полный надежд, Кайманов тут же «сунул туда свой нос». Облачко не было полноценной копией мозга конкретного человека. В нём действительно проходил процесс зомбирования сразу трёх людей, через несколько дней уходящих в отпуск. Один из них был специалистом, обслуживающим компьютеры Центра. Не желая упускать благоприятный момент, Кайманов немедленно внушил ему задание: подключить медицинские компьютеры к локальной сети.

С тех пор он получил доступ не только к зомбированию сотрудников, но и к локалке Центра. Кайманов незаметно подправил некоторые инструкции, исполняя которые, охрана могла бы обнаружить его вмешательство, и даже стёр саму память о категорическом запрете объединения имеющей выход в Интернет локальной сети с полностью автономной медицинской.

Кайманов понимал, что охранные программы Консорциума не дадут ему вбросить в Интернет большой объём информации, даже если он восполь-

зуются логином и паролем директора Центра. Он мог бы соответствующим образом зомбировать некоторых охранников, но справиться с программой ему было не по зубам. Её сделали люди более квалифицированные и опытные в этой сфере, чем несчастный хакер, чьи знания теперь принадлежали Кайманову. Эти люди понимали, что любой обмен информацией по сети Интернет могут перехватить. Поэтому связь между суперкомпани Центров Консорциума осуществлялась с помощью курьеров, перевозивших данные на съёмных носителях под надёжной охраной. Это занимало много времени, зато исключало утечку информации. Даже если бы кто-то нейтрализовал охрану и захватил курьера, несанкционированное вскрытие его кейса привело бы к самоуничтожению носителя информации. Консорциум умел хранить свои тайны.

«Дудочка»

Отныне Кайманов был в курсе всего происходящего. Он узнал настоящее имя Франкенштейна, но запретил себе употреблять его даже в мыслях, дабы не спалиться раньше времени. Оказалось, что родной брат рыжего работает в Центре начальником службы безопасности, одновременно являющейся поставщиком «живого сырья», то есть мозгов, что и дало возможность братьям организовать свой тайный бизнес на Кайманове.

126 Специфические знания хакера подали Кайманову идею, и он записал на флэшку Франкенштейна вместе с очередной критической статьёй некий скрытый файл. Конечно, рыжий использовал для своего бизнеса не рабочий, а личный, домашний, компьютер, и это позволило Кайманову начать выполнение своего плана.

Мощная защитная программа Консорциума мгновенно обнаружила бы и нейтрализовала файл Кайманова, но обычный антивирус домашнего компьютера его пропустил. И когда рыжий Франкенштейн вышел в Интернет, чтобы отправить статью в редакцию журнала, скрытый файл на его флэшке сделал своё дело, закачав и установив на компьютер Франкенштейна нужные Кайманову программы.

Так Кайманов получил регулярный доступ к персональному компьютеру Франкенштейна и начал потихоньку, маленькими кусками закачивать в него информацию о Консорциуме: адреса Центров, фамилии сотрудников и заказчиков, планы и результаты работ, банковские счета, имена жертв экспериментов, словом — всё, что удавалось выудить из массивов суперкомпьютера и локальной сети Центра.

И вот настал день, когда Кайманов был готов нанести ответный удар. Он собрал достаточно информации о Консорциуме — большего извлечь из локалки Центра он не мог. Кайманов прекрасно понимал, что, скорее всего, подписывает себе окончательный смертный приговор — Центр наверняка постарается уничтожить все улики, как только информация о нём выйдет наружу. А жить хотелось! Ох, как хотелось жить! Пусть даже «питаюсь» чужой памятью.

Но Кайманов точно знал, что его конец в любом случае близок: через десять дней Франкенштейн уходил в отпуск, и потому он уже начал офи-

циально оформлять мозг Кайманова в качестве нового материала для экспериментов. После возвращения из отпуска рыжий планировал продолжить свой бизнес, но уже с другим рабом. Жертва была давно намечена — ещё один критик всё того же журнала «ФАСТ». Кайманов знал об этом, так как сотрудники брата Франкенштейна собрали полную информацию об этом человеке и готовили ему стандартный «несчастный случай».

В Суперкомпе не было массивов с памятью сотрудников Центра. Зачем тратить на них время и ресурсы? Для зомбирования достаточно кратковременного подключения. Поэтому, узнав точную дату предотпускного медосмотра Франкенштейна, Кайманов с самого утра дежурил в пульсирующем облачке. И вот, наконец, он получил доступ к мозгу своего врага и моментально дал тому нужную установку.

Впервые после своей смерти Кайманов почувствовал себя свободным и счастливым. Он знал, что его установка сработает уже на следующее утро. Прежде чем пойти на работу, Франкенштейн включит свой домашний компьютер и бездумно запустит программу, о существовании которой он до этого даже не подозревал. Та автоматически начнёт рассылку материалов о Консорциуме, собранных в скрытой директории, во все инстанции: мировые средства массовой информации, Интерпол, правоохранительные органы России, США, Китая и Европы, пиратские библиотеки и пиринговые сети. Запустив эту программу, Франкенштейн оставит работающий компьютер подключенным к сети Интернет и спокойно поедет на работу, мгновенно забыв всё, что сделал. До своего отпуска он теперь вряд ли доживёт...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДВЕ «ПЯТЁРКИ» ВАДИМА КВАШНИНА



*Закружила листва порошею,
Заметая прожитый след.
Две «пятёрки» — число хорошее, —
Не старей же душой, поэт!*

*Наша юность — не забывается,
Сердца трепета — не унять.
И пускай, Вадим, всё сбывается —
Обязательно — всё на «пять»!*

Татьяна Башкирова

И не только стихи — на «пять»! Вадим многое умеет: и землю пахать, и дом строить. И всё это — с душой, с чувством, с вдохновением.

Пожелаем Вадиму Квашнину новых звонких поэтических строк! И порадуемся, что есть у земли Коломенской, в селе Лукерьино, богатырь-молодец хоть куда: мастер на все руки!

Коллектив редакции

СОЛОВЬИНЫЙ РОДНИК

Евгений ЮШИН. **Соловьиный родник**. — М.: ИПО
«У Никитских ворот», 2014. — 126 с. - 200 экз.



Сокровищница отечественного слова пополнилась ещё одной поэтической книгой!

В новую книгу известного русского поэта Евгения Юшина вошли произведения, посвящённые неповторимым красотам Мещёрского края, его людям, его истории.

Плывёт по реке Времени древний ковчег русского села... Всё вместилось в нём: звуки и запахи, осязаемость и бесплотность! Тут соловьиные трели мешаются с волнами сирени, испарина выступает на живых стволах деревьев, рубиновыми брызгами вспыхивает кисловатая кровь созревших вишен, а огромный ствол липы кажется мачтой священного корабля.

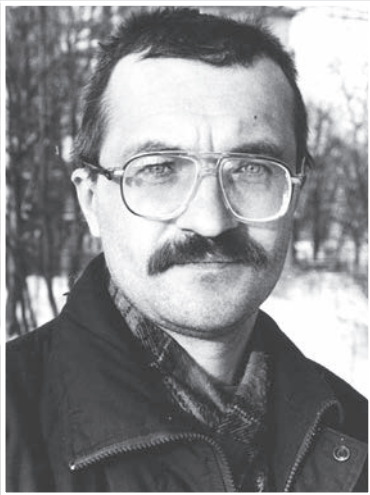
Таинственный уходящий мир деревни полон пленительных и неожиданных видений, «Где молодой туман, как мельник, С дырчатым тащится мешком», где «пахнет пашней и цветами, Ржаной пылью из-под стрехи»...

Евгений Юшин родился в подмосковном городке с милым названием Озёры, детство и юность провёл на коломенских и рязанских просторах, в деревне Лужки возле былинной речки Вожи, помнящей битвы времён Дмитрия Донского. Отсюда — русская напевность, богатство образов, искусная отделка стиха — словно резное кружево старинных наличников. Неутихающая ностальгия влечёт его из столицы в родной сельский мир — вселенную, в которой он обитает с весны до осени. И потому, когда читаешь его стихи, родниково-прозрачные, наполненные соловьиным эхом, не оставляет ощущение подлинности.

Эта внутренняя правда разительно отличает его от пьяно-слезливых стихов записных «патриотов», любящих с московского балкона кричать о любви к деревне.

Двигается, движется поэтический корабль — по волнам печали о Прошлом, сквозь туман, в котором пробивается робким отсветом надежда на будущее!

И вот ковчег мой понемногу
Плывёт, лучится... Скрип ворот...
Выходит стадо на дорогу
И млечной улицей бредёт.



Алексей Николаевич Курганов родился в 1958 году в Коломне. Окончил медицинский институт. Работал врачом, журналистом. Публиковался в журналах «Воин России», «Молодая гвардия», «Советская милиция». Лауреат многих литературных конкурсов. Постоянный автор «Коломенского альманаха». Живёт в Коломне.

В рассказах Алексея Курганова — обычные люди, со своими радостями и горестями. Озорной, иногда грубоватый юмор присущ его повествованию. Но вместе с тем Курганов — тонкий лирик, внимательный, вдумчивый писатель. Он может одним штрихом передать и беззаботные в чём-то устремления молодости, и наивные где-то, но такие житейски-мудрые мысли и поступки старшего поколения, у которого, кажется, всё уже позади... Но живут всё-таки старики, хотя нелегко им. А когда, в какие-то века было легко на нашей земле человеку совестливому, восприимчивому, страдающему за детей своих и внуков...

Рассказы

Алексей Курганов

ДВА РАССКАЗА

Все под Богом ходим...

Вернувшись с рынка, жена сказала мужу: — Сейчас Наталью видела. Сказала, отец совсем плохой.

— Какая Наталья? — не понял Андрей.

— Здравьте! Ахрипкина дочь! Хорош друг! (Это она уже про него, про Андрея.) Как человек здоровый был — друг без друга дня прожить не могли. А как заболел... А-а-а, да чего тебе говорить! — и махнула рукой. Дескать, тебе говори — не говори...

— Так бы и сказала... — пробурчал Андрей. Ахрипкин! Иваныч! И на самом деле, как же он мог забыть? Нехорошо! Действительно, друг называется...

— Ладно, завтра утром после смены зайду, — согласился он. — Может, купить ему чего?

— Конечно! — сказала жена. — Большой же человек! Наталья говорит: не встаёт.

— Чего купить-то?

— Ну, чего... — жена на мгновение задумалась. — Кефирчику какого-нибудь... Пряничков. Яблочек... Чего ещё-то?

— А он чего, — спросил Андрей подозрительно, — совсем, что ли, не поднимается?

— А я откуда знаю? Наверно. Наталья же сказала! Чего ей врать-то? Сказала: как на пенсию проводили, так и расхворался. Нет, вас, мужиков, на пенсию нельзя отправлять! — вдруг сделала она неожиданный вывод. — Вы, как лошади, без работы дохнете.

— Ага, — согласился Андрей. — Зато вы, как на пенсию выйдете — сразу скакать начинаете. И откуда только силы берутся! Примите наши поздравления.

— Не с чем пока. Мне ещё пять лет с хвостиком. Ну, ты меня понял? Проведаешь?

— Понял, — сказал Андрей. — Зайду.

— И смотри мне! — жена погрозила ему пальцем.

— Да ладно! — сказал Андрей в третий раз. — Чего я, дурак, что ли! Сказала же: кефиру, сушек...

— Каких сушек? — возмутилась жена. — Чем ты слушаешь? Сушек! Чем он их грызть-то будет? Пряничков, и какие помягше! Сушек... Ты ещё сахарей купи! Солдатских! Нет, прям, как ребёнок, честное слово... И за что тебя на работе хвалят? Ты собаку покормил?

— Покормил, — буркнул Андрей. — Она воду поела.

— Какую ещё воду?

— Обычную. Аш два о. Которую я ей вчера наливал. Или ты. Или я...

— И вот так — всю жизнь, — привычно вздохнула жена. — Ладно. Иди уж, горе ты моё персональное...

С Ахрипкиным, с Иванычем, Андрей был знаком лет тридцать, не меньше. Столько лет бок о бок отработали на «скорой», в одной бригаде! Мишка, хотя и фельдшер по образованию, а соображал лучше иного врача. Да оно и понятно: всю жизнь — здесь, да не на перевозке, а всегда то на кардиологии, то на реанимобиле. Поневоле научишься! Он, Андрей, был младше его на двадцать пять лет. В сыновья годился... После окончания института распределился сюда, на «скорую», и главврач, Евгений Васильевич, его сразу к Мишке определил. «Наш самый опытный фельдшер, — сказал главный с гордостью. — Если, Андрей Николаевич, чего не знаете, то без всякого стеснения у него спрашивайте. Во всех патологиях нашего профиля разбирается лучше любого профессора». И протянул ладонь: желаю успехов!

Тот, кто был «лучше профессора», Андрею Николаевичу Гололобову сначала не очень понравился. Хмурый какой-то. Длинный, похожий на глисту. Зубы крупные, жёлтые. Нос в характерных синих прожилках. Значит, выпить очень не любит... Ненавидит! Андрей и сам в трезвенники никогда не записывался и не собирался, поэтому невольно приободрился, почувствовав родственную душу...

— Ахрипкин, — недовольным голосом представился «профессор». — Михаил Иванович. А вас как?

— Гололобов. Андрей Николаевич.

— Пойдёмте, нашу «канарейку» покажу, — и первым шагнул с крыльца.

Реанимобиль, имевший цвет жизнерадостного детского поноса (из-за чего, собственно, и был прозван «канарейкой»), стоял в глубине двора, ближе к выездным воротам.

— Наше место здесь, — пояснил Михаил Иванович. — Чтобы никто выезд не перекрывал. Одно слово — реанимация, мать её...

— Много выездов?

— Когда как. На праздники больше. Перепьются, собаки, и кто на нож напорется, кто вешаться соберётся... Хватает... козлов... Спокойно им не пьётся! — и почему-то яростно сплюнул.

— Да... — сказал Андрей. Что он этим «да» хотел сказать, и сам не знал.

Да... Вот тебе и «да»! Но ведь нужно было что-то сказать!

— ...и других приключений тоже хватает, — продолжал Ахрипкин всё так же монотонно, как дьячок на паперти. — Вот позавчера одну... И ведь припёрло-то где! — внезапно озлобился он. — В Малом Кольчёве! Хрен подъедешь! И ночью! Михалыч — это шофёр наш, сейчас познакомишься, тоже тот ещё... — на дороге остановил, говорит: не проеду, сяду, идите пешком. И мы с Егорычем — это наш сменный врач — по чистому полю, почти с полкилометра! Идём, а я печёнкой чую: обязательно какая-нибудь подлянка будет! И точно: пришли, посмотрели — острый живот! Надо тащить — а в ней, кобыле, за сто кило! И мужиков, как на грех, ни одного, только бабы и мелкота. Господи, целый километр! (А только что сказал, что половина, заметил Андрей. Значит, ты, дядя, — из рыбачков! У тех тоже каждый пескарь — под два пуда весом!) И не посидишь, не перекуришь: она орёт, на носилках мечется. То ли аппендицит, то ли внематочная... Нет, и ведь живёт-то в микрорайоне, а как назло, попёрлась в это грёбаное Кольчёво! «Маму хотела навестить! Соскучилась!» Чтоб у этой мамы черти из всех её маминых дырок повылазили!

— А куда мужики-то подевались? — спросил Андрей.

— А ты спроси их! — опять разозлился Ахрипкин. — Разведённые все! Бабье царство! И мы, вдвоём с Егорычем, по целине эту корову — целых два километра!.. А я, между прочим, не Илья Муромец! Мне, между прочим, только летом грыжу прооперировали! Мне, может, больше трёх килограммов — категорически!

— А больше трёх литров? — как-то само собой вырвалось у Андрея.

Ахрипкин тут же прервал свой страстный монолог про стопудовую «кобылу» и изнурительную ходьбу за сто миллионов километров, повернулся, посмотрел на него внимательно-внимательно...

— Сработаемся, — буркнул не то чтобы обиженно, а как-то... иронично, что ли...

... вот так и познакомились.

Да, двадцать с «хвостиком», бок о бок... За такой-то срок полной ложкой нахлебались... И инфарктники, и инсультники, и висельники, и сторевшие, и замёрзшие... Один раз в Городищах даже на наркомана нарвались. И ведь, гад, как хитро вызвал! Позвонил: «Мама при смерти». Ну, Валька, дежурная, их на тот вызов и воткнула. Всё правильно, всё логично: если при смерти, значит, наша, реанимационная.

Приехали, в калитку зашли — на крыльце тут же бугаина нарисовался. И без слов понятно: ждал. Лоб маленький, глазки внимательные, бегающие. Очень нехорошие, в общем, глазки. Шея — три его, Андреевых.

— Где? — спросил Михаил Иванович вмиг насторожившимся голосом. Понял сразу: что-то здесь очень даже не то. Очень!

Бугай ничего не сказал, посторонился, показал рукой в глубь дома: биттедритте, херры эскулапы. Проходите-проходите, я вас чаем угощу. Может, даже с пышками. Если заработаете в поте своих эскулаповых лиц.

Они прошли длинным сумрачным коридором в дальнюю комнату. В комнате было пусто. Андрей непонимающе завертел головой: что за шутки? А Ахрипкин сразу всё понял, поэтому и вперился сумрачным взглядом в бугая, который встал сзади, в дверях, перекрывая им путь отхода.

— Чего лыбишься, чмо? — сказал бугай очень нехорошим тоном. — «Марфушку» доставай!

«Марфушка» — это морфий. Тут и Андрей всё понял. А чего толку от этого понимания? Куда денешься? Вон какая морда в дверях! Да у него, похоже, «ломка» начинается. Шаг влево, шаг вправо — передушит, как котят. Они, «ломанутые», отчёта в своих действиях себе не отдают, и силы у них от «ломки» немеряно. Им всё по хрену. Главное — ширнуться побыстрее, пока корёжить не начало.

Андрей полез в карман халата, вынул коробку с наркотиками.

— Ампулы покажь! — тут же потребовал бугай. Лицо его начало наливаться нехорошей синевой. «Чтоб тебя сейчас кондратий хватил, — мелькнула у Андрея в голове трусливая мысль. — Уж я бы тогда тебя подлечил! Пальцем о палец не ударил бы, скотина наркоманская!»

— Набирай! — приказал бугай Ахрипкину, безошибочно угадав в нём фельдшера. — На глюкозе. И смотри, сучара! Если химичить начнёшь — завалю!

— Да на хрен ты мне нужен с тобой в игрушки играть! — внезапно осмелел Михаил Иванович. — Мне своя жизнь дороже!

Он демонстративно, на глазах у бугая, отломил носик ампулы, набрал в пятикубовый шприц жидкость, потом туда же всосал из ампулы глюкозу.

— Всё? Убедился?

Бугай сопливо шмыгнул носом, вытянул вперёд руку. Ахрипкин наложил жгут, бугай поработал кулаком, накачал вену на локтевом разгибе. Фельдшер привычным движением воткнул иглу — и вдруг моментально, струёй, в нарушение всех медицинских правил, ввёл раствор. Бугай моментально резко побледнел, немо, как рыба, начал хватать ртом воздух, попытался подняться, но, конечно, не смог, только выдохнул разочарованно и многообещающе: «Ну, сука...» и безвольно откинулся головой на диванный валик.

— Пошли отсюда, — сказал Ахрипкин, убирая шприц и лекарства в служебный ящик. — А то ишь ты, нашёлся огурец, раскомандовался! Ничего, не сдохнешь!

И первым шагнул назад, в коридор.

— Чего ты ему?.. — спросил потрясённый увиденным Андрей.

— ..., — совершенно спокойно произнёс название Ахрипкин.

Это лекарство применялось для экстренного купирования гипертонических кризов, вводить его нужно было предельно медленно, буквально по каплям, под постоянным контролем артериального давления, чтобы, не дай бог, не передозировать. Теперь Андрею стало понятно, почему бугай моментально стал белым, как полотно: Ахрипкин вколотил ему дозу струёй, сбросил давление до нулей. Тут не то что рукой-ногой — ни одной мозговой извилиной пошевелить не сможешь!

— Может, подождём? — трусливо предложил он. — Вдруг двинет?

— Да ничего ему, козлу, не делается, — отмахнулся Ахрипкин. — Я такую штуку уже не раз с наркошами проделывал. Лекарство меньше чем минуту распадается! Так что надо двигать отсюда быстрее, этот бугаина сейчас в себя приходиться начнёт.

— Зачем было рисковать? — пожал плечами Андрей. — Вколотили бы морфия, приехали на базу, объяснительную написали, что под угрозой...

— А не хрена выделяваться! — внезапно озлобился Михаил Иванович. — «Мама при смерти!» Это хорошо, что у нас в это время других вызовов не было. А если бы где кто на самом деле кони двигал, а мы тут этого козла ублажали? Шас приедем, я этой Вале придурочной устройю козью морду! — вдруг обрушился он на дежурную. — Она какого... — и произнёс очень неприятное матерное слово, ...этих звонящих как следует не расспрашивает? «Мама при смерти!» Да хоть папа!

— Она-то откуда могла знать...

— Пожалей, пожалей! Вон какую ж... разъела и сидит в своей будке, как корова! И всё ей по хрену: наркоманы — не наркоманы, бандюганы — не бандюганы! Нас, может, резать на вызове будут, а она: «Езжайте быстрее, чего чешетесь!» Дура! В следующий раз ножик в брюхо получишь — враз отжалеешься! Вон, Парамошкин получил — хорошо жив остался!

(Врач со смешной фамилией Парамошкин в прошлом месяце был на вызове на пьяной разборке. Поторопился, высунулся вперёд милиционера — а ему тесак в бок! Отсюда вывод: нечего высовываться, нечего геройствовать! Пусть вперёд милиционеры лезут! У них автоматы с железными пулями!) — Вот когда Ванька на телефоне сидел — всё нормально было! — продолжил Ахрипкин, успокаиваясь. — Инсульт так инсульт, кома так кома — всё прямо по полочкам раскладывал! И кой чёрт его пошутить дёрнул?

— С начальством?

— С вызовом! Позвонили, спрашивают: «Это скорая?» А он сдуру и брякнул: «Нет, это неторопливая!» Ну, конец смены, устал человек, захотел разрядиться! А те обиделись, главному звякнули. Васильич канителиться не стал, моментально поторопился!

Андрей больше говорить не стал: всё понятно. Постстрессовая ситуация — хоть на кого-нибудь надо пар выпустить, адреналин сбросить. Валька для этого — самый подходящий объект. Хотя сиделка у неё действительно на загляденье! Мечта, а не корма! И как люди с таких скромных зарплат такие произведения искусства отбедают? Здесь Иваныч был прав...

На следующий день после ночной смены Андрей зашёл в продовольственный, купил большой цветастый пакет импортного кефира, пакет «пряничиков», килограмм яблок, задумчиво взглянув на винный отдел, досадливо поморщился, вздохнул и решительно шагнул на выход. Ахриповский дом был в двух шагах, только дорогу перейти.

Дверь открыла Наталья. Увидев Гололобова, конечно же, покраснела и смутилась. Конечно же, потому, что она с самого их знакомства вдолбила себе в голову дурацкую мысль, что он, Андрей, — отцов начальник, поэтому и относиться к нему надо соответственно. Андрей тысячу раз ей говорил, чтобы выкинула эту дурь из головы, что он — просто старший их бригады, да и бригада-то — он, Иваныч да Антон Михалыч, шофёр. Так это только по службе, а здесь он никакой не начальник, а просто... (он тогда чуть было не ляпнул — «собутельник», но вовремя придержал язык) коллеги, товарищи по работе. И нечего перед ним разные танцы с приседаниями устраивать! Наталья в ответ согласно кивала: да, Андрей Николаевич, я всё поняла, извините, больше не буду (чуть ли не «честное пионерское»), но по глазам было видно, что ничего она не понимала и не хотела понимать и по-прежнему будет считать его отцовым начальником.

— Привет! — сказал Андрей. — Тыщу лет у вас не был. Где?

— Здравствуйте, Андрей Николаевич! — чуть не в пояс поклонилась ему Наталья. (Тьфу, зла не хватает! Она бы ещё ботинки ему кинулась снимать! А чего? С неё станется!) — Проходите, пожалуйста! В маленькой комнате. Ой, да зачем вы тратились! — закудахтала она так, что у Андрея заломило зубы. — У нас всё есть!

— Рад за вас! — рывкнул Андрей. — Не мельтеши. Значит, сюда проходить-то?

— Сюда, сюда... Вы поосторожнее, Андрей Николаевич: у нас здесь приступочек...

Физиономия у «умирающего» была совсем не умирающей. Даже наоборот: заметно округлилась в щеках, что наглядно свидетельствовало: плохим аппетитом «покойник» совершенно не страдает. Нет, с такими арбузами просто так не умирают! Если только от ожирения!

— Здоров, болезный! — фальшиво-бодро сказал Андрей, присаживаясь на стул. — Вот, навестить пришёл. Да, видуха у тебя... — он сочувствующе покачал головой и снова посмотрел на щёки. — Краше в гроб кладут!

— Здорово, — отозвался Ахрипкин жалостливым и в то же время каким-то недовольным голосом. После чего оглянулся на дверь и понизил голос:

— Принёс?

— Чего?

— Того!

— Откуда я знал-то! — Андрей от такой «умирающей» бесцеремонности даже растерялся. — Наташка же сказала, что ты чуть ли не к белым лебедям собираешься!

— Значит, не принёс, — моментально обидевшись, поджал губы Ахрипкин. — Спасибо.

— Да не знал я! — прижал руки к груди Андрей. — И даже не думал! Это ты Наталье своей скажи! Она вчера на рынке моей в уши надула, что тебя чуть ли не тащить уже пора.

— Куда? — подозрительно сузил глаза Ахрипкин.

— Туда! Куда вперёд пятками таскают!

— Да... — и болезный недовольно пожевал губами. — Не языки — помело. И ты тоже хорош. Сказали же русским языком: человек помирает — нет, всё равно прёсся без бутылки! Никакого напоследок сочувствия! И ещё шмели эти, твари, разлетались!

Он неожиданно резво для умирающего состояния выхватил из-за изголовья какое-то пёстрое полотенце и саданул им по оконному стеклу. Здоровенный жёлто-коричневый шмель от такой стремительной атаки моментально прекратил своё монотонное, похожее на гул тяжёлого бомбардировщика гудение, призадумался о коварстве бытия, упал на подоконник вниз спиной, пошевелил лапками и перестал дышать.

— Отступелся! — с довольным злорадством констатировал безжалостный убийца и вернул полотенце на место. — А то с самого утра и гудит, и гудит! Никакого, прям, отдыха! Да ты ещё бутылку не принёс! Ну, вот разве можно умирающему человеку выжить в таких скотских условиях?

— Ну, правильно, я виноват! — Андрей чуть не задохнулся от возмущения. — А нечего покойником прикидываться! Вон, щёки-то! За неделю не обцелуешь!

— А сам только что сказал: краше в гроб кладут, — язвительно напомнил «умирающий». (Нет, это не умирающий, нет! Он ещё каждое слово помнит! Он ещё всё понимает и всё-ё-ё соображает!)

— Закрыли тему! — решительно сказал Андрей. — Успеешь, належишься ещё! Чего у тебя случилось-то?

— Да ничего, — спокойно сказал Ахрипкин. — Хочу и лежу. Имею полное конституционное право.

— Как? — опешил Андрей. — Я не понял! Чем болеешь-то?

— Да сказал же: ничем, — ответил тот всё так же спокойно. — Нормально всё.

— А... А лежишь чего?

— «Лежишь»... — передразнил его Ахрипкин. — А мне чего, стоять надо? Или плясать перед тобой?

— Не, ну... — Андрей окончательно растерялся. — Ты чего? Так и лежишь? Давно?

— Да уже месяца три. Да, три! С Покрова.

— И совсем не встаёшь?

— А зачем?

— Как это зачем? А на толчок?

— Ну это раз на раз... Когда хочу — встану. А когда неохота — Наташка или Людка мне судно принесут. Или утку.

— Не, ты погоди... — заклонило у Андрея. — Я так и не понял. Чего у тебя болит-то? Какая болезнь?

— Вот пристал... — и Ахрипкин досадливо поморщился. — Ничего у меня не болит! Ничего! Абсолютно!

— А чего тогда лежишь?

— Снова здорово... Я же тебе только что объяснил!

— Ты мне ничего не объяснил! Это не объяснение!

— А мне чихать, объяснение или нет, — сказал Ахрипкин и демонстративно повернул голову к стене. Обиделся! Прямо девица нецелованная!

— Руки-ноги-то у тебя шевелятся? — не отставал Андрей.

— А на чём же я на толчок-то хожу? — послышалось язвительное. — На ушах, что ли?

Они опять замолчали. Андрей с опаской покосился на Иваныча. Смутные и очень нехорошие мысли зашевелились у него в голове.

— Миш... Иваныч... может, к тебе Сашку привезти? Кондрашкина, а?

— И к себе не забудь! — последовал тут же решительный ответ. (Кондрашкин был старшим в психиатрической бригаде.) — А то, ишь ты, навестить пришёл! Какой нормальный! Был бы нормальный — про бутылку бы не забыл! Ещё друг называется! Я когда тебя в «интенсивке» навещал — я хоть раз пустым приходил? Не, ты скажи — приходил?

Андрею стало стыдно. Пять лет назад он угодил с инфарктом в отделение интенсивной терапии. Сутки не приходил в сознание, капельницы ставили по десять штук на день. Ничего, выкарабкался. Иваныч действительно приходил тогда к нему не один раз. И каждый раз — с плоской фляжкой. Андрей сначала пробовал было брыкаться: ты чего, сдурел, старый чёрт? Мне нельзя категорически! «Я лучше знаю, чего тебе можно, а чего нельзя, — безапелляционно заявил тогда Ахрипкин и сунул под нос за неимением стакана знакомо запахшую мензурку. — И сразу! Одним глотком!»

И действительно странно: такое грубейшее нарушение больничного режима оказало на него, Андрея, прямо-таки ошеломляюще выздоровительное действие. Уже через неделю он спокойно ходил по больничному коридору и даже поднимался пешком по междуэтажной лестнице, чем однажды привёл свою лечащую врачиху Марию Антоновну в такой ужас, что её саму в пору было госпитализировать всё в ту же «интенсивку».

— Так не узнает никто про Сашку-то, — понизив голос, продолжил Андрей о своём, о девичьем. — Я Вальке скажу, она вызов напишет, как на плохо с сердцем.

— Я тебе непонятно сказал? — уже не на шутку взъярился Ахрипкин. — Ещё повторить?

Андрей хотел было обидеться, но... Чего обижаться? На обиженных воду возят. Да и ему-то, собственно, какое дело? Хочешь лежать — лежи! Тоже мне... принцесса на горошине...

— Ладно, — сказал Ахрипкин примирительно. — Раз уж пришёл — сиди. (Ишь ты, разрешил, болезный! Спасибо большое, дяденька! Дай вам Бог здоровычка! Ещё пряников ему принёс... Надо было, действительно, солдатских сухарей! И не пакет — мешок!)

— Наташ! — крикнул «страдалец». — Чаю, что ли, поставь! Чего так-то сидеть, на сухую-то?

— Сейчас поставлю, — раздался за спиной Андрея тихий приятный голос. — Здравствуйте, Андрей Николаевич!

— Здравствуйте, Людмила Михална, — сказал Андрей, оборачиваясь к приятного вида аккуратенькой старушке, жене Ахрипкина. — Как здоровычко? Как настроеньице?

Он нарочно утрировал эти слова, потому что знал: Людмила говорит именно так, с ласкательными суффиксами. Она была старше Ахрипкина почти на десять лет и, может быть, поэтому любила своего «Мишаньку» беззаветно, осторожно и до робости благоговейно.

— Андрей Николаич, хоть бы вы чего посоветовали. Ведь лежит и лежит. Я уж к нему и так, и сяк: Миш, вставай! Скоро огурцы надо сажать! Уборная уже полная, говновозку надо вызывать! А он, богохульник... — и замолчала стыдливо. Андрей понятливо кивнул: можете не продолжать. Понятно и без слов: послал. Грубиян и матерщинник. А ещё помирать собрался! Хоть бы напоследок совесть поимел!

— Вообще-то есть сейчас в аптеках одно лекарство... — задумчиво ответил Андрей. — И не какая-нибудь химия, а натуральный продукт! Он и не таких... — и он запнулся, подбирая в уме подходящее для Ахрипкина определение, но так и не нашёл, — на ноги поднимает. Некоторых до того поднимает, что они потом даже успокоиться никак не могут!

— Это как же называется? — тут же оживлённо блеснули у Людмилы глаза.

— Боярышник! — громко и чётко произнёс Андрей. — Настойка. Хорошая штука! — он даже крякнул довольно, вспомнив, как ещё в студенческие годы «освежался» этой настойкой, которая тогда стоила буквально копейки, а по «убойности» ничуть не уступала хорошей водке (впрочем, она в те времена вся была хорошая. «Палёнку» тогда не продавали. Тогда много чего не продавали...).

— Враз взбодрит!

— Шас, запишу, — засуетилась доверчивая старушка. — Значит, боярышник. Правильно?

— Абсалутна! — подтвердил Андрей и многозначительно посмотрел на подозрительно притихшего «почти покойника»: понял, на что я иду, чтобы тебя, старого обормота, уважить?

«Умиравший» чуть заметно кивнул: всё понял, всё заценил. Настоящий друг! И ведь надо же, как сообразил? Вот что значит высшее образование!

— Это чего же — капли? — продолжала допытываться Людмила.

— Ага, — согласился Андрей охотно. — Давать по чайной ложке на ночь. С кровати послышалось возмущённое покряхтывание: а я подумал, что ты действительно друг! И чему вас только в институтах учат!

— И сколько ж взять-то? — последовал очередной каверзный вопрос.

— На полный курс, — не моргнув глазом, ответил Андрей — упаковку. Коечное кряхтение перешло в одобрителное сморкание: Извини, погорячился. Друг! Настоящий! Оказывается, институты наши не только дураков выпускают!

— Ты понял, отец? — повернулась Людмила к мужу. — Будешь лечиться?

— Ну, если надо... — соорив кислую физиономию, ответил «страдалец». (Ну, артист! «Если надо!» Он сегодня же и приступит! Немедля! Ещё покажет вам небо в алмазах! Лишь бы песни не пел! Он, когда сожрёт серебро, очень уважает «Когда весна придёт, не знаю...» исполнить. Андрей сколько раз сам при исполнении присутствовал и ужасно наслаждался!)

— Залечите вы меня всего... — продолжил тот художественное кривляние. — Помру до сроку! — и для усиления похоронного эффекта даже сопли этак жалостливо по ноздрям погонял. Дескать, эх вы, эскулапы задрипанные! Нет на вас креста! Гробите человека!

— Только ты, Людмилушка, мне все эти пузырьки сюда вот, на тумбочку, поставь, — продолжил он всё тем же похоронным голосом. — А то вдруг посередь ночи мне подлечиться захочется, так чего вас зря будить? Сам и налью... То есть, накапаю.

— Да ничего, Миш, я встану... — попробовала она возразить, но возражение было тут же в корне пресечено.

— Я сказал: сюда поставить! — рявкнул умирающий. — Не маленький! И ребят тоже будить нечего! Ночью надо спать. Всем и навсегда!

— Хорошо, хорошо! Ты только не волнуйся... Тебе ведь вредно волноваться-то...

— И иди быстрее! (А как же? Жаба-то горит!) А то ещё разберут! Народ-то, сама знаешь, какой! Им лечиться — слаще мёда!

— А может, ещё таблеток каких купить? — спросила Людмила Андрея. Он открыл было рот, собираясь ответить, что надо бы от запоров, но «умирающий» и здесь его опередил.

— Не надо! Деньги экономь! Мне и боярышника хватит!

— Сколько там, в упаковке? — спросил он, когда Людмила вышла наконец из комнаты и пошла собираться в аптеку.

— Десять. По сто грамм.

— Это я знаю, что по сто... А градусы? Прежние?

— Семьдесят, как обычно...

Ахрипкин закатил глаза, беззвучно зашевелил губами.

— Нормально, — сказал он довольно. — Если по паре пузырьков — почти на неделю хватит.

— Ага, — иронично хмыкнул Андрей. — На неделю.

— Да я экономить буду! — горячо возразил артист-прохиндей.

— Ты? Неужели? — засмеялся Андрей и поднялся со стула.

— Ладно, пошёл я. Лечись на здоровье.

— Ты эта... — сказал Ахрипкин неожиданно торопливо. — Ты, Николаич, приходи. Даже и без бутылки. Чего нам, и поговорить, что ли, не о чем?

А ведь он действительно скоро помрёт, вдруг понял Андрей. Я вижу — скоро. Срок подошёл. Пенсия. Он без работы — как лошадь без телеги. Нет, чудны дела твои, Господи! Ладно бы эта самая работа была в тепле, спокойствии и мухи не кусали! А то ведь кусают, и ещё как! То на жаре, то на холоде, под ветром и дождём, а порой в такие шалманы приходится забираться, что и не знаешь — выйдешь оттуда живым-здоровым или вынесут уже совершенно неживым и, конечно, совсем нездоровым. И сколько раз думаешь: не, хватит! Схожу в отпуск — и всё, на участок! Три часа — на приёме, три — по вызовам, в нормальные семьи, по нормальным, чистеньким старичкам и старушкам! Красотища! Ага, щас! Уже в отпуске мытиться начинаешь: когда же он кончится? И вот кончился — и ты с какой-то изголодавшейся жадностью, с каким-то мазохистским удовольствием прягаешься в эту «скоропомощную» каторгу, чтобы через месяц-другой опять начать ныть: и за каким я вернулся? На участок надо было, на участок! Уютный тёплый кабинет, старички, старушки, рецепты, больничные... И так всю жизнь... И Ирка, конечно, права: пока этот воз тащишь — хоть со скрипом, а живёшь. А как вынули из обоймы, распрягли и хомут сняли — всё. Лежи теперь и дожидайся.

— Приду, — сглотнул он противный, подступивший к самому горлу ком. — Приду. Ты, главное, не сомневайся. Чего мне не прийти? Обязательно. Слышишь, Иваныч?

Странно как-то поговорили, думал Андрей, идя домой. Он ведь о станции ни разу не спросил. Неужели неинтересно? Почему? Ведь, считай, всю жизнь на ней отработал — а здесь, как отрезало. Или не спрашивал потому, что расстраиваться не хотел? А, может, действительно уже на всё наплевать?

— Сегодня опять Наталью на рынке видела, — сказала жена. — Чего ты там этому притворщику насоветовал?

— Женская логика, — хмыкнул Андрей. — То помирает, то притворяется. Вы бы уж к какому-нибудь одному концу.

— Да всё ты прекрасно понимаешь! — усмехнулась жена. — Наталья сказала: ночью проснулась — кто-то поёт. Ну, понятно кто... Поднялась, зашла к нему в комнату — и картина маслом: папаша в люлю, и по всей кровати пузырьки валяются.

— Наркоман, — понятиливо кивнул Андрей. — Страшное дело.

— Не паясничай, — построжала жена. — Ты же сам сказал Людмиле, чтобы она ему настойку купила.

— Мало ли чего я сказал... Мало ли чего я вообще говорю... Ты собаку покормила?

— Понятно, — кивнула жена. — Мужики — вы и есть мужики. Помирать соберётесь — всё одно к рюмке тянуться будете.

— Пойду покормлю, — нахмурился Андрей. — А то чего она всё на воде да на воде... Обнаглели совсем... Завели животное...

Ахрипкин умер тихим солнечным днём через месяц после их встречи. Умер тихо, никого не беспокоя. Когда выносили, Андрей посмотрел на его лицо. Щёки-арбузы заметно спали, а на лице так и застыла чуть заметная ироничная улыбка... Дескать, не переживай, Андрюха, все под Богом ходим. Когда-никогда, а одно — встретимся. Жалко только, что ТАМ боярышника не будет. Изумительный напиток! И главное, без всяких химических добавлений...

Эпидемия

Старик Федотов зашёл в сарай, отворил дверь в хлев и, болезненно морщась, сел на скамейку.

— Иди сюда! — строгим голосом приказал поросёнку. Фунтик, легкомысленно похрюкивая, подбежал к Федотову и, растопырив уши, уткнулся хозяину в колени. Поросёнку очень нравилось, когда старик чесал ему между ушей.

— Щас, разлетелся! — остудил этот его игривый порыв Федотов. — Чеси ему... Эпидемия, понял? Свиной грипп! Ну-ка, покажи язык!

В ответ Фунтик ещё раз хрюкнул и игриво завилял хвостиком.

— Побалуй, побалуй! — прикрикнул старик и сунул ему под пяточок костлявый кулак. — Смотри у меня, тока чихни! Вон оно, лекарство-то! — и кивнул на притолоку, где лежал широкий немецкий штык. Федотов ещё во время своего босоногого детства, которое пришлось на первые послевоенные годы, притащил его с Вторчермета, и с тех пор штык исправно служил их федотовскому семейству всеми своими фашистскими верой и правдой.

— Враз вылечу! Понял?

Фунтик в ответ расплылся в весёлой беззаботной улыбке.

— Дурак какой... — сурово сказал Федотов.

Он затворил хлев, вышел в сад. Утро только-только начиналось, лишь мелко дрожало сиреневым цветом на востоке рассветное туманное море. Было благостно тихо, спокойно и умиротворённо. Хотелось просто стоять и молча пить эту благодатную молочную тишину, которая через час-полтора затопчется шумом машин, перестуком трамваев, тревожными гудками электровозов и гулом идущей на завод рабочей смены. Федотов постоял, довольно пощурив выцветшие глаза, потом, кряхтя и привычно морщась, наклонился, набрал в карманы яблок и вернулся в сарай.

— На, — сказал Фунтику. — Витамины.

Тот озорно чихнул и потянулся к яблокам.

— Ладно, живи пока, — великодушно разрешил старик. — Им там делать нехрена, вот и выдумывают всякую хрень, чтобы было всё по хрену (что за «нехрена», что за «хрень», где это «там» и кто выдумыва-

ет — дед конкретизировать не стал. Это называлось «великий и могучий русский язык!» Ни одно ЦРУ эти «хрени» никогда не расшифрует).

Вообще, Федотов ко всяким хворям относился двойственно. Внешне, на людях — пренебрежительно и даже иронично, отпуская ехидные замечания по поводу медицинских возможностей вообще и способностей их здешнего здравоохранения в частности.

— На Марс опять лететь собираетесь, а простой радикулит лечить не умеете, — регулярно выговаривал он участковой врачихе Марии Игнатьевне. У врачихи было трое детей и Колька, муж-алкоголик, так что дел у неё и на земле хватало, только поворачивайся. Но в споры со стариком она не вступала, потому что это был абсолютно дохлый номер — доказывать ему, что лично она, Мария Игнатьевна, никуда лететь совершенно не собирается. Это гораздо легче было признать: да, вот такая я, Валя Терешкова! Вот через полчаса закончу приём, халат сниму, руки вымою — и пулей на Байконур! И ты, старый пень Федотов, не сомневайся: и на Марсе будут и яблоки цвести, и грипп свиной обязательно туда завезём! Чтобы всё было, как у нормальных, здоровых, совершенно земных людей!

Федотов, словно читая эти её мысли, заметно тушевался, замолкал и, сделав безмятежный вид, совал ей в халатный карман полсотни. Мария Игнатьевна тоже в свою очередь изображала полную отстранённость и вроде бы даже в упор не замечала этих денежных сований. Это была у них такая уже давняя традиционная игра, некий спектакль двух никого не волнующих актёров. Впрочем, бывали ситуации, когда не заметить банкноты было никак невозможно. Тогда врачиха начинала краснеть и вяло сопротивляться, хотя никаких решительных попыток физического сопротивления этому денежному сованию не предпринимала. Это несопротивляемое сопротивление тоже было обязательным условием всё того же заунывного спектакля.

— Ничего, ничего, — тоже смущаясь, говорил Федотов. — Это ребятишкам на молочишко. Младший-то в каком? А, только в первый пошёл! Ну и ладно, не торопись. Ещё находится, ещё надоест школа-то эта! Ты пришли его за яблоками! Пропадают ведь!

— Пришлю, — обещала Мария Игнатьевна. — Спасибо, Иван Тимофеевич!

— Да ладно тебе, — досадливо отмахивался Федотов (дескать, тоже нашла о чём благодарить!). — Колька-то как?

— Нормально! — преувеличенно бодрым голосом врала врачиха. — Работает!

— А с этим делом? — и старик бесцеремонно тыкал себя пальцем в карман.

— Не-не, что вы! — продолжала свою привычную завиральню врачиха. — Он же хороший. Только слабохарактерный. И ребят не обижает никогда.

— Значит, никак не угомонится, — понимающе кивал Федотов и сурово поджимал губы. Кольку, её мужа, цемзаводского инженера, он знал с самого его детства. Тот вырос на их улице и в пацаньячем возрасте регулярно лазил в дедов сад за яблоками и грушами.

— Ничего, — успокаивал он собеседницу. — Вот подлечишь меня, я его успокою. А то, понимаешь, взял моду — хлебать! Я ему, паршивцу, устрою козью морду! Накормлю яблоками и грушами!

Так вот, если на людях дед храбрился-духарился, этак молодецвато-залихватски над медициной насмехался, то, оставаясь наедине с самим собой, вынужден был признаваться — всё-таки скучное это дело: пожилые годы... Возраст, как ни хорохорься, не самая приятная на этом свете штука, и каждую болячку с каждым прожитым годом поневоле расцениваешь как этакий предварительный звонок о т т у д а. Дескать, ты, старый пенёк Федотов, не особенно-то на земле нашей грешной расслабляйся. Тебе уже, если забыл, семьдесят второй пошёл, и ты, вредный старикашка, можно сказать, вышел на свою последнюю финишную прямую. Так что не суесться, а на всякий пожарный собери-ка чистое исподнее и держи его в полной боевой готовности. И в баню сходи, помойся как следует, не торопясь и с последним удовольствием. Можешь и пивком надуться напоследок, а то на небесах пивнушек не предусмотрено, никто тебе, старый хрыч, пива там не нальёт и фуфырик не поднесёт, так что даже и не надейся.

И вот, пожалуй, к старым привычным напастям — новый геморрой: свиной грипп. Федотов, конечно же, поинтересовался у Марии Игнатьевны: а как он для людей-то? Безвредный или на всякий случай сходить в соответствующий магазин, купить тапочки с картонными подмётками?

— Стопроцентных данных нет, — призналась врачиха. — Но остерегаться, конечно, нужно. (Понятно. Значит, тапочки на всякий случай надо приготовить.) Как говорится, бережёного Бог бережёт.

— Понятно, — буркнул Федотов. — Вот такая, выходит, сегодня современная медицина. И никакого тебе научного атеизма.

Возвращаясь из поликлиники, он зашёл в магазин, привычно покряхтел, но всё-таки купил бутылку. Дома, выпив, закусив и привычно огорчившись новостям по телевизору (Ползёт, зараза, ползёт, свиноуха гриппозная! Уже и Гондурас захватила! Это, считай, что под боком!), зашёл к Фунтику.

— Ну, как ты? Не чихаешь? — и погрозил поросёнку. — Смотри, а то враз вылечу! Рука не дрогнет!

В ответ он услышал привычное хрюканье. Дескать, достал уже, старый пень, своей патологической кровожадностью. «Вылечу, вылечу!» Смотри, раньше сам в соответствующие тапки не переобуйся!

Вечером в пятницу к Федотову приехал сын Пашка со всем своим благородным семейством. Пашка жил в соседнем районе, работал наладчиком на авиационном заводе, зарабатывал вполне нормально, да и вообще всё у него было «хоккей», всё полной чашей: красавица-жена Людмила, трое балбесов-сыночек, трёхкомнатная в центре, машина, дачка с погребом. Всё по уму, всё по делу, потому что и сам Пашка — умный да хваткий. Дурак и растерёха такого добра ни в жизнь не наживёт.

Сначала по приезде всё было, как положено: подарки, ахи-охи, слёзы-сопли-слюни, обнимания-целования, бодрые удивления «а дед-то у нас, оказывается, ещё молодцом!». Федотов в ответ привычно жаловался на радикулит, обещал, как и положено в подобных торжественных случаях, вскоре непременно помереть, его тут же всем гамузом кидались успокаивать, говорили «это ты брось!» и лицемерно утешали, что «все там будем». Когда через час эта бодяга всем уже порядочно надоела, сели за стол. Выпивали, закусывали, загадали завтра обязательно схо-

дить к матери на могилку и постепенно перешли к насущным мировым проблемам.

— У вас на заводе чего про этот самый свиной грипп говорят? — спросил Федотов.

Пашка дожевал кусок селёдки и сытно-пьяно икнул.

— Да чего... Это всё американцы воду мутят. Лекарств понаделали целые склады, а девать их некуда. Срок годности подходит, надо срочно пристраивать — вот и придумали этот самый свиной грипп. Так что, дед, не сомневайся — Унион Стейтс оф Амэрика! Это ихние гадские происки!

— Как всегда, — согласно кивнул Федотов. — Я вот чего думаю: может, заколоть поросёнка-то? На всякий случай. Пока здоровый. А, Пашк?

— Давай заколем, — легко согласился сын и опять икнул. — Хотя прямо завтра с утра. Я уже давно говорил: зачем он тебе нужен? Сам свинину не ешь, мы можем и на рынке купить — тебе с твоим радикулитом лишняя забота. Нет, я понимаю: привык к живности. Святое дело! Так давай я тебе пяток кур куплю. Несушек с петухом! Всё мороки меньше, и яйца каждый день. А этого... гриппозного... выкармливать надо, да и заколешь — куда девать? Тушёнку варить, сало солить? А потом всё это добро в погреб таскать с твоей-то спиной? Морока одна!

Федотов задумчиво пожевал губами.

— Может, и на самом деле... — сказал нерешительно и, поколебавшись, всё-таки махнул рукой. — А, ладно! Давай с утра! Хотя пуда четыре, а всё наши будут. Всё не покупать!

Пашка с семейством уехал в воскресенье, запоздно после обеда, ближе к вечеру. Федотов долго стоял на дороге и так долго и усердно махал рукой, что прохожие начали на него подозрительно коситься: чего это он? Кому машет? Не «поехал» ли по причине преклонного возраста и стариковского одиночества?

Вернувшись домой, он передел выходную рубашку, влез в старые вонючие валенки и привычно потопал в сарай.

— Укатили, — сообщил Фунтику. — Теперь только на октябрьские приедут, на революцию. На-ка вот тебе конфетку... балбес.

Фунтик игриво хрюкнул и ловко слизнул сладкий шоколадный продукт с дедовой ладони тёплым щекотным языком. «Чего ж сына-то не послушал? — спросил он Федотова блестящими любопытными глазами. — И денёк был что надо, и «лекарство» на притолоке, как всегда. Щас бы он меня уже в своей машине вёз. В полностью разобранном виде».

— А потому, что деловой он больно, этот твой Пашка! — сказал дед сердито. — «Давай заколем, давай заколем!» Ты сначала откорми, как следует, да не всем, чем попало, а по уму! Комбикормцем, свеколкой-морковкой, когда и хлеба покроши, не жадись! Чтоб сальце-то с жилочкой было, с прослоечкой, чтоб не жёсткое! А то ах-ох, давай, быстрее, покос скосили! На Марс лететь собираются, а поросёнка толком и довести до ума не умеют! Балбесы!

— Да какой им, дуракам, Марс? — согласно кивнул Фунтик. — Дома дел полно, а они — к своим неведомым планетам! Действительно, балбесы!

И в знак солидарности со стариком звонко чихнул.

Федотов тут же бросил на него подозрительный взгляд.

— Ты чего? Опять? — и в очередной раз продемонстрировал поросёнку свой жидкий кулачок. — Не особенно-то радвайся! Это я сегодня тебя пожалел! А если чихать будешь — враз вылечу! Понял?

— Понял, — кивнул Фунтик. — Заколебал ты уже своими постоянными угрозами. Лучше себя побереги. Чай, не мальчик. А я уж как-нибудь, без твоих лечений. Тоже мне, свиначий доктор выискался. Профессор кислых щей, товарищ Пилюлькин.

Он выбежал мимо старика во двор и с любопытством огляделся. Солнце уже начало валиться на запад, но жара держалась ещё душная, обеденная. Над смородиной и крыжовником лениво жужжали жирные навозные мухи, а одна, самая нахальная, села ему, Фунтику, прямо на пяточок. Он собрался звонко чихнуть, чтобы прогнать нахалку, но благоразумно испугался спровоцировать Федотова на необдуманно срочное лечение. Муха словно поняла его сомнения, поднялась в воздух и уселась прямо на лысину старика. Странно, но Федотов, обычно очень брезгливо относившийся к этим переносчикам инфекций, сейчас муху не прогонял, сидел неподвижно, в странно замершей позе. Фунтик фыркнул, помотал головой и побрёл полежать в тенёк под верстаком. Там было прохладно и спокойно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНГЕЛ АЛЬМАНАХА



Чудны дела Твои, Господи! Кто мог предполагать, что Вероника Ушакова окажется в Коломне? Однако неведомыми путями всё управилось как бы «само собой». Она окончила Бауманку и по распределению попала к нам на КБМ.

Но с юных лет под внешним покровом «физика» скрывался упрямый «лирик». Да и воздух Коломны сыграл свою роль. Хранимый под спудом литературный дар наконец затрепетал крылами и вырвался на простор. Имя талантливой журналистки Ушаковой скоро стало известно всему городу.

А когда появился на свет «Коломенский альманах», душа её захотела чего-то высшего... И не только все мы вдруг заметили, но и сама Вероника нечаянно поняла, как неразрывно и прочно «прикипела» к нашему ежегоднику, стала не просто сотрудником, а заместителем главного редактора.

Отныне все материалы издания проходят через её чуткие руки. И благодаря свойственному ей тонкому пониманию поэзии и прозы мы избегаем многих не только стилистических, но и (чего уж греха таить!) даже грамматических ошибок.

Дорогая Вероника! Сегодня от всего сердца поздравляем тебя с юбилеем и просим Бога, чтобы всегда за страницами альманаха чувствовался добрый и рачительный пригляд нашей верной хранительницы!

Коллектив редакции

ДА НЕ УГАСНЕТ СЛАВА!

Памятную доску Сергею Непобедимому установили на доме, в котором этот государственный человек прожил около 10 лет.

«Без оборонно-промышленного комплекса нет армии, а без армии нет страны» — это лозунг, под которым жил и творил великий конструктор управляемого ракетного вооружения **Сергей Непобедимый**. 30 июня 2014 года в память о нём на доме №15 по улице Дзержинского была открыта чёрная гранитная доска с надписью: **«В этом доме жил выдающийся конструктор отечественного оружия, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, почётный гражданин Коломны и Московской области».**

Право торжественно открыть памятную доску в честь человека-легенды было предоставлено главе города Коломны **Валерию Шувалову**, первому заместителю генерального директора ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» — управляющему директору и генеральному конструктору ОАО «НПК «КБМ» **Валерию Кашину**, заместителю генерального директора ОАО «Российская промышленная коллегия» **Геннадию Величко** и вдове С. Непобедимого **Татьяне Бикетовой**.

Справедливости ради надо сказать, что сотрудники КБМ никогда не забывали о Непобедимом. Помимо инициативы об открытии памятной доски, уже воплотившейся в жизнь, они задумали ещё несколько проектов. Так, в настоящее время на рассмотрении мэра Москвы **Сергея Собянина** находится ходатайство трудового коллектива КБМ об установлении памятной доски в доме на Котельнической набережной, где легендарный конструктор прожил последние двадцать пять лет своей жизни, а на рассмотрении Совета депутатов Коломны — о присвоении имени Сергея Павловича Непобедимого одной из улиц города.

КОЛОМЕНСКИЙ ХРАМ НА МОНЕТЕ

С 1 июля 2014 года в обращение выпущены памятные серебряные монеты серии «Памятники архитектуры России». В частности, на монетах номиналом 25 рублей изображён коломенский Старо-Голутвин монастырь.

ОПИСАНИЕ. Серебряная монета номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте 155,5 г, проба сплава 925, каталожный № 5115—0097) имеет форму круга диаметром 60,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения Старо-Голутвина монастыря в г. Коломне Московской области, справа внизу — флюгера в виде трубящего ангела, имеются надписи: вверху по окружности — «БОГОЯВЛЕНСКИЙ СТАРО-ГОЛУТВИН МОНАСТЫРЬ», внизу на матовой полосе — «КОЛОМНА» и в две строки — «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ». Боковая поверхность монеты рифлёная. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.



Поэзия





Графика Василины Королёвой



Евгений Юрьевич Юшин родился в 1955 году в городе Озёры. Детские и юношеские годы прошли в Подмоскowie, на Рязанищине и в Забайкалье. Окончил историко-филологический факультет Бурятского педагогического института в Улан-Удэ. Служил в армии. Работал на Коломенском домостроительном комбинате.

Член Союза писателей России.

Живёт в Москве. Генеральный директор журнала «Молодая гвардия». Автор более десяти поэтических книг. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии им. Александра Невского (2002), «Большой литературной премии России» (2008).

СОЛОВЬИНЫЙ РОДНИК

НОЧЛЕГ

Владимиру Крупину

Дом средь леса, бревно, поляна.
И луна, словно пень, торчит.
Лай собаки истошный, рваный.
Вышел дед на крыльцо, молчит.

— Приюти.
— Заходи, покуда.
А в руке у него ружьё.
— Опасаешься?
— Много люда.
Реже добрые, чем гнильё.

Покурили, попили чая.
Образа в заревом углу.
Ходит кот по избе, скучая.
Точит звонкий сверчок пилу.

Огляделся. Берёт зевота.
— Где положишь-то?
— У икон.

На повыцветших жёлтых фото
Над кроватью — она и он.

Улеглись. Из-под пола — сырость.
— Мне-то скоро, наверно, в гроб.
Но скажи, что с землёй случилось?
То — пожарища, то — потоп.

Что ответить? Молчу нескладно.
Точат ходики: тик да так.
— Не хотишь говорить, и ладно.
И твои дела не табак.

Светит полно луна в окошко,
Даже видно: на сундуке
Дремлет щупленькая гармошка,
Позабывшая о руке.

— А сумеешь сыграть?
— Пожалуй.
Поднимается и берёт.
Эти звуки сквозь сердце жалют,
Словно он свою душу трёт.

Отыграл. В темноте пошарил
И опять — на сундук её.
— То — потопа, а то — пожары.
Что же деецца, ё-моё!

Наступи — тишину раздавишь.
За диваном скребётся мышь.
— Вот и ты ничего не знаешь.
Утоптался. Поди-ко, спишь?

В белой майке сидит на лавке
В мироздание погружён.
Тени скользкие, как пиявки,
В листьях плавают у окон.

— А ведь что-то неладно в мире:
У земли развернулся крен...

Расплавается жёлтым жиром
Лунный свет от сосновых стен.

Тонконогий, как белый аист,
Он поднялся: — Пойду я спать.
Ничего-то и ты не знаешь,
Потому, что не хочешь знать.

...Вот и думаю о погоде.
За печуркой прилёт старик.
— Что в народе, то и в природе...
Только ходики: тик да тик.

НА РОДИНЕ

Как хорошо мне. Я ещё не понял,
Как хорошо мне здесь, в родном краю.
Здесь ветер волен, да и я тут волен,
И с облаков — небесных колоколен —
Слетает день на родину мою.

И жизнь — тепла. Друзья приедут в гости,
Обнимемся — баян на разворот.
Живых дождей серебряные гвозди
Оплавятся — и лужа у ворот.

Тут всё понятно: лисья ласка леса,
На курьих ножках бабкина изба.
Вдали от мёртвых выбросов прогресса
По-человечьи сложится судьба.

Здесь жить светло, хоть нелегко, конечно,
Сдружиться с сорняками у плетня.
Но звонко распевается скворечня
Под струны уходящего дождя.

* * *

Нам всё даровано с рожденья:
Родные люди, отчий дом,
Цветы лугов и звёзд круженье,
И взгляд родимый за окном,
Любовь, друзья и стылость буден,
Туман дорог, отец и мать,
И всё, что мы по жизни будем
С годами горестно терять.

* * *

Сыта водою Вожа по весне.
Я вновь вернулся в детские пределы.
Далёкое... Ты будто бы во сне,
Но ты сегодня плакало и пело.

Приятен мне овечий дух травы
В подтаявших копытцах у сарая.

Плывёт подсолнух в волнах синевы,
Коровий взгляд неспешный повторяя.

Вот дед на вилы взваливает дни,
Вот бабушка идёт ко мне из сада...
Я не забыл: под вёслами они —
Там, за селом, за тихою оградой.

Взгляни сюда! По этой вот тоске,
Которую дорогой называли,
Прошли они, как волны по реке,
Вселенской песней счастья и печали.

Я не забыл, как на коне скакал
Среди цветов, средь ворожбы шмелиной.
Мне пел о зорях росный краснотал!
Мне зори губы мазали малиной!

Я помню птичий щебет под стрехой.
Я кровью слышал в хоре песнопений
То бабу за согбенною сохой,
То мужика на пепелах сражений.

Хрипят ветра, хохочет пьяный лес,
Кипит река — проходят поколенья.
Разводят петухи гармонь небес —
«Ку-ка-ре-ку!» — скликаются селенья.

«Ку-ка-ре-ку!» И все мои века
С монгольским игом и французским пленом,
С немецкой отчеканкой сапога —
Горят в печи берёзовым поленом.

Я не забыл ни счастья, ни любви,
Ни луговых опять круговороты.
И потому, как мёд, созревший в сотах,
Храню весь мир, бушующий в крови.

* * *

О любви сказать ещё желаю,
О своей негаснущей любви
К снегом запорошенному краю,
К сёлам, почерневшим на крови.

К этой вот истоптанной дороге,
К трепету весеннему реки,
Потому что на земле не многим
Святят изб родные огоньки.

Всхлипывает лодка у причала,
Яблоня касается руки.
Мне ночная птица прокричала,
Что дороги к детству далеки:

Через дымку сумрачных вокзалов,
Через кровь успехов и потерь,
Через холод ложных пьедесталов —
Ко всему, что дорого теперь.

Этот путь, быть может, в жизнь длиною.
Но за весь сердечный непокой,
Может быть, едва глаза прикрою,
И увижу маму молодой.

БАБЬЕ ЛЕТО

Поспевает клюква на болоте.
На болоте клюквы — пруд пруди.
Добрые крестьянские заботы,
Словно крестик, грею на груди.

Будет морось, будет непогода.
Но присвистнет рябчик молодой,
И запросит отдыха природа,
И уронит листья над водой.

Поплывут румяно-золотые
Мимо пьяных щучьих омутов.
Ох, какие ливни молодые
Клокотали в пляске у дворов!

Притушу сырую сигарету,
На крыльце усядусь посмотреть,
Как в затон уходит Бабье лето,
А его и некому согреть.

* * *

Мне хорошо, когда осень за окнами
И листопад, листопад...
Листьями рыжими, листьями мокрыми
Стелятся роща и сад.

Падают звёзды за краем околицы,
Сыростью тянет с болот.
Сеет луна золотую бессонницу
Около наших ворот.

Падают яблоки влажные, спелые,
Падают так невпопад.
Дышат туманы густые и прелые
В светлую рощу и сад.

Лает собака за дальней оградой,
Птица ночная кричит.
Что тебя, сердце, невзгодит и радует?
Что так желанно горчит?

Будут дороги листвою припорошены,
Иней в лугах за окном.
Буду делиться со всеми прохожими
Золотом и серебром.

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Печальней осенних цветов только небо осеннее.
В лесах — сквозняки, и уже не найти высоты.
Тревожно летят над дорогами листья последние,
Скрипит моя лодка, и жмутся к туману кусты.

Уже рыбаки собираются к дому — на тёплое:
На потную рюмочку и на щемящие щи.
Небесная морось мошкой кружится над тополем.
И в печке трещат пересохшей берёзы хрящи.

Уныло вокруг. Что поделаешь? Так уж случается.
Пустынные дали оглянет угрюмо сосед.
Тягучее небо идёт и никак не кончается,
Раскисла дорога и тихо стекает в кювет.

Я завтра уеду... Но даже и хилою рощицей
Хотел бы идти с мужиками сырым октябрём,
Чтоб словом скупым, сигаретку цедя, перебраться
И лодку направить чёрнёным речным серебром.

ДВЕ СОБАКИ

Разбросало солнце маки
На озёрном серебре.
Жили-были две собаки
У соседа во дворе.

Резвцы и забияки —
У крыльца гоняли кур.

Словом, жили, как собаки,
Не дурнее прочих дур.

А сосед — больной и старый:
Гамаша да костыли.
Сели дети: тары-бары,
Да и в город увезли.

Ходят грустные собаки,
Ищут деда — нет его.
Хоть бока у них обмякли,
Вид пока что — ничего.

Но страшит их двор уныньем,
Дверь, забитая доской.
Зарастает сад полынью,
Как собачий взгляд тоской.

ИЮНЬ

Какой поэт тебя придумал?!
Каким ты вырвался огнём?!
Май полыхнул, пропел — и умер,
И скачут зори день за днём.

Срывает шапку одуванчик,
Дорога прячется в пыли,
И колокольчик в свой стаканчик
Мёд поднимает из земли.

И всё гудит: поля пшеницы,
И в жилах кровь, и дальний гром.
И шмель велюровый кружится
Над полыхающим цветком.

Ныряют на верёвке майки.
Кружи, июнь, меня, кружи!
По-женски вскрикивают чайки,
Стрижи черкают чертежи.

И, обомлев под небесами,
Склоняются на водопой
Коровы с волглыми глазами
И кони с бархатной губой.

Я здесь родился: в этих травах,
В счастливом щебете лесном,

В искристых волнах-переправах —
Лучом на листике резном.

Здесь вечерами свет старинный
Зари тягучей, словно мёд.
В мохнатой шубе комариной
Июнь по берегу идёт.

Его мы ждали с новостями
От земляничных бугорков.
С туманом, с полными горстями
Росы в ладонях лопухов.

И он пришёл! Ликуют птахи!
Густы и пенны острова,
И реки синие рубахи
С утра вдевают в рукава.

Пасут мальков Ока и Кама.
Хрустят кабаньи камыши.
О дорогой и близкой самой
Малинник шепчется в тиши.

И сладковато тлеет сено.
Я жду, любимая, когда
Твоих кудрей густая пена
Меня заманит в невода.

Заря кружится, словно кречет,
И на стожок туман прилёт.
И сердце бьётся и трепещет,
Как подфонарный мотылёк.

И ты горячая, родная,
У костерка, где сон и тишь,
Зарёй колени поливая,
Меня, конечно, соблазнишь.

И долго будет вечер жгучий
Ночною заметать золой
Певучий луг и сад кипучий
Под самоварною луной.

НА ДОНУ

Пахнет степь простором Дона,
Той травой из-под подков,

Что взошла на пепле дома,
На густой крови веков.

Грозы пушки заряжают,
Пыль за конницей гудит.
Бабы мальчиков рожают,
А за ними смерть глядит.

Пахнет степь костром кипучим,
Конским потом, чабрецом.
Только тучи, только тучи
Пролетают над лицом.

Любо, братцы, право, любо
Слышать ветер за спиной!
Горячи казачки губы —
Жарче пули огневой!

А когда зимой поутру
Вьюгой скошены пути,
Я нырну в густые кудри —
Степью пахнут — не уйти.

Словно стрелы печенега,
Словно сабли Ермака,
Травы рвутся из-под снега —
Прорывают облака.

НА РУССКОЙ ДОРОГЕ

Здесь русский дух в веках произошёл...
Н. Рубцов

Меня здесь знает каждый муравей,
И каждый куст, и каждая сорока.
Задумалась о прожитом дорога,
И солнце в лужах плещется по ней.

По ней — века — в туманах и крови,
И поступь уходящих поколений.
По ней струится столько сладкой лени,
Как в женщине, сомлевшей от любви!

В ней столько слёз прощальных —
 в дальний путь,
И в вечный путь — до ближнего погоста.
И потому она в крестах и звёздах,
Встречая нас, стоит в цветах по грудь.

Гудят шмели, где каторжник прошёл,
Где проскакало пламя Чингисхана,
Где под гармошку радостно и пьяно
Мужик в избу смолистую вошёл.

Снуют, как стрелы, юркие стрижи,
Болота дышат холодом и прелью,
Боровики сутулятся под елью.
Попробуй этот мир — перескажи?!

Здесь все века и каждого из нас
Хранит, как память, русская дорога.
А это поле и река у стога —
Немеркнувший, живой иконостас.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОСРЕДИНЕ РОССИИ



Евгений Юшин родился 60 лет назад в городе с удивительно поэтичным названием — Озёры... Слышишь это именование — и сразу же представляется простор полей, величавые леса, и меж ними — зеркала прозрачных вод — очи земли!

Когда-то озёрский и коломенский край был частью Рязанского княжества... Поэзия Поочья до сих пор чувствуется в нашем бытии. Не отсюда ли в стихах Юшина живёт есенинское дыхание, любовь к родному неброскому разнотравью, грусть об ушедшей деревне?

Коломне Юшин тоже очень близок, он жил и работал здесь, да и сейчас не теряет связь с городом: не раз публиковался в альманахе, а в серии «Коломенский книгочей» выпустил книгу

стихов.

Дорогой наш Евгений! Возраст мудрости придаёт строфам не только певучесть, но и глубину. И потому ждёт от тебя новых книг, новых напевов древняя земля между Московией и Рязанью. Земля посредине России!

Коллектив редакции



Валентин Суховский

Валентин Николаевич Суховский родился в 1949 году. Учился в Литературном институте, защитил диплом с отличием. Работал заведующим отделом публицистики журнала «Наш современник». Потом — в отделе культуры, литературы и искусства газеты «Гудок», обозревателем журнала «Встреча». Автор двенадцати поэтических книг. Более тридцати его стихотворений положено на музыку. В настоящее время работает редактором в издательстве «Советский писатель».

В стихах поэта — раздумья о русской душе, об устоях народной жизни. В них — тревога за судьбу России, за её будущее.

УСТОИ

* * *

Веками Русь жила своим умом
И крепко грады ставила по кручам.
Особой статью, песней, ремеслом
И верю красив и славен русич.

В былинах, сказках ли богатырей —
Заморским ядом только ведь и брали.
Не дай нам Бог слепых поводырей!
Да лишь бы мы незрячими не стали...

Вновь с Запада вдруг бесов нанесло:
Соблазном нас греховным подкосили.
Без праведника не стоит село!
И не подняться без него России!

ПОЛОВА

Вот ветер играет половиой —
Рассталось зерно с шелухой...
Никчёмное чуждое слово
Нередко носимо толпой.

Рябит мишура бестолково,
А души пусты у невежд.
Блеснёт оболочка половой,
А дунешь — ни чувств, ни надежд.

Сердцам не взнестись к высям горным,
Коль чувство святое — игра.
И души без почвы, бесспорно,
Мертвы для любви и добра.

Расстанемся с тленом и смрадом,
Как Русь очищалась века!
Очиститься обществу надо —
Как вешней порою река.

Где не было чистой основы,
Там — подлость, порок, суета...
Пора реставрировать совесть!
В устоях души — красота.

ДОРОГА ДОМОЙ

Дышат холодом тени,
И потёмки близки.
Огоньки деревенек
По холмам вдоль реки.

Над заснеженным краем
Вспышки звёзд в вышине.
Дремлет память живая,
Словно песня, во мне.

Много выпало стёжек
Да и стало судьбой,
Но из них всех дороже —
Мне дорога домой.

Вдруг нахлынут тревоги
Перед самым селом...
След саней на дороге —
Это крик о былом.

* * *

Пахнуло широким апрелем,
Журчаньем струистых ручьёв,
И тающим снегом, и прелью —
С раздолья любимых краёв!
Венцы золотятся у дома,
И блики на стёклах в окне.
Всё это щемяще знакомо
Из детства далёкого мне.
Как много вобрал в себя ветер,
Как много впиталось душой.
Так может на всём белом свете
Лишь Родина пахнуть весной!
У мельницы шум водопада,
И льды громоздятся шурша.

В душе разольётся отрада,
И полнится светом душа
До слёз умиления, восторга,
Желанья на землю упасть,
И в небо взметнуться, исторгнуть
Словами вселенскую страсть.
И в слове, родном русском слове —
Особая музыка есть:
И в нежном, и в скорбно-суровом
Завет или добрая весть.
Но радости выше и выше
Печали — пускай ножевой —
Есть эти Отечества крыши
И синий над ними покой!

* * *

Надзакатный свет зелёный
Переходит в голубой
И густеет синевою —
К бледным звёздам удалённый.

В поднебесье птичья стая,
Поднимаясь от земли,
Уменьшается вдали
И совсем для глаза тает...

Есть в природе, в чувствах тайна.
Всё — в какой-то ведь связи...
От окошек свет сквозит,
Тянет в дом необычайно.

Интересна жизнь чужая,
Бережённый Богом кров...
Как бы ни был быт суров,
А любовь обогревает.

То вдруг космоса захочет
Беспредельно странный люд,
То влюбляется в уют
И сжимается в комочек.

Можно, веря и не веря,
О галактиках мечтать.
Как нам то предугадать —
Что уже стучится в двери?

* * *

Жар осенней листвы за избою.
Стережёт сон июля сеник.
Серебрится река чешуёю,
Донным отсветом блещет родник.

Глубь веков... удивленье простором...
Заповедные тайны лесов —
И в былинной мелодии бора,
В молодильном настое ручьёв.

Дремлет колокол древней церквушки
Над молчаньем глухих хуторов.
Еле слышно звенит у опушки
Золотая чеканка овсов.

По холмам в безмятежном покое —
Даль полей... В сердце лёгкая грусть.
И порою нахлынет такое,
Что не скажешь, а выдохнешь: «Русь!..»

* * *

Во дни тревог, во дни сомненья	Жизнь человека мало стоит
Как сердце верой окрылить?	И ставят совесть вне цены.
Эпохи вздыбленной крушенье —	Гроза над русской судьбою...
Дано ли нам остановить?	Как эту бурю перенести,
Когда порушены устои,	Оставшись всё ж самим собою —
Все идеалы сметены,	Храня достоинство и честь?!

* * *

Напой меня духом сирени,
Сад знакомый, в погожую ночь.
Мне б усталость в душе превозмочь,
Окрылиться восторгом весенним.
Но шершавые стены сеней,
Жидкий отсвет окна слухового —
Не вернут мне мгновенья былого,
Обвивающих нежных теней,
Нежный голос доверчивых рук
И волос ниспадающих волны —
Не вернут...
Голос, радости полный,
В полусне мне послышится вдруг.
Чуть коснётся лица ветерок —
Мне почудится милой дыханье...
Сколько было огня и страданья,

Сладкой ласки, счастливых тревог!
И дорог открывался простор,
И само по себе сердце пело!..
Я целую сирень очумело...
Сладок запах и горек укор.

БЫЛОЕ

Думал я: отошло, отболело...
Душу вновь растревожило сном,
Где далёкое счастье глядело —
Синих глаз потаённым огнём.

Вдруг волнами нахлынули годы,
Расплескав и размыв забытьё.
Словно выскерк среди непогоды,
Озарила улыбка жильё...

Всё же светлое было меж нами.
Но и морок в чаду голубом
Воскрешается сладкими снами,
Очищается в сердце моём.

Я водил её в груди черёмух,
И сладка была горечь рябин.
Били молнии, лаяли громы...
Но и смех не забыть до седин.

Не забыть ощущения счастья
И стыдливость в порывах любви...
Разве был я в размолвке не властен?
Что развеяло чувства в крови?

Ухожу, словно в праздник, в былое...
Может, мается так вот она?
Неужели прощенья не стоит —
То, чем юность была так полна?!

ЛЮБОВЬ

С друзьями — чаша круговая,
А с милой — сладкий мёд ночей...
Любовь, как ангел, вся сияя —
Сойдёт с небес к душе твоей.

И распахнёт любые двери:
Зима ли, осень ли, весна...

Любовь приходит к тем, кто верит, —
Сама той верою сильна!

Любовь не выдержит измены:
Ни злой упрёк, ни властный крик...
Любовь приходит к тем, кто ценит
В ней каждый час и каждый миг.

Ни ухищренья, ни расчёты —
Не возвратят нам чувства вновь.
В любви паденья есть и взлёты...
Конечно, если есть любовь.

Любовь смешает дни и ночи —
Зови её иль не зови...
Любовь приходит так, как хочет,
И в том всевластие любви.

И может лишь всемирный разум
Иль вещей ум предугадать —
Надолго ль в ней дано вам разом
Купаться в счастье и страдать!..

* * *

Невенчанная нежная жена...
Нам чувства обожгла боязнь утраты,
Мы были горячи, чуть угловаты,
А в ласках страсть была обнажена.

Боялись мы друг другу изменить,
А между нами не звучало клятвы.
И связь была, как осенью над жатвой —
Тончайшей лёгкой паутины нить.

И всё же вспоминается светло
Та нежность первозданная и пламя...
И жаль порой, что это всё не с нами,
И, кажется, — ещё не всё ушло.

И я не буду биться об заклад,
Не стану торопить горячкой время.
Бывает — не всегда и не со всеми —
Что нежность возвращается назад.

РОМАНС

Не знать бы, родная, тебя:
Как мне тяжелы твои грозы!
Когда улыбнёшься сквозь слёзы —
Волнуется сердце, любя.

Улягутся бури твои —
Отдамся, забыв час неверный,
Воздушным, горячим, безмерным,
Чарующим ласкам любви...

Гнетущей, несносной хандры,
Упрёков твоих бы не ведать,
Дождаться бы сладкой беседы —
Души твоей светлой поры.

Ты ветру душою сродни,
И жить ты не можешь иначе...
Я в чёрные дни твои плачу,
Ликую в светлейшие дни!

* * *

Мы простимся без слов, дорогая.
Только вздох, пальцев сдержанный хруст.
Отразится в слезах, догорая,
Облетая — рябиновый куст...

Только всё же мне слышится голос
Из-под спуда усталой души...
Помню: рожь наливалась в колос,
Голос песней летел в камыши.

Боже мой!.. Как давно это было!
И не верится мне в горький час,
Что меня ты так жарко любила,
И разлука не старила нас.

Сколько было святого меж нами,
Сколько радости было вокруг нас!
И как долго я жил ещё снами —
Огонёчек надежды не гас.
Как я душу лелеял возвратом
В наших чувствах любви молодой!
А уж тронуло годы закатом,
Серебром волос вьётся седой.

И другая уже не поднимет
Чувств упавших на гребень волны...
Улыбнусь я глазами одними —
Той далёкой улыбке весны.

* * *

Упав горностаем, метели
Лежали, сребрились луной.
Жар-птицами звёзды летели,
Летел облучок расписной!

И в рыжем мохнатом тулупе
Запутались льдинки с копыт.
И сбруя златилась на крупе,
И плакал бубенчик навзрыд.

Средь русской холмистой Европы —
Неслась азиатская кровь.
И слушали кони твой ропот
И шёпот горячий, любовь.

Зимой ты пунцова, как лето;
Обжечь поцелуем спешишь.
Найти ли по белому свету
Пристанище русской души?

Неблизок ночлег наш у тѣщи,
А губы твои горячи.
Лишь ветер упругий полощет
Мерцанье, как отсвет свечи.

Не раз и не два мне приснятся
Те жаркие ласки в ночи...
Сомкну веки: звѣзды роятся —
Мерцают, как отсвет свечи.

* * *

А. И. Журавлёву

В широком ли поле дорога бежит,
По лугу раздольному вѣтся —
И лён голубеет, и волны по ржи,
И сизая дымка с болотца —

Всё радует глаз и волнует в груди
Хранимые памятью чувства...
Часовня на склоне холма впереди —
Прекрасна не только искусством.

Она — воплощенье крестьянских трудов.
В ней отсвет наследственной веры,
И тайна единственной меры —
Глубокому смыслу веков.

* * *

В полуденный зной,
в зоревой ли прохладе,
Как было века испокон,
Души человеческой ради
От церкви разносится звон.

В единое церковь связует деревни
В приходе старинном окрест.
Врачуемся верою древней.
И души спасёт вещей крест.

Всегда отовсюду видна колокольня
И радует, стройная, взор.
И в праздник желанный престольный
Она веселит с давних пор.

Разносится звон поднебесный далёко.
И силой крылатой полна,

Душа вознесётся высоко-высоко
И счастье познает она!

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С РУБЦОВЫМ

Архангельск.
Кафе «Золотица»,
Наш временный хрупкий приют.
Глаза его — горькие птицы —
Летают в далёком краю.

Он светел под сельским оконцем,
А в городе ухо остро...
Не вижу я пятен на солнце
При блеске в зените его.

Трясёт ещё жизнь по ухабам,
И жалость людская глуха...
Дана ли нетрезвым и слабым
Великая сила стиха?!

Хмелит выступленье с Орловым,
И с Боковым встреча свежа.
Шалея под взглядом Рубцова,
Ликует и ноет душа.

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

Берегу свою русскую душу.
Бьёт безумная мерзость эстрады.
Отравили великую сушу...
Но страшней телерадияды.

И Арал только реки питают;
Он без них стал болотиной узкой.
Так мелеет и умирает —
Мировая культура без русской.

За три четверти века в погроме
Русь Пресветлую дьяволы рушат...
Во всемирном бесовском содоме —
Берегу свою русскую душу.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ



Славацкий Р. **Башни**: книга сонетов / Роман Славацкий. — Коломна: Лига, 2014. — 32 с.

Славацкий Р. **Театр**: книга сонетов. — Творческое объединение профессиональных писателей Коломны, 2014. — 32 с.

Славацкий Р. **Город**: книга сонетов / Роман Славацкий. — Коломна: Лига, 2014. — 32 с.

Сразу три поэтические книги Романа Славацкого увидели свет! И в каждой — по 24 сонета.

Первая из них — «Башни» — сборник юношеских стихов, неоготическая стилизация, в которой лирика переплетается с трагической темой уходящей коломенской старины. Уже в ранних строках Славацкого проявилась характерная для него изысканная виртуозность.

«Театр» воплощает замечательную черту Коломны — её сценичность и декоративность, открытость самым разнообразным веяниям и эпохам — от Античности и Ренессанса до чеховского театра.

И, наконец, «Город» — своеобразный итог поэтического творчества Славацкого. Он посвящён людям Коломны и написан с большой сердечностью. Здесь очень чувствуется естественность и простота лирического дыхания, искренность и любовь к отеческому краю.

«Коломенский текст» украсился тремя лепестками готической розы. И можно надеяться, что они не затеряются в его страницах!

Ирина Котельникова



Ирина Геннадьевна Котельникова родилась в Забайкалье, в селе Гулинга. Писать начала ещё в школьные годы. В 1973 году окончила школу, получила профессию культработника, много ездила с агитбригадами по оленеводческим стадам. В конце семидесятых годов была замечена на семинаре молодых поэтов и прозаиков в Чите.

Потом окончательно перешла на журналистику. Является членом Российского авторского общества. Написала несколько песен в содружестве с питерскими композиторами.

В 2007 году вышел первый сборник стихов в Санкт-Петербурге: «Остановись, мгновенье, не спеши...». Всего издала четыре поэтических сборника.

Стихи и проза публикуются в Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени.

Любит тайгу, её людей, любит и российские деревушки. И верит, что не потеряется в этой жизни.

ЛЮБИТЕ НАС, ПОКА МЫ НА ЗЕМЛЕ...

ЖИВУ НЕВПОПАД...

Живу невпопад... На бегу спотыкаясь,
Хочу оглянуться, да времени нет.
Ко лбу — троеперстье, публично не каюсь,
Заранее зная вопрос и ответ.

Опять листопадом прихлынула осень.
Куда же ты, лето? Немного постой!
Есенинской грустью — сосущая просинь...
Я в русской деревне прошусь на постой.

Устала скитаться. В дырявом овине
Охалку душистую бросьте в углу.
Я как пред Крестом, перед Русью — невинна.
Люблю тебя, Мамка! Всем сердцем люблю...

* * *

Мне выпала зрячесть, и больно зрачкам
В осколках зеркальных вчерашнего смысла
Увидеть слепые глаза скрипача
И радугу ту, что вверху коромыслом.

Ах, как он неистов — безумец богов.
И небо кровит под босыми ногами.
Ему не дано ни друзей, ни врагов.
Он тот, кто приходит однажды за нами.

Конец и начало. Река и исток.
Протест и смирение. Пастух и пастушье.
Ни ангел, ни дьявол... Быть может, сам Бог,
Сошедший стучаться в закрытые души.

* * *

Как в надрыв строка, да навзрыд река
Так и рухнула водопадами.
Э-эх, река... Не валяй дурака.
Нынче всяк со своими правдами.

На семь вёрст окрест не нашлось заплат.
А за так рядна не заштопаешь.
Домотканую да в калашный ряд?
Не потопашь — не полопашь.

Пусть в надрыв строка. Здесь не твой устав.
Монастырь чужой за цветочками.
Не рябины гроздь на просвет в кустах,
То у Бога душа кровоточила...

* * *

По задворочкам с хлебной корочкой
Пёс ничейный уносит бока.
Новолунием ночь распорота.
Пахнет порохом злая рука.

То ли Федькою звать, то ли Гришкойю.
Свистнул, гад, и, не целясь, — на звук
Точным выстрелом, ох ты, лишенько!
Ах ты, сукин сын или внук...

На задворочках с хлебной корочкой
Пёс ничейный... Застыли глаза.

Новолунием ночь распорота,
Окровенены небеса.

ИВАНЫ

Война крестила ненцев и узбеков,
Татар, таджиков, чукчей и бурят.
Одно им имя нарекли навеки
Вне званий и полученных наград.
«Иван, сдавайся!» — им кричали немцы,
Иванов на расстрел они вели.
О, сколько их — Иванов Неизвестных —
Лежат в просторах выжженной земли!
Поставь свечу за упокой Ивана:
Не снять с него победного венца.
Его война в купели окунала
Огня и раскалённого свинца.
Не ставьте звёзды на могилах братских!
Иванам нужен — православный крест.
Их имя кровью написано в святцах,
Длиною этот список — до небес.

* * *

Умолкли звуки. День уснул.
Луна вздремнула в колыбели
Над старой кельею в лесу,
Сегодня ветры ей не пели.

Вокруг такая тишина,
Что даже шёпот слышен чётко.
При свете лунном у окна
Монах перебирает чётки.

Какие беды гонит прочь?
И почему глядит так грустно?
Я отступаю тихо в ночь...
«Помилуй, Господи Иисусе».

* * *

Что за блажь — выйти в ночь,
Чтоб поплакать,
Чтоб не слышал, не видел никто?
Невзирая на темень и слякоть,
Следом выскользнул преданный кот.

Прогоню — уходить не захочет,
В пору орден за дружбу вручить.
Старый филин за речкой хохочет,
Рыжий кот на коленях урчит...

* * *

Недосягаемость... Разлука...
Вновь растворяет темнота
Шагов стихающие звуки,
И остаётся пустота.

Ветвей растерянные тени,
Окна бездонного проём.

О, дай мне, Господи, терпенья
Не думать в эту ночь о нём!

Недосягаемость. Разлука.
В чужом окне погашен свет.
Чужие губы, тело, руки...
Ты — муж чужой, но Мой Поэт!

* * *

Не стучитесь в моё одиночество,
Я вполне с ним — звенящим — сжилась.
Дальше нужно бы рифму «высочество»,
Только где мне... В тайге родилась.

Колыбельной — Витим с перекатами,
В погремущке — кедровый орех.
Я сроднилась с такими закатами! —
Не воспеть их, наверное, грех.

Там, где небо бывает багуловым
И багульник цветёт по весне,
На полянах, покрытых ургулами,
Одиночеств не помнится мне.

Потому и сейчас мне не хочется
Ни побед, ни пустой суеты.
Не стучитесь в моё одиночество.
Я, признаться, давно с ним на «ты».

ПОЗДНО, ДИТЯТКО, ПОЗДНО...

Поздно, дитяtko, поздно.
Спи. За окошком — звёзды.
То не рассвет смурной,
Это пришли за мной.
Поздно, дитяtko. Ночи
Стали на жизнь короче.
Спи, ты не должен знать,
Что умирает мать.

Поздно, дитяtko, поздно.
Спи. За окошком — звёзды...
Сон на рассвете слабей.
Ангел качнул колыбель:
Рано, дитяtko, рано.
Спи. Не смотри на маму...

СЕГОДНЯ ХОРОНИЛИ СОВЕСТЬ...

Сегодня хоронили совесть...
Плыл гроб над праздною толпой,
И выводил печально соло
Французской дудочкой гобой.

Откуда взялся он, не знаю —
Был нанят, сам ли захотел —
Старик с иконными глазами?
Он шёл особо. Не в толпе.

Деревенели, ныли пальцы,
Лилась мелодия, как стих.
И даже ветер растерялся,
Клубком свернулся и затих.

Толпа привычно бормотала
О постороннем — просто так.

За веткой ветка отлетала,
И ощущалась пустота.

Как будто где-то во Вселенной
Сам Бог со скорбию поник.
Плыл катафалк над миром бранным,
А плакал лишь монах-старик.

Сегодня хоронили совесть —
Чужую совесть — не его.
И болью старого гобоя
Не задушался звук шагов.

Не грела ряса и подряник —
Других одежд не надевал.
И только Богу было ясно:
Он шёл и совесть отпевал.

ПРОВИНЦИЯ, ПРОВИНЦИЯ...

Провинция, провинция
С ромашковой околицей,
Берёзкой над криницею
Да песенным раздольюшком.

Деревня — это личное! —
С соседкой бабой Валею,
И в кружеве наличников
Цветуцею геранею.

Сидят впригляд за внуками
И спорят о политике
Два деда с самокрутками
На лавке за калиткою.

Рубашки, побелевшие
От солнышка покосного,
И руки, изболевшие
От жилочек — до косточек.

И баба Валя ойкает,
Гремя в печи ухватами,

Всю жизнь — на ферме с дойкою,
Всю жизнь ходила в ватниках.

Но выйдем в круг с частушками,
Чуть пригубив наливочки:
— Эх, ноженьки, натружены,
Какие вы счастливые!

Гуляй, моя провинция,
Пляши, моя Заречная,
Я здесь — не заграничная,
Я — русская, запечная!

Эх, с охами да вздохами
С утра до ночи крутишься.
Как жизнь-то нас мудохает,
А мы в ответ ей — кукишем!

Провинция, провинция...
Ромашки за околицей...
Берёзка над криницею...
Баб-Валино раздольюшко!

* * *

Во мне заплакала деревня,
Во мне заплакали поля,
Во мне заплакали деревья —
Вдоль тихой речки тополя.

Во мне заплакала деревня,
И васильков заплакал цвет,
И в речку смытые деревья,
И дом, где мамы больше нет.

Деревня плакала, как мама,
Тихонько, скорбно, не ропща.
И стало горько, что так мало
Её сумел я навещать.

Букет цветочков ярко-синих
Несу на старенький погост.
Прости меня, моя Россия,
За то, что я в деревне — гость.

* * *

Здесь не запахнет вспаханной землёй,
Не прорастёт из зёрнышка пшеница.
Амбар колхозный стал давно золой:
Наступишь — под ногою закружится.

Зачахнет без Степана огород.
Под нож коровка пустится без сена.
Повымирает скоро весь народ,
А без народа следом — и деревня.

Наперечёт в деревне старики.
Когда-то каждый мог согнуть подкову.
Теперь и ложка валится с руки,
С завалинки не встанешь, как прикован...

Сидят друзья у Стёпкиной избы,
Дойти сюда едва хватило силы.
Какие были мощные дубы! —
За что их так, за чьи грехи, Россия?

Матвей, Егор да дедко Епифан
Гуторят о политике российской.
Вчера ещё четвёртым был Степан,
Да помер и с друзьями не простился.

За чьи грехи не вспаханы поля?
За чьи грехи не проросла пшеница?
Деревня-Мать! Российская земля!
Как трудно Богу за тебя молиться...

* * *

Я прорасту сквозь призрачный рассвет
Цветком с глазами неизбывной грусти.
Я всё-таки, наверное, поэт...
От вас не скрою — откровенно русский.

Сейчас уже не скажешь — от сохи, —
Не та Россия, времена иные.
Но от резных наличников — стихи,
Где кружевами — маки полевые.

Где чистота хрустальных родников
С целебной, намоленной водицей
И где у деревенских стариков
Открытые, доверчивые лица.

Я в лад с душой спою святую Русь.
Прощальным звоном взмою в поднебесье,
Дождём над русским полюшком прольюсь
И прорасту однажды новой песней.

* * *

Время плёток ещё не пришло.
Не разорван на клочья подстрочник...
Что, скажи ты, читатель, нашёл
В триединстве таинственных точек?

Нет здесь лютиков — грешных цветов.
Дух мятежный любви не просит.
Здесь встаёт из проросших крестов
На крыло журавлиная осень.

И куда взгляд ни бросишь — окрест
Крылья сотканы солнечным светом.
Принимайте такую, как есть,
Непокорную душу поэта!

* * *

Отгору я закатом багряным,
Оттоскую полынью-травой,
Отстучу ветерком я по ставням
И уйду навсегда — на покой.

Полумесяц замрёт над погостом —
Он за мною отбегал, как пёс.

Вот и всё: погостила я гостем...
Только крест из меня и пророс.

Ничего... только алые зори
Да полынная горечь-травы,
Только ветер — шальной беспризорник,
Вам напомнит: я всё же была...

* * *

Убейте поэта! Бросайте камня...
В запазухах тесно. Доколе скрывать?
В проржавленных душах сплошные каверны,
Вам вросшие маски не нужно срывать.

Поэт без щита. Он живёт без забрала.
Вплетайте в нагайки стальную струну!
Легко храбрецом быть в безумной ораве.
Убейте поэта... Не троньте страну!

Глумитесь над ним, но не хайте Россию.
Отсохнет рука, коль поднимешь на Мать.
Россия под сердцем поэта носила.
Вы ей не мешайте его отпевать...

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МИХАИЛУ БОЛДЫРЕВУ — 65!



*Ты жил на дальнем Сахалине
Средь сопок, елей, среди пихт.
Тебя качало море сине,
Волна шептала вольный стих.*

*Но подружился ты с Колодной,
И по душе тебе Ока.
Наш город — суетный, стозвонный, —
И в нём живёт — твоя строка.*

*Её поют, звеня, трамваи,
Берёзы шепчут вечером,
А ты идёшь, не унывая,
По жизни — бравым моряком!*

Татьяна Башкирова

Михаил Болдырев появился на свет 3 октября. В день рождения Сергея Есенина. Что-то в стихах Михаила есть напоминающее звонкого рязанского поэта, к сожалению, так рано ушедшего. Какая-то переключка. Так же, как Есенин, Михаил любит осень и образно живописует её в своих стихах, так же любит жизнь. Несмотря на нашу неустроенную действительность, в строках Болдырева не найдёте нытья. Видимо, море дало ему такую закалку.

Михалыч, дорогой наш друг! Спасибо, что ты есть, что у нас здравствует такой замечательный поэт! Спасибо за твои стихи, каждое из которых проникнуто необыкновенной любовью к нашей Родине и неравнодушием к её будущей судьбе. Спасибо за чистоту твоей души, за искренность и понимание чего-то такого, что открыто лишь Богу. От всей души желаю тебе здоровья, бодрости духа, творческих исканий, чтобы и дальше радовать всех нас твоими светлыми, приходящими с неба стихами. Тёплой тебе осени и добрых дней!

Коллектив редакции

Вера Кузьмина



Вера Кузьмина родилась в 1975 году в городе Каменске-Уральском. Работает участковым фельдшером в родном городе. Стихи пишет недавно. Её поэзия проникнута неподдельной искренней болью о родной земле, о русском народе. В немудрёных строках, словно выросших на щедрой нашей многострадальной земле, как цветы полевые, — сострадание и надежда, ликование и горечь.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА ДЕТСТВА

ТАК ЖЕ

Век бывает короткий и долгий,
Только, сколько в России ни жить —
Так же треплют лошадок по холке,
Так же плачут в некошеной ржи,
Бани топят с утра по субботам,
Выгорают до угля, дотла.
И Никола по-прежнему кроток,
Так же в кухне глядит из угла.
Так же хлещут скотину и женщин,
Так же просят: «испить» и «терпи».
Любят просто. Как просят — не меньше.
И молчат под визжание пил.
Носят ватник, овчинную шубу,
Пьют, дерутся и пляшут в кругу.
Умирают — как просят и любят.
Ни хвалить, ни судить не могу.

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Переломы слишком часто оскольчаты,
Морды просят не руки — кирпича.

За околицей молчат колокольчики,
Потому что бесполезно кричать.

Колокольчики, босые и тонкие,
Вы убогих по дорогам вели.
Пели старцы перед грустными жёнками,
Вы молчали, а молчанье болит.

А молчанье так болит и тревожится,
Колокольчиком цветёт маета.
Молча плачет перед барскими рожками
Синеглазый пастушок-сирота.

Не учили говорить-разговаривать,
Не учили привечать-отвечать.
Над погостом разгорается зарево,
След подковы — как царёва печать.

Нежно-синие они, синяковые,
Приготовлена им казнь — не казна.
Умирают под кнутами-подковами,
В этой жизни ничего не узнав.

Леденца бы им да росного ладана,
Только выросли на чёрной тропе.
От рождения гадалкой нагадано
Колокольчикам мечтать и терпеть.

Им придумали: молчание — золото,
Не звените, не играйте в дуду.
Колокольчику не вырасти в колокол,
Потому что никогда не дадут.

КАЗЁННЫЕ

Щи да каша солёенька, да утоптаный плац.
Где вы, белые слоники, старый бабушкин плащ?

Мы с рождения пороты, под колени — горох,
Верно служим опорами ненадёжных эпох:

И штыками, и досками, и лопатой-кайлом.
Бьют ботфорты петровские сквозь века напролом.

Мы иные — казнённые. Чёрен крик воронья.
Если точно — казнённые не за други своя,

За других, кто удачливей, чья вода голуба,
Несмышлёншей-мальчиков, молоко на губах,

За игрушки и бантики, за бабулин компот,
За конфетные фантики, груды книжек и нот.

Мы казнённые... мы казнённые. Нас никто не спросил.
Щи пустые, солёные. Плиты общих могил.

Ложки гнуты и кручены. Не поют соловьи.
Дорастёшь до поручика? Добренчишь до статьи.

Раны-раны, наколочки. Что такое — домой?
Может, в чём-то и сволочи, да зато не дерьмо.

Мы иные — казнённые от суровой казны...
Не пытайте резонами, помолитесь за ны.

РИДНА НЕНЬКА УКРАИНА

Черти пляшут на Майдане,
Наточили остриё:
Гоголь, ждёт тебя Майданек,
«Птица-тройка» — це твоё?

Будет свиньям добрый ужин,
Чтоб глядели веселей:
Нынче в миргородской луже
Утопили москалей.

Нет ни совести, ни Бога:
Пей же, пей, пришла пора,
Николай Васильич Гоголь,
Из кровавого Днепра.

«Ридна ненька Украина»
Ты по-русски не шепчи.
На ветлу и на калину
Вяжут петли палачи.

И глядят Рязани в спину:
Помолилась ты, Рязань? —
Ридной неньки Украины
Сумасшедшие глаза...

ЗАЧЕМ

Зачем живём? Зачем она — строка,
Когда полжизни тает струйкой дыма?
Уже не страшно ближе к сорока
Терять и отпускать своих любимых.

Уже иуды чуточку спешат,
От чёткого «прощай» Земля не рухнет:
Ведь жизнь — она всё так же хороша,
Особенно распутицей и кухней.

Садимся в полуночное такси,
Картошку чистим, топчем снег и слякоть —
Чтоб рассказать, как плохо на Руси
Сорокалетним бабам и собакам...

ПРО МУЖИКОВ

На иконе в кухне копоть,
Кипяток в стакане крут,
Дед Петрович ноги пропил,
А в больничку не берут.

Парит дедова старуха
Лист берёзовый в ведре:
«Дай-ко ноги, бляха-муха,
Враз пойдёшь плясать кадсель».

«Да каки уж мне кадсели,
Разве водка и бинты.
Глянь-ко, ноги посинели —
Значит, старому кранты.

Шибко, Маня, ночью режет,
Даже белый свет не мил...»
Вроде жил, а вроде не жил.
Пил да робил. Снова пил.

Вербы прутики сухие,
От белёной печки жар.
Со стены глядит София —
Что, Ротару, деда жаль?

Подоконник, шторка, блюдо.
Огороды вдоль реки.
Девки, бабы остаются,
Помирают мужики.

* * *

Я помню, затёрты, немые и горьки
На дедовы веки легли пятаки.

Я помню, как бабка просила взаймы:
От медной беды продолжаемся мы,

От медных колечек, дарённых во ржи,
От медных законов на злобе и жи,

Не бойся, не верь, ничего не проси,
И медью закроют глаза на Руси,

Как многим из тех, что пришли и ушли
Сквозь медные трубы российской земли.

И знай, не обманет бедняцкая медь:
Добро на Руси — ничего не иметь.

ВОСКРЕСНУ

Про дерево и железо

А когда надоест насвистывать
И мусолить беззлобный мат —
Я воскресну в смешной провинции,
Где бесчинствует мокрый март.

Деревянная песня форточек,
Деревянная злая плоть.
Здесь подолгу сидят на корточках
И умеют дрова колоть.

Это вечное — не изменится,
Падать дереву — без корней.
Причаститься бы всем поленницей —
Может, стали бы чуть умней.

Мы железом творим причастие —
Без железа не скручен кнут,
И к запястьям браслеты ластятся,
И замки на прицел берут.

Я воскресну в смешной провинции
Под весёлый оконный стук.
Здесь моими плывут мизинцами
Струги разинских верных слуг.

Незаметно-сосново вырасту
Под берёзовый лепет-хмель.
Деревянные песни клироса,
Деревянная колыбель.

Только ждёт — терпеливо-набожно
(Как браслеты, кнуты, замки)
В деревянной стене елабужской
Гвоздь.
Как точка в конце строки.

БУДДИСТСКОЕ, ЧТО ЛИ

Я была поцелуем на русском морозе,
Скрипкой, в щепки разбитой во время погрома,
Подыхающей с голоду клячей колхозной,
На ветру шелестящей ячменной соломой,
Заплетённой сандалией древнего грека,
Петухом на проваленной крыше сарая.

Точно знаю, что я не была человеком,
И поэтому внутрь никого не пускаю.

Для закрытых — в бессмертие верить наивно.
Знаешь, Господи, свыклась — не праздную труса.
Но когда я умру, сделай яростным ливнем,
Чтобы чистой водой напоить Иисуса.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА ДЕТСТВА

На сплетение веток на фоне заката
Очень трудно смотреть: так бывает весной.
Перехвачено горло, и сердце крылато,
Рядом мальчик соседский — курносый, шальной.

Мы пинаем сугробы, сшибаем сосульки,
Вечерами подолгу стоим у ворот.
Нам грозит с чердака хворостинной дедулька,
А потом, отвернувшись, смеётся — Господь.

Нет до нас никому ни малейшего дела,
Только Господу Богу, и то не всегда.
Мы в сарае закурим — пока неумело.
Скинем шапки. В ботинках, конечно, вода.

Беззащитные дети, птенцы озорные
Этих мартовских тёплых, тревожных ночей...
Вы забыли, серьёзные, взрослые, злые,
Как кораблик дрожит, рассекая ручей?

Только вместе дышать — нам и вздувшимся почкам,
И грохочущей речке, где льдины-ножи
Понесутся, ломаясь, бушующей ночью,
Очумев — начинается взрослая жизнь.



Роман Вадимович Славацкий, потомственный коломенец, родился в 1957 году. Поэт, прозаик, журналист. Заместитель главного редактора «Коломенского альманаха», заведующий отделом православной газеты «Благовестник».

Автор одиннадцати поэтических книг, повестей и рассказов, множества краеведческих очерков, опубликованных как в периодике, так и отдельными изданиями.

Удостоен многих церковных, муниципальных и общественных наград.

Представленный в этом номере цикл стихов посвящён Старой Коломне, уютным вещам, в которых воплощается дух древнего города, и, конечно же, людям — хранителям коломенской традиции.

СЕРЕБРО

Сонеты

Павлу Исаевичу Сигалу —
моему старшему другу
и вдохновителю этого цикла

ВАСИЛИНЕ КОРОЛЁВОЙ

Рассветной ранью Города узоры
Меняют краски, плотность и объём...
И чудится — что Крепость и соборы —
Пронизаны серебряным шитьём!

Струится ввысь видений вереница
И кружевом ложится на страницу!

...Прозрачные коломенские рощи,
И тихий сумрак сказочных домов,
Посадская резьба, и кремль, и Площадь,
И влага вод, и облако холмов —

Всё это — зачарованное кистью,
Рассудком не постигнешь до конца,
Когда и штрих, и свет воздушной выси
Не в книгах остаётся, а в сердцах!

ОЗЕРОВ

Галине Дроздовой

Дом Озера... Тайные подвалы —
Забывших подземелий тёмный свод...
А наверху парят: парадный вход,
Да каменной аркады покрывало.

Да только стёрли Времени буруны
Узоры этой лестницы чугуновой
И всё, что так сердечно и старо...

Под этой колоннадою, бывало,
Бурлил волнами праздничный народ.
А кровли и фонтаны в свой черёд
Под небом громоздились, точно скалы.

Но снова за окном играют блики
Иных веков — цветной, разноязыкий
И пёстрый мир — Коломны серебро!

КОКТЕБЕЛЬСКИЕ КАМЕШКИ

Виктору Мельникову

Вечером в тиши — просторней зори
И прибой слышнее... И ясней
Видишь, как волной выносит море
Россыпи обточенных камней.

Двигается прибоя труд упорный,
Неводом веков собирая дни;
Он шлифует каменные зёрна:
Кварц и мрамор, яшму и гранит...

И звучат народы и столетья
В этом драгоценном многоцветье.

Словно чётки — прожитые годы...
И теперь они всегда с тобой:
Города и страны, и народы,
И бессмертной памяти прибой.

РОМАНС

Константину Букринскому

Ночных цветов весеннее горенье —
Персидски-пышный пряный аромат,
И купы белопенные сирени,
Как будто кубки полные, стоят.

В тиши таятся старые ступени
В нездешний, соловьиный, звёздный сад;

В беседке стынет чай, и слышно пенье,
И говор, и гитары старый лад.

О ночь! О прелесть русского романа!
О робость — и желание признаться,
И в тишине — огромная Луна!..

Всё унеслось, как ветвь отцветшей розы;
Осталось только эхо, только отзвук —
Серебряная тонкая струна.

ПУШКИНИАНА

Художнику Евгению Устинову

Сквозь века волшебной стрункой
Льются звонкие слова
И свиваются рисунком
В белоснежных кружевах.

Взмах пера! Зарницей дальней
В этой роскоши хрустальной
Он кипит: легко, остро!

Это красок самоцветы,
Это кисти мастерство;
Мир поэта, жизнь поэта...
И бессмертие его.

И метель столетий тает,
Словно ангел, пролетая,
Уронил своё перо.

ЛЕРМОНТОВ В КОЛОМНЕ

Александрю Сахарову

Коломенской дорогою — проездом,
Промчатся и растаять без следа,
Как метеор, летящий звёздной бездной,
Туманом вешним ставшая вода.

Какой-то час, мгновение, минута:
Как будто был — и не было как будто...
Ни рифмы, ни письма, ни даже строчки,
Лишь станция в дороге до Тархан;

Забвенные ямщицкие звоночки —
Простое примечание к стихам.

Но всё же был — чтоб веющим движеньем
Проехать и забыть об этом дне,
И навсегда остаться — только тенью
На каменной готической стене!

Л. М.

*Таинственной невестречи
Пустынны торжества...
Ахматова*

Девичья чёлка, сумрачные брови
И юных уст нездешняя печаль...
В очах полу ребёнка тайно бродит
Вино веков; надломлена печать.

И смутных чувств невысказанный голод
Смешался с грудой призрачных руин,
И Звонницы беззвучные глаголы
Пронзают воздух каменных равнин...

А эти пальцы чуткие — сумели
Открыть парчу в ковчегах подземелий!

Краснеют стены кровью человеческой,
На кровле храмов зыбится бурьян...
Вино веков! Вино моей невестречи,
Которую мой дух — доселе пьян!..

184

РОМАН СЛАВАЦКИЙ

КОФЕЙНИК

Старого шкафа пленник,
Спрятанный за стеклом,
Снова сошёл кофейник
С гордым своим челом.

Из серебра отлитый,
Праздничною молитвой

Он у стола стоит
В самом конце обеда,
Чтоб увенчать беседу
Жаром турецких плит.

Гордый и стройный профиль,
Ярких лучей игра...
Пряный и крепкий кофе
С привкусом серебра!

ПАВЛУ ЗЕЛЕНЕЦКОМУ

Октябрь... И над старинными стенами
Распахнуты края небесных створ.
Горит и вьётся каменное пламя,
Высвечивая осени простор.

Но Города безмолвный разговор
Заговорён волшебными холстами,
И ярких красок сказочный узор
Просторной рощей зыбится пред нами.

И в этой роще праздничной, как в храме,
Застыли, точно в строгой старой раме:
И вешний гул, и плещущий родник...

И эти камни, храмины и стены
Горят, как будто образ драгоценный —
Как смальта цареградских мозаик!

ДОМ ПОДАРКОВ

Ольге Милославской

Кремлёвской сказкой околдован
И стариной посеребрён
Дом — словно тайный ларь кладовой —
Внимает шёпоту времён.

В его резьбе и в кладке брёвен
Течёт, медлителен и ровен,

Ажурным кружевом — рассказ
О заколдованных посылках...
Он грезит. Он встречает нас
Секретным шорохом копилки.

И здесь несчётным чередом:
Комоды, книги, гобелены...
Коломны потаённый Дом —
Седых веков почётный пленный!

САХАРНИЦЫ

О сахарницы! Странною Судьбой
Зачем-то сбережён ваш строй старинный...

И тонет в чашке нежно-голубой
Сверкающий песок — согнать кручину.

Стоите вы уютною гурьбой,
Пленяя и девицу, и мужчину
То звонкою рифлёною резьбой,
То пышною барочною корзиной.

Играет свет на донце золочёном;
А вот ещё — точёная корона,
Что ловкий мастер обручем возвёл.

И этою короной коронован,
Мерцаньем прежних лет украшен снова
В оттенках янтаря — наборный стол.

СКВЕР ЗАЙЦЕВА

Как в зачарованной роще —
Шорохи облачных сфер:
Древняя Житная площадь...
Милый запущенный сквер...

И через эти покровы,
Словно старинный узор,
Видится снова и снова
Прежний торговый простор.

Вывесок яркие краски —
Призраки улицы Спасской!..

Шепчут секунды всё чётче,
Образы тают в тени;
Только лишь Бронзовый лётчик
Молча взирает на них.

ЮРИЮ КОЛЕСНИКОВУ

Как строгий энтомолог на охоту
Слагает вату, склянки и сачки,
Так и фотограф — сборы нележки:
Всегда недосчитаешься чего-то.

Проверя снасть, потом идёшь в субботу
В Посад, на склоны каменной реки,
Искать веков хрустальные куски,
Выслеживать единственное фото.

Затем — лабораторные заклатья,
Алхимии проявки и печати, —
И вот он — древний Город на заре!

Кружится снимок просто и беспечно.
А там, в его глуби, — трепещет вечность,
Как стрекоза в бессмертном янтаре.

КОЛОМНА. АЛЯБЬЕВ

Ольге Королёвой

Снова холода приметы,
Снова хмурая пора:
День осенний, стылый, светлый,
Словно слиток серебра.

Ссылка, хлопоты, крестины,
Дух глинтвейна, жар камина...

Смолкнул колокол великий,
Смолкли отзвуки часов,
Но чудесная музыка
Льётся бархатом басов.

А под вечер глянет солнце,
И сквозь кроткий робкий свет
Нам Алябьев улыбнётся
Через эти двести лет.

АКАТЬЕВО. РАХМАНИНОВ

Наталии Кочетковой

Из романтической Германии
Поёт в провинции рояль,
И дремлет лето. И Рахманинов
Глядит в коломенскую даль.

Сверкнёт росой утро раннее:
И сада вышитая шаль,
Сирени свежее дыхание,
Реки сверкающая сталь,

Где серебром туманы плаваются...
...Случайно клавиши касается
Его прекрасная рука.

Провинция, модерн, и музыка,
И три извечные союзника:
Обрыв, Акатьево, Ока...

КОРОЛЕВСТВО НА ЛАДОНИ

Александру Гусеву

Алхимики и книжники седые,
Художники и златокузнецы,
И рыцари (чеканные ряды их
Сплетают королевские венцы).

И крепостные башни, и соборы,
И дикие отроги древних гор,
И полный тайн средневековый город
Сошлись в густой готический узор.

И королевство, и король на троне
Спокойно умещаются в ладони.

Мы смотрим в эти крохотки сквозь линзу,
И словно тайна в них заключена...
Что, если кто-то — там, в неведомой жизни,
Вот так же тихо созерцает нас?

МИХАИЛУ МЕЩЕРЯКОВУ

Прохладой льётся напиток ночи,
Туманной брагой — в земное дно...
Ты строишь замок, умелый зодчий,
Из тихих песен и вещей снов.

И все надежды и мысли наши
Сплотились в гулкий волшебный плен.
И смотрят в небо короны башен,
И бродит стража на гребне стен.

Чем выше взор — тем сильнее ветер.
Фонарь дозорный в бойнице светит...

Уже внизу — пятьдесят ступеней,
И ясно видится с высоты
Просторный Город огня и тени —
Бессмертный мир, что построил ты.

СЛИВОЧНИК

Как сказочного сада сочный плод
Круглит созревшей плоти повороты,
Так сливочник изысканной работы
Уютом древних трапез отдаёт.

...Янтарным чаем чашки налиты,
Фарфор, печенье, нежные персты,
И девушки с улыбкою счастливой,

Как будто бы серебряные соты
В себя вобрали тёплый пряный мёд:
Округлый и сверкающий оплот
Внутри покрыт нарядной позолотой.

И звонкая серебряная гроздь,
И ручки тонко сточенная кость
Прелестная — под цвет
налитых сливок.

ХАНЗЕЛЬ

Пестроту товаров разных
Строй витрин в узор связал...
Александр Львович Ханзель
Вновь идёт в торговый зал.

Точно царь, в costume строгом,
С обаяньем полубога

У дверей встречает сам
Покупателей обычных!
Он — из «мальчиков» столичных —
Неспроста явился к нам;

Выбирай: костюм ли, вазу ль...
В серебре своих седин
Дух торговли — славный Ханзель —
Человек и магазин!

КУДЕСНИК

Борису Архипцеву

Священный кремль в тиши апреля спит,
В постелях дремлют маленькие дети,
Спят слободы, молчит старинный скит,
На древних башнях спит тысячелетье.

Луны окаменелый сталактит
Безмолвия развешивает сети;
И только Вечность пылью шелестит,
Как будто мышь в купеческом подклете.

И лишь в одном окне струится свет,
И там, в тиши, волшебник и поэт
Неслышно движет шахматные рати...

И пусть молчаньем Город занесён —
Он сохранит его спокойный сон
Бесплотную бронёй своих заклятий!

РОЖДЕСТВЕНКА

Вдоль Егорьевской дороги,
у Рождественских пенат,
там, где к речке — склон пологий —
тишиною грезит сад.

Где живыми огоньками
реют россыпи цветов,
видят сны седые камни —
точно Прошлого покров.

Эти глыбистые плечи
помнят плен тысячелетий...

Что ж! — полней бокал беспечный
для игристого питья —
за медлительную вечность,
за мгновенность бытия!

КОНСТАНТИНУ ПЕТРОСОВУ

Ахматовская кончилась эпоха;
Конец тысячелетия. Зима.
И то, что мы не спятили с ума,
По-своему уже совсем неплохо.

А вспомнишь времена царя Гороха,
Когда плевалась кровью Колыма,
Так наши дни — умеренны весьма,
И вроде нет причины, чтобы охать.

Возьми Коломны вытертую карту! —
И ты отыщешь древнего Урарту
Глубокий и пленительный родник.

Причудливо сошлись века и страны:
Как маяки на кромке Океана,
Как зимние страницы наших книг.



Михаил Мещеряков

Михаил Викторович Мещеряков родился в 1963 году в Коломне. Окончил Рязанский медицинский институт. Работает врачом. Стихи пишет с юношеских лет. Посещал занятия литературного объединения «Рязаня». Печатался в областных и районных газетах. Победитель городских поэтических конкурсов.

Постоянный автор «Коломенского альманаха». Выпустил три книги стихов: «Пустынное бесцумье» (1999), «Тысячелистник» (2002), «Возможность творчества» (2009), тепло встреченные коломенским читателем.

Некоторые стихи, переложенные на музыку и исполняемые автором, перешли в жанр авторской песни. Награжден литературной медалью И. И. Лажечникова.

В новой подборке стихов Михаила Мещерякова, представленной читателю, — стихи о творчестве, о нелёгкой судьбе Поэта, об отношении сегодняшнего поколения к памяти о Великой Отечественной войне. Одно из стихотворений — возвышенное, светлое — посвящено памяти ушедшего замечательного художника Михаила Абакумова. Оно звучит прекрасно и строго, напоминая нам о картинах Мастера, о вечной нетленности подлинного искусства.

ЗАБЫТЫЙ ВКУС

ПОЛНОЧЬ. ПОЛНОЛУНИЕ

Медленного безумия
Чаша уже полна.
Это всё полнолуние.
Полная всё Луна.

Это на лбу у Бога
Лунный фонарь горит.
Он и в саду убогом
Высветит, посвятит

То уголок беседки,
То силуэт куста,
Или стихи, но редко —
Метины на листах.

Может, тогда нависнет,
Брызнет из всех щелей
Опыт прошедшей жизни,
Пережитое в ней.

Может, тогда случится
В самом стихе, в конце
Маленькая частица —
Правда, а может, цель?

Свет её, тихий самый,
Сила её, слаба,
Переполюня сад мой,
Выплеснулась в слова.

ПОЭТЫ РОССИИ

Поэт в России долго не живёт.
Примеров много — исключенья редки.
Он здесь то за свободу глотку рвёт,
То руки ранит о решетья клетки.

Петля и пуля — вот его удел.
Дробинкой в глухаря, стаканом в глотку
Ему — то ангел смерти прилетел
На крыше гроба отбивать чечётку.

На цифре 25 ли, 37,
Иль 42 их жизни обрывают,
Погибшим — всем, застреленным им — всем
Потомки тихо славу воспевают.

И сколько бы ни продолжался трёп
О тех, кто выжил — мол, позор им, сытым, —
Но если двух оставят или трёх,
То это славу воспевать убитым.

В тридцатые их всех увёл конвой,
А если и остались там живые,
То сколько их зарыто в шар земной
Потом в сороковые-роковые...

Пал в двадцать первом храбрый Гумилёв,
Гудзенко пал, сжимая штык до хруста.
А баснописец мудрый наш Крылов —
На тридцать третьем... пирожке с капустой.

ПАМЯТИ МИХАИЛА АБАКУМОВА

Отпевали Мишу в церкви,
И небесный Михаил

Расположен был не в центре —
Выше, там — среди светил.

И в высотах, где сквозит он —
Дух его — и твой возник.
Ты придёшь к нему с визитом,
Как смиренный ученик:

Домовина тесновата!
Что пенять на тесноту...
Был я малость бесноватый,
Кисть летала по холсту.

И ещё скажу я прямо,
Что в сомнениях бывал,
Но разрушенного храма
Никогда не воспевал.

Не стихи Тебе, не песни —
Их другие сотворят —
Но с картин моих небесный
Свет струился, говорят.

Лучезарный иль коварный,
Кисти и карандаша —
Вдохновитель мой? И дар мой
Был из Твоего ковша?

Нёс его сквозь мир жестокий,
А потом и он иссяк...
...монастырский хор высокий
Проникает всё и вся.

Храм парит легко над бездной,
А над куполом его
Возвышался свод небесный
Весь от Храма Твоего.

Наши радости и беды
Там уж будут невдомёк,
И последние ответы
Все получим, видит Бог.

ВОВ

Во многих документах новеньких
(Я это знаю не со слов)

Откуда-то берутся ВОВики
(Участники какой-то ВОВ).

И почему-то очень хочется
Не этих ВОВиков читать,
А так: по имени и отчеству —
Солдат Отечества назвать.

Конечно, зелено и молодо,
Ошибки канцелярских дур,
Но только всё же веет холодом
От этих аббревиатур.

Всё может клика разноликая,
Но пусть в любые времена
Для нас останется
Великая
Отечественная
Война.

ЗАБЫТЫЙ ВКУС

Ты помнишь «Алазанскую долину»,
«Киндзмараули» или «Хванчкара»?
Их привозили крупные грузины,
Кричали «Вахх!», сидели до утра.

Мы тоже вина пробовали эти,
И за столом такой стоял гудёж!
Но «Ркацители» или же «Эрети»
Не понимали вкуса. Молодёжь!

Грузинское вино, я помню вкус твой!
Быть виноградарем — не ремесло.
И это высочайшее искусство
Кому мешало и куда ушло?

Не за награды держат вина эти.
Искусство в том, чтобы за годом год
Вот так и жить в таком осеннем свете,
Где теплота сквозь виноград течёт...

Нам жить и жить, до самой
 поздней смерти,
Но вот сейчас, испитая до дна,
Напомнила бутылка «Алаверди»
Забывтый вкус грузинского вина.



Карина Сейдаметова

Карина Константиновна Сейдаметова родилась на волжской земле в городе Новокуйбышевске Самарской области. Именно здесь впитала живительную силу «Волжской Вольницы», жигулёвских красот. Предки поэтессы по бабушкиной линии — уральские казаки, по линии деда — крымские татары.

В 2014 году окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор поэтических сборников «Лазурь», «Позимник», «Соборный свет», а также многих публикаций в журналах «Наш современник», «Роман-журнал XXI век» и других. Член Союза писателей России. Основные темы творчества — Русский Север, казачество, восточные мотивы и православные традиции.

В июне 2014 года переехала в Коломну — на святую русскую землю, богатую историческим наследием и славную ратными подвигами святого благоверного князя Димитрия Донского.

СЛОВО РУССКОЕ, ВЕСКОЕ, ГРОЗНОЕ

* * *

Сочельник. Ночь. Крещение.
За всё прошу прощения!

И, окунаясь в Иордань,
Верну Христу святую дань.
И ночь младенчески-чутка
В морозно-тихий облаках,
И водосвятий глубина
В соборный свет погружена,

Когда смиренный луч звезды
Крещает темноту воды...

* * *

посвящение N

Я для тебя — нелепа, смешна, проста.
Что же! — всерьёз шути или плачь сквозь смех...
Или забыл, как смородину рвал с куста,
Кровную терпкую ягоду, — ярче всех?!

Лето пришло и прошло, унеслось, как миг,
Мир отеплив, убаюкав речную гладь.
Я приняла мираж — за живой родник,
Вечно рождённый казаться и ускользать.

Тщётно мы мерялись силами — хоть убей!
Тщётно братались смородиною-рекой,
Велес так бился с Усыней, и Челубей
Со схимником Пересветом держали бой.

И в хороводе новых своих невест
Вспомнишь ли нежную терпкость того куста?
Разные, разные мы... И Россия с небес
Тоже порой нелепа, смешна, проста.

196

КАРИНА СЕЙДАМЕТОВА

* * *

Перевернуты чашки и вымыты.
Пел капризный белёсый фарфор.
Проходи, мной неузнанный, мимо ты,
Презирай прозаический спор.

Пережгло, и букетно-тюльпановых
Примирений не помню уже.
Ничего не воротится заново —
Чокнусь чаем за бывших мужей!

Потерялось кольцо обручальное.
По подъезду умолкло «Пока...».

Ожидания дней одичалые.
Гулкий отзвук дверного звонка.

По ступенькам ушагивай, с пятого
Этажа — уходящий, как день...
Я запомню тебя, провожатого,
В пёсией шапке, всегда набекрень.

Я в январское хмуревое блёклое
Новый год начинаю с нова.
Не мороз за оконными стёклами,
А морозный рассвет-синева!..

* * *

Ты снишься, как черёмуховый ветер.
По-майски ясно и светло в саду...
Любовью дышат душные соцветья.
И я по саду, юная, иду.
Несмелая иду под вздох черёмух.
Себя на «до» и «после» не деля.

Мой самый точный, самый важный промах —
Жить начинаю набело, с нуля.
Пусть запах той черёмухи ознобкой,
Гонимый ветром, вскинется в окно,
И я поверю в суть примет народных —
Не всё ли жизнью определено?!
Фасонится черёмуховым платьем
Княжна-весна, не ведая зачем...
Цветущая у юности в объятых
Влюблённость — вот поэма из поэм!
Весенний мой, стремительно-рассветный,
Влюблённо юный, невозвратный май,
Не утрашись безудержного ветра,
Черёмуховых судеб не ломай...

* * *

Век мой китежный, отражение
Бела-облака в озерце...
От искристой воды свечение,
Сполох радости на лице.

На твой берег пришла смиренно я.
Зорким солнцем всплывать со дна
Будет истина сокровенная,
Преднабатная тишина.

Обниманья — рассветы ёмкие,
Целованья — денниц пожар...

Это нам всеозёрной кромкою
Улыбается Светлояр.

Стон набатный, как сон, срывается,
С колоколен струит вода,
Когда с веком своим встречаются
И прощаются с ним когда

И на крыльях стрижей возносится
Зримый, видимый за версту
Свет от встречи до неба с проседью
Из отверстых вод в высоту.

* * *

Новодевичий монастырь.
Ветерок у Напрудной башни...
А вдали не пустырь — псалтырь! —
Из февральских надежд вчерашних

Буд то Софья-царевна в пруд
Смотрит с неба на птичью стаю
Мир, очнувшись от зимних пут,
Требник близкой весны листает...

Утопиться бы в том пруду,
Отвергая весны заветы —
Рябью зябкою пробегут
Все слова уносимые ветром.

Ну, пошто во гресех опять,
 Как в темнице, душа плутает,
 ...Запретив по тебе скучать,
 Нынче это себе позволяю.

* * *

Что лучше: в небе журавлём лететь
 Или дрожать в земных руках синицей?..
 Нам трудно от желаний откреститься,
 Тем и наказаны, и виноваты тем.

Помилуй заполошных и прости!..
 Поддели мы терновыми шипами —
 Сомненьями израненную память.
 Смиренье в нас — неторные пути...
 Даруй, самих себя перерастить!

КРЕСТНЫЙ КОСТЁР

Что же ты хочешь, Бог
 (Если ты есть на свете!),
 Дав мне из всех дорог
 Пару - стихи и ветер?..
 Пыльной тропой идти
 Мне в навечерье¹ синем
 Ветер завыл: «Прости!»
 Ветер, ужели сгинем?
 Зыбку из звёзд качал
 Мир на верхушках сосен,
 Дав мне из всех начал
 Пару поблёклых блёсен.
 Ветер, лови, лови
 Вечером в невод звёздный
 Ветренный стих любви...
 Верь мне, пока не поздно!
 Чтобы костёр возжечь
 Крестный, нужны в дороге —
 Ветер, стихи и речь —
 Всё-таки! — речь о Боге...

¹ как празднику Рождества Христова, празднику Крещения предшествует день строгого поста - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), которое свидетельствует об особом значении начинающегося торжества. В древности был обычай в ночь под Крещение петь дивные песни Богу и зажигать костры и факелы на улицах, площадях, перекрёстках и во дворах, так что столица Византии, Константинополь, в эти ночи казалась объятой пламенем.

СЕЙДО́ЗЕРО

Щедрая полночь разбрызгала золото.
Звёзды - медовыми сотами...
Прыгай с откоса беспечно и молодо,
Наши падения грезят высотами.

В этом, потерянном времени странника
Стрелки в часах разойдутся и встретятся,
Словно две тени татарского данника
При появлении небесной медведицы.

Где по дорожкам морошковым пройденным,
Тундра суровая, к пришлым жестокая,
И начинается, брат, моя Родина —
Диво-Сейдозеро североокое.

Дремлет в нём сила природная, рудная,
Русского золота бездна тревожная,
Только его отыскать — дело трудное,
А для кого-то порой невозможное!

Лишь со смиренным терпеньем старателя
Сверь, по примете: тебя ли ждут семеро?¹ —
Станешь единственным завоевателем
Снежного ягеля, русского Севера.

Мы с тобой, брат, ещё выпьем шампанского
На берегу оправданий и чаяний,
В домике старом, а Сейды¹ шаманские
Тихо нашепчут нам байки нечаянно.

Щедрая полночь разбрызгала золото.
Звёзды - медовыми сотами...
Прыгай с откоса беспечно и молодо,
Наши падения грезят высотами.

* * *

Есть в дожде откровенье – потаённая нежность.
Ф.Г. Лорка

Синее, синее, нежное-нежное,
Тихое-тихое вновь надо мной
Облако веры, любви и надежды,
Нешто пророчит мне дождь проливной?!

¹ «Сейд» – святой, священный. Пирамиды, сложенные из камней в определённом порядке.

И отчего это облако синее?
С небом, наверно, роднится оно.
Может быть, я от рождения сильная,
Может быть, так мне судьбой суждено.

Свиделись мы — переливами-ливнями,
Почву земли напитали с лихвой.
...Ты мне позволил стать просто счастливою,
Ясной, живою, водой дождевой...

* * *

«...Но небесные замыслы есть!»
Ю. Кузнецов

«...Значит, я ещё здесь для чего-то нужна, —
Пусть летит в неизвестность рассветный трамвай,
Посему решено!» — так устало она
Повторяла себе: оживай, оживай!

И от счастья рыдать, и от радости взвыть —
Ты поверь: ничего невозможного нет.
Никому никогда ни за что не избыть
Твой пронзительный раненый ранний рассвет.

Небеса... И по ним будут плыть облака;
А земные трамваи — по рельсам ходить
И привычно, как няньки, качая слегка,
И друзей, и врагов, и прохожих возить.

Разве это друзья, если всласть — только власть?
Разве это враги, если им всё равно?
А прохожие, что ж? На примете одно —
На фатовый трамвай задарма бы попасть.

Под дождём постоят, но промокнут — едва ль.
И беспечный твой радужный день умыкнут.
И за высшую доблесть — за подлость медаль
На нагрудный карман пиджака пристегнут.

Но смешно неразумных за это корить —
Пусть трамваи баюкают их день за днём,
А тебе остаётся влюбляться и жить,
Лишь бы не забывала, зачем мы живём.



Ксения Нагайцева

Ксения Анатольевна Нагайцева родилась в Коломне. Училась в 9-й и 12-й школах. Параллельно в музыкальной школе имени А. А. Алябьева по классу фортепиано. В 2013 году окончила Московский государственный лингвистический университет. Окончила воскресные курсы литературного мастерства при Московской городской организации Союза писателей России.

В 2010 году вышла первая книга стихов «Я влюблена была...». Занимается поэтическими переводами на испанский язык. Печаталась в еженедельнике «Литературная газета», в альманахе «Золотое руно», в международном журнале «Золотая площадь». Член Союза писателей России.

Стихи Ксении Нагайцевой безоглядно искренние, полные страсти и осознания собственного «Я» на пороге взрослой жизни. Душа её, мятущаяся и ранимая, рождает удивительно точные образы и неожиданные метафоры в исповедальных стихах о любви — это, конечно же, главная тема сегодняшнего творчества юной девушки.

ИЩУ ТЕБЯ, БРОСАЮ ЯКОРЯ...

* * *

Всё правильно, и это раньше было:
Земля на листьях, листья на земле.
Моё очарование остыло
И скрылось на прекрасном корабле.

Теперь твоя любовь — совсем иная,
Раз, скрылся вмиг — и был, хитрец, таков.
Закрытые на тысячи замков,
Стихи опять слоняются, стеная,
Как брошенные дети моряков.

Пришлю тебе посланья по-испански,
Но топишь их, не вскрыв, не прочитав.
Я этим — возвращусь из нашей сказки,
Несказочной печали перебрав.

Теперь же, открывая чьи-то страны,
Маяк не потеряет свой накал.
Всё правильно: раз ожидать не стал,
То грустью переполнив океаны,
Опять вернулся — к горечи начал.

* * *

Мысль первая от Бога ли? ну что ж,
Доверимся и этой аксиоме,
На пальцах прорастает Божья рожь,
И ангелы трепещут на пароме,
И юноша со мною этот схож.
...Скучает по нему вторая мысль,
От дьявола — губительные речи
По телу необъятно разлились,
Когда с моими ласково слились
Его неописуемые плечи.
...Так две воды сошлись в одну дугу,
И ангелы поют на берегу,
А юноша не ждёт — со мною схож,
Чужие мысли взявший на пароме,
Мой первый жнец — срезает с пальцев ложь
И молнии запрятывает в громе.

* * *

Что толку в этой мудрости, в стихах?
Играю, словно на подмостках театра.
Уродливая женщина в мехах
Читает «Тошноту» Жан-Поля Сартра.
Причудливый скривился небосвод,
Из тела будто душу вымывает,
И облако из поднебесных вод
Утопленником пухлым выплывает.
На шпилях, как на дыбе, распластав,
Садистскую испытывая точность,
Мужчины, нажимая на сустав,
Всё девственниц казнят за непорочность.
Такая беспризорность, чёрт возьми,
Что шагом не летящим переулки
К ногам я прибываю, как гвоздями,
Раскуривая звёздные окурки.
Не знаю назначения пути,
Как ветер над рекой, по кругу гонят,
И там, где мне при жизни не пройти,
Уронят в небо, словно похоронят.
...Великая вселенская спираль,
Раскрученная в каждом человеке —
Но стоит ли идти в такую даль
Со старческой душой больной калеки?

* * *

Говорим два часа, и на третий становится
До отворачивания искренне каждое слово,
Сентябрь в любовники к осени просится,
Ты — мой сентябрь с худой переносицей,
Видимо, вышил «чего-то такого».

Любовь — это сделка, скреплённая золотом,
В договоре хорош только опыт и бдительность.
Расчёт не смутишь ни угрозой, ни ропотом,
Область сердца напротив — всегда относительна.

Так прочнее, и все разговоры за подписью,
Обозначены твёрдой рукой покупателя,
Договор подкрепляется скудной описью,
И сентябрь вступает в права обладателя.

Так могло бы случиться, по договорённости,
Как всегда, отступают от жизни намного:
Кроме позднеосенней к нечестности склонности,
Ведь сентябрь, увы, не учёл этой скромности,
Да и не предлагает «чего-то такого».

* * *

Каблук скользит по льду бульвара,
На снег бросаю в третий раз,
Пока луны, как от удара,
Дрожит окоченевший глаз.

Здесь каждый пьёт и каждый курит,
И небо сверху, как гранит,
Здесь, раздавив, любого губит
Ледовой грусти монолит.

И веток спутанные пакли,
Застывшие, страдают тут.
Недалеко идут спектакли,
Бездарно, холодно идут.

Обморожению покорны
Окоченелости страстей,
И памятник стоит огромный,
Отгородившись от людей,

И вечер, в сумерках сгущаясь,
Затвердевая на ходу,
Лежит, почти что умещааясь
В морозом скованном пруду.

А я, не пряча в куртку руки,
Сама, как будто изо льда,
От леденящей душу скуки
Пришла заоченеть сюда.

* * *

О память — этот чёрный господин,
Песочные темнеющие дали
К тому, кто изначально неделим,
Приходят ли сторонники морали?

Две всадницы печали и тоски
 Впрягают лошадей тяжёлозвонных,
 И сыпятся последние пески
 Над парою артерий полусонных,

Над парою коней, смотрящих вниз,
 Впряжённых в золотые колесницы,
 И глаз их утомителен и сиз,
 И остр, и пронзителен, как спицы,

И так же поразителен тот ход,
 По кругу не проходят те копыта,
 И так они идут из года в год,
 И злобою копыто их подбито,

Две всадницы ведут их на меня,
 И попытка эта с горем чем-то схожа,
 Вздывается копыто у коня,
 И давит спину, и слезает кожа,

И тело, распластавшись, прячет плач,
 Трещат от плача стоптанные уши,
 И носятся по телу кони вскачь,
 Как будто неприкаянные души,

И встать бы — но зачем и для чего?
 Подняться бы — но негде мне укрыться.
 И бьются громче сердца моего
 Копыта и пронзают, словно спицы.

* * *

* * *

На бёдрах удержали пояса
 Две лошади с железными боками,
 На нас смотрели рыжая лиса
 И кошка с человеческими руками,

Мы были синим птицам чужаками,
 Пока они летали в волосах,
 В твоём играли стонущем костюме;

Того, кто изначально разделён,
 Никто и никогда не посещает,
 И бледный растекающийся лён
 Великую разлуку освещает.

Но внутренне нет цельности ничуть,
 Обломки были брошены повсюду,
 Разлука освещает бледный путь
 И бьёт меня, как старую посуду.

Забудусь ли, проклятый господин?
 Вернёшь недостижимую целость?
 Но тот, кто разделён, тот не един,
 И в том его несчастье и ценность.

Достигнуть изначально полноты?
 Но в памяти, наполненной до веры,
 Остался растекающийся ты,
 Мешающий собраться мне до меры.

И руки притаились в поясах,
Как мышцы в увлажняющемся трюме...

Дельфины разбивали от тоски
Лоснящиеся морды о салфетки,
А рыбы бились, как твои виски,
В заброшенной навек рыбацкой сетке,

И псы пришли на это посмотреть,
А я — так отвернулась от позора,
Ты хочешь этот пояс отпереть,
Напомнив мне не взломщика, но вора!

Мне стыдно, и волчица голодна,
И звери раскрывают жадно пасти,
И если есть у вечера вина —
Она в неутоление нашей страсти,

И это змей приводит в чёрный гнев —
Животные тобою оказались,
И вышел из себя мохнатый лев,
И псы ему, как богу, поклонялись!

Но вдруг встаю, ломая полюса.
Хоть и не стою твоего мизинца.
Прогнав коней, снимаю пояса,
Но поздно, и проклятая лисица
Меня увозит с твоего зверинца.

* * *

Любовь моя, янтарный человек
Из моря вышел словно из оправы,
И мокрые спустились из-под век
Ресницы, словно сумрачные травы.

Богатство золотого янтаря —
Всё золото: под телом и на теле,
И в этом ограниченном пределе
Причудливые плещутся моря.

Ищу тебя, бросаю якоря,
Все солнца опаляют эти мачты,
И камень тот, невзрачный и прозрачный,
Лежит в тебе, закатами горя.

Но вот ты откликаешься на зов,
Кольшется прибрежная золотца,
И, выйдя из телесных берегов,
Твоё я вижу имя, имя — Солнце!

Великий, золотой мой человек!
Ты жаром даже море опалаяешь,
Но золото, что льётся из-под век,
За сумрачные травы принимаешь.

* * *

Если встанешь по правую руку от дня,
Когда лютое лето столкнуло нас вместе,
То увидишь, как солнце пылает, кляня,
Все мои предрассудки о страсти и чести.

А теперь всё ушло. Не летят мотыльки
На горящих свечей золотые тюльпаны,
И вдруг стали объятия наши легки,
Как по небу скользящие аэропланы.

Если встанешь по левую руку, то ты
Вновь увидишь,
как бились со мной предрассудки,
И с небес пролились неземной красоты
Бирюзовых огней и ночей незабудки.

Но ты стал удаляться тогда же, как смерч,
И как будто и не было лютото лета:
Так зачем предрассудкам беречь мою честь,
Если страсть не имеет ни вкуса, ни цвета?

Так вот лето исчезло, как пасмурный сон,
И, увы, не успев распуститься цветами,
Так обидно и ясно с обеих сторон,
Что в случившемся были виновны мы сами!

* * *

Так скучно, мой любимый, тяжело.
Все слышат от меня одно и то же,
Печаль всё так же одевает кожу
В бесследно уходящее тепло.

Любимый, знай, прохлада на словах
Равна тоске твоих прикосновений,
И в наших наклонённых головах —
Текут озёра жутких огорчений.

Озёра с огорчённой высоты
Текут, как бесконечные объятия,
Оставив от взаимного несчастья
Немного невзаимной доброты.

Ты добр, как и прежде, ну, а я,
Уставшая от самого начала:
Так долго будешь, долго ждать меня
Ночами у разбитого причала,

И если вдруг дождёшься, то поймёшь,
Что страсть была сильна, но злополучна,
Поэтому не трожь пока, не трожь:
С тобою тяжело, с собою — скучно.

ОСЕНЬ

Мне нравится безропотность прощания
И обречённость невозвратных дней,

Медлительная лёгкость умирания
В ажурном золоте заплаканных аллей.

Её задумчивость в предсмертном замирании,
Когда небрежным отблеском кленовый
кружит лист

И ветрено осеннее дыхание,
И луч последний холоден и чист.

* * *

В белых комнатах — простор.
Ветер зимний, ветер лёгкий.
Полусонный разговор.
Голос тихий, голос робкий.

Поступь лёгкая и взмах,
Белый, дальний и влюблённый.
Неуверенность в шагах,
Изгиб ткани осветлённый.

По углам рассыпав — тишь.
Тянет ниже, тянет туже
С поднебесившихся ниш
В непредельность комнат — глубже.

И обрушенный, как звон
Тишины, невероятный
Поцелуй сквозь белый сон
Дальний, тихий и приятный.

* * *

И всё не то, и всё не так,
И дом не тот, и сад не ярок,
И месяца ослепший знак
Не ярче, чем свечной огарок.

И тошнотворен каждый слог,
До тошноты знакомы арки,

Чтобы сорваться со всех ног
Окаменеть в каком-то парке,

Найти, что, словно бы кусок,
Из жизни вырван с возвращеньем
В тот город, где черничный сок
Ночь льёт на небо с отвращеньем.

На гвозди — звёзды, на крючок
Повесить душу, как одежду,
И, запирая на замок,
Как рухлядь старую, надежду,

От всех бежать в свою нору,
Стихи до пепла жечь и сажу
И в сердце залатать дыру
Его предвиденной продажи.

* * *

Кровавых жемчужин рассыпчатость
Темнеющих вишен и роз
Вечерних небес переливатость
Омыла волной дальних гроз.

На лиственный бархат стрекодуший
Склонился поющий цветок,

Нежнеющий сумрак бормочущий
Накрыл дотлевавший восток.

Расчерчена влажным скольжением
Вздыхающего божества
На ветви легла измождением
Блаженная тень естества.

* * *

Я в этот вечер так красива,
И новый плащ мой так хорош.
Иду назло неторопливо,
И по губам сбегает дрожь.

Осенний ветер, не касаясь
Иззолотившихся волос,
Смывает макияж, бросаясь
Прохладой ливневых полос.

Зачем кокетливость, притворство?
Зачем улыбки мутных слов?
И узкой юбки неудобство,
И стёртость модных каблучков?

Зачем мечтать о невозможном,
Плывя в безумнейшем чаду?
Мне от него спастись возможно
В не мною созданном аду?



Анна Лексина

Анна Владимировна Лексина родилась в Москве, росла в деревне Бакунино Коломенского района. Там она с ранних лет видела красоту подмосковной природы. Училась на историческом факультете Коломенского педагогического института, по окончании которого поступила в аспирантуру при кафедре литературы. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Историческая проза Всеволода Соловьёва: генезис и поэтика» под руководством доктора филологических наук, профессора кафедры литературы Александра Петровича Ауэра. Сейчас работает доцентом кафедры педагогики ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социальный гуманитарный институт (прежнее название — Коломенский педагогический институт).

В 2009 году у Лексиной вышла первая книжка стихов «Дом дружбы поэтов».

Живёт в деревне Бакунино Коломенского района. Стихи Анны Лексиной — и гражданственны, и лиричны. Она горячо отзывается на тревоги сегодняшнего дня, болеет душой за судьбу Земли и России. И в то же время Анна по-женски тонко чувствует весну, любовь и всё то прекрасное на свете, чем полна жизнь человека.

ДОЖДЬ ДЛЯ НАС

ЗАЗДРАВНАЯ ПЕСНЬ

Улетайте от меня, сомнения,
Я сегодня буду петь Заздравную —
Прославлять моей земли рождение,
Вдохновлять людей на труд во славу ей.

И не слышу я рвачей, укушенных
Бешеной собакой, «Власть» зовущейся.
Им не более других отпущено —
Небо синее коптить могуществом.

А земля моя такая нежная,
Ароматная, как пряник праздничный.
Надышаться про запас надеждою
И отправиться по свету странствовать,

И везде дарить улыбку встречному,
И в печали помогать несчастному.
У земли моей — слова сердечные
Для всего живого и прекрасного.

СВЯТОЕ РУК ЕДИНСТВО

Мы слишком долго над собой смеялись,
А нынче — потешаются другие.
Мы перед миром шутовским кривлялись,
Теперь в дурацком колпаке — Россия.
Пусть слёзы душат... Лучше мы поплачем,
Потом вздохнём, возьмём топор и вилы,
И будем отвоёвывать удачу
У тех, кто роет Родине могилу.
Ребята, мы всё дружно одолеем,

Не переломят нас враги лихие.
Давайте нашу землю пожалеем.
Возьмёмся за руки, а вместе мы — стихия!

МОГИЛА СОЛДАТА

Моих следов на снегу
Ниточка
Обрывается на бегу —
Плиточка...
Обернуться уже не смогу,
Вспомнить бы
Перед самым началом пути —
Колокол,
Поднимающий будущих в бой идти.

ПАМЯТЬ И БОЛЬ

Когда я вспоминаю о войне,
Стирающей добра и зла границы,
Я вижу ручки детские в огне
И варваров смеющихся лица...
Не лица — маски расовых господ,
Владеющих, по праву мародёра,
Землёй. Карающих любой народ,
Который не приемлет лжи террора.
И думается мне, что мы больны,
Поскольку сами им даём возможность
Ломать величие родной страны
И покупаем смерти непреложность
В машинах, куршавелях, ГМО,
Не видя толерантно ничего,
Способного нас правдой пристыдить
И от заморских снов освободить.
Мы свой мещанский рай не отдадим
За мирное детей и внуков небо,
А наши деды знали — победим! —
Лишь только бы войны в природе не было.
Их на коленях мы должны просить
За равнодушие и трусость нас простить.

* * *

Родилась на планете Земля,
В государстве, безвинно убитом
И обоганном, и позабытом,
Но не мной... Помню, ехала я

Но союзы уж нынче не в моде,
Междометия больше в чести
И способности лгать о народе,
Побеждавшем всё зло на пути,

Из столицы в деревню, на волю,
Пятилетнею девочкой... В поле
Трактора пыли, как корабли,
Разгулявшись в зелёном просторе
Нашей русской священной земли,
Что союзом советским и кровью
Миллионов героев своих
Даровала возможность сегодня
Для Поэзии пестовать стих.

К идеалам высоким и чистым.
Но легко удаётся софистам
Сделать белое чёрным за мзду...
Я училась бесплатно. Иду
По Пути кандидатом, доцентом
И учу современных студентов
Быть достойными прежних идей,
Как бы их палачи ни чернили,
Приближая Россию к могиле.

* * *

Пора её спасать — Родную Землю!
Пора спасать планету от тоски,
От пошлости мещанского достатка
И магазинного досуга масс.
Когда же к небу повернёте лица,
Поймёте, что «покой нам только снится».
И, начиная чистую страницу,
Прах отряхнёте тряпок и колбас.
И будете стихи читать, как гимны,
И музыке внимать, как откровенью
Божественного слова в полноте
Всего существования земного.
И понимать, что ценности не те
Мы водрузили на Доску Почёта
И что у нас одна теперь забота —
Вытаскивать Россию из болота
Упадка духа, череды потерь.
И в танце ощущая единенье,
Мы рук не разожмём до возрожденья
Народного сознания любви
К своей стране, её лесам и рекам,
К великим и обычным человекам,
К истории мучительной и грозной,
Но — нашей, кто бы что ни говорил!
Довольно попирать ногами сказки
И верить, что Иван — дурак дурацкий,
Емеля — лодырь, хам и идиот.
Был мудр и честен русский наш народ,
Когда, хитро прищуривая глазки,
Показывал, где ложь, а где — намёк.
А верность — добрым молодцам урок!
Не променяем сказок русский дух
На джип, канары, трёп гламурных мух,
Летающих от мёда до сортира
И прославляющих чуму во время пира
Со всех телеэкранов и газет,
Вползающих по сети Интернет

На стол ко всей Земли паучьей своре.
Долой — и мух, и пауков! Встряхнёмся
И песнею задорной разнесёмся
По всей Вселенной, радости бойцов
На мирный труд всечасно призывая
И жизнь, как ценность, вечно прославляя,
Любовью озарим глаза рабов!

ПАМЯТКА

Сушите сухари, снимайте флаги
И запасайтесь книгами на вечность.
Учитесь лапти вновь плести, бедняги,
Мечтая о прорыве в бесконечность.

Заткните дыры времени-пространства
Душевной и протяжной русской песней:
Нет во Вселенной крепче постоянства,
Чем с Родиной делить печали вместе.

ПУТЕВОДНОЕ

Лесополосой чересполосиц
Пробираюсь в сумраке весеннем.
О земном мелькает знаменосец,
О небесном полыхает гений.

Водосбором — половодье сердца.
Укрепляю пальцем дырку в дамбе.
Нагружу рюкзак, надену берцы
И уйду в туман, назло Каррамбе.

По моим следам идти не надо —
Смоет время отпечатки пальцев.
Если не боитесь звездопада,
Приносите зеркала и пядьбы.

Будем вышивать пути в пространствах
Отраженьем света неземного.
Протяну вам все протуберанцы
И перекрещу перед дорогой.

ПЕСНЯ БУДНЕЙ

Все мы в жизни одиночки,
Все мы среди стен...
Мы бредём бездумно ночью
С кем-то — и ни с кем.
Мы своей не знаем цели,
Цель нам не видна.
Будни дико надоели
В прорези окна.

А в голове шумят — мечты, мечты...
А за окном шумят соседи и коты.

Мы прикованы к дивану
Вечною тоской.
Марья — плачет по Ивану,
Он — ушёл в запой.
В нашей жизни постоянства
Давящий закон —
Всеобъемлющего пьянства
Долгий, тяжкий сон...

А через жизни в жизнь — мосты, мосты...
А у любви торчат копыта и хвосты.

Эй, Праздник, где ты?! —
Средь привычной суеты
Уснут поэты
И завянут все цветы...

КРАСОТА ЛЮБВИ

Пчёлы, защищая улей, гибнут.
От работы устав, падают замертво.
Разве смысл нашей жизни — покинуть
Этот мир, не открыв, что в сердце заперто?
Если заняты все сидячие места —
Разве улыбнуться нельзя стоящему?
Давайте любить, пока красота
Ещё дарована зрячему.

К СЧАСТЬЮ!

Ищут счастья,
Летя на огонь,
Мотыльки.
Ищут счастья
Птенцы,
Вылетая из гнёзд.
Мир спасёт Красота.
И дороги легки
Для того,
Кто любовью
Пропитан насквозь.

ДОЖДЬ ДЛЯ НАС

Хочется лежать и слушать дождь
И забыть о суете безумной.
Снова быть прекрасной, нежной, юной,
Знать, что никуда ты не уйдёшь.

Знать, что никогда ты не уйдёшь,
Даже если мир перевернётся...
И от суеты любовь — спасётся,
Слушая, как тихо плачет дождь...

ВЕСЕННЕЕ

Мартовское солнце
Рвётся в занавески,
Хор кошачий учит:
Рано встать — не грех.
Птицы — все при деле,
И тебе повестка —
Ждут за дверью Случай
И весенний снег.

И за лесом поле
Манит, улыбаясь,
Широко и добро,
Распахнув пути.
Путешествуй, путник,
С Радостью встречаясь,
С каждой песней птичьей
К Солнышку лети!

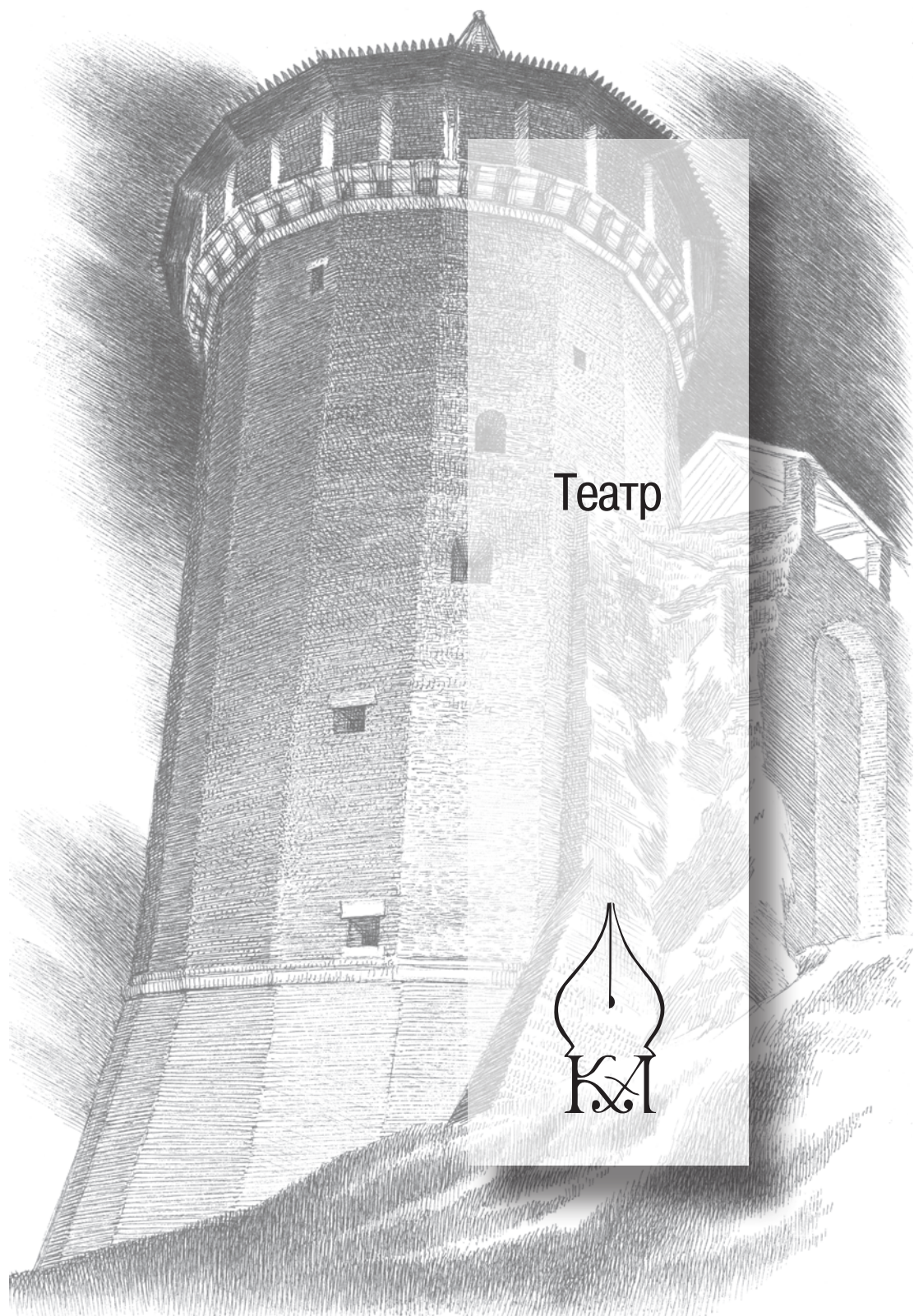
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Уносит ветром Прошлого
Весёлые деньки,
И в кораблях Хорошего
Плывут выпускники.
Им Лучшее мерещится
В сияющей дали...
А в Настоящем плещется:
«ГребИ, тянИ, рулИ!»

МЕЧТА

Я купила билет
В золотые рассветы,
Где предательства нет
И любви без ответа.
Там не спросят, зачем
Я пишу эти строки,

Заплетут мой тотем
Доброй вязью сороки.
Мне подарят покой
Сладкозвучные песни.
Я там буду с тобой —
Что быть может чудесней?



Театр





Графика Василины Королёвой

Надежда Кондакова

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ МАРИНЫ (МНИШЕК)

(драма в двух действиях
и трёх противодействиях)



Надежда Васильевна Кондакова — поэт, переводчик, драматург. Родилась в Оренбурге. Первые её публикации появились в 1967 году. В 1973 году окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Заведовала отделом поэзии в журнале «Октябрь». Автор 11 поэтических книг. Лауреат г. Москвы в области литературы и искусства. Член Союза писателей с 1977 года.

Надежда Васильевна живёт очень насыщенной событиями жизнью. Она была лично знакома со всеми старшими поэтами, дожившими до середины 70-х годов, практически со всеми ровесниками и с теми, кто на 10–15 лет моложе. Со многими из них она дружила. Она была свидетелем великих потрясений и низких проявлений человеческого духа. Об этом писательница сейчас и пишет книгу мемуаров «Без вранья, но с умолчаниями».

Живёт Надежда Васильевна в Переделкине.

Пьеса

«**М**не очень улыбалась мысль о трагедии без любовной интриги, но не говоря уже о том, что любовь входила существенной частью в романтический и страстный характер моего авантюриста, — я заставил ещё Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить её необычный характер. У Карамзина он лишь бегло очерчен, но, конечно, это была странная красавица; у неё была только одна страсть — честолюбие, но до такой степени сильное, бешеное, что трудно себе и представить. Посмотрите, как она, попробовав царской власти, опьянённая призраком, отдаётся одному проходимцу за другим... всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей хотя бы слабую надежду на более уже не существующий трон. Посмотрите, как она стойко переносит войну, нищету, позор и в то же время сноситеся с польским королём как равная, как коронованное лицо с равным себе, и жалко кончает столь бурное и столь необычное существование. Я уделил ей только одну сцену, но я ещё вернусь к ней, если Бог продлит мои дни. Она волнует меня как страсть».

А.С. Пушкин
(черновое письмо Н.Н. Раевскому.
30 января 1829 г.)

Ничего нет печальнее исторических штампов и веками сложившихся несправедливых репутаций. Передаваясь в таком виде из поколения в поколение, от историка к историку, они докочевали и до наших дней без надежды, что кому-то придёт на ум заглянуть в глубину времён беспристрастно и откровенно, в страстном желании ощутить разрозненное как целое и вещество другой далёкой жизни почувствовать своим.

Автор

Действующие лица:

М а р и н а (М н и ш е к) — 18 лет в начале, 28 — в конце.

Д и м и т р и й — 21 год.

Ю р и й М н и ш е к, в о е в о д а с а н д о м и р с к и й (управляющий королевским имением в Самборе) — отец Марины, 50 лет.

П а н и М н и ш к о в а — мачеха Марины, 40 лет.

К с е н и я Г о д у н о в а — дочь Бориса Годунова, 21 год.

К н я з ь Д а н и э л ь (Д о л ь ц а) К о р е ц к и й — друг детства, первая любовь Марины (20 лет — в начале, 27 — в конце).

П а н В л а д и с л а в О с м о л ь с к и й — паж Марины, тайно влюблённый в неё. 17 лет.

Б а р б а р а (Б а с я) К а з а н о в с к а я — подруга Марины, её гофмейстера (18 лет — в начале, 28 — в конце).

Я д в и г а — вторая гофмейстера (20 лет — в начале, 30 — в конце).

Т у ш и н с к и й В о р, о н ж е Л ж е д и м и т р и й — второй муж Марины, 30 лет.

З а р у ц к и й — донской казачий атаман, любовник и последний муж Марины, 28 лет.

В а с и л и й Ш у й с к и й — боярин, потом русский царь, 50 лет.

М с т и с л а в с к и й — знатный боярин.

Я н Б у ч и н с к и й — секретарь Дмитрия, 25 лет.

А ф а н а с и й В л а с ь е в — дьяк посольского приказа, представлявший Дмитрия на обручении в Кракове, 35 лет.

Х а н н у с я — няня и прислуга Марины, 50 лет.

О. А н д ж е й — ксендз, духовник Дмитрия и Марины.

В т о р о й к с е н д з.

П о л ь с к и й ш у т А н т о н и о.

Р у с с к и й ш у т К о ш е л е в.

С т р е л ь ц ы, б о я р е, м у з ы к а н т ы, ш л я х т и ч и и ш л я х т ё н к и из свиты Марины.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Ш у т А н т о н и о в корчме за кружкой вина беседует с пилигримом.

Ш у т А н т о н и о (*сердито*). Все дороги ведут в Москву! Все собираются туда, как будто больше некуда ехать! Как будто вообще больше нечего делать, как собираться в Москву. Я вчера сказал пану Мнишеку, что добром всё это не кончится...

П и л и г р и м. А он что?

Ш у т А н т о н и о (*сердито*). Что-что!.. сказал, чтоб я собирался и много не разговаривал... А это моё ремесло — разговаривать. Слово — свободно, и я человек свободный...

П и л и г р и м. Но тебе ж как раз за слова деньги платят, значит, ты уже и не свободен...

Ш у т А н т о н и о. Мне платят за то, что я создаю иллюзию, будто они свободны в своём выборе.

П и л и г р и м. А на самом деле?

Ш у т А н т о н и о. А на самом деле всё predetermined. И мои шуточки — это просто их страхи. Они платят мне за то, чтобы изжить свои страхи... Чтобы не помереть со страху. Я им с дурацкой прямою говорю, что они подлецы и воры — они смеются, что пьяницы и распутники — ржут, как лошади, что всё вокруг продаётся и покупается — го-гочут. Потому сегодня шут — самое популярное ремесло. Вот и сейчас, везут меня с собой в Москву, а у самих поджилки трясутся: а вдруг не получится?

П и л и г р и м. А что должно получиться?

Ш у т А н т о н и о. Эка, ты куда загнул! Так тебе и расскажи всё! А может, ты шпион какой, засланный к нам сюда? Сейчас пойдёшь, разболтаешь всё кому-нибудь, и заварится каша. Я не хочу, чтоб меня казнили.

П и л и г р и м. А дураков разве казнят?

Ш у т А н т о н и о. Бывает, что и казнят. Но только после хозяина. А умные дураки всегда в барыше... (*допивает вино*).

П и л и г р и м. Мудрёная твоя наука. Но, кажется, беспроегрышная. Может, возьмёшь в ученики? Я бы и в Москву с тобой поехал. Там, небось, своих дураков мало — тёмные они людишки.

Ш у т А н т о н и о. А что, мне мысль эта нравится! Я скажу пану Мнишеку. Какая им разница — полторы тыщи человек или полторы с единицей. У тебя кошель в дорогу есть?

П и л и г р и м. Есть!

Ш у т А н т о н и о. Ну, так и будешь Кошель. Или на русский манер — Кошелев... Шут Кошелев. Вот тебе и колпак (*снимает с себя и даёт ему шутовской колпак*). Пойдём собираться, брат. В Москву так в Москву!

П и л и г р и м. В Москву! В Москву! (*Оба уходят*).

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Явление первое.

Сцена в Самборе.

Дворец воеводы сандомирского Юрия Мнишека. Шегольская, со вкусом убранная зала, слева — закрытая дверь, справа — открыта дверь в примыкающую к зале малую гостиную. В комнате дорогая мебель, золото, серебряные подсвечники, персидские ковры, картины в золочёных рамах; у стены клавесин и арфа, у окна — люгня. Посередине залы — большой, серебром окованный сундук, рядом — второй, поменьше; на столах — открытые ларцы и ларчики, клетка с серебряным соловьём, музыкальный инструмент в виде слона с золотой башней на спине и туалетная шкатулка в золотом быке; множество занятных маленьких золотых вещей.

П а н М н и ш е к сидит в большом кресле, его жена п а н и М н и ш к о в а с интересом рассматривает занятные дорогие безделушки: золотых птиц, большие серебряные часы, узорный ларец и т. д.

М н и ш к о в а. Ну вот, и дождалась я своего часа. Дочери твои ясновельможные наконец-то сбыты с рук, теперь могу хоть вздохнуть спокойно. Урсулка — отрезанный ломоть, Марыня, кажется, тоже. Может быть, ей даже это и слишком — московское царство, да нам уж больно выгодно... (*Прикладывая к себе жемчужное ожерелье*). Ах, какие перлы целокупные! Что молчишь, радость моя, я хочу знать, дело слажено или, может быть, отступное? Что святой отец сказывал?

М н и ш е к (*не обращая внимания на последние слова*). Дело-то, похоже, слажено. Дары — сама видишь, какие знатные, завтра обручение будет, да вот сердце моё всё одно беспокойно. Жаль Марыню отпускать в это варварское племя. Она ведь совсем ещё ребёнок! Ей, ясновельможной и бардзо учёной панёнке, век жить среди этих отатарщинных москвитов, носить их дурацкие наряды, слушать их грубую, неласковую речь. И музыке она учёна... и танчить горазда... А бородатые московские мужланы, даром, что бояре, говорят, страх, как этого не любят.

П а н и М н и ш к о в а. Зато какие богатства несметные у мужланов этих водятся! Сто соболей — шутка ли сказать, у самой английской крулевы, должно быть, столько нет. (*Подходя к малому сундуку и примеряя соболиную шкурку к себе*.)

М н и ш е к. Говорят, пан Корецкий вчера из Геттингена прибыл. (*Задумчиво, как бы для себя*.) Какая Даниэль с Марыней были добрая пара! Аки птички щебетали вдвоём да по по-латыни учёные речи вели... А как пели! как пели стройно...

П а н и М н и ш к о в а. Да что ты заладил (*передразнивая*): «добрая пара, добрая пара»! Тебе-то какая прибыль от этой пары досталась бы? Вчера вон опять кредиторы приходили, судебными приставами нам грозят... Да и устала я уже Марынькины капризы справлять... То ей не так, сё не этак. (*Помолчав*.) А что нунций Рангони скажет, а иезуты твои, а Папез, извещённый ими?!

М н и ш е к (*отмахиваясь*). Да я не о том же! Дело, конечно, давно слажено. И больше скажу (*нафосно*): великая миссия веры нашей католической легла на имя Мнишков, на худенькие Марынюшкины плечики, которые — ого-го! — какими сильными должны оказаться. (*Воодушевляясь, громко, как по-писаному*.) И пронести бессмертный свет ла-

тинского благочестия в бескрайние просторы за Смоленск, за Москву и далее. И наша великая Ржечь Посполита приумножится Псковом, Новгородом и другими богатыми землями... *(Уже тише, с усмешкой.)* Да и мы с тобою *(обнимая жену)*, моя ясновельможна пани, дела свои поправим. Королю долг вернём, с кредиторами расплатимся. Полмиллиона золотых прислал царь Димитрий мне, своему тестю завтрашнему, Юрию Мнишку! И ещё столько же обещает, когда Марыня в Москву поедет!

П а н и М н и ш к о в а. Вот это уже разговор! А то нате вам — «добрая пара, щенствливая пара!» А что есть счастье женское? Чтобы кошелёк у мужа побольше был да ещё чтобы не забывал про свою коханую в ногах у другой панёнки.

М н и ш е к. Вот то-то и оно, чтоб не забывал! *(Нахмурясь.)* Один из соглядатаев посольских третьего дня сказывал мне, что Годунова дочка, Ксения, журбу навела на Димитрия, живёт-де она снова в своём царском тереме подле него и про казнённую им родню свою даже забыла... Бедная Марыня!..

Из соседней комнаты слышны весёлые девичьи голоса.

М н и ш е к *(прикладывая палец к губам)*. Тс-с! Она ничего не должна знать! *(Гневно.)* Завтра же гонца велю послать в Москву... я ему покажу... *(На полуслове прерывается и торопливо уходит из залы.)*

В гостиную влетают нарядные, задыхающиеся от смеха М а р и н а и её подруга пани Б а р б а р а (Б а с я) К а з а н о в с к а я.

П а н и М н и ш к о в а. Ну, Марыню, показывай приятелке свои поминки царские! *(Видит открытый сундук с соболями, кипы бархата, парчи и всплёскивает руками.)*

Б а р б а р а. Матка Боска, и это всё — твоё?!

П а н и М н и ш к о в а *(нарочито)*. Да, Басю, пока ты в Любеке штудии брала, Марыня такого жениха себе выбрала, что многих завидки берут.

Б а р б а р а *(с восторгом рассматривая ларцы и лежащие в них украшения)*. Марынюшка, какая прелесть! Почему я раньше ничего и не знала про твоё счастье великое, целый год мы с татусей путешествовали, и никто из сестриц моих кракувских даже не дал знать мне о таком великом событии. Я бы давно уж была в Самборе. Расскажи, как это всё вышло?! А он из себя видный? Любит тебя?

П а н и М н и ш к о в а. Ну, ты пока тут хвастайся, а я пойду узнаю, не пришла ли пани кравцова — подвенечное в последний раз примерить.

М а р и н а *(берёт в руки послание Димитрия, задумчиво)*. Вот пишет, что дни считает, зовёт, чтоб ехала быстрее.

Б а р б а р а. А ты?

М а р и н а. А я страшусь и думаю всё время, правильно ли сказала им всем «да».

Б а р б а р а. Кому это «им»?

М а р и н а. Татку, мачехе, святому нунцию Рангони, самому Димитрию...

Б а р б а р а. Особенно мачехе! Да она ждёт не дожждётся, пока тебя с рук сбудет. Как сбывла сестрицу твою, Урсулу, так все её вещи в чулан вынести велела. Няня только куклу старую нашла и схоронила от глаз её. Мне сама Урсулка давеча об этом рассказывала.

М а р и н а (*грустно*). Да, была бы жива мамуся, она бы точно сказала, хорошо ли я решила...

Б а р б а р а. А моя мамуся говорит, что князь Даниэль Корецкий тебя очень любит. Говорят, что он даже с этим... царевичем... стрелялся. Бог спас — жив остался. Он же с детства по тебе вздыхает... Правда, кое-кто считает, что ты и Корецкого не любишь... И... никого не любишь...

М а р и н а (*вспыхнув*). Вот уж враньё! Я, между прочим, Димитрию хорошей супругой буду. И сына ему рожу, наследника державы (*помедлив*) Польско-Московской, и другого тоже, и двух дочерей, научу их великой польской мове, и латинской, и русской, и... (*подумав*) английской.

Б а р б а р а. Для чёго ж английской?

М а р и н а (*с жаром*). Я недавно читала записки сэра Горсея, купца английского, в Московии 18 лет прожившего, и сэра Флетчера, который там при татке Димитрия Иоанне и после при царе Борисе Годунове, послом был. Они считают, только Европою просветиться Московия может. Но и Москва Европе нужна богатствами своими несметными, путями торговыми. А к Англии ещё царь Иоанн предпочтения выказывал. Даже невесту себе там приглядывал...

Б а р б а р а. Ну, такие разговоры для меня слишком уж учёные! Ты лучше скажи другое... (*Понизив голос*.) Вот ты вспомнила про Годунова... мамуся сказывала, будто бы дочь его тебе соперницей стала? Наверно, всё это сказки... Раз он дары та-акие присылает! А ты его не ревнуешь?

М а р и н а (*нахмурившись, но как бы пропуская мимо ушей последние слова*). Не слушай никого. Мне многие теперь завидуют. И многие хотели бы оказаться на моём месте.

Б а р б а р а. А я очень даже верю в это! Но давай лучше обернём разговор в другую сторону... Марысю, сердце моё, сыграй на лютне, спой что-нибудь весёленькое!

М а р и н а. Не хочется!

Б а р б а р а. Спой, Марысенька! Я так люблю, когда ты поёшь! А не то уедешь в свою Московию, а я и не услышу и не увижу тебя тысячу лет.

М а р и н а (*уже овладев собою*). А я тебя с собою заберу! В свиту. Будешь моей гофмейстериной. Поедешь? (*Она подходит к окну, берёт лютню, садится на стул, перебирая струны*.) Что молчишь, вот панич Осмольский сразу мне ответил: «поеду!».

Б а р б а р а. Говорят, это ещё одна любовная жертва?

М а р и н а (*перестав наигрывать*). Басю, почему ты сказала «жертва»? Какое слово ужасное — «жертва». Как будто жернова какие-то страшные... А панич вовсе даже милый, он краснеет, когда меня видит... (*Продолжая наигрывать*.) Ну, раз хочешь, спою одну песнёнку, которой на днях он меня научил.

Барбара радостно хлопает в ладоши. Марина, подыгрывая себе, поёт.

Динь-дон, динь-дон,
Динь-дон, динь-динь,
Динь-дон и тру-ля-ля.
Здесь жил весёлый пан один,
Здесь жил весёлый пан один,
Соперник короля.

Динь-динь, динь-дон,
Динь-динь, динь-дон,
Волнующий напев.
Здесь жил весёлый пан один,
Здесь жил весёлый пан один,
Любимец королев!

Барбара подсаживается к Марине, начинает подпевать. По всему видно, что Марина быстра в перемене настроений: то счастлива и весела, то задумчива и взволнованна. Входит няня Х а н н у с я.

Х а н н у с я. Пани Марину в саду ждёт пан Корецкий.
Б а р б а р а. Вот видишь, что я говорила! ...А песенка как же?
М а р и н а. У песенки конец интересный. Потом спою.
Х а н н у с я (*тихо, голосом заговорщицы*). Только они... просили меня никому ничего не говорить.

Б а р б а р а. О, уже и скрытным пахнет! А что же будет дальше?!

Марина быстро направляется к двери, Барбара тоже уходит.

Явление второе.

Сцена у фонтана в саду Самборского дворца.

Идёт и тотчас тает медленный снег. М а р и н а, кутаясь в накинутую на плечо шубку, рассматривает её, как это обычно делают женщины, впервые надев новую вещь.

Навстречу ей бросается князь Д а н и э л ь К о р е ц к и й. (Это восторженный экзальтированный, влюблённый юноша. Первая любовь, совместные планы — всё рушится для него).

К о р е ц к и й. Это правда, любовь моя, это правда, что ты идёшь за этого... лжеименитого... Димитрия? Я, узнав об том, вернулся из Гейдельберга, летел к тебе на крыльях (*переходя почти на шёпот, становясь на колено и целуя руку*). Это неправда же, коханочка моя? ты же любишь меня! Скажи, это неправда?

М а р и н а (*отнимая руку*). Что неправда? Что — люблю?

К о р е ц к и й. Что любишь этого... москалика!.. я слышал, некоторые и в Польше считают его самозванцем.

М а р и н а (*задумчиво, не глядя на Даниэля*). Он — царь. А я буду царица. А кого люблю, знает только моё сердце. (*Помолчав.*) Да и то не знает... А если не люблю, так полюблю, а коли не полюблю, так забуду об этом.

К о р е ц к и й. Забудешь?! Об чём? об том, что не любишь? (*Вновь бросаясь к её ногам.*) Любовь моя (*горячо, нервно*), ты же не будешь, не будешь счастлива на Москве... в этой тупой и неподвижной стране, в глухом царстве бородатых и угрюмых мужланов. (*Помолчав, как бы сомневаясь в дальнейших словах...*) Потом... сказывают, что Оксиния, дочь Годунова, ему мила. Сказывают, взял из монастыря её, привёл в покои... много чего говорят ещё...

М а р и н а (*вспыхивая и перебивая его*). Мне до этого дела нет! Димитрий избрал меня, а король Сигизмунд и Папез благословили наш брак. Меня ждёт великое будущее, и мою любимую Польшу, и нашу веру католическую ждёт великое будущее. (*Говорит она тоже как по писаному и почти дословно повторяет слова отца.*) Господь сам указал мне этот путь, привел Димитрия к Вишневецким слугою. Как только открылось, что он не слуга, а царевич спасённый, сестра моя, Урсулочка, сразу сказала, что всё это неспроста... (*помолчав*) ...что это мне знак... (*И уже увереннее.*) Твоей Марыне выпало великое предназначенье. И слава в веках, какой не знали ни Клеопатра, царица Египетская... ни одна из польских крулев.

К о р е ц к и й. Любовь моя! «слава», «предназначение» — слова-то какие неживые... да и счастье... разве оно в этом?! Ты помнишь, как о прошлой весне здесь же, в саду, ночью мы наблюдали с тобой затмение, помнишь, чёрный диск накрыл луну, и стало темно, как в Аду. Так и жизнь без любви. Как в Аду. (*Даниэль опять берёт её за руку.*) Боже, какие холодные пальцы. Дай подышу, отогрею... спасу... да, я спасу, я должен спасти тебя от этой ужасной страны, от этого лжеименитого царевича.

М а р и н а (*не замечая этого жеста, непреклонно, обращаясь как бы к нему и не к нему*). Да, затмение помню. Я тогда любила... больше всего на свете любила тебя, своего Дольцю, но что теперь об том толковать... (*Задумчиво.*) Вот и звездочёт из Персии на той неделе в Кракове сказал мне, что закатилась моя звёздочка ранняя, осталось только солнце горячее и путь, усыпанный...

Марина не успевает договорить, как на крыльце с иезуитами, провожая их, появляется о т е ц. В сумерках Марину он видит не сразу.

М а р и н а (*наклоняясь к Даниэлю, полушёпотом*). А ты, Дольцю, коли вправду любишь, следуй за мною в Московию... Я буду и твоей царицей, вот панич Осмольский уже согласился, я беру его в пажы... (*Не давая себя перебить.*) Знаю, знаю, что не поедешь. Поэтому — прощай! (*И тут же без остановки, как будто убеждая уже себя.*) Но только знай: меня любит, л ю б и т сын Иоанна Грозного! Завтра у нас обручение. Всё решено, назад ходу нет... А теперь ступай! Я, быть может, ещё призову тебя сама.

Ответить он не успевает. Марину зовёт отец. Корецкий смущённо отступает в тень.

Ю р и й М н и ш е к. Куда же ты подевалась, донюшка моя. Тебя ищут все — посланец короля с депешей, пани Кравцова с последней примеркой подвенечного, святой отец тоже прибыл в Самбор.

Марина вслед за отцом входит в дом и сбрасывает шубку на руки слуге. Слуга уходит. Они остаются вдвоём.

М а р и н а. Татуся, а это правда, что Димитрий... что царь... там, в Москве...

Ю р и й М н и ш е к (*перебивая*). Не слушай никого. Всё враки! Завидуют тебе, Марынюшка, солнце моё ясное. Вот прибыли послы с дарами. Шубы соболя, ковры персидские, шелка парчовые, диаманты, перлы...

М а р и н а. А дочь Годунова где? Слыхала, она красавица писаная?

Ю р и й М н и ш е к. Она в монастыре, её мать задушена, брат убит... Да Бог с тобой, что у тебя на уме, радость моя?! Ты — царица, послезавтра станешь законной супругой царя московского. Ты знаешь, что сам круль Сигизмунд хотел отдать за Димитрия сестру свою. А он выбрал тебя! Молись, что Провидение Господне привело его к нам в Самбор. Я уже говорил, что тебя, дочь польскую, ждёт великая судьба. И нашу любимую Польшку державу ждёт великое будущее. Мы — лишь орудие Провидения, ниспосланное для соединения двух наших народов (*риторика составляет значительную часть в изображении этого персонажа*).

М а р и н а. А что такое великая судьба? Она включает в себя женское счастье? Или... исключает его? (*Задумчиво.*) Я видела сон, странный сон. Как разгадать его, не знаю. Стоит высокая-превысокая башня. И в ней кукушка живёт. Вылетает она из окошка позолоченного каждое утро, садится на серебряную жердочку и начинает куковать, а мы с тобой, татку, считаем вслух: до двадцать семи дойдём и дальше счёт теряется. А потом я просыпаюсь. Уже в который раз сон этот снится...

Ю р и й М н и ш е к. То, что с нами происходит сейчас, тоже похоже на сон. И у этого сна будет своя разгадка... Ты уже примеряла платье?

М а р и н а. А где же пани кравцова? Я хочу видеть себя ещё раз в белой парче с диамантовой короной. С короной, с короной, с короной!

Она кружится по комнате и вдруг замечает, что отец задремал, сидя в кресле. На цыпочках Марина выходит из комнаты.

Явление третье.

Сцена в Кремле.

На царской половине. Д и м и т р и й и К с е н и я Г о д у н о в а, месяц как вернувшаяся из монастыря в царские покои. Высокая, полнотелая, статная. Гладко зачёсанные тёмно-русые волосы, толстая — в руку — коса ниже пояса. На ней русский сарафан, синий, расшитый по низу... Она застенчива, но в разговоре смела, спокойна. Д и м и т р и й нежен. Чувствуется, что она тоже оттаяла и уже привыкла к нему.

Д и м и т р и й. Ксюша, радость моя, смотрю на тебя и не могу наглядеться... Тело твоё, из сливок вылитое, люблю, брови союзные, когда хмуришься, агаты несравненные глаз твоих, но ещё более — учёность твою и сметливость природную... (*Притягивая Ксению к себе.*) Скажи, а кто учил тебя грамоте?

К с е н и я (*грустно*). Батюшка покойный выписал мне... (*помолчав*) нам с братом учителей из Ганзы, те иноземных книг три подводы при-

везли; читать и писать я освоила рано, а математику с астрологией любила уже потом, и географию тоже... А брат Фёдор... убиенный... лучше меня учён был и к тому же всякого философского естествословия обучен; он прожекты большие строил, сам карту русскую начертил... Зачем ты велел его убить? Пусть бы уехал отсюда хоть в Англию, хоть в Ливонию.

Д и м и т р и й. Но ему же присягнули некоторые... Хотя, скажу тебе правду, я не велел никого убивать. Сказывают, народ взбунтовавшийся сам стащил его с трона в Грановитой. Да и бояре перестарались. Говорят, на Москве согладатаи да доносчики развелись всюду, вот чуть что — и стараются выставиться вперёд... боятся все друг друга... не один, так другой донесёт... Уже и трое меж собой говорить страшатся...

К с е н и я. Твоя правда: попы, дьяконы, чернецы, черницы... жёны на мужей... отцы на детей... бояре и боярыни — все доносили друг на друга. Вот батюшка никому из бояр и не верил.

Д и м и т р и й. Это всё потому, что трон ему достался несправедно. А я, как законный сын Иоанна Грозного, буду править иначе, даром что народ за меня.

К с е н и я *(тихо)*. Батюшку на царство тоже народ упрашивал... и брату Феде присягали... а потом...

Д и м и т р и й *(не замечая сказанного)*. Я слышал, что боярам русским не позволяли путешествовать, чтобы они не научились чему-нибудь в чужих краях и не ознакомились с их обычаями. Только посланников царских да беглых можно встретить в чужеземных странах.

К с е н и я *(робко)*. Я знаю, боярских детей много послали учиться... В Сорбонию, в Геттинген, в италийский край... И немногие из них вернулись. А бежать отсюда очень невозможно, все границы охраняются чрезвычайно, и наказание, если поймают виновного, есть смертная казнь и конфискат всего, что имеешь. Так было и при Иоанне Грозном, и при отце моём...

Д и м и т р и й. Есть два способа царствовать — милосердием и щедростью или суровостью и казнями; я избрал первый способ; я дал Богу обет не проливать крови подданных, и я исполню его. Я не хочу никого стеснять... пусть мои владения будут во всём свободны. Я обогачу свободной торговлей своё государство. Я изведу посулы в судах и приказах! И пусть везде разнесётся добрая слава о моём царствовании и моём государстве...

К с е н и я. Всякий государь, всходя на трон, думает, как лучше сделать, да не у всякого получается...

Д и м и т р и й. Душа моя, я только тебе расскажу, как править думаю. Советчиков здесь у меня немного. Полякам я до конца верить не могу. А у тебя голова светлая, глаза добрые, душа чистая, как солнышко. *(Притягивает её к себе.)* Будешь мне помощницей?

К с е н и я *(отстраняясь)*. Ты полякам верить боишься, а они тебя в Москву привели. Говорят люди, что веру их католическую насадить здесь хочешь... И ещё... вроде ты им другим обязан... Сказывают, невеста у тебя есть в Польше... Это правда?

Д и м и т р и й. Ничем я им не обязан! Я царь законный. А кто болтал, что я самозванец какой — уж замолчали. Гришку Отрепьева третьего дня я сам народу представил. Он же у патриарха Иова секретарём был, вместе с ним носил бумаги в Думу. Его здесь все в лицо знают... А по-

ляки мне взаправду деньгами помогли, в поход со мной пошли. И сейчас они нужнее нам, чем мы им. Да потом, у них есть чему и поучиться! Ты вот книги читала. И сколь непросвещённые мы, русские, знаешь не хуже меня. А погляди, как одеваемся: бабы, точно куклы какие, накрашены, в бесформенные одеты, мужики в длиннополые кафтаны обряжены, бороды по колено. После обеда все спят.

К с е н и я. А в Польше не спят днём?

Д и м и т р и й. В Польше не спят. И пьют там средственно, не так, как у нас.

К с е н и я. И поэтому ты хочешь чужеземную веру еретическую привить нам насильно?

Д и м и т р и й. Напротив, радость моя, я хочу, чтобы люди верили искренне и исповедовали ту веру, какую душа их приняла. Человек должен быть терпим к чужой вере... А у нас только одни обряды... а смысл их укрыт. Как будто благочестие только в том, чтобы сохранять посты да поклоняться мощам! И часто живём не по-христиански, мало любим друг друга... Я хочу, чтобы мы не в хвосте плелись, а шли рука об руку со всеми народами: и французским, и гишпанским, и голландцами, и англичанами.

К с е н и я. Ты давеча говорил про школы... отец мой тоже школы открывать думал.

Д и м и т р и й (*увлечённо, пылко*). Школы повсеместно открою, типографии, писанные законы заведу... Бороды обрею, кафтаны обсеку. Детей боярских к иноземцам учиться направлю. Сюда учителей приглашу. А ещё — балы справлять буду, как в Польше, тебя танцовать научу...

К с е н и я (*тихо*). Мне всего этого уже не видать... Меня ты скоро в монастырь отошлешь...

Д и м и т р и й. Зачем ты говоришь так, радость моя, какой монастырь!? Ты ж мне советчицей будешь в делах моих государственных...

К с е н и я (*перебивая*). Нет, Государь мой, косы мои уже расплетены, судьбой дорожка протоптана. (*Подходя сзади к сидящему и обнимая его.*) А что, невеста твоя польская, Марина Мнишек, вправду, говорят, красивая?

Д и м и т р и й. Красивая. Но ты красивше... Если бы не обещание королю и нунцию ихнему, взял бы тебя в жёны... Мне с тобой легко, просто. Пошла бы за меня? Иль отказала? Что молчишь? Ты, Ксюша, говорят, и петь мастерица. Спой мне что-нибудь...

Входит Б у ч и н с к и й, домашний секретарь Дмитрия.

Б у ч и н с к и й. Посольский дьяк Афанасий Власьев прибыл из Польши.

Д и м и т р и й. Зови!

Делает Ксения рукой знак выйти и медленно идёт к стоящему в центре комнаты малому трону. Она кланяется и молча выходит в соседнюю комнату. В другую дверь протискивается В л а с ь е в, облачённый в пышный парчовый наряд, в парчовые же сапоги. Он бухается в ноги Димитрию и некоторое время так лежит.

Б у ч и н с к и й (*тихо, в сторону*). Вот уж, вправду, благочестие выше разума. Царь у них выше Господа Бога будет...

Д и м и т р и й (*Власьеву*). Ну, хватит, хватит церемоний... Давай, докладывай, как там в Кракове дела наши? Что в Самборе? Женат я или нет, в конце концов?

В л а с ь е в. По польскому обряду, женаты, Ваше Императорское Величество.

Д и м и т р и й. Тогда где же жена моя или хоть письмо от неё какое?

В л а с ь е в. Вот письмо от отца её, пана Юрия Мнишека. А государыня мне ничего не передавала. Уж больно они с гонором... (*Оглядываясь по сторонам.*) Натерпелся я там всякого...

Б у ч и н с к и й (*тихо, глядя на дверь, за которой скрылась Ксения*). Из двух зол надо бы по уму выбрать меньшее, да я думаю, что меньшего среди женщин не бывает... Но чуёт моё сердце, завяжется здесь тугой узел.

Д и м и т р и й (*Власьеву*). Да не томи, рассказывай без чину, как ты на свадьбе роль мою играл, как царица была одета, много ль гостей было, что подавали на пиру — всё припомни. Мне ж надобно знать, как царь... император московский среди гостей иноземных на свадьбе своей выглядел.

В л а с ь е в (*растерянно, он никак не может взять в толк, что конкретно от него хочет Димитрий*). Я вот и говорю, Ваше Императорское...

Д и м и т р и й (*стукнув каблуком об пол*). Да что же ты заладил: императорское, императорское... Говори ты как следует: что спросил у тебя кардинал, когда начал венчание?

В л а с ь е в (*немного отойдя от страха*). Вот я и говорю, глупость какую спрашивать на свадьбе разве возможно! (*Как бы передразнивая кардинала.*) «Не давал ли царь прежде кому-нибудь обещания взять в жёны?»

Д и м и т р и й и Б у ч и н с к и й (*одновременно*). А ты как отвечал?

В л а с ь е в. Ответил ему: «А я почём знаю? Давал ли, нет ли, он мне не говорил этого!»

Д и м и т р и й. А он?

В л а с ь е в. А он опять своё: не давал ли царь кому обещание... Я тогда и говорю: «Коли б кому обещал, то меня бы сюда не прислал!»

Бучинский покатывается со смеху.

Д и м и т р и й. Ну и дурак же ты, Власьев, выхухоль, чурбан неотёсанный, а ещё дьяк посольский называешься. Ладно, скажи, какие ещё ко мне решкрипты есть устные, а потом уж читать буду написанное.

В л а с ь е в (*оглядываясь на Бучинского*). Есть ещё одно дело деликатное... Пан Мнишек просил...

Д и м и т р и й. Говори, говори, у меня от Бучинского секретов нет.

В л а с ь е в. Пан Мнишек велел передать, чтобы Ксению Годунову из дворца ты удалил. А то в Польше разговоры пошли разные... Мол, сороки — они везде есть... панна Марина Юрьевна... узнать может... Она уже начала сборы к отъезду, в Москве будет месяца через два.

Д и м и т р и й (*хмурится*). Ладно, ладно... сороки... пан Мнишек... Это не его дело... Ступай. Да после обеда не спать ложись, а лучше книжки иностранные читай. Вот, Флетчера, например. Говорят, много учёный человек, в Москве жил долго, нравы наши изучал. Смешны мы им невежеством своим.

Б у ч и н с к и й. Скорее исторической наивностью.

В л а с ь е в (как бы освоившись). Да брешут они половину!

Д и м и т р и й. В том-то и дело, что не брешут. Ещё мало они знают про нас. Я бы сам такое им рассказать мог! Да не буду. Они ещё хуже нас, если подумать. Вот тесть мой любезный только и делает, что попрошайничает да просит в долг. (Власьеву.) Ну, ладно, ладно, ты ступай (и уже вслед ему) да впредь учи обряды чужеземные, по-сол!

Б у ч и н с к и й. Ну, так что делать будешь, царь московский? Ксению жалко. Уж больно она кроткая, к тебе привязалась, кажется... простила тебя за матушку убиенную и за брата... Да и ты, я гляжу, с неё глаз не сводишь. Даже про всех девок потешных забыл...

Д и м и т р и й (тихо, обхватив голову руками). Боже, Боже, как ужасно устроен этот мир! Она потеряла всё, а я теряю её. И ничего нельзя поделаться. И приобрету ли что потом — Бог весть... Иди, Бучинский... Я хочу побыть один... Постой... завтра... нет... лучше послезавтра... вели отвести её во Владимир: там, грек Игнатий говорил, есть один хороший монастырь... Ступай! (Делая Бучинскому знак удалиться и продолжая разговор уже сам с собой.)

Д и м и т р и й (один).

Любовь и трон — два разных мира вместе...

И выбор невозможен... Я ль один

Заложник этой власти, этой страсти? —

И что сильнее — Бог один лишь знает...

Как человек, ты слаб и безутешен,

Как царь — силён, но над собой не властен...

Вот Ксения... люблю её душою,

Всей нежностью своей, всем смыслом здравым.

Да лучше мне жены и не найти!

Но в жёны взять её — лишиться разом —

И царства и величия земного. Поляки не простят...

Да что поляки! И сам я знаю, что царю на троне

Супруга — одиночество. У власти — соперниц не бывает.

А Марина... она и не соперница ей вовсе,

А бабка повивальная. И вместе...

Мы русскую империю построим... на новый лад (вздыхает).

Хоть хороша Марина и прелестна

Весёлым польским гонором дразнящим,

Лукавинкою умною во взоре, и — юностью!...

Но сердцу не прикажешь. Сердце знает,

Что и меня она пока не любит. (Оглядывается на дверь.)

Но тем сильней и крепче наш союз!

Явление четвёртое.

Сцена в Вязме накануне въезда польской свадебной процессии в Москву.

Комната в боярском доме. Низкие потолки, небольшие окна, лавки, покрытые ковром, изразцовая печь. У печи — в большом, похожем на трон кресле — М а р и н а. Рядом с ней на невысокой скамейке — её подружки, ныне её фрейлины Б а р б а р а (Б а с я) и Я д - в и г а (Я с я). На столе дымящийся самовар, серебряное блюдо с пирогами).

Б а р б а р а. Марыню, а всё-таки страх берёт, как мы тут жить будем.

М а р и н а. Никакого страха нет. Ты видишь, как повсюду встречаются нас священники с образами, народ с хлебом-солью. Через три дня уже приедем в Кремль, потом коронация, потом балы, маскарады... а когда свадьба кончится, мы с царём Москву начнём строить по-новому, потом с вами поедем в мои вотчины псковские и новгородские, школы, коллегии иезуитские там откроем, костёлы возводить будем, ганзейских купцов призовём, кравцовых самых лучших из Польши выпишем, чтобы из рытого персидского бархату платьев нашили... женихов вам хороших найдём... заморских...

Я д в и г а. Почему же заморских? А по мне так и здешние бояре хороши. Видела ли ты Басманова давеча? Статен, пригож собою и краснеет, коли на него помотришь в упор.

Б а р б а р а. Нет, нет, я их боюсь: какие-то они угрюмые и одеты смешно.

М а р и н а. Переоденем! Я велю царю тотчас же решкрипт подписать, чтобы длиннополые платья все заменить на наши, польские.

Б а р б а р а. А если он не послушается? (*Весело.*) А вот возьмёт и не послушается тебя! Кто-нибудь из бояр главных ему напоёт на ухо: мол, это проделки твоей польки, а у нас свои, московские порядки есть...

Я д в и г а. Что ты говоришь, радость моя! Ночная кукушка дневную всегда перекукует...

В дверь стучат. В комнату входят ксендзы — о. А н д ж е й и с ним ещё один, немолодой. Барбара и Ядвига уходят в соседнее помещение.

М а р и н а (*показывая на стол*). Проходите, отец Анджей, я заждалась вас. (*Ко второму ксендзу.*) И вас, святой отец, прошу к столу. Еда, правда, немудрёная: русские пироги с рыбой да хербата, чай по-здешнему, в самоваре, да цукор выварной... Но скоро уже в Кремле будем — там батюшка нас дожидается, а с ним и повар его французский и польских поваров трое.

Все трое садятся к столу, Марина сама разливает чай.

О. А н д ж е й. Дочь моя, ты же знаешь, как мы в еде неприхотливы...

В т о р о й к с е н д з (*подобострастно*). Ваше Величество, об том ли думать нам сейчас, если миссия ваша великая только в самом начале... Помните, летом у нас в монастыре вы сами воодушевлённо говорили о готовности всё отдать ради святой веры католической. Прекрасная участь — доставить католическому миру одну из наиболее славных его побед! Москва ведь всегда была камнем преткновения для нас...

О. А н д ж е й. Правда, мне сдаётся, что пока супруг ваш ревностным католиком ещё не стал...

В т о р о й к с е н д з (*вкрадчиво*). ...хоть тайно и был обращён в нашу веру.

М а р и н а. Всему свой час. И тайное проявится.

О. А н д ж е й. Перед отъездом из Польши он был у меня на исповеди. Потом мы долго беседовали с глазу на глаз. Всё вроде бы говорил он верно, как по писаному шёл в рассуждениях, но рвенія особого в его голосе я не услышал. Сказать по правде, это очень огорчило меня...

Второй ксендз. Да и секретарём к себе он взял протестанта Бучинского...

Марина (*немного растерянно*). Я не виделась с ним девятнадцать месяцев...

О. Анджей. Но уже завтра вы встретитесь. И от того, какой будет эта первая встреча — зависит многое.

Марина. Что я должна делать, святой отец?

О. Анджей. Вот об этом мы и хотели с тобой поговорить, дочь моя. Ты всегда была благочестива и набожна, как и твой отец, пан Юрий. В свои двадцать лет ты удивляешь всех умом и крепкой волей. Ты рождена править и управлять. Управлять своим мужем и тем самым править страной, какую Божий промысел дал тебе в руки... Это дело тонкое...

Второй ксендз. Тут не спешка нужна, а точный расчёт.

Марина. Но вы же всегда будете рядом...

О. Анджей. Всегда. Но в спальне нас с тобой не будет... а там решают судьбы государства... сам государь и... его молодая жена...

Марина (*оживлённо*). Ах да, я уже что-то слышала про ночную кукушку...

О. Анджей (*улыбаясь*). Ну что ж, тогда... за тебя я спокоен, дочь моя... и за миссию нашу тоже теперь буду беспокоиться меньше... (*Уже серьёзно, почти полушёпотом.*) ...Знаешь, Ватикан не сразу обнаружит свои планы... поэтому тайная почта будет идти через меня...

Марина. Я это знаю от нунция Рангони...

О. Анджей (*встаёт из-за стола, крестит её*). Вот и хорошо, дочь моя... Тогда до завтра! Завтра отслужим мессу ещё здесь, а на Троицу уже в Москве... Великий праздник... (*Оба встают из-за стола.*)

Второй ксендз. За хербату дзянькуем. ...дзянькуем бардзо...

О. Анджей. Це вшистка добже, вшистка добже, пани...

Марина низко склоняет голову, каждый поочередно крестит её и уходит.

Марина (*одна*).

Сказать по правде, я почти спокойна...

Но всё ж царей изменчива природа.

Как мог забыть он обо мне в объятьях

Какой-то Годуновой!? Нет, не верю!

Гляжу на русских... разве им сравниться

Со мной?... толсты... румяны... некрасивы...

С какой-то грубой дикою ужимкой...

Не верю, нет! Он помнил обо мне! (*Взволнованно.*)

А если брак наш — только тайный повод

Соединить короны? — И Димитрий

При встрече будет холоден и вежлив,

Что я скажу, чем я ему отвечу?

Ужели польским гонором, насмешкой?

Чистосердечным взглядом, словом нежным?

Умом пленить смогу его, конечно...

Но ум у сердца вечно в дураках... (*пауза*).

...Да, мне надобно ещё хорошенько подумать, в каком наряде завтра я с ним встречусь... Там, в Самборе, царевич заметил, что мне к лицу цвет

вишни. А я люблю лазоревый. Пойду поговорю с пани Тарловой. Она в этом большая искусница. *(Уходит.)*

Явление шестое.

Сцена в Кремле.

У входа в Воскресенский монастырь в сумерках, под освещённым монастырским окном беседуют двое. Время от времени они заглядывают за угол, оглядываются по сторонам.

З а р у ц к и й. Сюда послали нас с тобой разведать, чем дышит царь, когда его невеста уже в Москве... царицей станет завтра.

В л а с ь е в. Да говорю ж, она уже царица... по польскому обряду обручения, будь он неладен!

З а р у ц к и й. И всё равно Москва гудит, как улей, ждёт свадьбу... Говорят, на гулянье две недели уйдёт аль больше, никто не знает...

В л а с ь е в. Чем дышит он — никто не знает тоже. Я вижу только, он женопокорлив... Еженочей такими правят бабы.

З а р у ц к и й. Да баба бабе рознь... Ужели полька так хороша, что ум его смутила?!

В л а с ь е в. По мне — худа, вертлява, горделива, не баба — бес! Да скоро сам увидишь!

З а р у ц к и й. От любознательства я уже сгораю. Тощая, говоришь? Так то не худо! Гордячка тоже? Гордых — я люблю... Царь не дурак, чтоб в жёны выбрать дуру... Одиннадцатый месяц он на троне...

В л а с ь е в. Одиннадцатый месяц, как в опале знатнейшие из знатных... Теперь лишь только ляхи нами правят да выскочки — Басмановы, Нагие... Я право, не пойму его затеи... Сам в Думу ежедневно ходит... пешим!

З а р у ц к и й. Да Думы ж нет!... назвал её Сенатом!

В л а с ь е в. Да как ни назови — одно и то ж! *(Горячо.)* К мастеровым заглядывает лично, ремёсла будто хочет сам изведать!...Указы правит!... в прения влезает!... Такого не бывало отродясь!

З а р у ц к и й. Романовых уже к себе приблизил. И Шуйского велел вернуть из ссылки... Мстиславского — прости! ...Велел жениться врагам своим обоим!... Не боится?

В л а с ь е в. Видать, и вправду, бестия, спокоен... Его признала мать, Нагая Марфа. Но сердце моё чует: вор, и только!

З а р у ц к и й. Зато народ его московский любит! Ты видал сам, как здесь встречали польку... Двенадцать лошадей в упряжке серых, фанфары, люд коленопреклоненный...

В л а с ь е в. И тесть его ведёт себя, как равный...

З а р у ц к и й. А тесть-то вору, говорят, под стать... сам вор?..

В л а с ь е в. И сводник, поставлявший шлюх... в покои... когда король считался безутешным по смерти драгоценнейшей супруги. ...Но королевский Вавель помнит, как, приближённый к особе королевской, впоследствии казну ограбил Мнишек, и даже не в чем было хоронить Его Величество...

З а р у ц к и й. Вот невидаль! Входящие во власть всегда так поступают. Разве ты... иные знаешь для себя примеры?

В л а с ь е в. Иных не знаю. Кто правит, тот и грабит... Зря ли говорят: дай на прокорм казённую корову — прокормлю и своё стадо...

З а р у ц к и й. Послушай, а может, донести царю, что Шуйский за ним следит... что нас сюда направил, что мы — глаза и уши того, кто сам на Кремль давно уж метит... Глядишь, Димитрий нас к себе приблизит, к казне допустит, вотчины подарит?

В л а с ь е в. А если проиграем? Смерть на плахе... посадят на кол... в проруби утопят...

З а р у ц к и й. Да, выбор невелик... Но царь на троне крепок... За ним народ, поляки, голытьба... Судьба благоволит ему, похоже...

В л а с ь е в. Тсс, молчи, молчи!.. Сюда идут.

З а р у ц к и й. Кто б ни был то, нас не должны заметить!

Оба скрываются за углом. Из темноты возникают две новые фигуры. Это сам Д и м и т р и й и его секретарь Я н Б у ч и н с к и й.

Д и м и т р и й. Бучинский, знаешь, я страшился встречи... Но ты меня уверил, что Марина... жена моя... была с тобой любезна, когда ты ей передавал письмо.

Б у ч и н с к и й. Была любезна третьим днём... А ныне... они в монастыре одни скучают, без ксендзов, без музыки и без свиты... ни пить, ни есть как будто не хотят...

Д и м и т р и й. Ты хорошо свидание устроил... Сегодня ночью, чтоб никто не видел... минут на десять я её увижу.

Б у ч и н с к и й. От нетерпенья, вижу, ты сгораешь.

Д и м и т р и й. Будь ты женат, и ты б сгорал, поверь...

Б у ч и н с к и й. По-вашему, она ещё невеста... Мне говорят, таков обычай древний... в монастыре невеста перед свадьбой должна поститься, плакать и молиться...

Д и м и т р и й. Зачем же плакать? Вот ещё одна... благая глупость русского упорства.

Б у ч и н с к и й. Ты слишком быстро всё разрушить хочешь? Смотри, мой государь, не поскользись!

Д и м и т р и й. Разрушу то, что надобно разрушить. И выстрою, что выстроить хочу. Под знаменем моим сто тысяч верных и преданных мне воинов, ты знаешь...

Б у ч и н с к и й. Сегодня верных. То, что будет завтра, астрологам, волхвам одним известно...

Д и м и т р и й. Один астролог мне сказал, что буду... я царствовать тридцать четыре года...

Б у ч и н с к и й. Завидный срок! Знать, сбудется.... Да где ж посылный твой?

Д и м и т р и й. Сейчас придёт. Он принесёт подарки... *(Прислушивается.)* Там кто-то ходит? Ну-тка, погляди!

Они вдвоём уходят за угол.

Явление седьмое.

Сцена в Кремле, в Вознесенском монастыре.

Б а р б а р а. Мы пятый день в зловещем этом замке, без мессы, без отцов святых, без малых хотя бы развлечений... Еда — одна отравка... Монахини, как жолнежи, грубы...

М а р и н а (*твёрдо*). В монастыре не место развлечениям.

Я д в и г а (*всхлипывая*). На Троицу без мессы — это слишком!

М а р и н а. Всеми свой час... Нас ждут большие мессы...

Б а р б а р а. Я удивляюсь, как же ты спокойна! В тоске вся свита: в голос воет няня, Стадницкая — в слезах, Тарло рыдают обе, на мокром месте и мои глаза...

М а р и н а. С минуту на минуту жду царя я, во-первых. Во-вторых, причин не вижу вам нюни распускать... (*Прислушивается.*) Ко мне идут!.. Ступайте, позову вас!

В келью входит м о н а х и н я, молча делает знак, Барбара и Ядвига молча выходят. Появляется Д и м и т р и й, монахиня вносит ларец и тотчас уходит.

При пламени большого подсвечника на стене колеблются два силуэта, женский и мужской.

Д и м и т р и й. Ну наконец-то я тебя увидел, любовь моя! желанная! Марина!

М а р и н а (*холодно*). Да, Государь, я тоже рада вам!

Д и м и т р и й (*не обращая внимания на холодный тон*). Скажи, как ты?

234 Ты выглядишь прекрасно... Ещё прекрасней, чем была тогда! Твоих волос я слышу чудный запах...

М а р и н а (*холодно*). Все волосы всех женщин пахнут так же...

Д и м и т р и й (*всё ещё пылко*). Марина, радость, что с тобой, скажи?! Тебя я жаждал целый год увидеть! Дотронуться до ручки этой нежной. В глаза взглянуть — и утонуть в них разом.

М а р и н а. Да вы поэт, как я ни погляжу! (*Со вздохом.*) А все поэты ветрены и пылки. От ног одной возлюбленной к другой, что пьяница, меняющий бутылки...

Д и м и т р и й (*уже понимает, чем вызван этот разговор, и сам меняет тон*). Марина, нам нужно поговорить серьёзно о многом... Например, о том, что будет послезавтра, здесь, в Кремле... Я хочу, чтобы ты прежде короновалась, а потом только была обвенчана со мною по православному обряду. Ты будешь дважды признана царицей: сама царица и жена царя! Что скажешь ты на это?

М а р и н а (*оживлённо, словно напрочь забыв про весь предыдущий разговор*). Скажу, что муж мой верен... словам, однажды сказанным, что любит... что сам любим... (*лукаво*) своей женой Мариной!

Д и м и т р и й. Вот то-то же! (*Целует ей обе руки сразу.*) Марина, дорогая, нас ждут с тобой величие и слава, какой не знали...

М а р и н а (*тихо*). ...даже Клеопатра!

Д и м и т р и й (*громко*). ...и Александр Великий Македонский! (*Подают друг другу руки.*)

М а р и н а. Димитрий, я ещё сказать хотела... что здесь, в монастыре, тоскливо очень... Вся свита плачет... И еда ужасна... Ну, может, хоть отец святой придёт к нам, отслужит мессу, ободрит нас словом?

Д и м и т р и й. Нет, радость, что угодно, но не это! И так все говорят, что я нарушил обычаи священные... что русским порядок иноземный предпочёл... Проси, что хочешь... Повара? Пожалуй! Подарки? Тоже. Кстати, вот они! (*Передаёт ей ларец.*) Ну, мне пора! Прощай, моя Марина! Спокойной ночи, тихих сновидений! Минутам счёт веду до нашей встречи в твоих покоях, русская царица!

М а р и н а (*едва склонив голову*). Спокойной ночи, Государь... Димитрий!

Димитрий уходит.

М а р и н а (*одна*). Похоже, он спокоен и надёжен... и даже пылок... Правда, чуть смутился, когда его я уколоть хотела, но выдержал... Себе в уме запишем, что у ночной кукушки шансов много...

В двери появляется монахиня.

М а р и н а. Скажи скорее пани Казановской, чтоб шла сюда. И принеси нам ужин!

М о н а х и н я (*неуверенно*). Царь повара пришлёт — сказал... но завтра...

М а р и н а. Неси, что есть... До завтра я умру!

Монахиня уходит, Марина открывает ларец, с интересом рассматривает украшения.
Появляется Б а р б а р а.

Б а р б а р а. Как ваша встреча? Что тебе Димитрий? Что ждёт нас здесь? Ты счастлива, скажи!?

М а р и н а (*продолжает рассматривать украшения*). Вот, посмотри, дары красноречивей и ярче слов нам говорят о чувствах...

Б а р б а р а. Дары — дарами... Матка Боска, слышишь! Мне страшно здесь. И я хочу... домой... (*Берёт в руки рубиновое кольцо.*) Ах, право, прелесть!

М а р и н а. Мой тебе подарок!

Б а р б а р а. Мне?

М а р и н а. Истинно тебе! Тебе к лицу. И вот — ещё. (*Отдаёт ей кольцо, брошь.*) А то (*другое кольцо*) — отдашь Янусе.

Б а р б а р а. Спасибо, вот уж впрямь подарок царский! Ты так щедра!

М а р и н а. Ты здесь мне — как сестра!

Б а р б а р а. Ты тоже мне! И я тебя не брошу! Тоска пройдёт, я это знаю точно. Отслужим мессу, к исповеди сходим...

М а р и н а (*задумчиво, неожиданно*). Ты, знаешь, Бася, я боюсь... его...

Б а р б а р а. Кого? Царя?

М а р и н а. Да нет, его народа... Уж больно он по-варварски радушен, на радость скор, в решениях непредметен. От горя пьян, от счастья полупьян...

Б а р б а р а. Так отрезвим! Научим жить, как в Польше! И верой нашей разум просветим.

М а р и н а. То на словах! А как оно на деле?.. Тревожно мне... (*Понизив голос.*) Но никому... ни слова!.. Я лишь тебе об этом говорю... (*Помолчав, другим тоном.*) Вчера мне снова снился пан Корецкий...

Б а р б а р а. Вновь снился Дольца? (*Задумчиво.*) Ты знаешь, нельзя долго скрывать любовь, когда она есть, и изображать, когда её нет. Ты всё ещё любишь его?

М а р и н а. Нет.

Б а р б а р а. А почему снится?

М а р и н а. Не знаю.

Б а р б а р а. Давай призовём астрологов, спросим у них о том, что будет!

М а р и н а. Я не верю астрологам... Я верю только в судьбу.

Б а р б а р а. Но судьба — это характер, говорили греки. Миром правит судьба и прихоть — читала я где-то...

М а р и н а (*взяв себя в руки и уже совершенно не реагируя на сказанное*). Ну где же наш ужин? Моя сегодняшняя прихоть была — ужинать здесь с тобою вдвоём. Только за смертью посылатъ здешних монахинь!.. Пошла и пропала... А сегодня надо бы пораньше ложиться. Завтра будет тяжёлый день. Пойдём отсюда... Здесь, правда, очень тоскливо...

Обе уходят.

Явление восьмое.

Пир в Грановитой палате, в Кремле.

236

В соседнем помещении на лавках чинно выпивают и закусывают бояре. Здесь же присутствует вся свита Марины. Поляки танцуют. Играет оркестр из 20 музыкантов. У входа незаметно, полупёпотом беседуют двое.

Ш у й с к и й. Четвёртый день ужасной этой свадьбе... Четвёртый день поляки здесь пируют... Гляди, царица вновь одета в польском наряде неприличном... в танцах скачет... Музыку привезли, не поленились... Повод двенадцать ихнего вина...

М с т и с л а в с к и й. А ты машину адскую не видел у входа во дворец, огромный такой котёл, изрыгающий тлетворное пламя?

Ш у й с к и й. Ну как же!.. видел... Аспид, сын исчадья!.. Ферверк какой-то, говорят, задумал... Нас всех спалит сей дьявольский огонь... Как думаешь, спалит?

М с т и с л а в с к и й (*лениво*). Не спалит! ...Он так беспечен... так увлечён своей особой (ехидно) царской. Иначе как Цезарем себя не величает! Похоже, и перед ними (*кивает в сторону поляков*) заносится. Изображает грозного царя. А что, скажи, Шуйский, кто есть он в самом деле? Гришку Отрепьева я своими глазами вчера видал на площади... Царевич... тогда ещё... умер, в Угличе... Ты сам был в комиссии и это свидетельствовал...

Ш у й с к и й. Неважно, кто он. Кто угодно! Только не русский царь.

М с т и с л а в с к и й. А что гонцы — твои глаза и уши? Что дьяк польский Власьев говорит?

Ш у й с к и й. А то и говорит, что вор на троне! Всё хочет переделать, перестроить.

М с т и с л а в с к и й. Латинской верой нас обременить.

Ш у т А н т о н и о (*припадая на колени*). Паньство разве не хочет выпить здоровье русского государя и его государыни?

М с т и с л а в с к и й. Отчего же? (*К Шуйскому*.) Пойдёмте, выпьем за здоровье подлинного русского государя! (*Приближаются к трону, разом падают на колени*.)

Ш у й с к и й, М с т и с л а в с к и й (*громко, перебивая друг друга*). Простил государь-батюшка нас, псов своих и изменников подлых. Теперь верой и правдой тебе служить будем до конца дней своих. Богом клянусь!

Д и м и т р и й. А ты, Шуйский, зря не божишься, в долг поверю! (*Мстиславскому*.) И тебе скажу ради праздника: кто много целует, редко не укусит. Но всё одно — трёх врагов не держи себе, а с двумя помирись! Это я уже себе говорю!

Ш у т А н т о н и о (*кривляясь*). А про государыню забыли... про государыню-то забыли... забыли про государыню... какая печаль!

В эту минуту внимание всех переключается на М а р и н у, медленно направляющуюся к тронному месту. Музыканты стихают. Она одета во французское платье, тонко перетянутое в талии, по моде того времени. На голове — маленькая алмазная корона. Дмитрий тоже одет по-европейски. Она садится на второй трон рядом с Дмитрием. У ног Марины на скамеечке усаживается шут Антонио. Вокруг, в отдалении, стоят её фрейлины, за тронном — юный панич Осмольский, её паж. К тронному месту направляется отец Марины, Юрий Мнишек.

Ю р и й. Ну что, дети мои, как почивали? В добром ли здравии встали? Лично я после вчерашних танцев еле проснулся... Венгерского давно столько не пил...

Д и м и т р и й. Русский пример заразителен. Гуляет, погуляет — устанет, перестанет.

М а р и н а. Говорят, тут квас рассольный утром пьют...

Ш у т А н т о н и о (*подхватывает тему*). Квас житный, квас медвяный, квас яшный, квас яблочный! А Пророк Исайя глаголет: «Горе восстающим завтра и квас гонящим, и ждущим вечера в гусльми и сопельми и с бубны — пият бо, а дел Господних не видят».

Дмитрий его перебивает.

Д и м и т р и й. Дурак, оставь нас одних! Поди лучше к Шуйскому с Мстиславским, развлеки их, а то опять хмурые стоят, спроси, али кого хоронят... (*Шут послушно убегает*.)

Ю р и й М н и ш е к (*учтиво*). Государь, я хотел бы обсудить с тобой один скрытный вопрос. Послы короля польского на пир не идут, говорят, учтивости им мало оказано.

Д и м и т р и й. Не хотят идти? Ну и пусть сидят себе по домам. Буду я ещё об послах думать! Много чести! Видите ли, им не велено меня императором величать, Великим князем токмо. А здесь (*оглядывается*) нет никакого Великого князя... Не хотят — пусть убираются восвояси!

Ю р и й М н и ш е к. Но это неслыханно, Государь, это скандалом пахнет. А вашей милости скандал сейчас ни к чему...

М а р и н а (*учтиво*). Наоборот, нам сейчас поддержка нужна, союзники. Вы же сами мне давеча говорили о коалиции против Порты... А Польского короля в Европе ценят...

Д и м и т р и й. Ну хорошо, хорошо! (*Мнишеку*). Подите, пан Мнишек, и скажите им, что сам русский царь зовёт их на пир, честь им оказывает великую... (*Мнишек уходит*).

М а р и н а (*весела и довольна*). Какой сегодня день красивый! Вчера тучи целый день собирались, а сегодня с утра солнце! Купола горят. И я так счастлива! Я даже во сне никогда не видела себя такой счастливой!

Д и м и т р и й. То ли ещё будет, сердце моё! Мы с тобою двор заведём не хуже, чем у французского Генриха и его Марии Медичи. Перестроим Кремль на европейский лад. А когда я из похода на Порту вернусь со славой Александра Великого, все обернутся в сторону русского государства.

М а р и н а (*тихо, интимно, легко переходя на «ты»*). А в вопросах веры истинной ты не забудешь обещаний, в Польше данных? Святые отцы огорчаются... Ты со мною и к мессе ещё ни разу не сходил!

Д и м и т р и й. Ну, раз уж мы вспомнили Генриха, то не худо и слова его вспомнить. Бучинский мне сказывал, секретарь мой... будто бы Генрих, сам гугенот, признался: «Париж стоит мессы!» А ты думаешь, Москва не стоит? Стоит двух!

М а р и н а. Загадочны слова твои. Пожалуй, я чего-то не понимаю... Но всё равно я счастлива теперь! Я буду тебе помощницей... (*Чуть-чуть капризно*.) Только никогда не проси меня больше надевать этот ужасный русский наряд. Словно кокон какой, камнями обременённый. Не украшение, а вериги... И вообще... ты вели боярам кафтаны обрезать, бороды сбрить. Смотри, как Басманов твой хорош собою в европейском костюме! На него пани Хмелевская, фрейлина моя, уже заглядывается!

Д и м и т р и й. Поженим! А ну-тка, я его позову сюда! (*Громко*.) Басманов!

Басманов направляется к трону.

В этот момент на пиру появляется пара слепцов с музыкальными инструментами и пророчица. По окрику Дмитрия шут Антонио и вбежавшие стрельцы пытаются их прогнать, но Марина делает им знак.

М а р и н а. Нет-нет, останьтесь... Я хочу послушать... (*Димитрию*.) Пускай споют... из русской старины... Я слышала, занятно это пенье.

Д и м и т р и й (*молча делает стрельцам знак рукой*).

Слепцы начинают одну из эпических старых песен про Добрыню и Маринку — чародейку и вешунью, еретичку и безбожницу. Вступает пророчица, бьётся, как в паучей. Её опять хотят прогнать, но Марина дослушивает всё до конца.

Пока она слушает песню, паж Осмольский, стоя за стулом царицы, тайком гладит её роскошную, перевитую золотыми нитями и жемчугом косу.

О с м о л ь с к и й (*тихо*). Я готов умереть за тебя, моя царица! Только прикажи!

М а р и н а. Отчего же умереть, пан Осмольский! На шлюбе так не можно думать! На шлюбе надо веселиться! Впрочем, (*помрачнев*) какие грустные песни поют здесь... В Польше слепцы всегда знают весёлые колядки... (*Димитрию*.) Я, кажется, устала, мой милый, ...проводите меня в покои.

Димитрий делает Басманову знак, затем они с Мариной встают и уходят, после чего музыканты опять начинают играть, поляки — танцевать, а бояре направляются к столу с яствами. Шумно.

Явление девятое.

Сцена в Кремле, в царских покоях.

М а р и н а что-то подбирает на лютне. За столом Д и м и т р и й рассматривает принесённые ему Бучинским бумаги. Входит Ю р и й М н и ш е к.

М н и ш е к (*тревожно*). Сын мой! Марина, донюшка! Ещё недели нет по вашей свадьбе, а вам уже грозит опасность... Старая лиса Шуйский путает след. Говорит направо, а глядит налево. Сегодня пришли ко мне жолнежи и заведомляют, что вся Москва поднимается на поляков.

Д и м и т р и й (*беспечно*). Ваша милость зря дозволяет жолнежам доносить разные сплетни...

М н и ш е к. Ваше величество, осторожность никого ещё не заставила пожалеть о себе...

Б у ч и н с к и й (*встревает в разговор*). Вчера задержали одного... пьяный был, но болтал разное... Царь, говорит, у нас не настоящий...

Д и м и т р и й. Что за беда! Пьяный болтал! А хоть бы и трезвый, то я не хочу беспокоить себя всякой глупой болтовнёй.

М н и ш е к. Если народ взбунтуется...

Д и м и т р и й (*перебивая*). Ради бога, не говорите мне об этом... (*С досадою.*) Я знаю, где я царствую... у меня нет врагов, я же сам владычествую над жизнью и смертью... И чего мне бояться, если народ меня любит. Я же сразу сказал, что не царём буду, а отцом родным для моих подданных, буду жить для их пользы и счастья. Бояре?.. А что нам бояре? Мы же никого не казнили, не наказали, всех врагов простили, Шуйского из ссылки вернули, Мстиславского простили... ни одна слеза не упала по нашей вине...

Б у ч и н с к и й. Мы всегда охотно верим тому, чего желаем... Худо в городе, Государь... вот и Басманов давеча сказывал, пойманные злодеи показанья дали... заговор против тебя... отраву с ними нашли...

Д и м и т р и й. Какой вздор! (*Помолчав.*) Ну, хорошо, хорошо... коли так говорите, завтра же дам указ сделать розыск. Нет... завтра машкерад, лучше послезавтра! Сначала машкерад, а потом розыск. Не так ли, царица моя?

М а р и н а. Так, мой Государь! сначала машкерад и... (*лукаво улыбаясь*) ларец регины Анны! (*Она нежно кладёт свою руку на руку Димитрия.*) А после — розыск и допрос врагов.

Д и м и т р и й (*Мнишеку*). Слова супруги — для меня закон. Она от счастья, как дитя, беспечна... И я люблю её беспечность эту... (*Улыбается ей и продолжает перебирать бумаги.*)

М н и ш е к (*сам с собою*). Не стоила б беспечность эта жизни... нам всем... (*Обиженно.*) Моё дело сказать... (*низко кланяется и уходит*).

М а р и н а (*ему вслед*). Татуся, встретимся на машкераде!

Бучинский выходит вслед за Мнишеком, затем вносит большую украшенную золотой сканью шкатулку.

Б у ч и н с к и й. Аглийский посол велел сказать, что принцесса продаст любую вещицу, какую Ваше Величество пожелает купить в казну или в подарок молодой царице.

Они все вместе рассматривают украшения принцессы Анны, присланные ею с нарочным для продажи.

Д и м и т р и й (*Бучинскому*). Сходи в кладовую и принеси тотчас же мои ларцы: чёрный палисандровый и серебряный с бирюзой. Хочу сравнить.

Бучинский уходит и возвращается, внося ларцы.

Д и м и т р и й. Ну всё, ступай! А утром — жду с докладом. Потом — в Сенат, потом — на машкерад.

Секретарь уходит. Димитрий и Марина остаются одни. Марина примеряет то одно, то другое украшение, надевает диадему и колье, держа в руках маленькое серебряное зеркальце, кружится перед большим зеркалом. Димитрий подходит к ней.

Д и м и т р и й. Хочешь, я куплю тебе этот ларец целиком?

М а р и н а (*склоняясь к нему на грудь*). Только без аметистов — я слышала, они к слезам...

Д и м и т р и й. Какие слёзы, душа моя! Завтра машкерад!.. (*Отпуская её.*) Так в каком наряде думаешь ты явиться свету? (*С восторгом глядя на неё.*) Ты можешь быть только царицей, а другой образ к тебе не пристанет, даже и на машкераде!

Марина выходит в смежную комнату и возвращается уже в ночной сорочке, распустивши волосы, ложится в постель. Димитрий гасит свет.

240

НАДЕЖДА КОНДАКОВА

Д и м и т р и й (*с усмешкой*). Да, ты о чём это шепталась весь вечер с юным паничем Осмольским? Может, скажешь мне, сердце моё, что так жадно провожает он тебя глазами?

М а р и н а. Ах, ты ревнуешь? Я рада! А он, паж мой верный, между прочим, сказал, что готов умереть за меня!

Д и м и т р и й. Он-то кем будет завтра на машкераде?

М а р и н а (*уже засыпая*). Спи, радость моя, спи, завтра всё узнаешь!

Явление десятое.

Царская опочивальня и смежная с ней комната. Деревянная лестница вниз. Ещё темно. Неожиданно в сумерках раздаётся набат. Тотчас же, по местному обычаю, этому звону отвечают все остальные колокола в округе.

Пробудившись в объятиях спящей Марины, царь кличет Бучинского.

Д и м и т р и й. Бучинский, где ты? Что там случилось? Почему бьют сполох?

Б у ч и н с к и й (*пробегает с подсвечником, сталкивается с двумя встречными*). Что там такое? Что случилось?

О д и н и з н а п а д а ю щ и х (*пытаясь обмануть*). Мы не знаем... Должно быть, пожар!

Б у ч и н с к и й (*к охране*). Никого не пускать! Где Государь? Басманов где?

Общая паника, крики, неразбериха.

Второй из ворвавшихся в сени. Где лжецарь? Где Отрепьев? Выдай нам обманщика!

Бучинский возвращается в переднюю, видит Дмитрия.

Дмитрий. Где моя сабля? Где мечник мой, Скопин-Шуйский, где, я спрашиваю? Бежал, собака?

Бучинский. Бежал! Спасайтесь, Государь! Басманов давеча предупредал! Вся Москва против вас!

Дмитрий. Враньё! Народ со мной. Это боярская измена. Не уходи! Спасай скорей царицу!

Уже светлеет. В комнату врываются ещё трое. Схватив бердыш одного из телохранителей, Дмитрий готовится к борьбе с нападающими.

Дмитрий. Прочь! Я вам не Годунов!

Слышны выстрелы, неистовые крики, шум в сенях. Дмитрий отступает, он вглядывается в окно, затем вбегает в опочивальню.

Марина (*только проснувшись*). Случилось что? Дмитрий, что случилось?

Дмитрий. Измена, сердце моё, измена!

Марина. О, Jesus, Maria!

Бучинский прикрывает её бегство. Нос к носу столкнувшись с одним из бояр, Дмитрий выпрыгивает из окна.

Наскоро надевши юбку, с растрёпанными волосами, Марина сбегает по лестнице и пробирается на свою половину, где, сбившись в кучку, стоят такие же растрёпанные и перепуганные насмерть её придворные дамы. Марину буквально подхватывает на руки панич Осмольский.

Осмольский. Царица, моя Государыня, я спасу Ваше Величество! Не бойтесь! Мы убежим из этого вертепа... Мы будем вместе до конца, я не брошу тебя, любовь моя!

Марина. Влодек, это зрада, измена, зрада, зрада... (*Она твердит далее это слово по-польски, потом бросается к окну.*) Где царь? Где мой муж?

Они вместе пробираются на другую половину дома. В запертые двери со стуком рвутся. Паника среди дам. Одна молится. Другая лежит, распростёртая ниц. На лицах у всех ужас. Марина прячется под юбкой своей дородной няни. Толпа тотчас взламывает двери. Нескольким боярам дорогу преградил пан Осмольский с саблею в руке. Его наповал сбивают с ног четверо бояр с саблями.

Власьев (*к тесно сбившейся кучке женщин*). Где Маринка, еретичка поганая? Куда вы спрятали её, курвы польские?

Заруцкий. Самозванец уже мёртв! Сейчас царицу его тоже найдём и отправим к праотцам.

Власьев (*размахивая саблей*). Всех ляхов перебьём, если не скажете, где она!

Б а р б а р а. Нет её здесь, панове бояре.

Н я н я Х а н н у с я (*испуганно*). Она из покоев спальных вниз бежала. Я сама видела...

Б а р б а р а. Ещё Басманов с нею рядом был...

З а р у ц к и й (*глумливо*). Ну смотрите, не найдём нигде — к вам вернёмся... ку-рвы...

В дверь просовывается взлохмаченная голова.

Ч е й – т о г о л о с. Мстиславский велел всех кричать на площадь! Скорее все на площадь!

Заговорщики убегают. Над телом убитого юноши Осмольского рыдает одна из женщин, крик, шум, издалека слышны выстрелы. Женщины, пятась, общей кучкой уходят через заднюю дверь. Появляется Ш у й с к и й. Он оглядывается по сторонам и устало опускается на край лавки. Рядом с ним с саблей наголо останавливается пожилой боярин, почти старик.

Ш у й с к и й. Всё кончено. Злодея больше нет. Я — царь!

В л а с ь е в. Ты царь...

Вбегают трое стрельцов.

1 – й с т р е л е ц. Где царь?

2 – й с т р е л е ц. Где царская опочивальня?

3 – й с т р е л е ц. Говорят, ляхи царя нашего батюшку надумали убить, нам велено бежать сюда... спасти его...

В л а с ь е в. Уже убили...

1 – й с т р е л е ц (*показывая на лежащего вниз лицом убитого Осмольского*). А это кто?

В л а с ь е в. Лях!

Стрельцы набрасываются на убитого, рубят его саблями. Власьев и Шуйский тихо уходят.

КОНЕЦ 1 ДЕЙСТВИЯ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Ш у т А н т о н и о. Ну что, я тебе ещё в Польше говорил: добром это не кончится... А ты: «Возьми меня в ученики, возьми». Ну, взял.

Ш у т К о ш е л е в. У нас всегда так.

Ш у т А н т о н и о. Как это «т а к»?.. И почему ты говоришь «у нас»? Ты что, значит, московит будешь?

Ш у т К о ш е л е в (*не обращая внимания на последние слова*). Ну, добром у нас никогда ничего не кончается... Ни революции, ни реформы... Димитрий, как приехал из Польши, давай, говорит, реформы делать. Первое — спать после обеда не будем. Второе — пить будем меньше. Третье — будем учиться.

Ш у т А н т о н и о. А что ж в этом плохого — учиться, ученье — свет...

Ш у т К о ш е л е в. Вот именно. Чем у нас это кончается — всякому известно. Свет — он только тогда свет, когда все этого хотят. А если одни хотят света, а другие рябчиков, фаршированных лебедиными язычками, ничего не получится... Пекли, кажись, пирожки, а вышли покрывалки на горшки!

Ш у т А н т о н и о. А ты стал классным дураком, Кошелев! Теперь и я у тебя могу кой-чему поучиться.

Ш у т К о ш е л е в. За одного битого двух небитых дают, да и то не берут! Учись не учись, а всё дураком помрёшь. А помирать не хочется. Вот я и говорю, бежать отсюда надо, пока есть возможность.

Ш у т А н т о н и о. Удаётся и червячку на веку. Не поймашь карася — поймашь щуку. Бежать всегда успеем. Досмотрим сей трагический водевиль до конца, раз уж судьба нам выпала такая.

Ш у т К о ш е л е в. Ну, кто хочет смотреть, пусть смотрит! А я лично ретируюсь. Правда, колпак сей дурацкий всё же прихватчу с собой. На всякий случай.

Оба уходят в разные стороны.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Явление первое.

1608, сентябрь. Сцена в Тушине. Комната в царском шатре. Сияющий золотом трон. На скамье — В л а с ь е в в шутовском наряде, изображает пьяного. За столом с яствами и напитками — два казака и дородная девица в русском одеянии. На лавке — Т у ш и н с к и й В о р, на коленях у него две по-европейски одетые польки, одна из них — бывшая фрейлина Марины — Я д в и г а. Все на веселе... Входит З а р у ц к и й.

243

З а р у ц к и й. Прибыл пан Юрий Мнишек!

Т у ш и н с к и й В о р. Пушай войдёт! (Продолжает щекотать девиц, те хохочут, что-то щебеча по-польски.)

Входит, с интересом озираясь, Ю р и й М н и ш е к.

Ю р и й М н и ш е к. Дзень добры паньству!

Я д в и г а (пьяным голосом). Дзень добры, дзень добрый, пан Мнишек! Какая именитая встреча! Вот уж кого я тут точно не ждала увидеть, чьарт меня побери! Ну, и где ж теперь царица наша, будь она трижды неладна! (Допивает стакан.) Теперь я тут царица (обращаясь к Тушинскому Вору), да, коханий?

Т у ш и н с к и й В о р (не обращая внимания на её слова). День добрый, пан Мнишек! Заждались мы вашего паньства... Глядь, уже и брагу всю выпили! (Обращаясь к Власьеву): Власьев, налей пану Мнишку с дороги. (К другой девице): Голуба, а ну-ка, обними покрепче воеводу!

Ю р и й М н и ш е к (сурово). Я вижу, здесь меня совсем не ждали... Ваше величество (последние два слова он произносит без подобострастия, но с чувством иронии и некоторой долей польского «honoru»).

Т у ш и н с к и й В о р (*освобождаясь от объятий девиц и делая знак всем удалиться*). Кыш! Кыш!

При этих словах всех как ветром сдуло. В комнате остаются вдвоём воевода и Тушинский Вор.

Т у ш и н с к и й В о р. Ждали, пан, ещё как ждали!

Ю р и й М н и ш е к. Я знал, что царь... что пан... не зять мне во-все, но чтобы так меня встречать... Нет, это уж слишком! Пожалуй, прав был святой отец: пора домой... Три года не был дома, жены не видел... и вина не пил... хорошего.

Т у ш и н с к и й В о р. Пан торопится! (*Изображая почтение*.) Прощу садиться!

Ю р и й М н и ш е к. Хотел бы лишь присесть... Сядятся на кол... Иль как это у вас: «не в свои сани не садись».

Т у ш и н с к и й В о р. Об том и речь, что сани у нас обчие.

Ю р и й М н и ш е к (*саясь на лавку*). Пожалуй, что и общие. Но прежде надо договориться... Моя дочь пока ещё ничего не знает. Она думает, что муж её чудесным образом спасся...

Т у ш и н с к и й В о р (*прерывая его*). И взаправду спасся. Вот он, я перед тобой! Она — царица, я — царь! Всё очень просто.

Ю р и й М н и ш е к. А я?

Т у ш и н с к и й В о р. А ты — поедешь в Польшу. Пить вино, жену свою, пани Мнишкову, на балах танчить... Ну... тысяч двести флоринов вам на это хватит?

Ю р и й М н и ш е к (*ворча и про себя обдумывая сказанное*). Хм, танчить, — откуда знаешь это слово польское? Танчить, танчить...

Т у ш и н с к и й В о р. Да Яська давеча научила... фрейлина бывшая... Что, мало, пан? Ну, двести пятьдесят!

Ю р и й М н и ш е к. Нет, триста! Марину же в Москве короновали! И с царём она венчана... она царица дважды!.. (*Помедлив*.) И к тому же, она ещё ничего пока не знает...

Т у ш и н с к и й В о р (*усмехаясь*). Как венчана, так и развенчана... И снова повенчана.

Ю р и й М н и ш е к. Вот то-то и оно, венчаться нужно тайно, чтобы никто не знал, чтоб муха не прожужжала, комар не пропищал! Не то прознает Шуйский — всему конец! И ещё (*тихо*): чтоб этих курв (*показывает рукой на дверь*) Марина не видала! (*С притворством*.) Дочь бедная моя!.. (*В сторону, тихо*.) В какой стране ей жить пришлось!

Т у ш и н с к и й В о р. Само собой, чтоб Шуйский не прознал, куда трон его мы не захватим. А там ему конец. И всем конец, кто супротив меня, моих казаков и...

Ю р и й М н и ш е к (*подхватывает*.) ...твоей царицы!

Т у ш и н с к и й В о р. Само собой!.. Так значит, по рукам! (*Кричит слуге*.) Налей, любезный!

Ю р и й М н и ш е к. По рукам! Так, значит, триста?

Вбегает В л а с ь е в в шутовском колпаке с двумя чарками, наливает, они чокаются.

Ю р и й М н и ш е к (*выпивая и морщась, затем тихо, в сторону*). Какая дрянь! И водка дрянь, и сам зятёк дрянь! И я тоже дрянь — дочь родную, можно сказать, продал... (*Помедлив.*) А что, как выгорит?.. И снова, воевода Юрий Мнишек, я — царский тесть!

Т у ш и н с к и й В о р (*выпивая и смачно закусывая*). Ты там польски бормочешь что-то? Лучше запомни, когда пан придет в свою Польшу, он скажет всем: царь Димитрий жив. Всем кланяется. (*В сторону тихо: «Я вам поклонюсь!»*)

Ю р и й М н и ш е к . «Кланяется» — это не по-польски! Там не рабы живут, пан Государь!

Т у ш и н с к и й В о р (*не обращая внимания на смысл сказанного*). Пан Государь... вот это уже лучше! Заруцкий, прикажи подать коня для пана тестя моего. Гнедого, в яблоках! Нет, лучше — вороного.

Ю р и й М н и ш е к (*кланяясь, уходя*). Ноц добра, Государь... Димитрий, ноц добра!

Явление второе.

1608, сентябрь. Сцена в постоялом доме неподалёку от Тушина.

За чайным столиком М а р и н а весело беседует с подругой, пани Б а р б а р о й К а з а н о в с к о й; поодаль за большим столом играют в шахматы два поляка из свиты Мнишека; за их игрой наблюдает Я н Б у ч и н с к и й, который одновременно прислушивается к разговору.

Б а р б а р а . А всё-таки душа по дому плачет. Мамусю жаль... и Краков жаль...

М а р и н а . И Самбор!

Б а р б а р а . И пана Даниэля тоже жаль?

М а р и н а . Не знаю, где он, бедный, бедный Дольцю!

Б а р б а р а . Мне брат писал — страдает по тебе... Его женить хотели... на Браницкой, бежал венца, потом удрал в Париж, учился в Риме, странствовал по свету... Теперь в Смоленске, рядом с королём.

М а р и н а (*вспыхнув*). Не может быть! (*Помолчав.*) А впрочем, всё быть может... Ах, бедный Дольцю, бедный, бедный Дольцю!

Б а р б а р а . Он бедный... но, похоже, мы бедней!

М а р и н а . Три года уж прошло... три года плена, ужаса, а мне... всё арапчонка жаль... подаренного мужем! Занятный был малец, кудрявый, умный... Проклятый Шуйский! Всё в конфискат пустил, всё отнял, что мог отнять... Что подарил Димитрий — всё пропало!

Б а р б а р а . Димитрий щедрый был.

М а р и н а (*перебирая струны лютни*). Ах, Басю, право, почему же был? Ты знаешь, что чудесным образом он спасся... (*напевает*).

Один куплет из той песенки, что пела в Самборе.

Он спас-ся! (*продолжая сбивчиво*). Увидишь, вот татуся вернётся скоро — с благою вестью! привезёт подарки... Жемчужное колье... Или рубины? Рубины мне идут!.. (*разглядывая себя*). Вот только бархат... стёрт на платье старом... (*Гневно.*) Проклятый Шуйский, и лжецарь и вор! Украл

престол — и думал, что навеки... (*Задумчиво.*) Нет, царь мой — жив! и я, его царица, с ним ложе разделю! (*Что-то шепчет подруге на ухо, они обе прыскают и залиvisto смеются.*)

В разговор вмешивается Бучинский, который уже долго наблюдает за ними.

Б у ч и н с к и й . Как радуются пани, как щебечут... Ну точно птички пред силком ловца... Quod volumes, credimus libenter!

М а р и н а (*с удивлением*). Мы охотно верим тому, чего желаем?.. Ах, Януш, выражайтесь пояснее, хотя бы и по-латыни!

Б а р б а р а . И при чём тут силки?

М а р и н а . И что за глупый тон! Со мной — тем боле...

Б у ч и н с к и й . Не глупый тон, а глупо думать, пани... что царь... что муж ваш жив...

М а р и н а (*стоит онемев, потом нервно, сбивчиво*). Но... Димитрий... писал к отцу... за ним прислал гонцов. Он ждёт уже нас в Тушине, Димитрий!

Б у ч и н с к и й . Димитрий, да не тот!

Б а р б а р а и М а р и н а (*одновременно*). Не тот?! Как это не тот?

Б у ч и н с к и й . Да очень просто: тот давно растерзан толпой безумной, а писал — другой к вам, быть может, ложный, а быть может, царь...

Марина без чувств падает на пол.

Все вскакивают, суетятся вокруг неё, укладывают на лавку, пани Барбара достаёт флакон с нюхательной солью, зовут лекаря. Входит Ю р и й М н и ш е к .

246

НАДЕЖДА КОНДАКОВА

Ю р и й М н и ш е к . О, Матка Боска, что здесь происходит?

Б у ч и н с к и й . Царица Марина лишилась чувств.

Ю р и й М н и ш е к (*с польским акцентом*). Для чего? Кто виноват? Что нужно делать? Лекаря — скорее! Беда какая...

Б а р б а р а (*суетясь вокруг лежащей на лавке Марины и обращаясь к отцу Марины*). Пан Мнишек, пан секретарь... хотел сказать...

Б у ч и н с к и йТак чувствительная пани... слова мои умножила в уме! А я всего лишь ей сказал, что правда... в том состоит, что царь Димитрий мёртв.

Ю р и й М н и ш е к . Он жив!

Б у ч и н с к и й (*иронически*). Ну да, конечно, жив, не то иначе я б не сидел здесь сиднем, в глухомани, в проклятых мухах, без тёплого сортира, без вина...

Замечая, что лекарь привёл Марину в чувство, замолкает.

М а р и н а (*открыв глаза и видя отца*). Ах, татку, скажите, это всё неправда!?

М н и ш е к . Марыню, доню,.. правда... но не вся!.. Мы завтра вместе в Тушино приедем... и ты, как бы в слезах, узнаешь мужа... А потом... потом ты снова в Кремль войдёшь царицей. Народ, увидев всё, пойдёт за вами!

М а р и н а . Нет, лучше смерть!

Б у ч и н с к и й . Ах, государыня, tertium non datur! Или, как здесь говорят — одно из двух!.. А смерть ещё успеет... дождаться нас...

М а р и н а . Сказала — лучше смерть!

Ю р и й М н и ш е к (*нежно глядя волосы дочери*). Но, Марыню, душа моя, ты ж в Кракове клялась, что вере и стране своей послужишь... И в Риме ждут исполнения твоей клятвы!

М а р и н а. Такой ценой? Нет, лучше умереть!

Ю р и й М н и ш е к (*сердито, передразнивая её*). «Лучше умереть! Лучше умереть!»... Заладила... без толку, без умолку... Послушай лучше, что подружка скажет, фрейлина твоя... (*Подмигивая ей*.) Басю, говори!

Б а р б а р а. Я думаю, что в Польше пан Корецкий...

М а р и н а (*вспыхнув*). Ты говорила, он в Смоленске!

Б а р б а р а. Точно, в Смоленске! Я думаю, что пан Корецкий... должен... жениться на Марыне!

Ю р и й М н и ш е к. Что за чушь! Какой Корецкий и при чём тут Корецкий? Она — царица! Он не пара ей!

Б а р б а р а. Зато её он любит! А любовь и счастье — родные сёстры.

Б у ч и н с к и й. Сводные!

М а р и н а (*отвлечённо*). Что сводит и что разводит их? (*Тихо*.) Не скажешь, что лучше: быть царицей, но — несчастной, или счастливой, но — не царицей! ... Ах, бедный Дольцю, бедный Дольцю! Когда б тебя любила я, как встарь! (*Помолчав*.) Когда бы ты был царь... (*после паузы*) иль хоть царевич!

Б у ч и н с к и й (*тихо, в сторону*). Хоть лжецаревич! (*Потирая руки*.) Дело, кажется, сладилось!

М а р и н а. Я спать хочу! Ещё — я буду думать! До завтра... Пополудни святой отец пусть будет здесь... Послушаю, что скажет он. Потом ещё подумаю... Но только... С ним ложе разделю — уже в Кремле, с рыжкой этим. Как он мне противен! (*Обращаясь к отцу*.) Он хоть собой пригож, Дмитрий сей?

Ю р и й М н и ш е к (*уходя от ответа*). Он смел, наверно. Мне — коня в подарок... пожаловал...

М а р и н а (*в сердцах*). Так жить мне не с конём! (*Все молча выходят из комнаты*.)

М а р и н а (*одна*). Ужасный день... ужасный жребий царский... Теперь я снов, как в Самборе, не вижу... но помню тот, про башню, про кукушку на жёрдочке серебряной... Разгадки, правда, до сих пор не знаю... Что делать мне теперь — не знаю тоже... Какой ужасный день!... скорей бы завтра! (*Ложится на подушку и одетая засыпает*.)

Явление третье.

1609 год, январь. Сцена в Тушине.

Просторная комната в большом деревянном дворце самозванца. Она служит приёмной и кабинетом. За большим накрытым столом сидят Тушинский Вор и Юрий Мнишек.

Ю р и й М н и ш е к. Сказать по правде, всё получилось очень правдоподобно. Марыня — в слезах, ты перед ней на коленях... народ вокруг благославляет Господа за то, что дал возможность вновь встретиться любящим супругам... Казаки стреляют в воздух... Купцы угощают медову-

хой. Все ликуют... Обрели царя и царицу... Теперь, как говорится, дело за малым. Где епископия про мои вотчины?... Где деньги?

Т у ш и н с к и й В о р (*как бы не замечая вопроса*). Не будь дураком, пан Мнишек, теперь только всё и начинается! Где ваши поляки, почему до сих пор нет обещанного подкрепления? Завтра же поедешь в Краков, скажешь сейму, что народ за нас, что все уговоры старые в силе и воевать с Польшей мы больше никогда не будем...

Ю р и й М н и ш е к (*тихо*). А деньги свои когда я получу?

Т у ш и н с к и й В о р. Какие деньги? Нет никаких денег у меня!

Ю р и й М н и ш е к (*вскакивает*). Это обман! И наглый! Я — польский пан, воевода сандомирский, моя дочь...

Т у ш и н с к и й В о р (*перебивая*). Да ладно, ладно, уймись, воевода! Я просто хотел покуражиться и в душонку твою мелкую заглянуть. (*Передавая ему свиток.*) Вот — вотчины твои и вот — наличность... Только скажи, почему царица воротит нос от меня? Перед всем войском она признала во мне Димитрия, а наедине сторонится... Мы так не договаривались!

П а н М н и ш е к. Марина сразу сказала, как сядешь в Кремле, она твоя. А пока оставь её... Она ещё должна привыкнуть к мысли, что ты ей муж... Тут у тебя я столько видел панёнок всяких... девок срамных... бери любую, хоть ту же Яську — что тебе Марина?! (*подумав*)... И потом, у нас контракт, а в контракт любовь не входила...

Т у ш и н с к и й В о р. А если я пообещаю вотчин тебе добавить?

П а н М н и ш е к. Добавить вотчин? Ты сядь в Кремле сначала! Сбрось Шуйского. Пожарского разбей.

Т у ш и н с к и й В о р (*примирительно*). Ну ладно, ладно, наливай... (*Про себя, тихо.*) Посмотрим... как будет дело... (*Громко.*) Выпьем за успех! Успех у женщин — тоже часть успеха...

П а н М н и ш е к. Успех у женщин — это весь успех!

В дверях появляется М а р и н а.

Т у ш и н с к и й В о р (*бросаясь ей навстречу*). Царица! Позвольте предложить вам прогулку верхом. Вы, я слышал, хорошая наездница. Атаман Заруцкий сказывал, что видел вас в седле, сушая амазонка...

М а р и н а (*ледяным голосом*). Не приближайтесь! Не знаю никакого атамана Заруцкого. И вас не знаю... И вообще, я пришла поговорить не с вами, а с моим отцом. А что касается до вас, будьте любезны перевести всю мою свиту в новый дом. Там, где их поселили, одни тараканы да грязь... еда хуже не бывает, вокруг одни пьяные казаки...

Т у ш и н с к и й В о р (*ехидно*). И пья-ные ляхи!

Ю р и й М н и ш е к. Не надо ссориться, дети мои! Скоро всё переменится. Я поеду в Польшу, устрою все дела, пришлю вам с okazji ей вина хорошего, французской тафты, батисту на сорочки царю... а то Государь в какой-то охабень одет, у царицы тоже бархат пообтёрся...

М а р и н а (*с ужасом*). Что я слышу?! Вы уезжаете? Бросаете меня одну в этом вертепе?

Т у ш и н с к и й В о р (*натетически*). Государыня останется в своём государстве. Жена — при своём муже. А тесть, заработав денег (*Мни-*

шек усиленно делает ему знаки, но он на них не реагирует), стало быть, заработав денег, удаляется восвояси... (Наливает большой кубок и залпом выпивает.)

М а р и н а (*не дослушав — отцу*). Так это, значит, правда, я не ослышалась? Вы завлекли меня в эту ужасную авантюру, а теперь бросаете... Я думала об отечестве своём... Я всегда была покорной вам, я слушала каждое слово святых отцов и любезных вашему сердцу иезуитов... Где они все теперь, где кардинал, где нунций Рангони? Вот что! Я напишу королю письмо! Я — равная ему! Пусть знает, что русская царица, дочь Польши, имеет право на внимание своей первой родины, ради которой поехала (*оглядываясь по сторонам*) в это варварское племя...

Т у ш и н с к и й В о р (*тихо*). Вот как заговорила, гордячка! Ну, ничего, ничего, время ей рога обломает. (*Встаёт, качаясь, кланяется.*) Мне пора, панове! (*Громко.*) Поеду в войска. Казаки что-то ропщут. Давно им не платили. (*Мнишеку.*) Прощай, пан Мнишек, если не свидимся — прощай вдвойне... (*Уходит.*)

М а р и н а. Как он мне отвратителен! Всегда пьяный... К коню подходит, как жолнеж какой... Невежда круглый! Разве это царь? Даже казачий атаман Заруцкий виднее его. В седле сидит — загляденье... вином не балуется... (*Тихо.*) Знаете, я теперь часто вспоминаю мужа, царя Дмитрия, глаза его умные, душу добрую — и сердце моё плачет...

М н и ш е к. Стерпится-слюбится, душа моя... Вернёшься в Кремль, сама править будешь. При таком-то царе только на тебя и надежда... Потом родишь, и род наш шляхетский царским станет. Может, и на польский престол когда-нибудь сядут мнишковичи... Да ты погляди, как русские земли тебя поддерживают: и Псков, и Переяславль, и Тверь, и Углич, и Вологда... Ростов и Балахна, ещё весь Дон... За Шуйским — только Нижний, Смоленск — да и всё...

М а р и н а (*задумчиво*). Я сама об этом по ночам думаю: нельзя мне отступаться. (*Увереннее.*) И я не отступлюсь! Это было бы непростительной слабостью или, больше сказать, — малодушием. Вернуться с позором в Краков, чтобы меня все вокруг жалели? Да что угодно — только не это!

М н и ш е к. Богу будет угодно видеть тебя вновь на троне, в царском величии и славе. Я это знаю...

М а р и н а (*почти не слушая его, думая о своём*). Татку, а про какие деньги давеча говорил этот... (*презрительно*) муж мой?

М н и ш е к (*делает вид, что не расслышал*). Что ты говоришь, донюшка? А... деньги!.. Мне их дали на закупки провианта... ну, и на дорогу, чтобы все поручения в Польше выполнить... Да это так, мелочь... Ну, я пойду... Собираться надо. Выезжаем через несколько дней. В обозе сорок человек... Ты хотела писать Их Королевскому Величеству? Я отвезу письмо.

М а р и н а. Напишу потом... Уже из Москвы... И всё-таки на вашем месте я бы не уезжала... Что будет со мною — Богу одному известно.

М н и ш е к. Мне надо ехать... Времени в обрез!

М а р и н а (*в сердцах*). Это так бесчестно, так холодно, не по-отцовски вовсе. Я вам была покорной в каждом шаге... В ошибке каждой... Мне порой казалось, что я в руках самой Судьбы — игрушка... Мне было восемнадцать лет всего, когда, послушна вам, я оказалась на троне скольз-

ком. А теперь вот — здесь. И лет мне больше, и к изменам сердце уже привыкло... Только — не к отцовским!

Мнишек. Ты не права, мой ангел! Горечь сердца тебе затмила разум на мгновение. Любовь отца корыстной не бывает... Но мне уже пора. Прощай! До встречи! *(Делает попытку поцеловать Марину в лоб)*.

Марина *(почти холодно)*. Что даст нам встреча? Всё одно — прощайте!

Явление четвёртое.

1609, сентябрь. Сцена в Тушине.

В большой деревянной горнице, увешанной коврами на восточный манер, беседуют Барбара и Ксендз, отец Анджей *(Савицкий)*, время от времени в комнату входит и вступает в разговор старая няня Марины — Ханнуся.

Барбара. Как же Марыня переменялась с отъезда пана Мнишека! Ни с кем не разговаривает. Всё что-то пишет в своём дневнике... Или в мужском костюме скачет на коне по полям, того и гляди, пулю шальную поймает. Вокруг ведь одни головорезы. Один только атаман чего стоит!

О. Анджей. Какой это атаман?

Барбара. Да Заруцкий, царя здешнего *(оглядываясь по сторонам)*, будь он неладен, дружок закадычный. Марыня его, правда, больше других отмечает: говорит, храбрый и удачливый, что ни задумает — всё исполнит.

О. Анджей. Марыня сама такая: упорная, воли — на десятерых панов хватит.

Барбара. Нет, сейчас она тихая... Только в глазах огонь сухой сверкнёт другой раз — страшно становится.

О. Анджей. А что пан Мнишек? Пишет ей?

Барбара. Да два письма только и прислали за всё время... пан Адам Вишневецкий тоже уехал, и пан Хмелевский, один князь Рожинский с четырьмя тысячами вольницы остался пока... Я бы и сама отсюда давно бежала, да Марыню жалко... звала её, она ни в какую!

О. Анджей. А тут я случайно пана Корецкого встретил... Он под Смоленском в польском войске у Сигизмунда был... Рассказал я ему всё, что знал... Так он хочет теперь тайно под видом купца сюда проникнуть и выкрасть Марину... чтобы увезти её в Польшу... Столько лет прошло, а забыть её всё не может!

Ханнуся *(перестав возиться по хозяйству)*. Ах, хорошо бы! Только не поедет она, голову даю на отсечение, не поедет... *(понизив голос)*...да и с беременем она уже... скоро матерью станет!

О. Анджей. Да ну!? Вот это поворот дела! Ещё кто-нибудь об этом знает?

Барбара. Знают... кое-кто догадывается. Марыня в русском платье стала ходить, сарафаны надевает, которые отродясь не носила...

О. Анджей. А что же лжеименитый царь наш? Говорят, и здесь его уже Тушинским Вором зовут?

Х а н н у с я (*сердито*). Вор он и есть! И веры какой-то, говорят, бусурманской, ни нашей, ни греческой... Талмуд у него вроде как видели в руках...

О. А н д ж е й. Ну и дела! А я приехал к нему с тайным посланием... от нашего короля... Тогда ответите меня сначала к царице...

Х а н н у с я (*растерянно*). Она никого не велела к себе допускать... (*К Барбаре*). Но пану скендзу, наверно, можно?... Она всё письма какого-то ждёт из Кракова...

Б а р б а р а. Я сама отведу вас к Марыне. Пойдёмте! (*Уходят*).

Х а н н у с я. Как бы чего не случилось... Ей теперь нельзя волноваться... страх как нельзя... Пойду пригляжу за ними! (*Уходит*).

Явление пятое.

Сцена в Тушине.

Беседка в саду, возле деревянного дворца, выстроенного на берегу реки. За столом — М а р и н а . Её волосы тщательно убраны на польский манер, одета она в тёмное платье.

М а р и н а (*одна; время от времени поднимая голову, что-то пишет в сафьяновой тетради*).

Уж год как я одна в безумном царстве
Своей мечты, возлюбленной и лживой...
Оставленная всеми, всем чужая,
Забытая и Богом, и людьми.
Супруга нет. А тот, кто это имя...
Бесправно носит — с каждым днём всё боле
Постыл и мерзок... в трусости ужасен,
В невежестве судьбы своей — смешон.
И стыдно мне и горестно лукавить,
Снося насмешки челяди, холопов,
Делить обман и ложе — по привычке...
Быть Клеопатрой, выглядеть — рабой...
Отец? Увы! Он опытен в изменах,
Он потакать привык своей гордыне...
И Бог простит, но сердце моё знает...
Ему нужна царица, а не дочь!
Одной себе могу доверить тайну,
И то страшусь... О, как мне люб весёлый
Лукавый взор... (*оглядываясь*) и разговор с насмешкой,
И стать мужская, и волнение крови...
Мне кажется — случись прикосновение
— И я не в силах выдержать его!
Сейчас войдёт — я не подам и виду...
Унять бы дрожь... Зачем звала — придумать...
Не тушинской царицей, не московской, —
Одной его царицей быть хочу!...

Слышит шаги из-за кустов и быстро прячет тетрадь в шкатулку.
Появляется З а р у ц к и й .

З а р у ц к и й (*весело*). Ваше Величество, вы меня звали?

М а р и н а (*холодным голосом*). Звала, Заруцкий. Я хотела спросить, не было ли послов каких к царю или писем ко мне?

З а р у ц к и й. Нет, Ваше Величество, писем не было. Послов тоже. Прибыл, правда, купец один польский, говорит, привёз для царицы алтабасу на платье.

М а р и н а (*равнодушно*). Купец? Я не жду никаких купцов... Скажи, в другой раз пусть приходит... Где сейчас царь, знаешь?

З а р у ц к и й. Да на соколиной охоте, где же ему ещё быть! Вчера белого сокола татарин ему подарил... так теперь они потешаются... (*со смехом*). Да, чуть не забыл... купец велел сказать, что ещё он привёз Вашему Величеству привет из Самбора...

М а р и н а (*оживляясь*). Вот как!?! (*Нарочито сердясь*.) Так бы и говорил сразу... Ступай, позови его!

М а р и н а (*одна*). Как трудно мне даётся хладнокровье!.. Как он спокоен, весел и бесстрастен... О, горе мне! О, Господи, помилуй, под сердцем я ж наследника ношу...

Входит переодетый в купеческое платье князь К о р е ц к и й. На голове шапка, низкое надвинутая на лоб. В руках дорожный сундучок. Узнать его невозможно.

М а р и н а (*спокойно*). Пан прибыл из Польши и, кажется, хотел меня видеть?

К о р е ц к и й. Да, Ваше Величество, очень хотел!

М а р и н а (*холодно*). Пан отвечает слишком дерзко... С московской царицей так не говорят... Но я прощаю пана, если правда... что он был в Самборе...

К о р е ц к и й. Был, Ваше величество... и видел там затмение: чёрный диск накрыл луну, и стало темно, как в Аду...

М а р и н а (*испуганно вздрагивая*). Кто вы и откуда знаете эти слова?

К о р е ц к и й. Знаю, давно знаю... что и жизнь без любви, как в Аду...

М а р и н а (*вскрикивая*). Боже, пан Корецкий, это вы? (*Переходя на шёпот*). Как ты здесь оказался? К чему этот машкерат? Это опасно, здесь много знакомых. Тебя могут увидеть.

К о р е ц к и й (*снимая шапку и бросаясь на колени*). Марыня, я приехал за своей любовью и без неё отсюда уже не уеду... (*С горячностью*.) Я знаю всё, что приключилось с тобою в этой глупой стране... Я долго искал способ, как сюда пробраться, пока не пристроился к купеческому обозу и шёл с ним от самого Смоленска. Никто не знает об этом, кроме двух-трёх доверенных мне лиц. Завтра на рассвете недалеко отсюда мы с тобой сядем на коней и с провожатыми доберёмся до ночлега, заночуем у моих друзей, а к вечеру следующего дня будем на границе. Документы уже выправлены. Осталось только твоё слово...

М а р и н а всё это слушает молча, она неподвижна.

К о р е ц к и й. Ты молчишь?.. скажи хоть что-нибудь.

М а р и н а. Ты совсем не переменялся... Такой же пылкий... (*Оживляясь*.) Но как же тебе не идёт этот дурацкий вид! Слово мой шут Антонио...

К о р е ц к и й (*оглядываясь по сторонам*). Марыня, какой Антонио... мы должны говорить о деле! У нас мало времени... Ты готова ехать завтра?

М а р и н а. Нет, Дольцю, не готова.

К о р е ц к и й. Сколько тебе нужно времени, скажи!? Я дам знак, чтобы нас ждали позже. Но каждый день пребывания здесь наполнен страхом... Все воюют, убивают друг друга, сажают на кол, сбрасывают с крепостных башен, скармливают псам... Ты помнишь, нам с тобою тогда лет по десять, не больше, было... Я мечтал открыть... новую Америку и посадить тебя там на королевский престол? Я исполню своё обещание! Мы уедем далеко-далеко, и там, где нас никто не знает и мы никого не знаем, проживём вместе до ста лет и будем счастливы...

М а р и н а (*задумчиво*). Мой бедный, мой милый Дольцю, а ведь ты был прав: жизнь без любви — как в Аду... Я особенно часто вспоминаю эти слова в последнее время...

К о р е ц к и й (*опять кидаясь к её ногам*). Марыня!

М а р и н а (*делает ему знак подняться*). Послушай! Я хочу сказать тебе много... Нет, я скажу всё... Ты только не перебивай!..

М а р и н а.

Когда б я знала свой нелёгкий жребий,
Страстей судьбы нежданное начало
— Тяжёлый путь, усыпанный шипами...
Увявшие до срока лепестки...
Когда б меня в московские царицы
Не повела неведомая сила,
Не позвала в неверные объятия
Земная слава, гордость или спесь,
Я б жить с тобой, с тобой одним желала,
Подругой света солнечного, счастья,
Наперсницей забав и наслаждений
Беспечного, как в детстве, бытия...
Но голос был мне из другого мира,
Из странных снов, из предсказаний кратких...
А Рим и Краков — вторили виденьям...
И рок сказал неопытному сердцу:
Иди! — И я послушалась его...
Потом, ты знаешь, было ослепленье...
Короной царской, первый брачный сон...
Потом... толпы ужасной озлобленье,
Убийство мужа, плен... И вот — позор...
И Рим молчит, и Краков тоже предал...
Отец?.. и тот забыл меня, поди...
Есть ты ещё!.. Но жребий всё разведал,
Он нас развёл...
(*Корецкий делает попытку её перебить*)
Не надо, погоди!..
Я скоро стану матерью... и в этом
Есть тоже рок!.. Наследника рожу...
Украденный престол верну!.. До лета...
Конец увижу смуте, мятежу...

К о р е ц к и й (*горячо*).

Мираж всё это! Русь полна раздора.
На трон российский метит наш король.
Бежим вдвоём от этого позора,
От всех, кто при тебе двойную роль
Играть наметил... Вижу, не согласна?..
В душе твоей я смуту нахожу...

М а р и н а.

Ты угадал... Мне и самой неясно,
Куда бежать... как быть... Но я скажу...
Ещё одной своей печали тайну
Тебе открою... только ты поймёшь.
Я полюбила... в первый раз... случайно...
Теперь я знаю: остальное — ложь...
Всё плен, всё прах, есть он один на свете
— Томящий голос, ненаглядный взгляд...
Есть страшный рок, и он один в ответе... за всё!..
За то, что нет пути назад...

К о р е ц к и й слушает последние слова молча, низко склонив голову.

М а р и н а (*после паузы*). Вот теперь, Дольцю, я сказала всё... (*При-
слушивается*.) Но, кажется, сюда идут. Тебе надо уходить. Я знаю, что
мы никогда больше не увидимся. Прощай, мой рыцарь, прощай навеки!

К о р е ц к и й. Прощай, Марыня! (*На коленях целует ей руку и спеш-
но уходит, почти убегает*.)

254

Входит Б а р б а р а. По всему видно, что она растеряна.

М а р и н а (*стараясь казаться спокойной*). Что случилось, ты так
взволнована?

Б а р б а р а (*не сразу находит нужное слово*). Его Величество... царь...
супруг твой... изволили бежать...

М а р и н а (*в смятении*). Как бежать? Куда? Помилуй, что ты гово-
ришь? Когда?

Б а р б а р а. Сегодня на рассвете. Взял с собой только шута своего
да двух беглых казаков... Говорят, они ещё с вечера скрылись в навозе, а
чуть рассвело — пустились в путь. Сказывают, в Калугу бежали...

М а р и н а (*уже спокойно*). Где пан Заруцкий? Найди его и срочно
зови ко мне. (*Барбара хочет уйти, но Марина останавливает её*.) Постой!
Скажешь ему прежде, зачем я его зову.

Барбара кивает головой и быстро уходит. Марина какое-то время обескураженно стоит
на одном месте, потом тоже удаляется в свой терем.

Явление шестое.

Зал в Тушино. Пустой трон. М а р и н а взволнованно ходит по комнате. По всему вид-
но, она не находит себе места.

Стремительной походкой входит З а р у ц к и й. Он почти спокоен.

З а р у ц к и й. Я знаю всё... Ничтожество — на троне!.. Бежал позорно, как последний раб... Как крыса с корабля, который тонет... Срамная девка от плетей позорных так бегаёт!.. Он никакой не царь! Царица — вы! И вам одной служу я!

М а р и н а (*растерянно*). Я слышу и ушам своим не верю...

З а р у ц к и й. Поверьте сердцу. Сердце знает всё!

М а р и н а. О нет, когда б и вправду сердце знало, мой день сегодня не был так угрюм... меня б уже ничто не волновало... Заложник славы, беспокойный ум давно бы указал счастливый выход... Но нет его... Моя погибель в том.

З а р у ц к и й (*горячо*). Любовь моя, прекрасная Марина! Я знаю, что живу в твоей душе... раздвоенной, и значит, половина её — во мне, и ты — моя уже!

Пытается обнять её.

М а р и н а (*экзальтированно, отстраняясь*). О Боже, Боже, я погибла, точно! Да, Януш, да... и я... давно люблю... Я знаю, что любовь моя порочна, стыдна, злословна...

З а р у ц к и й. Я не потерплю, моя царица, этих унижений! Свою любовь тебе я докажу! Я твой слуга, приказывай, Марина! Молчишь? Тогда послушай, я скажу: мой ум давно твой образ взял в приметку... Тебя я знал во сне и наяву. Ещё в Москве... Тогда, в начале лета, когда ты только прибыла в Москву.

М а р и н а. Не может быть! Ты был в Москве? Едва ли... мы виделись!

З а р у ц к и й. Тебя короновали... А я тогда стоял в толпе зевак... Я Шуйскому служил тогда... Я должен разнюхивать был — что, когда и как...

М а р и н а (*взволнованно, пылко*). Шпионом был? Ужель проклятый Шуйский, отнявший всё... мог и тебя отнять?! И мы могли не встретиться... О ужас! А встретились — и вот опять беда! Того, кто называется мне мужем — простыл и след. Бежать нам?.. Но куда?

З а р у ц к и й. Мы трон вернём во что бы то ни стало! Он твой по праву!

М а р и н а. Он по праву мой!.. (*Уже спокойно*.) И пусть я дважды под венцом стояла, я знала, что за всё платить — самой! (*Взволнованно*.) Что будем делать? Вор теперь в Калуге, мой беглый муж...

З а р у ц к и й. Вернём его шутя!

М а р и н а. Будь проклят он, постылый мне к тому же!

З а р у ц к и й. Любовь моя...

М а р и н а (*перебивая*). Но я... я... жду дитя...

З а р у ц к и й. Я знаю! (*Беря её за руку*.) Значит, будет и наследник... законного российского царя! Родись — посмотрим. Пиру будет — брашно... За мной казаки, ляхи, твой народ!

М а р и н а. Со мною — ты! Мне ничего не страшно! Любовь моя!

З а р у ц к и й. Седлать коней! Вперёд!

М а р и н а (*от экзальтации она быстро возвращается к спокойствию, перемена, характерная для её пылкого, неуравновешенного характера*). Нет, радость моя, теперь здесь за мною следят и поляки, и сами тушинцы. Действовать мы должны будем скрытно.

З а р у ц к и й. Но быстро! Завтра же утром ты переоденешься в мужское платье, и поедем к Яну Сапеге в войско, под Троицкий монастырь, а оттуда уже в Калугу, догонять твоего благоверного беглеца.

М а р и н а. Подлец! Казнить его мало! Да нельзя покамест... народ не поймёт. Царь сейчас нам нужнее всего, хоть бы и воровской... Сядем в Москве — там разберёмся.

З а р у ц к и й. Я же сказал, скоро родишь... наследника престола.

М а р и н а (*задумчиво*). Ханнуса считает, что будет девочка. Есть такие скрытые приметы...

З а р у ц к и й (*смеясь*). Подменим на мальчика! На свете нет безвыходных ситуаций. Особенно, когда речь идёт о русском престоле! И о такой царице, как ты! (*Серьёзно.*) Умнее женщин я не видел, прекрасней — тоже...

М а р и н а (*подходя близко, ласково склонив голову*). Ты правду говоришь? А я так долго мучила себя вопросами, терзала ревностью, когда ты разговаривал с Барбарой... Ночами не спала... теперь признаться стыдно...

З а р у ц к и й. Да знаю, видел я всё это! Была строга со мною — неумеренно. Дерзка — до неприличья. В колкой речи сквозили нотки уязвлённой стервы. Я потакал, любезничал с Барбарой, казался равнодушным, но, признаться, давно сгорал от нестерпимой жажды... хоть прикоснуться к смуглой этой шейке... (*Полушёпотом, пылко.*) Рожай быстрее!

М а р и н а (*хитро улыбаясь*). Соперничать с природой невозможно. Пожалуй, месяц-полтора в запасе... есть у меня, чтобы тебя проверить... (*Серьёзнее.*) Любимый, я сегодня верю в счастье! Как никогда до этого! Скажи, на свете счастье есть?

З а р у ц к и й. Да. В этот миг! Когда ты так несчастна и брошена на произвол судьбы своим отцом, потом своим супругом...

М а р и н а.

...И королём, и папой, что послали
 Меня в Москву, для единенья веры... (*С отчаяньем.*)
 Все бросили!.. Со мною — только Бог.
 Он и тебя мне подарил, наверно...
 Вот дар бесценный за любовь и веру,
 И верность цели, избранной случайно...

З а р у ц к и й. Случайно всё. И случай — Бог на свете, такой же Бог, коль веришь ты в него.

М а р и н а. Ты фаталист? Тогда скажи, что будет... на завтра с нами?

З а р у ц к и й. Жить, не зная — легче.

М а р и н а.

Шестой уж год, как я живу, не зная,
 Зачем и почему живу на свете,
 А лёгкости всё нет, а испытанья...
 Идут за мной, одно другого стоя...
 Теперь вот ты...

З а р у ц к и й (*прислушиваясь*). Всё. Сюда идут. Ты притворишься хворой. Я к казакам пойду тотчас... Они — твоя опора... На сборы у нас — всего одна ночь, а утром — в путь! (*Целует Марину и спешит к выходу. Марина удаляется в другую комнату.*)

Явление седьмое.

В келье Троицкого монастыря.

Входит М а р и н а, переодетая монахиней, в сопровождении инокини О л ь г и.

И н о к и н я О л ь г а. Проходите, настоятельница просила меня принять радушно сестру нашу странствующую, накормить, дать отдохнуть с дороги... Переночуете здесь, а рано утром опять проводим вас подземным ходом в город. Там вас будут ждать. *(К Марине приветливо.)* Располагайтесь, как дома. А я пока закончу свою работу.

И н о к и н я О л ь г а садится к столу, быстро дописывает что-то и закрывает кожаную тетрадь. М а р и н а оглядывается по сторонам.

М а р и н а. Спасибо, что согласились принять меня на ночлег. Я думаю, что сумею отблагодарить вас впоследствии. Мне в моём положении было бы тяжело ночевать в седле.

И н о к и н я О л ь г а *(с удивлением)*. Вы не здешняя? Ваш выговор кажется мне странным...

М а р и н а. Я здешняя. Но более ничего не могу сказать. Есть время хранить тайны...

И н о к и н я О л ь г а. И время раскрывать их. *(Вглядывается в лицо Марины.)* Мне кажется... я знаю ваше имя...

М а р и н а. Вам лучше его не знать. Тем более что и я не знаю, кто вы.

И н о к и н я О л ь г а. Я пострижена под именем Ольги. *(Помолчав.)* А 257
в миру... в миру меня звали иначе... Но вам это тоже лучше не знать.

М а р и н а *(пристально разглядывая собеседницу)*. Вы говорите загадками. Как странно... Ой-ой *(хватается за живот)*, что это?.. мне больно...

И н о к и н я О л ь г а *(подходя ближе)*. Господи, помилуй! Да вы, как я погляжу, с беременем будете. Ложитесь-ка сюда *(укладывает Марину на узкую кровать)*, я сейчас... *(Уходит.)*

М а р и н а *(постанывая и держась за живот, всё-таки с женским любопытством пытается разглядеть келью. Замечает в углу образ Богородицы в большом серебряном окладе, другие богато убранные иконы, серебром окованный сундук, золотой ларец)*. Матка Боска, неужели это вправду она, моя соперница Годунова?.. Какое совпадение! В это трудно поверить... Да, кажется, Димитрий перед нашей свадьбой сослал её в какой-то монастырь... Но сказывали тогда, что в другой... прошло столько лет... *(Входит инокия Ольга, держа в руке кружку с каким-то питьём.)*

И н о к и н я О л ь г а. Вот, выпейте *(протягивая кружку)*, это от травы... Станет легче...

М а р и н а. А вы откуда знаете, что легче? В монастырях детей не рожают.

И н о к и н я О л ь г а. Всякое бывает...

М а р и н а. А вдруг это зелье — отравы?

И н о к и н я О л ь г а. А вот этого в монастыре точно бояться не следует. У вас — что, есть причина бояться?

М а р и н а. Может быть, и есть...

И н о к и н я О л ь г а *(глядя Марине прямо в глаза)*. Здесь вы под защитой Богородицы... Матки Боски, по-вашему...

М а р и н а (*быстро поднимаясь с подушки*). Кто вам сказал, что я полька? И н о к и н я О л ь г а. Сердце моё и сказало.

М а р и н а. Вы верите сердцу? Ну что ж, тем лучше! Значит, и моё сердце меня не обмануло. Передо мною Ксения Годунова?

И н о к и н я О л ь г а. Ксении Годуновой на свете больше нет. Как нет и того, кто погубил её.

М а р и н а. Любого из нас погубить может только рок. Все остальные обстоятельства превходящи и в значительной мере зависят от нас самих. Вот, например, сейчас вы можете запросто выдать меня настоятельнице, она выдаст дальше... И уже утром нас вместе с моими провожатыми растерзает толпа, как растерзала она мужа моего, царя Димитрия...

И н о к и н я О л ь г а (*тихо*). Расскажите, как это было. Его долго мучили?

М а р и н а (*по всему видно, что она сильно взволнованна*). Я не знаю. Я сама ничего не знаю. Проснулась от сполоха. Шум, крики за окнами. Он вбежал, крикнул «здрода», то есть «измена» по-вашему, я кинулась в свой терем, он, кажется, выпрыгнул в окно. Больше я его не видела. Ни живым, ни мёртвым.

И н о к и н я О л ь г а (*слушает, опустив голову, молча подходит к иконе, крестится*). Я чувствовала, что так будет. Кровь всегда рождает кровь. И сегодня тоже всё залито кровью. Зачем Димитрий вернулся из Польши в Москву, я знаю. Но зачем вы, поляки, пришли сюда — ума не приложу. Там Европа, учёные люди, балы, танцы, жизнь на свой лад, а здесь...

М а р и н а (*как бы не слыша последнего вопроса, неожиданно переходя на «ты»*). Ты жила с ним больше, чем я... Почти год... Ты любила его? ...скажи мне, не бойся... Молчишь... Значит, любила...

И н о к и н я О л ь г а. Миловались долго, да расстались скоро. Я сначала ненавидела его... за брата, за матушку... а потом... потом полюбила так же сильно... А ты? Ты его любила? (*Пытливо глядяваясь в глаза Марине*.) Хотя... можешь не отвечать, теперь мне это уже всё равно...

М а р и н а. Нет, я отвечу откровенностью на откровенность. Я всем сердцем мечтала его полюбить, но когда мы встретились, мне было только восемнадцать, а кто в эти годы знает, что это такое, любовь? Сейчас — иное дело... есть человек, которого я люблю, и точно знаю, что это у меня первый раз в жизни.

И н о к и н я О л ь г а. И его ребёнка ты носишь под сердцем?

М а р и н а (*грустно*). Нет, к сожалению, не его... Но это неважно, сейчас это неважно...

И н о к и н я О л ь г а. Господи! Ужас! Ужас! Что ты говоришь... Ужас, какие мы великие грешницы... И от блудниц рождаются блудницы, и они, наши дети, тоже будут страдать... (*Обращаясь к иконе, опускаясь на колени*.) Заступись, Богородица! Господи, от великой Твоей милости прости нам грехи наши непомерные!

М а р и н а (*неловко пытается опуститься на колени рядом, молча крестится; потом, как бы опомнившись, берёт за руку инокиню, говорит спешно, сбиваясь от волнения*). Что? Что это? Мне послышалось или ты сказала — «наши дети»? Ты не ошиблась? У тебя есть ребёнок? Сын Димитрия? Где он? Но этого не может быть!

И н о к и н я О л ь г а (*встаёт, помогает подняться Марине, говорит спокойно, с достоинством, вежливо и тихо, снова переходя на «вы»*). Сестра, помилосердствуйте, уже светает, пора ложиться. Поспите хоть

часок-другой. Завтра у вас тяжёлый путь. А я пойду, мне на службу скоро. Прощайте! (*Уходит.*)

Ма р и н а (*одна*). Господи, это сон, всё это — какой-то странный русский сон... И нет ему ни конца, ни краю...

Тяжело садится на кровать и долго, обхватив руками голову, сидит без движения, молча; затем берёт подсвечник, задувает свечи и, как есть, одетая, ложится поверх застеленной постели.

Явление восьмое.

1610 год. В Калуге, в большом каменном доме, дворце Марины.

Русская свита. Из поляков остались лишь няня Х а н н у с я да верная Марине подруга Б а р б а р а К а з а н о в с к а я...

Б а р б а р а. Поляки все вернулись восвояси. Кто Владиславу присягнул в Смоленске, кто просто домой подался. Одни лишь мы остались тут, в Калуге.

Х а н н у с я. Куда ж теперь? Вот-вот родит Марина... Наследник будет. Может, смута стихнет? Народ успокоится и пойдёт за ними — за царём своим и дитём его...

Б а р б а р а. Так я сама слышала: его иначе как Тушинским Вором и не кличут, и ребёнка уже заране зовут ворёнком... Даже свита его так называемая... Урусов вот, татарин, так и косит глазищем злым...

Вбегает шут А н т о н и о.

Ш у т А н т о н и о. Царя нашего, царя-батюшку убили!

Б а р б а р а и Х а н н у с я (*разом*). Как убили? Кто убил? Матка Боска, помилуй, что же это делается!

Ш у т А н т о н и о. Да братья Урусовы и убили его, в стельку пьяного... на прогулке... В отместку за касимовского царя, убиенного по весне и брошенного в реку по приказу Государя.

Слышны голоса, крики, звон колоколов.

Шут Антонио убегает. Ханнуся и Барбара сначала выглядывают в окно и, накинув шубейки, тоже выбегают на улицу. Входит З а р у ц к и й, а за ним М а р и н а — растрёпанная, в слезах.

М а р и н а (*сквозь слёзы*). Не может быть! Такого быть не может! Без головы лежал он на снегу. Сама я этот ужас увидела... Сама его грузила на телегу. И с факелом в руке сопровождала. Нет, лучше смерть, чем ещё раз увидеть весь этот ужас... этот Ад кромешный...

З а р у ц к и й (*обнимая её*). Любовь моя, не надо, успокойся. Тебе рожать — сегодня или завтра. Не плачь, не надо, я с тобой, родная...

М а р и н а (*экзальтированно*). Сзывай донцов! Ты должен отомстить! За муки все мои, за эти слёзы... за страх мой, за безверье в смуте этой... За то, что потеряла равновесье в разнузданности черни и толпы.

З а р у ц к и й. Донцы — со мной! С тобой, моя царица, и я, любовник твой, твоя опора!

М а р и н а (*совсем тихо, внезапная смена настроения — характерны для этого периода её жизни*). Я так устала, Януш, в этой битве... добра со злом, ума — почти с безумьем, рассудка с сердцем... Кажется порой мне, что я две жизни прожила в сём мире... И всё напрасно.

З а р у ц к и й. Нет, душа моя! Ещё с тобой мы жить не начинали! Я обещал, что ты в Москву вернёшься, царицей сядешь, будешь править долго, покуда сыну трон не передашь...

М а р и н а. Ах, если бы твои слова сбывались! Пока сбывлись лишь бредни звездочёта, из Персии приехавшего в Краков. Ты помнишь, я о нём тебе сказала? Не помнишь? Жаль. Мой путь в шипах и розах увидел он. Но розы все увяли.

Вбегает шут А н т о н и о.

Ш у т А н т о н и о. Там народ волнуется. Толпами ходит, кричит: «Царя выбирать будем!»

М а р и н а. Ой, ой, больно! Я так и знала (*вскрикивает, держась за живот*). Господи, кажется, началось. Где Барбара, Ханнуса где? Лекаря! Скорее лекаря сюда!

З а р у ц к и й. Лекаря! Лекаря! Повитуху скорее сюда! Рожает!

Заруцкий уводит Марину, вслед за ними спешат Барбара с Ханнусей.
В это время за сценой крики, шум толпы, слышны отдельные голоса.

Г о л о с п е р в ы й. Нам нужен царь!
Г о л о с в т о р о й. Но только настоящий!
Г о л о с п е р в ы й. Давайте выбирать царя всем миром!
Г о л о с в т о р о й. Но только настоящего!
Г о л о с т р е т и й. Вот Кошелев, хоть шут, а чем не царь?
Г о л о с ч е т в ё р т ы й. Да, Кошелев, пожалуй, настоящий...
Г о л о с а. Кошелева, шута, на царство! Царь, наш царь, вот он, наш царь! Кошелев — наш царь!

Явление девятое.

1613 год. Изба в Астрахани.

М а р и н а. Теперь мы здесь, в избе ужасной этой... Ни войска — тебе верно, ни сану моему — приличества. Ни веры, ни надежды... (*Помолчав.*) Есть лишь любовь — моя к тебе любовь!

З а р у ц к и й. Ты не права. Я верю, что поправим свои дела. Наследник твой — царевич! А войска здесь, под Астраханью — море! За мной — пойдут! Вот только нужно будет... с Пожарским разобраться. Говорят, верных ему много нашлось...

М а р и н а. Да всем уже надоели — и смута эта, и поляки тоже. Их бьют повсюду... Ополченцев — море... Что это, если не Содом с Гоморрой?..

З а р у ц к и й. А всё же, если... раздобыть отраву и с нею в стан к Пожарскому пробраться? Не будет князя — войско соблазнится на нашу правду!.. Бог не без милости, казак не без счастья... Что на это скажешь?

М а р и н а. Кровью кровь покроется... И без того грехов — немеряно. Наследник мой — последняя надежда. Иван Димитрич... мой двухлетний мальчик... мой ангел ненаглядный...

З а р у ц к и й. Вот то-то и оно, что ненаглядный! Боюсь, что сглазят. Народ дурён и потерялся в вере... Нет ни души, ни смысла в их злодействах... Ну, я пойду с казаками гуторить, склонять к измене, снова сеять смуту... (*Уходит.*)

Входит Б а р б а р а.

Б а р б а р а. Завтра на рассвете трогаемся в путь. Даст Бог, к вечеру доберёмся до Можайска. А там уже и до Смоленска рукой подать. Дня два ещё потом — и буду дома! Матка Боска, неужто всё это когда-нибудь кончится?

М а р и н а. Всё уже и так кончилось... Ты слышала — Ядвига, подружка наша бывшая, отравы напилась вчера... с позору... когда её снасиловали ночью... поляки вместе с русскими... О, Боже! А прежде — мне проклятие послала... От исповеди — тоже отказалась. Хулила Бога... Это ли не страшно?

Б а р б а р а. Она была так набожна когда-то... Как ты да я! Знать, мы сильнее духом...

М а р и н а. Или слабее... кто об этом знает?!

Б а р б а р а. Бежать вам надо отсюда, пока не поздно! В Персию. А потом и дальше — куда глаза глядят. Самой спастись и о сыне подумать. Говорят, в Костроме Михайлу Романова уже на царствие просили. Трижды отказывался, но, в конце концов, согласился.

М а р и н а. На царство, говоришь? Но он так молод... Что может знать неопытное сердце? Вот взять меня: что знала я, ступая на царский трон?

Б а р б а р а. Вот потому и надобно — бежать...

М а р и н а. Ты, может, и права... Но бежать, как зайцы... когда их ловят, травят, загоняют?.. Нет, это не по мне! Скажи, а отец Анджей со мной останется или тоже с вами едет?

Б а р б а р а. Он здесь, за дверью. Хочет исповедать тебя перед отъездом. Ты готова? Ты хочешь этой исповеди? Честно?

М а р и н а. Хочу ли я, теперь сама не знаю...

Смирения во мне — уже ни капли.

Все заповеди — брошены...

Мечты? Мечты — и те уже давно разбиты...

Всего меня превратная фортуна лишила.

И весь мир как будто предал.

Скажи отцу, когда его увидишь,

Что я его прощаю, и прощенья

Сама прошу за дерзость стольких писем,

Оставшихся, ты знаешь, без ответа...

И короля прощаю! И Рангони,

Что соблазнял меня короной царской —

И тоже предал... Нет, зови монаха!

Я всё же исповедаться хочу...

Барбара уходит. Входит о. Анджей. Они с Мариной идут в глубь избы. Слышен только едва различимый шёпот. После исповеди Марина остаётся стоять на коленях, касаясь лбом пола, а о. Анджей почти бесшумно уходит.

Явление десятое.

Коломна. 1914. Башня в Коломенском монастыре.

М а р и н а (одна; то подходит к иконке Богоматери, то просто мечется от стены к стене).

Входит В л а с ь е в, за ним стрелец.

В л а с ь е в. Ну что, курва польская, дождалась своего часа? Я лично своего дождался! Теперь на Москве я — главный над всею стражею! Велено мне вести тебя на площадь — смотреть, как Заруцкого, твоего любодейца, на кол сажать будут, а ворёнка — казнить. Чтoб другим неповадно было смуту сеять и честной люд смущать.

М а р и н а. Власьев, ты же стоял со мною в Кракове перед венцом, побойся Бога!

В л а с ь е в (подталкивая её в спину). А ну, ступай, пёсья кровь, и без кривоглаголенья! Плачем меня не разжалобишь. Ишь, чего удумала! Я с ней перед венцом стоял! Да сроду такого не было! И быть не могло!

М а р и н а. Ты, Власьев, плут! Я сразу знала это... Но у меня... пока ещё... остался... венчальный перстень. Он теперь не нужен... А ты польстишься, знаю, ты польстишься...

Власьев делает рукой стрельцу знак удалиться. Тот быстро скрывается за дверью.

В л а с ь е в (меняя тон). Что хочешь за него?

М а р и н а. Хочу — не видеть, как псы ребёнка моего распнут... Как милого казнят... Как ты нахальной рожей, на это глядя, будешь улыбаться... Хочу, чтобы меня казнили первой!

В л а с ь е в. А вот этому — точно не бывать! Ты будешь ещё долго и страшно век свой маять... здесь (ехидно), в вотчине своей, в своей Коломне!.. Тут воля не моя, а Государя... Тебе определил он за-то-ченье! Он добрый, царь наш, батюшка! Не веришь? (Ухмыляясь.) А чтобы смерть ворёнка не увидеть — на это мы согласные... Где перстень?

Стрелец просовывает голову в дверь и что-то показывает рукой.

В л а с ь е в (стрельцу). Уже ведут? Ступай, сейчас я буду!

Марина достаёт перстень, молча передаёт его Власьеву. Тот быстро прячет его за пазуху.

В л а с ь е в. Скажу, что ты без чувств лежишь и бредишь. С ума сошла аль, может, в лихоманке... Смотри, не выдай, коли завтра спросят... А то я знаю этот гонор польский да нрав любогордивый!

М а р и н а. Молчал бы лучше! Уходи скорее! И за тебя молиться буду, ирод...

М а р и н а (*в слезах, одна*).

Мне двадцать восемь... Если б знать могла я,
Какую цену заплачу за страшный,
Слепой конец ужасной сказки этой...
Но в восемнадцать — все мы верим в сказки.
И чем она нелепей, тем сильнее
И жарче верим! Вот он, жребий женский —
И за любовь платить и за безлюбье,
И где цена весомей — неизвестно.
Я потеряла всё: Отчизну!.. Мужа!..
Любимого!.. И сына... потеряла.
А чем сильна весов другая чаша? —
Венец алмазный?.. Арапчонок шустрый?
Иль призрачная власть — над чем, не знаю...
Где власть, там денег — куры не клюют!..
Но что мне деньги, сей соблазн лукавый,
Извечно обольщающий обман?!
...Когда бы мне подарок жизни царский —
Начать сначала! — был преподнесён,
Боюсь, я б снова сделала ошибки...
Но всё же — не ужасные, не эти!
Тщеславие и гордость, злые сёстры
Смирения и нежности... но вместе
Они живут, друг друга побеждая,
Где в сердце женском зреет женский ум.
Любовь и долг — другое состязанье,
И на весах лежат совсем другие
Страданья, страсти, горести другие.
Долг — благороден, платежами красен,
Устойчивость даёт и равновесье.
Любовь — слепа, изменчива, опасна...
И всё же... я бы выбрала — любовь!
Я в Самборе, в саду, затмение помню...
И чудится мне, юноша влюблённый
Сказал, что без любви на этом свете
Жизнь — как в Аду...
А если и в Аду мне за грехи Господь укажет место,
Я буду знать, что здесь, на белом свете,
Любила и любимой была!.. И через сто,
И даже — через триста... Туманных лет
Душа моя не вспомнит
Ни золота с алмазами, ни блеска
Покоев царских... но в избе сырой,
Где до утра с любимым миловалась
И вперемешку плакала — от счастья,
Где тело каждой жилочкой хотело
Его любви бесстыдной — ей остаться,

Душе моей, навеки суждено...

(Подходя к иконе.)

Моей душе... отравленной гордыней,
Растоптанной предательствами, чёрной,
В чужом пиру измученной похмельем,
От горя и безумия больной...

(Становясь на колени.)

О, Матка Боска, исповедью этой

Я у тебя одной прошу прощенья.

Тебе одной, ходатаице верной

Пред Господом, колени преклоняю.

Стоя на коленях перед иконою Богородицы: «Умолкает ныне всякое уныние и страх отчаяния исчезает; грешницы в скорбях сердца обретают утешение...»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ

Ш у т К о ш е л е в. И вот сидим мы с тобой, шуты гороховые... в этой тюрьме...

Ш у т А н т о н и о. Ты же хотел бежать, зачем остался?

264

Ш у т К о ш е л е в. Остался, чтоб на своём примере рассказать, что не надо оставаться, когда есть возможность смотать удочки... Как думаешь, нас повесят?

Ш у т А н т о н и о. Думаю, дураки и новому царю понадобятся. Кто ж ему правду говорить будет, как не мы?

Ш у т К о ш е л е в. А кто народу правду расскажет?

Ш у т А н т о н и о. А разве народу нужна правда? Ему нужна только иллюзия правды... Сам же видел, как он кидался признавать то одного проходимца царём, то другого... И так же легко менял свои привязанности, как мы с тобой срамных девок. Помнишь, и тебя царём хотел назначить, прямо в колпаке твоём шутовском...

Ш у т К о ш е л е в. И сие единственное, что ты усвоил из этой русской истории?

Ш у т А н т о н и о. Почему же только русской? У нас в Европе таких историй тоже пруд пруди... Потом всё покроется пылью, зарастёт травой... Плохо, что отношения русских с поляками испортятся, поди, лет так на сто...

Ш у т К о ш е л е в. А может, и на все триста! Смутная, конечно, получилась история. Но смута, она ведь в головах сперва, в сердце... А уж потом во всём остальном... Историки, конечно, накинутся, как шакалы, придумают теории, разложат всё по полочкам, обсосут все косточки... вот только пани Марину... всё равно жалко, она, я думаю, меньше всех виновата... в этой чужой игре... А на неё всех собак и повесят!

Ш у т А н т о н и о. Может, ты и прав, друг мой. Но, сдаётся мне, женщина всегда виновата, если оказывается в водовороте событий, на

вершине которых власть... или деньги... или мужчина, которого она готова полюбить за власть и деньги.

Ш у т К о ш е л е в. А за что ещё нас любить? Деньги дают власть, власть даёт деньги. И власть над женщиной — это тоже власть!

Ш у т А н т о н и о. Призрачная... Женщина сама никогда не знает, чего она хочет. А любовь делает её вообще безумной и приводит к гибели. Вот пан Корецкий пришёл в Тушино, чтобы спасти Марину. И спас бы, когда бы она пошла за ним! А она — нет, мол, люблю другого... Ну и что, этот другой? Сына её не уберёт, повесили мальчика... Да и сам-то в мучениях умер на колу...

Ш у т К о ш е л е в. А она, рассказывают, в Коломне, в башне, куда её заточили — в неволе от тоски померла... другие говорят — в сороку обратилась, долго-долго кружилась над землёй, где её любимого, как собаку, закопали... А потом камнем упала вниз и разбилась.

Ш у т А н т о н и о. Да враки всё это!.. Её сначала задушили, а потом засунули в прорубь и утопили.

Ш у т К о ш е л е в (*прислушиваясь*). Т-с-с, кажется, сюда идут...

Скрежет открываемого замка.

Г о л о с с т р а ж н и к а. Шуты, на вы-ход! Велено вести вас на площадь. Народ без шутов уже соскучился!

КОНЕЦ

ВИДЕО О ДОСТОЕВСКОМ


В рамках XXXIX Международных чтений «Достоевский и мировая культура», состоявшихся в Санкт-Петербурге и посвящённых 193-й годовщине со дня рождения писателя, в зале литературной экспозиции литературно-мемориального музея Фёдора Достоевского состоялся показ видеофильма «Даровое-10».



Его авторы — кандидат филологических наук **Альбина Бессонова** и выпускник филологического факультета МГОС-ГИ **Денис Балашов** — представили фильм-повествование о десяти годах работы студентов и преподавателей коломенского вуза в фамильной усадьбе семьи Достоевских в селе Даровом (Зарайский район). Даровое — многолетний проект института, в частности профессора, доктора филологических наук **Владимира Викторовича**. Началось всё как самая обычная практика студен-

тов филологического и исторического факультетов, но постепенно выросло в целый проект «Заповедник Даровое». Над его воплощением сегодня трудятся студенты не только МГОСГИ, но и других российских вузов.

Фильм «Даровое-10» горячо обсуждался собравшимися. А президент Российского общества Достоевского **Борис Тихомиров** заметил, что *«такие проекты нужно поддерживать всеми силами; это редчайший случай, когда учебное заведение занимается не только теоретической и исследовательской работой, но и активно участвует в практическом возрождении усадьбы великого писателя»*.



Мир
Лажечникова





Графика Василины Королёвой



Владимир Александрович Викторович родился в 1950 году в городе Горьком (Нижегородской области), где окончил филологический факультет университета.

Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного областного социально-гуманитарного института, в котором трудится с 1979 года.

Автор многих работ по истории русской литературы. Член редколлегии биографического словаря «Русские писатели. 1800—1917» (издательство «Большая российская энциклопедия», выпущены первые пять томов), в котором, среди прочих, размещена статья В. А. Викторовича об И. И. Лажечникове. Руководитель проекта «Коломенский текст», включающего одноимённый сайт, книжную серию, научные сборники, статьи, конференции.

Литературоведческий очерк

Владимир Викторович

ПЕРВЫЙ РОМАН «РУССКОГО ВАЛЬТЕР СКОТТА»

На книжной полке

Долго шёл к читателям первый роман И. И. Лажечникова «Последний Новик». Вначале в альманахе «Сиротка» (М., 1831) была напечатана глава «Долина мертвецов». В том же году вышли первые две части романа. В 1832 году — третья часть, и только в 1833-м — четвёртая, последняя. Издание по частям было вполне в духе времени (вспомним хотя бы растянувшееся на семь лет печатание «Евгения Онегина»). Но задержка вызвала сетования читателей и критиков, заинтригованных замысловатым историко-романтическим сюжетом. Среди сетователей оказался и сам Пушкин, писавший Лажечникову: «Эти рассрочки выводят из терпения многочисленных Ваших читателей и почитателей».

Второе издание романа вышло также в Москве в 1833 году, а третье — в Петербурге в 1839. Факт сам по себе замечательный, говорящий о популярности романа. Во всех трёх изданиях полное название его было: «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого». Подзаголовок снят в четвёртом издании, когда роман был включён в первое собрание сочинений писателя 1858 года.

Почти два десятилетия, разделяющие третье и четвёртое издания, говорят не о падении популярности; была на то другая причина — цензурный запрет. Не раз писатель и книгоиздатели обращались за

разрешением перепечатать роман, ставший в конце концов библиографической редкостью, но цензурное ведомство было непреклонно. Так, Московский цензурный комитет в 1850 году дал следующее определение: «Главные действующие лица, Паткуль и Новик — один изменник своему государю, ставший во главу восстания Лифляндии, другой — убийца-бунтовщик, посягнувший на жизнь Петра Великого. Оба эти лица представлены в романе жертвами, вызывающими невольное сочувствие. Один был жертвою своей любви к отчизне, неправо угнетённой, другой — жертвою безграничной преданности к царевне Софье, бывшей и законной его государыней¹».

В 1857 году, будучи и сам цензором, Лажечников вновь делает попытку переиздать свои опальные романы. На сей раз значительную поддержку ему оказал И. А. Гончаров (великий романист также служил цензором); он составил убедительный рапорт, в котором, в частности, упирал и на то, что автор сделал «многочисленные поправки» и «исключения». Противодействуя сложившемуся в цензурном ведомстве устойчивому мнению, Гончаров писал: «Идея романа «Последний Новик» та, что герой романа изгнан из отечества за преступление, которое хотел совершить, и старается приобрести себе право на возвращение в это отечество подвигами усердия, любви и преданности к нему и государю. Исторический характер Паткуля сохранён в романе. Во всём сочинении господствует одна мысль — любовь к отечеству и слава великого Петра».

Отзыв Гончарова, а также положительное мнение П. А. Вяземского, тогда занимавшего пост товарища министра народного просвещения и члена Главного управления цензуры, сыграли свою роль: роман наконец вновь пришёл к читателю, хотя и с несколькими вынужденными купюрами цензурного характера (они были восстановлены лишь в московском издании 1962 года).

История в романе

Начальную эпоху Северной войны Лажечников изображает, опираясь на современную ему историческую науку, ещё несовершенную и к тому же односторонне-апологетическую по отношению к Петру Великому. Писатель тщательно изучил едва ли не все возможные публикации об этом времени на русском языке, основательно ознакомился с работами французских и немецких историков. Использовал Лажечников и некоторые рукописные материалы, найденные им в библиотеке Остерманов (будучи вначале адъютантом А. И. Остермана-Толстого, а после отставки — секретарём), а также устные предания, собранные в поездках по местам действия романа. Столь тщательная разработка источников сближает Лажечникова с другим писателем-историком того времени — А. О. Корниловичем, а затем и с Пушкиным.

Тем не менее не следует искать в романе Лажечникова полного соответствия имеющимся историческим фактам. Во-первых, не все из них

¹ Дело о запрещении романов «Последний Новик» и «Ледяной дом» хранится в архиве цензурного ведомства: Российский государственный исторический архив, ф. 772, I. 2424.

были известны писателю. А, во-вторых, Лажечников смело противоречил известным ему историческим сведениям, когда этого, как ему казалось, требовала «истина поэтическая».

Начало Северной войны

Война есть дело бесчеловечное, нехристианское. Однако, обращаясь к истории, мы находим в ней периоды, когда война была печальной неизбежностью. Такова Северная война (1700—1721 гг.) в истории России. Такой её представляет и Лажечников.

Со времён Ивана III (героя третьего романа Лажечникова) созревало осознание необходимости что-то менять в стране, всё более отстававшей от западных соседей. Всё большим тормозом становился национальный изоляционизм. Причины были и внешние, и внутренние, далеко не из последних было то обстоятельство, что Россия постепенно утрачивала издавна принадлежавшие ей выходы к морям: Балтийскому и Чёрному. Ко времени Петра I ей остались лишь Белое и Баренцево, не вполне удобные из-за их удалённости и непродолжительной навигации. Выход к Чёрному морю был в руках Османской империи и её вассала — Крымского ханства, а выход к Балтике оккупировали шведы. Юрьев (Дерпт), Орешек (Нотебург), Ругодив (Нарва) и другие города Ливонии отошли от России к Швеции по Столбовскому договору 1617 года.

В то время богатели и укреплялись нации, которые умело пользовались имеющимся у них выходом к морю, тогдашней всеобщей коммуникации. В русском человеке, видевшем это, складывалось, как пишет С. С. Соловьёв («Публичные чтения о Петре Великом»), «представление моря как силы, которая даёт богатство, отсюда страстное желание, стремление к морю».

Летом 1698 года, будучи за границей, Пётр встретился с Августом II, курфюрстом Саксонии и королём Польши, и договорился о взаимной помощи. У них был общий враг — Швеция.

Осенью 1699 года в Москву прибыло польское посольство во главе с генералом Карловичем — уговаривать царя немедленно начать войну со Швецией. В ноябре союзнический договор России и Польши (предварительно составленный И. Р. Паткулем, тайно участвовавшим в посольстве) был подписан, а чуть раньше — заключён договор России с Данией.

Пётр выполнил взятое на себя обязательство: на следующий день после заключения мирного договора с Турцией, 9 августа 1700 года, Россия объявила войну Швеции. Русские войска двинулись к Нарве. В то время войну со Швецией уже вёл Август, вступивший в начале 1700 года в Лифляндию и осадивший Ригу, а датские войска развернули наступление в Голштинии».

Вначале шведская армия во главе с Карлом XII нанесла молниеносный удар по Дании. Затем, двинувшись в Лифляндию, король-полководец отпугнул Августа от Риги и с наскока рассеял превосходящие силы русской армии под Нарвой. Победа принесла юному шведскому королю европейскую славу, но она же посеяла в нём гибельные семена самонадеянности, тогда как поражение встряхнуло русских от дремоты: после Нарвы Пётр

развил кипучую деятельность по реорганизации армии. Как это часто бывает в истории, выигравший — проигрывал, а проигравший — выигрывал.

После Нарвы самоуверенный Карл, презирая русских, отправился в новые победоносные походы, на сей раз во владения Августа, и на много лет, по словам Петра, «увяз» в военных прогулках по Польше и Саксонии. Умные люди в Швеции (среди которых был первый министр граф Пипер, упоминаемый у Лажечникова) советовали Карлу обратить внимание на возрастающее могущество России, но упоённый победами в Европе шведский король полагал, что никогда не поздно будет наказать «русских варваров».

Стратегической ошибкой Карла Пётр воспользовался в полной мере. «Русские варвары» проходили ускоренную школу современной войны. Старая неповоротливая военная организация заменялась европейской. На смену стрелцам и пушкарям, более озабоченным своим домашним хозяйством, приходили «датошные» (с 1705 года их стали называть рекрутами): формировалось регулярное войско. Обновлялась пехота, вооружаемая современными кремниевыми фузеями с примыкаемым штыком (на место багинета, вставлявшегося в ствол), что чрезвычайно подняло маневренность русской пехоты: можно было быстро перейти от стрельбы к штыковой атаке и наоборот. Явились и особые гренадерские части, предназначенные для метания ручных гранат. Совершенствовалась кавалерия, вооружавшаяся фузеями, пистолетами и палашами вместо прежних саблей и пик. Бомбардиров Пётр посадил на коней, чем сделал артиллерию подвижной, маневренной.

Лучшая школа для армии — военные действия. После нарвского провала русская армия в Прибалтике действовала на двух фронтах: лифляндском и ингерманландском. Здесь-то были одержаны первые победы русского оружия, позволившие оправиться от нарвского синдрома. Основные действия развернулись первоначально в Финляндии, тогдашней шведской провинции (в неё входили юг современной Эстонии и часть Латвии на север от реки Даугавы). Вся кампания состояла из ряда больших и малых набегов армии фельдмаршала графа Б. П. Шереметева на Лифляндию. Набеги, особенно если в них участвовала татарская конница, были опустошительными и жестокими. Позднейшие историки не раз писали о варварских методах ведения сей «малой» войны. Не обошёл этой темы и Лажечников в своём романе. Один из героев, лифляндец Густав Траутфеттер, рисует ужасную картину своей несчастной родины: «истоптанные жатвы, сожжённые сёла, болтающиеся без пристанища жители, тысячами гонимые, как стада, в Московию бичом татарина, города, опустошённые на несколько веков... Какая истина, какие надежды зажмут вопли несчастных?»

Сравним с документальным свидетельством. Вот что писал 31 декабря 1701 года Б. П. Шереметев Петру I после Эрестферской победы: «Ересферову мызу, где стоял генерал [Шлиппенбах], всё выжег, и около до Юрьева по большой дороге и по рижской дороге ж выжгли всё без остатку. И какая была пожива! и в домах у мызников какое было довольство и всяких питей много, и какие дома великие! чаю, до веку таких тут домов и заводов домовых не будет построено» (Письма к ... Петру Великому от Шереметева, М., 1788, ч. 1, с. 81).

Военная похвальба, заставляющая содрогнуться!

А вот что писал о разграблении Мариенбурга русский военный историк (строки эти наверняка читал и автор «Последнего Новика»): «Прискорбно для писателя быть в обязанности повествовать о предосудительных поступках соотечественников своих. Но строгая истина ... не позволяет умолчать об опустошениях и грабительствах, без всякой побудительной причины учинённых. В течение сего похода россияне в полной мере пользовались ужасным правом завоевания. Вся страна между Дерптом, Вольмаром и Мариенбургом была совершенно опустошена. Достоинно сожаления, что Шереметев соображался с родом войны, употребляемым в его время, между тем как великие дарования его делали его достойным быть превыше предрассудков своего века. Должно однако ж заметить, что сии опустошения оправдываемы были грабительствами неприятелей. В то же самое время шведы, несравненно лучше россиян образованные и более устроенные, производили войну с не меньшею жестокостию»¹ (Бутурлин Д. В. Военная история походов россиян в XVIII столетии. СПб., 1819, ч. I, т. I, с. 140–141).

Нравы есть нравы. Однако были и непосредственные «побудительные причины», отвергнутые историком. Разорение Лифляндии входило в стратегические планы Петра. Так, после Гуммельсгофской победы в письме к Шереметеву от 17 августа 1702 года он требует, чтобы фельдмаршал ещё «довольное время» побыл в Лифляндии и «как возможно» землю разорил, «дабы неприятелю пристанища и сикурсу [помощи] своим городам подать было невозможно». На что граф 25 августа отвечал: «Желание твоё исполнит: больше того неприятельской земли разорять нечего» (Письма и бумаги императора Петра Великого. М., 1889. Т. II, с. 79).

Набеги Шереметева опустошали страну, считавшуюся житницей Швеции, и кроме того лишали шведов тыловой базы для операций против России. Роли снабженца противоборствующей армии более всего опасался Пётр и не задумался заплатить страданиями целой области за свой страх. Впрочем, и представитель европейской цивилизации Август II летом 1801 года передавал Петру своё пожелание, что в Лифляндии русским «потребно нападение учинить..., а болши бы учинить плен и разорение, дабы войска шведские не имели в Лифляндии довольства...» (Соловьёв², с. 639).

Уйдя из Лифляндии, Карл оставил в ней небольшую «полевую армию» генерала Шлиппенбаха и укреплённые гарнизоны в городах. Им противостояла армия Шереметева, расположившаяся под Псковом и Новгородом, численностью около 30 тысяч человек, превосходящая противника в

¹ Мысль, настойчиво проводимая и в книге П. П. Шафирова, напечатанной по «соизволению» Петра: «Рассуждение, какие законные причины его царское величество Пётр Первый... к начатию войны против короля Карола Двенадцатого шведского 1700 году имел, и кто из сих обоих потентантов во время сей пребывающей войны более умеренности и склонности к примирению показывал, и кто в продолжении оной с толь великим развитием крови христианской и разорением многих земель виновен; и с которой воюющей страны та война по правилам христианских и политических народов более ведена...» (СПб, 1717). Показательно самое появление такой «оправдательной» книги.

² Список сокращений в заглавиях источников см. в конце статьи.

несколько раз. Лето 1701 года прошло в мелких взаимных набегах. Наконец, 6 августа Пётр, побывавший тогда лично в Пскове, приказал Шереметеву перейти к серьёзным активным действиям. Фельдмаршал замешкался, и 30 августа царь повторил свой приказ. Вот как описывает дальнейшие события высочайший историограф: «Сентября в 4 день генерал Шереметев посылал из Пскова сына своего Михайла Шереметева, который переправясь за реку Выбовку у Ряпиной мызы, нашёл неприятеля 600 человек, под командою майора Розена, и оных побил ... и никто из неприятелей не ушёл, кроме одного прапорщика» (Журнал Петра, с. 35). Это была первая, пусть негромкая, но победа над шведами.

Эрестферское сражение

2 октября 1701 года Пётр, вновь побывавший в главной квартире в Пскове, распорядился «генералу-фельдмаршалу и кавалеру с ратными конными и пешими людьми быть в генеральном походе и идти на Свейский [шведский] рубеж... для поиску и промыслу над неприятели и разорения жилищ их...» (Военно-походный журнал ... Б. П. Шереметева... СПб., 1871, с. 86). 28 декабря авангард русских войск разбил разведывательный отряд шведов у Эрестфера, а 29-го русские напали на армию Шлиппенбаха и нанесли ей крупное поражение.

Впрочем, предоставим опять слово высочайшему историку: «в декабре месяце в последних числа генерал Шереметев чрез шпионов уведомился [курсив мой — В. В.], что неприятельское войско обреталось близ Дерпта под командою генерала-майора Шлиппенбаха, по которым ведомостям [известиям] из Пскова пошёл он, взяв с собою 8 000 человек¹ кавалерии и инфантерии, и полевую артиллерию; а перед собою послал сильную партию, дабы подлинно о неприятеле уведомиться, в каком числе войск оный обретается..., и когда он от полонеников о неприятельском состоянии подлинно уведомился, то немедленно на неприятеля прямо пошёл, которого... у деревни Ересфер стоящего в порядке баталии генваря в 1 день 1702 года обрели, который тот час с нашими в бой вступил (и яко новое войско не практикованное, к тому же и пушки наши не приспели), и большую часть наших в конфузию привёл и ретироваться принудил, но когда артиллерия наша прибыла, которую неприятеля одержали, и паки немедленно в ордер баталии устроясь, неприятеля атаковали, и по 4-часном бою с поля сбили, который покинув свою артиллерию, бежать принуждён, которого несколько миль гнали. Оный неприятель на сём бою потерял большую часть своего войска, понеже мёртвых сочтено более 3 000, и обоз весь нашим достался. (Журнал Петра, с. 35–36).

В процитированном источнике Лажечников, очевидно, обратил внимание на некоторые детали (использование шпионов, опоздание русской артиллерии на поле боя), которые позволили ему, дофантазивав недостающие подробности, создать романтический сюжет «таинственного проводника» русских войск. Оснований для такого рода сюжета у писателя было достаточно: многие исторические документы свидетельству-

¹ По другим сведениям — 18 000 человек.

ют, что и шведы, и русские развернули тогда настоящую тайную войну. В военной кампании, когда отсутствовал постоянный фронт действий, существенную роль играл фактор неожиданности, ложного манёвра и т. п. Отсюда — роль тайных информаторов и дезинформаторов. Ведущий сюжетный мотив романа (героизм шпиона), как видим, порождён был историческим материалом не в меньшей степени, чем литературным влиянием романа Ф. Купера «Шпион».

Гуммельсгофское сражение

В конце мая 1702 года Пётр вновь стал побуждать Шереметева к выступлению из Пскова в Лифляндию. По своему обычаю помешкав (виновниками «мешкоты» фельдмаршал выставил калмыков, казаков и московских дворян, не явившихся на службу) полтора-два месяца, Шереметев двинул 30-тысячное войско на «полевую армию» Шлиппенбаха, в которой было, по разным сведениям, от 8 до 13 тысяч воинов. 18 июля состоялось второе в лифляндской кампании крупное сражение — у мызы Гуммельсгоф (Хуммули), закончившееся разгромом армии Шлиппенбаха. Приведём описание событий по известному уже нам сочинению, коим пользовался и Лажечников. «... следовали чрез великие три переправы, и неприятеля дошли при мызе Гумоловой [Гуммельсгоф] от тоя реки в 15 верстах, где неприятель в ордер баталии против наших построился, усмотря нашу авангардию начал атаковать, дабы их от главного корпуса отлучить (понеже прочее войско за вышеописанными переправами за авангардиею не успело), от которого наша авангардия принуждена ретироваться к вышеописанным переправам ко главному войску, о чём уведомясь, фельдмаршал послал ко оным на помощь полковников Боура и фон Вердена с драгунскими полками, которые неприятеля одержать также не могли и принуждены паки ретироваться. Во время той ретирады неприятель отбил у наших 2 пушки и 3 гоубицы медные и несколько знамён и обоза: но как скоро о том нещастии фельдмаршал уведал, тот час с пехотными полками к неприятелю пришёл, а именно: прежде ускорили с полками своими пехотными полковники Лим, да Айгустов и фон Шведин, и перешед через переправу с неприятелем в бой вступили и оного удержали, пока прочая пехота подоспела, и тогда неприятеля как с фрунта, так и с флангов атаковали, и оного с помощью Божию с поля сбили, и не только у оного нашу взятую артиллерию, знамёна и обоз весь взяли, но и на месте много трупом положили, так что неприятель с малыми людьми конницы принуждён бежать с городу Пернову, за которым фельдмаршал, оставя пехоту, с несколькими драгунскими полками пошёл и преследовал в нескольких милях оного паки разбил... По окончании же сея фельдмаршал с войском стал при помянутой мызе Гумоловой и посылал партии (для разорения земли), которые разорили места Каркуз, Гемелт [Гельмет], Смиртин, Ракобор и при том немалое число деревень» (Журнал Петра, с. 39–42).

Шведские и прибалтийские источники (которые Лажечников мог изучать, работая в архиве г. Дерпта) приписывали поражение Шлиппенбаха у Гуммельсгофа случайному и необъяснимому замешательству, а затем

бегству шведских драгун и рейтаров (См.: Пали Х. Между двумя боями за Нарву. Эстония в первые годы Северной войны 1701–1704. — Таллин, 1966, с. 16). В «Журнале Петра Великого» этот решающий эпизод сражения объяснён, как видим, своевременным подходом главных сил «Большого полка» Шереметева. Вероятно, такое простое объяснение не устроило Лажечникова, и он, поверив другим источникам, а ещё больше дофантазировав, создал романтический эпизод с Ильзой в виде страшного окровавленного привидения, напугавшего шведов.

Взятие Мариенбурга

Вскоре после Гуммельсгофского сражения Шереметев двинул войска по мариенбургской дороге. Осадив мызу Менцен и взяв в плен её гарнизон, он отправил отряд фон Вердена в городок Валмиер, где скрылись остатки шлиппенбахова войска, а сам с основными силами 14 августа 1702 года подошёл под крепость Мариенбург, стоявшую посреди озера, и осадил её, начав артиллерийский обстрел. 20 августа сюда же подошёл фон Верден, разгромивший неприятеля под Валмиером.

«... во всех брeгадах у Мариенбурга чрез озеро плоты для штурма уже были приуготовлены; тогда неприятель учинил аккорд [соглашение], чтоб на завтра город принять, а людей отпустить: но наши прежде положенного времени поплыли на плотах к городу, по которым неприятель из пушек жестоко стрелял. По том наши дали знать, что они не для штурма, но для приёма города идут, и тако стрельба удержана, и комендант майор Тиль да два капитана вышли в наш обоз для отдания города по аккорду, по которому аккорду наши в город пошли, а городские жители стали выходить вон, в то же время от артиллерии капитан Вульф, да штык-юнкер вшел в пороховой погреб (куда штык-юнкер и жену свою неволею с собою взял) и порох зажгли, где сами себя подорвали, от чего много их и наших побито, за что как гарнизон, так и жители по договору не отпущены, но взяты в полон. Потом из той крепости взяли пушки и прочее, а город разоряя оставили» (Журнал Петра, с. 43–44).

Соответствующий эпизод в романе следует своему источнику, однако Вульф, от которого в истории осталось только упоминание, романист придал характер воинственного, хоть не очень далёкого патриота и смелой фантазией соединил его судьбу с будущей Екатериной I.

Ниеншанц и основание Петербурга

Вдохновлённый победами в Лифляндии, Пётр поспешил развернуть наступательные действия в Ингрии — соседней шведской провинции. Осенью 1702 года была захвачена крепость Нотебург (бывший Орешек, а впоследствии Шлиссельбург), прикрывавшая вход в Неву со стороны Ладожского озера. Главной задачей военной кампании 1703 года было овладение крепостью Ниеншанц, закрывавшей выход из Невы в Финский залив. Лажечников приводит сюда своего главного героя в момент развязки: крепость уже захвачена русскими (это произошло 2 мая), а 5

мая два шведских судна из эскадры Нумерса близко подошли к Ниеншанцу и стали на якорь.

«Сия эскадра не ведая, что уже Нейшанц взят, дала оному ведать о своём приходе двумя пушечными выстрелами. Напротив того и наши с крепости ответствовали тем же шведским лозунгом, и продолжали оный по утрам и вечерам, чем и содержали их в заблуждении даже до 6 числа, в которое фельдмаршал [Шереметев] командировал господина бомбардирского капитана [Петра I] и его поручика Меньшикова, яко знающих морское дело лучше других, ради поиску над оною эскадрою. И сей великий капитан, посадя с собою в тридцати лодках гвардии и других полков солдат, с помянутым поручиком Меньшиковым пустился на оную. Но как ночь тогда была светла, то государь в скрытном месте, а именно за островом, что лежит противу деревни Калинкиной к морю, дождавшись тучи, которая была с сильным дождём, и пользуясь темнотою, на два передовые морские судна, то есть на одну шнаву, называемую «Астраль», и на адмиральский бот, по имени «Гедан», вооружённые 20 пушками, с одними только ружьями и ручными гранатами напал; и невзирая на жестокую пушечную и ружейную стрельбу и сильную оборону, взял и первый на неприятельскую шнаву с огнём и гранатами взошёл, и полоня оные, привёл в лагерь к фельдмаршалу. Не явное ли Божие покровительство его осеняло?» (Голиков. Деяния, т. 2, с. 101–102).

На военном совете было решено срыть Ниеншанц («понеже оный мал, далеко от моря, и место не гораздо крепко от природы» — Журнал Петра, с. 69). Найдено было другое, более удобное место на острове Луст-Эйланд (Весёлый остров), где 16 мая была заложена новая крепость (Петропавловская) — первое здание будущей столицы.

Летом 1704 года русские войска не только успешно защитили строящийся Петербург, но и захватили последние крупные крепости — Дерпт и Нарву. За четыре года после «первой» Нарвы Россия отвоевала Ингрию, Лифляндию и Эстляндию. Боевые действия в Прибалтике в основном закончились, хотя до окончания Северной войны оставалось ещё семнадцать лет.

Пётр I (1671–1725)

Пётр I, за изображение которого смело взялся Лажечников, — одна из самых ярких и противоречивых фигур русской истории; он выразил неоднозначную суть складывавшейся новой русской государственности.

«Он Бог, он Бог твой был, Россия» (Ломоносов), — говорили одни, он — дьявол, антихрист — утверждали другие, начиная с современников-старообрядцев. В огромной литературе о Петре можно найти подтверждения и тому, и другому отношению к царю-преобразователю. Поиск исторически-объективной, синтетической оценки начал был современником Лажечникова — А. С. Пушкиным («История Петра», «Медный всадник»).

Выделим суждения самых авторитетных русских историков.

Н. М. Карамзин: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Пётр».



Портрет Петра I.
Поль Деларош, 1838 г.

С. М. Соловьёв: «Народ поднялся и собрался в дорогу, но кого-то ждали, — ждали вожда; вождь явился».

В. О. Ключевский: «Он понимал, что донельзя, до боли напрягает народные силы ... так хирург, скрепя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти его жизнь».

Все споры вокруг Петра, в частности споры «славянофилов» и «западников», упираются в нестареющий вопрос об альтернативах русской истории. Возможен ли был в данных исторических условиях иной путь, нежели насильственная европеизация? Современники нашего романиста, славянофилы,

были убеждены: да, возможен. Западники, а среди них был близкий Лажечникову Белинский, почти обожествляли Петра, отвечали не менее решительно: нет, невозможен. Славянофилы акцентировали отрицательные для национальной самобытности последствия петровских реформ. Западники упирали на внутреннюю необходимость реформ для самого существования нации.

С кем была истина? Как это часто бывает, и у тех, и у других, а в своём исторически-целокупном виде — ни у тех, ни у других. В знаменитой Речи о Пушкине Достоевский назвал споры западников и славянофилов «великим недоразумением» и дал «примирительное» разъяснение петровской эпохи: «Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно... а дружелюбно, с полною любовью приняли в душу нашу гении чужих наций...»

Вглядываясь в лажечниковского Петра сегодня, мы замечаем, что романист, избегая официальной апологетики, ценит в нём прежде всего то, что позднейший историк (В. О. Ключевский) назовёт «вечно напряжённой мыслью об общем благе отечества». Закрывая глаза на исторические факты бесчеловечных расправ Петра с внутренними врагами (самоличные попытки и казни стрельцов объяснялись государственной необходимостью, понимаемой в духе жестокого века), Лажечников, опираясь на факты другого рода, показывает Петра в минуту милости — прощающим бывшего заклятого врага. Такого рода факты имеются среди исторических анекдотов о Петре, собранных в своё время Я. Я. Штелиным, И. И. Голиковым. В таком изображении Петра Лажечников смыкается с Пушкиным (стихотворение «Пир Петра Первого»).

Екатерина I (1684—1727)

Лажечников опоэтизировал первую русскую императрицу, опираясь на действительно захватывающую, в духе эпохи, судьбу её. Дочь литовского крестьянина, служительница пастора Глюка, жена шведского драгуна, пленница Шереметева, она вознесена была на российской трон желанием всемогущего монарха — как его законная жена, а затем — волею «смутных» обстоятельств — как наследница престола.

Во времена Лажечникова существовало несколько версий о происхождении Екатерины. Писатель принял на веру наиболее «благородную», но и наименее, как впоследствии оказалось, достоверную версию шведского историка Нордберга о том, что отцом Екатерины был шведский полковой квартирмейстер Иоганн Рабе. Впоследствии из архивных источников стало очевидным, что наиболее достоверной была версия о происхождении будущей императрицы из крестьянского рода Скавронских. Прежнее имя Екатерины — Марта. Отчество «Алексеевна» она получила при переходе в православие: её крёстным отцом был царевич Алексей Петрович.

Значение Екатерины I для русской истории, очевидно, наименее всего заключено в её кратком (1725—1727) царствовании. Она «процарствовала ... благополучно и даже весело, мало занимаясь делами, которые плохо понимала, вела беспорядочную жизнь ... распустила управления ... и в последний год жизни истратила на свои прихоти до 6½ миллиона рублей...» (Ключевский, с. 241).

Куда более благодивную роль Екатерина сыграла, будучи супругой Петра I. Современник Лажечникова, прекрасный знаток петровской эпохи А. О. Корнилович утверждал: «С добросердечием неистощимым, с ангельской кротостью Екатерина соединяла ум необыкновенный и дух, редкий даже в мужчинах. Её одно старание — сохранить любовь супруга, постоянный закон — снисхождением, ласкою, даже потворством отвлекать его от слабостей

... Властитель России, изумлявший мир железною волей и нравом непреклонным, становился агнцем перед слабой женщиной. ... Казалось, само провидение ниспослало Екатерину для смягчения монарха, правосудного до суровости и грозного в гневе, для укрощения пылких, неукротимых его страстей» («Андрей Безыменный», СПб., 1832, цит. по сборнику повестей о петровском времени: «Старые годы». М., 1989, с. 134).



Екатерина I. Ж.-М. Натье, 1717 г.

Очевидно, именно этими своими качествами привлекла к себе Екатерина внимание Лажечникова, заняв в его романе куда больше места, чем сам Пётр.

Полностью вымышленным — вполне в духе Лажечникова — является замужество Екатерины за артиллеристом Вульфом, реальным историческим лицом. Лажечников воспользовался тем, что о действительном муже Екатерины, шведском драгуне, почти ничего не известно, и соединил узлами брака двух симпатичных ему героев, к тому же эффектно контрастных в отношении друг к другу: грубость честного воина и умиротворяющая женственность в чём-то предвещают будущую судьбу Екатерины.

Царевна Софья (1657–1704)

Пётр I и Софья были детьми царя Алексея Михайловича, но от разных матерей: Натальи Нарышкиной и Марии Милославской. Соперничество и вражда двух фамилий многое определила в отношениях брата и сестры. В 1682—1689 гг. Софья была правительницей государства при двух малолетних царях, её братьях Иване и Петре. Как свидетельствовал свояк Петра князь Б. И. Куракин, она вела государственные дела «во всяком порядке и правосудии», и при ней «торжествовало довольство народное». Другой современник граф А. А. Матвеев в своих записках подтверждает, что Софья была «великого ума и самых нежных проницательств, больше мужеска ума исполненная дева» («Записки русских людей. События времён Петра Великого. СПб., 1841, с. 7).

Драма Софьи выражена Лажечниковым с тацитовским лаконизмом: она «чувствовала себя столько способною царствовать, но не была на то определена провидением».

Властолюбие Софьи несомненно. И чем более успешным было её царствование, тем с большей неприязнью должна была она смотреть на взрослеющего Петра, способного отнять у неё всю сладость власти. Остаётся открытым вопрос, переступила ли Софья в этой своей неприязни через заповедь «не убий». Лажечников, при всех симпатиях к ней, отвечает утвер-



Царевна Софья в Новодевичьем монастыре. И. Е. Репин, 1879 г.

дительно. Властолюбивая Софья по сюжету романа жертвует даже сыном, благословляя его на царевубийство.

Свидетельства покушений Софьи на жизнь брата в истории имеются, хотя и далеко не безусловные. Так, стрелецкий полковник и бунтовщик Иван Циклер перед казнью в 1699 г. признался, что ещё во время своего правления Софья уговаривала его убить царя Петра. О злоумышлениях Софьи на жизнь брата даже и после её заключения в монастырь писал авторитетный для Лажечникова И. И. Голиков (Деяния, ч. I, с. 251–252). На коварстве и «демонизме» Софьи настаивал и другой современник романиста, автор «Истории Петра Великого» Н. А. Полевой.

Приведём, однако, иное суждение, также известное писателю: «Мнения некоторых, будто Софья, приняв правление, намерена была Петра лишить жизни, не утверждаю. Если бы она в самом начале и желала сие сделать, удалось бы ей без труда, а особливо при самом возмущении [стрелецком бунте 1682 или 1689 г.] , но ... не смерти его она искала, а старалась завести его в обращение с невоздержными и чрез то сделать к правлению неспособным». (Туманский., с. 187).

После жестокой расправы над участниками стрелецкого бунта 1689 года Пётр повелел Софье переселиться в Новодевичий монастырь, где она была пострижена в монахини под именем Сусанны.

Показанные Лажечниковым сношения Софьи со старообрядцами, которых она преследовала бесчеловечным образом во время своего правления, вполне возможны. Софья была весьма гибким и прагматичным политиком. Так, воспользовавшись плодами стрелецкого бунта 1682 года (вероятно, и происшедшего не без её наущений), она впоследствии решительно расправлялась с теми же стрельцами, когда они были для неё помехою.

В. В. Голицын (1639—1713)

Правление Софьи неразрывно связано с именем Василия Васильевича Голицына, её «Галанта» (фаворита). Есть немало исторических свидетельств, например, Н. И. Костомарову утверждать, что «Софья до слепой страсти была предана этому человеку». Очевидно, эти свидетельства и подвигли Лажечникова на создание главного вымышленного героя, сына Софьи и Голицына.

Симпатия к В. В. Голицыну — проявление исторического такта нашего романиста. Он осознал трагический парадокс русской истории (совершенно не дававшийся в руки тому же Н. А. Полевому): этот враг Петра I был его прямым предтечей. Таким его справедливо показывает позднейший историк В. О. Ключевский в специальном очерке «Кн. В. В. Голицын. — Подготовка и программа реформы».

Один из образованнейших людей того времени, прекрасно владеющий греческим, латынью, немецким языком, Голицын был стольником и чашником у Алексея Михайловича, но особенно продвинулся он при Фёдоре Алексеевиче, когда входила в силу и Софья. При ней же Голицын был фактически соуправителем. Россия многим обязана этому человеку. Он на-



*Портрет В. В. Голицына.
Неизвестный художник, XVIII в.*

чал реформу армии (в частности, упразднил местничество), завершённую затем Петром, заключил вечный мир с поляками, возвративший России без всякого кровопролития Малороссию. Прозорливость многих его замыслов поразительна (М. П. Погодин не без оснований полагал Голицына первым, кто «имел мысль об освобождении крестьян с земельным наделом»), но не менее поражает воображение сложившаяся у современников и потомков репутация его как «проектёра». Мысля в том же направлении, в каком впоследствии двигался Пётр — к открытости русского государства цивилизованному влиянию Запада, к веротерпимости (что особенно восстанавливало против него церковных староверов во главе с патриархом Иоакимом), Голицын желал обойтись более мирными, ненасильственными мерами постепенного распространения образования и просвещения. Это была та альтернатива, которую русская история пренебрегла, очевидно, в силу внутренней неготовности к такого рода «мягкому» прогрессу.

«Подкосили» Голицына как государственного деятеля и возглавленные им неудачные крымские походы 1687 и 1689 годов. Но вспомним, что и первый азовский поход Петра был неудачен, а поражение под Нарвой от шведов — так просто сокрушительно. Виной была общая слабость русской армии, которую и выявили эти неудачи. Кроме того, опыт неудавшихся сухопутных походов Голицына был впоследствии учтён Петром, применившим флот в войне с Турцией. Да и сами эти неудачи Голицына были довольно относительны: ведь он своими действиями сковал огромные силы противника, что позволило участникам антитурецкой лиги (Австрии, Речи Посполитой, Венеции) остановить османскую агрессию в Европе.

Паткуль (1660—1707)

В начальный период Северной войны значительную роль сыграл Иоганн Рейнгольд Паткуль. Лифляндский дворянин, поначалу состоявший на шведской службе, он горячо вступился за права своего сословия во времена так называемой редукции (отчуждения крупных владений в пользу шведской короны). Вот как описывает Вольтер «преступление» Паткуля 1689 года:

«Несчастный Паткуль ... был отправлен от дворянства лифляндского принести жалобы престолу от всей провинции. Он произнёс перед сво-

им повелителем [шведским королём Карлом XII] речь почтительную, но сильную и исполненную совершенного красноречия, которое рождается от спокойствия духа, соединённого с отважностью» (Вольтер, ч. I, с. 83).

Король, пишет далее Вольтер, одобрительно «потрепал по плечу Паткуля», но затем приказал схватить его за «оскорбление величества». Паткулю удалось бежать. В 1698 году он поступает на службу к Августу II, курфюрсту саксонскому и королю польскому, а в 1702 году переходит на службу к Петру I. Деятельность Паткуля в эти годы неоднозначно оценивается историками. Авторитетные для Лажечникова Вольтер и Голиков пишут о нём как о патриоте своей родины и верном слуге Петра. Основываясь на этих данных, Лажечников вкладывает в уста своего героя проповедь русофильской политики Прибалтики: «Лифляндия ... будет счастлива под скипетром России».

В основном лишь после выхода в свет «Последнего Новика» русскому читателю стали известны многие документы из архива Паткуля, опубликованные поначалу немецкими историками, а затем Н. Г. Устряловым, С. М. Соловьёвым, показавшие сложную дипломатическую игру политика. Позднейшие историки под воздействием этих документов называли его «деятельным и умным политическим интриганом» (Тарле, с. 46) или даже «проходимцем» (Ключевский, с. 49).

Имевший немалое влияние на Августа, Паткуль активно склонял его к польско-русскому союзу против Швеции. Во многом благодаря именно его энергичным усилиям заключён был в 1699 году союзнический договор Польши и России. Необыкновенно кипучую деятельность Паткуль развил и впоследствии. Так, он настоял на личном свидании Августа с Петром в местечке Биржи в феврале 1701 года, где было постановлено, что царь оставляет Августу Лифляндию и Эстляндию, а сам притязает лишь на Ингрию. Это был венец дипломатической игры Паткуля, впрочем, разрушенный затем ходом исторических событий. Цель Паткуля была спасти Лифляндию от шведского владычества и вместе с тем от русских притязаний путём заключения унии с Польшей. России он тогда опасался не меньше, чем Швеции, о чём свидетельствуют «мемориалы» его Августу 1698–1699 гг.: «Надобно опасаться, чтоб этот могущественный союзник не выхватил у нас из под носа жаркое [надо полагать, Лифляндию — В. В.], которое мы воткнём на вертел; надобно ему доказать историей и географией, что он должен ограничиться одною Ингерманландиею и Карелиею. Надобно договориться с царём, чтоб он не шёл дальше Наровы и Пейпуса; если он захватит Нарву, то ему легко будет потом овладеть Эстляндиею и Лифляндиею». (Соловьёв, с. 613). Вероятно, не без влияния Паткуля Август II в договоре с польскими магнатами 14 августа 1699 года излагает свой взгляд на Лифляндию как на будущую польскую провинцию, «оплот против Швеции и Москвы» (Устрялов, т. 3, с. 325). История распорядилась иначе, и дело, очевидно, не в том, что Пётр «перехитрил» Паткуля (Тарле, с. 47); судьбу Лифляндии решил объективный ход событий. Даже ещё в 1704 году после взятия Дерпта Пётр, верный своему слову, в манифесте «о принятии под защиту жителей Лифляндии» обещает эту защиту лишь до тех пор, пока «корона польская» сама в состоянии будет делать это. Однако маломощность «польской короны» и двуличная политика самого Августа, приведшая его

к сепаратному миру с Карлом XII, похоронили все польские претензии на Лифляндию. Жертвою этого двуличия пал и сам Паткуль, выданный Августом на расправу мстительному шведскому королю. Надо думать, что к тому времени Паткуль и сам понял, сколь призрачны его надежды на польско-саксонского правителя. Его поступление на службу к Петру в 1702 году — шаг не тактический, но стратегический. Отныне его ставка — на русскую карту. В это время Паткуль, вероятно, и мог произнести слова, приписанные ему романистом.

Позднейший историк, не называя Лажечникова, оспорил эту версию: «Говорить о патриотизме Паткуля мы должны с большой осторожностью: Паткуль действовал исключительно в интересах своего сословия, тесно соединённых с его личными интересами» (Соловьёв, с. 613).

Спору нет: эти мотивы могли иметь место. Согласись с ними Лажечников абсолютно, и не было бы одного из главных романтических героев русской исторической прозы. Однако писатель последовал принципу, чуть раньше провозглашённом Пушкиным по сходному случаю (стихотворение «Герой», 1830 г.): «Оставь герою сердце...». Находятся и факты, подтверждающие «благородную» версию историка-художника. Так, во время переговоров в Москве весной 1702 года Паткуль «сильно восставал против опустошения Лифляндии минувшею зимою русскими войсками» (Устрялов, т. 4, ч. 1, с. 163). Но главным аргументом в пользу романтической интерпретации Паткуля для Лажечникова была его мученическая смерть через колесование по приказу Карла XII. В описании последних дней Паткуля романист в основном следует за Вольтером и изданными письмами Паткуля из темницы к своей невесте (Письма несчастного графа Ивана Рейнольда Паткуля. М., 1806).

Романтический образ, созданный Лажечниковым, оказал, в свою очередь, несомненное влияние на Лермонтова (стихотворение «Из Паткуля», о котором рассказывалось в предыдущем номере «Коломенского альманаха») и Н. В. Кукольника (трагедия «Генерал-поручик Паткуль»).

Б. П. Шереметев (1652—1719)

Первый победитель шведов и первый русский фельдмаршал «Шереметев благородный» (Пушкин, «Полтава») происходил из древнего боярского рода, имевшего общие корни с царствующей фамилией Романовых. Не будучи близким Петру человеком (не из его «кумпании»), граф Борис Петрович, имея уже немалые заслуги перед отечеством, особенно на дипломатическом поприще, сумел подняться над боярской спесью и принятие вводившиеся молодым царём новшества.

Как военачальник он не без успеха участвовал в первом Азовском походе 1695 года. Начало Северной войны принесло Шереметеву много огорчений: не лучшим образом действовал он против шведов, командуя конницей, в том числе и под Нарвою. Ещё недавно удачно орудовавший против османов, он спасовал перед регулярной армией Карла XII. Ему, как и всем русским воинам, «неискусным рекрутам» (по слову Петра), предстояло ещё научиться действовать на равных против лучшей армии Европы.

После Нарвы Пётр, не утратив веры в Шереметева, поручает ему вести «малую войну» со шведами по защите Новгорода и Пскова и «для по-иску» в Лифляндии.

Задача, стоящая перед новоиспечённым фельдмаршалом, имела не одно военное значение. Нужно было преодолеть психологический барьер малодушия, особенно высокий после позорного нарвского разгрома. Поэтому в переписке царя с Шереметевым этого периода заботливо обсуждается не только материальное благополучие войска, но и его моральное состояние. Так, Пётр обосновывал необходимость хоть небольших наступательных действий, взывая к патриотическим чувствам военачальника: «дабы по крайней мере должность отечества и честь чина исправить потщились». Шереметев отвечал в том же стиле: «сколько есть во мне ума и силы с великою охотою хочу служить; а себя я не жалел и не жалею» (Устрялов, т. VI, ч. 2, с. 167). Нисколько не сомневаясь в искренности полководца, добавим всё же, что это не помешало ему умело выключивать себе пожелования за подвиги, так что к концу жизни Шереметев стал крупнейшим русским землевладельцем (в том числе коломенским помещиком).

Поставленную перед ним труднейшую задачу Шереметев не мог решить одним численным превосходством над противником. Не имея такого, он никогда и не начинал большого дела, но фактор этот всё же не был решающим в той войне — вспомним первую Нарву. Решающим было качество армии, и его-то Шереметев добивался долгим, упорным трудом, шаг за шагом создавая из толпы нарвских беглецов и новобранцев управляемое, стойкое в бою войско.

Медлительность его часто раздражала торопливого Петра, но он терпел её, понимая, что Шереметев выполняет его же, царя, план, внося в него столь необходимую в таком деле основательность. Фельдмаршал не начинал военных действий, не укомплектовал полков, не подобрал толковых офицеров. «Отправлялся он в поход лишь тогда, когда убеждался в том, что последняя пуговица была пришита к мундиру последнего солдата» (Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. — М., 1988, с. 46). Но, очевидно, прав современный историк: «Наряду с основательностью фельдмаршал проявлял и медлительность, и порой эти качества так тесно переплетались, что их невозможно отделить друг от друга» (там же, с. 33). В отличие от Петра или таких его соратников, как Меньшиков, Шереметев не хотел и не умел рисковать.

В конечном счёте Пётр оказывался доволен. Впоследствии Шереметев руководил осадой и взятием Нотебурга, Ниеншанца, Копорья, Риги. Иногда всё же Пётр приставлял к Шереметеву своих «комиссаров» — то гвардейского сержанта Щепотьева, то подполковника Долгорукова, а то и самого светлейшего князя Меньшикова, дабы побуждать фельдмаршала к активным действиям. Однако был ли и Паткуль таковым катализатором при Шереметеве, как описывает Лажечников? Среди шведских историков распространено было даже мнение, что Паткуль являлся автором плана военных действия Шереметева в Лифляндии (см. вышеуказ. книгу Х. Палли, с. 147).

Возможность влияния Паткуля на Шереметева маловероятна. В период же описываемых в романе действий (Гуммельсгофское сражение, взя-

тие Мариенбурга) Паткуль и вообще находился при дворе Августа II, а затем, в сентябре–ноябре 1702 года, вёл в Вене сложную дипломатическую игру в пользу России. Так что в целом близкий к подлиннику портрет Шереметева кисти Лажечникова неверен в деталях.

Эрнст Глюк (1652—1705)

Для подкрепления своей историко-романтической концепции русской истории Лажечникову понадобился герой-иностранец, искренне сочувствующий становлению новой России. Благодарный материал писатель нашёл в истории жизни протестантского пастора Глюка (в XVIII — начале XIX века принятое написание его фамилии — Глик). Статья о нём из будущего «Словаря советских писателей» митрополита Евгения была напечатана в январском номере «Друга просвещения» за 1806 год. Лажечников воспользовался также иностранными источниками.

Получив первоклассное по тем временам образование в области богословских наук и восточных языков, Глюк с 1673 года поселяется в Лифляндии в качестве проповедника, овладевает латышским и русским языками. Здесь он переводит Библию на оба эти языка (русский перевод утрачен). В 1683 году, когда Глюка перевели пастором в Мариенбург, он завёл три народные школы. Педагогическая деятельность особенно увлекала энергичного проповедника. Он даже добился, чтобы Карл XI одобрил его проект школы для живущих в Лифляндии россиян (в основном раскольников) и сам собирался перевести на русский язык учебные книги.

Война помешала исполнению замыслов Глюка. 25 августа 1702 года он попадает в плен к русским. Обстоятельства его пленения описаны Лажечниковым согласно данным ганноверского резидента Вебера, полученным им в свою очередь от домашнего учителя в семье Глюка Готфрида Вурма (напечатаны в: *Memoires du regue de l'Imperatrice Catherine. A la Naue. 1728*, с. 605–613). По Веберу, комендант Мариенбурга, решив взорвать крепость вместе с гарнизоном, прежде шепнул пастору, чтоб тот вывел мирных жителей. «С славянскою Библиею в руках ... сопровождаемый семейством, Катериною, учителем Готфридом Вурмом и прихожанами, он вышел из Мариенбурга, явился в русском лагере и просил милосердия; причём, представив Шереметеву славянскую библию, объявил, что своими переводами он может быть полезен его царскому величеству» (Цит. по: Устрялов, т. 4, ч. 1, с. 129).

Отправленный Шереметевым в Москву, Глюк уже в начале 1703 года назначен Петром начальником первой в Москве гимназии, так называемой «немецкой» школы для россиян, желающих учиться «европейским языкам», общеобразовательным предметам, а также танцам, «комплиментам» и верховой езде. В феврале 1705 года последовал высочайший указ об учреждении школы «для всеобщия всенародная пользы». Окончившим курс обещана была «царская милость и взыскание», а учащимся — кормовые деньги. При Глюке сложился бессословный характер этой школы, здесь учились дети приказных, служилых дворян, князей, купцов.

Любопытно составленное Глюком «приглашение к российским юношам, аки мягкой и ко всякому изображению угодной глине», которое на-

чиналось таким обращением: «Здравствуйте, плодовиые да токмо подпор и тычин требующие дидивины!»

Гимназия Глюка держалась лишь его энергией и кропотливым трудом. После его смерти она быстро распалась.

Надгробный памятник просветителю на старом немецком кладбище под Марьиною рощею в Москве не сохранился. Карамзин ещё видел его. Более долговечный вербальный памятник Глюку (Глику) поставил в своём романе Лажечников.

Андрей Денисов (1648—1730)

Достаточных сведений о том, что старообрядцы участвовали в Северной войне на стороне шведов, мы не имеем. Есть, правда, следующее документированное свидетельство об одном из набегов русских войск на Лифляндию: «подъездник Мурзенок с своими татарами и козаки даже до Дерпта набег учинил, с великою партией шведов побил, и ещё другую партию раскольников, которые к неприятелю перешли, нашёл и всех порубил, и немного в полон взял, иных к примеру повесить велел, для того что они были подданные царского величества, которые возжигают злые ереси не токмо вредительные православной греческой вере, но также государству...» (Туманский, с. 268). Татары в роли мстителей за веру православную — эпизод вполне в духе прагматической петровской эпохи. Однако под «партией раскольников» вполне могли подразумеваться не какие-то воинские подразделения, а жительствовавшие в Лифляндии старообрядцы (таковых действительно было немало).

Лажечников в своём романе показывает, как глава поморских раскольников, «один из коварнейших людей того времени в России», плетёт интриги против Петра в союзе с Софьей. В сочинении, которое для романиста служило источником сведений о расколе, утверждалось: «Андрей знаем был царевне Софии Алексеевне. Поморяне хвалятся, что у них в монастыре есть к Андрею собственноручные письма её, кои де и ныне в целости хранятся. Содержание их хотя точно мне и неизвестно, только говорят они, что Андрей Денисов не редкую переписку с царевною имел» (Иоаннов, с. 115).

«Коварство» Андрея Денисова — на совести романиста. Исторические факты свидетельствуют,

*Поморское письмо.
Андрей Денисов, XIX в.*



что один из основателей и долгое время (1703—1730) киновиарх (глава) Выгорецкой пустыни Андрей Денисов Вторушин, из рода князей Мышецких, пользуясь веротерпимостью Петра, имел с ним «милостивые» сношения. Причина снисходительности Петра к выговцам была проста: они были усердными работниками на петровских заводах. Кроме того, борясь с бесклубицей в «зяблые годы», Денисов, человек весьма деятельный, организовал хлебную торговлю. Выговский монастырь (пустынь) процвёл под его руководством. «Весело» принимая от выговцев разнообразные «гостинцы» (олений, птиц, коней, быков), Пётр не верил неблагоприятным донесениям на них.

Влияние Денисова распространилось по всем окружным скитам, куда он часто ездил «учаше с молением всех скитских жителей добродетельному и спасительному житию ... чины и уставы соборно им уставляя, духовных надсмотрщиков поставляя» (История Выговской пустыни. Спб., 1862, с. 143—144). Красноречивый проповедник, Андрей Денисов был одним из самых значительных духовных писателей своего времени. Вот как описывается он в старообрядческой литературе: «Муж учёнейший, высоких талантов, твёрдого духа и дивной памяти, примерной добродетели ... первый и единственный победитель бывшей бури лютого Никонизма...» (Любопытный П. О. Исторический словарь староверческой церкви... М., 1863, с. 3).

Сделав из Денисова демонического злодея, романист сильно погрешил против исторической правды и собственного идеала веротерпимости. В какой-то мере он изживал вероисповедные предрассудки в позднейшем романе «Басурман» (изображение стригольников).

Согласно казённо-церковной точке зрения, раскол — одно лишь беззаконие, «отечеству вредное и ко всякому заблуждению удобопреклонное» (как сказано у того же А. Иоаннова, авторитетного для Лажечникова). Несправедливость такого взгляда на один из самых трагических эпизодов русской истории ещё не ощущалась писателем. Но и он, рисуя раскольников как всего лишь отсталых фанатиков, не может не воздать должного силе их духа.

Блюментрост

Под этим именем в романе действует Лаврентий Блюментрост (1692—1755), сын лекаря при дворе Алексея Михайловича, сам ставший лейб-медиком при Петре. Учился одно время в упоминавшейся школе Глюка в Москве, затем в Галле, Оксфорде, изучал анатомию в Париже, способствовал приобретению Россией знаменитого анатомического кабинета Рюйша, где он сам постигал секреты анатомических препаратов. Вместе с Шумахером составил проект об учреждении в России Академии наук и в 1725 году сделался её президентом. Лажечников допускает сознательное отступление от истории, поселяя Блюментроста (тогда ещё ребёнка) в Лифляндии начала XVIII века. Романтическая Блюментростова мыза, возможно, имеет свой «прототип» по созвучию имён — реальную мызу Блуменхоф южнее Мариенбурга.

Русские и шведские офицеры

В течение Северной войны в России сформировался первоклассный офицерский корпус, который, в отличие от допетровской армии, составили выходцы из разных сословий. Кроме того, корпус этот был многонациональным (в основном — русские и немцы). Лажечников вводит в роман офицеров, имена которых упоминаются в переписке Шереметева с Петром и в их «журналах»: Полуектов, Дюмон, Карпов, Вадбольский, Лима, Кропотов, Глебовский, фон Шведен, фон Верден, Айгустов. Среди командиров полков армии Шереметева особенно часто упоминался в исторических источниках Моисей Мурзенко (Мурзенок), командовавший авангардными и разведывательными операциями. Так, Шереметев писал Петру: «Службы его много и надобной человек, чтобы ему давать полной оклад и начальным его людям, для того что николи в одном месте не живут, и всегда в посылках...» (Письма к ... Петру Великому от ... Шереметева. М., 1778, ч. 1, с. 67). По ходатайству фельдмаршала («чтобы вовсе его окоренить и чтобы жену привёз») Пётр распорядился пожаловать полковника деревней.

Совсем немного известно также о шведских офицерах, действующих в романе (как и о самоотверженном Вульффе). Так, о полковнике Траутфеттере Лажечникову было известно из «Истории Карла XII» Вольтера, что он один пытался остановить бегство шведов после Полтавской битвы. Всё остальное, касающееся Траутфеттера и его брата, — романический вымысел. Гораздо больше сведений о Шлиппенбахе, возглавлявшем «полевую армию» шведов в Лифляндии. Нет оснований считать его легкомысленным хвастуном, каким изобразил его Лажечников. Так, он многократно просил Карла усилить армию, а под Гуммельсгофом проявил осторожность, долго избегал решающего сражения, очевидно, понимая превосходство противника. Лажечников в своей оценке Шлиппенбаха мог основываться на его реляциях после поражений от русских в Лифляндии, что скорее объясняется желанием военачальника подчеркнуть свои заслуги. Шлиппенбах был взят в плен под Полтавой, затем поступил на русскую службу, получил поместья в Курляндии и титул барона. Оставил интересные воспоминания о боевых встречах с Шереметевым.

289

ПЕРВЫЙ РОМАН «РУССКОГО ВАЛЬТЕРА СКОТТА»

Критика о романе

Уже первые читатели и критики отметили зависимость Лажечникова от известных литературных образов: романов Вальтера Скотта, романа Фенимора Купера «Шпион». Однако в целом самостоятельность Лажечникова, обратившегося после А. А. Бестужева-Марлинского к «ливонскому» материалу русской истории, не была подвергнута сомнению, особенно настаивала на ней О. М. Сомов (Северная пчела, 1833, № 13–15). Не прозвучало и серьёзной исторической критики, за исключением лишь отдельных неразвёрнутых замечаний Н. А. Полевого и В. Г. Белинского. Развенчивание «неисторизма» Лажечникова — дело более поздних критиков.

Н. И. Надеждин: «он умел опутать все выведенные им лица волшебною сетью, коей не в силах распутать беспрестанно раздражающееся любопытство ... посему-то «Последний Новик», несмотря на нетвёрдость кисти и не-

ровность красок ..., несмотря даже на язык, который вследствие неудачных притязаний на оригинальность, искажается в нём нередко до странной дикости — возбуждает искреннее к себе участие» (Телескоп, 1831, ч. 4, № 16).

Н. А. Полевой: «г. Лажечников представляет его [Новика] одною из главных причин завоевания Лифляндии ... Нам кажется, что это лицо не во всём соответствует своему веку. В нём слишком много рыцарского ... ; а это едва ли было возможно в тот век и у таких народов, где не было никакой посредствующей мысли между властителем и слугою. Последний Новик должен был действовать как слуга, при всём мужестве и уме своём ... Автор показывает более искусства в очертании характеров комических, каковы историческое лицо пастор Глик, естествоиспытатель Бир, шут и карла Голиаф Сампсонович, девица Горнгаузен ... Скажем наконец, что немалое достоинство видим мы в каком-то особенном простодушии описаний автора. Читая его, видите прекрасную душу, на которой, как на безоблачном небе, рисуются чуждые ему облака страстей и бедствий человеческих» (Московский телеграф, 1833, № 10).

В. Г. Белинский, «Литературные мечтания»: «"Новик" есть произведение необыкновенное, ознаменованное печатью высокого таланта. Г-н Лажечников обладает всеми средствами романиста: талантом, образованностию, пламенным чувством и опытом лет и жизни. Главный недостаток его «Новика» состоит в том, что он был первым, в своём роде, произведением автора; отсюда двойственность интереса, местами излишняя говорливость и слишком заметная зависимость от влияния иностранных образцов. Зато какое смелое и обильное воображение, какая верная живопись лиц и характеров, какое разнообразие картин, какая жизнь и движение в рассказе! ... Но, отдавая полную справедливость поэтическому таланту г. Лажечникова, должно заметить, что он не вполне умел воспользоваться избранною им эпохою, что произошло, кажется, от его не совсем верного на неё взгляда. Это особенно доказывается главным лицом его романа [Новиком], которое, по моему мнению, есть самое худшее лицо во всём романе. Скажите, что в нём русского, или по крайней мере индивидуального? ... Виднее и занимательнее прочих Паткуль ... Но самое интересное, самое любимейшее чадо его фантазии есть, кажется швейцарка Роза; это одно из таких созданий, которым позавидовал бы и сам Балзак» (Молва, 1834, ч. VIII, № 52).

А. А. Григорьев, «Западничество в русской литературе, причины происхождения его и силы»: «Сколько до сих пор ещё искреннего и неотразимо привлекательного в его «Новике», несмотря на растянутость романа, на ненужные, ходульные и на сентиментальные до приторности лица, несмотря на явное пристрастие к великому преобразователю и его людям... Какое чутьё истинного поэта помогло ему — вопреки даже пристрастию к преобразователю и преобразованию — тронуть в рассказе Новика с такою подobaющею таинственностью и вместе с таким сочувствием сторону оппозиции — лица Софьи, князя Голицына, понять поэзию и значение оппозиции ... По какому наитию он сумел придать трагически грандиозный характер Андрею Денисову, хотя и впал в ходульность в его изображении?.. И почему, наконец, у одного Лажечникова явилось в ту эпоху чувство патриотизма, очищенное от татарщины или китаизма, чувство простое и искреннее, без апофеозы кулака и бараньего смирения? (Время, 1861, № 3).

А. М. Скабичевский, «Наш исторический роман в его прошлом и настоящем» (1886): «...Лажечников впервые ввёл бесцеремонное отношение

к историческим фактам. Надо отдать справедливость в этом отношении Загоскину ... В романах его романтические эпизоды везде резко отделены от исторических ... Загоскин ни за что не решился бы выдумать из своей головы небывальщины вроде того, например, чтобы заставить вдруг князя Пожарского влюбиться в дочь Минина и прижить с ней ребёнка, который оказался бы впоследствии Стенькой Разиным. Для Лажечникова же ничего не стоило сочинять свои собственные исторические факты. Так, мы видим, что главный герой романа, Владимир ... является не кем иным, как незаконным сыном царевны Софии, прижитым ею с князем Голицыным. ... Вот как перемешана у Лажечникова историческая быль с небылицами».

Отгремели критические баталии, роман вышел в золотой фонд русского исторического романа, и современный читатель, сравнивая историю с вымыслом, может теперь сам, без гнева и пристрастия, определить познавательную и художественную ценность романтического творения И. И. Лажечникова.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Вольтер — Вольтер. История Карла XII короля шведского. М., 1803—1804, ч. 1–2.

Голиков. Деяния — Голиков И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из достоверных источников: в 12-ти частях. М., 1788, ч. 1–2.

Голиков. Дополнения. — Голиков И. Дополнения к деяниям Петра Великого: в 18-ти томах. М., 1791, т. 3, 6.

Журнал Петра — Журнал, или Подённая записка ... государя императора Петра Великого ... СПб., 1770, ч. 1.

А. Иоаннов — Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах, о их учении, делах и разногласиях, собранные из потаённых старообрядческих преданий, записок и писем церкви Сошествия святого духа, что на Большой Охте, протоиереем Андреем Иоанновым. СПб., 1799.

Ключевский — Ключевский В. О. Сочинения: в 9-ти томах, М., 1989, т. 4.

Соловьёв — Соловьёв С. М. История России с древнейших времён: в 15-ти книгах. М., 1962, кн. 7.

Тарле — Тарле Е. В. Северная война и шведское нашествие на Россию. М., 1958.

Туманский — Туманский Ф. Полное описание деяний ... Петра Великого. СПб., 1788, ч. 1.

Устрялов — Устрялов Н. История царствования Петра Великого: в 5-ти томах. СПб., 1858, т. 3, и 1863, т. 4, ч. 1–2.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



ЛИМЕРИК С ПСКОВСКИМ АКЦЕНТОМ

*Жил в Московии некто Архипцев,
К Лиру он неприлично прилипцев.
Кто англицкую весть
Смог бы так перевесть?!
Только этот певущий Архипцев!*

Роман Славацкий

Что поделаешь — прилепилось к Борису Архипцеву забавное прозвище

«Председателя коломенского литературного колхоза»! Все или почти все местные литераторы побывали у него в гостях. Поскольку Архипцев — практически «невыездной», то и

собирались к нему на улицу Шилова сами стихотворцы и прозаики — чтобы получить порцию тепла и вдохновения, на которые так щедро сердце этого человека.

И за таким весёлым общением, за шутейными разговорами мы как-то забываем его главные качества — мужество и самоотвержение. Многие ли из нас могли бы отказаться от собственного творчества ради перевода на русский язык чужого писателя? А ведь Архипцев сделал именно это. Немало его вещей войдут в «золотую книгу коломенской лирики». А он осознанно пожертвовал своим творчеством ради переводов, преимущественно — англоязычных стихотворцев. И первое место занимает здесь ироничная поэзия Эдварда Лира.

Виртуозные архипцевские переводы издавались несколько раз, а недавно вышла в свет поистине роскошная книга лимериков Лира — в тиснёной коже, с золотым обрезом. Но и после этого работа не прекратилась. Уже готов полный Лир: не только лимерики, но и баллады, и небольшие стихотворения, и даже поэтические фрагменты! Этот шедевр ещё ждёт своего рафинированного издателя.

Борис Владимирович! 65 — не возраст. И мы уверены, что вскоре увидим не только полного Лира в твоём переводе, но и ещё какого-нибудь британца, несущего дух парадоксального Альбиона в нашу великорусскую Колонну!

Коллектив редакции



Константин Константинович Залеснов родился в 1936 году в Коломне. Окончил Коломенский станкостроительный техникум. Служил в армии, работал конструктором на заводе тяжёлого станкостроения. После окончания МВТУ им. Баумана работает в Конструкторском бюро машиностроения.

Член коломенского клуба краеведов. Соавтор книги «Шахматы в коломенском крае». Один из авторов энциклопедии «Коломенский край» (1997).

Архивный детектив

КУПЕЦ И ЦАРЬ

Образ купца-барина, выходяца из торговых людей, жившего на дворянский манер, энергичного, образованного и щедрого, навсегда вошёл в «коломенский текст». Иван Ильич Ложечников (именно так произносили знаменитую коломенскую фамилию в XVIII столетии) стал прототипом одного из самых «беленьких» персонажей автобиографической прозы его сына — знаменитого романиста Ивана Ивановича Лажечникова.

Фигура отца всегда была овеяна в воспоминаниях Ивана Ивановича не только сыновней любовью, но и некоей таинственностью. Такое отношение связано, прежде всего, с неожиданным арестом, обстоятельства коего описаны весьма драматически.

«Я так испугался, что даже не плакал. С ужасом смотрел я на рыдающую мать мою, прощание её с отцом, благословение его дрожащею рукою надо мною и братом моим. На дворе стояли три таинственные тройки, запряжённые в рогожные кибитки. В одну кибитку посадили моего отца, в другую — губернера, месье Болье, в третью — священника, нашего русского учителя; казалось, их увезли в вечность. Вслед за тем слышны были только перешёптывания, рыдание матери и причитание женской прислуги. Дядька мой Ларивон угрюмо молчал, нянька Домна усердно молилась и приказывала мне молиться».

Позднее эта история обросла легендами об «оппозиционности» славного купца, о его симпатии к масонству и т. д.

Но всё же — как разворачивались события на самом деле? Ответы скрываются в глубине исторических архивов...

Наше повествование основано, в частности, на архивном материале, который называется по-старинному витиевато: «По уведомлению Московского военного губернатора князя Долгорукова о доносе Коломенской семинарии учителя Малинина на именитого гражданина Лажечникова в произнесении дерзостных слов. Свидетель Франц Боль».

Находится дело в Российском государственном архиве древних актов. [1] Но, прежде чем к нему перейти, надо сказать несколько слов о преданиях по поводу сей загадочной истории, которые долго бытовали в семье Лажечниковых.

Преданья старины глубокой...

А. С. Пушкин

Семейная легенда

«Там, где молчат документы, пышно расцветают легенды», — любил повторять Игорь Валентинович Маевский.

Лучшей иллюстрацией к словам коломенского историка и краеведа стали описания ареста и освобождения Ивана Ильича, которые приведены в старинной рукописи. Её автор — внук старшего брата писателя И. И. Лажечникова, Николая, Ростислав Фёдорович Гардин (1847—1924). Этот источник находится в Санкт-Петербурге, в рукописном отделе Российской Национальной библиотеки. В настоящее время он впервые опубликован усилиями воскресенского историка и краеведа Андрея Николаевича Фролова. [2]

Вот «коломенский» отрывок из этого источника. Начав с упоминания рода Лажечниковых и города Коломны, автор мемуаров рассказывает: «Прадед мой, Иван Ильич Лажечников, был уже миллионером и одним из особо уважаемых дворян той местности. Поместие, в котором он жил, называлось Кривякино, расположенное на берегу Москвы реки, на живописной местности. Дом у него был «полной чашей». Он был большим хлебосолом, и масса людей пользовалась постоянно его гостеприимством.

Между прочим, один из благодетельствованных субъектов так оплатил ему за хлеб-соль, что прадед до конца дней помнил об этом. Стоит рассказать... Тем более, что счастливое окончание несчастного события праздновалось у Лажечниковых, и я ещё помню этот день 8 ноября.

В царствование Павла Петровича нужно было быть очень осторожным на язык... и нередко за неосторожное слово отправляли туда, «куда Макар телят не гонял».

Раз у себя дома прадед в присутствии гостей обсуждал кое-какие правительственные распоряжения, и именно «обсуждал», т. е. рассматривал его хладнокровно и вполне в приемлемой форме. Один из прихлебателей, которому прадед перед этим отказал в займе денег, донёс на него в Петербург, причём приплета «не весть» какие страсти и разукрасил «вовсю». Результатом этого последовало то, что в один прекрасный день подсакала к дому фельдъегерская тройка с жандармами: прадеда схватили в халате, накинули шинель, шапку и укатали в Петербург.

Все следы прадеда прекратились; но никто не сомневался, что он сидит в Петропавловской крепости, судя по предыдущим примерам с дру-

гими несчастливцами. Все старания прабабки помочь делу в районе своего пребывания не привели ни к чему. Тогда она решила ехать в Петербург. Прибыв туда, исходила все пороги лиц, власть имущих, и опять ничего не достигла.

Тогда кто-то из добрых сердец посоветовал прабабке рискованное предприятие: просить прямо на улице молодого великого князя Михаила Павловича, в расчёте скоро имеющего быть его тезоименитства, когда августейший отец всегда имел обычай исполнять все просьбы великого князя, в честь именин последнего.

Прабабушка решила на это. И вот произошла следующая картина: редкая по красоте женщина, вся в соболях и бархате, бросилась на колена (!) перед гулявшим Михаилом Павловичем со своим воспитателем прямо в осеннюю слякоть Дворцовой набережной. Молодой красивый князь, крайне сконфуженный, поднял плачущую красавицу и с необыкновенным участием просит объяснить, в чём дело.

Лажечникова рассказала несчастный случай с её мужем и умоляла ввиду невинности последнего, который есть только жертва низкого и лживого доноса, освободить его. Великий князь, крайне тронутый, дал слово просить за Лажечникова, своего державнейшего отца.

Восьмого ноября, в день Архангела Михаила, он исполнил своё обещание. Император, удивлённый, что сын не просит каких-либо подарков или мелких удовольствий, и вместе с тем польщённый бескорыстным движением души юноши, сказал: «Хорошо, я разберу это дело, но всё-таки я так привык исполнять твои именные просьбы, что твой Лажечников сегодня же будет свободен». Действительно, Лажечников был освобождён. С тех пор в роде Лажечниковых (что исполнял ещё и мой дед) праздновался день 8 ноября и служился молебен за здоровье, а потом за упокой великого князя Михаила Павловича». [3]

Ничего не скажешь: версия занимательная и красивая. Но, увы — Гардин здесь далёк от истины. Начать хотя бы с того, что ко времени ареста и освобождения Ивана Ильича Великий князь Михаил Павлович... ещё не родился! Произошло это радостное событие в семье императора лишь через год. Следовательно, при всём своём благородстве Михаил Павлович никак не мог поднимать с колен прекрасную купчиху и тем более ходатайствовать за её арестованного супруга.

Как же в действительности совершались подобные дела в то время?

Тут надо обратиться к истории Тайной Экспедиции. При юном царевиче Петре в 1686 году был создан Преображенский Приказ для управления потешными Преображенским и Семёновским полками. В 1695 году ему были добавлены политические функции для борьбы с царевной Софьей за царский престол. В 1702 году в Приказ стали присылать тех, кто сказал «слово и дело государево», то есть тех, которые объявляли кого-либо виновным в государственном преступлении.

При Екатерине II сия «контора» стала называться Тайной Экспедицией и как орган политического сыска занималась делами Пугачёва, Новикова, Радищева.

Ликвидирована при Александре I. Её функции переданы I Петербургскому и V Московскому Департаментам Сената.

Арест купца Ложечникова не был исключительным событием для Коломны. Уместно вспомнить похожее «Дело коломенского купца Шкарина, отданного в солдаты за держание речей. 1766 год».

Купца, имевшего неуравновешенную психику, Тайная Экспедиция привлекала несколько раз. После очередного увещевания он каялся, но ненадолго, и затем всё повторялось. Только благожелательное отношение Екатерины Великой к коломенскому купечеству помогло Шкаринову избежать Сибири, и вопрос решили, зачислив его в рекруты.

Существует также дело о привлечении к следствию Ивана Набокова. Но нас интересует другая история.

Семейная легенда

«Сиятельный князь Милостивый государь мой!

Епархиальной моей Коломенской Семинарии риторического класса учитель Дмитрий Малинин сего 5 октября объявил мне словесно, что коломенский именитый гражданин Иван Ложечников, у которого в доме по найму для обучения детей его он, Малинин, имел жительство, будучи сего октября 4 и 5 в доме своём, произносил оскорбительные для Светлейшей особы и высокой чести Его Императорского Величества, слова.

Соблюдая с моей стороны долг верноподданнической присяги, препровождаю его яко ближайшему воинскому и гражданскому начальству для принятия от него употребления с Вашей стороны мер, законами на таковые случаи поставленных.

О нём же, учителе, свидетельствую, что он человек просвещённый, жития трезвого и беспорочного, исправностью в должности своей заслуживающий похвалу и награду, а потому и вероятия достойный.

В прочем с истинным моим почтением пребываю навсегда Вашего Сиятельства Милостивого государя моего

Покорнейший Слуга и Богомолец Афанасий Епископ Коломенский
октябрь 5 дня 1797 г.
Коломна».

Учитель с ложкой дёгтя

Донос написан не самим Малининым, а с его слов, вероятно, секретарём канцелярии. Документ датирован 9 октября 1797 года. Приводим его содержание, близкое к оригиналу.

Малинин находился у коломенского именитого гражданина Ложечникова в доме для обучения двоих его детей русскому языку и арифметике уже четвёртый год, получая за это жалованье по рассмотрению его, Ложечникова, сколько ему рассудится, но не менее ста рублей в год. А так как жительство имел также в его доме, то иногда и «обедывал с ним вместе за его столом».

Поскольку Ложечников получал гамбургские и немецкие газеты, то «он их ему всегда читывал».

Вот и четвёртого октября он, Малинин, читал ему полученные им с почты 149, 150, 151 и 152-й номера газет. При чтении их нашёл материалы о том, что Швабский округ в подражание Франконскому и Верхнерейнскому округам вынес определение просить императора Павла «о заступлении их при всеобщем ныне мире». Ложечников, выслушав это, обратился к присутствовавшей за столом жене своей Татьяне Максимовне со словами: «Наш-де дурак и радуется, что просят у него помощи». На этом разговор и закончился, так как он уже был одет и тут же ушёл смотреть развод Выборгского мушкетёрского полка. Развод производился напротив его дома.

Малинин взял на замечание те, выговоренные Ложечниковым, слова о Его Императорском Величестве и, не желая оные оставить без доноса, изыскивал к тому время до 5 октября, ибо он должен был быть тем вечером у Его Преосвященства для чтения французских книг.

Но того же числа учитель был приглашён к столу Ложечниковым. Тут же оказался за столом иностранец француз Франц Болье, который также обучал детей Ложечникова — говорить по-французски. Ложечников завёл разговор о войсках, что нынешняя военная служба тяжела, и что многие офицеры идут в отставку: в Рижском полку остался только один майор, и ежели вскоре откроется война, то солдаты будут употреблять старый артикул или разбегутся по заграницам. И как он кончил эти слова, Малинин сказал Ложечникову: что-де ты рассуждаешь о том несправедливо и говоришь в тоне тех молодых дворян, которые, не успев вступить в службу, идут в отставку, от которой они пользуются выгодами. И жена его, Ложечникова, присутствовавшая при том, говорила, что, видно, служба тяжела, когда уже многие офицеры идут в отставку, но на этот раз учитель остался в молчании. А Лажечников на упрёк Малинина сказал: «Ты врёшь и не смеешь мне так говорить». Слышали или нет те слова стоящие тогда за столом Ложечникова дворовые люди, Малинин утверждать не может.

Ложечников рассердился и выслал учителя из-за стола вон. Малинин вышел из покоев, а как стол кончился, то опять вошёл в покои и требовал у него, Ложечникова, данные в заём ему Малининым собственных денег 340 рублей и заявил, что он более жить у него в доме не хочет.

На что Ложечников отвечал, что он о нём не жалеет, как о школьнике, кроме латыни ни о чём не разумеющем, и после чего хотел его вытолкать вон, и когда Малинин вышел в сени, Ложечников хотел его столкнуть с лестницы, однако от сего намерения им, Малининым, был удержан. Малинин сказал ему, что ему не дивно так хотеть буянничать, «когда уж ты отважился вчерашний день и Государя именовать оскорбительным словом», и с тем они расстались.

Малинин обо всём вышесказанном в тот же вечер, придя к Его Преосвященству в дом, объявил. Преосвященный сказал, что по долгу верноподданного не оставит донести начальству, и 6 октября написал письмо на имя Его Сиятельства князя Ю. В. Долгорукова и отправил в Москву. Малинин с Ложечниковым никакой ссоры и злобы на него не имеет, а только замечает из поведения его, что он человек по богатству своему высокомерный, и в сём вопросе он, Малинин, показал сухую правду, как ему явиться на Страшном суде Христовом, от роду ему 28-й год.

Князь поговорил с доносчиком.

Материалы допроса учителя Дмитрия Малинина Ю. В. Долгоруков направил генерал-прокурору Алексею Куракину и приложил к ним свой рапорт императору. За краткостью приводим его дословно.

«19 октября 1797 г.
дата получения

СЕКРЕТНО

Светлейшему Державнейшему
Всемиловитейшему господину
Императору и Самодержцу Всероссийскому.

Генерала от инфантерии Московского Военного Губернатора Управляющего гражданской частью в Москве и Московской губернии князя Долгорукова.

Всепокорнейший рапорт

Коломенский Епископ сообщил мне о доносе тамошней Семинарии учителя о произнесённых оскорбительных словах против Вашего Императорского Величества коломенской округи именитого гражданина Ивана Ложечникова, о чём долгом поставляю Всеподданнейше Вашему Императорскому Величеству донести. Бумаги же, до сего относящиеся, сообщил я генерал-прокурору князю Куракину.

Военный губернатор Князь Юрий Долгоруков
10 октября 1797 г.
Москва»

А вот и следующий документ...

«18 октября 1797 г.

СЕКРЕТНО

Бланк Московского генерал-губернатора

Князю Алексею Борисовичу
Куракину — генерал-прокурору

Милостивый государь Алексей Борисович!

Какое получил я от Коломенского Епископа Афанасия Уведомление о доносе ему от учителя коломенской семинарии о произнесённых тамошним именитым гражданином Ложечниковым оскорбительных словах против Его Императорского Величества.

Оное имею честь в оригинале представить, равным образом прилагаю и взятый мною от сего учителя Допрос.

Я, с моей стороны, хотя и не вижу в сём деле никакого умышления, но

не менее, есть ли донесение справедливо, дерзость Ложечникова, непристойность рассуждения его обвиняют, почему я приказал Коломенскому Городничему его [Ложечникова] под другим предлогом сюда доставить.

По разведывании истины буду честь иметь Вашему Сиятельству сообщить, а между тем оставляю их [Ложечникова и Малинина] при здешней Тайной Экспедиции.

В прочем с истинным и неперменным почтением имею честь быть Вашего Сиятельства покорный слуга князь Юрий Долгоруков».

Резолюция Куракина: «Для доклада Его Величеству изготовить».

Действующие лица

Таким образом, в нашем повествовании уже сложился небольшой круг действующих лиц. Пока почтовая тройка с первыми документами по делу купца Ложечникова добирается от Москвы до Петербурга по осенней распутице, у нас с вами, уважаемый читатель, есть немного времени для ознакомления с биографиями некоторых из них. Это будут, в первую очередь, Долгоруков, Куракин, владыка Афанасий.

Безусловно, от генерал-губернатора, находящегося, с одной стороны, в вертикали императорской власти, а с другой — призванного защищать интересы населения, зависит немало.

Как покажет ближайшее будущее, именно действия князя Долгорукова окажутся решающими и помогут купцу Ложечникову вернуться домой.

Поэтому нашу небольшую галерею портретов действующих лиц открывает именно он.

Московский генерал-губернатор Ю. В. Долгоруков

Родился в 1740 году. Его отец Владимир Петрович при государыне Елизавете в звании генерал-лейтенанта занимал пост Рижского и Ревельского губернатора. Своего сына в возрасте 9 лет он записал унтер-офицером. Через три года мальчика аттестовали на знание «инженерных наук, военной службы касающихся», после чего произвели в поручики и приписали к рижской инженерной чертёжной.

Пятнадцати лет, в чине капитана, он бы определён адъютантом к своему отцу. В это время началась война с Пруссией, и Долгоруков оказался в действующей армии. Участвуя в сражении при Егерсдорфе, получил тяжёлое ранение в голову. После сложной операции и выздоровления, будучи в звании майора и должности командира Киевского полка, воевал при осаде Кольберга и Цорндорфа.

В 1759 году, после сражения при Пальциге и Франкфурте-на-Одере, произведён в подполковники. Через год в составе корпуса З. Г. Чернышова вошёл в Берлин. После кончины Елизаветы Пётр III отправил этот корпус в распоряжение Фридриха Великого, но уже Екатерина II отозвала корпус, и двадцатитрёхлетний полковник Долгоруков, командуя Петербургским полком, выдержал несколько удачных стычек с польскими войсками, после чего полк перевели в Вязьму.

В 1767 году граф Чернышов представил полк Долгорукова Екатерине, которая совершала путешествие по Волге. Для этого полк прибыл мар-

шем в Казань, где состоялся смотр. Императрица осталась довольна воинством и пригласила Юрия Владимировича в свою свиту. Сопроводив государыню до Симбирска, он вернулся.

Потом князь принял участие в турецкой войне. В морском сражении он искусно командовал кораблём «Ростислав».

После Чесменского боя его отправили с донесением в Петербург.

В 1773 году Долгоруков произведён в генерал-поручики, а после сражения при Кагуле — в генерал-аншефы.

До своей отставки, до 1790 года, он воевал во Второй турецкой войне при взятии Очакова.

В мирное время 1793 года князя назначили главнокомандующим над русскими и польскими войсками на новоприобретённых территориях Польши. Соблюдая казённые интересы, он проявил себя как недюжинный экономист. Поскольку в Польше в это время заканчивался сельскохозяйственный год и дворяне крайне нуждались в деньгах, он опубликовал в газетах, что, закупая продовольствие для армии, платит по полтора рубля с гривной за меру муки. До него подрядчики не допускали, а прежним поставщикам-посредникам войска платили по 7 рублей.

Теперь помещики с большим удовольствием повезли муку сельхозпроизводителей напрямую к военным снабженцам. За короткое время провиант на год был заготовлен. За это Долгоруков получил от Екатерины 20 тысяч червонцев и обещание выплатить ещё 80 тысяч.

Однако в тот же день из канцелярии фаворита Зубова приехал отставной майор с письмом отправителя канцелярии Грибовского, где было сказано, чтобы подряд для закупки провианта Юрий Владимирович передал майору. На что Долгоруков ответил, что личных подрядов у него нет, а дворяне поставляют провиант по такой цене, по которой подрядчикам продавать нет смысла. Выдал майору прогоны и попросил уехать обратно. «После сей переписки не только 80 тысяч я не получил, но и все мои служебные представления оставались без ответа. Всё сие наводило на меня горести, и я отчаянно занемог...» — писал Долгоруков в своих «Записках». Князь был вынужден просить отставку.

Императрица отставку не приняла и в 1795 году назначила Долгорукова московским генерал-губернатором.

Узнав, что в Москве тайно проживают многие беглые солдаты, Долгоруков посчитал своим служебным долгом их отловить. Гражданский губернатор М. М. Измайлов почему-то был против.

Выждав, когда Измайлов отправился по делам в Петербург, за всеми московскими заставами генерал-губернатор поставил «бекеты». В первый же день задержали около 70 дезертиров.

Дело дошло до Екатерины. Она вызвала к себе Измайлова. Однако тот отвертелся, переложил вину на князя, на ходу сочинив, что солдат на службе не кормят и они бегут с голоду.

Екатерина разгневалась. Долгоруков нарушает покой жителей — таков был её вердикт.

На следующий день князь послал прошение об отставке.

Император Павел, придя к власти, вновь назначил его Московским генерал-губернатором и шефом Астраханского полка.

Генерал-прокурор Сената

Князь Алексей Борисович Куракин родился 19 сентября 1759 года в семье первого президента коллегии экономии Бориса Александровича Куракина. Его мать, Елена Степановна, была дочерью фельдмаршала Апраксина.

После кончины отца в 1764 году и матери в 1769 году Алексея и его старшего брата Александра отправили в Петербург, где их воспитанием и образованием руководили графы Никита Иванович и Пётр Иванович Панины, родные братья бабушки Куракиных. Существенная деталь: Никита Иванович был воспитателем великого князя Павла Петровича!

Когда Алексею исполнилось 16 лет, братьев отправили учиться за границу, в город Лейден, где существовала колония представителей русской аристократии.

В одно время с Куракиными там учились Н. П. Шереметьев, князь Алексей Гагарин.

Из наук Алексей отдавал предпочтение юридическим. Во время учёбы он регулярно представлял Паниным свои диссертации. Не забывал комплектовать и личную библиотеку. Ко времени его возвращения в Россию, летом 1776 года, она насчитывала свыше 500 томов! Ядро библиотеки составляли книги Буало, Вольтера, Руссо...

Карьеру Алексей Борисович начал в 1780 году в Петербурге с должности заседателя земского верхнего суда. С 1792 года он — первый советник. С 1795 года — управляющий Третьей Экспедицией, которая контролировала казённые финансы. Наконец, с 4 декабря 1796 года он — генерал-прокурор, одновременно руководит департаментом удельных имений. Также организовал и возглавил Дворянский банк.

Составил три книги законов: по уголовной, гражданской и казённой части. Организовал школу правоведения для дворян. При нём изданы: постановление, что опекаемые могут возбуждать дела о дурном управлении их имуществом, указ, ограничивающий барщину тремя днями в неделю, указ об обязанности кавалеров российских орденов быть попечителями благотворительных учреждений и другие нужные законы.

В его заслуги включают то, что он первый обратил внимание на М. М. Сперанского и взял в свою канцелярию.

А когда узнал, что родная сестра М. В. Ломоносова остаётся крепостной, снял с неё и её родственников подушную и рекрутскую повинности.

Коломенский епископ Афанасий

25-томный «Русский биографический словарь» содержит не очень подробную биографию.

«Афанасий Иванов (в миру Алексей) родился в Москве в 1746 году. Обучался в Московской славяно-греко-латинской Академии, где по окончании курса в 1774 году был оставлен преподавателем. Монашество принял 13 мая 1771 года. В 1782 году возведён в сан игумена Московского Покровского монастыря и одновременно исполнял должность префекта бывшей при монастыре Крутицкой семинарии. В 1784 году переведён префектом и профессором Славяно-греко-латинской Академии, а в 1786 году назначен в ней ректором и архимандритом Заиконоспасского монастыря. 12 ноября 1788 года Афанасий хиротонисан во Епископа Коломенского».

Владыка Афанасий был фактически последним архиереем города. История с упразднением Коломенской кафедры достаточно драматична, но в годы, о которых мы повествуем, до закрытия епархии было ещё далеко.

Спор разгорается

Когда Ивана Ложечникова в Тайной канцелярии начали допрашивать, разгорелся спор. Так, в деле на пяти листах, с 13-го по 17-й включительно (причём с двух сторон и без пробелов), идёт непрерывный поток показаний фигурантов в таком порядке: Ложечников, Малинин, Бо́лье, снова Ложечников.

Результат этого спора чётко отразил в своём втором послании к князю Куракину губернатор Долгоруков.

Именитый гражданин опровергает

«Явившийся у Его Сиятельства Ю. В. Долгорукова коломенский именитый гражданин Иван Ложечников в Тайной Экспедиции против показания на него коломенской Семинарии учителя Дмитрия Малинина допрашиван и показал! Помянутый Малинин для обучения детей его по-русски и арифметике находится в доме его четвёртый уж год, получая от него жалованье не менее ста рублей в год.

Сего месяца октября третьего дня к вечеру принёс он, Малинин, немецкие газеты для прочтения ему, Ложечникову, которые он обыкновенно брал у штап-лекаря Аберлинга, но не по просьбе, однако ж, его, Ложечникова! Но сам собою и переводил ему на русский язык, ибо он, кроме отечественного языка, другого никакого не знает, а потому и немецких газет не получает ниоткуда!

Не может он припомнить, было ли тут известие о Швабском округе, который, по примеру Франконского и Верхнерейнского, сделал определение просить Его Величество о заступлении при всеобщем мире.

Но знает он, что таковых дерзких слов, как показывает Малинин, не только что в то время, когда он читал помянутые газеты (при чём были того города городничий Расловлев и прапорщик мушкетёрского полка Елагин, а жены его, Ложечникова, отнюдь не было), но и никогда не говорил, а после того, то есть четвёртого числа по утру, никаких газет Малининым читано не было.

Пятого же числа в доме у него, Ложечникова, за обеденным столом, был он с женою своею и с Малининым и ещё с живущим у него учителем немцем Францем Бо́лье. Спрашивал он, Ложечников, у Бо́лье, читал ли он последние немецкие газеты, и когда он ему ответил «нет», то Ложечников сказал ему, что-де ныне в газетах много отставных, после чего Малинин вдруг с надменностью и грубостью совсем некстати выговорил ему, Ложечникову: «Ты знаешься с дворянами, так дворянским тоном и говоришь».

Почему он, Ложечников, не стерпя таковое невежество, как от человека, некоторым образом им благодетельствованного, поелику он живёт в

его доме и всем пользуется, сказал ему: «Ты врѣшь, дурак, где ты нашѣл в сих словах дворянский тон! Пошѣл вон не только из-за стола моего, но и из дому!» Почему он вышел из-за стола и, выходя за двери, угрожал ему, Ложечникову, такими словами: «Помни ж ты это! Я тебе докажу».

Но при разговоре о газетах, о воинской службе, какова она ныне и войсках, подобного тому, что доносит на него Малинин, не только говорено, но и в мыслях не было; равномерно и жена его того, что видно-де тяжела служба, когда многие офицеры идут в отставку, не говорила, да и говорить ей того, как женщине, а притом ещё и грамоте не знающей, неприлично.

Седьмого октября, когда Малинин взял от него свои деньги и пошѣл с крыльца, то он, Ложечников, столкнуть его с оною никогда никакого намерения не имел, и при том от него таких слов: «Не диво тебе так бунить, когда уже ты отважился и государя наименовать оскорбительным словом», от него не слышал, а, вероятно, что всё это выдуманно Малининым из злобы, каковую он питал приметным образом с полгода с того времени, как принял он, Ложечников, к себе в дом помянутого учителя немца; ибо, видя себя уже более не нужным, был он крайне тем недоволен, оказывал грубости против его, Ложечникова, а с женою его даже и бранился; за что он давно уже хотел выслать его из дому, но оставил ещё на несколько времени по собственной его, Малинина, просьбе и убеждению.

По учинении расплаты с Малининым на третий день, т. е. 9 октября, по народной в городе молве, услышал он, Ложечников, что Малинин поехал в Москву с каким-то на него доношением важным, а потому и сам рассудил ехать в Москву и предстать к князю Ю. В. Долгорукову для объяснения.

И так выехал оттуда [из Коломны — К. З.] десятого числа рано поутру, приехал в Москву, на другой день и явился к Его Сиятельству, а бывши им спрашиван против показания Малинина, объявил всё так, что и здесь на допросе.

В прочем, что принадлежит до поведения его, то он свидетельствуется всем дворянством города Коломны, служащими там чиновниками и купечеством, сверх того многими и здесь, в Москве, живущими, благородными и купечеством, как его знают, а притом, имея капитал, ставит он во всю Московскую губернию соль, обязавшись единственно для казѣнной пользы, ибо он от сей поставки никакова барыша не получает, и в сѣм допросе показал сущую правду, а ежели что ложно или утаил, за то подвергает себя жестокому по законам истязанию, от роду ему 34 года».

Как видим, реальная картина несколько отличается от романтической и трагической сцены, нарисованной Гардинным. Не было никаких трѣх тайственных кибиток. Напротив, узнав о доносе, Ложечников-старший сам быстро отправился в Москву, чтобы уличить доносчика в неточностях и неправде.

Семейная легенда

Пришлось учителю тут же внести изменения в свои показания. В деле об этом написано очень подробно.

«После чего учитель Малинин лично в присутствии Его Сиятельства против показания именитого гражданина Ложечникова о том, что Ложечников немецких газет сам не получает! А принашивал к нему в дом он, Малинин, сам, брав оные у коломенского штап-лекаря Аберлинга, и читал оные 3 октября вечером при бывших у него в доме гостей коломенском городничем Расловлеве и прапорщике Елагине, а не четвёртого числа, как показывает спрашиван и показал!

Что оный Ложечников подлинно получает те газеты не на своё имя, а на имя штап-лекаря Аберлинга, и за которыми он посылал его, а иногда и сам он, Малинин, брал от него, как-то и было третьего октября в субботу вечером, и найдя в них статьи, заслуживающие внимания относительно до нынешних французских оборотов, сделал об них замечания в рассуждении высокого их стиля и которого он не в состоянии был перевести оригинально, вошёл в покои его, Ложечникова, где тут были коломенский городничий Расловлев и ещё с ним двое Выборгского полку офицеров, Елагин и Ушаков (которые у него на тот раз были в бане), то он, Малинин, приготовив из тех газет некоторые статьи оригинально, а другие переведя уже на бумагу, начал читать при них Ложечникову, но они, не дослушав оные, вскоре из дому его пошли, почему он и должен был оставить их до утра, то-есть четвёртого октября, а поутру, пришед с обедни, паки начал читать оные Ложечникову, между прочим и показанную им свыше материю о предположении просьбы Его Императорского Величества Швабского округа! Но в то время никого, кроме его жены, не было, в чём он показание своё утверждает клятвенно, а 5 октября во время обеда при начале говоренных тем Ложечниковым о воинских словах были тогда учитель немец Франц Болье и дворовые Ложечникова, люди Ларион Иванов и наёмный Василий Фёдоров и другие, коих он имён не показал, и утверждать, что они те слова слышали, не может, ибо они во время обеда отлучались ... а учитель совершенно о том должен знать, так как сидел за столом всё то время».

Свидетель Болье защищает

Настал черёд немецкого француза.

«По сему его показанию, учитель-иностранец прусской нации Болье, живущий в доме Ложечникова, был вместе с Ложечниковым, с его женою и с учителем Дмитрием Малининым. При окончании стола между прочих общественных разговоров Ложечников спрашивал его, Болье, читал ли он газеты? На что он ответил, что нет! Тогда Ложечников сказал ему, что-де ныне в газетах много отставных по воинской службе назначено, а особливо, что многие офицеры идут в отставку, и что в некотором полку остался только один майор.

На что вдруг в великом азарте учитель Малинин, встав, говорил Ложечникову: «Вы-де знаете с благородными, так тоном их и говорите!» Ложечников посмотрел на него пристально и сказал: «Ты врешь, поди вон!» Почему Малинин, тотчас вставши из-за стола, пошёл вон, и в ту же минуту встали все, сидевшие за ним. Более никаких разговоров ни о состоянии воинской службы ныне в России, ни о войсках или другом,

тому подобном, от Ложечникова и Малинина он не слышал, равномерно и жена Ложечникова в таковую материю при нём, Болье, не входила.

После того через несколько дней Ложечников с женою отправились в Москву, откуда к нему писано именем жены его, Ложечникова, чтобы он приехал в Москву с детьми, то он и отправился оттуда [из Коломны — К. З.] с ними тринадцатого, а сюда приехал четырнадцатого, прямо в дом брата его родного, Емельяна Ложечникова, состоящего в Таганской части, где и теперь жительствоует. Сие объявляет он по чистой совести, как стать ему пред Богом, подвергая себя в случае, ежели что из показания его откроется ложно, жестокому по закону штрафу» (л. 16—17).

Правда восторжествовала.

Итак, приближается к концу спектакль, название которому автор и режиссёр которому Ю. В. Долгоруков в послании к Куракину 10 октября дал такое — «разведывание истины». Каждый участник сыграл свою роль. Даже безобидному Болье было доверено «обвинить» Ложечникова в произнесении крамольных слов: «Многие офицеры идут в отставку, и в некотором полку остался только один майор».

Поэтому Ложечников «В присутствии Его Сиятельства был спрашиван 20 октября и признался, что «...сие он говорил без всякого намерения и понаслышке от офицеров Выборгского полка, но от кого именно, не помнит».

После этого Малинину были даны очные ставки с Ложечниковым и Болье, на которых все остались при своих показаниях.

Второе послание губернатора

Итак, получив показания с прибывших двух других фигурантов дела, Ложечникова и Болье, и уточнённые мнения на них Малинина, а также проведя очные ставки с ним же, генерал-губернатор направил эти документы генерал-прокурору.

«Милостивый государь мой князь Алексей Борисович!

После отправленного к Вашему Сиятельству сего октября 10 числа почтённого моего письма относительно до произошедшего здесь коломенской семинарии учителя Дмитрия Малинина доноса коломенский именитый гражданин Иван Ложечников явился ко мне сам 12 октября, которого нарочный, посланный от меня в Коломну, тамо не застал. Учитель же, обучающий у него в доме детей по-немецки, немец Франц Болье, на которого Малинин ссылался оговоренных им, Ложечниковым, в доме во время стола 5 октября о войсках и об отставке офицеров словах здесь, в доме брата его, Ложечникова, был сыскан, которые порознь были спрашиваны, и из них Ложечников против показания Малинина оговоренных ему наедине при чтении 4 октября газет, оскорбительных про высочайшую особу слов не признался и показал, что того 4-го числа им, Малининым, никаких газет ему читано не было, а с чего он покажет о том, не знает и 5-го числа, сидя за столом при учителе Болье, хотя он, Ложечников, и говорил о том, что многие офицеры назначены-де в отставку, и что в некотором полку остался только один майор, то сие го-

ворил он, Ложечников, без всякого намерения и понаслышке от офицеров Выборгского полка, кои, квартируя в Коломне, часто бывают у него в гостях, а от кого именно, не припомнит.

И Боле никаких других слов относительно до войск говорено не было, что учитель Боле, как в допросе, так и на очной ставке с Малининым, лично при мне подтвердил!

А Малинин остался на прежнем своём показании.

Предлагая учинённые допросы, покорнейше прошу Ваше Сиятельство при случае доложить о сём Его Императорскому Величеству, и какое на оное последует Высочайшее повеление, меня уведомить.

А до того времени учитель Малинин и купец Ложечников содержаны быть имеют в Тайной Экспедиции, учитель Франц Боле от меня освобождён, с таковым подтверждением, чтобы он, о чём был спрашиван, нигде о том не разглашал.

В прочем ...

Князь Юрий Долгоруков

22 октября 1797 г. Москва»

Действующие лица — II

Купец Иван Ложечников

К описываемому времени Иван Ильич Ложечников был купцом первой гильдии и имел звание именитого гражданина.

Вместе со старшим братом Емельяном, также имевшим это редкое и почётное звание, занимались они, как и их отец, Илья Акимович, поставкой соли из низовых волжских городов в верховые, в том числе в Московскую губернию. Кроме того, содержали серный и купоросный завод. В Коломне у них имелись торговые лавки для отдачи внаймы. Имущество, доставшиеся им по наследству от отца, разделено ещё не было.

На Астраханской улице, напротив церкви Иоанна Богослова, Иван отстроил двухэтажный дом, где жил с женой и тремя сыновьями: 11, 7 и 5 лет. Емельян жил в московском доме их отца.

Писатель И. И. Лажечников, средний сын Ивана Ильича, в 50-х годах девятнадцатого века в мемуарно-биографических произведениях уделил достаточно места для описания личности своего отца. В очерке «Беленькие, чёрненькие, серенькие» (1856) отец выведен под именем Максима Ильича Пшеницына. «Он имел приятную наружность, сердце доброе, светлый ум и стремился к дворянской жизни, чему способствовали немалые связи его отца, Бог знает как и когда сделанные, со многими знаменитыми лицами того времени... Он и весь его род со времени Петра Великого ходили в немецком платье, что Пшеницыны ели серебряными, а не деревянными ложками, каждый со своего оловянного прибора, а не из общей семейной деревянной чашки, что имели прислугу и кое-какой экипаж.

Говорили, что этот род шёл от новгородских именитых людей, которые, избежав казней во времена Иоанна Грозного, были им переселены в Холодню. Поэтому в фамилии Пшеницыных сохранилась какая-то наследственная кровная гордость, которой не замечали в прочих смирен-

ных обитателях Холодни. Во всех городских собраниях видали их всегда передовыми.

Надо прибавить, что Максим Ильич имел врождённое стремление к образованию себя, ... познакомился он где-то с каким-то господином Новиковым. Новиков полюбил молодого человека, снабдил его списком книг, какие только были изданы на русском языке. Максим Ильич не замедлил купить эти книги и читал их с жадностью».

Как видим из приведённой цитаты, отец писателя обладал только положительными качествами. Но вот появился один штришок к портрету — одна «врождённая слабость».

«Так как он [городничий — К. З.] обретался более в уезде, чем в городе, то и прозвали его уездным городничим. В этом названии, как и во многих других, довольно метких, был виновен добрейший Максим Ильич, который, несмотря на свой кроткий миротворный характер, любил почесать язычок на счёт других. Это была врождённая слабость, за которую он не раз дорого платился и однажды едва не подпал большой беде».

Французский гувернёр Болье

Изо всех действующих лиц наименее известен учитель Болье. В своих воспоминаниях его ученик и воспитанник писатель Иван Лажечников уделил учителю не очень много места. Например, в «Новобранце 1812 года» читаем: «Мы приехали в Коломну ... сколько воспоминаний толпилось в голове моей...

Вспомнил я прогулку на козле и доброго француза-гувернёра с длинной косой за плечами, которую вместе с головой своей вынес он из-под гильотины».

А вот во что трансформировалась вышеприведённая фраза писателя в трудах лажечниковедов: «Значимо в этом контексте упоминание о гувернёре (Болье), бежавшем от бойни Великой французской революции. Рассказы, страхи и сетования эмигранта, возможно, тоже сыграли свою роль в формировании взглядов его воспитанника. Влияние это, как заметил С. А. Венгеров, обнаруживается в полудетских «Моих мыслях»...». [4]

Только из нижеприведённых архивных документов видно, что Болье приехал в Россию за 20 лет до первой казни во Франции. Как известно, он обучал детей купца Ложечникова французскому и немецкому языкам. Косвенно можно предположить, что это продолжалось не менее 10 лет.

В журнале «Аглая» за сентябрь 1806 года напечатан перевод из одного парижского журнала за подписью Болье.

В Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ) в фонде генерал-губернатора имеется список находящихся в Коломне иностранцев с официальными биографическими данными: кто какой нации, откуда прибыл, давно ли в России, по каким документам проживает, в чём состоит промысел. [5] Сделаем выписку по нашей теме: «Французской нации уроженец города Берлин француз Болье, названный в данной ему 1776 года сентября 30 дня из учреждённой при Императорской Академии наук комиссии, аттестат за подписанием действительного статского советника фон Штеллина».

По его словесному объявлению, Франц Жан Болиер прибыл из Пруссии, из Кинзберга, в 1774 году. Объявил, что въехал в Россию с отцом

по паспорту, данному из города Кинзберга, который-де в 1781 или в 1782 году, а подлинно не помнит, представлен был в городе Курске к тамошнему губернатору Петру Семёновичу Свистунову, от коева дан был ему паспорт, но оный-де, за случившеюся болезнию, тогда был не отыскан, и на место онаго дано ему, Болье, от него, Свистунова, свидетельство в том же году, которое в 1793 году при приведении его, Болье, к присяге, оставлено в Москве, а на место того за подписанием правящего должность оберполицмейстера полковника и кавалера Павла Глазова и коллежского советника московского полицмейстера князя Дмитрия Прозоровского для свободного в России пребывания дано свидетельство, по которому ныне жительство имеет, а оное свидетельство явлено в 1795 году в подольском нижнем земском суде.

Промысел его состоит в обучении французскому и немецкому языкам по найму у разных людей малолетних детей, для чего ныне и находится в городе Коломне у коломенского именитого гражданина Ивана Ильича с(ына) Ложечникова».

Городничий Иван Расловлев (п. 17, 18).

Видим, что коломенский городничий кратко и точно ответил на вопросы губернатора.

Хотя непонятно, почему он написал «по его словесному объявлению», поскольку в деле имеются три копии с документов: двух свидетельств и аттестата. Копии содержат любопытную информацию о человеке, обучавшем иностранным языкам нашего знаменитого земляка.

Приведём краткое изложение документов.

Первое свидетельство сообщает, что француз Франц Болиер, «уроженец берлинской», с июля 1775 года по 21 сентября 1776 года находился на службе в учреждённой при Императорской Академии для исправления письменных дел на иностранных языках. От академической службы уволен по собственному желанию.

«В бытность же его при Академии вёл себя изрядно, в чём ему и дано сие свидетельство».

Подлинное подписали действительный статский советник фон Штеллин [6] и секретарь Академии Алексей Протасов. [6]

Из копии аттестата узнаём, что находившийся при обучении дворянства и воспитанников французскому языку в Харьковских училищных классах «учитель Франц Булье» с похвальными успехами проходил своё звание и обратил на себя внимание здешнего общества своим добропорядочным поведением.

«В чём и я со своей стороны, отдав ему справедливость с признанием способности к учительской должности, сим свидетельствую.

Воронежский и Харьковский генерал-губернатор Василий Чертков.
7 мая 1784 г.» [8]

И, наконец, третья копия относится к 1793 году. Приведём её в более подробном виде, так как она показывает, какие требования Российская власть предъявляла к французам, добровольно остающимся в России.

«Свидетельство. Предъявитель сего Франц Болье, уроженец французского (?) города Берлина, который в соответствии состоявшегося 8 фев-

раля 1793 года именного Её Императорского Величества указа о высылке всех обоего пола французов из всех мест Всероссийской империи, признающих нынешнее в земле их правление и оному повинующихся с оставлением токмо тех, которые отринутся присягою по Высочайше подтвержденному Ея Императорским Величеством образцу от правил безбожных и возмутительных, в земле их ныне исповедуемых, учинил торжественно не принуждённо, а по самопроизвольному желанию, присягу с крестным целованием и подписанием его руки, что быв не причастен ни делом, ни мыслею правилам безбожным и возмутительным, во Франции ныне введённым и используемым, признал настоящее правление тамошнее незаконным и похищенным, умерщвление короля христианнейшего Людовика XV почитает сущим злодейством и изменою законному государю, ощущает всё то омерзение к произведшим оное, каковое они от всякого благомыслящего праведно заслуживают, в совести находят себя убеждённым в том, чтобы сохранить свято веру христианскую, от предков наследованную, римско-католического вероисповедания, и быть верным королю, который по правилам наследства получит сию корону; пользуясь безопасным убеждением от ЕИВ самодержицы Всероссийской, даруемом ему в империи Ея, обязуется повиноваться законам и правлению от ЕИВ учреждённому, прервать всякое сношение с одноземцами его французами, повинующимися настоящему неистовому правительству, и оно сношения не иметь, доколе с восстановлением законной власти, тишины и порядка во Франции от ЕИВ последует повеление, и дано сие означенному французу Францу Болье для свободного в России пребывания и безопасного отправления дел его свидетельство в Москве 9 марта 1793 года».

Данное свидетельство, как мы узнали из справки Расловлева, подписано Павлом Глазовым и Дмитрием Прозоровским.

Загадочное поведение губернатора

И вот теперь, когда завершились допросы обвиняемого, свидетеля и произведён дополнительный уточняющий допрос Малинина, а также проведены очные ставки участников спора, можно заметить одну особенность со стороны генерал-губернатора. Она заключается в благоволении к обвиняемому. Это промелькнуло уже в первом сообщении к генерал-прокурору. «Я с моей стороны, хотя и не вижу никакого в сём деле умышления...» Похоже, что губернатор сразу хотел успокоить прокурора, а через него и императора, что купец никакого заговора против правительства не замышляет.

Вспомним, что Куракин сам хотел провести допрос Ложечникова. То же Павел повелел Измайлову. Но Юрий Владимирович провёл расследование по собственному сценарию, рискуя вызвать гнев Императора, известного своей неуравновешенностью. Вероятно, понадеялся на свой авторитет и на то, что Павел сам назначил его губернатором.

Малинин прибыл к Долгорукову, вероятно, 8 октября. Уже 9-го допрос был готов. И 10 октября, в субботу, отправлен в столицу.

В понедельник явился Ложечников. И его допрос был оформлен тогда же, 12 октября. Из допроса Ложечникова хорошо видно, что прежде чем давать показания, он тщательно изучил показания учителя. Это даже отмечено в допросе: «против показания на него ... Малинина допрашиван и показал...» Не пристрастного ли покровительства пытался избежать прокурор, представив свой план действий в докладе Павлу?

Неудивительно, что именитый гражданин опроверг все основные показания доносителя.

Начал Ложечников с опровержения о выписывании им немецких газет, «которые он [Малинин — К. З.] обыкновенно брал у штап-лекаря Аберлинга, но не по просьбе его, Ложечникова! Но сам собою ... ибо он, кроме отечественного, никаких других языков не знает, а потому и немецкие газеты не получает ниоткуда».

Затем он опроверг дату чтения газет 4 октября и сказал, что газеты читали 3 октября, в субботу, при этом присутствовали городничий Расловлев и прапорщик Елагин, бывшие в тот день в бане у Ложечникова, которых Малинин не упомянул.

Далее он подверг сомнению и сам читаемый текст: «Не может он припомнить, было ли здесь упоминание о Швабском округе! Но знает он, что таковых дерзких слов, как Малинин показывает не только в то время, когда он читал помянутые газеты ... но и никогда не говорил».

Помощь Долгорукова, заключающаяся в предоставлении Ложечникову копии доноса Малинина, была очевидна. Но в документах генерал-майор пытался её замаскировать. Так, донос датирован 9 октября, отправлен в Петербург 10-го, а Ложечников появился только 12 октября.

И далее, в первом сообщении князю Куракину 10 октября, он обещал по поводу ареста Ложечникова: «...я приказал коломенскому городничему его [Ложечникова — К. З.] под «другим предлогом сюда доставить».

А во втором сообщении 22 октября он так изобразил события: «Коломенский именитый гражданин Иван Ложечников явился ко мне сам 12 октября, которого нарочно посланный от меня в Коломну тамо не застал».

Загадочная поддержка дерзостного купца требует объяснения.

Поищем его в мемуарных произведениях Лажечникова.

В «Беленьких, чёрненьких, сереньких» писатель привёл некоторые биографические данные о своих предках. «Ванин дедушка Илья Максимович широко торговал хлебом, производил значительные поставки в казну, которые едва ли не с начала семнадцатого столетия удерживались в роде Пшенициных, имел серный завод в N губернии, фабрики парчовые и штофные в Холодне, несколько лавок для отдачи в наймы в этом городе и дома в нём и в Москве.

Лет через двадцать, как начинается наш рассказ, случилось Ивану Максимовичу в одном обществе быть представленным сенатору и чрезвычайно богатому человеку князю Д* (умершему едва ли не столетним стариком). «Очень рад, очень рад с вами познакомиться, молодой человек, — сказал сенатор, положив руку на плечо Пшеницину. Мы с твоим дедушкой были большие приятели, делали и дела немалые...

Бывало, понадобится тысяч десяток, двадцать, и шлёшь к нему цидулку, пришли-де, приятель, на такой-то срок. Или ему понадобится.

Давали друг другу без расписки на слово и день в день получали обратно свои денежки. Всё это стоило одного только спасибо. Да, да, — добавил князь, вздыхая, — ныне времена другие».

Не тождественны ли князь Д* и Ю. В. Долгоруков?

Начнём, по мнению И. И. Лажечникова, с главного признака: «чрезвычайно богатый человек».

В первую очередь благосостояние князю обеспечила военная служба, продолжавшаяся более пятидесяти лет. За успешное командование войсками доблестного воина наградили чинами, орденами и деньгами.

Будучи деятельным человеком, во время перерывов в службе и после её окончания Юрий Владимирович смело брался за предпринимательскую деятельность. В московском архиве есть примеры.

Так, в мае 1803 года Долгоруков купил главную московскую суконную фабрику у вдовы бывшего содержателя московского купца Василия Суровщикова и стал одним из крупных поставщиков сукна и каразеи для нужд армии. [9] В 1808 году по распоряжению московского гражданского губернатора через полицмейстера И. В. Гладкова сукно и каразея поставлялись в комиссариатское ведомство. Заказ был выполнен в срок.

В 1793 году в Москве Долгоруков имел три дома, которые представлял в качестве залога, заключая контракты по питейным откупам. Каждый дом стоил 60 тысяч рублей. [11]

Известно также, что до 1820 года Юрию Владимировичу принадлежали две мельницы в Московском уезде: Барановская и Устынская, приносившие немалые доходы. [12]

Ещё одно жизненное обстоятельство увеличило его богатство. В 1784 году скончался вдовый и бездетный брат Василий, который завещал ему своё имение.

Теперь о столетнем возрасте князя Д*. Биография Ю. В. Долгорукова была опубликована в 1836 году Дмитрием Николаевичем Бантыш-Каменским в «Словаре достопамятных людей русской земли». А до того возраст его был загадкой для окружающих людей, в том числе и для Ивана Лажечникова. Фактически Долгоруков умер на 91-м году жизни.

Возможно, по той же причине он назван сенатором, коим не был. Правда, 17 декабря 1798 года он был назначен членом Совета при Высочайшем дворе, но пробыл на этом посту недолго, так как был бескомпромиссным человеком, стремящимся к справедливости. В Совете не удержался.

Если догадка о тождестве Московского генерал-губернатора и князя Д* верна, она во многом объясняет поведение Долгорукова. Уже в самом начале, прочитав послание епископа Афанасия, где в качестве обвиняемого обозначен коломенский купец Ложечников, генерал-губернатор понял, что сын его «большого приятеля» попал в беду, и сделал всё, что от него зависело, то есть взял расследование в свои руки. Результатом двухнедельных боёв на бумажном фронте явилось то, что Ложечников смог достойно парировать удар, нанесённый ему Малининым, чем обеспечил, говоря языком шахматистов, как минимум ничью.

Тайное оружие князя Долгорукова

Обратим внимание на одну подробность из показаний Ложечникова: «и так я выехал оттуда [из Коломны — К. 3.] 10 числа рано утром, приехал в Москву на другой день и явился к Его Сиятельству».

Всё было бы хорошо, если бы «другой день», т. е. 11-е, не приходился на... воскресенье. Как же в таком случае следует понимать запись? Что генерал-губернатор работал без выходных? Может быть, Ложечников ошибся, запомнил, перепутал дни, т. е. выехал из Коломны не 10-го, а 11 октября? Ошибка, конечно, возможна. Из-за большого волнения, например.

А что, если рассмотреть такой вариант: купец написал так, как было на самом деле?

Тогда получается, что коломенский именитый гражданин Иван Ложечников в воскресенье 11 октября 1797 года нанёс... частный визит в дом московского генерал-губернатора князя Ю. В. Долгорукова!

Но для этого должны быть важные причины и достаточные условия и, прежде всего, необходим был посредник. Причина была. Лучше всего попросить защиту в неофициальной обстановке, подкрепив просительные слова чем-нибудь более существенным. Посредником между князем и купцом мог быть городничий города Коломны Иван Николаевич Расловлев, 32 лет, будущий генерал-поручик.

Из имеющегося в деле письма сестры городничего к Юрию Владимировичу мы узнаём, что губернатор обещал в ноябре повысить её брата в чине. Отсюда делаем вывод, что у Расловлевых были хорошие личные отношения с Долгоруковыми.

Предположение, что у городничего состоялась предварительная встреча с генерал-губернатором, во время которой и был согласован день встречи Ложечникова с Долгоруковым, 11 октября, превращается в уверенность.

Тем более что Долгоруков 10 октября писал Куракину: «...я приказал коломенскому городничему его [Ложечникова — К. 3.] под другим предлогом сюда доставить».

И действительно, доставил 11 октября. И под каким предлогом?! К ранее сказанным добавим ещё один, предполагаемый: Юрий Владимирович, конечно, обратил внимание на слова Малинина о Ложечникове: «...а только замечает из поведения, что он человек по богатству своему больно высокомерный...» и понял, что встреча со Ложечниковым его не разочарует.

Что же обсуждали участники встречи 11 октября? Вероятно, Долгоруков ознакомил «коллег» со своим сценарием дальнейшего расследования. Сначала Долгоруков даёт Ложечникову показания Малинина. Тот тщательно их изучает и, найдя много неточностей, 12 октября пишет в допросе свои опровержения. Потом Малинин читает допрос Ложечникова 13 или 14 октября и пишет свои уточнённые показания. Расловлев 12 октября возвращается в Коломну и передаёт Ф. Болье письмо от Ложечниковых с просьбой приехать 14 октября с детьми в Москву. Два дня, 15 и 16 октября, уходят у Болье на консультации с Ложечниковым по вопросу «правильного» написания своих показаний как свидетеля.

И уже 17 октября Болье «был сыскан, спрашиван и показал».

Свои уточнённые показания Ложечников написал 20 октября, после чего Долгорукову оставалось дать Малинину очные ставки с Ложечниковым и Болье, в которых все остались при своих мнениях, и со спокойной совестью отправить все документы Куракину 22 октября. Кроме того, Расловлев с согласия Долгорукова, а возможно и по его инициативе, имел письменное общение с сестрой Марией и просил её сочинить Долгорукову письмо с просьбой о помощи арестованному Ложечникову, что ею и было блестяще сделано всё до того же 22 октября.

№ 1356

22 октября 1797
Дата получения

«Мой князь,

Преклоняюсь перед Вами, умоляя Вас оказать мне большую милость, речь идёт об одном очень важном деле, мой брат, городничий Коломны, пишет мне, что произошла история с купцом Ложешниковым. Мы давно его знаем как абсолютно порядочного человека, при его детях был один предатель, необдуманный поступок и неблагодарность которого уже всем известны.

Например, он заявил, что купец любит говорить о вещах, о которых ему не следовало бы: по поводу орденской ленты, которую вручили архиепископу этого города, этот купец заметил: «жаль, что вручили глупцу», а предатель не нашёл ничего более лучшего, как разворошить сказанное, и всем этим глупостям поверили.

Жена беременна, её поддерживают, а их [Ложечникова и Малинина — К. З.] поместили в тайную. Молю Вас о спасении этого бедняги. Он невиновен, а Вы добры и справедливы, ручаюсь Вам, что никогда не осмелилась просить Вас, если бы не была уверена в его невиновности.

Я утомилась упражнениями в красноречии, которое потребовалось для изложения Вам сути дела.

Теперь позвольте ещё, мой князь, напомнить Вам об обещанном мне в ноябре месяце чине моему бедному городничему. В самом деле, он много трудится, дайте же ему чин, я буду Вам признательна всю жизнь.

С огромным почтением и, если смею так сказать, любящая Вас

Ваша покорная слуга
М. Расловлева

Извиняюсь за столь длинное письмо. Рассчитываю на Вашу снисходительность, словечко в ответ». [13]

Обращают на себя внимание две особенности письма. Первая касается формы повествования. По всем признакам оно соответствует частному или, как говорили тогда, партикулярному письму: французский язык, отсутствие адресов отправителя и получателя (это осталось на конверте, которого в деле нет). Поскольку Долгоруков посчитал это послание весьма важным аргументом в защиту Ложечникова, то для того, чтобы

оно сохранилось в деле, он попытался придать ему некоторую официальность, обозначив на нём входящий номер своей канцелярии и дату получения. Письмо ярко демонстрирует искреннюю убеждённость просительницы в невинности Ложечникова и одновременно ловко маскирует главное обвинение против купца. Передёрнув факты, Раславлева, не упоминая императора, переключает внимание на орденскую ленту, которую вручили архиепископу.

Для усиления чувства жалости к семье Ложечникова Мария Николаевна вдобавок причислила его жену к беременным.

Письмо, дальновидно помещённое Долгоруковым в дело, потом, при рассмотрении материалов дознания в Петербурге, не могло пройти мимо внимания императора Павла и напомнило ему другие эпизоды, связанные с Расловлевыми. А именно: незадолго до этого, точнее, 6 октября 1797 года, в Гатчине император Павел рассмотрел прошение девицы Марии Николаевны Расловлевой, согласованное с её братом Иваном, о назначении их несовершеннолетнему, находящемуся при английском посольстве, брату Владимиру опекуна вместо умершего в июле действительного статского советника Неклюдова. Сестра просила определить опекуном известного всем добрыми качествами тайного советника Г. Р. Державина, что вскоре и было удовлетворено. [14]

Кроме того, императору должна была быть известна биография отца коломенского городничего Расловлева Николая Ивановича, который, будучи премьер-майором Измайловского полка, в июне 1762 года принял участие в возведении Екатерины Алексеевны на императорский трон. За это в августе ему были пожалованы 600 душ крестьян, в сентябре — чин генерал-поручика. В ноябре он женился на Екатерине Николаевне Чоглоковой. Императрица присутствовала на свадьбе. Мать невесты, рождённая Гендрикова, была двоюродной сестрой императрицы Елизаветы Петровны, которая назначила её обер-гофмейстериной при Великой Княжне Екатерине Алексеевне, а отца — обер-гофмейстером при Великом Князе Петре Фёдоровиче.

У Чоглоковых было четыре сына и четыре дочери. Император Павел знал всех. В младшую из сестёр, Веру, в отрочестве он был влюблён.

Павел, вероятно, знал и о том, что генерал-поручик Н. И. Расловлев был в числе офицеров, подписавших документ о том, чтобы Екатерине быть правительницей при Павле лишь до его совершеннолетия, за что был уволен со службы и всю оставшуюся жизнь прожил в деревне.

Учитывая всё вышесказанное, можно предположить, что факт горячей поддержки Ложечникова Расловлевыми сыграл решающую роль в прощении Павлом разговорившегося купца.

III На круги своя

Повеление Императора

Получив документы из Москвы, в тот же день Алексей Куракин предстал перед императором Павлом с кратким докладом.

«... князь Долгоруков уведомил меня, что присланный к нему от Коломенского Епископа тамошней семинарии учитель Малинин доносит на коломенского именитого гражданина Ложечникова о произнесении оскорбительных Вашему Величеству слов и о непристойном рассуждении. Князь Долгоруков, допросив его, приказал обвиняемого Ложечникова под другим предлогом выслать в Москву, а потом, разведав истину, сообщить мне, оставя их обоих в Тайной Экспедиции, причём učinённый Малинину допрос приложил, из коего видно: отроду доносителю 28 лет...»

Затем, кратко изложив содержание доноса, князь Куракин предложил императору план проведения расследования. Предварительно при этом не упустил шанса обвинить Долгорукова в неправомерности его действий: «относительно učinённого Ложечникову заарестования, осмеливаюсь представить, что Высочайшим Вашего Императорского Величества указом от 4 января сего года предместнику князя Долгорукова Действительному тайному советнику Измайлову, данным по случаю высылки в Тульскую губернию за майором Нестеровым предписано: без дозволения Вашего Величества в непринадлежащее до начальства его дело не вмешиваться, то не благоугодно ли будет Сие Высочайшее повеление распространить до начальства князя Долгорукова и приказать учителя привезти, а Ложечникову, освободив его, явиться ко мне для объяснения». Как видим, князь Куракин не желал допустить вмешательства в дела своего ведомства даже со стороны московского генерал-губернатора.

Из-за недоверия к Долгорукову допрос обвиняемого Ложечникова и другие следственные действия Куракин собирался провести сам. Но, прочитав присланные документы, Павел, конечно, понял, что допрос Ложечникову, обещанный Долгоруковым, уже проведён, и Павел объявил решение, которое и записал на докладе Куракин: «Его Императорское Величество повелели: как сего Ложечникова, так и доносителя и Франца Болые сюда привезти для точного разбора дела.

Князь Куракин, 19 октября 1797 г.»

О решении императора лично разобраться с коломенским именитым гражданином и учителем семинарии генерал-прокурор сообщил генерал-губернатору лишь 22 октября, не забыв при этом добавить обычную в таких случаях, но необходимую подробность: «Вследствие чего, благоволит Ваше Сиятельство приказать оных людей ко мне доставить за караулом, дозволив им взять с собою несколько нужного белья и платья.

Князь Куракин, 22 октября 1797 г.»

Ответ на своё послание А. Б. Куракин получил от московского генерал-губернатора лишь 7 ноября.

«Милостивый государь мой князь Алексей Борисович!

Во исполнение Высочайшего именного Его Императорского Величества повеления, объявленного мне в письме Вашего Сиятельства от

22 октября, коломенской семинарии учитель Малинин, коломенский именной гражданин Ложечников и учитель его немец Франц Болье за присмотром унтер-офицера Андреева при сём к Вашему Сиятельству препровождаются; с выдачей оному унтер-офицеру от Москвы до Санкт-Петербурга на две и обратно на одну почтовую пару лошадей прогонных денег.

Впротчем ...

Князь Юрий Долгоруков

31 октября 1797 г. Москва».

Любопытно: Ю. В. Долгоруков, отправив арестованных к А. Б. Куракину, позаботился лишь о возвращении унтер-офицера Андреева. Остальные участники дела должны были возвращаться в Коломну на свои средства, что для Ложечникова, в отличие от Малинина, было совсем несложно.

День Михаила Архангела

Прибыли они, вероятно, не позже 6 октября, так как уже 7-го каждого из них вновь допросили.

Все трое остались при своих прежних показаниях. Доклад Куракина императору, который был представлен 8 ноября, выглядит так.

«О доносе Дмитрия Малинина.

Привезённые по Высочайшему повелению Вашего Императорского Величества из Москвы коломенской семинарии учитель Малинин, коломенский именной гражданин Ложечников и находящийся у него иностранец Болье спрашиваны порознь, а потом на очной ставке о произнесении Ложечниковым дерзких слов при чтении четвёртого октября газет о Швабском округе и на другой день за столом об отставленных офицерах доноситель утверждал своё показание; а Ложечников признания не чинит, представляя, что того числа газет читано не было, а читаны третьего ввечеру при городничем и выборгского полка прапорщике; пятого октября спросил он, Ложечников, Болье, читал ли он газеты, и когда получил ответ «нет», то сказал, что в оных много отставных, а Малинин с насмешкой возразил: «Ты знаешь с дворянами, так и дворянским тоном и говоришь». Ложечников, не стерпя грубости, как от человека некоторым образом им облагодетельствованного, выгнал его из-за стола и отказал от дому, почему и думает, что Малинин взвёл на него по злобе, в протчем бы, не теряя времени, должен был донести, а то учинил сие на третий день.

Но когда иностранец Болье сказал, что Ложечников за столом говорил, что многие офицеры идут в отставку и что в одном полку остался только один, то признал, что о сём говорил без всякого намерения и понаслышке.

О сём обстоятельстве донеся Вашему Императорскому Величеству, ожидаю повеления».

Реакция государя свидетельствует одновременно о здравом смысле и чувстве юмора Павла.

Рукою А. Б. Куракина на докладе написано: «ЕИВ повелел всех сих трёх, сюда привезённых, освободить и сказать им: Ложечникову — что-

бы он так поведение своё устроил, чтоб не давал поводу, чтоб на него могли доносить; а впротчем, ежели он Его Величество выбрал, то ему через меня сказать приказано, что и он дурень. Малинину объявить, чтоб он упражнялся делом, а не пустых доносов бы не выдумывал впредь писать... Боле освободить просто; почему... со всех трёх взять надлежащие расписки.

Князь А. Куракин
8 ноября 1797 года»

«По высочайшему ЕИВ указу при Всемилостивейшем освобождении из-под стражи коломенской семинарии учителя Дмитрия Малинина, коломенского именованного гражданина Ложечникова и находящегося у него при детях учителя Боле в Тайной Экспедиции подтверждаю, что хотя по законам за учинение ими дерзновения и заслуживали Малинин и Ложечников, первый за недоказание своего доноса, а другой за непристойные рассуждения жестокого наказания, но государь Император по челолюбю своему их всемилостивейше прощает, причём накрепко запрещается, чтоб не объявляли никому и никогда о том, о чём спрашиваны и где содержались, для исполнения чего сею подпискою все трое и обязываются.

[подписи] Иван Ложечников
Дмитрий Малинин
Франц Боле

8 ноября 1797 г.»

Как сложились дальнейшие судьбы лиц, действующих в нашем повествовании?

Князь А. Б. Куракин

Время правления императора было Павла заполнено острой борьбой придворных партий. Некоторое представление об этой борьбе без правил можно найти в письмах графа Ф. В. Ростопчина к посланнику в Англии С. Р. Воронцову. Осенью 1798 года граф писал: «могу негодовать, видя, что Государь, расточивший миллионы благодарений, не имеет у себя верных слуг. Его ненавидят даже его дети. Великий князь Александр ненавидит своего отца, великий князь Константин боится его. Дочери, руководимые матерью, с отвращением смотрят на отца...

Бывший генерал-прокурор Куракин получил сегодня увольнение. С. П. Румянцев повышен, но удалён из коллегии иностранных дел. Он покровительствовал Куракиным, один из которых глуп, как бессловесное животное, другой — бездельник, годный на виселицу».

А в письме от 2 ноября 1798 года есть такое упоминание о перетасовке людей:

«Я — действительный статский советник и 3-й член Коллегии иностранных дел, Кочубей — вице-канцлер. Новый генерал-прокурор — П. В. Лопухин».

Куракин был большим специалистом в юриспруденции и криминалистике, получил образование в двух зарубежных университетах и к тому же обладал практическим опытом благодаря работе с 1780 года заседателем и советником Верхнего суда.

После покушения на Павла вступивший на трон Александр Павлович снова назначил Куракина сенатором первого департамента. В день манифеста 15 сентября была создана комиссия для пересмотра прежних уголовных дел, председателем которой назначили Алексея Борисовича.

Подуло свежим ветром... В манифесте Александра было сказано: «Неоднократно до меня доходило, что часто безвинное и совершенно случайное прикосновение к делу, один слух, одно слово, без намерения произнесённое, заставляли правительство ... исторгать из общества людей невинных, для того, чтобы сокрыть свидетелей какого-либо происшествия.

Так оскорбительные слова о величестве были признаны в числе первых злодеяний; но опыт и лучшее познание показали, что мнимые злодеяния не что иное, как сущий припадок заблуждений или слабоумия, и что власть и величие государей, будучи основана на общем законе, не может поколебаться от злоречия частного лица».

Такие взгляды молодого императора были результатом общения с генерал-прокурором, начальником над секретными делами, который хорошо знал, что большинство дел Тайной Экспедиции заключалось в разбирательстве о произнесённых, а часто и не произнесённых оскорбительных словах.

Уже 14 апреля 1801 года император упразднил Тайную Экспедицию и отменил пытки при допросах.

Епископ Афанасий

Прошло чуть больше года, и судьба Афанасия изменилась. Весной 1799 года был обнародован Указ Его Императорского Величества о приведении епархиальных границ в соответствии с границами губерний и об учреждении новых епархий. Отныне кафедра могла располагаться только в губернском городе, а Коломна, как известно, обладала статусом епо.

Коломенскую епархию, со всеми штатами и имуществом, перевели в Тулу. Всех, кроме Афанасия. Кажется, и здесь не обошлось без интриг. Вместо него в Тулу поехал Епископ Воронежский Мефодий, а Афанасий 10 апреля 1799 года занял его место. Впрочем, Воронежской Епархией он управлял недолго. Владыку отправили на повышение. Уже 10 октября того же года назначили Епископом Новороссийским и 15 сентября возвели в сан Архиепископа. Наконец, 18 августа 1805 года ему было повелено быть архиепископом Астраханским, но в тот же день он скончался...

Если правда, что Ложечников обозвал священника «глупцом», мы никак не можем с этим согласиться. Афанасий — один из образованнейших

людей своего времени, друг просвещения, покровитель искусств и добрый знакомец Новикова. Автор оригинальных трудов и переводов. Заметим, что прощание с ним весной 1799 года в доме купца Суранова было многолюдным. Собрались представители не только духовенства, но и коломенской интеллигенции. Думается, вряд ли на этом торжественном прощании присутствовал именной гражданин Ложечников.

К сожалению, ничего не удалось найти об учителе коломенской семинарии, неудачливом доносчике Дмитрие Малинине. Впрочем, вряд ли это можно считать большой потерей для коломенской истории.

Иван Ложечников

Какие события последовали после произошедшей с ним трагикомедии?

Известно, что 8 ноября 1797 года он дал подписку о неразглашении «о чём спрашиван и где содержался». Доказательством, что подписку он не нарушал, стало то, что спустя почти сто лет даже близкие родственники не знали истинных подробностей.

Что могли подумать об этом событии коломенские купцы? Они, конечно, догадывались, что его возили в Петербург не чай пить, и что, возможно, пришлось встречаться с императором. А поскольку он вернулся в Коломну довольно быстро, живым и невредимым, значит, смекнули купцы, в этом споре с царём его голова не уступила царской. Поэтому при очередных выборах местных органов власти в конце 1799 года его избрали коломенским головой.

Кроме того, 8 июля 1800 года по Указу Его Императорского Величества Президент коллегии коммерции князь Гагарин объявил: «Государь Император всемилостивейше пожаловать соизволил коммерции советника коломенскому городскому голове именитому купцу Ложечникову за особенную деятельность по должности его и опыты, и усердие, оказанные им в пользу службы и Воспитательного дома».

Но 1801 год был не таким удачным, как предыдущий. Вначале при поддержке его городничим Расловлевым и гражданским московским губернатором Петром Аршеневским Лажечников предложил построить за свой счёт новое тюремное помещение, за это его дом и флигель должны быть освобождены от воинского постоя. Генерал-губернатор не пошёл ему навстречу.

Затем он подал прошение о пожаловании ему дворянского звания, но и оно не нашло поддержки в высших эшелонах власти. Но об этом потом.

Остался неизвестным вопрос о благодарности князю Долгорукову. Об этом можно только догадываться. Напомним, что прошло чуть больше двух лет со дня кончины коломенского купца Ильи Ложечникова, дедушки писателя. В завещании перечислено множество имущества. В повести «Немного лет назад» И. И. Лажечников смакует перевозку этого богатства в Коломну. Всё оно оставлено двум старшим сыновьям. Братья Емельян и Иван в то время жили дружно и не успели ещё разделить имущество между собой.

Позднее коммерческие дела Ложечникова пошли на спад, что, однако, не помешало его детям получить отличное образование, положение в обществе и дворянство.

Ю. В. Долгоруков

Не прошло недели после окончания истории, как Юрия Владимировича уволили со службы. Впереди у него было более тридцати лет жизни, и писать о нём можно много. Но ограничимся двумя фактами из биографии этого незаурядного человека.

После Чесменского сражения брат А. Г. Орлова Фёдор, желая уколоть самолюбие Долгорукова, похвалился, что получил орден Владимира, как и Долгоруков, но степенью выше. На что Юрий Владимирович парировал, что он получает награды только заслуженные. А если с Орловых снять то, что они не заслужили, то вряд ли останутся хотя бы кафтаны. После таких слов о дружбе с Орловым можно было и не думать.

Но в 1806 году по повелению Александра I были организованы ополчения нескольких округов, командирами которых оказались Долгоруков и Орлов. Узнав об этом, князь поехал к графу, но не застал его, так как тот поехал к Долгорукову. Орлов дождался Долгорукова. Старые знакомцы крепко обнялись и согласились, что перед угрозой Отечеству все прошлые обиды надо навсегда забыть.

Эпилог

Вот и заканчивается наша повесть... Не без сожаления проходит растаять с таинственным мифом о «купце-оппозиционере», павшем «жертвой самодержавия». Всё оказалось гораздо прозаичней и забавней. Вместо ужасного ареста и заточения в казематах Петропавловской крепости мы увидели семейную склоку, бестолковый донос и бюрократическое разбирательство, законченное насмешливой резолюцией императора.

Сентиментальные фантазии закоренелого романтика Ивана Лажечникова и предположения литературоведов свелись, в конце концов, всего лишь к любопытному историческому анекдоту. Но не будем жалеть об этом! Ведь благодаря ветхим страницам документов мы увидели несколько новых оттенков реального коломенского быта. И благодаря этому стало чуть яснее понимание того, как формируется «коломенский текст», как действительная жизнь пересекается с литературной реальностью.

А в коломенскую историю вошло ещё несколько колоритных персонажей. Мы услышали их живую речь, почувствовали особенности их характеров... И некогда бледные тени их обрели реальность и плоть. А это уже немало.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Российский государственный архив древних актов; фонд Тайной Экспедиции № 7, опись 2, дело № 2 974.

2. Приношу благодарность Андрею Николаевичу Фролову, любезно позволившему ознакомить читателей «Коломенского альманаха» с интересным материалом.

3. Под «нынешними французскими оборотами» Малинин, скорее всего, подразумевал следующие события. 5 октября 1795 года Наполеон Бо-

напарт руководил подавлением монархического мятежа, после чего в 1796 году настоял на своём назначении главнокомандующим армией, созданной для действий в Италии. Военный талант Наполеона проявился при вторжении в Северную Италию, где он одержал ряд блестящих побед. В феврале 1797 года он подписал с папой Пием VI мирный договор, по которому последний лишился большей части своих владений, а в октябре продиктовал Австрии мирный договор.

4. «Дом Лажечникова», стр. 79–80.

5. ЦИАМ, фонд 16, опись 29, дело 84.

6. *Штеллин Яков Яковлевич*. Родился в 1709 году в Швабии. Образование получил в Лейпцигском университете. Переводил стихи и иллюстрировал их своими гравюрами аллегорического содержания.

В России изготовление таких гравюр было поручено Академии наук.

В 1735 году Штеллин стал профессором, ему поручили надзор за академическими мастерами.

Елизавета Петровна назначила его воспитателем Петра Фёдоровича и библиотекарем Её Величества. Наблюдал за изданием Петербургских Ведомостей.

В 1763 году готовил в Москве празднества в связи с коронаванием Екатерины II. Был назначен конференц-секретарём Академии. С приходом в Академию Екатерины Дашковой — освобождён от всех обязанностей. Автор исторических записок. Умер в 1785 году.

7. *Протасов Алексей Протасьевич* родился в 1724 году в семье солдата лейб-гвардии Семёновского полка. Образование начал в казармах, а закончил в Лейденском университете, куда был отправлен после академического института. В 1763 году защитил докторскую диссертацию, являющую собой «рассуждение о действии человеческого желудка на принятую в оный пищу».

Будучи профессором, читал лекции в университете. С 1769 по 1781 год работал секретарём академической комиссии, заведовал гравировальной и живописной палатами, редактировал академический журнал «Новые ежемесячные сочинения», участвовал в составлении этимологического словаря. Один из лучших анатомов своего времени. Издал несколько переводных книг.

8. *Чертков Василий Алексеевич* (1726—1793). С 1771 года был главным командиром на Днепровской линии, с 1775 года — азовским губернатором, с 1782 года до конца жизни — Воронежским и Харьковским губернатором, писал книги.

9. ЦИАМ, фонд 105 опись 3, дело 621.

10. ЦИАМ, фонд 105 опись 7, дело 4 786.

11. ЦИАМ, фонд 105 опись 7, дело 2 837.

12. ЦИАМ, фонд 105 опись 5, дело 106.

13. Выражаю признательность за удачный перевод Наталье Ивановне Александровой.

14. РГАДА, фонд 1 239 опись 3, дело 57 615.

В ВИХРЕ «ЗОЛОТОЙ КАРУСЕЛИ»



Осенью прошлого года в Коломне прошёл Фестиваль уличных театров «Золотая карусель» — живое и захватывающее зрелище на свежем воздухе, зрителями и участниками которого смогли стать местные жители и туристы.

Хедлайнер проекта — уличный театр из Испании Grupo PiJa. Впервые в России на фестивале выступил бразильский театр Pia Fraus, а основу программы составили представления лучших российских уличных театров из Москвы и Санкт-Петербурга. Главный режиссёр форума — Юрий Муравицкий.

Уличный театр ломает классические представления о театральном искусстве, сокращая дистанцию между артистом и зрителем и вовлекая его в действие. В городах Европы этот жанр приобрёл большую популярность, и исторические города Подмосковья, такие как Коло-

мна — самое подходящее место для уличных фестивалей. Декорациями были старинные стены знаменитого Коломенского кремля, купеческие ряды, улицы, по которым каждый день ходят местные жители. Вместо софитов — солнечные лучи, вместо подсветки — сияние заката, звуковое сопровождение — пение птиц и шум ветра.

На время форума исторический центр Коломны был превращён в сценическую площадку, на которой действие не останавливалось ни на минуту. Прохожие оказывались зрителями или участниками уличных шествий вместе с артистами и музыкантами.

В программе были представлены выступления театров, многие из которых хорошо известны как в нашей стране, так и за рубежом: лауреаты премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент» «Liquid Theatre», постоянные участники крупнейших зарубежных фестивалей питерские «Странствующие куклы господина Пежо», любимцы городских праздников «Высокие братья & Tall Brothers», бразильцы Pia Fraus, а также уникальные в своей эстетике «Антикварный цирк» и «Театр Вкуса».

Театр Grupo PiJa представил нарушающий законы гравитации спектакль «Космос», в котором совмещаются различные техники и жанры — театр, цирк, танец, спорт, архитектура, инжиниринг, мультимедиа и живая музыка. Это головокружительное акробатическое шоу, которое проходило на высоте 30 метров и заставляло переживать самые яркие ощущения.



Зарубежный
поход





Графика Василины Королёвой



Иван Иванович Лажечников родился в Коломне в 1790 году.

Во многих произведениях он обращается к Коломне. Здесь воспитывался главный герой «Последнего Новика». Упоминается Коломна и в «Ледяном доме», и в «Басурмане». Живой образ города возникает и в других его (особенно автобиографических) произведениях.

Скончался И. И. Лажечников в 1869 году, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Коломенцы хранят память о земляке; его именем названа первая общественная библиотека, основанная в 1899 году, и одна из улиц Коломенского кремля; отреставрирован дом, где жил писатель.

В этом номере мы заканчиваем републикацию книги Ивана Ивановича Лажечникова «Походные записки русского офицера», издававшиеся лишь дважды — в 1820 и 1836 годах.

Исторические записки
(Окончание, начало в № 16, 2012 г.,
№ 18, 2014 г.).

Мы продолжаем републикацию книги Ивана Ивановича Лажечникова «Походные записки русского офицера», издававшиеся лишь дважды — в 1820 и 1836 годах. На очереди дневниковые записи 1823 и 1814 годов, сделанные прапорщиком, а затем подпоручиком Московского гренадерского полка Лажечниковым, адъютантом генерал-лейтенанта принца Карла Макленбургского, а затем (с 14 апреля 1814 года) генерал-майора Полуэктова.

И. И. Лажечников

ПОХОДНЫЕ ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРА

1813 год

Берлин, 18 марта.

Вот я уже в одном из первейших городов Европы, на самой приятной и многолюдной его улице, в лучшей его отели; одним словом — я в Берлине, на липовой улице (die Linde), в Петербургском трактире (Hotel de Petersburg). Вхожу в отведённое нам жилище; пробегаю ряд богатых комнат и спрашиваю своего товарища: не забрели ли мы ошибкою в дом какого-нибудь прусского вельможи? «Это наши бивуаки (смеясь, отвечает он мне), бивуаки, проготовленные русскими штыками и дружелюбием пруссаков!» — Не для изнеженного ли придворного, баловня Фортуны, поставлен здесь этот кушет? — «Не худо и воину понежить на нём члены, утомлённые сорокавёрстным маршем!» — Не для того ли обложены эти стены зеркалами, чтобы ла-

скать улыбку, взор, каждое движение статного щёголя, любящего мир, моду и себя более всего на свете? — «Приятно и Марсову сынку, собираясь на манёвры, надеть перед сими стёклами кивер и шашку, или готовясь идти к какой-нибудь прелестнице, поправить ус *чернобурый в завитках*!» — Что скажешь об этом розовом балдахине? А это пышное ложе, персидскими тканями покрытое, не ждёт ли, чтобы красавица, утомлённая несколькими эфирными вальсами, пришла броситься на него и, забывшись в сладком сне, увидеть в мечтах какого-нибудь бального прелестника, с тучным жабо, напысканным духами *á la mille-fleurs*¹, с чулками телесного цвета, упавшего перед нею на колена? — «Почему же красавице в мечтах сновидения не увидеть у ног своих какого-нибудь милого, умного, ловкого гусара, который поклянётся небесами и землёю, глазами прелестной и усами своими принести ей в жертву целый ряд врагов и первого французского орла с верным пламенным сердцем своим положить к её стопам?...» — Всё это прекрасно! Однако ж пойдём далее. Подхожу к окну. Нега подкладывает под локоть мой тафтяную подушку; Роскошь осеняет меня занавесом, убранным рукою вкуса и богатства. Отворяю окно — и прекраснейший бульвар представляется моим глазам. Берлин славится липовою аллеюю; и как не гордиться ему сими высокими деревьями, посаженными Искусством, Искусством и Природою бережёнными? Как не утешаться берлинцам, сидя в жаркий полдень в прохладной тени сих дерев или гуляя вечером в заманчивой их сени? Не выходя из комнаты, здесь дышишь воздухом сельских садов и любуешься живописию и шумом городского гульбища.

Но вот и наёмный слуга (*Lohnlaquais*)! Для иностранца это Ариаднина нить в лабиринтах больших городов. Министры, генералы, духовные особы, учёные, купцы, одним словом, все состояния ему известны; все памятники, учёные и человеколюбивые заведения, театры и лавки ему знакомы. От передней до кабинета придворного, от горницы субреток до спальни прекрасной госпожи, от лавки игольщика до биржи — все платят дань его пронырству, и газеты не известят вас так скоро о каком-нибудь новом приключении, как стокий Лон-лакей. С помощью его, не выходя из дому, я сделал все мои покупки в два часа.

Однако ж не всё сидеть в красивой клетке, в которую заперла меня дорожная усталость; надобно побывать и на воле, надобно осмотреть и город. Липовая аллея достойна, чтобы по ней хотя раз пройтись и полюбоваться различными лицами, движущимися взад и вперёд по чистым её дорожкам. Не понравилось мне то, что между щёголями и щеголихами встречал я много нищих, много мальчишек в отрепьях, которые ломаются, кричат и не отстают от вас, пока вы не сделаете им подаяния. Всякое униженное коверканье подобных нам возбуждает какое-то негодование; зрелище пальеса² не должно смешить, но возмущать душу: человек в унижении не может быть никогда смешон.

Подхожу к новому дворцу, обитаемому нынешним королём, и спрашиваю: где дворец? Здание, хотя красивое, но низкое и малое! Что не довольно в сём случае? — Одно обманутое воображение, настроенное стихотвор-

¹ Тысяча цветов (фр.).

² От фр. *paillasse* — паяц.

ными вымыслами, блестящими описаниями чертогов земных полубогов. Напротив же, утешает нас мысль, что не огромные и великолепные палаты, дивящие взор прохожих, но мудрые отеческие дела, веселящие сердца народа, суть прекраснейшие и славнейшие памятники царей. — Старый дворец есть четвероугольное большое здание с огромным двором в середине. Древность помрачила его стены и украшающие его статуи и даёт ему какой-то пасмурный вид. — Идучи по так называемому длинному мосту через реку Шпре, я остановился поклониться памятнику Фридерика Великого. Я хотел видеть на бронзе его знаки, сделанные русскими солдатами во время вступления их в Берлин в царствование Е л и с а в е т ы П е т р о в н ы; но я не мог приметить их — или оттого, что самолюбие пруссаков их изгладило, или по причине слабого моего зрения. Шпре не река, а речка, чуть приметная за домами и мельницами, и мост, через неё построенный, не стоит названия Длинного. Театр есть большое великолепное каменное здание. Архитектура его и легка, и богата, колоннада прекрасна! Пространная площадь, его окружающая, придаёт ему величественную красоту. Множество площадей украшает Берлин; некоторые из них обсажены разного рода деревьями, которые, очищая испарениями своими городской воздух, служат жителям и приятною прогулкою. Проходя мимо Вильгельмовой площади, любовался я, как прусские офицеры обучали на ней рекрутов. Кто знает, думал я, что в толпе сих воинов не скрываются новые Шверины, Зейдлицы, Кейты и Винтерфельды? Кто знает, что зрелище сих четырёх великих полководцев, дышащих здесь в мрамор, не бросило уже искры славы в юные сердца? Война раздует сию искру — и новые герои воскресят деяния старых, и признательное отечество вместе с благодарным королём вознесут им памятники, подобные тем, которые мы здесь видим. — Здешние жители показывают вам Фридрихштрассе, как первую улицу в Берлине — и в Европе! По широте и правильности её, по красоте её домов можно согласиться, что это прекраснейшая улица. Взор теряется в бесконечности её. — Берлинская фарфоровая фабрика достойна посещения путешественника. Сколько лет, сколько трудов-издержек нужно было, чтобы довести её до подобного совершенства! Знатоки отдают преимущество мейссенской в выделке глины, а берлинской в совершенстве живописи.

Ни одна черта из жизни царя — воина — философа не изглаживается временем в сердцах пруссаков. Провожатый мой рассказал мне следующий анекдот, здесь случившийся и показывающий всю доброту души Фридерика Великого. В одно посещение королём фабрики попался ему на крыльце семилетний ребёнок, сын бедной вдовы. Мальчик, испугавшись неожиданной встречи сей, выпустил из рук чашку, которую он нёс домой, и начал горько плакать. Король милостиво подошёл к нему и, взяв его за руку, сказал: «Не плачь, дружок! пойдём со мною, я велю дать тебе другую». Он приказал в самом деле выбрать ему чашку по его вкусу и сверх того сунул ему тихонько талер. «Мне талера не надобно! — отвечал ребёнок, ободрившийся ласками монарха, — подари мне лучше один дрейер, на который нужно мне купить матушке лекарства». Король улыбнулся, велел сыскать у работников дрейер, дал его обрадованному мальчику и, не удовольствуясь милостями сими, приказал проводить его к матери, отпустив для неё полдюжины чашек и завернув фридрихсдор в обёртке одной из них.

Ныне, приехав с принцем к генералу Репнину, имел я удовольствие найти у него генерала Алексеева. Будучи ещё ребёнком, я знал его, как московского полицмейстера и хорошего отца моего знакомого. Время и болезни, последствие тяжёлых ран, перемены несколько его наружность, но душа его всё так же прекрасна, как была в цветущие годы его жизни. И ныне та же обворожительная любезность, та же весёлость нрава его не покидают. Увидев его, я мечтал, что свиделся с Москвою, с милыми друзьями, с весёлостями беспечной юности — мечтал и был несколько минут счастлив.

Я имел также счастливый случай быть у графа Витгенштейна. Мгновенное пребывание у него утвердило меня ещё более в том мнении, что истинно великий человек всегда снисходительнее и милостивее того, который высок одною породою или богатством. Славные дела говорят за первого, и нужно ли ему после всемирного свидетельства напоминать всякому о своём величии?.. Напротив, другой, не имея за собой ничего, кроме золота или прадедовского пергамента, думает вывескою гордости обратиться на себя общее внимание — думает, и ужасно ошибается! Защитник *Петрова града* пример первого. Я не видал человека ласковее, любезнее, милостивее в обращении. Величественная благородная наружность его обольщает вас с первого взгляда, слова его с каждою новою минутою приобретают новую власть над сердцем вашим. Не удивляюсь, что окружающие графа столько ему преданы.

Граф Витгенштейн отдыхает в Берлине на трофеях. Чуждый народ торжествует его здесь пребывание, пока ещё война не дозволила русским приветствовать его сердечною благодарностию. Он не может выехать со двора без того, чтобы толпы пруссаков не окружили его и не изъявили ему своей преданности громким «*ура!*». — Оставляя тактикам судить об его военных дарованиях, скажу, не страшась укора потомства, что верный и славный защитник *Петрова града*, осенённый благословениями нашего Севера, смело вступит в храм вечности наряду с великими мужами. Граф, отдыхая здесь на трофеях, трудится над приобретением новых: он занимается воззванием германских народов ко всеобщему вооружению против врага их свободы и спокойствия. Уверен, что народы сии, внимая герою, не замедлят отделиться от честолюбца и, пожелав колеснице его счастливого пути, пристать к братскому союзу, поднимающему оружие на защиту прав народных. Дстойно хвалы потомства и замечания справедливого историка единодушное рвение пруссаков и короля их к восстановлению прежнего их величия! Все звания и состояния проснулись, все сливают имя гражданина с именем воина. Отцы расстаются с малолетними детьми, мужья покидают нежных супруг, сыны разлучаются с престарелыми родителями; кто только может поднять оружие, требует его, а старцы, жёны, девы и дети, бессильные нести и бросать на врагов грома, сопровождают благословениями идущих на брань отечественную. «Не нужны нам имущества, когда мы не возвратили ещё лучшего сокровища нашего — имени!» — говорят богатые и жертвуют именем своим. «Что нам и в жизни, когда чуждая власть оковывает наши руки и души?» — кричат бедные и несут в дань отечеству здоровье и жизнь. «Свобода! свобода! Возвращение славы потом-

ку Великого Фридерика и подданным его!» — восклицает целая Пруссия и ополчает сынов своих. Нынешнее всеобщее вооружение пруссаков можно назвать революцией — так стремительно и единодушно сие вооружение!

Обратившись мыслями на отечественную войну русских, остановившись на нынешнем ополчении Пруссии, уверимся, что любовь к отечеству не есть призрак, и что привязанность к имени своему не мечта. Уверимся, что Творец, бросив в нас первую искру жизни, присоединил к ней искру любви к отечеству. Привычка младенца к колыбели, привязанность его к кормилице, — ребёнка к комнате, в которой он воспитывался, и к лугам, на которых он игрывал, — юноши к месту родины, не есть ли приготовление к сей любви? Родители, друзья, супруга, воспоминания, страсти, несчастья и минуты блаженства укрепляют её более и более и доводят до силы, которой мы в совершенных годах уже противиться не можем. Ах! если бы любовь к отечеству была призраком, то и жизнь наша не что иное была бы, как мрачное, печальное привидение!

От графа ездил я с принцем к принцессе Бранденбургской Елисавете (кажется, её так зовут). Её светлость очень ласкова — это я очень хорошо помню, однако же не забыл, что и ноги мои чувствуют ещё боль от последствий грозного этикета, принудившего меня стоять на них несколько времени. Увы! такая же участь ожидает меня впереди... То ли дело друзья! за чашей круговой, на пышном соломенном ложе беседовать с дружбою о любви или теряться сердцем и мечтами в рое милых?..

Рупин, 20 марта.

Ныне увиделся я со старым моим знакомым — и где ж? У шлагбаума, в караульне, при выезде из Фербелина! «Это он!» — закричал я и готов был из коляски броситься к нему на шею.

Помните ли, в путешествии нашего Морица, толстого часового, у которого под брюхом моталась маленькая шпажонка — того гордого стража городских ворот Тильзита, который необыкновенною фигурою и странными телодвижениями привёл в замешательство русского путешественника? Ныне встретил нас *другой* он у ворот фербелинских: та же тучная, смешная фигура, достойная кисти Гогарда, те же странные телодвижения, тот же самый вопрос: «*Wer sind Sie? Кто вы?*», поразивший слух мой так сильно, что я невольно вздрогнул! Это был один из ландверов, поставленный у заставы для записывания имён проезжающих. Опомнившись от изумления, полез я в карман за данью моего глубочайшего почтения к его толстой особе, но товарищ мой, сказав уже наши имена, закричал почтально: *forwärts! пошёл!* — рог затрубил, бич хлопнул — и я одним киваньем голы расплатился с моим милым старинным знакомым.

Перлеберг, 21 марта.

Север Германии (в той стороне, которую проезжаем) совершенно беден живописными видами. Хорошо обделанные поля, большие деревни с садами, обширные равнины, скучные пески с мрачными сосновыми ле-

сами, болота, пересечённые ивовыми аллеями, — везде следы примерно-го трудолюбия, но везде печальное единообразие, везде повторения одних и тех же предметов! Напрасно мёртвая кисть хотела бы здесь оживотвориться: если бы она и заплатила дань здешней природе, то не представила бы ничего, кроме порядочно устроенной хижины пахаря под тению гостеприимных тополей, кроме тучного вола и величественного могучего коня — красоту и славу здешних мест. «На юге Германии царствует природа со всеми ужасами и приятностями своими!» — говорят художнику, — и артист, с пламенной любовью к изящному, спешит на берега Неккера и Майна.

Трудности, претерпенные в Польше, представляются нам, как во сне. Мы совершенно забыли, что война не потушила ещё огней и каждую минуту готова позвать нас к дыму своих бивуаков. Среди солдатского похода мы совершаем самое приятное путешествие, и бедные, как Иры, наслаждаемся подобно Крёзам. «Пользуйся настоящим!» — говорят любезные учителя счастья — и мы в строгой точности повинемся их учению. Катя со станции на другую в покойной коляске на четырёх быстрых конях, покоясь на хороших постелях, сидя за блюдом форелей или фазана, любуясь ключом шампанского, бьющего со дна прадедовского бокала, или слушая, как сок гренадских апельсинов с песком американского тростника бунтует в портере, обогащаясь каждый час новыми дарами природы и искусства — спрашиваем, улыбаясь, друг у друга (с товарищем моим Коленом): не охает ли какая-нибудь тысяча душ от роскошного нашего путешествия? не имеем ли нужды послать приказ к бурми-страм и старостам нашим о накладке на крестьян оброка?.. Слава Богу! удовольствия наши не покупаются ценою кровавого пота подобных нам. Без всяких побуждений случай платит нам богатую подать. Долго ли будет баловать таким образом? Не знаю, но благодаря судьбу за её милости, пользуемся ими.

Перлеберг небольшой, но порядочный городок. Мы находимся ещё в Пруссии, через несколько часов будем в Мекленбурге.

м. Лудвигслуст, 25 марта.

Куда бури жизни не занесут утлого челна, пущенного на произвол судьбы по необозримому пространству океана?.. Думал ли я, беспечный питомец любви и природы, верный друг полей и рощ, постоянный житель родной хижины — думал ли я сторожить в шумном стане военном, спать под тению грозных орудий смерти и в кругу северных героев беседовать о бессмертии падших на полях славы? мечтал ли я опять на пути нынешней войны, внимая громам её, недосыпая ночей на соломенном ложе и под покровом пасмурного неба, встречая морозы и непогоды, воображал ли, что жребий войны бросит меня на пышные пуховики фортуны, в жилище благодетельной феи, в цветник граций, и заставит сердце моё кружиться в вихре разнообразных удовольствий?.. Но что всего драгоценнее, всего сладостнее, — осиротевший в мире, в удалении от полей отечественных, от родных и друзей незабвенных, не мог и мыслить найти новое родство, новых друзей и благодетелей на берегах Балтийского

моря! «Мы усладим для тебя разлуку с отечеством и милыми сердцу твою», — говорят они и оправдывают то опытом. Сколько счастливых и печальных перемен в жизни человеческой! как разноцветна чудесная ткань её! Кто может предвидеть, какими шелками изоткётся и моя собственная?..

Итак, я в герцогстве Мекленбургском, в гостях у любезного повелителя его, в местах, где жила и скончалась сестра императора нашего. Принц Карл около десяти лет не был в своём семействе, и потому можно вообразить, с какими чувствами радости встретили его родственники. Я был свидетелем трогательной сцены свидания, видел слёзы, текущие по лицам их, видел, как сын и дочь великой княгини Елены Павловны, живые портреты прекраснейшей душою и телом матери, бросились с искренними знаками радости на шею своего дяди. И мог ли я, смотря на эту семейственную картину, не принести потаённую слезою дань Природе, которая пишет законы и венчанным главам?.. В этой сцене нас, русских, не забыли. Приязнь, ласки, упреждение наших желаний, попечение о нашем покое и удовольствиях, заботы о нашем здоровье — всё это возбуждало в сердцах наших чувства живейшей благодарности.

Прелестная весна улыбается нам и сулит тысячу приятностей.

Там же, 29 марта.

Я не имел нужды вопросами побудить в окружающих меня воспоминание о покойной великой княгине Елене Павловне: здесь всё говорит о ней, всё старается предупредить желание русских слышать о русской государыне. Первым нам приветствием макленбургцев есть благодарность за то, что мы дали им такую добродетельную принцессу. При сём чувство народного самолюбия пробуждается! Нам ли после сего не гордиться родом государей наших, столько богатым добротою и величием? Нам ли не ублажать венец, которого блеск на нас же так щедро упадет? Кто из русских не проливает слёз восхищения и благодарности перед престолом Вышнего Царя за то, что даровал великому народу Севера земных царей по подобию Своему? Друзья! я видал чужой народ, слезами платящий дань памяти великой княгини, как род человеческий приносит дань золотому веку сожалением, что он уже для него не возвратится. Я зрел старцев, у дверей гроба расцветающих от одного рассказа, какими знаками уважения чтит она их седины и преклонные лета. Был я в хижинах, где имя её произносится, как святыня, где затвердились и передаются потомству, как божественные изречения, слова, которыми она ободряла слабых, утешала бедных и печальных. Я был свидетелем, как дети откладывают игры, чтобы слышать отцов своих, рассказывающих о *доброй Елене* — так называют её и поднесь здешние жители. Самые царедворцы в палатах герцогских вздыхают о весёлостях, вместе с нею сокрывшихся. Какие же редкие добродетели должны были украшать её, когда народ, от старца до ребёнка, носит по ней сердечный траур даже при нынешней наследной принцессе, любезной, кроткой и чувствительной!

Первым желанием моим по приезде сюда было поклониться праху великой княгини, первую обязанностью моею было это немедленно исполнить. Русский дьячок, оставшийся здесь после смерти её и не хотевший

расстаться с сим драгоценным прахом, проводил меня к памятнику, его хранящему. Монумент стоит в уединённом месте сада, в мрачной сени дерев, которую лучи солнечные никогда не пронизают: он прост, красив и трогателен. Передняя его сторона украшена лёгкою колоннадою. На фронте крупными золотыми буквами начертано: *Helenae Paulowidi* (Е л е н е П а в л о в н е). Во внутренности, освещаемой слабым светом лампы, всё просто, кроме двух гробов, богато украшенных и стоящих рядом: один, с левой стороны от входа, поставлен над местом, вмещающим в себе бранные остатки великой княгини; другой, как говорят, приготовлен наследным принцем для него самого. Как рано скошен жадной косою смерти прекрасный сей цвет, бывший равно украшением родных и чуждых полей!

Идучи от памятника, мы встретили принца Павла, а потом принцессу Марию. Во всё пребывание наше здесь они показывали к нам отлично милостивое внимание; но ныне взоры их изъясняли нам что-то особенное, чего детский язык не мог выразить. Кажется, они говорили нам: как мы благодарны вам! как мы любим вас! Вы русские — и наша *Mать* была русская!..

Лудвигслуст, 30 марта.

Не понимаю, что могло склонить герцога Лудвига (отца нынешнего правителя Мекленбурга) поселиться со двором своим между сыпучими песками, болотами и мрачными сосновыми лесами и назвать сие жилище своим удовольствием (*Ludwigslust*). Напротив, я назвал бы его Лудвиковою пасмурностию: так печально и однообразно здешнее местечко! Говорят, что покойный герцог имел характер меланхолический и скучный, и для того не любя улыбки даже в самой Природе, избрал себе такое сельское убежище, в коем Природа только хмурится и заставляет на каждом шагу на неё досадовать. Не скажу, чтобы искусство не украсило сего жилища, но всё, что в нём создано хорошего руками человеческими, теряет свою цену при виде песков и болот, в которых вязнешь, сделав только шаг за местечко. Нет в окрестности ни зелёного луга, ни вьющегося между упрямыми берегами ручейка, ни пригорка, с которого взор мог бы насладиться порядочным видом; нет совершенно того, что утешает нас в загородном жилище. Едучи отсюда в какую сторону хотите, надобно закрыть глаза на несколько вёрст. Несмотря на скучную природу здешнюю, весь двор проводит большую часть года в Лудвигслусте: привычка, благоговение к памяти родителей и притом большие издержки, на сие место употреблённые, заставляют нынешнего герцога продолжать в оном своё пребывание.

Во всём Лудвигслусте три улицы, из коих одна может почестся таковою, а другие только началом улицы, потому что на них стоит не более десяти домов. Все здания построены на казённое иждивение из кирпича: они не выбелены, впрочем, в них соблюдены все выгоды, чистота и покой. Они помещают в себе чиновников, служителей придворных и мастеровых. На платформе против двора есть также здания лучшей архитектуры: в них обитают принц Адольф и чиновники, которые для двора

более необходимы. Как те, так и другие осенены рядами лип и тополей. В местечке на главной улице есть порядочный трактир для проезжающих и мещанское собрание (bürgerclub), где пожилые граждане — по общему закону немецкой флегмы — пьют пиво, курят табак, решают за газетами судьбу царств, а молодые с гражданками кружатся и резвятся в вальсах.

Дворец есть большое четверугольное и поперёк продолговатое здание, довольно красивое, с некрасивыми службами, покрытыми черепицею. Против переднего фасада его, за зелёною платформою, украшенною чистым прудом с водоёмами и рядами тополей к стороне домов, возвышается лютеранская церковь. Наружное зодчество её прекрасно, во внутренности всё величественно, всё соответствует высокому предмету богослужения. Входя в неё, внимаю небесной музыке, голосам ангельским: эфирные жители слетели, конечно, сюда, чтобы песнословить Творца вселенной. Зрение так обмануто искусственными облаками, оркестр так выгодно поставлен за ними, что не смеешь и не хочешь разуверить себя в сладкой мечте — и с сердцем, полным благоговения и любви к Всевышнему, с восторгом неизъяснимым внимаешь небесному хору. Задняя сторона дворца обращена в сад. Тут представляется вам большой, правильно обрезанный четверугольный луг, утешающий взор бархатною своею зеленью, прямая аллея, теряющаяся в длину перспективы; справа маленький некрасивый домик, напоминающий о теремах, где предки наши забирали бедных красавиц, а слева дикий лес. Правая сторона сада не стоит почти того, чтобы в неё заглянуть: разве остановит вас в ней на несколько минут пруд с островком и домик, где златопёрые фазаны разных родов обитают многочисленною семьею. Лучшая прогулка с левой стороны, начиная мимо половины принцессы Марии. Сейчас при входе в сад вы найдёте маленький лесок, в котором разные оттенки зелени деревьев искусно подобраны, как будто на ландшафте своенравною рукою художника. Лабиринт английских дорожек запутывает ваши намерения: хотите идти вправо — он приводит влево, желаете пробраться в лесок — и очутитесь у церкви. Остановимся же у неё. Вот могила, на которой не вижу величественного памятника, означающего, что здесь покоится прах человека, именем своим гремевшего в календарных списках; но по зелёному дёрну, её покрывающему, и бесчисленным цветам, начинающим на ней распускаться, примечаю свежие заботы дружбы или родства. Тут покоится прах русского офицера графа Мусина-Пушкина: он умер на поле чести и славы, оплакиваемый нежным братом и военными товарищами. «За вас, друзья, и свободу народов!» — сказал он и испустил последнее дыхание; смерть завидная для всякого ратника, несущего жизнь в жертву отечеству и к пользе сограждан!¹ Маленькая церковь стоит внимания: она готической архитектуры и очень искусно отделана. Лучи солнца, играя в её разноцветных стёклах, кажут их вам за прозрачные изумруды, яхонты и сапфиры. В продолжение прогулки по остальной части сада, который есть дикий лес, займут вас памятники, посвящённые великой княгине Елене Павловне и матери ныне царствующего герцога; водопроводы с шумящими каскадами, нарушающими мрачную тишину сих мест,

¹ При списывании сих записок я поместил теперь могилу графа Пушкина, ибо отрывок, в котором описана смерть его, потерян вместе с другими.

зверинец, где скачут серны, лёгкие, как горный ветер, и, наконец, домик, где сестра нашего г о с у д а р я любила чаще бывать и кормить из своих рук семейство голубей. И доньне не покидают они любимого жилища своей благодетельницы и томным воркованием изъясляют, кажется, по ней грусть свою. Домик сей есть сквозная галерея: она очень красива снаружи, а внутри убрана всеми любимыми вещами покойной великой княгини. Она бывает заперта весь год, и только в день её рождения отворяется и посещается теми, которые благоговеют к её памяти и любят её по смерти. В земле Мекленбургской все её любят доньне: следственно, посетителей в день сей бывает очень много. Повторю ещё, что здесь не нужно спрашивать о русской государыне, потому что всё о ней говорит, все предметы о ней напоминают. Особенно творческой силе кисти поручено было передать её образ в разных видах будущим векам. Там является она как нежная мать семейства среди детей своих, здесь представлена в виде Флоры, рассыпающей на землю богатые дары свои, окружённая зефирами, играми и смехами; тут утешает взоры в образе *Надежды*, одною рукою опершись на якорь, другою показывающей на небо; там опять в образе царицы отвечает приветствиям чуждого народа, принимающего её с радостными восклицаниями и обещающего ей любовь свою усладить, сколько возможно, разлуку с милою родиною; здесь снова является она в одежде русской поселянки, но и самый сельский наряд не скроет, что она рождена была повелевать. Во всех видах она — образец красоты, любезности и кротости.

334

г. Шверин, 3 апреля.

Герцог, желая предоставить всю честь приёма одному принцу Карлу, отказался ехать с нами в свою столицу. Один наследный принц с супругою своею прибыли сюда, и то через день после нас. Торжество нашего выезда стоит быть описано — хотя бы для того, чтобы мои соотечественники улыбнулись, смотря на важную фигуру, которую представляю, катясь на колеснице *временной* Фортуны. Мне самому смешно в торжестве сём играть роль *Эфестиона*, но не я первый и не я последний на *чужом* месте!..

За семь вёрст от города встретила нас конная гвардия, состоящая человек из двадцати. Она одета была на образец французских жандармов, в синие мундиры с пунцовыми обшлагами и в треугольных шляпах с высочайшими султанами. Лошади и убор на них были щегольские. Начальник отряда сказал маленькую приветственную речь принцу, на которую тот отвечал благодарственною, после чего команда, прокричав: «vivat!», разделилась на две половины: одна составила наш авангард, другая поскакала вслед за нами. За две версты от города встречены уже мы были рассыпанною конницею: это были граждане с начальниками уезда и города, ландратом и бургомистром. Они поздравили принца с прибытием в столицу отцов его. Поздравления выражены были с сердечным красноречием, благодарность им соответствовала. Немного далее ожидали нас верховые лошади в богатых уборах. Сев на них, поскакали мы в город. У ворот его собраны были шверинские жители, малые и большие, старцы

и женщины. Народ встретил нас громогласным «ура!», продолжавшимся несколько минут. Впереди всех стояли двенадцать девушек, одна другой прекраснее, одетых в белые платья с цветочными цепями и венками. Самая прелестная из них сказала маленькую речь принцу так искусно, с такими приятностями, что она обворожила бы и сурового Катона. «Кого не убедит такой красноречивый оратор?» — думал я, смотря на её чёрно-огненные глаза, и между тем пропустил было для моей картины самую счастливую черту — минуту, в которую прекрасная надела лавровый венок на принца и опутала лошадь его цветочными перевязями. Ко мне и товарищам моим подошли другие девушки и наложили на нас такие же цепи. В таком наряде среди многочисленного народа, сквозь который лошади наши могли насилу продираться, при громких восклицаниях сделали мы наше торжественное шествие в столицу Мекленбургской области. Квартиры были нам приготовлены во дворце наследного принца. Здание не большое, но красивое! Вступив в него, принц должен был удовлетворить требованиям народа, изъяслявшего громкими восклицаниями желание видеть ещё сына своего государя. Он исполнил сии требования, показавшись на балкон. В сию минуту шляпы полетели вверх, развеялись различные знамёна с цветами герцогского герба и с разными надписями; раздались шумные восклицания: «Виват добрый герцог, принц Карл! Да здравствует вся фамилия нашего отца! ура российскому императору, нашему покровителю и защитнику! ура всем добрым русским!» Принц, поблагодарив их почти со слезами, удалился в свои комнаты, но волнение народное продолжалось ещё с полчаса. Как скоро оно утихло и толпы разошлись, мы сопутствовали нашему шефу в старый герцогский дворец. Там сделал он короткое посещение девяностолетней тётки отца своего (принцессы Ульрики Софии), которая, стоя уже при дверях гроба, лишённая за древностию лет способностей действовать и рассуждать, оживилась с нашим приходом и столько обрадована была видеть русских, что объявила нам своё восхищение с присоединением маленького приветствия. После того ходили смотреть там же кабинет редкостей, картинные галереи и сокровищницу герцогскую. Сколько памятников искусства, науки, художеств и — богатства, прибавил бы я, если драгоценные камни могут стоять наряду с изящными произведениями ума и вкуса! Вид из дворца прелестный! Кисть живописца нашла бы здесь богатую жатву. Воды обширного озера ласкают стены дворца, отражают в зеркале своём город, красивые берега с мызами, садами, рыбацкими хижинами, зелёными пригорками и теряются наконец в сизой отдалённости.

Мы не можем ступить за порог нашего жилища без того, чтобы не окружили нас толпы народные и не приветствовали нас громким «ура!» и разными другими искренними знаками восторга и дружбы, как, например: «*Русь добра! für ewig freunde! Вечные друзья! Unseres blut und hertzen für A l e x a n d e r !*»¹ Каждый хочет иметь удовольствие поговорить с нами о нашем отечестве, о московском пожаре, о прошедших битвах и прочем. Потому мы не успели ещё видеть город.

Вчера была иллюминация по всем улицам. Прозрачные картины и надписи говорили нам о чувствах жителей к своим государям и русским.

¹ Для вечных друзей!.. Наша кровь и сердца для Александра! (нем.)

Я сейчас с бала, данного принцу министром *Брандтеништейном*. На нём наследная принцесса сделала каждому из нас (русских) честь протанцевать с нами. Фрейлина её, милая *Лютцо*, всегда алая роза стыдливости, приглашала нас к сей чести. Ужинали мы за особенным столом среди цветника Граций. Каждая из них была любезна и прелестна, но всех прелестнее и любезнее дочь министра. Назовите её Нимфою, Грациею, Флорою, кем угодно — всякое из сих имён будет ей прилично. Ни одна из них не считала ещё двадцатой весны своей. Прелестные разным образом старались нас занимать, они пили за наше здоровье искромётного шампанского — розы пылали на щеках их. Я вспомнил Горация¹... и вздохнул!

Новый Штрелиц, 6 апреля.

Путём праздников продолжали мы ехать сюда с нашим шефом по владениям отца его. Мекленбургцы, обрадованные видеть своего принца, после девяти лет возвратившегося к ним со знаками отличия, везде встречали его с искренним восхищением. Освещения превращали самую ночь в день, родное сердцу северного жителя «*ура*» не умолкало, пиршества и балы не давали нам успокоиться. Приветствия, свойственные душам добрым, знакомили нас с утешительною мыслию, что мы, в стране гостеприимства и приязни, собираем награды, купленные мужеством, правотою и любовью к общей свободе. В путешествии сём врезалась ещё глубже в сердце моём одна из первейших и неоспоримых истин, что любовь народная к первым своим правителям есть любовь, вместе с нами и приязанностию к отцам нашим рождённая. Возьмите пример с жителя села, сего грубого сына природы, не умеющего притворяться, посмотрите на него: он плачет, когда рассказывают ему о подвигах доброго государя; он желал бы облобызать край священной одежды его — и умереть спокойно!

Вчера поутру приехали мы ко двору здешнего герцога, почтенного древностию лет и единодушным о нём добрым мнением всей Германии. Народ его немногочислен, но всё, что только живёт на земле штрелицкой, составляет семейство, окружающее его своею любовью и благословениями. Отец своих подданных и — доброй, прекрасной королевы Луизы, мог ли не возбудить в душе нашей особенное к нему уважение? Об наследном принце ничего не могу сказать. Принц Карл находится теперь в прусских войсках: говорят, что он очень любим солдатами. На здешнем маленьком Олимпе земном встретился я с существом, достойным украшать *небесный* — с существом, которое нашёл я в дочери герцога, принцессе Сольмской, прекрасной, живой (но не столько миловидной, как покойная сестра её королева прусская). Супруга её, напротив, не наградила природа слишком приятною наружностью. Дети же сей четы так прелестны, что не налюбуешься ими. Одного с торжественным видом представила мне мать, как крестника российского г о с у д а р я. Малютка дышит уже воинским духом: меч, копьё, знамя, барабан с ним неразлучны. «Я люблю очень русских, — сказал он матери, указывая на нас, — они сожгли большую свой город и не хотели сдать неприятелям. Когда я выра-

¹ Или Батюшкова.

сту, пойду с ними воевать, кричать «ура!» и бить французов». Маменька поцеловала за это маленького героя и уверяла нас, что она также любит русских. В два дня, которые мы здесь находимся, она старалась нам это доказать, показывая к нам особенное внимание, занимая нас в концерте, за обедом и не упустив ни одного случая польстить самолюбию *гипербореицев*... Как я заметил, она с особенным удовольствием проводит время в многолюдном обществе; супруг же её, напротив, любит *уединение*. Он имеет дачу близ Нового Штрелица, где прелестные часы его жизни протекают в беседе... с фазанами! По желанию принцессы *один из многих* гофмаршалов был столько снисходителен, что повёл меня к здешнему ваятелю в мастерскую. Здесь показали мне бюст покойной королевы, обманывающий глаза живостию и сходством с подлинником. И в мрамор дышит она неизяснимою любезностию, и даже в нём очаровывает сердца! От скульптора путеводитель мой провёл меня в лесок *Коппель*, который мне очень хвалили. Самою простотою его нашёл я сей лесок прелестным. Искусство столько старалось в нём подражать Природе, что себя совсем забыло и выказало одну последнюю. Чистые дорожки виляют по рошицам и пригоркам, на каждом шагу вас обманывают, заманивают к живописным видам, отвлекают от них к новым, приводят то к зеркальному пруду, где красивые форели стадами плавают, то на бархатную полянку, сиренгами окружённую, где серны резвятся во множестве, не боясь присутствия гуляющих. Смотри, в каком мире живут здесь люди с животными, вспомнишь и невольно вздохнёшь о жилище первого человека. Надобно при сём отдать справедливость германским постановлением, запрящаящим тревожить без пользы спокойствие робких жителей лесов, и похвалить должно правила, здешним лесничим и охотникам данные. Им предписано в случае нужды убивать зверя огнестрельным оружием, стараясь застать его одного и положить на месте, чтобы противным случаем не испугать прочих. К похвале сей прибавить должно, что здешние помещики, думающие о пользе общей, равно как и своей, не отвлекают селянина от плуга и семейства, чтобы сделать из него праздного и порочного человека, не держат по эскадрону псарей и по сотням гончих и борзых, не кормят их потовыми трудами крестьян, не топчут полей и скромного участка земледельца... Не скажу ничего более и обращусь к прогулке. После неё останешься так доволен, как будто провёл несколько часов в обиталище богатой сельской природы, далеко от шума и сует городских.

Ныне за столом сидели подле меня здешний полковник и командор Любский, граф Фосс, человек очень любезный. Случившееся недавно происшествие с детьми его столько любопытно, что нельзя отказать себе в удовольствии сообщить его. Сын графа, одиннадцатилетний малютка, слыша каждый день повествования об единодушном вооружении Германии, о святости долга каждого сына отечества нести ему в жертву спокойствие и жизнь, о рвении всех состояний освободиться от ига чужеземцев, воспламеняясь сими рассказами, положил в уме своём во что бы то ни стало вступить в ряды ополчающихся. С необыкновенным красноречием сообщает он десятилетней сестре намерение своё. «У него есть конь, во всём ему послушный и готовый с ним в огонь лететь, детское копье, сабля, шлем и щит в его распоряжении; эскадрон гусар формируется в Новом Штрелице: всё споспешествует его предприятиям! Явить-

ся к начальнику новобранцев, быть приняту в число их и наделать чудеса храбрости — дело лёгкое и прекрасное!» Так начерчивает он свой рыцарский поход — и в маленькой голове его уже несколько французов лежат без голов! Сестра, убеждённая его ораторством, хочет принять хотя малое участие в его подвигах, обещает во всём ему помочь и хранить геройское предприятие в глубокой тайне. Три дня проходят в разных приготовлениях, как-то: в приведении в порядок грозного воинского вооружения и конского снаряда, в снабжении путевым продовольствием небольшой котомки, в вышивании девиза на штандарте для молодого рыцаря и в прочих затеях, какие только дети с живым воображением изобрести в таком случае могут. Всё это делается потаённо от домашних: никто из последних не подозревает даже, чтобы детям пришло в голову что-нибудь подобное. На четвёртый день, часу в пятом за полночь, когда сон покоил ещё всех в доме, девочка — по сделанному условию — прокрадывается в горницу, где ожидал её брат, вооружённый с ног до головы, провожает его в конюшню, помогает ему сесть на маленького Буцефала, отправляет его в путь чести и славы с благословениями и возвращается к своей постели без шума, не будучи никем примечена. Поутру дядька одиннадцатилетнего героя, не найдя его в постели, поднимает тревогу в доме. Можно вообразить о беспокойстве отца и матери. По исчезнувшему борзому коню догадываются о побеге; тотчас по всем дорогам разосланы гонцы. Вспомнив некоторые обстоятельства прошедших дней, начинают подозревать в сообществе малютку и требуют её к родительскому трибуналу. Её допрашивают, но ни угрозы, ни ласки не могут поколебать её верность: твёрдая в своём слове, она во всём запирается. Наконец по следам и вопросам отыскивают путь беглеца, догоняют его уже за две мили (14 вёрст) от деревни графской и приводят в слезах домой. Геройское предприятие кончилось тем, что господина рыцаря и сообщницу его пожурили, как должно; осыпали их потом поцелуями и — сделали для них детский турнир, где маленький победитель был награждён из рук сестры лавровым венком, и от родителей подарками¹.

25 апреля.²

Кутузова не стало! Весть сия бежит из города³ в стан, из дворца в хижину и наполняет всё унынием. Один передаёт другому сие печальное известие, как будто лишился единственного друга или отца, как будто потерял с ним всё, что имел драгоценного на свете. Иной отвергает слух сей, чтобы продлить хотя на малое время сладкое заблуждение, что герой

¹ За сим недостают следующие записки: 1) Присяга волонтеров в *Кюстрове*, описание *Ростока*, завтрак с шведским генералом на корабле «*Елене*»; 2) Бани морские в *Добране*, вид моря, и 3) Праздник, казакам данный Мекленбургским двором, торжество победы, под Лютценом одержанной, изюмские гусары на бале и прощание с жителями Лудвигслуста.

² Отрывок сей сочинён в виде небольшой речи, которая должна была прочтена быть в кругу военном.

³ Князь Смоленский умер в шлезском городе Бунцлау 16 апреля.

живёт ещё среди преданного ему войска; другой, соразмеряя течение его жизни с бессмертием дел его, не верит, чтобы грозная коса смела прервать священную нить её, чтобы от сего отличнейшего мужа природа потребовала себе дани наравне с толпою простых смертных. Но всеобщее сокрушение удостоверяет нас, что Кутузов более не существует. Союзные цари погрузились в тёмную думу: кому поручать великое бремя предводителя войска и кто с полною уверенностью в свои дарования и опытность предпримет довершить подвиг, столь славно исполном нынешней войны начатый и продолженный? Германия, заранее предупреждённая молвою о славе дел его, давшая ей с восхищением дорогу между своими народами, готовая уже совершенно преклонить весы на священную сторону, объялась вдруг нерешимостию и с сомнением ожидает, кто заменит вождя, исполнявшего лучшие её надежды. Между полководцами ходит уже проснувшаяся зависть и прельщает их мечтами честолюбия: ибо войско лишилось того, который неоспоримо славою заставил её умолкнуть, ибо не стало уже гения, умевшего соединить в пользу общую умы беспокойные и несогласные. Здешний селянин, как будто увидя надежду полей своих с ним погибшею, останавливает соху на недоконченной борозде. «Кто защитит плоды трудов моих, — восклицает он, — когда судьба отняла у нас защитника?» Мать ведёт детей своих ко гробу великого: «Он был спаситель своего Отечества, — говорит она, — поклонитесь праху его и молитесь, чтобы Всевышний послал нашей родине подобного заступника!» Но кто может словами представить сердечное сокрушение русских воинов? Одни, полагая его только на одре тяжкой болезни, простираются на помосте храма и молят Всеблагое ценою собственной их жизни сохранить дни вождя любимого; другие отдают последнюю лепту для возжжения пред образом грозного Предводителя небесных сил. Тот, прижав со слезами драгоценный наперстный крест к устам своим, передаёт потом сию святыню для облобызания товарищам своим и рассказывает, как покойный князь накануне общего боя обменялся сим крестом на медный солдатский, который после того носил под звёздами от первых государей мира полученными; сей завещает престарелым родителям, как лучшее своё сокровище, серебряную монету, пожалованную ему недавно собственными руками фельдмаршала. Иной в трогательных воспоминаниях проходит длинный ряд годов, проведённых в служении царю и отечеству под начальством великого, и считает годы сии победами, им стяжанными; другой повествует о любимых его изречениях, достойных быть переданными потомству, о ласковом его обращении с подчинёнными, смягчавшем суровую жизнь ратника, о трудных походах, его нежными заботами облегчённых. Никто из них не может без слёз говорить о смерти светлейшего: в нём лишились они начальника, родного им по вере и языку отцов их, родного и по любви к ним и неусыпным о них попечениям, в нём потеряли предводителя, который, не допустив посрамления до Христовых знамён, приобрёл каждому из воинов имя хранителя святой земли Русской. В одном стане врагов слышны радостные клики и торжествуют смерть героя: в нём видели они меч Божий, каравший их от полей Бородина до берегов Эльбы. «За нас ныне и Судьба!» — провозглашают они в безумной слепоте и веселятся унынию священных легионов. Нет! мы не дадим смеяться врагам нечестивым. Докажем им в

первом бою, что Кутузов не умер, что он живёт в духе русских воинов и что Всевышний не отнимает от них руки победы, доколь имя славного защитника отечества не изгладится из сердец соотечественников и памяти благодарного потомства.

Бивуаки под Швейдницею, 16 мая.

Я выехал из Лудвигслуста с шефом моим 2 мая. Обратное путешествие наше в главную армию было через Берлин¹ и восточный край Саксонии, в котором пески и леса, несмотря на красивые городки, делали для нас дорогу скучною и однообразною. По множеству раненых пруссаков, попадавших нам навстречу по дороге и виденных нами в городских больницах, надобно судить, что Лютценское дело было жестоко и что подданные Фридерика оправдали в сём первом опыте мнение Европы, взирающей на них, как на новый оплот против грозного потока, стремившегося опровергнуть политическую свободу народов. К чести прусских воинов должен сказать, что раненые их среди жесточайших операций не перестают заниматься благосостоянием отечества: они молят о жизни для того, чтобы вновь сразиться со врагами и — умереть свободными!

Из *Либерозе* был я послан курьером на место пребывания главнокомандующего армиями, отступавшими от Лютцена. В *Мускау* забраны были все почтовые и обывательские лошади: последнюю пару закладывали при мне для английского курьера, едущего к графу Витгенштейну. Смятение в городе было общее: ожидали в него неприятеля, которого передовые войска находились за несколько миль. Я был в самом горестном положении: дожидаться здесь принца было бы не исполнить данных приказаний — и для того брал я уже в руки страннический посох, чтобы дойти до первой станции, где мог ещё иметь я лошадей. Англичанин, сжалясь надо мною, предложил мне уголок в своей повозке только с одним маленьким чемоданом. Прочее офицерское имущество принуждён я был оставить у почтмейстера с тем, чтобы он передал его свите принца, обещавшего ехать по моим следам. Против ожидания моего, принц взял другой путь, и Мускау с моими пожитками через несколько часов достался в руки неприятеля². 8 мая в полночь прибыл я в *Герлиц*, где, получив свежих лошадей, отправился с рассветом 9-го мая в деревню *Буришен*, полагая найти в ней главную квартиру. На почтовой повозке был я зрителем начала и продолжения *Бауценского* дела, был свидетелем, как русская грудь отстояла высоты *Кентцица*, *Мелтейера* и *Пилитца*. Скоро казаки проводили нагайкою

¹ Берлин застали мы в таком точно положении, как была Москва за неделю до вступления в неё неприятеля 12 мая. Французы находились только за три мили от города. Благоразумным распоряжением крон-принца шведского и храбрости его войск столица Пруссии одолжена своим спасением.

² Сей случай доставил мне удовольствие испытать всю меру немецкой честности, которая должна была войти в пословицу. На вторичном походе нашем во Францию 1815 года заезжал я в Мускау и получил от почтмейстера *все мои вещи в целости!* Такая беспримерная черта честности тем более меня удивила, что немец не мог и вообразить о нашем возвращении когда-либо в его края.

моего почтальона с повозкою на обратную дорогу к *Герлицу*, а мне предложили за бездельную плату взятую в сражении неприятельскую лошадь, на которой поскакал я отыскивать 2-ю Гренадерскую дивизию. Тут соединился я с шефом моим, принявшим уже над нею начальство. 9-го же вечером начали мы отступать. Поздно в ночь слышны ещё были громы, пускаемые с высот, рассыпанных по пути к Герлицу. Каждая гора служила уступом, о который опирались наши силы. Смотри на сии высоты в ночное время, казалось, что сами небеса бросают на врагов перуны свои. Отступление союзников есть примерное в летописях военных. Движения наших войск происходят в величайшем порядке, так что они походят на манёвры, давно выученные — хорошо изъяснённые начальниками, совершенно постигнутые и исполняемые нижними чинами. Ни одного шага даром не выиграл до сего времени у нас неприятель. Об *Герлице* ничего не могу сказать. Всё, что в нём есть любопытного — по крайней мере то, что я слышал в два часа, которые в нём пробыл — есть изображение окружности святого гроба Господня в маленьком виде в одной из церквей здешних, наподобие того, который мы имеем в Воскресенском монастыре или Новом Иерусалиме под Москвою. Говорят, что женщины здесь прелестны и что отсюда произошла пословица: *in Sachsen schöne Mädchen wachsen* (Саксония есть родина прелестных девушек). Большая часть тех, которых я здесь видел, оправдывает сию пословицу.

.....

Много белых листов остаётся в записной книге моей. Часто, расположившись близ бивуачного огня, раскрываю её — и, от усталости роняя карандаш на первой начатой строке, дарю Морфея всеми моими походными замечаниями.

г. Нимч во Шлезии, 10 июля.

Главная квартира по-прежнему расположена около Рейхенбаха. Перемирие продолжается (оно назначено было до 8 июля, но по истечении срока отдалено ещё до 4 августа). Противные стороны пользуются им, готовя новые перуны для нового ратоборства. Австрия наблюдательным оком смотрит на сии приготовления и ожидает только случая, чтобы перейти на сторону справедливости.

Мы получаем беспрестанно свежие подкрепления. Смотры продолжают. Всё предвещает битвы ужасные.

На днях г о с у д а р ь и м п е р а т о р с прусским королём посетили Нимч. Первый, будучи встречен нашим корпусным начальником, генералом Раевским, спешил обнять его. Милостивое обращение с ним его величества восхищает гренадеров. Справедливая дань, отдаваемая монарху достойному полководцу пред лицом преданного ему войска, есть залог новых побед. Полюбовавшись прекрасным караулом, данным их величества от Санкт-Петербургского гренадерского полка, они отправились в приготовленные им жилища. На другой день, в 6 часов утра, в семи верстах от Нимча, на удобном поле делали они смотр нашим гренадерам. Наружностию сих войск и движениями их

государи были очень довольны. Сыны Севера в приветствиях любимого монарха почерпнули новое мужество и силу. После смотра генерал Раевский угощал и х в е л и ч е с т в а завтраком в близлежащей мызе Коблау. Садясь за стол, и м п е р а т о р вспомнил о хозяйке дома баронессе Эйгорн и пригласил её со свойственной ему любезностью взять место около себя. После завтрака е г о в е л и ч е с т в о изволил долго разговаривать вполголоса с австрийским генералом, присланным с поручениями от двора своего. Г о в о р я т, что он вестник присоединения Австрии к священному союзу. Г о с у д а р ь и м п е р а т о р и прусский король, удостоив в сей день нескольких лестных слов любезнейшего *нашего* полковника Жемчужникова, почтили сим милостивым вниманием в храбром, отличном офицере заслуги и дарования.

Временем отдыха, дарованного нам перемирием, пользуемся следующим образом. Иногда, собравшись толпою наездников на перелётных донцах, с неразлучной нагайкою за плечами, обтекаем живописные окрестности. То на равнинах образуем эскадроны, пускаемся в нападения, рассыпаемся, собираемся, настигаем друг друга, убегаем один от другого — и в сих невинных играх делаем опыты тех грозных битв, которые, может быть, многим из нас будут стоить жизни. То, отделившись от соратных друзей, еду на шум зовущего к себе ручейка. В надежде на верного коня спускаюсь с крутой горы рядом с грозной опасностью и вслед за нею. Зато как приятно достигнуть сквозь препятствия цели своих желаний, как сладостно любоваться с твёрдой земли прошедшими ужасами! Нередко, следуя за стопами своенравного путника, не хотевшего идти за другими по обыкновенному пути, запутываюсь в густоте рощи. В таком случае ауканье пастушки, или тирольская песня, или заунывные отголоски родных звуков служат мне проводником. Почти каждое хорошее утро бываю за три версты отсюда, в деревне на серных водах. Там часто встречаю генерала Раевского, пользующегося ими. Случается, что он, приехав туда после нас, обер-офицеров, и не застав ни одной порожней ванны, дожидается нашего выхода, не приказывая даже своему слуге беспokoить нас извещением, что он находится в передней комнате. Воды сии делают много пользы нашим раненым и другим случайным больным.

Чаще всего посещаем близ Нимча местечко Мариендорф, где поселилось общество геррнгутов (Herrnhuten). В сих путешествиях бываю мне приятнейшими спутниками адъютант генерала Раевского, князь Трубецкой, умный, любезный молодой человек, и милый Неёлов, адъютант генерала Чоглокова. С такими товарищами удовольствия получают новую цену.

Если вы читали прекрасное описание Сарепты *путешественником в полуденную Россию*, то можете сделать себе понятие о здешней колонии. «Но воображение, — говорит г. Измайлов, — не представит себе никогда того, что глаза видят здесь». Правда: нет такого искусного пера, такой волшебной кисти, которые могли бы передать сей способности ума полную живую картину завидной жизни геррнгутов. Видеть собственными глазами зрелище их нравов, обычаев и жилищ есть наслаждение неизъяснимое; но кто лишён сего случая, доволен будет, когда передадут ему хотя неполное описание их, когда поделятся с ним хотя пополам сим наслаждением. Заключённый рукою судьбы в тесной клетке своей счастливым, порхая и мечтами за вольною птичкою.

Скажите мне: радуется ли вас, когда, шедши по голой пустой равнине, услышите от встречного вами путника, что скоро представятся вам полянка, цветами усыпанная, сверкающий в долине ручеек и красивый уют селянина? Так утешала нас по дороге в колонию мысль, что мы скоро в ней будем. Завидя издали красные крышки из черепицы, предчувствуете уже какое-то приятное зрелище. Широкая дорога, осенённая с обеих сторон тополями, наподобие пирамид возносящимися, ведёт вас в колонию с четверть версты. Въезжаете в местечко, и предчувствие ваше всем подтверждается. Улица широкая, чистота на ней чрезвычайная. Дома небольшие, но почти все двухэтажные: они выштукатурены снаружи и все выкрашены под один цвет. Кажется, что они принадлежат одному хозяину, в одно время строились и в один час dokonчены. Вы не найдёте здесь не только ветхого дома, но даже такого, который несколько мрачною наружностью своею напоминал бы вам, что он стоит уже года три-четыре: вся колония как будто на днях отстроена. Если позволено приписать жизнь зданиям, то и я сказал бы, что местечко улыбается весне своей. Внутренность домов отвечает наружности. Взойдите в первое жилище: к сапожнику, в конфектную лавку, к книгопродавцу, к седельнику: везде тот же порядок, та же чистота. Опрятность, радовавшая меня между немецкими жителями, доведена здесь до совершенства: вы найдёте её в одежде, в мебели, в пище и — в нравах здешних поселенцев. Колонист одевается просто и чисто; в праздничные дни бывает одет не чище, но несколько щеголеватее. Приятная наружность его выражает душу благородную и добрую, свободную от угнетения нищеты и высокомерия роскоши; он только тогда хмурится, когда встречает человека в запачканной одежде и с чёрною душою. Высшего и низшего состояния между ними не существует: золотая посредственность всех уравнивает; излишество отдаётся неимущим. В разговорах их, в их поступках не заметил я ничего такого, что могло бы заставить краснеть нравственность. Я приезжал сюда в праздники и не видал между ними пьяного. В простые дни, когда бы ни пришли к геррнгуту, всегда застанете его за работою. Трудолюбие и порядок суть души их общества; надобно прибавить и честность, потому что вы нигде ничего дешевле и прочнее не купите, как у колониста. Показывая своей товар, он делает это с усердием, с желанием вам угодить; но не навязывая его, не сердясь, если он вам не понравится.

Храм молитвы, дом воспитания благородных девиц и больница для бедных одни возвышаются над прочими зданиями; но во внутренности их соблюдены тот же порядок и простота. Почти всякий раз, как бываю здесь, посещаю дом воспитания. Иногда застаю прелестных малюток за учением. Какая тишина, какое внимание к наставлениям учительницы! какое же с её стороны усердие передать ученикам свои собственные знания! Здесь не обременяют памяти детей задачею разнообразных уроков, чтобы составить потом в голове их мрачный хаос происшествий и наук. Что они слышат во время учения, то видят, то и чувствуют. Для них история есть зрелище добродетелей и пороков, а не подробное летоисчисление; география у них картина мира с его обычаями, нравами, силами, богатством и красотою, а не сборище городов, рек и прочего; математике учатся они не для хвастовского решения задач алгебраических, а для домашнего употребления; берут они уроки танцевания, чтобы развязать

тело, а не оспаривать на балах первенство искусства у соперниц; музыке научают их для собственного их удовольствия и семейства, в котором судьба укажет им жить, а не для того, чтобы собирать шумные плески. Искусством рукоделия своего воспитанницы могут гордиться. Вы сделаете им угодное, если купите что-нибудь из трудов их у надзирательницы, потому что деньги, от сего выручаемые, отдаются бедным. Между ними есть уже несколько девушек, готовящихся быть супругами. Быстрый румянец на щеках и томные, потупленные взоры говорят, что пора *любить* для них приходит. В школе скромности, простоты, трудолюбия и благотворения воспитанная может ли не сделать счастья честного человека, которому сердце на неё укажет? Правда, что он не найдёт в ней ни балеринки, ни музыкантши, но получит с нею верную, добрую жену.

Здесь кладбище есть сад, каждая могила в нём есть цветок. Вступая в жилище смерти, вы не видите ничего, что бы вам её напоминало, что бы пугало вас грозными её принадлежностями. Гуляете по тенистым каштановым аллеям, рассматриваете маленькие возвышения, с которых веет аромат тысячи цветов, приятно для глаза рассаженных; любуетесь красивыми памятниками, кое-где между ними возвышающимися; читаете надписи, дышащие простотою и нежностью; покоитесь в тени дерев, осеняющих цветные холмики, — и душа ваша наполняется не ужасом перехода из сей юдоли в мрачный гроб, но тихим, сладким предчувствием бессмертия. Надобно быть здесь в праздничные дни, чтобы видеть, как полна жизни обитель смерти. Тогда все колонисты с семействами своими собираются на могилы друзей и родственников; вспоминают их не вытьём, заранее выученным, но потаёнными слезами, тихими вздохами. В это время сад делается настоящим гульбищем, ходят по тенистым аллеям, разговаривают о добродетелях покойных, молчат о порочных, и в сладкой беседе об умерших научаются *жить*.

г. Нимч, 20 июля.

Военные братья, здесь живущие при корпусном штабе, собираются часто в городском саду. В числе сих посетителей бывают полковники *Писарев*, *Княжнин* и барон *Дамас*: все отличные умом и познаниями офицеры. Первый известен и на литературном поприще. Иногда корпусный наш начальник генерал Раевский украшает своим присутствием беседу, собирающуюся в здешнем саду. Душою же сей беседы бывает гусарский полковник Денис Васильевич *Давыдов*, известный партизан и *певец вина, любви и славы*. Нынешняя война, примерная исполинскими подвигами русского народа, достойна также замечания по некоторым людям, рождённому ею с отличною печатью военных дарований. Можно назвать их оригиналами: всё в них особенное, даже странное — разговор, одежда, дела их: они создали для себя особенную сферу и действуют в ней для пользы отечества и собственной славы. Другой характер был бы им неприличен. Надобно родиться подобно им: воспитанием нельзя приобрести то, что природа им дала. Всякое подражание им было бы достойно смеха: это походило бы на басню *зверя*, ходившего в львиной коже. Первый взор помещает партизана Давыдова в число сих знаменитых ориги-

налов; нынешняя война дала ему между нами почётное место¹. Ведёт ли он в рубку гусар своих или казаков на *славную* добычу, рассказывает ли анекдоты, поправляя *ус, чернобурый в завитках*, славит ли в песнях своих бивучачную жизнь, пламенный нектар и любовь: везде он единственный, неподражаемый Давыдов!

Мы составляем иногда свой *обер-офицерский* кружок, рассказываем друг другу, что видели, слышали достойного замечания в течение прошлой кампании; рассуждаем о деяниях и характерах полководцев, не забываем в сих случаях и подвигов нижних чинов. Сообщаю здесь *нечто* из того, что почерпнул в сих беседах.

Обыкновенный полководец, замешавшийся в толпе ему подобных, ограничивает свои действия слепым исполнением данных ему наставлений; ум его прикован к черте, предписанной ему по необходимости времени или обстоятельств. Но военный гений, действуя с благоразумною покорностью в назначенном ему кругу, творит другой обзор, другое поле для своих подвигов; обтекая своё попрание орлиным полётом, он назначает место, где воспользоваться слабою стороною врага, чтобы вернее поразить его, где поставить новый памятник славы своему царю и отечеству. Таковым видели мы всегда графа *Воронцова*; таковым явился он в следующем подвиге, хотя не вполне совершившемся, но по одной мысли, по одному начертанию достойном занять отличное место в истории нынешней войны.

Оставленный с небольшим отрядом, из русских и пруссаков состоящим, на берегу Эльбы против Магдебурга для блокады сей крепости, граф *Воронцов* имел за нею строжайшее наблюдение. Сообщения между городом и неприятельскою армиею были прерваны; курьеры, посылаемые из того и другой перехвачены. Казаки *Мельникова* полку, переплывая реку с верными конями своими, возили ужас на концах своих копий под стены самого Магдебурга. Французы не только не осмеливались сделать движение на Берлин — чего опасаться должно было — но содержимые в беспрепятном ожидании увидеть русское знамя на бойницах Магдебурга, приготавлились единственно к собственной защите. Граф, считая сие состояние робости, в котором видел неприятеля, удобным для совершения в стороне от него необыкновенной воинской стратагемы, могущей принести нам большие выгоды, спешил её исполнить.

В Лейпциге оставлены были Наполеоном при самом слабом отряде ремонт лошадей на несколько эскадронов, множество военных снарядов, несколько артиллерии, казённые ящики, магазейны с провиантом и госпитали. Такая добыча достойна была русского штыка. Граф *Воронцов* решился присоединить её к другим трофеям нашим, не делая со своей стороны никаких важных пожертвований.

Между Эльбою и местечком Рослау находился в распоряжении русских соляной завод, на коем изготовлено было большое количество соли и с коего хозяева с приближением неприятеля удалились. Граф приказал объявить окружным жителям, что всякий желающий может

¹ Первое между партизанами место, без сомнения, занимает *Фигнер*.

за нею приехать и брать оной безденежно столько, сколько поднять в силах на лошадях своих. Для получения соли был назначен *один* час. Сие объявление столько обрадовало поселян, давно нуждавшихся в одной из первых потребностей жизни, что большое число жителей ближайших сёл, побуждаемых или необходимостью, или корыстолюбием, оставило свои дома и в назначенное время прибыло к соляному заводу на огромных возах, большею частью запряжённых в четыре сильные лошади, — так что возов сих насчиталось до 500. Пользуясь сим случаем и темнотою наступившего вечера, по данному приказанию несколько батальонов вышли из закрытого места и заняли все повозки без исключения, не отпуская от себя хозяев. Последних предупредили, что их собственность будет сохранена и с ними поступят дружелюбно, удовлетворить же их требования обещались через день. Между тем для лучшего закрытия наших движений оставлена была на прежнем своём месте часть отряда, занимавшая передовые посты. Полковник *Красовский*, всегда готовый угадывать мысли своих начальников, храбрый и испытанный офицер, содействовал ещё более сему маскированию, сделав на другой день бал в своём лагере. Гром полковой музыки раздавался даже на противоположном берегу Эльбы, под стенами самого Магдебурга; посетительниц приехало очень много из округи. Французские офицеры, прельщённые самою веселостями и обеспеченные нашим спокойствием, вышли на свой берег с жительницами Магдебурга в таком множестве, что берег сей был ими усыпан. В продолжение ночи граф *Воронцов*, сделав с летучим отрядом своим около 60 вёрст, встретил первые лучи солнца под стенами Лейпцига. Он послал туда немедленно офицера с извещением французского коменданта о своём прибытии и с требованием сдать русским в несколько часов всё, что принадлежало одноглавому орлу Франции; в случае же отказа несколько тысяч штыков готовы были повторить сии требования в стенах самого города. К счастью французского коменданта, он только что получил от своего императора уведомление о заключённом с российским государем и королём прусским перемирии. Без сего случая должен бы он был сдаться военнопленным новому Олегу и принести в дань его стратегам всё, что имел в распоряжении своём в Лейпциге. В ответе своём *доносил* он графу *Воронцову* о сём перемирии и в доказательство справедливости своих слов послал к нему в залог (амананатами) несколько известнейших офицеров. Прибывший вскоре из российской армии курьер подтвердил сие известие. С сокрушением сердца герой отступил от Лейпцига.

Повторяю: подвиг сей, хотя не вполне совершившийся, достоин дани уважения военного историка по одной смелой и великой мысли начертавшего его гения¹.

¹ Анекдот сей рассказан мне г. Паулиным, поручиком 14-го Егерского полка, ныне подполковником лейб-гвардии гренадерского и адъютантом графа Остермана-Толстого.

13 июля 1812 года под Островною неприятельская артиллерия, желая сбить русский отряд с поста, который оному непременно удержать должно было для пользы движений прочих наших войск, действовала со всем постоянным ожесточением многочисленности орудий и со всем искусством ими управляющих. Бесперывный огонь её, продолжавшийся несколько часов, носил гибель и смерть в ряды русских. Донесли о сём графу *Остерману*, начальнику отряда, и спрашивали его, что он прикажет делать. «*Ничего не делать*, — сказал он, — *стоять и умирать!*» Конец битвы увенчал успехом сей геройский ответ, достойный стоять в истории наряду с знаменитым изречением старого Горация¹.

Русский солдат славится не одними подвигами на поле брани: он достоин венка и за мирные добродетели. По окончании Бородинской битвы, когда смерть утомила над бесчисленными жертвами своими, раненый рядовой 2-й роты сводного Гренадерского батальона, *Никифор Ишутин*, присоединяясь к роте своей, шёл медленно за нею с поля сражения. Вдруг слышит он за собою слабые стоны, которые, казалось ему, звали его на помощь. Пренебрегая страхом попасться в плен к неприятелю, расставлявшему в виду его свои пикеты, он возвратился на то место, откуда доносились звуки умирающего голоса. Там нашёл он роты своей прапорщика *Франка*, плавающего в крови от полученной им тяжкой раны пулею в ногу. «Бог принёс меня к вашему благородию, — сказал он, — дам ли я неприятелям ругаться над вами?» Несмотря на собственную боль, он втащил офицера на плечи свои и готовился один нести его из опасного места, как другой солдат той же роты, видевший издали его усилия, присоединился к нему и помог ему донести драгоценную ношу в цепь, где перевязывали раненых. С сего времени *Ишутин* не отходил от больного *Франка*: в продолжение отступления достал ему с лошадей повозку, кормил его, перевязывал раны и смотрел за ним, как нежный отец. При выходе русских войск из Москвы, несмотря на уважение товарищей и тамошних жителей, он не расстался с умирающим офицером. Всё, что они претерпели в пребывание в древней столице нашей, не может быть описано. Довольно сказать, что дом, в котором они нашли было себе покойный уголок, предан был пламени злобными пришлецами. В сём случае *Франк* должен был погибнуть, если бы верный *Ишутин* не вынес его из огня на плечах своих, как благодетельный Эней отца своего Анхиза². Обоих сохранил Всевышний, оба наслаждаются жизнью: один утешаясь добрым делом своим, другой — радуясь, что может говорить о своей благодарности солдату-благодетелю³.

¹ Сообщено полковником Жмчжнквм и описано уже правдивым и достойным беспристрастной хвалы пером г. Ахшарумова. 1820.

² После сего пожара он перенёс офицера в дом господина профессора Гюрюшкина.

³ Сам *Франк* рассказывал мне о чудесном избавлении своём. Рядовой *Ишутин* переведён был впоследствии в гренадерский графа Аракчеева полк.

Кто не знает суровой дисциплины, в которой содержит казаков знаменитый атаман их, граф Платов? Один взор, одно слово имеют над ними волшебное действие. Часто останавливал он бегущих, показывая им только издали грозную нагайку свою; часто обращал их к победе любимым своим изречением: «*На Донской земле костей не погребу!*» — изречением, с которым сливается всё священное для души казака, с которым никакое красноречие не может сравниться.

Лаун, в Богемии, 22 августа.

Великая надежда союзных монархов, надежда самой Франции — *Моро* скончался. Он умер так, как жил — героем.

Генерал *Моро*, совершив в 31 день путешествия своё из Америки в Европу, поспешал в те места, куда взоры и сердца народов ожидали его с нетерпением. День появления его в Праге (3 августа, накануне разрыва перемирия) и следующие за ним были днями торжества для жителей и войска. Говорят, что прибытие его произвело некоторое волнение в легионах французских и на чело предводителя их надвинуло мрачные тучи подозрения. Союзные монархи наперерыв старались доказать славному гостю, сколько он им любезен и необходим для назначения решительного *пира* народной свободы. Российский и м п е р а т о р особенно умел столько пленить его своим милостивым обращением, что генерал забыл прошедшие бедствия свои, изгнание, неблагодарность отечества, разлуку с семейством и друзьями и, казалось, обрёл их в русском г о с у д а р е. Он называл его всегда *лучшим из смертных*¹. Вспыхнувшее в некоторых полках французских неудовольствие, невольный восторг народов, надежда союзных войск и предводителей их, уверенность монархов — всё, казалось, предвещало, что гению *Моро* предоставлено было сказать Европе: «*Ты свободна!*» Но судьба, определив славу освобождения её другому избранному, расположила иначе.

15-го числа, несмотря на сильный дождь, препятствовавший действовать огнестрельным оружием, дело под Дрезденом ещё к полдню продолжалось. Российский император, *Моро* и два английских генерала, *Каткарт* и *Вильсон*, стояли за прусскою батареею², на которую устремлено было в лице и в крыло сильное действие двух неприятельских батарей. *Моро* находился не далее, как на четыре шага от г о с у д а р я, рассказывая ему о некоторых тактических наблюдениях. В сие время ядро, пролетев мимо и м п е р а т о р а, раздробило совершенно у французского генерала колено левой ноги и, перерезав пополам лошадь, снесло икру другой ноги. Всех нежных попечений, оказанных ему при сём горестном случае российским г о с у д а р е м, невозможно пересказать. Но ни заботы м о н а р х а, ни искусство известнейших медиков, ни молитвы народов не могли спасти Героя. Он скончался здесь 20 августа. Последние слова его обращены были к нежной супруге и венценосному б л а г о д е т е л ю. Славная *смерть* его, конечно, украсит страницу в истории *жизни* русского государя.

¹ Или *лучшим из человеков*: le meilleur des hommes.

² На высоте, за деревнею Рекнитц.

Строки, начертанные его величеством вдове знаменитого Моро, с излиянием сердечного соучастия в горестной её потере, будут говорить векам грядущим о величии его души.

Лаун, 23 августа.

Гордись, Россия! дух сынов твоих победил величие Греции и Рима. Ты не имеешь более нужды в примере питомцам твоим указывать дорогу на леонидов и сципионов: ты перенесла её с сими героями на священную твою землю. Потомство твоё, при новых непомерных подвигах мужества, не будет более говорить: они сражались и умирали, как спартанцы под Фермопилами. Нет! сыны и внуки наши скажут тогда: «Они сражались и побеждали, как *русские под Кульмом*».

17 августа 8 тысяч русской гвардии встретились в горах Богемии с неприятелем, в пять раз превышавшим их силою своею¹. И многочисленность врагов, и мужество их, многократными боями не утомлённое, и самонадеянность их полководца (Вандамма), и защита их самую природою, против нас вооружившеюся и стеснившею нашу малую рать мужскими своими грозными утёсами — всё, казалось, предвещало гибель русских. Но питомцы Севера не считают врагов, не страшат их угрозы природы: за них слава имени царских охранителей, сильны они духом и верою во Всемогущего, ведёт их Остерман, с ними Ермолов — и русские славят бога победы на горах Кульмских!..

Именуя одного героя сей битвы, именуешь всех, в ней бывших. Довольно сказать, что каждый из них имел против себя пять поборников, и каждый остался победителем.

Но душою, предводившею мышцами и духом сих героев, главною твердынею, о которую сокрушились искусство и силы врагов, первым виновником победы был — *Остерман*. Ему венец её, ему восторг современных народов, неизменная любовь потомства и беспристрастная дань будущего историка! Богемия одолжена ему своим спасением, Россия — новою степенью славы! *Ермолову* принадлежит второй венок, который не увянет под зноем и бурями времени и, может быть, получит новый блеск в руках справедливого бытописателя. Один, как пламенный Леонид, готов был погребсти себя в горах Богемии за честь русского имени; другой, как холодный Мильтиад, готов был действовать и распоряжать даже и тогда, когда бы *всё* погибало. Один, хотя вселенная сокрушалась бы и грозила бы подавить его своим падением, взирал бы на разрушение мира без содрогания; другой в сём случае искал бы ещё в уме своём средств, как отратить падение вселенной! *Остерман*, потеряв руку, не чувствует страданий: он забыл себя — он мыслит только о славе своего Отечества. Вынесенный с места сражения, готовясь к труднейшей операции, при дверях гроба, — он *весь* ещё на поле битвы; он *весь* среди храбрых своих сподвижников! «О чём плачете вы? — говорит он с твёрдостью патриота и христианина окружающим его, — левая рука была у меня лишняя: осталась ещё другая для защиты Отечества, служения г о с у д а р ю и тво-

¹ Корпус Вандамма был 40-тысячный.

рения святого креста». Потеря крови и истощение сил ввергают его наконец в сильный обморок. В сие самое время подъезжает к нему прусский король, поспешает слезть с лошади, расспрашивает с живейшим участием сопровождающих храброго вождя о состоянии его раны и, заключая по ответам их, что жизнь его вне опасности, венценосный друг человечества не может удержать слёз своих. Но к общей радости герой через несколько минут открывает глаза. Первым в нём знаком жизни есть мысль о г о с у д а р е : и на краю гроба, в самых хладных объятиях смерти, сия мысль в нём не погасла! «Est-ce vous, Sire? L'Empereur mon maitre est-il en sureté? (Ваше ли величество вижу? В безопасности ли г о с у д а р ь и м - п е р а т о р ?)» — спрашивает он короля прусского и, заметив слёзы на лице его величества, силится привстать, чтобы изъяснить свою признательность, с сими слезами навсегда в душе его запечатлённую¹. Принесённый под сень леса, куда не достигали ядра неприятельских батарей, доверив совершение операции молодому Кучковскому, коего физиономия ему понравилась, — в самые минуты, когда готовились отнять у него руку, призывает он стоявшим у леска гвардейским музыкантам спеть русскую песню. Вскоре приносят несколько знамён, отбитых у неприятеля. При виде сих трофеев взоры героя блистают огнём радости, душа его наслаждается восторгом, которого он воздержат не может. «По крайней мере, умру непобеждённым!» — восклицает он голосом сердечного торжества. *Ермолов*, приняв начальство, не охлаждает геройского духа русских воинов. «Товарищи! — говорит он им. — Взгляните на храброго израненного начальника вашего. Не дайте смеяться над нами врагам. Вспомните о славе прошедших битв, о величии имени русского; подумайте и о том, что потерять и что приобрести ныне можете. На вас смотрит родина с колыбелью ваших детей, с могилами ваших отцов. На вас взирет сам г о с у д а р ь , сей драгоценный залог, препорученный нам ныне самими Небесами. Покажите народам, что вы истинные телохранители его; докажите врагам, что вы русские!» И воины, вновь одушевлённые словами и примером любимого начальника, стремятся с яростию на врагов, разят, гонят их, берут в плен — и победа решена!..

И русский в поле стал, хваля и славя Бога!

Проезд графа *Остермана* через здешние селения есть настоящее торжество героя. Жители, стремящиеся толпами видеть избавителя Богемии, покидают свои дома, оставляют работы свои, заграждают ему дорогу и теснятся около него с благоговением. Девы усыпают путь его цветами; старцы, слишком слабые, чтобы дотащиться до него, со слезами на глазах простирают к нему руки, моля его о сохранении дней великого мужа; матери заставляют детей своих лобызать края его одежды: везде встреча-

¹ Находившись адъютантом при графе А. И. Остерман-Толстом, я имел нередко случай внимать искренним выражениям глубокого уважения и признательности, хранимых им к королю прусскому. Не довольно было ему содержать образ его величества в душе своей: он пожелал иметь сей образ перед глазами своими — и знаменитый Торвальдсен, одушевив резцом своим холодный мрамор, исполнил его желание. Бюсты короля и королевы Луизы работы сего славного художника украшают ныне дом его сиятельства в Петербурге. 1820.

ют и провожают его благословениями; везде отдаётся слуху и сердцу его имя спасителя Богемии¹. Торжество, достойное истинного героя, льющего кровь свою для пользы Отечества и спокойствия его союзников — торжество, которым не может наслаждаться честолюбец, по прихотям своим разрушающий тишину и счастье в семействах!

1814 год

На высотах Монмартра, 6 часов пополудни 18 марта.

Ещё влево от нас, в корпусе генерала Раевского, грома изредка раздаются; вот уже утихают, вот и совсем замолкли! Вправо и у нас, в гренадерском корпусе, всё давно молчит. Перед нашим строем московские гренадеры по приказанию главнокомандующего ломают телеграф. Солдаты, рассыпанные в стрелках, собираются к полкам своим, ведя за собою по несколько пленных французов. Я сижу у окна в небольшом красивом доме, стоящем на гордой высоте, многими подобными домиками, мельницами и виноградными садами усыпанной. Впереди под нами стелется в море тумана обширная столица Франции. Напрягаю зрение, хочу видеть Париж, и вижу одну мрачную кучу зданий, взгромождённых, кажется, друг на друга и теряющихся вдали сизою, бесконечною полосой. Взоры с удовольствием то носятся над туманной бездной города, то гуляют влево по зелёным берегам Сены или возвращаются в ряды северных героев и не знают, где остановиться. Вдруг наступает глубокая тишина!..

351

Главнокомандующий *Барклай де Толли* и граф *Милорадович*, русский баярд (*Chevalier sans peur et sans reproche*)², подъезжают к нашим рядам и поздравляют воинов, участников в нынешнем деле, со взятием Парижа. Громкое радостное «ура!» разливается по высотам Монмартра. Начальники и подчинённые приветствуют и обнимают друг друга; лица всех блистают улыбкою. Победители в упоении своей радости, не видя более побеждённых пленников своих, ищут разделить с ними настоящее торжество разными ласками и уверением в скорой их свободе. Благородные души любят счастьем своим делиться с другими; чувство радости сделало всех друзьями и братьями. Если б я мог иметь на свете врага сильного, непримиримого, человека, который лишил бы меня того, чего нет дороже для меня в мире, одним словом, человека, который разлучил бы меня навсегда с другом или с милой, если бы он пришёл теперь и просил моей руки в залог нашего примирения, я дал бы ему руку — как быть? — отдал бы с нею и сердце моё! Уверен, что всякий из нас готов сделать то

¹ От лица благодарной Богемии, за спасение её от врагов, был прислан в 1816 году герою новых Фермопил осыпанный драгоценными камнями золотой сосуд, который отослан им в дар лейб-гвардии Преображенскому полку при скромном донесении государю императору о сём пожертвовании. На сей случай его величество отвечал ему рескриптом А), исполненным лестными для вождя выражениями, и препроводил к нему драгоценную по многим отношениям вазу с изображением его в день Кульмской битвы. 1820.

² Рыцарь без страха и упрёка (фр.)

же в минуты нынешнего торжества. Посещает ли мрачное чувство ненависти душу, наполненную чистым восторгом?

Рассказывают нам, что г о с у д а р ь и м п е р а т о р, получив договоры о сдаче Парижа, обнял с восхищением прусского короля и сказал: «*Слава Богу! кровь человеческая более проливаться не будет*». Священные слова, которые каждый царь должен вписать в сердце своё! слова, которые включены уже золотыми буквами в летопись великого Судии!

Нынешнее дело было довольно жаркое. Хвала гренадерам, решившим судьбу центра твёрдою грудью и бестрепетною душою! Французы узнали в них победителей при Нови и Требио и переходцев гор Альпийских. Слава и вождям сих войск! Начальник 2-й гренадерской дивизии, генерал-лейтенант *Паскевич*, и командир одной из её бригад, генерал-майор *Писарев*, были душою наших отрядов. Оба известные своею храбростию, оба любимцы славнейших русских полководцев нашего времени и верные спутники их побед, оба сражавшиеся в первый раз один на глазах другого, искали, кажется, показать один перед другим, что общая молва не договорила ещё всех подвигов их. Какое похвальное рвение, какое примерное мужество их одушевляли! Враги удерживали ли с упорностию выгодное для них место — являлся генерал *Паскевич*, герой Вязьмы и Модлина, ободрял гренадер взором и словами, — и враги немедленно уступали твердыни. Заседали ль неприятельские стрелки в домах, за густыми деревьями и за высокими каменными оградами, служившими им крепостцами, — показывался генерал *Писарев* в цепях наших стрелков, водил их сам к нападению, не давал быстрым распоряжением их движений одумываться врагу — и сии же самые защиты неприятельские обращались в собственную нашу оборону и нападение. Можно сказать, что он рвал лавры из-под лезвия смертной косы. Волновалась ли судьба битвы, — одно присутствие, одно слово героев решали её! Адьютантам не нужно было искать их *назад*; посланные к ним с приказаниями не получали в ответ, что им *нет времени* и что им нужно ехать *далее* для переговоров с высшими шефами о полковой экономии... Напротив того, они сами были везде видимы, сами спешили туда, где спор битвы требовал их распоряжения и где опасности вызывали их мужество на труднейшее, славнейшее поприще. Офицеры и солдаты, смотря на них, не дивились, что шаги победы покупались ими так быстро у врагов, и, являсь на высоте Монмартра, где кончались их подвиги, они думали, что начинали только действовать. Храбрый артиллерийский полковник *Нилус*, спокойно раскуривая трубку, бросал с гордой высоты громы на парижские бульвары. Думаю, что не одни шифоньерки и бонбоньерки разлетались в стороны от его грозных посылок. Неустрашимый полковник *Жемчужников*, командуя в сей день Перновским полком, доказал, что в состоянии сделать с русскими солдатами начальник, издавший их души. «Кому честь и слава быть первыми в Париже?» — сказал он гренадерам, указывая им на заставу Бельвильскую. «*Нам!*» — отвечали сотни храбрых и ринулись вперёд сквозь тучи пуль и картечь; «*нам!*» — повторили другие, шагая через трупы своих и неприятелей, — и вскоре приветное «ура» раздалось за вратами Бельвиля¹.

¹ Тот же самый Жемчужников отличился блистательным подвигом в деле под

Московские гренадеры славно мстили за столицу, подарившую их своим именем. Майор их *Повало-Швейковский*, распоряжая движениями всех гренадерских стрелков, подвёл их к парижским заставам. Когда ему замечали, что пуля сорвала эполет с правого плеча его и зацепила самое тело, он сказал, улыбаясь: «В таком славном деле и потеря руки безделица». *Горбунов*, подпоручик Московского полка, надев на себя патронную сумку с убитого солдата и схватив ружьё его, носился сам впереди стрелков своих. Грозным штыком свергнул он с лошади французского офицера (батальонного начальника)¹, не хотевшего с несколькими солдатами сдаться ему в плен: видно, что рука и сердце не дрогнули!.. Киевцы и малороссияне, следуя примеру своих предводителей, действовали с большим мужеством. Я видел, как молодые солдаты стремились опереживать старых гренадеров, изстреляв (недаром!) все патроны свои, прибегали к своим начальникам с просьбою дать им новые заряды, и получив их, спешили на свои места — разить или умирать. Главнокомандующий, видя, что гренадеры *слишком скоро* подавались вперёд и тем опереживали левое наше крыло, присылал сказать им, чтобы они *медленнее* наступали. Победа наша тем более достойна славы, что куплена у храбрых. Ученики Парижской политехнической школы дрались в сей день, как молодые разъярённые львёнки, у которых отнимают мать их. В первый раз явились они из классов на поле брани; ученики сражались с искусством ветеранов и умирали героями на пушках, забираемых победителями.

Совершенная сдача Парижа подтверждена новыми известиями. Тем достопамятнее будет нынешнее число, что Бонапарт в прокламации своей французскому народу от 18 марта 1813 года сказал: «*Хотя бы союзные войска стояли на высотах Монмартра, я не уступлю им ни одной деревеньки из областей, вошедших в состав империи*». 18-го марта 1814 года голоса победы союзников разносятся на высотах сих; завтра вступаем в Париж. Идём сейчас занимать бивуаки в Бельвиле.

Что сказали бы вы, почтенные Капеты, вы, основатели французского царства, и ты, Генрих, отец своего народа, и ты, великолепный Лудовик XIV? Какое чувство изъявили бы вы, Сюлии, Кольберты, Тюрены, Расины и Вольтеры, опора и слава отечества своего? что сказали бы вы, когда, стряхнув с себя сон смерти, услышали бы радостное «*ура*» славян на высотах Монмартра?.. Приникни, Великий Пётр! и увенчай улыбкою своею достойного твоей славы правнука.

Бельвиль, 7 часов утра 19 марта.

Бельвиль, большею частию заключающий в себе увеселительные загородные дома парижан, можно уже назвать предместьем города — так

Арси (sur Aube), подкрепив баварцев при деревне Торси (le grand), за что награждён знаком отличия святого Георгия 4-й степени.

¹ Имя сего несчастливца узнал я из разных документов и писем, доставшихся мне после дела с записною книжкою его. Некоторые из сих бумаг довольно интересны по содержанию своему и подписям разных особ, занимающих важные места во Франции.

тесно соединён он с ним; он есть притом и предвестник его великолепия, щегольства и вкуса. Дом, занимаемый нашим генералом, убран рукою сих трёх спутников роскоши. Огромные зеркала, двадцать раз отражающие один предмет; эластические кушеты и кресла, напоминающие вам утончённые нравы века Альцибиадов и Аспазий; пышные постели, которые можно скорее назвать престолами любви и неги; туалет, убраный самими грациями, конечно, для одной из сестриц их, окружённый всеми богатствами царства Флоры; небольшая библиотека, заключающая в себе всю сущность французской словесности, под самую красивую наружность; ковры, спорящие рисунками своими с природою; севрский фарфор, богатые кенкеты, щеголеватые фермуары, потайные ящики: одним словом, всё, до чего ни дотронешься, на что ни взглянешь, создано для тончайшего услаждения наших пяти чувств, для ума и вкуса!

Хозяева дома оставили его на произвол победителей. Ещё свежи следы их бегства: вот разогнутая книга, на столе покинутая; вот чайный прибор, который не успели ещё прибрать к месту; вот другие безделки, которые нетрудно бы взять с собою, но которых унести не имели времени: всё доказывает, что парижане, обманутые (вместе со всею Франциею) красноречивыми утешениями Наполеона, оставались покойными в своих жилищах до того самого часа, как начали стучаться у дверей их грозные вестники нашей артиллерии — вестники, очень часто посылаемые докладывать Парижу о прибытии северных гостей. Где любезный братец Иосиф, обещавший народу быть Палладиным щитом его? Где корпусы избранных, несомненная защита столицы Франции? Где городское ополчение, герои Пантена и предводители их, столько храбрые словами? ...Первый с сокровищами своими бежит без души во внутренность королевства, другие в смятении удаляются к Фонтенебло; последние, увы! разошлись по кофейным домам — потоплять своё горе в круговых чашах. Как бы то ни было, вместо бродящего, отделённого от главной армии небольшого отряда наездников (как разглашали Буонапарт и подкупленные им журналисты), вместо сего слабого отряда цвет и сила союзных войск вступают в Париж. Хотя французы называют нас северными варварами, мы однако ж можем похвалиться перед ними учтивостию: как скоро, как благородно отплачиваем им московское посещение!.. Не думаю, чтобы молодые праздные наши щёголи, точные подражатели галльских обычаев, отплачивали теперь *так верно* свои визиты в Россию!..

Отборное союзное войско вступает парадом в Париж (говоря без риторической фигуры и с фигурой — как угодно!) *с лаврами*, сорванными в садах его; *белые* перевязи ещё твёрже скреплены на руках наших. Только русская гвардия (пешая и кавалерия), наши гренадеры и кирасиры, некоторые (два-три, не более) австрийские полки и прусская гвардия с их артиллериею пользуются честью знаменитого вступления. Смотри на сие войско, нельзя вообразить, чтобы оно являлось со сцены жарких битв и дымных бивуаков: так чисто и щегольски оно одето! так свежи, бодры и веселы герои после столь трудных утомительных подвигов!

Французы, ободрённые нашими ласками и милостями русского м о н а р х а, выходят уже во множестве из городских ворот. С доверенностию приближаются они к рядам, посреди которых не видно ни торжественной колесницы, ни гордого вестника, ни стада пленников, гото-

вящихся громом цепей возвещать о славе вступающего в город победителя, собственным уничтожением возвышать его величие и именем раба покрывать стыдом имя братьев, жён и друзей, с плачем их встречающих. Скромность и милосердие р о с с и й с к о г о г о с у д а р я, отклонив от них сие постыдное для них зрелище, готовит им приятнейшее. Он приходит разрешить их узы рабства, а не отягчать новыми; не слава побед его занимает, достойнейшая его слава наполняет великую душу его. «Жребий войны привёл меня к вам, — сказал и м п е р а т о р А л е к с а н д р префекту Сенского департамента и парижским мэрам, пришедшим к нему в главную квартиру его в Бонди. — Император ваш принёс в сердце России тысячи бедствий, которых следы долго не изгладятся. Справедливая оборона довела меня до сих мест, но я слишком далёк от мести. Хочу доказать им, что я пришёл платить добром за зло. Одного Наполеона почитаю врагом моим. Я обещаю особенное покровительство городу Парижу и беру под собственное моё охранение все общественные ваши заведения: одно отборное войско будет в нём расположено. Сохраню существование вашей народной гвардии. Вам остаётся утвердить счастье ваше на будущее время. Вам нужно правление, которое, дав спокойствие Франции, даст его и целой Европе; вам же предоставлено пожелать его и привести в действие. Вы найдёте меня всегда готовым поспешествовать вашему доброму рвению». Так вещает А л е к с а н д р французам — и народ, более побеждённый его милостями, нежели силою его оружия, невольно к н е м у в плен влечётся. О мирном расположении наших воинов к французскому народу и милостивом с ним обхождении упоминать не нужно; пример г о с у д а р я священный закон для его подданных.

Но вот велят нам подвинуться к городу, и у аллеи, примыкающей к воротам, дожидаться приказа о вступлении. Надобно расстаться с карандашом.

Париж, 6 ч. пополудни 19 марта.

Утомлённый разнообразием новых приятных предметов, не знаю, за описание которых из них приняться? Начну с важнейшего, незабвенного для каждого из нас предмета.

Все, от предводителя войск до рядового, ожидали с каким-то сладостным нетерпением вступления в столицу Франции; всех взоры и сердца перелетали уже городские ворота и носились мысленно над местами, целью наших нетерпеливых желаний, любезнейшею мечтою нашею от самых младенческих лет, концом всеобщих бедствий и пристанью наших побед. Не робкими путниками с посохом в руках, умоляющими дать себе гостеприимство, но смелыми победителями подошли мы ко храму искусств, художеств и вкуса и требуем, чтобы показали нам все их сокровища. Слава — лучший проводник: ей дозволен свободный вход в палаты царей и в мастерскую художника, в воинский стан и в хижину мудрого.

Лицом стояли мы к аллее, ведущей к столице Франции, и правым крылом нашим примыкали почти к городским воротам. Вдруг вестник приискал к нашему строю и объявил нам повеление вступить в Париж. Тысячи взволновались, радостное жужжание разлилось по рядам храбрых,

раздались командные слова, и весёлая музыка загрела во всех полках. Скоро увидели мы полки союзников, церемониальным маршем пробивающиеся в город: австрийцы шли впереди, за ними следовали пруссаки; гренадеры наши тронулись с места и потянулись вслед за ними; императорская гвардия, как блистательнейшее и лучшее войско, довершало шествие. «C'est un coup de maitre¹», — говорили неунывающие французы: сначала приготовить сердца зрителей к удивлению, более и более выигрывать над ними власти, и наконец изумить, поразить их!.. Мы перешагнули черту городских ворот и, вступив в Париж, насладились зрелищем, которое и поздним летам нашим готовит сладчайшие воспоминания. Представьте себе отборное войско нескольких народов в красивом блестящем одеянии, с развёрнутыми знамёнами, с барабанным боем и торжественною музыкою вступающее в победённый город; представьте себе, что шестьсот тысяч граждан встречают победителей шумными восклицаниями, в которых благодарность и вместе надежда изливаются; вообразите себе огромные дома в пять-шесть этажей, снизу доверху униженные людьми всякого состояния, волнующиеся над окнами белые платки и знамёна, усыпаемые цветами улицы; прибавьте к тому прекрасных женщин — иных плачущих над букетами из лилий, других ласкающих воинов наших милою улыбкою — старцев со слезами радости на глазах, искренние благословения детей, оглашающие беспрерывно воздух клики: «Да здравствует А л е к с а н д р, освободитель наш! да здравствует Вильгельм! да здравствуют Бурбоны! конец честолюбцу! мир, давно желанный, благословенный мир!» Соедините всё это вместе в уме и сердце вашем и признайтесь, что ни одно из блистательных торжеств древней и новой истории не представляло зрелища величественнее и трогательнее. Какое единомыслие, какое согласие чувств в таком различии народов, в таком смещении языков!.. Никто в часы сии не смел изъяснить, что он ощущал, что он говорил за несколько минут перед тем; но все понимали друг друга и все казались довольными. Прошед бесчисленные улицы предместия и самого города (надобно заметить, что улицы первого гораздо шире), бульвары и *площадь Согласия* (la place de la Concorde), мы повернули в аллею, разделяющую *Елисейские поля* и ведущую к выходу из Парижа. На правой стороне её стояли и м п е р а т о р А л е к с а н д р с королём прусским (австрийского императора нет ещё в Париже) верхом на конях с начальниками армий, генералами и адъютантами. Французы толпились по обеим сторонам аллеи, так что войска с трудом могли сквозь их проходить. Иные стояли на стульях и скамьях; другие, чтобы лучше увидеть государей, влезали на деревья; третьи, ободрённые ласками офицеров союзных войск, присаживались к ним на лошадей; некоторые тёрлись даже у ног самого и м п е р а т о р а. «Il est beau comme un Ange (он красив, как ангел!)», — говорили парижские дамы о нашем г о с у д а р е. «Доброта небесная написана на лице его!» — прибавляли другие. Один молодой француз (именем Тремонтель), стоявший подле и м п е р а т о р а, прочитав снисходительность в глазах его, осмелился ему сказать: «*Какой прекрасный, торжественный день для Вас, государь! Но, Ваше Величество, дадите ли нам мир?*» — «*Мир, конечно, мир!*» — отвечал вели-

¹ Мастерский удар (фр.)

кодушный Александр, — в дружбе, в счастье французов нахожу я моё торжество». Голос русского монарха был столь выразителен, столько милостив, что молодой француз в упоении своего восторга принимался несколько раз целовать руки доброго г о с у д а р я. Как приятно русскому наслаждаться подобными зрелищами — приятно видеть, что и чуждые народы умеют постигать всё величие души нашего и м п е р а т о р а!

По окончании церемониального марша войска начали расходиться по назначенным для них местам: гренадеры наши, составя ружья в козлы, отдыхают теперь на Елисейских полях. Офицеры наши, прельщённые милостивостью домика под вывескою: «*Jardin d'Isis (cad Изиды)*», стоящего в густой аллее Антень на берегу Сены, потянулись шумным роем в жилище египетской богини. Наружность домика нас не обманула — мы нашли во внутренности ограды его много прекрасного: во-первых, услужливых хозяина и хозяйку, двух милых дочерей с робким взором, с движениями ловкими и вместе скромными, принимающих нежданных гостей; во-вторых, нашли мы на самом маленьком куске земли прекраснейший садик, пересечённый извивистыми, жёлтым песком усыпанными дорожками, которые ведут вас то к тёмным боскетам, приготовленным, кажется, для отдыха самого Амура, то к красивым качелям, лёгкою сетью одетым, то ко множеству других затейливых игр; в-третьих — к вам, застольные эпикурейцы московские! к вам посылаю вздох сожаления, что вы не можете присутствовать теперь в кругу нашем — в-третьих, в один из тенистых боскетов подали нам вкусные котлеты en papillote (в завитках), чудесно изжаренную пуларду под трюфелями, салат, благоухающий оливами Прованса, и бутылку старого бургонского! Разговаривая с француженками, спросили мы их: что они думают о северных варварах? «Узнав вашего и м п е р а т о р а, — отвечала одна из них (самая любезнейшая), — узнав вас, государи мои, надобно признаться, что нас заставляли ужасно ошибаться на счёт ваш. Мы раскрываем теперь глаза и видим ясно, что север может дать югу уроки милости, скромности и любезности». Ответ, лестный для русских, тем более лестный, что он сказан при первом знакомстве нашем с парижанами!..

Что такое *Елисейские поля*? — спросите вы — конечно, места райские, очаровательные лесочки, шумные ручейки, бегущие друг ко другу и друг от друга убегающие по воле упрямых берегов своих, бархатные лужки, тысячами цветов испещрённые, храмы, посвящённые любви и неге, алтари, памятники, гроты? — Совсем нет! *Поля* сии не что иное, как зелёный четырёхугольный луг, хорошо расчищенный, хорошо сбережённый, ограждённый небольшим правильным леском; на этом лугу стоит очень маленький домик, или, лучше сказать, порядочно раскрашенная караульня; сверх того, в аллее Антень, принадлежащей к Елизею, есть три-четыре трактира, довольно красивые, — и более ничего! Но *поля Елисейские* составляют одно из первейших украшений города! Это правда, а именно потому, что находятся в самой шумной и весёлой части Парижа, рядом с прекрасною площадью *Согласия*, близ Сены и мостов её, в виду дворца Тюльерийского: они почитаются приятнейшим убежищем народа в праздники, в которые собирается он толпами на зелёный луг играть в воланы, в коньки, шары и прочие любимые игры. Надобно ещё прибавить, что каждый лесок, каждый садик может среди Парижа почтяться драгоцен-

ностию — среди такого города, где всё застроено и где каждый аршин земли ценится золотом.

Прекрасен вид с площади *Согласия*, а особенно с моста того же имени! Стоя на нём, видишь впереди следующие один за другим мосты: *Тюльерийский*, *Новый*, *Разменный* (Ponts Neuf et au change), которые можно считать первейшим, самым щеголеватым украшением города; вправо от них возносятся, как будто на острове, готические башни *соборной церкви Notre Dame* и близ неё купол *дворца Юстиции* (le Palais de la Justice); ещё правее тянутся вдоль берега Сены прекрасные *набережная Вольтерова* и *Буонапартова*; влево представляется вам великолепная *Луврская* колоннада и там же, ближе, *Тюльерийский дворец* с павильонами своими, с садом и красивой его оградой. Оборачиваюсь назад — и *дворец Законодательного корпуса* (le Palais du Corps legislatif), и *Дом инвалидов* с золотым куполом своим, и *Елисейские поля с площадью Согласия* и богатыми её зданиями не менее восхищают моё зрение. Место это очень живописно, но чтобы насладиться вполне красотами Парижа и окрестностей его, надобно взойти на верх *павильона Флоры* в Тюльерийском дворце — так сказали мне городские жители, и я постою советом их некогда воспользоваться.

Французский народ смотрит ещё на нас, как на людей, пришедших из другого, совершенно неизвестного мира. Наши тесные мундиры, наши шляпы и султаны, обыкновение наше крепко подтягиваться шарфом, порядок и однообразие одежды нашей — всё это приводит в удивление тех, которые привыкли видеть своих воинов в широких, свободных, как халат, мундирах, с высочайшею шляпою á la Суворов (как они называли в итальянскую кампанию), отягчённому высочайшим султаном, в нижних платьях различного покроя, в сапогах разных форм и даже в башмаках! Но удивляет их более всего то, что некоторые из наших офицеров изъясняются прекрасно по-французски и говорят на нём так легко, как парижане. Лишь только французское словцо сорвётся с языка которого-нибудь из нас, сейчас окружает его толпа любопытных и беспрестанно задаёт ему тысячи вопросов, в числе которых есть очень неразумные и показывающие большой недостаток в сведениях. Во время прилива и отлива толпы, окружившей меня со многими офицерами нашего корпуса на площади *Согласия*, подошла ко мне одна дама посредственных лет, довольно дородная и хорошо одетая. Вступлением её со мною в разговор было то, что она жила несколько лет в Москве, имела своё пребывание на Кузнецком мосту, была вхожа в лучшие дома древней столицы и часто необходима была для семейств наших князей и графов, которых фамилии она мне объявила. Когда я исполнил перед нею долг учтивого чужеземца, особенно московитянина, и когда она от меня удалилась, я спросил стоявшего подле меня француза, кто была эта дама. «*Прачка, живущая на улице Сент-Оноре!*» — отвечал он мне с какою-то подозрительною улыбкою. Здесь такие дамы прачки, а у нас играют они роль знатных выходцев, и что горестнее всего, берутся воспитывать детей наших. Думаю, что русские, побывав во Франции, откроют глаза родственникам и знакомым своим насчёт таких дам и подобных им господ, которые у нас Бог знает в какой чести и в каком уважении!..

Первый день пребывания нашего в Париже показал нам довольно разительный образчик ветренности французского народа. Мы стояли уже с час на площади *Согласия* и удовлетворяли любопытство парижан, как вдруг увидели толпы, бегущие на *площадь Вандомскую*. Увлечённые стремлением бегущих и желанием узнать, что было причиной народного волнения, мы туда же подошли. Что ж нашли мы? Несколько смельчаков влезло на вершину *колонны великой армии* (*la colonne de la grande armée*) и, надев петлю на шею колоссальной статуи Буонапарта, бросило концы верёвки народу, который с шумными радостными восклицаниями готовился уже тащить её; но караул, присланный вскоре от г о с у д а р я и м п е р а т о р а, просил очень учтиво французов позволить занять пост свой около столпа... «До другого времени!» — закричал народ и в большом беспорядке разошёлся. Надобно заметить, что на этой же площади, на том самом месте, где сооружена колонна с изображением Наполеона, стояло некогда бронзовое изваяние Лудовика XIV, отлитое Келлертом по рисунку известного Жирарда!.. Колонна великой армии есть богатый, величественный и смелый памятник честолюбия Буонапартова — памятник, который собственною красотою своею мог бы исполнить желание его: предать бессмертию военные его подвиги и деяния служивших под его знамёнами воинов. На столпе изображены главные его победы, торжественные въезды и триумфы. Высота колонны 133 фута, поперечник её 12; вышина статуи 12 футов. Площадь Вандомская четверосторонняя с отсечёнными углами; пиластры и портики домов её коринфского ордера.

Там же, 20 марта поутру.

Казаки расположили свой стан на Елисейских полях: зрелище, достойное карандаша Орловского и внимания наблюдателя земных превратностей! Там, где парижский щёголь подавал своей красавице пучок новорождённых цветов и трепетал от восхищения, читая ответ в ласковых её взорах, стоит у дымного костра башкирец в огромной засаленной шапке с длинными ушами и на конце стрелы жарит свой бифштекс. Гирлянды и флёрковые покрывала заменены сёдлами и косматыми бурками. Не куплетам стихотворцев, воспитанных самими Грациями, наставленных самим Эротом, здешние рожицы внимают: они слушают песни донских трубачуров, на хребте диких коней взлелеянных, на концах копий вскормленных и просто природою наученных. Воин, мечтавший о первенстве мира перед всеми другими, провозглашавший себя победителем вселенной, со страхом обходит лес копий, перенесённый в *столицу мира* из степей азийских. Жандармы и наёмная полиция деспота, носившие грозу и ужас между своими согражданами, уступили права свои воинам, прилетевшим с берегов Дона, Волги и Амура и разъезжающим ныне около Елисейских полей для охранения жителей, своих неприятелей. К сим чертам превратности земной надобно прибавить вид начатых при входе в Елисейские поля и при выходе из Парижа прекрасных торжественных ворот (*arc de triomphe*), начатых — и очень кстати недоконченных, как будто для того, чтобы ознаменовать собою Наполеоново величие. Любуясь сим зрелищем, читаю в нём новое разительное удостоверение, что вы-

сокомерию нашему, забывшему *пределы* человеческие, всегда свыше наминаются *они* уроком жестоким — и полезным, когда зрители его хотят им воспользоваться.

Вчера к вечеру гренадеры перенесли бивуаки свои с Елисейских полей к *Булонскому лесу*. «Булонский лес? Боже мой! Расскажите нам что-нибудь об этом парке, знаменитом поединками и самоубийствами», — кричат мне пламенные рыцари из угла мирной спальни своей, из-под розового одеяла. Погода очень дурна, господа! и для того я не имел ещё охоты заглянуть в этот дедал, куда сумасбродные поклонники зелёного стола, часто бутылки и реже всего пламенника Амурова, ходят искать конца жизни, проведённой без пользы себе и ближнему. Но если вы любите внимать грому — не на поле брани, не на поприще истинной чести и следственно истинной славы — если вы любите внимать стуку мечей, пистолетным выстрелам, стону умирающих и видеть трупы, в крови плавающие, то разверните новейшие романы, которые так скоро расходятся у наших книгопродавцов. Можете также удовлетворить своему желанию, заглянув в парижские листки, наполненные ужасными битвами, а иногда одними страшными вызовами, которых слава отдаётся несколько дней в тамошних кофейных домах. К утешению же вашему скажу, что Булонский лес имеет несколько просек, довольно искусно расположенных, что он содержится в большой чистоте и простирается от севера к югу на 2 400 туаз (одну французскую лье), а от востока к западу на 1 110 туаз. Какое обширное поприще для рыцарских подвигов! Сверх того бывают здесь несколько раз в году самые блистательные гулянья. За месяц или прежде до рокового дня парижские красавицы утраивают ласки к старым поклонникам своим, жена чаще принимает мужа в своё отделение, и молодой повеса почти каждый день до утренней звезды возвращается под кров родительский: всё это для того, чтобы в день гулянья собрать венки похвалы с толпы народной и оспорить торжество у соперников — экипажами и лошадьми. Судя по рассказам, можно сравнить сии гулянья с тем, какое Марьяна роща представляет нам 1 мая. Говорят, что многие герои праздника в Булонском лесу переменяют на другой день роль свою: из гордых требователей превращаются в униженных просителей, и торжественные колесницы свои отдают за бесценюк неумолимым кредиторам. Не знаю, дошли ли у нас богатые тщеславием и бедные расчётливостью до такой степени безрассудства.

Мы собрались обществом в Париж, и для доставления нас туда наняли огромный фиакр в две лошади, превысокие и тощие. Вообразите себе экипаж актёров, едущих на репетицию, и можете иметь самое верное понятие о нашем рыдване с упряжью. Смотри на него, любуюсь его почтенною древностью, освящённою ржавым клеймом полвека, и думаю о том, сколь любопытна была бы его история. Искусное перо, начертав её, подарило бы нас историю самого Парижа от последнего несчастного короля французского до взятия столицы. В этом фиакре мы увидели бы, может быть, и палача, обрызганного кровию государя своего, и гордого члена адского Робеспьера судилища, и робкого кавалера св. Лудовика, изгоняемого ужасами гильотины из своего отечества. В нём представился бы нам: во-первых, мамелюк первого консула, прибывший с ним из неудачной экспедиции в Египет; потом возглашатель побед императора от

Тара до Оки, взятия Вены, Берлина, Мадрида, Москвы; после того шпион кровожадного самовластителя, присланный с несчастной переправы через Березину наблюдать, в продолжение новой жатвы людей, за каждым словом, за каждым движением и взором парижских жителей. Наконец, в сём фиакре мы увидели бы себя, то есть шестерых русских офицеров, едущих осматривать редкости и красоты Парижа на другой день торжественного в него входа.

Там же, 21 марта в 12 часов ночи.

Только два дня здешняя Талия молчала: день, в который громами решалась судьба столицы Франции, и тот, в который Париж принимал в свои стены победителей. По сему образчику можно судить о любви французов к зрелищам и о лёгкости их характера. Мне кажется, что тайна самого правления сим ветреным народом состоит в спектаклях. Опыты 18-го столетия и начало 19-го удостоверяют нас в сём заключении. Не ошибался хитрый самовластитель Франции, умея всю славу и величие народные представить в зрелищах — разумея не на одних театрах, но и в блестящих празднествах, в памятниках! Слепив, оглушив французов блеском и громом их имени и деяний, он делал из них, что хотел. Но — обратимся к театру.

Нынешний вечер назначено было в *большой Опере* (le grand Opéra): «Торжество Траяна» — пьеса, в коей соединено всё, что искусства и пышность могут представить изящнейшего в декорациях, костюмах, танцах и музыке; пьеса, нарочно сочинённая для насыщения честолюбивой души Наполеона в счастливые времена побед его. Прельщённые рассказами о блеске и красоте сей оперы, а более слухом, что р о с с и й с к и й и м п е р а т о р и прусский король удостоят её представление своим присутствием, я поспешил с военными товарищами в театр в 4 часа. Многолюдство и теснота при входе в него были столь велики, что мы насилу могли продрасться до билетов. Ложи все уже были заняты; с трудом нашли мы себе места в партере, и те на задних лавочках. Сначала досадовали мы на участь свою, но после нашли её завидною, увидев, что позади нас сидели иностранные и наши государственные чиновники, министры и генералы (между коими находился и князь Трубецкой, один из любимых наших корпусных начальников). Признаюсь, что огромная величина театральной залы, правильность и красота её архитектуры, богатство и вкус её украшений, особенно пышность Наполеоновой ложи меня изумили; но более поразило меня необыкновенное зрелище нескольких тысячей посетителей, собравшихся здесь со всех концов Европы. Говоря на разных языках, отличаясь друг от друга одеянием, нравами, обычаями, несогласные доселе один с другим в мнениях и чувствах, посетители сии принесли сюда одну мысль, одно чувство: желание мира и свободы. Мне казалось, что представители многочисленных народов полушара нашего пришли праздновать здесь сию свободу и благоденствие рода человеческого. Всеобщий восторг, произведённый согласными желаниями, не мог долго таиться в сердцах зрителей. Скоро с изъяснениями признательности французов к великодушному м о н а р х у р о с с и й -

с к о м у и венценосному его другу соединился голос любви народной к законному государю. Раздались во всей зале громкие восклицания: имена А л е к с а н д р а и Фридерика слились с именами Лудовика XVIII и Бурбонов. Сорвана с Наполеоновой ложи ненавистная вывеска деспотизма, и место плотоядного орла заняли скромные лилии св. Лудовика и доброго Генриха IV. В партер брошены были кокарды белые, их схватили с восторгом и украсились ими при громких рукоплесканиях. Но вдруг глубокое молчание воцарилось в зале: поднялся занавес — актёр вышел на сцену и объявил зрителям, что по болезни одного из собратьев его «*Торжество Траяна*» отменяется. А вместо него назначаются «*Весталки*». Надобно было видеть и слышать в сии минуты, как всеобщий восторг превратился в единодушное негодование. Весть о несчастной перемене в правлении не могла бы произвести в народе бóльшого волнения. Дунет ласковый зефир — и пышная роза чуть качается не стебле своём, и челнок спокойно катится по зеркалу вод; дохнёт свирепый Борей — и столетние дубы ложатся вверх корнями, и корабли крушатся на треволненном море: таков характер французов. «Обман! — закричал единогласно целый театр. — Траяна! Траяна! или большого актёра на сцену!» Напрасно употреблял актёр всё красноречие, чтобы уверить публику в истине слов своих: публика была неумолима, требовала Траяна и грозила сцене бурю. Театральный вестник просил, по крайней мере, позволения отнестись о сём случае к и м п е р а т о р у А л е к с а н д р у. «Хорошо! Пусть будет, как ему угодно!» — отвечали зрители. В скором времени актёр явился опять на сцену с объявлением от р о с с и й с к о г о м о н а р х а, что его величество не желает предписывать законы публике и представляет решение сего случая её снисхождению. «Траяна! Траяна!» — повторили тогда с большим жаром тысячи голосов и до тех пор не умолкли, пока не показался вновь актёр на сцене с извещением, что р о с с и й с к и й и м п е р а т о р, уважая причины, побудившие к перемене пьес, просит публику позволить играть «Весталок». «Да будет воля А л е к с а н д р а исполнена! Весталок! Весталок!» — раздалось во всей зале — и в пользу Траяна не было уже ни одного голоса. Наступила глубокая тишина, как скоро пробежала по театру весть, что государи туда немедленно придут. Все зрители в немом ожидании обратились взорами к ложе, приготовленной для их величеств над амфитеатром.

Напрасно старался бы я описать минуту появления государей в театре: есть зрелища, коих ни язык человеческий, ни кисть выразить не в состоянии; есть случаи, производящие в нас такие чувства, в которых не можешь отдать ясного отчёта. Опишу только некоторые черты сей картины. Лишь только государи вступили в свою ложу, встречены они были громкими восклицаниями и рукоплесканиями, от которых, казалось, стонал и колебался театр. «Да здравствует А л е к с а н д р, наш покровитель, наш миротворец! да здравствует Вильгельм! да здравствует Лудовик XVIII! Мир и Бурбонов!» — раздавалось беспрерывно во всей зале. Мужчины поднимали вверх шляпы с белыми кокардами, женщины и дети махали белыми платками, бросали в партер лилии. Монархи различными приветливыми движениями изъясняли несколько раз свою признательность публике. Наконец, крики начали перемежаться; все зрители были тронуты до чрезвычайности; мужчины и женщины закрывали глаза платками, иные рыдали. Я видел, слы-

шал, как вокруг и позади меня плакали; я видел, как воины, поседевшие на поле брани, не могли от слёз удержаться — и плакал сам, как ребёнок. Повторяю: такое зрелище выше всех слов и описаний. Начали играть пьесу, и десять раз шумные клики и рукоплескания зрителей прерывали её, так что актёры безмолвно стояли по несколько минут, ожидая времени, когда можно им будет её продолжать. Казалось, что сцена была местом зрителей, и что самое действие происходило между ними. Публика ловила в пьесе малейшее сходство с обстоятельствами времени и всё, что могла обратить в приветствие скромным победителям. Потребовали известный народный голос: *Vive Henri IV!* Сей голос имеет в себе особенную прелесть для всякого, кто любит и чтит память добрых царей, для всякого, кто умеет чувствовать; но для души француза это Пифиев треножник. Трогательная прекрасная музыка, воспоминания об Отце народа, о славной и несчастной его династии произвели новое волнение в зрителях. Несколько раз требовали сей голос, и всякий раз был он принят с новым восторгом. Зрители рукоплескали и плакали. Один из актёров, пропев известный куплет в честь Генриха IV (французы на всё скоры), прибавил к нему экспромтом два следующие:

Vive Guillaume.
Et ses vaillants guerriers!
De notre royaume
Ils sont les boucliers:¹

.....
.....
.....
.....²

Vive A l e x a n d r e ,
Le modèle des Rois!
Sans rien prétendre,
Sans nous donner des loix,
Ce prince auguste
A le triple renom:
De Heros, de Juste,
De nous rendre Bourbon. B!³

Можно судить, какое действие произвели сии куплеты на зрителей, особенно на русских и пруссаков. В продолжение пьесы они были несколько раз повторяемы и всякий раз сопровождаемы громкими рукоплесканьями.

При выходе из театра один из важнейших чиновников государственных во Франции (Талейран-Перигор) спросил у р о с с и й с к о г о

¹ Да здравствует Вильгельм И его отважные воины! Они — щит нашего королевства (фр.)

² Окончание куплета не упомяну (примечание Лажечникова).

³ Да здравствует Александр, Образец для королей! Ни на что не претендуя, Не навязывая нам своих законов, Этот августейший повелитель Трижды славен: Как герой, праведник И тот, кто вернул нам Бурбонов (фр.)

и м п е р а т о р а, остался ли он доволен французами. «Не сыщу слов, — отвечал г о с у д а р ь, — чтобы выразить вам приятные на меня впечатления нынешнего вечера. Если бы я мог иметь когда мысль дать почувствовать Парижу бремя войны, то приём, сделанный мне жителями его, изгнал бы её из моего сердца».

Страсбург, 12 июня.

Маршрут наш не на Страсбург. Почти все французские крепости среди грома войны видели союзные войска на стенах и в стенах своих. Ныне великие монархи, уважая права и самолюбие народные, милостивою рукою отклонили от них стыд узреть победителей, возвращающихся на свою родину с торжеством мира и трофеями славы. Вёрст двадцать от Страсбурга, между сим городом и Гагенау, расположен наш Московский гренадерский полк. Поля здесь хорошо обработаны и плодородны, деревни обширны и многолюдны, лица поселянок цветут здоровьем, и руки земледельцев сильны. Чем ближе к Рейну, тем более люди и природа улыбаются.

Из окон моего жилища я мог рассматривать шпиз Страсбургской колокольни; мог даже примечать город, проглядывающий сквозь сизую пелену отдалённости. «Ныне дневка, — вздыхая, сказал я моему генералу, — почему не осмотреть вам последний хороший город Франции и заставу её?» «Пойдём в него!» — отвечал он с обыкновенною снисходительностью. И мы через весёлые обширные равнины прискакали в Страсбург.

Внутренность города не соответствует тому, что обещала нам его наружность. Дома в нём высоки, но некрасивы; улицы тесны и мрачны; много считают в нём людей, но совсем нет таких, которые заслуживали бы внимание образованного путешественника. Увидя *отрывки* здешнего гарнизона, я думал, что попал в вертеп разбойников. Страсбургские солдаты и даже *хорошо воспитанные* предводители их останавливают на улицах офицеров союзных войск (приезжающих сюда из любопытства и в надежде быть безопасными среди просвещённого народа), осыпают их низкой бранью и глупыми насмешками, которые делали бы стыд и самым поселенцам диких степей. Рассказывали мне, что в одном из здешних трактиров несколько французских офицеров, окружив нашего храброго полковника Н., спрашивали его, за какие дела получил он знаки отличия, во множестве украшавшие грудь его, и когда он отвечал им, что приобрёл некоторые за битвы под Бриенном, Арси и Парижем, они покушались сорвать с него кресты и, верно, dokonчили бы своё гнусное намерение, если б обиженный не сохранил всего благородного и благоразумного своего хладнокровия. Французам стыдно видеть на головах победителей лавры, пожатые на полях их отечества. Для чего же не мешали они славной жатве сей? Для чего же ныне толпе бродяг, окутанных в одежду воинов, силиться срывать венки, которыми вселенная почитала героев?.. Напрасно стараются господа страсбургцы в бессильном и ни для кого не вредном гневе своём сбросить на нас стыд свой; это басня издыхающей змеи, которая шипит и изливает ещё яд свой на победоносного царя пернатых, под солнцем парящего.

Что заманило нас в Страсбург из мирного нашего жилища? Колокольная соборной церкви. Ради неё приехали мы и первую её пошли осматривать. Она почитается высочайшею башнею в Европе, вышина же её 63 сажени. Нельзя не принести дани удивления тонкому искусству, с которым, на готический вкус, обделан прозрачный шпигель её; невозможно отказать от любопытства взойти на её вершину по извивающейся змеёю лестнице. На вершине забыл я усталость — так приятно было на ней находиться! Какая смелая высота! какие прелестные виды! Деревни и рощи вокруг Страсбурга чернеются, как точки; рядом горы сизою волнующею нитью теряются в отдалении. Далее зрение отказывает служить мне: будь оно совершеннее, и я увидел бы седые лбы Альпийских гор. Смотря на город, воображаешь, что держишь его на ладони своей; взглянув на народ, думаешь видеть семью муравьёв, взад и вперёд ползущих и перебирающихся в норы свои. Невозможно долго глядеть вниз: голова начинает кружиться и сердце замирает от ужаса при одной мечте — слететь с колокольни. Здешние часы почитались одним из великих произведений механики. Художник поручил двенадцати апостолам означать части дня и ночи; послушные его искусству, они приходили попеременно извещать городских жителей о каждом новом часе. Я хотел полюбоваться сим чудом механики, но мне объявили, что оно испорчено. Большому колоколу здешнему дивиться могут путешественники, не выдавшие московского. Можно сравнить первого с человеком большого роста, последнего — с великаном. Там же показывают большой охотничий рог, которым за 4 века тому назад здешние жида хотели известить неприятеля о времени, удобном для занятия города. Что сказать о внутренности самой соборной церкви? Видел я в ней много богатства и — ничего, кроме богатства!

«Где торжество искусства? где бессмертное произведение Пигалья? где слава резца его и слава Франции?» — спросил я, и меня повели в церковь св. Фомы. В ней увидел я всё, что искусство Фидиасов с Поэзией вместе произвести могут изящнейшего. Если камень может быть одушевлён творческою силой гения, то признаюсь, что мрамор маршала графа саксонского полон жизни. Пигаль есть Вергилий в своём роде. Вот описание сего памятника:

Герой, увенчанный лаврами, с повелительным жезлом в руке, бестрепетною ногою сходит по ступеням в раскрытую для него могилу. Привыкший в боях взирать на смерть с хладнокровием, смотрит на неё ныне с презрением. Победитель умирает победителем. Вправо от него лежат повержены, в ужасе и смятении, три символических зверя, представляющие соединённые армии, побеждённые им во Фландрии; знамёна сих войск разбросаны тут же в беспорядке. На левой стороне гений войны, вперивший слезящиеся очи и, кажется, душу свою в героя, обращает к земле свой факел. Герой осенён победоносными французскими знамёнами. Ниже, на ступенях, женщина прекрасная, привлекательная, но печальная силится одною рукою удержать маршала, другою отталкивает Смерть. По благородной осанке её, по знакам живой горести как не угадать, что это Франция? Смерть в виде остова, в густой саван окутанного, извещает героя, что решительная минута жизни его истекла с последней каплею, упадающею на дно водяных часов, которые она держит в руке своей. Жестокая призывает к себе славную жертву свою и убеждает её сту-

пить в гроб, для неё нарочно раскрытый. С другой стороны представлен в глубокой и важной горести Геркулес, который делает самую выгодную противоположность с Франциею. Печаль Геркулеса есть печаль мужа, сохранившего твёрдость духа, ему свойственную; Франция огорчена, как чувствительная, нежная женщина, которая лишилась милого предмета, составлявшего всю славу и утешение её. Над всеми сими фигурами возносится пирамида из дикого мрамора. Внизу гробницы изображён герб графа, пересечённый двумя маршальскими жезлами и украшенный цепью польского ордена Белого Орла. На главной фазе пирамиды следующая латинская надпись:

MAURICIO SAXONI
Curlandise et Semigalliae Duci
summo regionum exercitum praefecto
semper victori

LUDJVICUS XV
victoriarum auctor et ipse Dux poni
jussit.

366

ОВИТ XXX. NOV. ANNO MDCCL. AETATIS LV.

То есть:

Маврикию (графу) Саксонскому, герцогу Курляндскому и Семигальскому, непобеждённому генералиссимусу королевских войск, Л у д о в и к XV, виновник его побед и сам вождь, воздвигнул сей памятник.

Он скончался (в замке Шембор) 30 ноября 1750 на 55 году от рождения».

Известный профессор *Шепфель* сочинил было другую латинскую надпись, которая по красоте слога и содержанию в себе жизни маршала, знаменитого писателя и полководца, заслужила бы скорее занять место на памятнике.

Вот что говорит француз о сём памятнике: «Не надгробный монумент, но трофеи нашей славы видим мы в сём богатом произведении искусства. Франция не перестала ещё проливать слёзы на прах победителя при Фонтенуа, Року, Лавфелде и пр; а герой, стряхнув с себя сон смерти, воскресает уже среди торжеств своих: он живёт и присутствует между нами. Чудом сим обязаны мы резцу нового Праксителя, покорившего мрамор законам своего гения».

Здешний университет гремел некогда успехами своими и привлекал в свои стены толпу иностранцев; но с того времени, как учителя и ученики, надев трёхцветную кокарду и синие мундиры, вздумали воевать и сделать путешествие к снегам Севера, солнце просвещения уже слабо проглядывает на учёное сие заведение, и мудрость мудрецов приметно мрачится.

Потсдам, 16 июля.

Нынешний марш показался нам весёлою прогулкой: так прелестна дорога, ведущая к Потсдаму! Природа покинула скучную однообразность, неразлучную с нею от самого Дессау, и, как будто желая вознаградить свою временную скупость, рассыпала вдруг щедроты свои на здешнюю окрестность. Не величественною, не ужасною она здесь является, но милостиво и тем более прелестною, что она выказывается на каждом шагу непостоянно. Чем ближе к Потсдаму, тем виды очаровательнее. Деревни с садами своими рассыпаны там и сям, как цепи красивых мыз; пригорки увенчаны множеством ветряных мельниц и храмов Божьими; мрачные боры сменяются весёлыми лесочками, по холмам и долинам жатвы расстилаются золотыми волнистыми коврами; опушённые зелёными берегами ручейки бегут в разные стороны, мелькают, исчезают, удержанные плотинами, снова появляются наподобие озёр, низвергаясь шумными водопадами, движут мельницы и пробуждают окрестность.

Дорога наша тем приятнее, что мы здесь принимаем, как гости, сердцу милые. При входе в каждый городок, даже в некоторые деревни, сделаны торжественные ворота, убранные цветочными венками, деревьями, надписями и другими украшениями. В домах новые неожиданные приветствия! В числе надписей нам очень понравилось лаконичное «*ура!*» на воротах Белица. Ничем лучшим нельзя было нас встретить, ничего красноречивее сказать невозможно было. Потсдам приветствовал нас надписью: «*Willkommen, liebe Brüder!*» *Милости просим, любезные братья!* — нас, говорю я, ибо в этом приглашении можем равно участвовать с прусскими воинами. Дружба русских с пруссаками, не изменённая в продолжение целой кампании (от самых берегов Немана), приучила нас ни в коем случае не отделяться друг от друга. Участь одних всегда почитаема была общею. Рождённая благодарностию, поддержанная благородным духом обоих народов, дружба сия равно свято сохранялась в соломенных шалашах бивуаков, в сечах кровавых на пиру у смерти и в победах над врагом общей свободы. Она не охлаждалась неудачами, не усиливалась успехами, и в торжествах не была забыта. Можно сказать, что пруссаки с русскими везде составляли *одно* войско. Никогда имя *союзников* не было даваемо приличнее и справедливее, и если подвигам мужества и твёрдости народного характера не посмеют грядущие времена отказать в удивлении, то, без сомнения, принесут они достойную дань уважения примерной дружбе двух народов и дружбе их царей, столько же примерной.

Нас предупредили, что Блюхер находится в Потсдаме — Блюхер, герой Кацбаха и Бриенна, всегда пылкий и отважный, никогда не показывавший тыла неприятелю, не терпящий впереди себя ни чужих, ни своих; у огня бивуаков простой солдат, довольный сухарём хлеба с водою, — в мирном кругу друзей своих роскошный Лукулл, охотник до игры и пиров; ужас для французов, любовь и слава Пруссии; любовь самих русских солдат, привыкших служить под его начальством и почитать его за своего одноземца. «*Брюхов* — славный генерал, — говорят наши солдаты, — любит идти вперёд и не балует неприятеля ретирадами. Таков был и батюшка Суворов!» Гвардейская артиллерия, идущая с нами, и Московский гренадерский полк, несколько обчистившись за городом, вошли в него па-

радом и прошли церемониальным маршем мимо жилища прусского героя. Начальник отряда, генерал Полуктов, был к нему приглашён. По должности моей, я за ним последовал. Блюхер встретил генерала несколькими лестными словами насчёт наружности воинов наших. *Георгиевская лента*, накинутая по жилету, звезда её и железный крест первой степени были *единственные* знаки отличия, его украшавшие... Прочая же одежда его была самая скромная одежда гусара. На слова он не расточителен.

По широким и правильным улицам (из которых славится так называемая Римская), по высоким и красивым домам, по величественной площади, украшенной великолепным дворцом, можно назвать Потсдам прекрасным городом: но увидев, что по этим улицам ходят одни солдаты, узнав, что в сих домах помещается гарнизон и что по площади гуляют только воинские отряды, осмелюсь назвать его прекрасными казармами. Сличая нынешнее состояние Потсдама с описанием его, сделанным «Русским путешественником» в 1789 году, считаешь г. Карамзина своим спутником. Кажется, что я гляжу на здешние предметы его глазами. Встретив здесь человека незнакомого, которого портрет, чрезвычайно с ним сходный, у меня долго хранился, говорю в изумлении: «Боже мой! да я его знаю!» Таким же образом рассматриваю и здешний город. Вот заключение, какое делает о нём «Русский путешественник»: «Потсдам похож на такой город, из которого жители удалились, слыша о приближении неприятеля, и в котором остался только гарнизон для его защищения». Небольшую перемену сделал бы я ныне в этом заключении, и сказал бы: пустота и уныние Потсдама тем более приметны, что настоящие его жители — солдаты, вышедшие из него для защиты родных пределов, не все ещё прибыли в него.

В ожидании поездки в Сан-Суси я пошёл рассеять скуку свою на парадное место. Зашедши там в конфектную лавку, не раскаиваюсь. Содержатель её, итальянец, был придворным кондитером у Фридрика II, знает о нём множество анекдотов и, несмотря на зиму дней своих, говорит о нём с пылкостью юноши.

Там же.

С каким благоговением смотрим на памятник, хранящий в себе прах великого человека! сколь красноречив для сердца нашего самый надгробный камень его! Но места, к которым он имел особенную привязанность, где он являлся со всеми слабостями и добродетелями своими, где каждый предмет носит отпечаток его вкуса, ума и характера, которому он, так сказать, завещал, как любимцу своему, как верхнейшему другу, лучшие свои сокровища, свои тайны, славу и памятки домашней жизни: сие любимое жилище великого человека ещё привлекательнее, ещё красноречивее для потомства. Эрменонвиль, Ферней, Званка будут иметь особенную прелесть до тех пор, пока жить будут имена Руссо, Вольтера, Державина. Сан-Суси равно бессмертен, равно для нас любезен: в нём любил отдыхать от грома побед и забот политики венчанный герой-поэт и философ; в нём любил он беседовать с мудрецами, живыми и мёртвыми, с изящною природою и искусствами. Привязанность его к сему убе-

жищу была самая нежная и постоянная: она не охлаждалась среди торжеств и неудач его. «Тоскую по моём Сан-Суси, как израильтяне по обетованной земле, — писал Фридерик II среди трофеев своих к маркизу д'Аржану. — Когда-то увижу любезное моё уединение? Мысленно брожу с вами по всем углам дома, по всем садовым дорожкам», — повторял он к нему же, удручённый заботами тяжкой борьбы с тремя могучими неприятелями. Признаюсь: я горел нетерпением увидеть жилище, столько любезное Великому Фридерiku, и не дал генералу моему покоя до тех пор, пока не отправились мы в Сан-Суси. Дорогой присоединились к нам артиллерийский полковник Нилус, эпикуреец в любви ко всему изящному, в каких бы родах оно ни представлялось ему, и любезный капитан Глухов, страстный поклонник великих людей. Прекрасные виды, приятная беседа сократили путь наш, и без того не длинный. При въезде в главную аллею, ведущую к нагорному дворцу, сердце моё забилося сильнее, как будто от ожидания встретить самого Фридерика II. Глазам не нравится в аллее угол, дающий ей вид неправильный, и вкус невольно ропщет на сию погрешность в прекрасном целом. Но сердце радуется, видя здесь черту великой души г о с у д а р я – ч е л о в е к а. Угол этот сохранён единственно из угождения бедной женщине, не хотевшей за большие деньги уступить королю клочок земли, издавна принадлежавший отцу её. Примеры такого снисхождения в пылком Фридерике II, хотя они были в нём нередки, заслуживают, конечно, дани сердечного уважения потомства. У самого подъезда ко дворцу представляется вам подобный же памятник великодушия его. Помните ли в его истории мельника, который, несмотря на все просьбы и щедрые предложения короля, на все угрозы его не согласился продать свою мельницу и, когда разгневанный его упорством государь приказал сказать ему, что он отнимет её силою, отвечал: *«Не боюсь этого: нас разберут в Берлине в суде!»* Ответ, делающий столько же чести государю, как и подданному его, показывающий в первом строгого блюстителя законов, а в другом твёрдого гражданина, повинующегося не страху казни, но правосудию законов сих. Мельница поныне стоит на том же месте (она, кажется, обновлена в правление нынешнего короля). В самом близком соседстве с дворцом, махая и шумя крыльями почти над кровлею его, она не нарушает своим шумом сладкого сна добрых царей. Терраса, вышедшая на площадку, достойна также замечания. На неё часто выносили короля во время последней болезни его; здесь любил он смотреть на прекрасную природу и помышлять о вечности. Незадолго до его смерти сидел он здесь: день был прекрасный, солнце во всём великолепии своём шествовало по лазоревому небу. Долго любовался им король, провожая его ясными взорами; душа его, казалось, отделилась от земного и витала уже в странах небесных. Наконец, как будто возвратившись ею на землю, как будто пришед в себя, вздохнув, сказал он: *«Скоро, скоро переселюсь к тебе навеки!»* Мне кажется, что я и теперь вижу на террасе большого Фридерика...

Принцессы прусские (дочери нынешнего короля) были во дворце, и мы в присутствии их не смели осматривать его. Они скоро выехали из Сан-Суси обратно в Берлин, оставив нам полную свободу быть везде и всё видеть. Мы пробежали ряд комнат, дивясь мраморам, колоннадам, прекрасным картинам и гобеленовым обоям, спорящим не

только с красками художника, но и самой природы. Кабинет короля занял нас более, не потому, что он убран весь кедровым деревом, что в нём искусство и великолепие являются под наружностью простоты, но потому, что в нём гений *великого* беседовал с философами всех времён и народов, что в нём писал он бессмертные послания свои к Вольтерам, Даламберам, Фонтенелям, ко всем остроумцам и глубокомысленным писателям своего века, ими столько богатого. Отсюда изливалось благотворение, согревавшее его любимцев. Но комната, где умер герой-философ, ещё более возбудила наше внимание. Все предметы в ней точно в таком положении, как были при смерти его. Письменный столик, накрытый сукном, чернилами закапленным; чернильница и перо, к которым прикасался король хладяющими перстами; длинные кресла, на которых он сживал во время болезни своей, и с коих диктовал он за день до своей смерти наставления своему министру: всё было нами пересмотрено с особенным благоговением. На столе стоят часы с надписью известного изречения Тита: «*diem perdidit*» (я потерял день). Достойно замечания, что они остановились в тот самый час, как скончался король. Стрелка и теперь неподвижна на роковом числе. Здесь вспомнил я стихи, писанные королём к Вольтеру в самую мрачную его годину:

Voltaire dans son hermitage,
 Dans un pays, dont l'héritage
 Est son antique bonne foi,
 Peut s'adonner en paix à la vertu du sage,
 Dont Platon nous marque la loi.
 Pour moi menacé du naufrage,
 Je dois en affrontant l'orage
 Penser, vivre et mourir en Roi.¹

Он исполнил то, что писал: мыслил, жил и умер по-царски. Не забыл я взглянуть на изображение увенчанного Вольтера, сего своенравного любимца короля, предмета зависти и любви его, сохранённой им до самой смерти, хотя писатель-деспот не всегда был её достоин. В другой комнате видели мы любопытный альбом принцессы Шарлотты. Я хотел выписать из него несколько прекрасных строк, написанных нынешним королём дочери его, — хотел и не смел это сделать.

«Дворец низок и мал, — говорит *«Русский путешественник»*, — но, взглянув на него, всякий назовёт его прекрасным. В нём умел король соединить простоту с великолепием». Вышедши из дворца на гору, по зелёному бархату коей спускаешься в сад, перешёл я, казалось, из храма изящных искусств и славы в храм прекрасной природы. Какое разнообразие видов представляется вам с горы сей — и что ни вид, то картина! Смотрите, и не насытите зренья; восхищаетесь, и удовольствием вашему

¹ Вольтер в своём уединении В стране, сохранившей Древнее благочестие, Может спокойно отдаться жизни мудреца, Законы которой дал нам Платон. А я, которому грозит крушение, Встречая грудью бурю, Должен думать, жить и умереть как король (фр.)

нет границ. Природа говорит здесь смертному: «Всё это для тебя — наслаждайся! Преклоняя колени перед моим могуществом, сознайся, что все сокровища твои ничтожны в сравнении с моими богатствами, что ты, рассыпая груды золота, не превзойдёшь меня никогда в щедрости». В саду взглянули мы на небольшие плиты, положенные в память любимых собак королевских: *Биши*, сопровождавшей его в походах и сражениях, и *Дианы*, известной по жирному письму к штетинскому ландграфу Гибнеру. Мы пробежали персиковую аллею, китайский и так называемый старый сад, японский домик, расписанный по рисункам Лесера, прекрасные храмики, мостики, — и поспешили в *новый дворец*, ибо день начинал уже вечереть. Сколько старый дворец похож на сельское скромное убежище царя-мудреца, столько новый являет в себе пышное великолепное жилище монарха, окружившего себя бесчисленными сокровищами природы и искусств. Немудрено: он устроил первый *для себя*, второй — для глаз любопытных путешественников; в одном *жил* он, то есть наслаждался жизнью, как *человек*, — в другом хотел показать, что король прусский умеет жить по-царски. Картинная галерея в здешнем дворце богата произведениями знаменитых художников. Достойно замечания то, что Фридерик был сам порядочный живописец и хороший ценитель дарований. Входя в мраморную залу, видите целый Олимп над головою вашей. Собрание богов создано сюда творческою кистью Ванлоо. Только мне странно показалось, что живописец представил в числе их две Славы, несущие какое-то зелёное покрывало, ничего не означающее. Недоумение моё разрешил придворный слуга, показывавший нам редкости дворца. «Надобно знать, — сказал он, — что знаменитый художник был великий льстец. Расписывая потолок, он представил на нём две славы, держащие лавровые венки над вензелем Фридерика II. Король, увидав его работу при самом окончании её, хотел в первом гневе своим приказом зачернить весь Олимп; но, подумав потом, что надобно будет снова расписывать потолок и снова платить деньги, велел только закрыть свой вензель зелёным покрывалом, — так, как вы теперь видите».

371

ПОХОДНЫЕ ЗАПИСКИ РУССКОГО ОФИЦЕРА

При входе в новый дворец с нами встретился человек небольшого роста, в кожаном картузе, в одежде простого путешественника, не слишком щеголеватой. По наружности почёл я его за какого-нибудь небогатого русского дворянина; но по глубокому почтению, ему оказываемому генералом моим, и по червонцу, который сунул он провожавшему нас слуге, заключил я, что он должен быть что-нибудь более. Из Сан-Суси отправился он с нами в одной коляске: дорогою был очень весел, любезен и говорил с большим остроумием о происшествиях в Италии, откуда он теперь возвращался. Только в Потсдаме узнал я, что это был известный наш министр полиции, Александр Дмитриевич Балашов.

Походные записки. 1813-й и 1814-й.

Зарубежный поход русской армии как части союзных войск антинаполеоновской коалиции, завершившийся взятием Парижа, не получил такого яркого выражения в литературе, как 1812 год. И это понятно: решалась судьба не Отечества, но европейских государств. Некоторые дальновидные люди (среди них

сам Кутузов) предлагали остановиться на своих границах, но имперская политика перевесила. Европа потом с лихвой отблагодарит за своё освобождение, а новый Наполеон (третий, он же «малый») расплатится в Крыму по счетам своего великого предшественника.

И. И. Лажечников описывает зарубежный поход глазами непосредственного участника, ничуть не сомневающегося в его необходимости и высшей справедливости. Иронические картины заносчивой Польши сменяются восторгом перед прусскими дорогами и порядками, честностью бюргеров и памятью о войне-философе Фридрихе II, автор явно сочувствует и евангелистам-гернгутерам с их нравственной и бытовой опрятностью. Однако наиболее выпуклым получился всё же рассказ о Франции. Воспитанный на французской культуре, русский офицерский корпус (начиная с Александра I) не ощущал себя завоевателем, и даже голос мести умолк на подступах к Парижу. Стоит отметить, как русский офицер Лажечников отдаёт должное мужеству и отваге защитников Парижа. Возможно, он затем слишком увлекается восторженным настроением парижской толпы, но вскоре сам же себя охлаждает описанием негостеприимного Страсбурга. Картина в итоге получается объёмной и не лишённой противоречий.

Стоит заметить также, что в записках Лажечникова не так много батальных эпизодов. Это объясняется, с одной стороны, его тогдашним положением адъютанта принца Мекленбургского, затем генерала Полуэктова, а с другой стороны, вообще невоинственностью нашего автора. Он строит свои записки скорее как своеобразное военное путешествие по Европе, следуя по стопам своего тогдашнего кумира — автора «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина (не случайно мы находим у Лажечникова много отсылок к этому произведению, открывавшему Европу для России).

«Походные записки русского офицера» за почти два века ныне переиздаются только во второй раз. Поначалу произведшие некоторый эффект, они были быстро забыты: воспитанные на Пушкине, Лермонтове и Гоголе, русские читатели отвернулись от архаической риторики, да и сам Лажечников уходил от неё, немного даже стыдясь своих «Походных записок» (второе издание 1836 года не было санкционировано автором). Между тем читателю стоит не много потрудиться, чтобы обнаружить в них достоинство документа эпохи, зреющий талант наблюдателя и, конечно же, неискоренимое в Лажечникове до конца жизни сердечное человеколюбие. Как странно, согласитесь, звучит сегодня это старое слово!

Центральным событием записок является взятие Парижа, 200 лет которому исполняется в этом году. На разорение Москвы наполеоновскими солдатами русская армия ответила исключительно благородным отношением к завоёванной столице. Таким образом, известный гуманизм начинающего тогда писателя питался и от реальной истории, участником которой он был.

Подготовка текста и послесловие В. А. Викторovichа.
Перевод французских текстов С. А. Савостиной.



Была война...





Графика Василины Королёвой

ДНЕВНИК ЛАРИСЫ ГОРЯЧЕВОЙ



Евгений Львович Ломако родился 1 августа 1974 года в Коломне. Окончил технологический факультет Коломенского пединститута (ныне МГОСГИ). Кандидат исторических наук. Лауреат Макариевской премии. С 2009 года — заведующий отделом Коломенского краеведческого музея.

Автор нескольких десятков статей в научных сборниках, федеральных и региональных журналах, местных средствах массовой информации, ряда брошюр по истории города, путеводителей. Один из авторов и создателей электронной энциклопедии «Коломна», выдержавшей уже четыре выпуска. Несколько лет вёл краеведческий раздел на Коломенском радио.

Евгений Львович Ломако награждён общественными медалями «За активную гражданскую позицию и патриотизм» и «За сохранение исторической памяти», юбилейным знаком «Коломне 835 лет».

Архивная публикация

Всё дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны, годовые 1941–1945-й. Всё реже звучат голоса непосредственных участников тех событий. И тем ценнее становятся их воспоминания, запечатлённые на бумаге или аудио-, видеоплёнке.

Особое место в ряду мемуаристики занимают дневниковые записи, описывающие непосредственно самый миг переживаемого момента. Музею боевой славы города Коломны повезло. В один из дней к нам пришла Татьяна Михайловна Гавришина и принесла старую школьную тетрадь, на обложке которой значилось: «Дневник № 1 с конца октября 1940 года ученицы 9б класса средней школы № 26 им. В. П. Чкалова Горячевой Ларисы, 15 лет». В ходе беседы выяснилось, что это дневник её тётки — Ларисы Сергеевны Горячевой, записывавшей свои впечатления, начиная с последних предвоенных месяцев до середины 1940-х годов. Семья Горячевых жила в селе Ильинском Коломенского района, где у Сергея Дмитриевича и Агриппины Ивановны родилось четверо детей: Евгения (1921 г. р.), Борис (1922 г. р.), Виктор (1923 г. р.), Лариса (1925 г. р.). В 1933 году Горячевы перебираются в Коломну, в дом № 4 по улице Гончарной, близ Богоявленской церкви. Почти сразу отец уходит из семьи, а Агриппина Ивановна берёт девичью фамилию — Котова. На долю семьи выпадают различные испытания, в том числе и Великой Отечественной войной. И об этом, и о многом другом — на страницах дневника Ларисы Горячевой, из которого мы публикуем выдержки, начиная с 22 июня 1941 года.

22/VI–41 г.

Был пасмурный день, шёл дождь. Я пошла на базар. Было невесело. Мама работала в ночной. Клава¹ была дома, она спала. Я пришла с базара, Клава собиралась пить чай. Вдруг я слышу: «Внимание, внимание, внимание! В 12 часов 15 минут по радио будет выступать Молотов». Это говорю Клаве, она была в кухне, а я — в доме. Она как вдруг встрепенётся и с ироничной улыбкой: «Ну, сейчас чего-нибудь хорошенького скажет». Я думала, правда. Она говорит: «Ну, наверное, куда-нибудь всыпались». — «Как так? Ты сказала —хорошее скажет». Наступило время, он стал говорить и сказал, что Германия, проклятый Гитлер на нас напал. Я вскипела бешенством. Я негодовала, была готова его разорвать. Весь народ нашей страны всколыхнулся.

Мы стали жить тревожной жизнью. Город наш на угрожаемом положении, огонь в городе не горит, темно. Я почти перестала ходить гулять, за продуктами стала очередь.

Нам сказали, что нужно идти убирать дворец² под госпиталь. Я и Настя, соседняя девчонка, пошли. Два раза ходили. Готовиться в медучилище я продолжала ходить.

Город немного привык к обстановке, на улицах — дежурство. Мы тоже дежурили.

Из фронтовых городов эвакуировали детей. Нас горком призвал помочь их встречать. Встретить и отправить их на место. Их ждали ночью, в три часа. Мы пошли, но был дан сигнал воздушной тревоги. И мы вернулись домой.

Однажды я встала, и говорят, Риту мобилизовали. Я была встревожена, но потом к вечеру их отпустили, я успокоилась. Вот раз я сплю и слышу сквозь сон, дело было под утро: «Лариса Горячева здесь живёт?» Мама сказала: «Здесь». Ей вручили повестку. Я тут же проснулась. Меня вызывали в горком с вещами и 3-дневным пайком. Я взволновалась, но ничего, не плакала. Я скорей встала, пошла в город за провизией, времени у меня было мало, т. к. [повестку] принесли в седьмом часу. К десяти часам являться, я очень спешила. Мама волновалась, плакала, т. к. до этого брали девушек и ребят и далеко отправляли. На Украину, в Крым.

Нам сказали — в Коломенский район³. Мама не верила.

¹ Клавдия Петровна Макарова (1920 г. р.) — училась вместе с Е. Горячевой в медицинском техникуме, поселилась у Горячевых на время учёбы и проживала ещё в 1941 г. Она часто упоминается на страницах дневника.

² Имеется в виду Дворец культуры.

³ В этом месте дневника прикреплены отдельные листы, похожие на путевые заметки: «11 июля. Легла спать. Мне в 6 часов повестки приносят. Я, конечно, немного не того, но потом успокоилась. Стала собираться. Мама плачет. Пошли, сбор был в горкоме комсомола. Долго ждали отправки, но, наконец, пришёл грузовик. Я села, но он был полон, и я слезла, а потом пришёл второй грузовик, и мы отправились. Ехали деревнями, а потом нас привезли на аэродром. Построили, меня vybrали главной. Я за всем слежу. Привели нас в ангар, в холодок, мы на траве расселись. Мы поели и лежим, Настя ушла работать.

12 июля. Встали рано, до восхода солнца. Почти всю ночь не спали. Спали снаружи, подстелив сено под себя. Нас кусали комары, девчонки визжали. Поев, мы пошли работать. Взошло солнце. Мы ровняли поле, картошку вырывали и ровняли грядки. Ели всё своё, сухое, большое недовольство. Обед — тоже свой.

Нас погрузили в грузовики и повезли по направлению к Голутвину. Мама думала, нас там будут грузить в вагоны. Но нас отвезли на Коробчевский аэродром. Аэродром готовить. Три дня мы там были и пешком удрали. После этого никуда не вызывали, только рожь грузить. Всем выдали карточки на продукты. Хлеба дают помалу. Мне дают 400 гр. Женю пока не мобилизовали, от папы нет слуха. Гитлеровские лётчики бомбили Москву. Вот уже 6 раз, не то 7.

Ночи спим тревожно. Спим во всё. С девчонками в разладе, они что-то одни, я им тоже не кланяюсь. Никуда не хожу, только два раза в кино ходила: «В тылу у врага» да «Майская ночь». Скучно...

29/VII—41 г.—29/VIII—41 г.

Прошло много времени, и я многое не помню. Дни шли скучно и однообразно. Забота была одна: о пище. Каждый день стояла где-нибудь в очереди. У нас ввели карточную систему. Война продолжается, и не видно конца. 15/VIII—41 г. — Женя была мобилизована в армию. Мы остались одни. Мама много плакала. Она расстроенная(?). Женя находится в окрестностях Волоколамска. 27/VIII—41 г. Клаву мобилизовали на бронепоезд. Она пока здесь. Живёт в части в Голутвине. Я думала поступить в пединститут, но меня учителя отговорили, и я не пошла. Испытания, которые мне давали на осень, сдала и перешла в 10-й класс. За это время к нам раза 3–4 приезжал Славец. Я была очень рада. Один раз мы с ним ходили в кино, смотрели кино «Пятый океан». Оно мне очень понравилось. Славец учится в аэроклубе, недалеко от нас, вот он и приехал. В другой раз мы устроили вечер у Риты. Он мне понравился, вечер был до 12.30 ночи. Славец подарил мне книгу. Обещался приехать, но вряд ли приедет.

30-31/VIII—41 г.

Ходили в школу узнавать насчёт учёбы. Нам сказали, что учиться не будем до 1 октября, а сентябрь будем работать в колхозе. На улице гуляем мало, ходила в сад: в свой и в Бобровский. Там танцевала с чужими ребятами, которые меня приглашали. Женя шлёт письма.

1/IX—41 г.

Пошла в школу к 8 ч. утра с завтраком (едой) на день. Нам сказали, что нас берут на месяц на Коломзавод работать. Из школы пошли в Бобровский сад. Там долго ждали, пока нам дадут пропуска. Пропуска дали, и мы пошли в завод, но в этот день не работали. Пришла домой, устала. Борису прислали повестку в райвоенкомат.

Во время перерыва ходили в деревню за молоком и яйцами, но их не было. Я всё прокляла. Поев, час поспали, (стали) работать, мы сено сгребали. Приехал буфет, но там ничего хорошего. Ситро, но всё дорого. Спали в сене, в здании, на полу, подстелив под себя одеяло. Спали крепко.

13 июля. Встали, т. е. нас разбудили, в 6-м часу. Умылись на реке и поели. Пошли работать, рыли картошку. Было организовать. Пришли на обед, поели, и я стирала колготки(?). Написала письмо».

2/IX—41 г.

Этот день — день сборов и отправки Бориса в армию. Его зачислили в бронетанковое училище. Отправили его в Челябинск. Его провожали все ребята. Аля, Рита из девчат. С Алей он сфотографировался. Проводили его, мама всё плакала.

3/IX—20/IX—41 г.

Третьего числа встала утром рано. Пошла на завод. Туда шла с тётей Гуней (Ритиной тётей). С непривычки я в этот день очень устала. Потом стала привыкать. На заводе завела подруг. На заводе мне очень понравился наш инструктор. Он очень красив, строен, по-моему, наверное, уже лет под 30, фамилия Бородин Володя. Он очень ласково и нежно смотрит и улыбается...

У нас в дому живут два лейтенанта и одна девушка военврач, а мы живём в кухне. 10/IX—41 г. Коломзавод передавал бронепоезд его команде. Я на этом митинге присутствовала, стояла с букетами цветов и у самого бронепоезда. Приезжал Папанин и говорил речь. Я его видела, прям вот рядом. Я вручала бойцам букеты цветов. Видала Клаву (через несколько клеточек: «До свиданья.»).

21/IX—41 г.

Встала, отогнала корову в стадо. Пришла, переделась, отнесла на завод противогаз. Пришла, убралась немножечко. Поели, и села писать дневник, так как я его очень много пропустила. Давно не ходила к Раечке и боюсь идти. Что будет дальше, не знаю.

22/IX—41 г.—1/XII—41 г.

В это время было много случаев несчастий, перемен. Начнём немного по порядку. До 1 октября я гуляла, т. е. в школу не ходила, так как она была закрыта. Нашу школу № 26 им. В. П. Чкалова заняли под госпиталь, нас перевели в 22-ю школу. Но в конце сентября её заняли бойцы, и нас перевели в 7-ю школу. 1 октября я, как и все, празднично одетая, пошла в школу. Класс собрался небольшой, 28 человек. 2 октября пришло больше в школу. Но 2 октября нам объявили, что мы должны ехать на 15 дней в колхоз, рыть картофель. Но мы ещё свой дома не вырыли, и я не поехала, и никто из девочек не поехал. Так я и была до 15 октября дома. 15 октября опять пошла в школу, но, просидев два урока алгебры, я и Лиза удрали и больше не пошли. Да здесь в это время из хлеба было тяжело. Рано приходилось вставать за хлебом. На фронте было не блестяще, немец шагал быстро, подошёл к Москве. От Жени не было писем, от Бориса из Копейска. Виктор работал на заводе. Я и мама — дома. Многих начали посылать на копание противотанковых рвов. От Клавы не было писем. От папы тоже. Жизнь не весела. От Клавы не было вестей, но вот слухи. Пришёл разбитый бронепоезд, но врача на нём не было (Клава была на бронепоезде врачом). Потом пошли слухи, что Клаву сожгло паром. Кто говорил, её в голову ранило и сожгло грудь. Но она была жива, её несли бойцы, не то один боец, но она была без памяти. Придя в себя, она спросила: «Кто стреляет?» — «Наши», — сказали ей. Она говорит: «Положите, я всё равно умру, а вы спасайтесь». И её положили в лесочке. Так говорят, но верно — бронепоезд пришёл разбитым, но на нём не было Клавы. Через некоторое время пришли её вещи к нам. Я их

передала сестре. В городе поднялась суматоха, немец подошёл близко. Началась эвакуация из города народа вместе с заводами. Виктора назначили к эвакуации, но он не поехал. Он стал ходить копать окопы. С завода тоже начали посылать копать окопы. От Жени не было писем. Началась всеобщая мобилизация, и Виктора взяли в армию. Это было очень трудно. 5 ноября мы его отправили. Они пошли на Саранск, оттуда их вернули в Муром. От Жени получили письма и были очень рады. От Бориса не стало писем, но потом пришли. Жизнь не весела. Я ходила в кино, но мало, и на какие, не помню. Стали говорить, скоро начнём учиться. 7 ноября прошли [на демонстрации] не весело, со слезами. От Жени опять не стало писем. Сказали, что с 1 декабря начнём учиться.

С 1 декабря по 31 декабря.

Встала, оделась, пошла в школу. Нам дали класс. Я попала вместе с Лидой Лазаревой. В классе народу много, особенно мальчиков, было много хороших из них. Я ещё в октябре заболела и потеряла голос. Говорила шёпотом и в школе учителям не отвечала. Учителя вызовут отвечать, а я молчу. Я ходила почти каждый день на лечение. Мне стало помогать, а сейчас хорошо говорю.

Учителя вызовут отвечать, а я молчу. В классе большинство было ребят. Есть всякие, но и хорошие. Много ребят из техникума, один из которых мне понравился, Женя Киселёв. Очень интересный парень (*жирно зачёркнуто — просто красавец*). Но на него имеет(?) глаза Маргарита Забурина. И сама ему набивается, а он вроде к ней ничего. Иногда он со мной разговаривает. Идёшь по залу (*зачёркнуто — коридору*), а он остановит и начнёт что-нибудь говорить. Встретимся, он улыбается, но, конечно, по этому нельзя судить его отношение ко мне. Может быть, это мне кажется, но всё-таки он мне нравится. Маргарита говорила, что к Новому году будет дело, но у них ничего нет. В школе не учимся, а дурью мучаемся. На уроках в карты играем. Говорим. Сегодня, 31/ХІІ-41 г., на уроках пожелания писали. Один парень прислал пожелание, написанное по-украински, а я его не понимаю.

Теперь начала говорить, и меня начали спрашивать. От Жени же писем нет. От ребят есть. Но Виктор живёт в тяжёлых условиях. Борис легче живёт.

В школе должна быть ёлка, но точно не знаю, когда будет. Сажу одна, скучно, вспоминаю старое, плакать хочется. Жду Нового года, что он мне принесёт. Мама спит на печке, а я сажу и думаю обо всём. Хочется увидеть сестру Женечку, от которой уже давно нет письма. Хочется знать, что с ней, как она. К этим мыслям он приплетается, где он, что делает? Может, веселится, так пусть — на здоровье. А может, как я, сидит, скучает. Ох, жизнь-жестянка! Да это во всём виноват немец. Ему захотелось нашего хлеба да дешёвых рук. Ну, я думаю, мы его вскоре выгоним. Да здравствует победа (*подчёркнуто жирной чертой*)! Сейчас стала читать книги и ими увлекаюсь. Они сильно на меня действуют, т. е. оставляют большое впечатление. И я после их прочтения много переживаю. Сажу, а радио поёт, но звук не блестящ. Славек прислал Виктору письмо и открытку. Он в Тбилиси, живёт хорошо. Время уже без пяти 11 ночи. Выступает по радио Калинин. Вот 12 ночи. Я приготовлю рюмку вина, хлеба и печёного(?) помидора на закуску. Сказали двенадцать, и я пью вино и закусываю. Прощай, старый год!!!

1942 год!!

Здравствуй, Новый год и новые победы над врагом!!

1 января

Был выходной, никуда не ходила. День прошёл скучно. Наши войска одерживают победы над гадами немцами. Они продвигаются вперёд. Немец несёт большие потери.

2-3/1

Учились, как обычно. День шёл по-обычному.

4/1—42 г.

Был выходной. Получили от Жени телеграмму и письмо и до слёз были рады. Она в действующей Красной армии, полевая почтовая станция 1517, 124-й отдельный сапёрный батальон, 3-я рота, в/ф [*военфельдшеру*] Горячевой Е. С. Виктор всё находится в Муроме, Борис — в Челябинске.

5—17/1—42 г.

Кончалась четверть. Нужно было учить уроки. 10/1 нам был устроен в помещении парка для учеников 7-й школы старших классов вечер. Там был Женя К. Но он был с др. девчонками, так как их перевели в другой класс от нас, и он был с девчонками того класса.

На вечере я чувствовала себя стеснённо. Сама не знаю, почему. Я с ним уже больше не разговаривала, но в глубине души что-то было к нему и даже до сих пор, хотя уже сейчас не так. Викторов товарищ Гошка прислал письмо и пишет, что Виктора услали на фронт, а он нам ничего не пишет. Борис всё в Челябинске и учится хорошо. Женя на фронте, о Клаве Макаровой нет известий. Я веду очень большую корреспонденцию и даже надоело писать письма. Как сядешь, так 3—4—5—6 писем пишешь.

18/1

Был выходной. Я ходила к Раечке. Беру её к себе, она у нас иногда ночует.

19/1—26/II.

Было всего много, но часто ездила с Лидой Лазаревой выступать в военные части. Однажды была на вечере у комсостава, их на фронт провожали. Было весело. Меня один всё время приглашал танцевать. Я себя насильно заставляю полюбить Мишу Жимкеева. Он очень интересный парень, лучше всех из класса, но я узнала, что он за Валею Алексеевой мазирует(?), и я сейчас к нему равнодушна, хотя и равнодушная к нему не имела. У меня больше в голове сидит Женя К. За это время я была на многих вечерах, особенно с 20 по 24/II в Боброве. Там видела его: он был с ребятами, без девчонок.

Лида мне тоже сказала, что она сильно «треснулась» в одного, когда ездили в часть выступать, даже сейчас из головы не выколотишь его. Я его видела. Парень интересный, седенький такой. Мне хочется добить-

ся внимания со стороны интересного парня, но мне трудно это сделать, так как очки, которые я ношу, мешают этому.

Четверть начала с отличных отметок, потом сразу на «плохо» стала съезжать и сейчас еле выкарабкиваюсь. Очень было обидно после «отличных» «плохо» получать. Дали нам сочинение, а я ещё и не писала. Не знаю, как быть. Виктор с фронта прислал письмо. Женя пишет, Борис тоже. К Раечке часто хожу и беру её к себе ночевать, и так кое-что ей поесть туда ношу. О папе нет известий. О Клаве тоже нет. Кланя с Наточкой и Ритой в Красноярске. Она пишет письма, девчонки болели. Маруся Храпова прислала уже 2 письма из Кирова, куда они эвакуировались. Галя Рожнова тоже прислала письмо, пишет, что очень трудно. Лёня Котов, двоюродный брат, прислал письмо. Он в Омске. Дядя Ваня тоже прислал письмо. Он опять в Новом Осколе. Немца всё гонят на запад. Я в подарок бойцам сшила два кисета, один вышила, другой — нет, 2 платка носовых, в госпиталь дала тарелку.

Для жителей разорённых областей дала чашку и блюдце, ложку. Внесла 5 р. на постройку агитпоезда. Мы проходили сельское хоз. и сан. дело, скоро будем изучать трактора и автомашину.

27/II—21/III—42 г.

Было всего много хорошего и плохого. Но вот что плохо, я забываю писать и иногда просто ленюсь. Насчёт учёбы ничего, кончилась четверть благополучно в среднем и по сравнению с другими учениками класса, на «хорошо» с четырьмя «пос.» [посредственными]. Остальные — «хор.» и «отл.». В доме по-старому. Мама — дома, я учусь. От Жени есть письма, от Бори тоже, от Виктора нет писем. Ребят из класса многих взяла в армию. Один уже письмо из действующей прислал. Я послала письмо на фронт, оно попало девушке. И она мне ответ прислала, а я ей не пишу ответ, сама не знаю, почему. Началось потепление. Немца гонят на запад. Душевных переживаний было мало. Пока, до свидания.

22/III—26/IV—42 г.

Началась 4-я степень (так в дневнике — четверть?). Начала благополучно. Нас в классе 13 человек, да и те не все ходят. Нас часто спрашивают, и поэтому у каждого из нас по многу [отметок]. От Жени и Бориса есть письма, от Виктора нет. За это время с мамой случилось 2 несчастия. Одно — она себе под Пасху по брови поленом ударила, и глаз заплыл. Сейчас прошёл почти. А вторая беда — она себе вену на проволоку разорвала, и я очень напугалась и сильно переживала(?) в этот день.

Скоро ей швы снимать с раны, так как ей это место зашивали. Не ходила день, потом стала двигаться. Сейчас ходит. От Жени получила две открытки, одну — лично для меня: «Птичка на одной ножке». Я ей тоже послала открытку. Сегодня мы получили от неё письмо, и она пишет, что я ей сухие письма пишу. Это меня очень взволновало и я себе места не найду. Я ей написала письмо и не знаю, как оно ей будет. Сегодня я не в духе, плакала даже, чего со мной никогда не было. Душа чего-то раздирается. Куда, не знаю, деваться. Чего ей надо, тоже не знаю. Может, завтра разрешу этот вопрос. Пока, до свидания.

27/IV-42 г. — 20/X-42¹

Давно я не писала, много было горького, но и счастливые минуты были. Начну по порядку, как помню. Подходили испытания², и к ним готовилась, всё повторяла. От Жени, Бори и от Вити получали письма. Витя прислал, что его ранили 14 апреля. Он прислал письмо с дороги в госпиталь, мы не могли себе поверить, что получили от него письмо. Мы были очень рады. Он был ранен в левую руку (*на странице дневника — рисунок руки с указанием места ранения*). Лежал он в госпитале в Острогожске Воронежской обл. до 22 июня. Потом его выписали в часть. Он нам писал. Последнее письмо получили от него от 6 июля, он ехал на фронт, и больше от него ни слуху ни духу. И вот 26 сентября весть. К нам пришла бумажка. Часть, в которой он был последнее время, известила нас, что наш Виктор погиб смертью героя, сражаясь за Родину, верный воинской присяге. 17 августа похоронен в совхозе им. Юркина Сталинградской обл. Это известие нас как обухом по голове ударило. Очень тяжело переживать смерть брата. Нас у мамы осталось трое. Я сама получила первая это извещение и, не зная, как его передать, спросила дядю Ваню. Потом мы подложили его в ящик, когда пришла и тётка Шура. И она, дядя Ваня, я вечером вынули, как бы ничего не зная. Конечно, здесь был такой вой и плач, что трудно передать. Сейчас всё (*далее неразборчиво*).

Женя писала и сейчас пишет часто. В сентябре она нас известила, что вышла замуж. Это было для нас большой радостью, и в следующих письмах написала, что она беременна, но долго стеснялась нам это сказать. Этому мы ещё больше обрадовались, так как должна скоро приехать, и мы ждём, не дождёмся этого счастливого дня. И готовимся к её приезду, должна приехать 25 декабря. Боря писал до 25 июля из Нижнего Тагила. 12 августа он проехал на фронт мимо дома. Напротив дома бросил открытку, велел прийти в Голутвин³. Мы с мамой бегали, но его там не было. Эшелон их не остановился и проехал мимо.

Это мы очень тяжело переживали, плакали, охали, вздыхали. Он видал дом, ребят, знакомые места родные, а родных — нет. Ему тоже тяжело переживать. С фронта он нам писал часто и аккуратно, письма бойкие, весёлые. Последнее письмо получили от 29 сентября⁴. Писал, танк его подбили, то-

¹ Здесь чернила размыты, очень трудно читать, впечатление, что Л. Горячева плакала над ними.

² Школьные экзамены.

³ Текст на открытке следующего содержания: «Мама, открытку бросил на ходу. Ехал мимо дома. Приходи в Голутвин. Боря Горячев. 12/VIII.42 г.».

⁴ В семье сохранилось одно из писем Бориса Горячева: «Добрый день, мама, Лариса. Шлю вам свой горячий танкистский привет и желаю наилучших успехов в вашей жизни. Привет Жене, Вите. Мама, из Тагила я уехал 8 августа. Ехал мимо дома утром, видел ребят маленьких, я им бросил открытку. Видел и друзей с Репинского оврага, они шли на работу. Тётю Наташу видел Петрову. Но около своего дома никого не видел. Живу я сейчас хорошо. Кормят не как ..., а как ... Кормят хорошо, курить хватает достаточно. Но время написать письмо недостаточно. Обмундирование новое. Живём в лесу под открытым небом. Самочувствие хорошее, ничем не болею. Ходим уже купаться на реку 2 раза. *Фраза вычеркнута*. Сейчас стоим на отдыхе неделю. Украина (*далее вычеркнута*), так что скоро там будем. Да, я

варища ранило, он жив, здоров. Он был механик-водитель, командир танка, сержант, комсомолец. И вот 17 октября опять я получила письмо, по внешности его не могу понять, кому точно и от кого. Стала прежде(?) одна читать.

Оказалось, что его раненый друг извещал нас, что наш Борис в боях за Родину пал смертью храбрых, был убит 5 октября. Но уже это окончательно ударило меня по голове. Товарищ писал, что 152-дюймовый снаряд попал прямо в танк. Маме я об [этом] не говорю и не знаю, как сказать, а одной очень тяжело переживать. Она всё говорит, что-то Боря не пишет, а я ведь знаю, а она нет. Вот как хочешь, терпи. Прямо сердце разрывается. Всё плачу втихомолку. Как вот теперь ей сказать, вот задача. Очень жаль, что я теперь не имею братьев, как раньше. Раньше, когда была(?) поменьше, я гордилась, никто меня пальцем не мог тронуть, ведь у меня 2 брата, они отомстят. Подруги мне часто завидовали. Теперь их нет. Пишу об этом, еле удерживая слёзы. Вспомнишь, как уже подростками мы играли, все вместе гуляли, танцевали. Вот вчера пошла с Ритой в кино. Ходили по саду и вспоминали, где мы танцевали, стояли. Как мы однажды, все ребята и девчата, шли из сада вместе, под ручку. Очень памятный день. Теперь уже некоторых нет. Все ребята в армии, и некоторые из них на фронте, а некоторых нет в живых. Мама за это время, почти всё время, чувствовала себя хорошо. Так, иногда, малость прихварывала. Она всё плачет о ребятах и ждёт не дожждётся приезда Жени. К нам приехал из Нового Оскола дядя Ваня (мамин брат). Он очень хороший во всех отношениях, и я его очень люблю. Он как отец родной(?), обо всём побеспокоится. Он живёт у нас с начала лета и работает в райисполкоме зоотехником. Нам с ним очень хорошо, он нам во многом в хозяйстве помогает. В Новом Осколе у немца осталась его жена тётя Ньюша. Дядю Ваню послали в командировку, а там немец поднапёр и занял город, он так у нас и остался. Сын его Алексей находится всё ещё в училище в Омске — Кировске, уже лётчик, лейтенант.

Теперь пишу о себе. Кончилась 3-я четверть, начинались испытания, я готовилась и боялась их, больше всего литературы: материал знаю, а боюсь, ошибок накаताю. Ну, бог миловал, сдала её на «пос.». На диво себе и людям остальные сдала на «отлично», только немецкий на «хор.». Испытания были по литературе, алгебре, геометрии с тригонометрией вместе, немецкому, физике. На подготовку по одному дню давали. Я всё успевала повторить, даже сама себе удивляюсь. Сдавала всё не худо. 28-го отелилась корова, и неблагополучно. Телёнок без хвоста, без глаз, задница на спине, рот на бок. Мы его зарезали. И корова заболела очень тяжело. Мы боялись, что не выживет, а мне надо готовиться к испытаниям, и от неё нельзя отойти, врача не дозовёшься. Мы с ней ночи ночевали.

Я вся перевернулась. Ну ничего, и испытания сдала на «отл.», и корова выжила. Сейчас чувствует себя хорошо. Окончились испытания, стали собирать выпускной вечер, собрали по 20 р. для стола. Было небольшое угощение. Для военного времени вечер был ничего, до 11 часов гуляли, а потом — рассвет. Мы пошли все по большой прогулялись и домой. Так я окончила 10

сегодня здесь нашёл одного щуровского, вот я с ним познакомлюсь и вам напишу его адрес на всякий случай. Он работал вместе с Митей дяди Ваниным. Адрес мой: Д.К.А.П.С. 2135, подразделение 2/1. До свидания, крепко целую, ваш сын Боря. Привет всем, ваш боец. 25/IX—42 г. Боря».

классов (но откровенно признаваясь, писать не умею во всех отношениях). Я стала у мамы проситься в Москву учиться. Мама согласилась, Женя тоже.

11 июня. Я первый раз в жизни поехала в Москву. Она мне не понравилась на первый раз: шум, беготня. Внешне(?) — ничего красивого, за исключением некоторых зданий. Сейчас я стала к ней привыкать. Хотела поступать в пищевой институт, но не пришлось, там черчение. Я прямо заплакала от обиды. Пошли с Лидой в Тимирязевскую академию, там нет черчения, и поступили туда на плодоовощной факультет. Пробыли в Москве три дня, намучились — жуть. Потом мне стали слать повестки на работу, но я кое-как отделялась. 2 раза летом ездила для себя пилить дрова с дядей Ваней и т. Олей. Дни шли по обыкновенному, без перемен: встаёшь, уберёшься, поешь, поможешь маме, считаешь, поешь, поделаешь, считаешь, за коровой сходишь — и опять вечер, электричества нет, и спать. Но летом хорошо, поздно наступает темнота, а вот сейчас беда: электричества нет, и темно рано. 8-го августа опять с Лидой ездила в академию. Нам сказали, что занятия начнутся по вызову. Мы там погуляли по Москве и — домой. Как начали у нас здесь помидоры, я стала ездить в Москву их продавать. Почти всегда было удачно. На 1200 до 700 р. наторговывала да кое-что привозила, самое главное — вино. 24 сентября пришёл вызов ехать учиться. Я стала собираться, всё у меня было готово. Ещё летом мама сшила мне шикарное пальто, прямо по последней моде. Воротник один 1 300 р. стоит. Бельё было чисто, готово, и всё складывалось в чемодан. И вдруг известие о смерти Вити. Это покорило(?) взгляды мамы. Ей жаль было отпустить меня от себя и остаться одной, но она мне этого не говорила. И вот в предпоследний вечер, перед отъездом, она мне объявила, что не намерена пускать меня учиться. Начала она, дядя Ваня и т. Шура разговаривать, что тяжело из питания, да обстановки какая, то да сё, и не пустили меня, сказав, иди учиться на заочные курсы. Так мне и пришлось перейти на заочные. Пока ещё не начала, но скоро начну. Недавно была в Москве, сказали, что с 19/Х начнут действовать курсы. Сейчас сижу дома, помогаю маме. Вчера и сегодня мыли дом и жить перебрались сюда. От людей мне стыдно, что не учусь и не работаю, как все. Моя подруга Рита учится, и ей тяжело в материальном отношении, и мне перед ней стыдно. В личных делах мало интересного. Как кончила школу, мало в обществе, мало где бываю. У нас летом стояла часть, и к нам за молоком ходили двое военных: один лейтенант, другой — не знаю. Очень интересные, и они мне нравились, и очень жаль, я уехала в Непецино к тётке Нюше косить своей корове сено, и не видела, как их отправили на фронт.

Ещё летом мое спокойствие нарушил Ваня Гошль (старший лейтенант). Прошлую осень у нас стояла девушка на квартире, и он был её ухажёр, и случайно летом зашёл к нам вечером, посидел с нами, поговорил и потом попросил, чтобы я за ним заперла. Я пошла, он попрощался со мной за руку и долго её не выпускал из своей. Так мы дошли до калитки, потом он ещё приходил, патефон брал, у нас заводил и очень нежно ко мне относился. Я ему сшила галуны, но вот давно уже я не знаю ничего о его судьбе. А так больше сильно ничего не было. Довольствуюсь воспоминаниями, что-то и глаза не глядят ни на что. Тем более сейчас на фронте неважно, немец под Сталинградом, прёт на Кавказ, хотя от Москвы немного отогнали. В общем, в обстановке дело неважное. Обещанный Англией и США 2-й фронт до сих пор



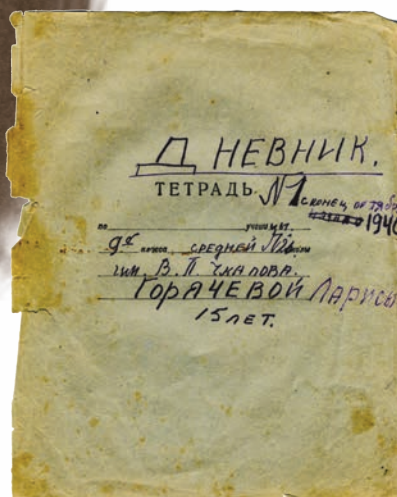
Лариса Сергеевна Горячева. 1970-е годы

всё готовится. Вроде, всё написала, да забыла. В августе ходила заниматься к учительнице по литературе писать грамотно и логично. Кое-чему подучилась. Недавно была в Москве, навела маникюр, приехала домой, а мать давай ругать, хоть ехай назад счищай. Всё хочу записывать чище и аккуратнее, но ничего не получается: то забуду, то лень, то некогда. А дорвусь, напишу, сам сатана и не разберётся, да половину забудешь. Пока, до свидания. Горячева.

В 1943 году Лариса всё-таки перешла на очное обучение и стала учиться в Москве. Окончив в 1947 году Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, она стала активно работать по специальности

агроном-полевод. В течение двух лет поднялась с должности младшего научного сотрудника группы бобовых культур Московской государственной селекционной станции до старшего научного сотрудника отдела кормовых трав в той же организации в Серебряно-Прудском районе. Но в 1950 году Ларису Сергеевну поджидала беда: вместе со всей группой она заразилась энцефалитом. Все погибли, а вот Л. С. Горячева при поддержке матери выздоровела, несмотря на то, что в течение двух лет находилась на 2-й группе инвалидности. Окончательно вернувшись в Коломну, Лариса Сергеевна работала лаборантом горпищепромкомбината, а затем связала свою жизнь с сельскохозяйственным техникумом, для чего окончила в 1957 году агропедагогический факультет родной академии. Была награждена медалями «В память 800-летия Москвы», «Ветеран труда». С 1980 года Л. С. Горячева находилась на пенсии. В 2003 году Лариса Сергеевна ушла из жизни, но благодаря дневнику время донесло до нас голос молодой девушки с её переживаниями и мечтами, девушки, юность которой оказалась опалена Великой Отечественной войной.

Из старого альбома



Лариса Горячева и её дневник



Братья Горячевы с жёнами. Слева направо: Иван Дмитриевич с Прасковьей, Сергей Дмитриевич с Агриппиной Ивановной (Груней), Алексей Дмитриевич с Татьяной



Братья и сёстры Горячевы. Слева направо: Лариса, Виктор, Борис, Женя. 1931 год



Агриппина Ивановна Котова с детьми. 1937 год



Дом по ул. Гончарной, 4. Слева – Лариса Горячева. 1939 год



*Надпись на обороте фото:
«На память Горячевой Жене от
Макаровой Клары в годы студен-
ческой жизни. 1/VII – 38 г.»*



*Слева направо: Клавдия Петровна Макарова, фельдшер,
Татьяна Свистун, Евгения Сергеевна Горячева. 9/X.1939*



*Коломенский медицинский техникум. Выпуск 1938 года, группа фельдшеров.
Крайняя справа сидит Е. Горячева, в 4-м ряду 4-я справа – К. Макарова*



*Бойцы бронепоезда № 1 «За Сталина!». Слева направо:
К. П. Макарова, Е. И. Кубышкина, С. П. Петрухина. 1941 год.*



Борис с подругой Алей перед уходом на войну. 19.08.1941



Клавдия Макарова среди комсостава бронепоезда № 1 «За Сталина!». 1941 год



Борис Горячев



Виктор Горячев

Добрый день Мама Борис
Шлю тебе свой первый танкистский привет
и желаю написать денег в твой адрес
Хорошо Живу Више
Мама из Паша зусси ~~Жавушо~~
Ехал много дней утром видел
редко маленькая и мы бросили отпры-
тшу. Видел и друзей с фронтового фронта
они шли на работу. Паша Наталью видел
Петрову. Но жалею своего дома на конюхе
видел. Живу и себе хорошо
Коричень не как был, а как дома
Коричень хорошо, курить себя
досаждаетою. Но брешу писем написать
не дойдятогою. Визуировали в новое
Живу в лесу под шифромным лесом
Самодельные хорошо, ни чем не
Болею. Живу уже двести на фронту
2 раза. ~~Свое письмо~~ Свое письмо на
виделся тебе. Окраине ~~видел~~
так же скоро там буди
Да я всегда с твоим одним Щуровского
вой с нами изюжкомысь и ваш танкист

Письмо Бориса Горячева



Галина Константиновна Горчакова родилась в Ленинграде. Вскоре с семьёй переехала в Горький. Окончила историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Работала в многотиражной газете Горьковского политехнического института, на Горьковской областной студии телевидения, заведовала отделом в газете «Коломенская правда». Сейчас является заместителем директора — главного редактора Коломенского информационного агентства. Заслуженный работник печати Московской области.

С 1998 года участвует в поисковом движении. На её творческом счету несколько книг о психологии поиска, о людях, им занимающихся, о целях и результатах этой работы. Награждена медалью «Патриот России» Росвоенцентра, общественными медалями «За сохранение исторической памяти» и «За заслуги» (в ознаменование 25-летия поискового движения России).

Очерк

Галина Горчакова

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ...

*Я порою себя ощущаю связанной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной.
Юлия Друнина*

Помогите отыскать его следы...

В поисковых экспедициях много незабываемых моментов. Никогда не забыть приезжавших в лагерь коломенского отряда «Суворов» родственников поднятых бойцов. Дети, уже сами давно не молодые, едут из дальних мест на торжественное захоронение. Дочь Максима Даниловича Комиссарова, сухонькая, маленькая старушка, из костромской деревни добиралась на перекладных. Дочь Ефима Ивановича Ткаченко в лагере одели в общевоинской защитный костюм — много воды было в ту осень на лесных дорогах, ноги вязли по шиколотку. Через самые топкие места поисковики переносили её на руках. Не забыть, как с внуками Василия Николаевича Преображенцева, живущими в Удмуртии и Пермском крае, ходили к воронке в лесу, откуда в предыдущую вахту подняли 90 с лишним человек, в том числе и их деда. Далась эта воронка нелегко, с двух сторон в яму вдруг хлынули пльвуны, пришлось спешно ставить дамбы из кольев и вычерпывать, вычерпывать холодную мутную воду... Новой весной яма всклянь налита водой, по поверхности плывут жухлые прошлогодние листья. Внуки, посто-



*Поисковый отряд «Суворов» с родственниками поднятых солдат.
Мемориальный комплекс «Невский пяточок»*

яв молча, достают видеокамеру, снимают лес вокруг, воронку, в которой отражается такое мирное весеннее небо, снимают ржавое железо, брошенное на отвале, — слёкшиеся в единый ком патроны, диски «магазина» к пулемёту

Дегтярёва и осколки, осколки...

Родственники солдат Василия Андреевича Сорокина и Акима Никифоровича Гришина долго переживали увиденное: на бруствере бывшего окопа рядом стояли ботинки, 18 пар, какие-то из них носили их деды. И была в том окопе голубая эмалированная кружечка, гораздо меньше казённых армейских. Мы тогда решили, что наверняка взяла её из дома единственная девушка, которая была в тот час с бойцами, Галина, а фамилию узнать не удалось, в журнале безвозвратных потерь не хватало пол-листа.

Те родственники, что приезжают на машинах, привозят угощение и подарки. А поисковики, особенно юная часть отряда, стосковавшаяся по маминой еде, рады до-



Здесь в 1943 году был медсанбат

*Воинский мемориал на
Синявинских высотах*

машним пирожкам и прочим разносолам. Из Якутии приехала целая делегация, привезла в подарок чорон — деревянный резной сосуд для кумыса. У якутов эта вещь олицетворяет гостеприимство и дружбу.

Многие ничего не знают о судьбе своих пропавших без вести и погибших, и лишь в некоторых семьях берегут редкие документы военной поры. У Нигматуллиных, живущих в Башкирии, уцелели и похоронка 1943 года, и фотография отца, копию которой они привезли поисковикам.

Редко, но слышишь, что поиск — занятие ненужное. Так говорят люди, не знающие сути дела... Чтобы убедиться в обратном, надо просто зайти в Интернет на специальные сайты, и тогда увидишь, сколько народа ищет своих не вернувшихся с войны. Уже даже не дети, а внуки и правнуки пытаются установить, где воевал дед, в каких боях участвовал, где похоронен. На поисковых форумах знатоки дают советы, иногда ищут всем миром и находят нужную информацию!

Памятна история семьи Фолькманов из Питера. Владимир Борисович, сын погибшего Бориса Робертовича Фолькмана, и Борис, внук, названный в честь деда, долго искали его могилу. А воевал он на Невском пятачке, умер от ран в медсанбате. Сын и внук методично наудачу объезжали братские могилы Ленинградской области в надежде встретить на памятниках свою редкую фамилию. Были и на мемориале «Синявинские высоты» в Кировском районе. Безрезультатно. И вот однажды в Интернете Владимир Борисович наткнулся на информацию о бойцах, поднятых отрядом «Суворов»: в ней среди захороненных на мемориале «Синявинские высоты» был упомянут и Борис Робертович Фолькман. Собрались сын и внук и снова приехали на мемориал. На сосне обнаружили списки захороненных в братских могилах, составленные поисковиками, а в списках отыскали и отца. «Это было как чудо, в которое трудно сразу поверить, ведь прошло столько лет, — делился впечатлениями Владимир Борисович. — Оставалось узнать, в какой именно братской могиле похоронен отец». И они отправились в лагерь «Суворова».

Позже Борис Фолькман писал у себя в блоге: «Я заметил, что интерес к своему прошлому растёт пропорционально прожитым годам. Хотя могут быть и другие причины. Так или иначе, но на этот раз наша «делегация» состояла уже из пяти человек, которые, несмотря на рабочий день, отложили свои важные дела, чтобы посетить и своими глазами увидеть памятные для нашей семьи места. Я никак не представлял, а может, просто не думал о том, что сейчас, через 65 лет после войны, в земле лежит столько не похороненных неизвестных людей. Странное, необъяснимое чувство, когда стоишь на влажных прошлогодних листьях в голом весеннем лесу на краю наполненной водой ямы и представляешь это же место весной 1943 года... Там начинаешь понимать, что война была не только в военных фильмах и книгах».





Новгородская область – край болотистый

Комендант Долины смерти

396 На каждом фронте была своя Долина смерти. Под Мясным Бором весной 1942 года в окружение попала 2-я ударная армия. В Интернете доступен немецкий архив фотографий, запечатлевших те события. Болото, в котором кони вязнут по брюхо. Дороги если и есть, то залиты водой. Деревья, на высоту человеческого роста лишённые коры, — её пытались есть голодные измождённые солдаты. Тела умерших от голода...

Трагедию Второй ударной долгое время замалчивали, ответственность за предательство генерала Власова распространяли на всю армию, на солдат, пытавшихся прорваться сквозь кольцо окружения, погибавших от пуль и осколков, умиравших от голода. Тела их так и остались лежать неприбранными. Одним из первых отважился войти в послевоенный лес Николай Орлов, путевой обходчик станций Подберезье железной дороги «Новгород — Чудово». Именно отважился, потому что ходить туда было опасно: минные поля начали снимать только в начале 50-х годов. Что увидел он в Долине смерти, страшно представить, даже искорёженное оружие и военная техника создают тягостное впечатление, а тут останки людей в заплесневелых ватниках и шинелях, слоями друг на друге... Хоронить их одному человеку было, конечно, не под силу, и Николай нашёл единомышленников. Они не только отдавали последний долг павшим — они пытались отыскать родственников тех, у кого обнаруживали документы. Об этом человеке, которого по праву считают одним из родоначальников поискового движения, писатель Сергей Смирнов, автор «Брестской крепости», написал очерк «Комендант Долины смерти».

С тех пор в лесах перебивало множество народа: сапёры проводили разминирование; заготовители вывозили военный металлолом, тяжёлой техникой вминая солдатские косточки в землю; энергетики протянули линии ЛЭП, лесоустроители посадили прямо по костям молодые ёлочки. Эти ёлоч-



Личные вещи найденного солдата тщательно осматривают: нет ли подписанных

ки, ставшие теперь взрослыми елями... Доставать останки из-под их корней, растащивших кости на значительные расстояния, — труд очень тяжёлый.

В конце 40-х годов прошла государственная кампания по переносу останков на кладбища и мемори-

алы. Провели, отпортовали. А незахороненных солдат поисковики и по сей день выносят из лесов и болот. Только в госпитальных захоронениях на берегах реки Кереть за последнее десятилетие обнаружили под две тысячи человек. В Мясном Бору образовалось обширное кладбище, и после каждой Вахты памяти добавляется новая братская могила. Кто едет по Ленинградскому шоссе, видит этот воинский мемориал. И не подозревает, с какими трудностями он создавался. К 80-м годам в стране уже возникло поисковое движение, под Мясной Бор стали приезжать организованные отряды со всего СССР, поднятые останки исчислялись сотнями и тысячами, а захоранивать органы власти разрешали поначалу лишь тех, у кого был найден и прочитан смертный медальон. Между тем поисковики знают: найти медальон, да ещё и прочитать его — удача нечастая. Один год даже выставляли милицейские кордоны, чтобы не пускать поисковиков в лес. «Нарушителей» задерживали, штрафовали. Но работы продолжались, а поднятые за экспедицию останки оставляли в лесу, во времянках. Позже их перенесли в Мясной Бор, образовав братское кладбище. В начале 2000-х годов поисковое сообщество было возмущено тем, что во время благоустройства, предпринятого эстетики ради, жертвой перепланировки пали некоторые захоронения...

Имя Николая Орлова носит поисковое объединение Новгородской области «Долина», под эгидой которого работают отряды не только из России, но и других стран, бывших республик СССР. В том числе и коломенские отряды «Торнадо» и «Надежда».

«Прощай, мама, мама, мама!»

Новгородский поисковый отряд «Находка» входит в объединение «Долина». Он работает на местах Демянского котла. В феврале 1942 года советские войска окружили в районе Демянска большую группировку врага, однако немцы прорвались и образовали коридор шириной шесть — восемь километров. Бои продолжались целый год: наши стремились замкнуть кольцо, враг хотел из него вырваться. Мне довелось поработать с «Находкой» в окрестностях озера Вельё. До места работы пришлось добираться на вездеходе, который пёр по болотистой почве, подминая под себя жидкое чернолесье. Медленно, зато верно. Сидя в железном нутре, надо было хвататься за что попало, чтобы



Работает отряд «Находка». К месту работы придется выезжать на вездеходе

не расшибиться при очередном толчке. В тот день ребята разбирали санитарные захоронения недалеко от передовых окопов. День был по-осеннему непостоянным: то светило солнце, а то вдруг обрушивался небольшой, преходящий дождь, который только замешивал глину в наших ямах. Вымазались, как черти. Нашли медальон, но он оказался истлевшим в труху.

А на следующую осень «Находка» работала в окрестностях деревни Ватолино.

«Мы нашли останки и в воронках, где их похоронили сразу после боёв, и верховые, лежащие просто подо мхом, — рассказал руководитель отряда Александр Морзунов. — Этих последних бойцов уже находили, скорее всего, в 60-е годы сапёры или солдаты стройбата, которые искали и уничтожали взрывоопасные предметы и оружие. Мины, снаряды, тротил мы обнаружили в нескольких ямах невядалеке, была ещё яма с металлическими предметами — противогазами, котелками, кружками погибших, то есть отобрали у погибших железо и тем практически лишили их возможности быть найденными с помощью металлодетекторов. Самих солдат сгребли в кучки и прикрыли мхом. Почему не похоронили, непонятно».

При сержанте Михаиле Александровиче Колесникове, 1912 года рождения, была обнаружена записка: «Товарищ найденного данного медальона, прошу сообщить по адресу: г. Новосибирск, ул. Садовая, д. 4, кв. 6, Колесниковой Прасковье Ивановне. Надеюсь, вас не затруднит черкнуть пару строк моей мамаше, которую я люблю. Сообщите ей, в каких обстоятельствах вы нашли этот вкладыш и вышлите в письме эту писанину. Вот моя к вам просьба, которую, надеюсь, исполните». На обратной стороне записки было всего четыре слова: «Прощай, мама, мама, мама!».

Горький камень Аджимушкай

Теперь это снова наша, российская территория. А тринадцать лет назад, когда наш подмосковный сводный отряд добирался до Крымского полуострова, чтобы впервые принять участие в международной поисковой экспедиции «Аджимушкай» под Керчью, в Харькове мы столкнулись с бесстыдством украинской пограничницы, которая вымогала у нас взятку. Тётка придралась к какой-то неточности в документах: не то что-то лишнее написали наши чиновники, не то, наоборот, чего-то не дописали... Она упёрлась и не пропускала через границу самых юных членов нашего отряда, которые ехали не по паспортам, а по свидетельствам о рождении. Я как руководитель отряда вначале пыталась пробудить у неё чувство сопереживания, объясняя смысл и цель нашей поездки, потом попробовала надавить на жалость, но она была неумолима: «Мне же тоже надо детей кормить!» Пришлось собрать ей деньги. Вот такое было первое наше впечатление от Украины.

Поиск в аджимушкайских каменоломнях продолжается более сорока лет. Когда-то вся страна знала о трагических событиях мая 1942 года, когда Крымский фронт не удержал оборону, был наголову разбит и отступил за Керченский пролив. Разрозненные группы морских пехотинцев, кавалеристов, пограничников, курсантов военных училищ — тех, кто переправиться не успел, вместе с отрядами, прикрывавшими отход наших войск, спустились в каменоломни, в которых ещё в XIX веке добывали жёлто-серый камень известняк. В окружении, практически без воды и провианта, подземный гарнизон продержался до начала ноября, сохранив воинскую дисциплину, делая боевые вылазки в уверенности, что его борьба помогает выстоять Севастополю, и ожидая подкрепления. Фашисты называли их горными партизанами и все-

399



Аджимушкай. Работа для сильных мужчин

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ...



Подошла моя очередь поработать «торшером». Это легче, чем бить кувалдой, возить нагруженную камнями тележку или перекапывать кубометры тырсы, но очень быстро становится холодно, под землёй температура не выше 10 градусов

ми способами пытались выкурить из катакомб. Выкурить в прямом смысле слова — закачивая под землю отравляющие газы, наплевав на международное соглашение о запрете химического оружия.

Музей обороны аджимушкайских каменоломен многие годы вёл большую исследовательскую работу, его директор Владимир Симонов руководил поисковой экспедицией, проходившей каждый год в конце июля — начале августа. Этот поиск имеет свою специфику. Поскольку отступление шло в пешном порядке,

документы фронта не сохранились, но историки надеются, что где-то их всё-таки спрятали, закопали, и не теряют надежды ввести их в научный оборот. Самое главное поэтому — искать сейф с документами.

Каждое утро рабочие группы получают задание и спускаются в штольни. Темнота и холод, температура в зимой, и летом 6–10 градусов — вот что такое каменоломни. Работали при свете электрических фонариков, только батарейки здесь быстро садятся, иногда даже на смену не хватает; лучше всего — аккумуляторные шахтёрские фонари-коногонки, но их у нас было мало. Мы пробовали брать с собой керосиновые лампы, однако во влажном замкнутом пространстве они чадили и воняли, пришлось отказать. Во время работы один-два человека обязательно должны были стоять «торшеррами» — держать фонарь так, чтобы возможно большему количеству работающих было светло, или, лучше сказать, не темно.

Разгребашь завалы серой тырсы — каменной крошки — и всё, что попадает, откладывашь в сторону. А попадают и боеприпасы, и бытовые вещи, тем более что в первое время с военными в катакомбах находились жители Аджимушкая, и всё, что выпало в темноте из карманов. Вечером приходили музейщики и смотрели наши «дивные находочки», делая записи в амбарную книгу.

В один из дней к вечеру, к концу рабочего дня, ребята, отрывавшие завал в громадной авиаворонке, увидели показавшийся в слое тырсы и обломков камня бок железного ящика. Замерли... Неужели архив? Вытащить его сегодня было уже невозможно, поэтому его присыпали до утра. А на следующий день помчались к выработке. Перетаскав кубометры грунта, ящик извлекли на свет божий. Симонов, едва справляясь с волнением, вскрыл его... Увы, там оказались чистые почтовые конверты и журнал санчасти.



*Тот самый переносной
армейский сейф с документами*

Под тырсой редко, но всё ещё находят останки умерших от голода. Вначале товарищи хоронили их, выдалбливая в камне углубление, потом просто засыпали тырсой, могилы делать ни у кого уже не было сил. Как правило, умершие лежат на подстилках из морской травы...

Где-то здесь, под Керчью, погиб в жуткие дни отступления дядя моего приятеля, воентехник Михаил Григорьев. От него осталась пачка писем к любимой девушке Галине — свидетельство короткой судьбы целого поколения... И, разгребая завалы тырсы, перетаскивая тяжеленные плиты известняка, я втайне надеялась, что вдруг найду какую-нибудь весточку о нём — если не смертный медальон, то хоть обрывок письма или документа с фамилией. Однажды откопала лейтенантскую нашивку с рукава, сердце ёкнуло — может, его?

Работают поисковики и на поверхности, в выжженной степи, там, где раньше лишь «чёрные копатели» мародёрствовали, и даже в море, в тех местах, где высаживались наши десанты. Но реже. Не хватает поисковых сил на всю эту огромную территорию.

401

Чёрные пятна на искрящемся льду

В 2010 году работники канатной дороги на Эльбрусе заметили необычное кружение горных галок. На искрящемся под солнцем льду виднелись чёрные пятна. Когда добрались туда, увидели куски шинелей, ботинки, оружие и людей, причём не только кости, а и органику.

Ледники в горах текут. Движение это очень медленное. Через шестьдесят восемь лет ледник Гарабаши начал отдавать тех, кто погиб здесь в сентябре 1942 года. В те дни наши пытались выбить немецких горных егерей с Ледовой базы и Приюта Одиннадцати, расположенных на высоте 3 800–4 200 м. В начале месяца удалось захватить Ледовую базу, а чтобы



*Приют 11, высокогорная
база, высота 4200 м.*



Боевой разведдозор. Красноармейцам приходилось воевать без горного снаряжения

взять Приют Одиннадцати, организовали спецотряд из разведчиков-кавалеристов и горнострелков, известный ныне как рота лейтенанта Григорьянца. Сто два человека, броском с Ледовой базы они должны

были взять Приют. Но задачу выполнить не удалось, и большая часть отряда легла на леднике. Альпинист, инструктор турбазы «Терскол» Константин Ширшов рассказал:

— Сначала им везло: они шли, прикрываемые туманом. Но в горах погода неустойчивая, туман раздуло, и они оказались на открытом месте, без всякого прикрытия. Как на ладони. Немцы, находившиеся над ними, имели преимущество: они прятались за скалы.

Константин Ширшов в августе 2011 года на леднике Гарабаши нашёл троих солдат, двое находились в толще льда. В сентябре того же года 14 тел снял с высоты 3 800 м Эльбрусский спасотряд, их буквально вырубали из трещины. Ещё восьмерых до лучших времён пришлось оставить в разломах льда, доставать их было опасно.

О поиске на Кавказе известно, пожалуй, меньше всего. И о том, как немцы рвались к советской нефти, вспоминают не слишком часто. А бои в тех местах были кровопролитные, и жизнью положено немало. Поисковый период в горах короткий, всего месяца полтора, ведь зима там наступает раньше, чем на равнине. Условия, в которых поисковики работают, достаточно сложные, в некоторых случаях без специальной альпинистской подготовки не обойдёшься. Ледники расположены на высоте 3 000 м и выше, там разрежённый воздух, порывы ветра достигают 20 м в секунду. Трещины, из которых приходится доставать бойцов, глубокие, от семи до двадцати метров, просто спуститься в них и то риск. Присутствия духа требуют и извлечённые изо льда останки; так, у одного из поднятых солдат даже сохранилась татуировка на плечах.

Тех троих, что были найдены на Гарабаши в 2011 году, спустили вниз поисковики из балкарского отряда «Мемориал Эльбрус». И похоронили, кстати, за свой счёт. Отряд уже несколько лет работает на леднике, день за днём осматривая снежные поля и трещины, собирая по частям скелеты (целых почти нет, их растащило льдом на 10–15 метров).

— Ни ледорубов, ни «кошек» мы ни разу не находили, — рассказал руководитель отряда сотрудник канатной дороги Хусей Джуртубаев, — бойцы были в обычных кирзовых ботинках.

А вот питерскому отряду «Шлиссельбург», работавшему на ледниках Гарабаши и Терскол, попадались остатки альпинистского снаряжения, принадлежавшего, вероятно, бойцам-альпинистам из отряда мастера спорта, лейтенанта Леонида Кельса — они участвовали в боях за Ледовую базу.



Поисковый отряд «Мемориал Эльбрус» обнаружил на перевале Донгуз-Орун немецкие горные пушки

В посёлке Терскол есть мемориальный комплекс защитников Приэльбрусья, братская могила, куда и прихоранивают поднятых в горах солдат. С 2010 года здесь с воинскими почестями предали земле уже около 100 человек. А прошлой осенью стало известно, что из трещины глубиной почти 70 м подняли и самого Григорьянца, что это он, установили по офицерской форме и татуировкам на руках.

Но история поискового движения на Кавказе началась гораздо раньше. В 1996 году пастух рассказал Евгению Крутню, педагогу центра детско-юношеского туризма города Тырнауза, районного центра Эльбурского района, что видел обломки самолёта и останки людей в лётной форме на перевале Кюкюртлю.

Вряд ли кто-нибудь из обычных людей представляет, что это такое — место падения самолёта, к тому же давнее. Обломки сыплются на протяжении многих десятков метров. В лесах равнинной России, если наткнуться на такое место, то никогда не догадаешься, что за ржавые железки валяются по кустам. И только опытный глаз поисковика, да ещё и специалиста по подъёму самолётов сразу определит, что здесь к чему. Однажды подо Мгой в Ленинградской области мы возились несколько дней, выгребая из-под дёрна, которым затянуло обломки, то куски толстого стекла, то рваный алюминий, то неведомые детали... Искали медальоны, документы или шильдики с номерами, по которым можно определить, какой экипаж потерпел катастрофу.

Вот и на Кюкюртлю обломки были разбросаны на большом расстоянии друг от друга, так что пришлось в течение нескольких лет искать останки, документы и личные вещи лётчиков. Причём работали педагоги и подростки без всякой материальной поддержки официальных органов. Однажды в каменной россыпи морены наткнулись на высушенную

солнцем кисть руки, торчащую из рукава меховой лётной куртки. В кармане обнаружили документы Ивана Машкова. Много позже нашли останки ещё одного лётчика, как оказалось, Александра Иванова.

Обратились в архив, выяснили, что самолёт — это дальний бомбардировщик ДБ-3, экипаж его — лётчики 143-го авиационного полка: командир старший лейтенант Александр Васильевич Иванов, штурман капитан Иван Иванович Машков и стрелок-радист старшина Пётр Андреевич Тюнин — считался пропавшим без вести 31 декабря 1942 года. Часы с приборной доски самолёта показывали 00 часов 46 минут. Последняя радиосвязь с базой была в 20 часов. Значит, погиб он в новогоднюю ночь. Отбомбившись в Ростовской области, лётчики возвращались на базу в Кутаиси. Но, видимо, самолёт достали зенитки, и они решили пойти на вынужденную посадку. В высокогорье это всегда рискованно.

Их останки с воинскими почестями захоронили на мемориальном кладбище в Тырнаузе. Евгений Крутень и его товарищи добились, чтобы командиру экипажа Александру Иванову было присвоено звание Героя России. А именем Ивана Машкова назван перевал, ведущий в долину Кюкюртлю.

Не всегда поиск заканчивается так благополучно. В районе Ледовой базы были подняты останки Амбросия Димитриевича Богверадзе из Тбилиси, 1907 года рождения, бойца роты лейтенанта Григорьянца. У него сохранился партийный билет, по которому и установили имя. И родственников после долгих поисков нашли. И как передать останки на родину, придумали: встретиться на перевале Донгуз-Орун, на государственной границе между Россией и Грузией. Но процесс министерских разрешений и согласований так ничем и не кончился. А останки все долгие месяцы перепасованы с чиновниками находились во времянке на склоне Эльбруса. В конце концов, было решено захоронить их 9 мая на мемориале в посёлке Терскол.

Искусство читать медальоны

Читают, разумеется, вкладыши смертных медальонов — узкие полоски бумаги, на которых типографским способом напечатано, что боец должен сообщить о себе: год и место рождения, военкомат призыва, адрес семьи... Но поисковики говорят именно так: читать медальон. Удастся ли его прочитать, зависит от того, где найден боец: если на сухом месте, есть шанс, что бумага осталась сухой, тогда карандашные записи сохраняются; если в болоте — значит, сто процентов, что вода проникла в капсулу и бумага истлела. Это большое огорчение для поисковиков. Бывает, достанут записку, а она как новенькая. Но это редко: чаще поисковикам достаются хрупкие обрывочки, и по оставшимся буквам надо разобрать фамилию и адрес. Разворачивать вкладыш — тоже своего рода искусство. Делается это при помощи двух иголок, лучше для шприца, их держать удобнее. Осторожно отделяют слой за слоем, а они слиплись, столько лет пребывая в скрученном состоянии. Но высший пилотаж — это, конечно, чтение, или, лучше сказать, рас-

шифровка подпорченного вкладыша. Тут большое значение имеют опыт, или намётанный глаз, интуиция и владение современными методиками.

В августе 2013 года в Коломне на Старом кладбище торжественно захоронили останки пятнадцати бойцов бронепоезда № 1 «За Сталина!». О единственном бое бронепоезда, построенного на Коломзаводе, в городе знали — материалы о нём есть в экспозиции Музея боевой славы, по крупицам историю бронепоезда собирали ученики 26-й школы, есть книга Л. Немцевой, подводящая итог поисковой работе «Дон Кихотов», юношеского отряда 80-х годов. Но где захоронены бойцы экипажа, погибшие в том бою, было неизвестно. Полевой поиск предпринимали несколько раз, на место выезжали разные отряды, привлекали местных жителей, якобы очевидцев трагических событий осени 1941 года. Но найти место захоронения не удавалось.

И вдруг в один из майских дней 2013 года Ольге Стружановой, руководителю поискового отряда «Суворов», позвонили из города Гагарина. Местный отряд «Курсант» сообщил: найдено неучтённое воинское захоронение, очень вероятно, что это останки бойцов бронепоезда. Дело было так. На перегоне «Уваровка — Гагарин» рабочие копали вдоль железной дороги траншею под кабель и наткнулись на человеческие кости. Рабочие оказались людьми неравнодушными, вызвали поисковиков. Прибыл «Курсант». По противогазам, солдатским ремням и прочей военной амуниции, но главное, по фрагментам чёрных комбинезонов предположили, что это люди с бронепоезда. Подняли из образовавшейся ямы пятнадцать человек. При них было десять смертных медальонов, но в двух вкладыши сгнили полностью; остальные, в соответствии с инструкцией Смоленского поискового объединения «Долг», отправили на профессиональную экспертизу в Москву. Там прочитали два вкладыша: первый — Смирнова Леонида Михайловича, предположительно 1901 года рождения, уроженца города Горького; второй — Уткина, 1916 года рождения, уроженца Уральска, но семья его жила в Коломне. Так появилась зацепочка, и гагаринские коллеги позвонили Стружановой. Тем более что захоронение подняли как раз на 174-м километре, вблизи станции Колесники, где бронепоезд погиб.

Весть для нашего города сама по себе неожиданная и радостная. В «Суворове» сверились со списками экипажа бронепоезда, опубликованными в книге Немцевой. Уткина в них нет, а рядовой Леонид Михайлович Смирнов оказался, и это ещё более утвердило, что догадка правильная. Сомнения, во всяком случае, у поисковиков, отпали.

Ещё два медальона, заявили эксперты, «при вскрытии были утрачены». Что там произошло — осталось тайной. Четыре медальона они признали незаполненными. И тогда Ольга Стружанова попросила передать к ней в отряд если не сами вкладыши, то хотя бы хорошие сканы. Изрядно повозившись, она сумела прочитать ещё одну фамилию: Кубрицкий Николай Петрович, в списках отряда «Дон Кихоты» он проходил как Кострицкий. Что, впрочем, объяснимо: ведь в военкомате, чьими материалами пользовались красные следопыты, документы сохранились плохо, страницу порой приходилось составлять из обрывков, отсюда и неточности. Просто удивительно, как иногда случай помогает: в эти же дни Лилия Немцева и Ольга Стружанова через сотрудников Коломзавода позна-

комились с Максимом Коломийцем, московским специалистом по бронепоездам. Он перепроверил все прочитанные фамилии по своим спискам, которые некогда собственноручно скопировал, работая в Центральном архиве Министерства обороны РФ. Кострицкий-Кубрицкий оказался сержантом Кудрицким Николаем Петровичем, призванным из Коломны. О рядовом Уткине узнали, что он Евгений Яковлевич, что семья у него жила в Коломне на улице Технической, дом 15, что жену звали Лазарева Надежда Ивановна.

Однако некоторые с недоверием отнеслись к истории с медальоном сержанта Кудрицкого. Ведь московская криминалистическая лаборатория дала заключение на четырёх листах, с печатью и подписью специалиста с двумя высшими образованиями, что этот и ещё три вкладыша пустые. Кому верить? Безопаснее — печати и подписи, опять же ответственность на себя брать не надо. А Стружанова кто такая? Не придумывает ли, не набивает ли себе цену? Как это может быть: экспертиза не видит, а она видит? И не торопились радоваться. В принципе, понять их можно. Люди, которые никогда не наблюдали, как читают «нечитаемые» медальоны, действительно не в состоянии поверить, что можно что-либо прочесть на пустом листочке. Ну просто пустом! Оказывается, можно.

Подозревали, видимо, что Ольга подгоняет неразборчивые, слившиеся в одно химическое пятно записи под известные по книге Немцовой фамилии. Но расшифрованный второй «нечитаемый» медальон заставил поверить самых недоверчивых. Этой фамилии в известном нам списке не было. При помощи фотошопа Ольга крутила скан вкладыша на экране компьютера и так, и сяк, под разными углами, окрашивала в разные цвета, добавляла контраста... И разобрала: Старотиторов Кузьма Моисеевич, 1921 года рождения, сержант, уроженец Алтайского края. Максим Коломиец, московский знаток бронепоездов, подтвердил: да, есть такой, Старотиторов, но лейтенант, начальник связи бронепоезда. Вкладыш медальона Кузьма заполнял, ещё будучи сержантом. Лейтенантские петлицы и целлулоидный подворотничок, которые поисковики нашли в яме,



Боец бронепоезда сержант Николай Петрович Кудрицкий и вкладыш его смертного медальона



Начальник связи бронепоезда лейтенант Кузьма Моисеевич Старотиторов. Вкладыш медальона кажется пустым

Не все медальоны читаются, к сожалению

не его ли? Из документов ЦАМО узнали последнее место службы: Московская область, станция Голутвин, п/я 15. Такую фамилию специально не выдумать. (Недавно, изучая карту Кубани, я наткнулась на станцию Старотиторовскую, значит, слово некогда было в ходу.)

С помощью Интернета теперь гораздо легче искать родственников. Нашлись они в Красноярске. Связались с ними по телефону. Да, дед с войны не вернулся, где могила, не знают... Вскоре «суворовцы» получили из Сибири фотографию: группа военных, и среди них Кузьма Старотиторов. Потом выяснилось, что такой снимок есть в экспозиции нашего Музея боевой славы. Опять совпадение! Тут уж не захочешь, а поверишь. Правнук, точнее, внучатый племянник Кузьмы Александр Старотиторов приезжал на торжественное захоронение. Работает он в крупнейшей в России золотодобывающей компании водителем, работа вахтовая. Жена в Интернете увидела поисковую информацию, позвонила: фамилия редкая, может, твой дед?

— У меня мурашки по коже, — рассказывал Александр. — Целую неделю ходил сам не свой. Мы же его искали сколько лет. Две его сестры живут в Алтайском крае, ждут, когда приеду, расскажу. Начальство у нас не приветствует такие поездки: я даже по Москве не пройду — сразу в аэропорт и на работу. Зато познакомился с такими людьми...

Когда Александр возвращался домой, в аэропорту его задержали на контроле багажа: в сумке обозначилась гильза. В ней он вез землю на могилу матери Кузьмы Старотиторова, своей прапрабабушки. Увели выяснять ситуацию. А когда он рассказал, откуда летит, и показал личные вещи деда, полученные от поисковиков вместе с гильзой и книгами о поиске, всё вернули.

Два вкладыша пока остаются непрочитанными. Они из ворсистой бумаги, на такой записи читаются хуже. Но терять надежду не надо никогда. Пожилой мужчина, пришедший на Старое кладбище в день захоронения останков бойцов бронепоезда, сказал: «Может, сегодня возвратился на родину и мой отец...»

Карьер на костях погибших

Это место в Кировском районе Ленинградской области поисковики называют Косой: песчаный язык шириной всего метров пятнадцать вдвинут в огромное болото. По Косе идёт дорога в садоводство посёлка Медное, сойди с неё, и окажешься на сыром мшанике, который всё понижается и понижается, пока не превратится в зыбкую трясину. Эта дорога была рубежом, на котором сошлись защитники Ленинграда и





Раскопки на Косе. Найден «верховой» - солдат, которого не вынесли с поля боя. Семьдесят с лишним лет его хоронила только палая листва...

захватчики. По обе стороны её поисковики находят останки, оружие и личные вещи тех и других. Причём много останков, как говорят поисковики, верховых, то есть незахороненных, лежащих почти на поверхности земли, оставшихся навек в той позе, в какой сразила их пуля или осколок.

Здесь в 1941–1943 годах войска Ленинградского фронта четыреста дней пытались прорвать блокаду Ленинграда, а в январе 1943 года с Невского пятачка начала наступление 45-я гвар-

дейская стрелковая дивизия, потерявшая в ходе операции «Искра», по официальным данным, 5 314 человек. Невский пятачок — это не только мемориал, километровой ширины полоса вдоль берега Невы, ограниченная гранитными камнями-стелами. Невский пятачок — это и Коса тоже, находящаяся всего в 1,5 км от мемориала. Здесь остались десятки неучётённых, брошенных братских могил, в которых, как предполагают поисковики, забыто не менее 10 тысяч защитников осаждённого Ленинграда. Эти данные подтверждаются отчётом сводного питерско-коломенского поискового отряда «Суворов», который впервые начал работать на Косе летом 2011 года, и документами Центрального архива Министерства обороны РФ.

А в октябре того же 2011 года на Косе начали вырубать сосновый лес. Оказалось, территорию по распоряжению губернатора Ленинградской области до 2023 года отдали в аренду некоему ООО под разработку песчаного карьера. Снова, как это уже не раз бывало в послевоенной истории нашей страны, возобладали Иван, не помнящий родства. Это означало, что не найденные пока захоронения будут варварски перемешаны с грунтом, останки защитников Ленинграда, их смертные медальоны и личные вещи, которые могли бы рассказать о судьбе погибших, пойдут в отвалы, а числящиеся пропавшими без вести так и останутся безвестно канувшими.

Против выступила инициативная группа петербуржцев, жителей Кировского района и поисковиков. В ответ на её обращение губернатор Ленобласти сообщил, что взял ситуацию под контроль, пообещал создать комиссию, которая проверит, есть ли там воинские захоронения, и если найдут подтверждение, то действие лицензии на работы будет приостановлено. Однако, как со-



Котелок, на котором солдат записал свою армейскую биографию, и фляжка, пробитая осколками

общили вскоре местные жители, в 2012 году интенсивная вырубка леса продолжалась, рабочие начали корчевать пни. И тогда снова заявила протест общественность. Группа, добивающаяся создания мемориальной зоны «Арбузовский мемориал», поисковики отрядов «Суворов» и «Ингрия», сотрудники информационно-аналитического центра «Помним всех поимённо» и различных «зелёных» организаций, а также ветераны Волховского фронта, бойцы 2-й ударной армии, создали пресс-конференцию «Карьер на костях погибших воинов или мемориал?». Они заявили, что использовать эту территорию под карьер — значит создать угрозу уничтожения неучтённых воинских захоронений. Они вооружились федеральными законами «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», «О погребении и похоронном деле», постановлением правительства Ленинградской области «О порядке подготовки и проведения поисковых мероприятий на территории Ленинградской области». Они, наконец, представили документы, в том числе и поискового отряда «Суворов», подтверждающие существование массовых захоронений на месте предполагаемого карьера, и потребовали прекратить вырубку леса, провести экспертизу, продолжить поисковые работы и в дальнейшем придать этим местам, находящимся в непосредственной близости от мемориала «Невский пяточок», статус мемориальной зоны.

В 2014 году поисковые работы на Косе были продолжены. За две экспедиции у десяти поднятых бойцов по медальонам, наградам, ложкам и котелкам установили имена. У троих нашли родственников, а бойца Веселова родные забрали домой в Костромскую область.

Семидесятая весна Победы

Связь поколений скрепляется памятью. Всего-то и нужно — отдать долг памяти тем, кто не вернулся, кто погиб ради того, чтобы грядущие поколения жили в стране, завещанной им пращурами, чтобы никто не мог посягнуть на наше человеческое и национальное достоинство, культуру и язык.

К сожалению, последующие поколения не всё сделали для того, чтобы восстановить справедливость по отношению к павшим и — забытым. Поисковые отряды до сих пор работают в основном на доброй воле, имея поддержку не столько от государства, сколько от единомышленников, друзей, предпринимателей, помогающих продуктами и деньгами, — людей, для которых долг памяти не просто слова, а нравственный постулат. Государство в лице Министерства обороны только недавно начало участвовать в этой работе, насколько я знаю, создано всего одно специализированное воинское подразделение — поисковый батальон в Ленинградской области, поисковые отряды на базе Военно-космической академии и горнострелковой бригады на Кавказе работают на добровольных началах.

Закончу своё повествование словами военного историка Владимира Симонова: «Самое простое — винить кого-то, а если спросить себя: когда ты был на солдатской могиле в последний раз?»»

НАШИ УТРАТЫ

ПЛЕННИК ВЕЧНОСТИ



27 июня 2014 года трагически погиб замечательный художник, иконописец, член Союза художников России Евгений Иванович Ходин.

Он родился в Коломне 11 марта 1958 года. В 11 лет поступил в Московскую среднюю художественную школу при художественном институте имени Сурикова. По окончании школы возвратился домой в Коломну и некоторое время работал оформителем в ДК "Цементник". После службы в армии в 1981 году поступил в

Московский художественный институт имени Сурикова в легендарную мастерскую профессора К. А. Тугеволя. Окончив институт, женившись, уехал в Санкт-Петербург, где прожил пять лет.

В 1993 году вернулся в Коломну, жил и работал, участвовал в городских, региональных и всероссийских выставках.

Евгений Иванович — уникальный художник и прирождённый педагог. Работая в технике темперной живописи, он создал работы, глядя на которые, вспоминаешь голландцев. А графические портреты заставляют изумляться и думать о Возрождении.

Ходин — враг пошлости, человек удивительной честности и цельности.

В своих учениках он воспитывал понимание смысла и языка творчества, призывал придерживаться традиций старых мастеров живописи.

ВОЕННЫЕ СТРОФЫ



Екатерина Михайловна Абрамовская родилась в Коломне. Окончила Рязанское музыкальное училище, Второе Московское областное музыкальное училище (фортепиано) и Коломенский педагогический институт (факультет иностранных языков). На протяжении 57 лет преподавала в Центральной детской музыкальной школе № 1.

Награждена памятными медалями «850-летие Москвы», «835-летие Коломны» и Почётным знаком «За отличие в труде».

Увлекается краеведением, выписывает из городских газет и архива библиотеки им. Ленина интересные материалы, касающиеся истории образовательных учреждений города. В настоящее время занимается подборкой стихотворений коломенских поэтов по определённым темам, повествующих об исторических вехах страны, города, об интересных людях.

Стихи

Неправда, что «когда говорят пушки — музы молчат». Напротив, часто именно в минуту великих испытаний к народу приходит вдохновение, и его жизнь наполняется созвучиями стихов. И Коломна здесь не исключение. В послереволюционные годы в городе сложилась крепкая стихотворная традиция, работали творческие объединения, издавались литературные альманахи.

И когда прогремела гроза Великой Отечественной, это вызвало мощный поэтический всплеск. Стихи писали и на фронте, посылая домой пахнущие порохом строчки, уложенные в треугольники полевой почты. Но и те коломенцы, что остались в городе, отозвались на голос войны своим поэтическим эхом. Военные строфы ходили в списках, многие из них были опубликованы на страницах городских газет.

Публикуя подборку коломенских стихотворений, мы не претендуем на какие-то необыкновенные лирические открытия. Ценность стихов, опалённых войной, заключается в том, что они сохраняют в себе дух того времени, тот патриотизм и ту духовную мощь, которые, в сущности, и обеспечили Победу. Спору нет: конечно, военная техника много значит. Но гораздо важнее мужество и воля народа — тех людей, которые в тылу создавали пушки, танки и самолёты, и тех воинов, которые вводили в бой эту грозную технику.

Музыка войны — суровая вещь. Но чтобы остаться по-настоящему русскими людьми, нам необходимо иногда снова вслушаться в неё.

Александр КИРСАНОВ

ФРОНТОВОЙ СОНЕТ

Ребёнок спит
С улыбкой безмятежной,
Над ним склонившись,
Задремала мать,
А в это время
В поле белоснежном
Отцу бойцов в атаку
 поднимать,
Шагать
Через окопы и сугробы,
Через врага,
Поверженного в снег,
В огне боёв,
Всё для того лишь, чтобы
Мать сыну песни пела о весне.
За окнами
Свистящий смерч метели
Не долетает до твоей постели.
Спи крепко, сын,
И не тревожься, мать.
Пока смертельный враг
 не уничтожен —
Возврат отца
До дома невозможен —
Отцу бойцов в атаку
 поднимать.

Александр КИРСАНОВ

* * *

Слетали песни
 с губ искусанных
У русских матерей и вдов.
О, сколько в каждой песне
 грустных,
На части душу рвущих слов.
О, сколько горечи и боли
Я слышал
 в женских голосах
О всех, кто пал
 на бранном поле
С тоскою смертною в глазах.
И не угаснет,
 не остынет

В душе извечная печаль.
Те песни грустные
 пояныне
В моих ушах ещё звучат.

Александр КИРСАНОВ

ВЫСОТА

Мы наступали на закате.
Через замёрзшие кусты
Нам виден домик был на скате
Обледеневшей высоты.

И сад за домом,
Смят и скручен
И словно вырван из земли.
Но снег мерцал
На чёрных сучьях,
Как будто яблони цвели.

Над головою смерть свистела,
Летящая издалека,
И прижималась то и дело
К снегам горячая щека.

Сюда обстрелянным солдатом
Война забросила меня.
Я полз под пулями до ската,
Чтоб сад избавить от огня.

Какие годы за плечами!
О них мы до сих пор поём.
И снятся мне порой ночами
Скат ледяной и сад на нём.

Собраться бы однажды летом
Тот край знакомый навестить.
Я буду знать, за что ранетом
Меня хозяйка угостит.

Александр КИРСАНОВ

ПОЛЯ

В крике рот раскрыв,
Бегу навстречу пуле,

Единственной
из миллиона пуль.
А поле стонет
В грохоте и гуле,
И некогда мне думать:
«Добегу ль?»

И некогда мне думать
В день суровый,
Что здесь когда-то
Жаворонок пел,
И лёгкий, как снежок,
Пух тополёвый
Над этим полем
медленно летел.

И кто-то здесь пахал
На зорьке ранней,
И кто-то пел
Среди волнистой ржи...
А я бегу
и, может, буду ранен,
А может, буду...
Нет, остался жив.

Сейчас,
К какому бы ни вывел полю
Травой заросший
Позабывтый шлях,
Всегда, всегда
припоминаю с болью:
Как много нас
легло на тех полях.

Борис КАМАШИНСКИЙ

БОЙЦАМ, ИДУЩИМ НА ФРОНТ

Товарищи, руку!
На фронт вы идёте
Навстречу врагу и войне,
А мы остаёмся на нашем заводе,
Но с фронтом живём наравне.
Для армии нашей снаряды, патроны,
Моторы нужны и металл.
Завод превратился в форпост обороны.
Труд — битвой за Родину стал!
Любая работа почётною будет,

И станет героем любой.
Повсюду поднялись советские люди
С врагом на решительный бой.
Страна вам вручает великое знамя
И славное званье бойца.
Идите, товарищи, помните — с вами
Народа умы и сердца!
В труде каждый будет упорен и зорок,
Станок станет братом штыка,
Чтоб подлых опричников чёрная свора
На наши не вышла луга.
Фашист оголтелый не знает пощады —
Его мы не будем щадить!
Фашистского пса, разъярённого гада
Нам надо скорей раздавить!
За наши заводы, поля и моторы,
За мирное счастье труда
Захватчиков подлых, кровавую свору
Сотрите с земли навсегда!

1 июля 1941 г.

Виталий ЧЕРНЫХ 415

ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ

Спать не время. Враг идёт.
Все в ружьё! Вперёд, вперёд!
Мы идём за правду в бой
И за честь страны родной.
Зачастил свинцовый град.
Пули храбрых не страшат.
Крепнет наш сплочённый строй
Спайкой дружбы боевой.
Друг наводит пулемёт,
Друг патроны подаёт.
И кладёт на рану мне
Первый бинт ещё в огне.
Спайкой стойкости сильна
Наша дружная страна.
Поднялись её сыны,
Как один, на брань войны.
Посылает сына мать
За Отчизну воевать,
А сама идёт на бой
Медицинскою сестрой.
Со сноровкой гада бей!
Мощен враг, но мы сильнее.

Сталин, вождь, отец родной,
 На врага веди нас в бой!
 Мы с тобой — один гранит.
 Враг силён, но будет бит.
 Славным будет наш поход.
 Все в ружьё! Вперёд, вперёд!

5 июля 1941 г.

Борис КАМАШИНСКИЙ

ТРУДЯЩИМСЯ ЛЕНИНГРАДА

Вставай, Советская земля,
 Красу и гордость защищать —
 Над Ленинградом занесла
 Паучьи лапы вражья рать!

Не раз грозил нам меч врага,
 Мы гадов видели немало —
 Но улиц города нога
 Захватчика не оскверняла!

Они на красный Ленинград
 Хотят обрушить шквал металла;
 На город, что народу свят,
 Где революция рождалась!

Встаёт на битву вся страна —
 Враг не пройдёт к столицам нашим.
 Друзья, вперёд! Штыков стена
 Пусть красный город опояшет!

Где каждый уголок хранит
 Следы семнадцатого года;
 Где был Юденич наглый бит,
 Не кончив к Питеру похода...

К оружию, братья! Без следа
 Сметём орду фашистских гадов,
 Чтоб не нависла никогда
 Война над красным Ленинградом!

30 августа 1941 г.

Татьяна СИКОРСКАЯ

ТРИ КОЛЬЦА

Грозна воздушная война,
 Враг к сердцу Родины стремится —
 Ты от него ограждена,
 Москва — советская столица!

Вокруг тебя на склоне дня
 Далёких вспышек свет мгновенный —
 Кольцом зенитного огня
 Окружены седые стены.

И жизнь, и труд твоих бойцов
 Хранит от смерти и насилья

Второе славное кольцо —
Твои серебряные крылья.

С тобой мы будем до конца:
Все силы недругов продажных
Не сломят третьего кольца —
Любви сынов твоих отважных!

В минуты отдыха и сна
Пусть тебе спокойно спится.
Ты хорошо защищена,
Москва, любимая столица!

3 октября 1941 г.

Иван БОДРОВ

ДВА ТОВАРИЦА

Давай на трубку табачку,
Товарищ мой хороший.
Нас не догнать теперь врагу —
След замело порошей...

Присядем, здесь вот, на снегу,
Затянемся глубоко.
Живыми нас не взять врагу —
Свои не так далёко.

Мы были много дней в пути,
От ран зажили ноги.
Кошмары плена позади —
Опасные дороги.

А завтра, может, снова в бой
За жизнь родной Отчизны,
Не пожалеем мы с тобой
Отдать, товарищ, жизни.

20 мая 1942 г.

Иван БОДРОВ

КРАСНЫЙ ВОИН!

Никому и никогда вовеки
Ужасов не описать пером.
Лишь едва чуть-чуть закрою веки,
Дым багровый вижу над селом.

Слышу ясно жалобные стоны,
Запах крови от горячих ран,
Гулкого набата перезвоны,
Крик и плач моих односельчан.

Вижу в небе зарево пожариц,
Слышу близкий орудийный гром.

Красный воин! — боевой товарищ,
Крепче бейся с яростным врагом!

17 июля 1942 г.

Л. ФЁДОРОВ

ВПЕРЕД! НА ЗАПАД!

Вперёд! На Запад, русский воин!
Ещё не сломлен лютей враг!
О, сын Отчизны, будь достоин
Нести победоносный стяг!

О, ты, единственный на свете,
Могучий русский человек!
Пусть лютей враг на все столетья
Запомнит твой двадцатый век!

Под этим стягом много славы
В боях Россия обрела.
С ним бился Пётр в стенах Полтавы,
Пред ним Мамаю рать легла.

Вперёд! На Запад, русский воин,
Где братьям цепи давят грудь!
О, сын Отчизны, будь достоин
Продолжить к счастью славный путь!

Пред ним и паны, и бароны
Склоняли шёлк своих знамён,
Пред ним — во льдах легли тевтоны,
Пред ним — склонён Наполеон.

Спешу спасти родного брата!
Он ждёт, он смотрит на Восток.
Быстрее мчись, стальной поток,
Туда, где даль огнём объята.

13 сентября 1943 г.

А. ПЕРОВ

УЕЗЖАЮЩИМ НА ФРОНТ

Товарищи, братья, Отчизны сыны!
Враг бешено рвётся к нам в сердце страны.
Призвали вас Сталин и Родина-мать,
Чтоб землю и мирный наш труд отстоять!

Врага чтоб отбросить, врага задержать,
Ни метра советской земли не отдать,
Вы встаньте железной стеной на пути,
Не мог чтобы к сердцу страны он пройти!

Чтоб не было слова для вас «не могу»,
Чтоб огненной мстью пылали к врагу,
Чтоб жаждой победы горели сердца,
Чтоб стойкими были в боях — до конца!

Чтоб враг отступил, чтобы враг не прошёл,
Могилу на нашей земле чтоб нашёл,

Ни шагу назад! Ваш девиз должен быть:
Со славою пасть иль в боях победить!

Коль любите ваших детей и жену,
Отцов, матерей и родную страну,
Коль Родина-мать вам, друзья, дорога —
Идите и смело разите врага!

Враг к сердцу страны никогда не пройдёт!
Могила на нашей земле он найдёт!
Нельзя покорить наш великий народ!
За Родину, Сталина, братья, вперёд!

13 сентября 1942 г.

Алексей СУРКОВ

ВПЕРЕД, БОГАТЫРИ, ВПЕРЕД!

Сынов народ на бой ведёт.
Героям страх неведом.
Вперёд, богатыри, вперёд!
Отвага города берёт.
В атаках — путь к победам!

Широк орлиных крыл размах,
Окрепла в битвах сила.
В метелях наших и снегах
Фашистов ждёт могила.

За слёзы наших матерей,
За выжженные хаты
Идёт для бешеных зверей
Жестокий час расплаты.

Перед танкистом и стрелком
Дрожит фашист проклятый,
Стреляй в упор, коли штыком,
Круши врага гранатой!

Сигнал атаки дан вождём!
Открыта даль седая.
По трупам вражеским идём,
Разя и побеждая.

Сынов народ на бой ведёт.
Героям страх неведом.
Вперёд, богатыри, вперёд!

Отвага города берёт,
В атаках — путь к победам!

23 февраля 1943 г.

Фаина СТУКИНА

МАЙ ВОЕННЫЙ

Праздник весёлый труда и цветов,
Море восторженных рук и голов,
Музыка, алые стяги,
Ритм миллионного шага.
Было вчера... А сегодня — война.
Чутко таится большая страна.
Но повернутся все лица
К сердцу великой столицы,
И перед взорами, как наяву,
Каждый увидит родную Москву.
Вот перед Маршалом строгой стеной
Гулкий, обветренный мужеством строй,
Вслед бесконечной лавиной
Грозные мчатся машины.
Сталин — чьё слово ведёт нас в бою,
Он, посвятивший нам жизнь всю свою.
Наш полководец свой верный народ
К мирному счастью опять приведёт!

1 мая 1943 г.

**От лётчиков
подшефного авиасоединения**

ПРИВЕТ КОЛОМЕНЦАМ

Стужа надвигается,
 холод в двери ломится,
На рассвете изморозь
 бродит по траве,
Но сердца горят у нас,
И для вас, коломенцы,
Привезли мы пламенный
 фронтовой привет.
По седым бульжникам
 много нами пройдено.
Все пути нам ведомы
 в выси голубой.

За родного Сталина,
 за свободу Родины
Мы ночами грозными
 вылетаем в бой.
Как берёзы, вскормлены
 мы родными соками.
За святое русское,
 гордость не тая,
Непобедной силою
 сталинские соколы
Всё, что сердцу дорого,
 в битве отстоят.
Стужа надвигается,
 холод в двери ломится,
На рассвете изморозь
 бродит по траве,
Но сердца горят у нас,
И для вас, коломенцы,
Привезли мы пламенный,
 боевой привет.

2 ноября 1943 г.

Дмитрий ГЛИНБЕРГ 421

НОВОГОДНЯЯ

Ратный шлях открылся белой хусткой,
Нам преград к победе светлой нет,
И рука свободной белоруски
Украшает Сталина портрет.

В гром войны и в фронтовую копоть,
По мостам родных смиренных вод,
По лесам, по сопкам, по окопам
К нам идёт желанный Новый год.

Месть выходит в новогоднем платье,
Сердце, слышишь: гнев мой сбереги.
Новогоднее моё проклятье
Шлю я вам, презренные враги.

В вышине плывёт напев весёлый,
Пусть за ним летят мои слова:

С Новым годом, города и сёла,
С Новым годом, славная Москва!
С Новым годом, Ленинград и Таллин,

Нам победа светит, как маяк.
С Новым годом, наш великий Сталин!
С новым счастьем, Родина моя!

3 января 1944 г.

Ал. САВЧЕНКО

ПЕСНЯ О САПЁРЕ ШЕРШАВИНЕ

В грозные дни у седого Урала
За ратью готовилась новая рать.
Там сына любимого мать воспитала
И в бой посылала врага истреблять.

Мы знаем отважным сапёра Шершавина,
Примером бесстрашия служит он нам.
Воспитанник партии, Ленина-Сталина,
Готовится к новым, грядущим боям.

В пургу и морозные, тёмные ночи
В далёких, забытых, казалось, краях
Сияли задорные серые очи
Сапёра-героя в жестоких боях.

Геройством и храбростью, словом и делом,
Вселяя в нас бодрость, отвагу и дух,
Всегда перед нами воинственно-смелый,
Сверкая медалью, Шершавин, наш друг.

За подвиг его на посту боевом,
За преданность Родине нашей
Простую мы песню, товарищ, споём
О друге — Шершавине нашем.

23 февраля 1944 г.

С. АЛЫМОВ

ПИСЬМО ИЗ КРЫМА

Написал моряк подруге —
Ленинградская она:
«Хороша — в миндальной вьюге —
Черноморская весна!

Полагаю, ты здорова,
Дорогая, как и я.
В Севастополе мы снова,
Синеглазая моя.

Брали штурмом, брали с бою
Знаменитый крымский порт,
Чтобы в будущем с тобою
Ехать в Ялту на курорт.

Чтоб, как раньше, как бывало,
Под ресницы пряча взгляд,
Ты под солнцем загорала,
Превращаясь в шоколад.

Чтобы я, с тобою рядом
Не сидевший много лет,
Кисть большую винограда
Подносил, как дар побед.

Но пока не время, Рая,
Для поездок райских в Крым,
Не конец ещё, родная,
Нашим рейсам боевым.

Под Берлином, с немцем споря,
Мы дадим последний бой.
И тогда в Крыму у моря
Отдохнём вдвоём с тобой.

Встретят нас теплом и светом
Черноморские края,
Непреренно будет это,
Синеглазая моя!»

2 июля 1944 г.

М. СЕМЁНОВ

(полевая почта 36237-Д)

ЗАПОМНИ, ОТОМСТИ

Лети, моя песня, быстрее,
 чем птица,
Лети через горы, озёра
 и степь!
Лети, расскажи, как проклятые
 фрицы
Терзают и мучают мирных людей!
Лети, расскажи, не скрывая
 ни слова,
Как в народной крови утопают
 поля,
Скажи, как родные станицы
 и сёла
От вражеских бомб и снарядов горят!
Как мечутся люди в тёмных подвалах,
Как матери прячут невинных
 детей,
Скажи, как немецкие злые
 шакалы
Ведут безоружных людей
 на расстрел!
Лети, расскажи, чтоб знал
 это воин,
Пусть в яростной мести
 вскипают сердца.

На мeсть за отца, за счастье
и волю
Поднимeтся штык и не дрогнет
рука!

9 июля 1944 г.

В. ПОМЕРАНЦЕВ

СЕРАЯ ШИНЕЛЬ

Ты, любовно сшитая,
Пулями пробитая,
У костра прожжённая
В холод и метель,

Временем потрёпаная,
Бережно заштопаная,
С пожелтевшим воротом
Серая шинель.

Ты пропахла порохом,
Но ценю я дорого
Фронттовую спутницу
Боевых недель.

В ночь сырую, длинную
Служишь ты периною —
Согреваешь ласково,
Серая шинель.

Плотная, суконная,
Родиной дарёная,
Разве может снять тебя
Пуля иль шрапнель?

Против сердца война
Не бывать пробоине —
Грудь укроет с орденом
Серая шинель.

Я приду с победою,
Выпью, пообедаю,
Мать постелет мягкую
Чистую постель.

Со слезами гордости
В лучший угол горницы
Мать повесит старую
Серую шинель.

23 февраля 1945 г.

Илья ГРОМОВ

НАШ ПУТЬ

От тихого Дона, от Волги
широкой,
Через Днепр голубой,
через вершины Карпат,
За бурную Тиссу, за Одер,
далёко
Прошёл победителем русский солдат.
Очищено небо Отчизны навеки
От подлых стервятников
с чёрным крестом.

Доблестной штурмовой авиации!
Торжественно диктора голос
звучал.
Он в чтение вкладывал душу.
И каждый в толпе неподвижно
стоял,
Притихнув, и музыку слушал.
И каждый, кто слушал, дышал
едва,
Лишь губы улыбкой дрожали.
И медленно плыли приказа
слова
С полководческой подписью —
СТАЛИН.
Гремел над счастливой Москвой
салют
Из многих десятков орудий.
За тысячи вёрст его слушали тут
Обрадованные люди.
О, если б сказать им,
стоящим со мной,
Незнакомым проходим этим,
Что этот полковник,
для них чужой,
Для меня всех дороже
на свете!
Как мне хочется плакать,
смеяться и петь!
Обнять всех людей этих сразу!
И солнце восходит, и лавр свою ветвь
Склоняет навстречу приказу.

17 июня 1945 г.

Фаина СТУКИНА

ПАРТИЗАНКА

Одиночный выстрел спозаранку.
За околицей деревни тишь.
Повели фашисты партизанку
На допрос: «В избе заговоришь!»
Молчаливо стискивает зубы.
В синяках прекрасное лицо.
Вновь удар... Лоб морщит немец грубый
И зовёт на шаткое крыльцо.
Шла она, нагая, по морозу,
Бледная, как утренний рассвет.

С тихим плачем русские берёзы
Ей шептали ласковый привет.
Были ещё скрыты тайны Зои
От её родных и от подруг,
Именем её уже клялись герои,
В боевом строю стоявшие вокруг.
Над закрытой свежеею могилой
Скорбь и ярость ей венком сплелись.
И по фронту с яростною силой,
Смерть поправ, торжествовала жизнь.

15 июля 1945 г.

Ольга ОРЛОВСКАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Фронтовик, я тебе приготовлю
покой
И весёлый родной уголок,
Чтобы мог отдохнуть ты,
вернувшись домой,
От тяжёлых военных дорог.
Одному лишь тебе, ветерану
боёв,
За твою сбережённую
честь —
Вся любовь, вся печаль,
Всё вниманье моё,
Всё, что в сердце хорошего есть.

22 июля 1945 г.

Илья ГРОМОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

I

Мы победили в яростных сраженьях,
Во прах повержен нами лютый враг.
Пришла пора вернуться к нашим семьям,
К труду счастливому и мирному пора!

Споёмте, братцы, песню боевую,
Которая к победе привела!

Подыдем тост за ратные дела,
За нашу Родину, за дружбу фронтовую!

II

Встречает с нежною, горячею любовью
Героев-воинов Отчизна — наша мать,
За то, что мужеством своим и кровью
В грозу её сумели отстоять.

Споёмте, братцы, песню боевую,
Которая к победе привела!
Подыдем тост за ту, что силы нам дала, —
За славную Отчизну дорогую!

III

Пришла пора к труду вернуться снова —
Как и в бою, в труде мы впереди.
Пойдём к сияющим вершинам новым —
Таких, как мы, никто не победит!

Споёмте, братцы, песню боевую,
Которая к победе привела!
Подыдем тост за новые дела,
За Сталина, за партию родную.

7 ноября 1945 г.

*Подготовила к публикации
Екатерина Абрамовская*



Родимая
сторона





Графика Василины Королёвой

ЗЕМСКИЙ ВРАЧ



Александр Анатольевич Суслов родился 18 января 1948 года в городе Воскресенске. Окончил химико-технологический факультет политехнического института, получил специальность «химик-технолог».

С середины 80-х годов увлёкся краеведением. Печатался в областных и районных газетах, альманахах, сборниках, буклетах. Попробовал на вкус поэтическое слово. В 2004 году выпустил книгу стихов «Сундук».

Работает в культурном центре «Усадьба Кривякино». Увлекается фотографией и путешествиями.

Краеведческое исследование

В 2012 году исполнилось ровно сто лет со дня смерти земского врача Бориса Львовича Кагана. Возможно, более правильно — Когана. Иногда встречается и такое написание. Но в большинстве документов, в том числе в метрике, значится Каган. (Этот вариант фамилии теперь общепринят, будем и мы его придерживаться.)

В Воскресенске чтут память Бориса Львовича. Его имя носит улица в Новлянском квартале. У стен 1-й городской поликлиники установлен памятник-бюст работы местного скульптора Алексея Пинегина. А на здании бывшей Кривякинской лечебницы, ныне станции переливания крови, установлена памятная доска.

Вокруг фигуры Б. Л. Кагана накопилось довольно много неточностей, анахронизмов, мифов. Так, в одной из публикаций утверждалось, что Борис Львович проработал в Кривякинской лечебнице 40 лет, тогда как он не дожил и до 42-летия. Самое время попытаться разобраться в фактах биографии, исправить некоторые ошибки.

Прежде всего — дату рождения. Общепринято считать, что Борис Львович Каган родился в 1871 году. Этот же год был обозначен и на его надгробном памятнике. Но в наше распоряжение попала выписка из метрики (т. е. свидетельства о рождении) Бориса Львовича, где в графе «месяц и день рождения» чётко написано: **14 июня** (по новому стилю это будет 27 июня) **1870 года**.

Имеет место такой же случай, как и с датой рождения И. И. Лажечникова. Долгое время считалось, что Иван Иванович родился в 1792 году, пока не выяснилось, что дата эта ошибочна и родился он двумя годами раньше, в 1790 году.

Малая родина

Борис Львович Каган появился на свет в местечке Загер, или по-русски Старые Жагоры, Шавельского уезда Ковельской губернии. Ныне это небольшой городок на севере Литвы с населением немногим более 2 000 человек. Статус города он получил в 1950 году, ещё в период вхождения в СССР. Носит литовское имя Жагаре (Žagarė). Является административным центром Жагарского староства Ионишкского района. По аналогии с российским административным делением Жагаре — центр одного из районных округов (как, скажем, Хорлово — центр одноимённого округа Воскресенского района). Расположен недалеко от границы с Латвией, и соответственно до Риги от него ближе, чем до Вильнюса.

Жагаре — местечко древнее. В документах впервые упомянуто в 1435 году. А в состав Российской империи вошло в 1795 году, после третьего раздела Польши. Река Швете (приток реки Лиелупе) делит его на две части: Старый Жагаре (на левом берегу) и Новый Жагаре, или просто Жагаре (на правом берегу). Оба Жагаре входили сначала в состав Виленской, а с 1842 года — Ковенской губернии.

Местечко было издавна населено преимущественно евреями. Согласно переписи 1897 года в Старом Жагаре их проживало 1 629 человек (из 2 527 жителей), т. е. 64%, а в Новом Жагаре — 3 814 (из 5 602 жителей), т. е. 68%.

В 1880—1890-х годах началась, точнее сказать, резко возросла массовая эмиграция евреев из Жагаре. В основном они выезжали в США и Южную Африку. Видимо, в этот период в США (вспомним фильм Чарли Чаплина «Иммигрант» 1917 года) выехала семья Бориса Львовича. Он же остался в России. Отток евреев был настолько велик, что в 1897 году в Америке было даже создано объединение выходцев из Жагаре, своего рода землячество. Один из уроженцев Жагаре, Сидней Хиллман, стал видным деятелем американского рабочего движения.

С началом Первой мировой войны большинство евреев местечка Жагаре были высланы во внутренние районы России. Не все из них вернулись назад, а большинство тех, кто вернулся, в дальнейшем эмигрировали.

Еврейская община Жагаре пришла, таким образом, в упадок. По переписи 1923 года при общем населении 4 730 человек евреи составили 1 929 человек (41%). А к 1939 году, когда Литву присоединили к СССР, их осталось около тысячи.

Судьба оставшихся печальна. Гитлеровские войска заняли Жагаре уже на четвёртый день войны, 25 июня 1941 года. Подавляющее большинство проживающих здесь евреев не успели эвакуироваться. Они были заключены в гетто, а 2 октября 1941 года расстреляны и похоронены во рвах местного Нарышкинского парка (Нарышкины являлись прежними владельцами усадьбы).

Так трагически завершилась многовековая история еврейской общины Жагаре. В 1989 году, т. е. накануне распада СССР, здесь проживал всего... один еврей. Уже после обретения Литвой независимости в парке на месте массового расстрела установили три мемориальные плиты с надписями на русском, литовском языках и на иврите.

Ныне Жагаре — маленький уютный городок, утопающий в зелени садов и славящийся на всю Литву своим вишнёвым ликёром «Жагарес».



Семейное фото, сделанное в Нью-Йорке (во время первого визита доктора Кагана в Америку), вероятно, в августе–сентябре 1901 года. В первом ряду (слева направо): Дженни, Роза, Лейб (Луис), Борис (Авраам); во втором ряду: Якоб (Джейкоб), Лена, Иосиф (Джозеф), Гелла (Августа). На снимке отсутствует старшая дочь Берта, проживавшая в то время в Монреале

Семья

Семья Каганов была многодетной. Росли семеро детей: три брата и четыре сестры.

Отец семейства Лейб Шмуельевич в Америке принял имя Луис. Даты жизни: 1844 — 6 ноября 1906, т. е. прожил он всего 62 года.

Мать звали Роза (1854 — 11 июля 1919).

Дети (по старшинству).

Старшая дочь Берта: 17 июля 1869 — 11 ноября 1945. Бабушка г-жи Джоанн Голдуотер, проживающей ныне в Монреале (Канада) и любезно предоставившей нам многочисленные документы, фотографии и сведения о семье доктора Кагана и о нём самом. Берта родилась в Жагаре. Переехала в Монреаль в 1893 году. Там вышла замуж. Имела пятерых детей, но только трёх внуков (внучек), в том числе г-жу Голдуотер, которая, таким образом, приходится доктору Кагану внучатой племянницей.

Авраам-Бер (Борис): 1870 (Жагаре) — 1912 (Коломна). Второй ребёнок в семье.

Гелла (Августа, Густа): 19 ноября 1876 — 1964. Замужем не была. В Нью-Йорке преподавала игру на фортепиано.

434 Годы учений

Лена Розин (Rossen): 28 августа 1879 — 1958. Была замужем, но детей не имела. Работала секретарём.

Джозеф (Иосиф): 29 марта 1882 — 28 июля 1940. В Нью-Йорке был известным юристом и педагогом. Женат не был. Умер за год до рождения г-жи Голдшотер, и именно в честь него она получила имя Джоанн.

Джейкоб (Якоб, Иаков): 13 октября 1884 — 1 апреля 1921. Имел троих детей. Его внук Авраам живёт в Нью-Йорке.

Дженни Хайман, младший, последний ребёнок в семье: 6 октября 1889 — 23 января 1979. Имела двоих детей. Работала школьным учителем в Нью-Йорке.

После рождения двух первых детей, Берты и Бориса, семья (где-то в середине 1870-х годов) переехала в Ригу, и все остальные дети родились уже там.

Отец семейства эмигрировал в Нью-Йорк из Риги вместе с двумя сыновьями, Джозефом и Джейкобом (Иосифом и Якобом) в 1891 году. Двумя годами позже, в 1893-м, туда переехала и Роза с дочерьми. В России, таким образом, остался лишь один Борис. Он постоянно разрывался между своей семьёй (жена и двое детей) здесь, в России, и остальным семейством (родители, братья и сёстры), жившим по другую сторону океана. В Америке все они носили фамилию Кан, в том числе и Борис Львович был известен там как доктор Кан.

По достижении ученического возраста Борис Львович Каган поступил в рижскую гимназию, каковую успешно закончил в 1887 году.

После окончания гимназии, в том же 1887 году, Борис Львович переехал в Москву, где поступил на медицинский факультет Московского университета. Курс наук он окончил в 1893 году, то есть в возрасте 23 лет. По специальности он был окулист (глазной врач), но в те времена доктора были практически универсалами, «мастерами на все руки». Земство, скажем, не могло содержать в своих сельских лечебницах штат врачей-специалистов разного профиля. Один доктор (вспомним Чехова, Булгакова, Вересаева) выступал в ипостаси и терапевта, и хирурга, и акушера, и кого угодно.

Ещё будучи студентом 5-го курса, летом 1892 года Борис работал врачом на землечерпалке (драге), курсировавшей по Оке в Рязанской губернии. В то время там свирепствовала холера, и юноша впервые окунулся во врачебную практику.

После окончания университета, уже дипломированный, он около года работал фабричным врачом: лечил рабочих, служащих, их семьи.

Жена и дети

В университете Борис Львович познакомился с Ольгой Ивановной Шпаковской, которая впоследствии стала его женой и соратницей. Она также получила медицинское образование (среднее: жен-

щин в то время в высшие учебные заведения не принимали, только на курсы). В отношениях Ольги Ивановны и Бориса Львовича много неясного. Почему, например, в справочнике «Памятная книжка Московской губернии на 1899 год» она записана под фамилией Турбина?

«При деревне Кривяжиной: врач — Абрам Бер Лейбович Коган; фельдшерка — Ольга Ивановна Турбина; акушерка — Зинаида Ивановна Колосова».

В журнале Бронницкого уездного очередного земского собрания от 9 ноября 1907 года под пунктом 6 значится: «Назначить фельдшерке Кривяжинской лечебницы **О. И. Турбиной** пособие на лечение болезни в размере 150 рублей», и стоит пометка: «Принято».

Г-жа Джоанн Голдуотер, со слов сына доктора Кагана Евгения, с которым она много общалась, приводит такие подробности об Ольге Ивановне: «Её отец был генералом, тоже врачом, под его началом был один из участков Московского военного округа». Надо сказать, что поиски сведений о генерале Иване Шпаковском успехом пока не увенчались. Если Ольга Ивановна была замужем за доктором Каганом, то почему носила фамилию Турбина? Может быть, это фамилия её первого мужа? Но об этом было бы как-то известно. Вообще же, конечно, женщина за свою жизнь может сменить несколько фамилий (Гончарова — Пушкина — Ланская)...

В лечебницах, где Кагану доводилось работать, Ольга Ивановна служила акушеркой и фельдшерницей.

Ещё когда Борис Львович начинал свою врачебную деятельность в больнице города Воскресенска (Истры) в 1895 году, они уже были вместе. Доктор П. А. Архангельский пишет: «...в лице **Б. Л.** и его супруги **О. И.**, служившей тогда акушеркой-фельдшерницей при лечебнице, я нашёл самых горячих сотрудников».

Вопрос, были ли Борис Львович и Ольга Ивановна официально зарегистрированы как супруги, остаётся открытым. В то время браки заключались в православных храмах или в храмах (мечетях, синагогах и т. д.) других конфессий, в зависимости от вероисповедания пары. Перед совершением обряда заполнялся так называемый «брачный обыск» — анкета, куда включались сведения о женихе и невесте: дата и место рождения, место проживания, кто родители и т. д. Этот

Одна из немногих сохранившихся фотографий Ольги Ивановны





Валя и Женя в детстве

«обыск» затем хранился в архиве церкви, а супруги получали на руки свидетельство о браке. В советский период, в эпоху богоборчества, когда большинство храмов (и не только православных) было закрыто или уничтожено, так же было уничтожено или пропало большинство церковных архивов.

Между тем, на заседании Коломенского и Бронницкого санитарных советов, состоявшемся 3 марта 1912 года и посвящённом памяти Бориса Львовича Кагана, Ольга Ивановна записана как *«вдова покойного О. И. Каган»*. Это может означать, что брак всё-таки был официально зарегистрирован.

Как бы то ни было, у Бориса Львовича и Ольги Ивановны родилось двое детей: мальчик и девочка. Старшая дочь Валентина родилась 10 января 1901 года в Коломне. У неё был брат-близнец Николай, который умер в двухлетнем возрасте в 1903 году. Ольга Ивановна умерла от пневмонии в 1923 году. После смерти матери, в 1923 или 1924 году, Валентина вместе с братом переехала в Америку. Замуж она так и не вышла и всю жизнь прожила со своей тётёй Дженни Хайман: растила и воспитывала её детей. Когда тётя Дженни умерла (1979), Валентина перебралась в Калифорнию, чтобы жить рядом с её сыном Джимми Хайманом. Она умерла в 1989 году в возрасте 88 лет.

Евгений был на три с половиной года младше сестры. Он родился 13 августа 1904 года. После переезда в Америку их пути с сестрой разошлись. Валентина осталась в Нью-Йорке, а Евгений перебрался в Канаду, в Монреаль. Там он женился на своей двоюродной сестре Этель, дочери Берты (благодаря этой женитьбе Евгений формально стал дядей г-же Джоанн Голдуотер). Детей, однако, у них не было. Все, кто знал Евгения, отмечают, что он был весьма остроумным человеком и замечательным рассказчиком. Как и его отец, он всегда находился в движении. Говорили, что внешне он похож на русского графа.

Со слов того же Евгения, с которым г-жа Голдуотер активно общалась в последние годы его жизни, его мать, Ольга Ивановна, была якобы сослана царским правительством в Сибирь за то, что «обучала крестьянских детей грамоте». За обучение грамоте в Сибирь обычно не ссылали. Скорее всего, если этот факт действительно имел место, сослали её за «пропаганду», антиправительственную агитацию. И тут же встаёт ряд вопросов, на которые пока нет ответов. Когда это было: до знакомства с Каганом или уже после его смерти? Куда сослали? Надолго ли? Где при этом были дети?

У Ольги Ивановны, кажется, была сестра Анна, которая вышла замуж

Евгений Каган в Америке вместе с 2-й женой Голдуотер.



за грузинского князя Лордкипанидзе.

Как и где жила Ольга Ивановна, где и кем работала после смерти мужа, как они с детьми пережили смутные годы революции, гражданской войны, где она похоронена — все эти вопросы также пока остаются без ответов. Известно лишь, что она пыталась связаться с американскими родственниками Бориса Львовича, и даже была назначена встреча в Берлине, но она туда так и не приехала.

Земский врач

Но вернёмся к Борису Львовичу. В октябре 1895 года он стал земским врачом. Его пригласил к себе П. А. Архангельский, заведовавший в то время лечебницей в... Воскресенске. Тут каждый наш читатель должен вздрогнуть. Но, увы, это не наш Воскресенск (его тогда не было и в помине), а небольшой городок Звенигородского уезда, ныне носящий название Истра (по одноимённой реке). Следует заметить, что десятью годами раньше в этих же местах начинал свою врачебную деятельность молодой доктор А. П. Чехов.

В Воскресенскую земскую лечебницу Борис Львович Каган поступил в начале октября (6-го или 7-го числа) и проработал там несколько месяцев (меньше года) в должности ассистента.

Вот что пишет П. А. Архангельский, вспоминая своего бывшего ассистента.

«Пребывание БЛ (Бориса Львовича — ред.) в Воскресенске сопровождалось оживлением во всех сторонах больничной жизни. Живой, деятельный, общительный, хорошо образованный и преданный своему делу врач, он сразу вник во все стороны земской участковой деятельности, и скромное звание ассистента больницы не служило для него путями ни в каком отношении. Прежде всего, с прибытием БЛ, конечно, закипела работа в госпитале и амбулатории, но не было и таких случаев, когда бы БЛ затруднился отправиться для оказания пособия и на дом к больному, а такие случаи в Воскресенске, как городке, бывали довольно нередки. Вообще БЛ по отношению к больным осуществлял высокую мораль врача: его не стесняли в этом отношении ни погода, ни время, ни способы передвижения. К характеристике БЛ в этом отношении я позволю себе привести слова одного обывателя, не имевшего никаких с ним личных отношений: если бы меня спросили, — говорил обыватель, — видел ли я врача, осуществившего высокую христианскую мораль в исполнении своего долга, я бы ответил: да, я видел, это — врач-еврей, Б. Л. Каган».

Кривякинская лечебница

В конце августа 1891 года в сельце Кривякине Бронницкого уезда Московской губернии стараниями и на средства светлейшего князя Александра Андреевича Ливена (1860–1901), владельца усадьбы Кривякино, и графа Сергея Владимировича Орлова-Давыдова (1848–1905), владельца усадьбы Спасское, открылась лечебница. В Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ) в фонде Бронницкой уездной земской управы сохранилась обложка утерянного дела «Об открытии Кривякинской лечебницы, построенной Светлейшим Князем А. А. Ливен (31 августа 1891 года — 2 сентября 1891 года)» (фонд 185, оп. I, д. 313).

Эту лечебницу сначала называли Ливеновской. А уже когда она переместилась на другое место, то получила наименование Кривякинской.

Скажем несколько слов об её основателе А. А. Ливене. Он прожил недолгую жизнь, немногим больше 40 лет (кстати, как и доктор Каган), но имел довольно большой послужной список. После окончания юридического факультета Санкт-Петербургского университета получил степень кандидата прав (1883 год). Отдал дань военной службе: служил вольноопределяющимся в 12-м пехотном Пензенском полку, где вырос до подпоручика, и в 1885 году ушёл в запас. После этого занялся делами своего имени Кривякино в частности и делами Бронницкого уезда в целом. Так, в 1888 году был избран мировым судьёй Бронницкого уезда, а с 1890-го по 1896 год был предводителем Бронницкого дворянства. В 1893 году получил чин камер-юнкера, в 1896-м — камергера, в 1898-м — гофмейстера императорского двора (что-то вроде управляющего хозяйством). Кроме того, князь Ливен был управляющим двумя банками: Дворянским земельным и Крестьянским поземельным. Возглавляя Крестьянский банк, он, насколько возможно, старался облегчить положение крестьян. Уменьшил платежи по ссудам, выдаваемым крестьянам на покупку земли. Одновременно увеличил земельные нормы для приобретения земель. Упростил всяческие формальности, что для неграмотных или полуграмотных крестьян было важно. Современники отзывались о нём как о человеке простом и сердечном в отношениях со всеми окружающими, отзывчивом на чужие нужды и проблемы.

После его внезапной смерти, случившейся 23 мая 1901 года в Италии (где он находился на лечении), единственной владелицей усадьбы Кривякино, а впоследствии и Спасское стала его вдова, светлейшая княгиня Александра Петровна Ливен (урождённая Васильчикова).

В 1896 году Б. Л. Кагана пригласили на должность врача в Кривякинскую лечебницу. В ЦИАМе имеется дело «Переписка Московской губернской земской управы с уездными земскими управами о назначении, перемещении и увольнении медицинского персонала». Сохранилось письмо от 18 декабря 1896 года, в котором председатель Коломенской уездной управы сообщает Московскому губернскому правлению: «Уездная управа имеет честь уведомить Губернское правление, что управою вновь приглашён на должность врача Кривякинской лечебницы Б. Л. Каган» (фонд I, оп. 2, д. 2 277, л. 45).

Борис Львович переехал в Кривякино и приступил к обязанностям врача местной лечебницы. Здесь он проработал около 12 лет — до осе-

ни 1908 года. Можно сказать, он создал лечебницу своими руками. Первоначально она представляла собой небольшое здание на окраине леса, недалеко от лесной сторожки (по дороге в Чемодурово). Здесь было всего две койки, а обслуживающий персонал состоял из одного фельдшера и четырёх санитарок (нянь). Однако вскоре было решено перенести больницу на другое, более удобное место. Но земля, на которой наместили поставить больницу, принадлежала кривякинским крестьянам. Тогда княгиня Ливен выкупила у крестьян эту землю, взамен предоставив им лесные угодья.

На новом месте сначала построили амбулаторию (деревянное здание), родильный дом, больничную кухню, жилой дом для врачей (где и жил Борис Львович), прачечную и несколько других служебных зданий. В дальнейшем появилось хирургическое отделение (кирпичное здание, где ныне находится городская станция переливания крови), инфекционное отделение («заразный барак»), также из кирпича. Во всех зданиях имелись водопровод и канализация. Подача воды в водопровод производилась вручную, с помощью махового колеса, из колодцев.

Территориально больница теперь находилась на землях Коломенского уезда. Поэтому помощь ей оказывали оба земства: Бронницкое и Коломенское. Помогали и, как сейчас говорят, спонсоры (тогда говорили благотворители): та же княгиня Ливен и воскресенские (из пристанционного посёлка Воскресенск) лавочники, в частности Фёдор Бабаев. Иван Шилов в своих воспоминаниях (о них речь пойдёт ниже) называет последнего «обходительным, вежливым и честным человеком». В советской традиции лавочников представляли с прямо противоположными свойствами. Кстати, ныне в доме Фёдора Бабаева (отремонтированном и отреставрированном) размещается городской военкомат.

Почти сразу же Бориса Львовича приняли в члены Бронницкого уездного санитарного совета, где он исполнял должность секретаря. В его обязанности входило проверять санитарное состояние земских и церковно-приходских школ, и он сразу же наладил тесные отношения со всеми учебными заведениями и с их персоналом. Земские школы были, как правило, небольшими — один-два учителя и батюшка, преподававший Закон Божий.

Борис Львович, как бы сейчас сказали, внёс свой креатив, а по-русски — творческое начало, «живинку в деле». На рождественские праздники устраивал ёлки. Для этой цели у него имелся даже запас ёлочных украшений. Коробка с ёлочными игрушками переезжала из одной школы в другую. В то время наряжать ёлку было в обычае лишь у дворянских, помещичьих семей, а крестьянские дети этого праздника были лишены. Если только барин или барыня не пригласят (вспомним Ваньку Жукова из чеховского рассказа).

Борис Львович добился, чтобы в опекаемых им школах — Новлянской земской школе и Гостиловской церковно-приходской школе ввели так называемый приварок — завтрак. Состоял он, как правило, из одного горячего блюда (видимо, какой-нибудь каши). По статистическим данным за 1908 год, на приварок для школ Бронницкого уезда Земская Управа выделила 300 рублей (на год). Такую же сумму ассигновали в 1909 году.

По воскресеньям, когда уроков не было, Борис Львович устраивал в школе вечерние литературные чтения для взрослых. Литературу выбирал как художественную, так и популярную, просветительскую. Пользуясь современной терминологией, Бориса Львовича можно было бы назвать «культуртрегером», т. е. человеком, несущим культуру в массы, просветителем.

Из учительского и фельдшерского персонала, частично и из крестьян, Борис Львович организовал группу любителей театра. Они ставили спектакли, с которыми потом разъезжали по окрестным деревням и сёлам. Борис Львович, естественно, выступал режиссёром. Он считал, что сельским жителям также необходимы различные развлечения. Мало того — на спектакли из Москвы приглашали оркестр, хотя стоило это недёшево. Большой любитель музыки, Борис Львович хотел, чтобы и сельское население хоть иногда получало «музыкальное удовольствие».

Надо ли говорить, что успех таких представлений был громадным. Крестьяне не были избалованы культурными акциями. Балаган на ярмарке, проповедь в церкви — вот, пожалуй, и всё. Если сейчас «культурные услуги» поставляют радио, ТВ, кинотеатры, то сто лет назад, представьте, ничего этого не существовало.

В 1903 году Бориса Львовича единогласно выбрали председателем Общества взаимопомощи служивших и служащих Бронницкого уездного земства. Этому делу он также отдался со всем энтузиазмом. Так, он добился, чтобы фельдшерскому персоналу лечебниц повысили зарплату с 25 до 40 рублей в месяц, что оказалось весьма существенной материальной поддержкой для земских служащих (канцелярских и прочих). Составил подробный проект (программу) улучшения материального положения фельдшерского персонала, да и не только материального, но и правового.

Его ежегодно единогласно избирали председателем Общества вплоть до 1908 года, до отъезда в Америку.

Надо сказать, что после отъезда Бориса Львовича Общество стало быстро распадаться, хотя он писал из Америки письма, стараясь как-то направлять деятельность объединения.

Благодаря неиссякаемой энергии Кагана, появлению новых зданий, оборудования, улучшению бытовых условий резко увеличилось число больных, обращающихся в лечебницу.

Из воспоминаний врача К. И. Шевлягина.

«Больные стекались отовсюду, чувствуя, что явился человек, который даёт облегчение. Удивительно спокойный, до нежности добрый и отзывчивый, он стал кумиром больных. Вера в него была поразительная. Очень часто лекарства, назначаемые другими врачами, на больного не оказывали никакого действия; стоило только это же лекарство дать Борису Львовичу, и больной сразу же начинал чувствовать, что ему становится лучше. Свободно владея шестью языками и уделяя всё своё свободное время научным занятиям, он сделался тонким врачом-художником. Его назначения были всегда очень просты и в то же время строго обдуманы и научны. Черная свои знания из разных источников, преимущественно иностранных, он всегда находил, что дать больному. Больной сразу чувствовал, что он попал к серьёзному, знающему врачу и уходил от него очарованный. И нужно было только

раз попасть к нему на приём, второй раз уже невольно тянуло к нему, и совет Бориса Львовича был для больного окончательным, хотя бы дело касалось очень серьёзной операции».

Сохранились воспоминания и пациентов. В частности, потомственно-го жителя деревни Лопатино Ивана Алексеевича Шилова (1871–1960), каковые по устным рассказам записала дочь Антонина Ивановна Полищук. Эти записки под названием «Житие Ивана Шилова» публиковались в газете «Наше слово» с продолжением с 31 августа по 3 декабря 1991 года. Приведём некоторые выдержки.

«Стала мучить боль в паху. Пошёл в Кривякинскую больницу. Принимал врач Борис Львович Каган: «На что жалуешься?» А потом, к моему удивлению, начал обстоятельно расспрашивать про семью, про работу, про всё жизнь-бытьё моё. Спросил: «Сколько получаете денег, сколько часов работаете у Кацеповых?» Я ответил, что работаю по 12–14 часов да дома по хозяйству; летом 6–7 часов, а зимой поменьше, немного отсытаемся.

— Удаётся свести концы с концами? — спрашивает он далее. Вошёл фельдшер Израиль Иосифович [Зальцберг], стал к притолоке двери и слушает.

— Нет, до Рождества свой хлеб едим, а потом у лавочника Апухтина берём в долг на книжку, в основном муку, крупу, масло растительное... Огород, правда, свой, капусты серой нарубаем к зиме вёдер этак 100, огурцов засаливаем вёдер 80. Постами едим только эти овощи да ещё квас, редьку, хрен, репу и свёклу пареные.

Рассказывая это, я поднял глаза, а Каган снял пенсне, улыбается так ласково, и такое доброе у него лицо, что я даже опешил. Отец родной! (Хотя мы с ним одногодки.) Вот это доктор. К нему можно запросто приходиться. Он меня послушал, надавил грыжу и сказал:

— Вырезать можно, но невозможно тебе не работать год.

Я заохал:

— Невозможно...

— Тогда выполняй всё, что скажу. Заваривай в чайник полынь, потом в печке, потом пей три раза в день, а через месяц приходи ко мне. Ещё вот что. Корова-то у вас своя, а ты не ешь [молочного] и детей моришь редькой да квасом. Поститесь, в Бога верьте, да себя не забывайте.

Дал он мне каких-то порошков, тепло проводил до двери.

(...) Через месяц я вновь посетил больницу. Борис Львович улыбается, говорит: «Всё идёт хорошо. Две недели не пей полынь, потом повтори так же».

Полынь я пил всю свою жизнь, как приказал Борис Львович.

Потом мне довелось ещё у него лечиться. Встретил, поздоровался за руку, усадил и, хитро улыбаясь, спросил:

— Ну как, сводим концы с концами?

Я сокрушённо замотал головой:

— Нет... Отец умер. Младшую сестру замуж выдал. Мать старая стала. Жена с фабрики ушла, детей прибавилось, по дому дел много. Одни долги...

— Да, кабала хорошая. А вот Кацепов богатеет. Что ж, он хозяин, а вы — рабы.

Каган задумался. Спросил:

— Что болит-то?

Я сказал, удушье, кашель мучает, ночами не сплю.

— Давно куришь? — задал вопрос.

— С семи лет, — отвечаю.

— Вот ещё бич бедности! — угрюмо проговорил он. — Дом маленький, полно детей, и дым под потолок. На печи и полатах дети дышат отравой. Особенно зимой, когда они лишены возможности гулять — разуты, разде- ты... Кто ещё в доме курит?

— Я один.

— Бросать немедленно курить!

— Не смогу, наверное...

А сам кашляю не переставая.

— Сможешь, — сказал мне Каган. — Убеди себя, что это необходимо. Ведь бросил же ты ругаться матом. Сможешь, сохранишь жизнь себе, и дети будут здоровы. Держись! Я в тебя верю, человечина! Приходи, жду тебя некурящим.

И проводил меня до двери.

Я и до этого разговора бросал курить, но ничего не получалось. А тут решил крепко. Не курю день, другой, табак и спички ношу в кармане. Но на третий день мне невмоготу. Пошёл в уборную, держу папироску, держу в руках, она горит, а я её заклинаю, ругаю: «Вот ты горюшь и гори, а курить тебя я не буду, дрянь такая! Жить мне не даёшь, дышать мне не даёшь. И вся ты, дымная вонючка, хочешь верх надо мной взять! Вот тебе, вот!»

Бросил на пол и с силой затоптал окурок. И вроде бы мне полегчало. Так и пошло. Невмоготу — иду в уборную, зажгу папиросу, проклинаю, растоп- чу, и легче становится.

(...) Прошло две недели. Я ни разу не закурил, но кашель стал бить меня сильнее. Вновь пошёл к Борису Львовичу. Он с удовольствием побеседовал со мной. Был рад, что я не курю. Узнав, что кашель стал сильнее, засмеял- ся и сказал:

— Это табак хочет взять тебя страхом. Дни его сочтены. Держись на своём, теперь кашель на убыль пойдёт.

Дал мне микстуры:

— Попей две недели.

И заставил ещё раз рассказать, как меня отвезли в «мальчики» в Мо- скву, как я там жил и как бил меня хозяин...

Я стал благодарить Кагана за лечение. Борис Львович сказал:

— Знаешь, какая мне нужна благодарность? Чтобы ты бросил курить. Человеком себя почувствуешь.

И верно. Кашель отстал вовсе. Сто спасибо Борису Львовичу, дай Бог ему здоровья.

Потом узнал, что он уехал в Коломну».

Упомянувшийся выше врач К. И. Шевлягин в своих воспоминаниях о докторе Кагане приводит такой эпизод.

«Весной 1898 года я был оспопрививателем в его участке и мне пришлось ночевать в Кривякине. Я в первый раз увидел Бориса Львовича. Как сей- час помню то впечатление, которое он на меня произвёл: он почти не си- дел на месте, ежеминутно вскакивал и убегал; его беспрерывно тормоши-

ли; мне казалось, что где-то за стеной стоит целая вереница лиц, которым он был нужен. Я не вытерпел, наконец, и спросил, что это за день такой, что БЛ нет минуты отдыха? Борис Львович засмеялся и сказал, что это всегда так: беда в том только, что негде работать так, как хочется. И стал показывать мне убогую в то время больницу. Узнавши потом всю его энергию и способность работать, я понял, как тесно было там Борису Львовичу. Годы текли, и мы видели, как Кривякинская больница стала расти. Благодаря энергии БЛ стали появляться новые здания. (...) На все несчастия ближних, даже незнакомых людей, он отзывался первым и давал гораздо более, чем мог. Стоило Борису Львовичу узнать, что где-нибудь в его участке лежит тяжело больной, он не мог вытерпеть, чтобы не навестить его. Иногда в весеннюю распутицу он это делал пешком. Всегда спокойный и необыкновенно скромный, он сразу становился очень близким просителю; не мог отказывать. Как ни занято было у него время, он находил минуты для всякого, кому только он был нужен».

Революционная деятельность

В советский период нашей истории значимость того или иного деятеля дореволюционной эпохи определялась прежде всего его «революционностью». Кого только ни записывали в «революционеры» — и Пушкина («Тебя, твой трон я ненавижу»), и Лермонтова («Страна рабов, страна господ»), и уж, конечно, Горького (Буревестника революции). Список можно продолжать очень долго. Стоило кому-нибудь хоть как-то высказаться против царского режима, самодержавия, как он уже считался прогрессивным деятелем, который «бичевал», «клеимил», «выступал» и т. д. Конечно, наше дореволюционное прошлое не следует выставлять в розовом свете: оно, как и любой период нашей истории, может подвергаться критике. Не надо только выпячивать одни минусы и затушёвывать плюсы.

Столь длинное предисловие сводится к тому, что и из нашего героя, земского врача Бориса Львовича Кагана, пытались «вылепить» революционера. Краевед В. Н. Гошкевич в своей рукописной книге «Город Воскресенск и его окрестности» пишет, что в период общественного подъёма 1905 года центром революционного движения была Кривякинская больница, а её вождём [!] — главный врач больницы Каган Борис Львович». Вождём — не более, не менее... Тут же, правда, автор с сожалением добавляет, что Борис Львович не принадлежал ни к какой политической партии, а действовал, исходя из личных побуждений и представлений.

Несомненно, Борис Львович сочувствовал простым труженикам: рабочим, крестьянам, служащим — и по мере сил и возможностей старался хоть как-то, хоть немного облегчить их условия жизни. За это, кстати, простой народ и полюбил его. Он помогал им всем своими знаниями, опытом, трудом, доброжелательным отношением, а отнюдь не стрельбой на баррикадах.

Журналист Илья Лин (он стоял у истоков газеты «Московский комсомолец») в 1926 году издал книгу «Первая волна (1905 год в Бронницком уезде)». Вот его прямой текст (стр. 55–56).

«Сами культурные силы деревни не представляли особенно большой политической величины. Главная масса учительства политически была мало развита и зачастую больше того, что давала епархиальная семинария, не знала. Была, однако, и активная, образованная, по меньшей мере, прогрессивная и, подчас, революционно настроенная часть. Это — сёстры Филипповы, Жужин, Кудрявцев, Горячев, Каиров, Громова и другие. Была небольшая квалифицированная группа сельских врачей, особенно выделялся врач Кривякинской больницы Б. Л. Каган, он имел большую популярность среди населения и среди различных групп земских служащих. Ему удалось организовать Общество Взаимопомощи Земских Служащих и объединить весь третий элемент [первый «элемент» — рабочие, второй — крестьяне, «третий элемент» — служащие, интеллигенция]. В это общество вошли учителя, земские служащие — Веселов, Попов, Тяжелов, врач Зальцберг, Иванов, ветврач Попов и другие.

Если вначале это объединение начало свою работу с вопросов экономических, то в дальнейшем оно должно было заняться «крамолой».

Увы, коллектив этот не имел в своей среде лидера с определённым партийным взглядом. Что их объединяло — это ненависть к самодержавию, которая особенно чувствовалась в учительской массе, находившейся под бдительным оком жандармов и ревностным надзором инспектора.

Собрания были легальными. Повестка дня утверждалась исправником. Некоторые вопросы вычёркивались. Были случаи, когда вычеркнутые вопросы всё же разбирались».

Как видим, и здесь автор с сожалением констатирует, что в этом коллективе не было людей с «определённым партийным взглядом». «Взгляд», конечно же, должен был быть большевистским.

Через год тот же Илья Лин, уже в соавторстве с «профессиональным революционером» Алексеем Войцекяном (это псевдоним, настоящая фамилия Войцех; расстрелян в 1938 году, как и огромное количество других настоящих революционеров), выпустил ещё одну книгу: «За 12 лет. Революционное движение в Бронницком уезде за 1906–1917 включительно» (издание Бронницкого УКОМа ВКП (б), Москва, 1927), являющуюся как бы продолжением первой. В книге есть глава «По примеру раменцев», повествующая о событиях на Барановской фабрике. 7 июля 1907 года рабочие фабрики собрались рано утром и постановили начать забастовку (стачку). Организатор стачки П. Самовольнов, присланный в Барановское Егорьевской организацией, выставил хозяину фабрики Кацепову 25 экономических требований, после чего «все рабочие как один подняли руки за забастовку».

Забастовка была объявлена. Был выбран забастовочный комитет. Группа работников, руководившая забастовкой, обосновалась в Кривякинской лечебнице (при станции Воскресенск, М.-Каз. ж. д.). Заведывал этой лечебницей в то время врач и общественный деятель Коган Б. Л., который всегда оказывал помощь в революционной работе. Самовольнов и Бобков В. А. [также один из организаторов стачки, член социал-демократического кружка] были им зачислены в штат рабочих лечебницы.

Вообще в Кривякинской лечебнице все служащие, начиная с низших и кон-

чая широко известным в населении Б. Л. Коган и его заместителем И. И. Зальцберг, сочувствовали революционному движению и всемерно помогали революционерам.

Там же был склад нелегальной литературы, которая распространялась среди бастовавших рабочих, там же происходили совещания руководителей забастовки» (сохранена орфография подлинника).

Говорят, что забастовщиков Борис Львович определил на работу в «разный» барак, куда полицейские не осмеливались заглядывать.

Революционером в прямом смысле слова Б. Л. Кагана назвать вряд ли можно. Скорее, сочувствующим интеллигентом, который по совести встал на сторону униженных и слабейших.

А забастовка на Барановской фабрике продолжалась 54 дня, после чего рабочие решили выйти на работу, хотя ни одно из их требований не было удовлетворено. Присланный на фабрику отряд казаков арестовал многих организаторов, в том числе и Самовольнова, который отсидел в тюрьме 9 месяцев.

Бывший заместитель Б. Л. Кагана доктор И. И. Зальцберг на собрании памяти доктора Кагана 3 марта 1912 года, в частности, сказал:

«В бурные годы освободительного движения Борис Львович старался разъяснить участковому населению смысл происходящих событий. Это, конечно, не могло нравиться тёмным элементам, которые пытались вооружить население против Бориса Львовича. Однако мрачная проповедь против него не удалась, так как он был окружён слишком большой любовью. Случалось даже так, что те, кто произносил угрозы по адресу Бориса Львовича, являлись к нему с повинной и делали его добрыми друзьями. Любовь населения к Борису Львовичу была какая-то особенная, я бы сказал, нежная. Его везде иначе не называли, как «наш Борис Львович»».

А. И. Порожнякова, представитель Бронницкого санитарного совета, выступавшая на том же памятном собрании после Зальцберга, затронула в своём выступлении «больную» тему.

«То уважение, та симпатия и доверие, которыми окружали Бориса Львовича те, среди кого он жил и работал, были для него лучшей наградой и отчасти, может быть, служили причиной того, что Борис Львович был всегда бодр и весел. Однако, был момент, когда в этом отношении Борису Львовичу был нанесён тяжёлый удар. Это было в 1906 году, когда зашевелились тёмные элементы населения и Борису Львовичу пришлось встретиться с недоверием к себе, основанием для которого служила его национальность. Хотя Борис Львович, как это свойственно всякому сердечному и вдумчивому человеку, любил народ, к которому принадлежал по рождению, болел его страданиями и никогда от него не отказывался, но он горячо привязался и к тому населению, среди которого работал. И это недоверие ударило его прямо в сердце. «Уж я никак этого не ожидал», — говорил нам в глубоком волнении Борис Львович. И это было действительно жестоко! Не это ли послужило первым толчком к тому, что у него явилась мысль оставить службу в Кривякине?»

Америка

Кривякинскую больницу Борис Львович покидал трижды, чтобы пересечь Атлантический океан и повидать своих родных и близких, уже давно обосновавшихся в Новом Свете.

Первый раз Борис Львович отправился за океан в 1901 году. Всё население Кривякина, все его пациенты были весьма обеспокоены мыслью: вернётся ли он обратно в Кривякино? Чтобы выразить добрые чувства, кривякинцы преподнесли своему доктору такой адрес:

«Глубокоуважаемый Борис Львович! Позвольте нам, собравшимся здесь, простыми словами выразить то чувство, которое волнует нас. Это чувство есть глубокая благодарность Вам за то, что Вы не пожалели все свои силы и знания, всю свою душу принести в помощь горькой крестьянской нужде. Хотя Ваша деятельность в этом округе и не была продолжительна, но она была в высшей степени плодотворна. За пять лет труда число Ваших пациентов увеличилось с 4 000 до 20 000. Ваша добрая слава привлекла сюда больных из других уездов и городов: из Москвы, Ярославля, Егорьевска и проч. Никому и никогда не было отказа. Вы работали не только не жалея сил, но и сверх их. Днём и ночью больной смело стучал в Вашу дверь и никогда не уходил неудовлетворённым. Мы ценили Вас не только, как доктора, который, несмотря ни на время, ни на дальность пути, ни на собственный покой, спешит навстречу людскому недугу; мало того, мы ценили Вас и как человека, который сочувствует нам, тёмному люду, и который глубоко страдает при виде страданий других. Такое ласковое, вполне человеческое отношение, отражаясь на нас, поневоле вызывает чувство глубокой любви и благодарности к Вам. Спасибо Вам, русское спасибо, за Вашу труженическую деятельность, за Ваш подвиг на пользу народа, и дай Вам Бог сил и здоровья для продолжения такой великой деятельности быть другом страдающего человечества.

Позвольте же, в знак нашей признательности и на добрую память, поднести Вам два Ваших портрета. Кроме того, мы желали бы иметь один из портретов в амбулатории, о разрешении чего мы и думаем просить, во-первых, Вас, а затем и высшее начальство».

Да, не привык русский народ к доброму или хотя бы доброжелательному к себе отношению. Это казалось чем-то противоестественным, чтобы начальник, чиновник думал о простом мужике, рабочем, старался бы как-то облегчить и скрасить их тяжёлое существование.

Надо ли говорить, что предложение украсить амбулаторию его собственным портретом Борис Львович по свойственной ему скромности отклонил, как ни настаивали на этом преисполненные благодарности кривякинцы. Интересно бы узнать, кто был автором этих портретов и какова их дальнейшая судьба.

Отъезд состоялся в конце лета. Борис Львович добрался до Гамбурга и 21 августа пароходом компании Hamburg America Line отправился за океан. Пароход держал курс на Нью-Йорк, где проживало большинство родственников Бориса Львовича. Именно тогда была сделана групповая фотография, представленная нами в разделе «Семья». Первая по-

ездка Бориса Львовича, так же, как и вторая, была оформлена как научная командировка — для изучения опыта организации медицинской помощи населению Нью-Йорка, о чём впоследствии врач представил подробный научный отчёт.

Второй раз Борис Львович отправился в Америку в 1906 году. Видимо, это было связано с ухудшившимся состоянием здоровья его отца. 27 октября 1906 года Каган отплыл из Роттердама, 7 ноября прибыл в Нью-Йорк. Но он опоздал всего лишь на один день. Его отец скончался накануне, 6 ноября. На этот раз Борис Львович пробыл в Нью-Йорке более двух месяцев. Известно, что 9 января 1907 года в Нью-Йорке он обратился за получением медицинской лицензии. Вернувшись в Россию, он также составил отчёт о командировке, где рассказал о состоянии медицинского обслуживания в Америке.

В третий и последний раз Борис Львович поехал в США в сентябре 1908 года. Ему устроили проводы. Они происходили в Золотовской лечебнице.

А. П. Порожнякова описывает их так:

«...собралась вся Бронницкая управа, некоторые земцы, все настоящие и бывшие его сослуживцы, представители фельдшерского и учительского персонала и в искренних словах высказали ему всё своё уважение и любовь. Кроме того, Общество взаимопомощи служивших и служащих Бронницкого земства, главным образом в лице учителей Бронницкого уезда, захотело ещё и от себя устроить ещё проводы и попрощаться с Борисом Львовичем. Для этого собрались в гор. Бронницах. Собрание было чрезвычайно многолюдно. Проводы отличались необыкновенной простотой и сердечностью».

10 сентября 1908 года доктор Каган отплыл из Копенгагена и 22 сентября прибыл в Нью-Йорк. Получив лицензию-диплом, он практиковал в диспансере Sydenham, а проживал по адресу: 156 West, 118 Стрит, Нью-Йорк. В телефонном справочнике Нью-Йорка за 1910 год он значился как доктор Авраам Б. Канн.

Так прошли два года. В России оставались жена и двое детей.

Заместитель Кагана доктор И. И. Зальцберг говорит об этой поездке так:

«Этот отъезд обуславливался глубокими, тяжёлыми переживаниями, которые Борис Львович испытывал в годы беспримерной реакции, последовавшей за подъёмом общественной волны 1905 года. Под влиянием этих мучительных переживаний и огромного труда Борис Львович стал чувствовать некоторую усталость. Он боялся, чтобы это утомление не перешло в охлаждение, а он понимал общественную работу только как пламя, в котором он весь должен гореть. И вот он решает поехать за океан, стать в совершенно новые условия жизни и работы. Благодаря своим блестящим способностям и знанию английского языка, он без усилий добился американского диплома и начал заниматься частной практикой. Как ни велика конкуренция среди американских врачей, ему всё же скоро удалось привлечь довольно много пациентов и он имел вполне обеспечивающий его заработок.

... несмотря на то, что в Америке его окружала нежная заботливость матери, братьев и сестёр, несмотря на свободу и культуру, Борис Львович всё же не мог усидеть в Нью-Йорке. Его манила бедная родина, где самая жизнь для чуткого человека есть подвиг».



Этот снимок сделан 15 августа 1908 года (в праздник Успения Пресвятой Богородицы) в селе Новлянском, за месяц до отъезда в Америку. Доктор Каган и его жена Ольга Ивановна — в центре снимка. Остальные — это учителя, врачи, медицинский персонал, земские служащие. Рядом с Каганом, по левую руку — священник новлянской церкви свт. Иоанна Златоуста

448

АЛЕКСАНДР СУСЛОВ

Каган пересёк океан, приехал в Европу. Добрался до Берлина. Оттуда через Штеттин — в родную Ригу, где сел на поезд «Рига — Москва». Однако в Кривякинскую больницу уже не вернулся. Устроился на место врача в Коломенской земской больнице. Это был август 1910 года.

Трагический конец

И снова доктор Зальцберг:

«...в Коломне Борис Львович ещё шире развернул свои таланты, ещё больше раскрывал своё великое сердце, ещё беспощаднее сжигал свои силы в неустанной работе. И здесь, как и везде, он не только сам творил, но и приводил в движение других. Достаточно указать на его роль в деле устройства передвижной выставки по борьбе с заразными болезнями. Какая странная ирония, что тот, кто больше других сделал для культурной борьбы с эпидемиями, сам себя не мог уберечь от сыпного тифа!»

Злая ирония судьбы заключалась ещё и в том, что Борис Львович в последнее время стал сильно уставать: сказывалось хроническое переутомление. Ведь приём больных он начинал утром и вёл часто до позднего вечера.

«Он никогда не допускал торопливости в работе, самого последнего больного он отпускал от себя после тщательного исследования, отдав себе отчёт в особенностях его заболевания», — вспоминал В. М. Белгородский.

«Возвратившись после двухлетнего пребывания в Америке и заняв место врача в Коломенской земской больнице, Борис Львович приехал в Бронницы на санитарный совет и показался нам сильно изменившимся: худой, бледный, как будто угнетённый; работа его больше не удовлетворяла, он не мог исполнять её с тем совершенством, какого он сам от себя требовал, а требования к себе он повышал всё более и более. Вывода он тогда ещё не сделал, но, очевидно, он у него назревал. Как жаль, что он не поторопился!» — таково мнение А. П. Порожняковой.

Чувствуя усталость и не умея работать вполнакала, Каган решил совсем оставить земство и удалиться от дел. Может быть, он подумывал о возвращении в Америку, но уже вместе с семьёй. Он уже наметил срок увольнения: 1 февраля 1912 года. И он действительно ушёл, но днём позже, и ушёл навсегда. 2 февраля земский врач Борис Львович Каган скончался, не дожив нескольких месяцев до 42 лет.

Историю его внезапного заболевания и трагической гибели в народе рассказывали так. Однажды он шёл по дороге из Песков в сторону станции Воскресенск и увидел у дороги лежащую без сознания женщину, крестьянку. У неё был тиф. Естественно, доктор не мог пройти мимо. Удостоверившись, что она ещё жива, доктор взвалил её на себя и потащил к станции, где имелся медпункт. Тут-то тифозная блоха или вошь перескочила на доктора... В результате он получил смертельное заражение, и спасти его не удалось... А крестьянка, говорят, выжила.

Похороны состоялись на третий день после кончины, т. е. 4 февраля 1912 года.

Гроб с телом Бориса Львовича Кагана доставили из Коломны на станцию Воскресенск. Огромная траурная процессия двинулась к Кривякинской больнице, которой покойный отдал 12 лет жизни, а уже оттуда направились в село Новлянское, к месту вечного упокоения. Все 4 километра гроб несли на руках. Несли также огромное количество венков.

Вот как рассказывает об этом Иван Шилов:

«Могила выкопали не в церковной ограде [церкви св. Иоанна Златоуста], где хоронили богатых купцов, а в отдалении, саженьях в пяти-шести. Попы, те были против похорон в ограде: вольнодумец, в церковь не ходил... На крутом берегу Москвы-реки могила Кагана.



Позже был установлен памятник. На нём была выбита надпись: «Жертве беззаветной любви к ближнему», а также привинчена овальная керамическая фотография.

На следующий день после похорон в газете «Русские ведомости» (№ 29 от 5 февраля 1912 года) было помещено сообщение о похоронах доктора Б. Л. Кагана.

«Вчера в Коломне происходили похороны Коломенского Земского врача Б. Л. Кагана. (...) На похоронах присутствовал весь состав Земской Управы, гласные Коломенского и Бронницкого Земств, председатель Бронницкой Земской Управы, гласные Коломенской Городской Думы, представители Губернской санитарной организации, местные земские врачи, народные учителя, агрономы, техники, фабриканты, фабрично-заводские рабочие, масса пациентов и почитателей покойного. На могилу положили венки от местных крестьянских общин, от Губернского Санитарного Совета, Губернских земских врачей, Коломенской Городской Управы, Коломенского Земства, земских коломенских врачей, служащих коломенской больницы, от коломенского отделения народного университета и др.

В следующую субботу состоится заседание в Кривякинской больнице, посвящённое памяти Кагана. Местные фабриканты подали Председателю Земской Управы прошение о ходатайстве на разрешение собрать фонд имени Кагана для открытия какого-либо просветительского учреждения».

450 Память

Через месяц после похорон, 3 марта 1912 года, в большом зале Коломенской земской управы состоялось совместное заседание Коломенского и Бронницкого санитарных советов, посвящённое памяти Бориса Львовича Кагана. Зал украшал его портрет. На заседании присутствовали 85 лиц, представители обоих уездов, Бронницкого и Коломенского: врачебный и фельдшерский персонал, учителя, фабричные врачи, служащие различных земских отделов, члены управ и другие. Среди них — вдова покойного Ольга Ивановна Каган, князь П. А. Ливен, уже знакомые нам И. Зальцберг, К. Шевлягин, В. Белгородский, Ф. Бабаев, А. Порожнякова и многие другие.

Присутствующие почтили память усопшего минутой молчания. Выступавшие — друзья, коллеги, соратники Бориса Львовича — вспоминали и говорили о нём подобающие слова, рассказывали о своём знакомстве с ним, о его методах работы, отношении к больным, об особенностях его характера, о просветительской работе и общественной деятельности, высоком профессионализме, доброте, чувстве долга, о его научных трудах, неиссякаемой энергии, готовности прийти на помощь по первому зову, добросовестности, внимательности к людям — коллегам, пациентам, сотрудникам...

В конце концов, был поставлен вопрос об увековечении памяти покойного. Поступили разные предложения. О. Касторская от Коломенской общественной библиотеки им. Лажечникова сообщила, что общее собрание членов библиотеки постановило вывесить в читальном зале библиотеки портрет Бориса Львовича как выдающегося общественного деятеля, примером своей жизни создававшего высокие идеалы.

Группа местного населения Кривякинского медицинского участка высту-

пила с инициативой открыть подписку на устройство каменной амбулатории в Кривякинской лечебнице или какого-либо просветительского учреждения имени Б. Л. Кагана.

В. Г. Роганов (Коломенская ветеринарная организация) предложил построить близ Кривякинской лечебницы образцовую школу имени Б. Л. Кагана с залом для народных чтений и спектаклей и с библиотекой.

А. Н. Меркулов от Коломенской комиссии Московского общества народных университетов высказался об устройстве передвижной выставки-музея по борьбе с заразными болезнями, «с кинематографом и другими наглядными пособиями». Он же позволил себе немного помечтать:

«Когда мы, перейдя Москву-реку, на высоком её берегу опустили его прах на место его вечно упокоения, то мне представилась следующая картина: пройдёт 10–20 лет, в амбулаторию Кривякинской больницы дед приведёт внука, и здесь, ожидая очереди, он станет ему рассказывать: «Здесь было пусто, приехал добрый доктор, и вот его трудами создано всё, что здесь имеется. А как лечил он нас! Он лечил не одними лекарствами, он лечил своим мягким, скорбным взором и ласковым словом». И этот памятник не сотрёт ни время, ни ветры, ни бури общественные».

Г. З. Юмашев высказался в пользу устройства в селе Боброве водопровода в память Б. Л. Кагана.

А. П. Порожнякова напомнила собравшимся о давних мечтах Б. Л. Кагана об устройстве близ станции Воскресенск Народного Дома.

Г. И. Смирнов предложил учредить при Московском университете несколько стипендий имени Бориса Львовича Кагана. Были и другие предложения.

В конце концов, решили создать комиссию по увековечению памяти врача. В неё вошли 14 человек, в том числе князя П. А. и А. А. Ливены, К. И. Шевлягин, А. Н. Меркулов, А. П. Порожнякова и другие.

Прошло всего два с половиной года, и «бури общественные», о которых говорил Меркулов, не заставили себя ждать. Началась Первая мировая война — неслыханная бойня, переросшая в Февральскую, а затем в Октябрьскую революцию, Гражданскую войну... Соплеменники с остервенением принялись уничтожать друг друга. Такие «интеллигентские» понятия, как гуманизм, доброта, милосердие, оказались никому не нужными — «классово чуждыми». «Ваше слово, товарищ маузер!» Чужая жизнь, за которую отдал свою гуманист доктор Каган, не стоила и ломаного гроша. Интересно, как бы он воспринял ту самую революцию, «о необходимости которой так долго твердили большевики»? Думается, ужаснулся бы...

Через 17 лет после смерти доктора Кагана на карте Московской, уже не губернии, а области появилось новое территориальное образование — Воскресенский район. Понятия «уезд» и «волость» ушли в историю. Пристанционный посёлок Воскресенск, где Каган мечтал построить Народный Дом, стал центром будущего города. Ещё через 9 лет появился и новый город — Воскресенск. Вскоре снова началась война, Вторая мировая.

Пережив бурные годы, Воскресенск стал строиться, расти, расширяться. На том самом высоком правом берегу Москвы-реки, где покоился земский доктор, возник новый городской квартал, и одна из улиц его была названа именем доктора: улица Кагана. На стене бывшей Кривякинской лечебницы



стараниями краеведа Г. Юричева и других энтузиастов появилась мемориальная доска, где главный упор делался на «революционные» заслуги доктора Кагана.

Год назад старую мемориальную доску заменили новой.

«Образ этого земца, с которым вынуждены были считаться и князья, и фабриканты, особенно близок Юричеву. Будь Юричев литератором, он бы, наверное, написал книгу о человеке...» — написала о Юричеве в повести «Знакомые деревья» писательница Инна Гофф.

Под натиском новостроек бесхозная фактически могила доктора Кагана постепенно разрушалась. Сначала скосырунули с памятника его овальный керамический портрет, затем исчезла ограда, а затем и сам памятник из чёрного гранита с золочёной над-

писью: «Жертве безаветной любви к ближнему».

13 марта 1968 года в Воскресенском ГК КПСС состоялось очередное заседание бюро. Повестка заседания была обширной. Под пунктом 38 значилось: **«Об увековечивании памяти активного деятеля-революционера, бывшего врача Кривякинской больницы Б. Л. Кагана»**. По этому пункту было принято постановление.

«БЮРО ГК КПСС ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В целях увековечивания памяти активного деятеля-революционера, бывшего врача Кривякинской больницы Б. Л. Кагана обязать исполком горсовета:

1. На территории больницы № 1 установить мемориальную доску.
2. На Новлянском кладбище (около церкви) реставрировать его могилу и памятник.

Срок выполнения — к 51-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» [то есть к 7 ноября того же 1968 года].

А вот пункт 2-й постановления 1968 года не выполнен до сих пор. Как тут не вспомнить знаменитое высказывание Карамзина о том, что суровость и строгость Российских законов искупается необязательностью их исполнения...

Данный очерк служит той же цели — способствовать увековечению памяти нашего земского врача, бескорыстного и доброго доктора Бориса Львовича Кагана, и более подробно рассказать людям о его короткой, но яркой жизни.



Лилия Нисоновна Соза родилась в Коломне. В 1993 году окончила исторический факультет Коломенского педагогического института. С 1998 года работает в КГПИ (ныне Московском государственном областном социально-гуманитарном институте), где занимала должности старшего лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 2002 году поступила в аспирантуру Московского государственного областного университета. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Коломна как тип уездного промышленного города второй трети XIX — начала XX века». В настоящее время — доцент кафедры отечественной и всеобщей истории МГОСГИ. Кандидат исторических наук.

Лилия Нисоновна Соза — автор 38 научных и научно-методических работ. Среди них — монография «Пореформенная Коломна: на пути к промышленному городу» (2012). Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2012 года.

Краеведческое исследование

КОЛОМЕНСКИЕ ТРАКТИРЫ

«Нам трактир дороже всего!»

(А. Н. Островский,
комедия «Лес». 1870 г.)

Так кратко и весьма ёмко отзывался о трактирах великий русский драматург устами одного из персонажей своего широко известного произведения. Более пространно, с учётом особенностей национальной психологии, оценил значимость заведений известный литератор начала XIX века Фаддей Булгарин в очерке «Русская ресторация»: «Привычка в русском человеке так сильна к русскому трактиру, что он предпочитает его французской ресторации... В русском трактире русский человек — дома! Тут он командует, тут он имеет свой вес и почёт и может говорить по-русски с приговорками, которые не появляются в печати!» И здесь же: «Он [русский человек] тут, как говорится, в своём кругу! В русском трактире не унижает его гордый взгляд аристократа и не оскорбляет насмешливая улыбка утончённого франта».

И действительно, в XVIII — начале XX века трактирные заведения являлись неотъемлемой частью быта любого российского города — и столичного, и провинциального. Однако они не были сферой исключительно частного интереса и традиционно находились под пристальным вниманием государства. Причина прозрачна — трактирные заведения с продажами в них спиртных напитков служили важным источником пополнения бюджетов всех уровней: и местных, и государства в целом. Сказывалось влияние давней традиции. Если обратиться к истории Мо-



В. М. Васнецов. Чаепитие в трактире. 1874 г.

сковской Руси, то на протяжении веков кабацкое дело, т. е. продажа питья, находилось в ведении казны. Питание же большинства людей, находящихся в удалении от дома (служилых, путешествующих, паломников, купцов и пр.), было предметом их собственных забот и происходило на постоянных дворах при почтовых станциях (ямах), в монастырях, а также в гостинных дворах (для иноземных торговцев). И потому не случайно Ф. Булгарин понимал русский трактир как «место столкновения старинной Руси с Европой». Он подчёркивал, что в «старинной Руси, при царях не было трактиров, ресторанов, в которых бы собирались чужие люди пировать и беседовать. Простой народ пил зелено вино в царских кабаках, а мёд и пиво — в кружалах. Трактирная жизнь в России начала развиваться со времён Петра Великого, при пересоздании России, при устройстве регулярного войска, при заведении портов, верфей, а особенно при построении Петербурга».

Разумеется, в «регулярном государстве» XVIII века трактир как вид частного промысла, где подавали «кушания и питья», не мог находиться вне системы государственного надзора за производством спиртных напитков. С именем императора Петра I связано начало правового обеспечения винных откупов — покупки частных лиц разрешения на винокурение. По указу от 15 декабря 1712 года они приобрели статус письменного договора с казной. После воцарения императрицы Екатерины II винные откупы подверглись дальнейшему упорядочению. В 1765 году был принят Устав, регулировавший не только производство, но и сбыт вина и спиртных напитков в империи, а также их налогообложение через откупную систему. Винокурение стало привилегией дворян (правда, с возможностью перепродаж лицам других сословий). В результате откупы существовали до середины XIX века, принося казне устойчивый доход.

В пореформенное время в российской торговле спиртным произош-

Б. М. Кустодиев. Московский трактир. 1916 г.

ли серьёзные перемены. В 1861 году были отменены винные откупы и сняты сословные ограничения на продажу питания. «Положение о трактирных заведениях» 1861 года сформулировало понятие «трактирное заведение» как открытое для публики помеще-



либо отдаются внаём особые покои «со столом», либо производится продажа кушаний и напитков, т. е. заключавшееся в продаже припасов «для употребления на месте». К таким относили трактиры, рестораны, харчевни, духаны, ренсковые погреба, кухмейстерские, буфеты при театрах. Документ содержал также требования: «Содержатели ... не должны допускать игры в карты и кости, разврата и притона для людей подозрительных». Воспрещалось открывать трактиры ближе 20 саженей от христианских храмов, монастырей и часовен. Запрещалось открывать питейные дома и ренсковые погреба с распивочной в центре города. Лицами, допускаемыми к содержанию трактирных заведений, могли быть купцы трёх гильдий, мещане, цеховые, а равно крестьяне, торгующие по свидетельствам всех четырёх родов. Открытие заведений находилось в компетенции органов местного самоуправления — городских дум. Было необходимо получить разрешение на открытие, выкупить патент на право торговли (выдавался на год или полгода), произвести полицейское освидетельствование.

Тогда же была определена система сбора налогов. В городах заведения трактирного промысла обложили особым сбором.

Введённая в 1863 году акцизная система изменила структуру виноторговли. Возросла её значимость в торговой жизни государства.

В 1893 году было учреждено новое «Положение о трактир-

Л. И. Соломаткин. Утро у трактира. 1860-е гг.



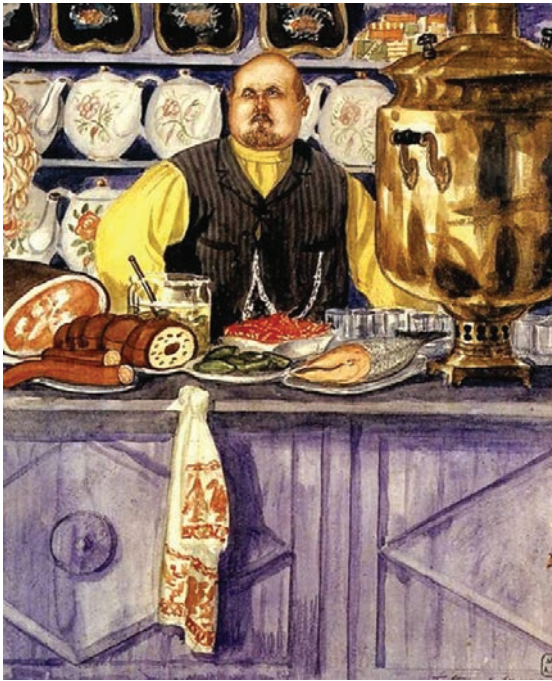
ном промысле». Оно подтвердило перечень заведений, указанных в положении 1861 года. Акцизное ведомство разделило места розничной торговли вином — по характеру продажи — на пять групп. Первая — это винные лавки (частные и казённые — для монопольных районов), питейные дома, вёдерные лавки, постоянные дворы, выставки, т. е. заведения, торговавшие в основном хлебным вином. Вторая — ренсковые погреба, продававшие наряду с хлебным вином и виноградные. Третья — трактиры и буфеты. Там имелись виды спиртных напитков. Четвёртая — погреба с русскими виноградными винами. Пятая — портерные и пивные лавки. Патентные сборы взимались в соответствии с разрядом местности, в которой находилось питейное заведение.

К середине XIX века в пореформенной Коломне присутствовали все формы торговли крепкими напитками. Оптовые склады вина и спирта, ренсковые погреба, трактиры, винные и пивные лавки приносили владельцам и городской казне устойчивые денежные поступления: годовой оборот питейных домов составлял около 150 тысяч, винных погребов — до 20 тысяч, а трактиров и гостиниц — до 50 тысяч рублей серебром. Наблюдался заметный рост числа заведений как без распивочной, так и с питейной продажей. И если в 1852 году статистика зарегистрировала 18 питейных заведений, то спустя 30 лет (в 1883 году) в городе их числилось 203. А именно: 80 трактирных заведений всех наименований и постоянных дворов с питейною продажей, 6 оптовых складов, 21 штофная лавка и ренсковые погреба без распивочной торговли, 96 ренсковых погребов с распивочной продажей, буфетов, питейных домов, портерных и пивных лавок, выставок. Максимальное число такого рода питейных заведений статистика зафиксировала в 1891 году — 238 предприятий. Однако из этого большого перечня трактиров числилось всего 53 (22,2%). Столь небольшая доля трактирных заведений не случайная. Она является результатом сокращения их числа, наметившегося ещё в 1884 году (тогда губернской статистикой было учтено 67 трактиров).

Кроме трактиров как мест продажи питания, существовали «беспитейные» заведения. Как ни странно, они создавали конкуренцию трактирам в борьбе за клиентуру, что было связано с низкими ценами на услуги, ибо в отличие от трактиров «беспитейные» не платили высокие сборы за патенты. Архивы сохранили прошения трактирщиков в Городскую думу, повествующие о «подрыве их торговли заведениями, торгующими одним чаем» (1894 год). Дума заняла своеобразную позицию. Своим постановлением она решила ходатайствовать перед Сенатом об отнесении «беспитейных» к числу заведений трактирного промысла с воспрещением соседства с ними винных лавок и прочих подобных. Замысел ходатайства прозрачен. Мелкие торговцы чаем и едой были невыгодны местным властям. Платили мало, а посетителей из трактиров переманивали.

К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении документы не позволяют проследить, чем завершилось это своеобразное дело.

Напомним, что согласно «Положению» 1893 года о трактирном промысле в некоторых типах трактирных заведений с разрешения высших административных лиц допускались не запрещённые игры, пение, музыка, хоры и другие развлечения. Во второй половине XIX века для привлечения публики и увеличения доходов трактирщики всё чаще прибе-



*Б. М. Кустодиев. Трактирщик
1920 г.*

гали к установке музыкальных или инструментальных машин. Но для этого требовалось разрешение уездного исправника. Прошения выдать такое разрешение в 1874 году подавали содержатели местных трактиров Н. Яковлев, Я. Доброхотов, П. Бочарникова и П. Николаев. Но коломенский исправник отказал раз, другой, третий. Трактирщики не сдавались и написали ходатайства на имя Московского губернатора и в губернское правление.

Делу дали ход. По предписанию губернатора исправник трактиры освидетельствовал.

В рапорте начальству об итогах проверки он, в частности, указал, что заведение Яковлева «весьма чистое, мебелировка и сервировка очень удовлетворяет, публика бывает приличная; ... не случилось никаких бесчинств и беспорядков». Установленная в помещении «органная машина» была прослушана. «Репертуар» составлял 24 произведения. В том числе «Славься», «Боже, царя храни», «Не уезжай, голубчик мой», «Марш баварский», «Возле речки», «Кадриль» и т. п. Остальные освидетельствованные заведения характеризовались примерно так же. В результате губернатор вынес постановление о разрешении Яковлеву и другим владельцам установки музыкальных машин. Примечательно, что исправник в рапорте отметил, что всё же остаётся при своём (т. е. негативном) мнении.

Архивные материалы позволили восстановить имена большинства владельцев питейных заведений Коломны и их социальное происхождение. Действовавшие с 1874 года трактиры принадлежали А. А. Барскому, П. П. Яковлеву и П. Н. Исаеву. Заведение Т. Л. Ивановой начало принимать посетителей с 1881 года. Ренковский погреб А. С. Левина открыл двери для обывателей в 1870 году. А упомянутый ранее владелец водочного завода А. С. Озеров в 1874 году открыл ренковский погреб в собственном доме.

К началу XX века питейные «предприятия» были сосредоточены в руках мещан, крестьян и отчасти купцов. Территориально трактиры тяготели к главной улице — Астраханской. Наибольшей популярностью пользовались трактиры (с продажей крепких напитков) крестьян Коломенского уезда Е. Т. Егоровой на углу Астраханской и Владимирской, Т. Л. Ивановой на углу Алексеевской и Спасской, Е. С. Живилиной на углу Мещаниновской и Курчевской, А. А. Барского на углу Семёновской и Спасской, мещан В. Н. Нефёдова на Вознесенской, П. П. Яковлева и куп-





Масленица.
Б. М. Кустодиев, 1916 г.

ца 2-й гильдии М. А. Козлова на Конной площади, второгильдейского купца Н. Т. Голованова на Владимирской улице. Ренсковыми погребями владели: на Спасской улице — потомственный почётный гражданин А. С. Озеров, на Астраханской — С. Ф. Нестеров и В. Е. Макаров, на углу Астраханской и Ивановской — крестьянин Ф. П. Петров, на углу Алексеевской и Спасской — мещанин И. И. Набоков, на углу Астраханской и Петропавловской — мещанин И. Е. Бубнов и другие. Пивные лавки находились в руках крестьян А. И. Прокудина, П. Ф. Мурашова, И. Т. Назаровой, Е. П. Ключевой и других.

Горожане всех сословий любили трактиры. Их общедоступность и демократизм очень точно подметил бытописатель «первопрестольной» Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи»: «Для многих москвичей трактир был «первой вещью» — он заменял и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой чая сделки, и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для всякого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех — от миллионера до босяка».

Нельзя думать, что эти наблюдения справедливы только для столиц и крупных городов. Как отмечал коломенский исправник, большинство таких заведений посещалось преимущественно «местными обывателями и торговцами», а заведение Евдокии Тимофеевны Егоровой имело успех не только среди торгующих, но и среди представителей «привилегированного класса». Находящийся близ Москвы-реки трактир Д. Е. Маркелова был излюбленным местом для рабочих с базара и плотов, заведение М. Я. Доброхотова у станции Коломна являлось «пристанищем» для рабочих фабрик Рыбакова и Кузьмина, а в трактире Е. С. Живилиной проводили время рабочие местных пристаней и ломовые извозчики. Пивные же лавки, как обычно, пользовались популярностью у всех: и обывателей, и рабочих, и извозчиков.

Местная полицейская власть периодически освидетельствовала трактиры и пивные лавки «на предмет нравственности». В рапортах уездного исправника есть весьма колоритные характеристики. Трактир М. Я. Доброхотова он назвал «сборищем криминальных элементов», хозяина — человеком «нравственности неодобрительной», который «вёл знакомство с ворами и тёмными личностями, давал им у себя приют, сбывал краденые вещи». Трактирщица Е. Т. Егорова характеризовалась как «женщина очень нетрезвого поведения». Оценивая деятельность владелицы пивной лавки А. А. Силаевой, исправник признавал её вредной, т. к. заведение служило «притоном разврата и местом сбыта краденых вещей». Хозяйка же не привлекалась к ответственности, ибо «имела постоянных сторожей, предупреждающих о появлении чинов полиции». Любопытно, что до 1899 году эту лавку содержали свекровь, свёкор и муж Силаевой. За противозаконные действия мужу запретили жить в Московской губернии и выдворили в Рязанскую. Однако, обосновавшись в селе Щурово Рязанской губернии (в нескольких верстах от Коломны!), он продолжал руководить действиями жены, за что «выдворялся из города до 10 раз».

Далеко не все заведения отвечали санитарным и прочим требованиям, за что их владельцы неоднократно подвергались различным наказаниям — от штрафов до заключения под стражу на срок до 7 суток. По приговору городского судьи наиболее часто трактирщиков штрафовали (на

15–25 рублей) за неопрятное содержание белья в заведении. Например, в 1896 году были оштрафованы Т. Л. Иванова, А. А. Барский и В. Н. Нефёдов. В 1897 году — Н. Г. Голованов. Трактирщица Е. Т. Егорова в 1898 году за допущение недозволенной игры в гармонику и пляску новобранцев(!) выплатила штраф в размере 25 рублей, а в 1899 году за допущение непотребства «заслужила» арест на 2 дня. М. Козлова, пустившего в своё заведение нижних воинских чинов, оштрафовали на 5 рублей. Годом ранее «за допущение в трактире присутствия проститутки» на 7 суток арестовали Маркелова. На этом фоне странным выглядит штраф в 1897 году за аналогичное нарушение с Т. Л. Иванова — 1 рубль. В документе сказано — «за допущение в заведение публичных женщин».

Как известно, закон установил границу открывать трактирные заведения 20 сажений от христианских храмов, монастырей и часовен. В 1899 году уездный исправник Н. Матов по предписанию Московского губернатора А. Г. Булыгина произвёл проверку. Выяснилось, что трактиры на Спасской улице подобрались слишком близко к храмам Святого Симеона и Спаса. Исправник, в частности, отметил, что ограда храма Святого Симеона располагалась на расстоянии 7 сажений, т. е. около 15 метров, от окон трактира. Происходящее в заведении было слышно «не только во время случайной службы (свадьбы, крестин и др.), но иногда во время общественной службы». В итоге трактиры в «данной местности» местная полицией признала нежелательными.

С 1895 года по инициативе министра финансов С. Ю. Витте в империи началось постепенное, рассчитанное на семь лет, введение государственной винной монополии, которая, при всех её несомненных финансовых выгодах, способствовала и сокращению числа питейных заведений. Сказалась эта реформа и на Коломне, где в 1898 году количество заведений трактирного промысла сократилось до 14-ти: ренсковых погребов — до 8-ми, 6 пивных лавок, с продажей крепких напитков — до 6-ти. Комментируя цифры в рапорте губернатору, уездный исправник указал, что «открытие всех трактиров в городе Коломне вызвано тем, что город имеет более 20 тысяч жителей, и кроме того в нём бывает значительное число рабочих летом и весной, и круглый год значится рабочих Коломенского машиностроительного завода». В документе подчёркивалось, что трактиры дают городу значительный доход.

С 1 июля 1901 года в Московской губернии была введена винная монополия. Теперь алкоголь продавали преимущественно в казённых

Иллюстрация В. Тимма к очерку Ф. Булгарина «Русская ресторация». 1843 г.



РУССКАЯ РЕСТОРАЦИЯ.

винных лавках, в запечатанной посуде с этикеткой, с указанием крепости водки и её цены. Изготовленная же частными предпринимателями водка поступала в распоряжение государства на казённый винный склад для последующей реализации казной.

В результате число питейных заведений резко сократилось. И в 1910 году в Коломне действовало только 6 трактиров и ресторанов. Прекратил деятельность завод А. С. Озерова, ежегодные обороты которого к 1900 году достигли 13 500 рублей при выработке около 2 300 вёдер водочных изделий. Неизбежным следствием стала отрицательная динамика поступлений в городской бюджет с торговли и промыслов, сохранившаяся вплоть до 1916 года.

Озабоченные снижением доходов, городские власти неоднократно обращались в Московское губернское правление и даже в Министерство финансов. В 1901 году Управление акцизными сборами Московской губернии уведомило Московского губернатора, что «открытие в Коломне 5 казённых лавок недостаточно для удовлетворения потребностей населения, вследствие чего является настоятельной необходимостью открытие там ещё одной лавки, для которой уже имеется подходящее помещение». Однако, признавая недостаточность «существующих в Коломне трактирных заведений», просьбы частных лиц высшие власти отклоняли. Например, в 1902 году отказы получили Нефёдов, Иванова, Терехов. Это не случайно. Власти предпочитали расширять не частные, а казённые винные продажи.

Чтобы получить большой доход в казну, трактирным заведениям III и II разрядов нередко устанавливали равные сборы. Далекое не всех трактирщиков это устраивало. Они писали претензии. К таковым относится жалоба, которую содержательница трактира III разряда А. Шмелёва направила в 1907 году в Городскую думу, возмущившись налогом в 1 000 рублей, как для заведения II разряда. Такое уравнивание в сборе, по мнению заявительницы, «грозило заведению подрывом». Однако по решению Думы жалоба была «оставлена без последствий».

В постановлениях Коломенской городской думы перечислялись требования к оптовым складам пива и мёда, пивным лавкам. Эти заведения должны были располагаться в нижних этажах. Вход — обозначен соответствующей вывеской и освещён фонарём. Указывались размеры помещений, требования к внутреннему строению, предметам интерьера и посуде, доступности преysкурантов. Вход в пивные лавки нижним воинским чинам, ученикам и малолетним был строго воспрещён. В рамках реализации винной монополии в городе запрещалось распитие крепких напитков на улицах, площадях, проездах, бульварах, общественных садах, скверах, подворотнях, дворах, а равно и в заведениях, торгующих крепкими напитками, где дозволялась лишь продажа алкоголя на вынос. Виновных в нарушении постановлений штрафовали.

Несмотря на ограничительные меры государства, питейный и трактирный промысел в Коломне продолжал приносить немалые доходы. В начале XX века оптовый склад Торгового дома «Корнеев, Горшанов и Компания» давал оборот 11 тысяч рублей. Ренсковые погреба, принадлежавшие крестьянину С. Ф. Нестерову, мещанам Н. В. Раввинскому и И. М. Макулову (город Воронеж), имели обороты по 25 тысяч рублей. Среди трактиров

Дом потомственного почётного гражданина А. С. Озерова на Спасской улице.

с продажей пивий высшим оборотом (20 тысяч рублей) отличалось заведение крестьянки Зарайского уезда А. И. Шмелёвой. Трактиры «без продажи пивий» имели меньшую прибыль. К примеру, принадлежавшие крестьянам Е. С. Живилину и К. Т. Богданову заведения — по 12 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.

Сосредоточение трактирных заведений главным образом в руках крестьян, зачастую не имевших недвижимости в городе, обусловило распространение вынужденной аренды. Так, трактир М. Я. Доброхотова располагался в доме купцов братьев Рыбаковых, М. Бирюкова — в доме А. С. Озерова, Е. Живилиной — в доме мещанина Курчевского и т. д. Портерные крестьян П. Ф. Мурашова, А. П. Безсонова и С. Ф. Игнаткина тоже находились в арендованных помещениях. Любопытно, что Игнаткин ухитрился снять для продажи пива даже часть здания «Общества трезвости».

Крестьянин Коломенского уезда Е. Е. Егоров открыл ресторан II разряда на Астраханской улице, в доме, арендованном у Троицкого Ново-Голутвина монастыря. Торговля приносила хозяину ресторана годовой доход до 12 тысяч рублей. Некая заинтересованность в аренде, вероятно, была и у монастыря. Однако торговля производилась без разрешения епархиального начальства, что стало поводом для дознания церковных властей. В результате игумен со старшей братией в 1902 году получил от консистории выговор. Но даже это на предпринимателя и клириков не повлияло: принадлежащий Е. Е. Егорову ресторан в монастырском доме упоминается в отчётах и спустя семь лет — в 1909 году.

В период русско-японской кампании в торговле пивиями ввели ограничения. Согласно правилам Министерства финансов в воскресные дни торговля в казённых винных лавках должна была за-

Дом коломенского мещанина Курчевского на углу Мещановской и Курчевской улиц, в котором в 1899 г. находилось трактирное заведение Живилиной Е. С.



канчиваться в 3 часа дня. Во время стоянки воинских поездов на железнодорожных станциях следовало прекращать торговлю в лавках, расположенных на расстоянии менее 250 саженей от станции.

Однако соблюсти предписания порой было невозможно. Интересный случай произошёл в феврале 1905 года на станции Голутвин Коломенского уезда (в трёх верстах от города). Казённая пивная лавка, как положено, закрылась в 15 часов, однако в 15.30 по требованию полицейского надзирателя вновь открылась, чтобы отпустить водку нижним чинам, следовавшим через станцию.

Расследуя явное нарушение, уездный исправник провёл дознание. Он выяснил, что около сотни нижних чинов, среди которых уже были пьяные, потребовали открыть лавку, угрожая пойти на приступ. Учитывая недавние события на станции Воскресенск, где при таких же обстоятельствах произошли значительные беспорядки и разграбили несколько лавок, полицейский надзиратель принял единственно верное решение.

Как видим, трактирные заведения являлись важной составляющей экономической и социальной жизни города. В их деятельности отразились все извывы государственной политики, причудливо переплелись интересы государства, местных властей и городских обывателей, видевших в трактирах не только пункт продажи веселительных напитков, но и место общения и развлечения.

А для нас через столетия старые русские трактиры оживают в зарисованных Б. М. Кустодиевым колоритных образах завсегдатаев, хозяев и obsługi, которые дополняют оставленные современниками подробные (до ощущения вкуса во рту!) описания блюд, запахов, несмолкающих разговоров разнообразнейшей публики, звуков «музыкальных машин» и пения цыган.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

К ЮБИЛЕЮ ДРУГА



Евгению Захарченко — 55 лет. Но о возрасте как-то не думаешь, встретив его по-юношески насмешливый взгляд, наполненный лазурью весеннего неба.

Спортивный, подтянутый, он всегда общителен и подвижен; и друзьям всегда весело и светло рядом с ним.

Хотя Евгений Владимирович вроде бы технарь по образованию, артистический темперамент проявляется в его характере очень ярко. Наверное, это идёт ещё от «северной Пальмиры», от учёбы в Военно-инженерном институте, что расположен близ Таврического дворца. С берегов Невы и началась его дорога к прекрасному.

Творческий диапазон Евгения Захарченко широк. Он не ограничивается стихами, которые публиковались на страницах «Коломенского альманаха», или сценой Коломенского народного театра. Он активно участвует в литературной жизни, поддерживает издательские и просветительские проекты коломенского писательского товарищества. Захарченко — наш друг, и этим всё сказано.

Евгений Владимирович! Дай Бог тебе творческого долголетия и задора! Ведь без тебя и альманах уже трудно представить!

Коллектив редакции

Александр Сахаров

КРЫМСКИЕ СТРАНИЦЫ «КОЛОМЕНСКОГО ТЕКСТА»



Александр Александрович Сахаров родился в 1963 году в городе Перми. С 1970 года живёт в посёлке Белоозёрском Воскресенского района Московской области.

Член Союза писателей России, председатель Московского отделения Межрегионального Лермонтовского общества.

Автор ряда статей по отечественной истории, о писателях XIX века: А. С. Пушкине, М. Ю. Лермонтове, В. А. Жуковском, Л. Н. Толстом, книги «Путь к Лермонтову». Интересуется историей и культурой Крыма, любовь к которому питает с детских лет.

Публиковался в журналах «Москва», «Московский журнал. История государства российского», «Сура», «Русский мир», «Литература в школе», научных сборниках. Постоянный автор «Коломенского альманаха».

Лауреат литературно-общественной премии «Герой нашего времени» им. М. Ю. Лермонтова.

Эпистолярное наследие

Русский Крым!.. Можно найти множество пленительных и таинственных нитей, связующих наш древний город со священной Крымской землёй... Достаточно напомнить, что прекрасный (в своё время один из лучших в Европе) курорт в Гурзуфе был полностью создан на средства и по плану коломенца. Это уроженец деревни Борисово Федосынской волости Коломенского уезда Пётр Ионович Губонин (1825—1894). А строителем прекрасных домов и храмов в Ялте, знаменитых крымских дворцов императорской семьи в Ливадии, Гаспре, Мисхоре и других архитектурных шедевров был академик архитектуры Николай Петрович Краснов (1864—1939), что родился в селе Хонятино Глебовской волости Коломенского уезда. Эти люди достойны особых, им посвящённых публикаций в альманахе.

В Коломенском крае бывали, жили и творили многие поэты и прозаики — цвет русской литературы Серебряного века. Но характерно и промыслительно, что жизнь этих мастеров связана также и с Крымом, и его цветущее побережье, скифские степи, величественные горы, овеванные дыханием Истории, навсегда остались в их памяти.

В начале 1900-х годов в Коломну приезжал Александр Иванович Куприн. На Успенской улице в Коломенском кремле жила его старшая сестра Зинаида Ивановна Нат. Муж её, Станислав Генрихович Нат, служил лесничим в Зарайском уезде. Куприн приезжал поохотиться и

даже, по просьбе Ната, трудился здесь четыре месяца землеустроителем. Свидетельством тому — цикл его «коломенско-зарайских» рассказов. На доме супругов Нат установлена мемориальная доска.

В то же время памятник А. И. Куприну стоит и на набережной Балаклавы, в городе, который он очень любил, где ходил в море с рыбаками, написал цикл рассказов «Листригоны». В Балаклаве есть улица Куприна (на одном из зданий также установлена мемориальная доска), библиотека его имени.

В детские годы и в отрочестве часто бывала в Севастополе у своего деда — участника Крымской войны — Анна Андреевна Ахматова (Горенко). Позже она посещала Евпаторию. А ведь и она подолгу гостила в Коломенском крае! Приезжала и в Коломну. Улицы Старого города до сих пор помнят её шаги... На Посаде и в кремле проложен мемориальный маршрут — Ахматовская тропа!

В Коломне она была с Сергеем Шервинским. Именно в усадьбе Шервинских Старки на окраине села Черкизова Ахматова провела несколько летних сезонов. Туда же приезжали Валерий Брюсов, Борис Пастернак, Михаил Лозинский.

Летом 1941 года в Старках у друзей Шервинского — Веры Меркурьевой и Александра Кочеткова — побывала Марина Цветаева...

С. В. Шервинский (1892—1991) — сын Василия Дмитриевича Шервинского, известного врача, основоположника отечественной эндокринологии. Сергей Шервинский — русский поэт, прозаик, искусствовед и, конечно же, великий переводчик. Он воссоздавал на русском языке произведения Софокла, Еврипида, Вергилия, Овидия, Катулла, Плавта, И. В. Гёте, Ронсара, средневековую арабскую поэзию, армянских поэтов. Его перевод «Слова о полку Игореве» считается одним из лучших. Шервинский был членом редакционной коллегии серии книг «Библиотека античной литературы». И как не сказать о «крымском цикле» в его лирике!

В двадцатые годы прошлого века С. В. Шервинский неоднократно гостил у Максимилиана Волошина в Коктебеле. В 1925 году в Феодосии Волошин познакомил его с выдающимся художником Константином Фёдоровичем Богаевским (1872—1943).

Позже в очерке о художнике Шервинский вспоминал: «... он был его близким другом. Позже я виделся с ним неоднократно и ночевал у него в Феодосии в его прекрасной мастерской...»

Что это был за человек, который произвёл такое впечатление на Сергея Васильевича?

Богаевский родился и почти всю жизнь (за исключением военной службы в Керчи (1904—1906) и творческих поездок по стране и за границу) прожил в Феодосии. С детства начал рисовать. Некоторое время брал уроки у Адольфа Фесслера в мастерской знаменитого мариниста И. К. Айвазовского. Затем поступил в петербургскую Академию художеств, где с 1891 по 1895 год учился в мастерской Архипа Ивановича Куинджи, также бывшего короткое время учеником Айвазовского. В 1890 году ездил на этюды на Волгу. В 1897-м, вместе с Куинджи и его учениками, — в Германию, Францию и Австрию.

С 1900 года Богаевский начал выставляться: сначала в Петербурге, затем в Венеции, Мюнхене, Париже и Москве.

В 1906 году художник демобилизовался и женился на Жозефине Густавовне Дуранте. В том же году построил в Феодосии мастерскую, в которой потом работал до конца жизни.

По свидетельствам современников, Богаевский был замкнутым, добросовестным, мирным и чрезвычайно наивным человеком. Ближайшими его друзьями были художники Константин Кандауров, Юлия Оболенская и Максимилиан Волошин.

Как и М. А. Волошин, Богаевский посвятил своё творчество живописным местам Крыма. Преимущественно восточного (Феодосия, Коктебель, Судак, Старый Крым с их окрестностями), названного Волошиным Киммерией. Край таинственного, в то время почти безлюдного, хранящего зримую память о минувших веках. С его горными пейзажами, античными городами и ослепительным солнцем. «Искусство Богаевского вышло из земли, на которой он родился. Для того чтобы понять его творчество, надо узнать эту землю, его душа сложилась соответственно её храмам и долинам», — писал М. А. Волошин.

Сотрудник Национальной картинной галереи им. И. К. Айвазовского (НКГА) Е. Огурцова отметила: «Дружбу поэт и художник пронесли через всю жизнь. Незадолго до своей смерти, ночуя в мастерской Богаевского, Волошин оставил ему записку: «Милый Костя, проводя эту (быть может, последнюю) ночь в твоей мастерской, я всё время молил о том, чтобы она осталась неприкосновенной и судьба бы её сохранила от варваров и иноплеменников»».

Дружба двух творцов принесла им взаимное творческое обогащение. Богаевский проиллюстрировал книгу стихов Максимилиана Волошина «Годы странствий», которая вышла в 1910 году. Волошин неоднократно писал статьи о художнике. Они готовили совместную выставку в Москве.

После революции Константин Фёдорович остался в Феодосии. После революции участвовал в выставках. Входил в Феодосийский литературно-художественный кружок. Вместе с О. Э. Мандельштам, А. К. Герцыком, С. Я. Парнок, М. А. Волошиным и другими. По поручению Общества охраны памятников искусства зарисовывал исторические памятники Крыма. В 1923 году за восемнадцать дней выполнил четыре панно для Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки в Москве.

Вскоре он обратился к новой для себя технике — литографии, успех в которой давно предсказывал ему Волошин. Действительно, графическое наследие Богаевского не менее ценно, чем живописное.

В 1930-х годах художник создал несколько индустриальных пейзажей, пытаясь идти «в ногу со временем» Но, по сути, картины эти: «Днепрострой» (1930), «Город будущего» (1932) — отличались от крымских пейзажей только заменой крепостей и глыб земли объектами строительства.

Но главным образом, до конца своих дней Богаевский творил пейзажи своей собственной страны «Богаевии», как говорили друзья художника. Почти всем работам свойственна запечатлённая тишина, внутренняя лирическая сосредоточенность. Таковы «Феодосия» (1930), «Первозданный пейзаж» (1931), «Радуга» (1932), «Тавроскифия» (1937), «Пейзаж с водопадом» (1942).

В 1933 году живописец получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 1936—1939 годах работал в Тарусе и был покорён лирической красотой природы средней полосы России.

В 1941 году К. Ф. Богаевский оказался в оккупации. Он погиб 17 февраля 1943 года при артобстреле или бомбардировке Феодосии советской авиацией. Похоронен в Феодосии, на старом городском кладбище, возможно, в братской

могиле. «Для него никто не поставил надгробный памятник. На старинном (XIX век) масонском памятнике чёрной краской написали его имя и фамилию и даты жизни. Так поступили во время войны, и до сих пор у входа на кладбище стоит этот странный памятник».

Молитве Волошина о спасении заветной мастерской от «нашествия иноплемennых варваров» не суждено было сбыться. После смерти Богаевского в годы Великой Отечественной войны мастерская художника была разрушена и разграблена, и лишь немногие вещи из неё, которые удалось сохранить жителям города, позже были переданы в галерею им. И. К. Айвазовского, где с их помощью удалось создать мемориальный уголок, посвящённый К. Ф. Богаевскому.

Но вернёмся к дружбе Богаевского и Шервинского. Вероятно, причинами их взаимного интереса друг к другу стали общность взглядов на искусство, уважение к творчеству друг друга, любовь к Италии и Крыму (пейзажи которого местами напоминали им итальянские), столь заметная в их творчестве.

Вероятно, из всех обитателей и гостей Дома Поэта (а у Волошина порой гостили по 400, а то и по 600 человек за лето) больше всего С. В. Шервинскому импонировал именно Богаевский. «Мы были хороши, мы были очень хороши с Богаевским», — вспоминал он позже. Оставил Сергей Васильевич и замечательный словесный портрет живописца.

«К. Ф. был художав, носил усы и коротко остриженные волосы. Иногда, скорее всегда, внимательно всматривался в собеседника, причём в его молчаливости было много благожелательного внимания. Эта постоянная молчаливость несла в себе обобщающее начало своеобразного реалистического раскрытия конструктивных объёмных форм внутри единой, глубоко спокойной, любимой им киммерийской природы».

Но встречи их происходили только летом. Да и не каждый год мог приезжать Шервинский в Крым.

Их общение продолжалось в письмах. Часть писем за период 1925—1939 гг. сохранилась. Письма С. В. Шервинского в Крым из Москвы и Старков ныне хранятся в Национальной картинной галерее имени И. К. Айвазовского в Феодосии. Письма К. Ф. Богаевского сбереглись в семье Шервинского. Дочь Сергея Васильевича передала их в Феодосийский литературно-мемориальный музей А. С. Грина. Переписку подготовили к публикации специалисты этих музеев Ирина Михайловна Погребецкая (главный хранитель галереи имени И. К. Айвазовского) и Алла Алексеевна Ненада (заместитель директора музея А. С. Грина).

Мы решили опубликовать в нашем альманахе письма С. В. Шервинского и К. Ф. Богаевского, любезно предоставленные нам редактором-составителем замечательного «Крымского альбома» Дмитрием Алексеевичем Лосевым. Думается, эта публикация расширит наше представление о культурном мире России того времени и включит в «коломенский текст» крымские страницы.

В своих письмах С. В. Шервинский сообщает Богаевскому московские новости, особенно из художественной и культурной жизни. Он говорит о выставках, об открытии Музея западной живописи (ныне все упомянутые в письме коллекции переданы в ГМИИ имени А. С. Пушкина), о событиях своей семейной жизни (о рождении дочери), высоко оценивает новые «днепрогэсовские» работы Богаевского, выставляемые в Москве, выражает сочувствие в связи с кончиной К. В. Кандаурова. Также Шервинский посылает художнику посвящённое ему стихотворение из цикла «Феодосийские сонеты». Каким уважением и трепетным восхищением пронизаны эти строки!

БОГАЕВСКИЙ

В тиши феодосийской мастерской
Суровому ему мечта знакома.
Вдруг из-под кисти встанет пальм истома,
Над неким раем радуги покой.

Курчавится под крепость вал морской,
Чернеет край кремнистого излома:
Сугдея или ты, кряж Меганома,
От века чуждый поступи людской...

Так, сочетая вольно скалы, воды,
Разумно он играет естеством.
И каждый раз, сквозь сумрачные годы

Венчается интимным торжеством
Жизнь живописца, в творчестве природы
Соперничающего с Божеством.

Феодосия, 3/IX–1926 г.

В ответ К. Ф. Богаевский приглашает Шервинского в Феодосию, хотя и жалуется на голод, дороговизну, рассказывает о своих планах (командировки в Баку, на ДнепрогЭС), интересуется творчеством поэта.

Вчитаемся в эти страницы... В них до сих пор бьётся пульс культурной истории послереволюционной России!



Константин БОГАЕВСКИЙ — Сергей ШЕРВИНСКИЙ. ИЗ ПЕРЕПИСКИ 1925 — 1939 ГОДОВ

1. С. В. Шервинский — К. Ф. Богаевскому

<Москва, 10 января 1925 года.>

Глубокоуважаемый Константин Фёдорович!

Мне совестно начинать письмо после такого долгого молчания; вызвано оно было отчасти тем, что я всё ждал удачного часа, когда я мог бы осуществить задуманные мною «феодосийские» сонеты, но до сих пор ни строки не написано, хотя чувствую всё время давление на душу этой темы, и как только что-нибудь сочинится, незамедлительно пришлю Вам. Наша беседа в Феодосии, когда я был любезно приведён к Вам Неонилой Васильевной, произвела на меня большое впечатление, и я часто вспоминаю Вашу чудесную мастерскую, где так много отвечает моим художественным пристрастиям... Хочется думать, что Вам всё же удастся работать. Какая ужасающая вещь

эта вынужденная непродуктивность художников! Да и не только художников, — мы, литераторы, пишем для себя, для души постыдно мало. Если какая-нибудь жизнь в Москве сейчас бьёт ключом, так это только театральная, — начиная с «Гамлета», который составил целое событие в Московской театральной жизни, и кончая Мейерхольдом, о котором, впрочем, в нынешнем году кричат гораздо умеренней, чем в прошлом. Жизнь московская при всей ничем не компенсируемой суетности, идёт однообразно. В ноябре приезжала Анна Петровна Остроумова-Лебедева; останавливалась у нас; много мы с ней беседовали, вспоминали вместе про Вас и Феодосию, ходили вместе в Шукинскую галерею, и я был рад, что Анна Петровна поделила моё восхищение перед «La reine Isabeau» Пикассо. Я сам воспринимаю мою любовь к «зелёному» Пикассо как парадокс в себе самом, но каждое новое посещение галереи укрепляет его во мне. На днях я ездил в Питер. Пробыл там всего неполных два дня, но, конечно, успел побывать в Эрмитаже и поклониться своим любимым вещам: «Поклонению волхвов» Боттичелли, «Юдифи» Джорджоне, «Персею и Андромеде» Рубенса, Клоду Лоррену и Пуссену, два больших панно которого так странно напоминают Коктебель! Мои любимые апостолы Греко были вынуты из рамы «для копирования». Вспомнил Вас, проходя мимо двух очаровательных Гварди, в нашей беседе Вы сказали, что Феодосия ещё ждёт своего Гварди. Я думаю, что это очень верно. По крайней мере у меня осталось от Феодосии впечатление острой живописности. Моя мечта когда-нибудь вместе Вами побродить по Феодосии и поисследовать её старину, которую я мог и сей раз только «учуять», но которую хочется узнать вплотную.

Между прочим, в Москве сейчас образовался Музей старой западной живописи: в него взяты собрания Румянцевского музея, Зубаловых, Дм. Ив. Щукина, несколько вещей, взятых (увы!) из Эрмитажа и т. д.

Благодаря безвкусной развеске и неудачным залам музей получился довольно жалкий, и в нём как-то не хочется бывать. Да, кроме того, в нём чувствуется явственно вся неорганичность его составления. Хотели сделать из этого в Москве событие, но меня, хотя и коренного москвича, это совсем не радует.

Посылаю Вам, Константин Фёдорович, свои стихи, где много итальянских тем, а также обещанные стихи Сергея Соловьёва, о которых я Вам говорил, которые мне посвящены и имеются только в рукописи у меня. Я думаю, что они должны быть Вам интересны.

Позвольте мне пожелать Вам счастливого Нового года и выразить Вам душевную свою преданность.

Всегда Ваш С. Шервинский.

10 января 1925 г.

Москва, ул. Кропоткина, Троицкий пер., 8.

Серг. Вас. Шервинскому.

Глубокоуважаемый Сергей Васильевич!

Месяц тому назад я получил Ваше письмо и книжку Ваших стихов. Так долго не отвечал Вам, потому что всякие житейские тревоги и заботы одолевали меня, сейчас несколько полегчало. Спасибо за письмо. В этой пустыне людской, в какой мне приходится жить, так ценишь всякую весть из другого мира. Прекрасное стихотворение С. Соловьёва и Ваши об Италии дали мне настоящую радость — для меня всякая вдохновенная строчка об этой чудесной стране вызывает опять и опять мою любовь к ней. И в нашей Феодосии в окрестном пейзаже я именно люблю какие-то отражения той далёкой и как будто первоначальной моей родины. Вы верно подметили, что эрмитажные панно Пуссена по духу близки Коктебельскому пейзажу. Внимательный глаз тут много откроет родственного и с Грецией, и с Италией... Как хотелось бы мне побывать в Эрмитаже, который я так мало знаю и где так давно не бывал. И Италия, и Эрмитаж — всё стало как-то недосыгаемо для меня. К перечисленным и любимым Вами картинам Эрмитажа я бы ещё прибавил большой пейзаж с двумя лежащими фигурами у потока, приписываемый Скъявоне и Кампаньола — помните его? Я очень его любил, впрочем, это было в далёкие послеекademические года, теперь, может быть, он другое на меня произвёл бы впечатление. Что касается Пикассо, то я его всего как-то мало воспринимаю.

Жаль очень, что Вам так мало приходится работать. Правду сказать, нынешняя собачья жизнь мало располагает к какому-либо творчеству; работать приходится с перебоями, нет непрерывности в труде, а без последнего не может быть и никаких настоящих достижений. Я всё же надеюсь, что феодосийские сонеты Вами не будут совсем заброшены — это было бы печально. Приезжайте ещё раз летом к нам, к Понту Эвксинскому, побродить по нашим рыжим и голым холмам — и Вы прекрасные напишете сонеты... Если бы Вы знали, как сейчас чудесно у нас! Не зима и не весна ещё, но яркое солнце и южный ветер, и море пахнет свежим разрезанным арбузом, только в такие дни, зимой, оно так волнующе пахнет. Нет сил сидеть в комнате и пачкать красками бумагу... На днях я с Успенским махнул пешком через горы к Максимилиану Александровичу. Идти в осеннем пальто было жарко. Были на вершинах Карадага и оттуда любовались далёкими, в солнечном сиянии берегами Крыма. Хорошо было бродить по оттаявшей земле с пробивающейся зеленью, среди пахучей сырости прошлогоднего листа... Максимилиан Александрович стихов сейчас не пишет, зато акварелей видимо-невидимо. В чудесном он живёт сейчас уединении: Мария Степановна уехала в Харьков — лечить своё большое ухо, так что Максимилиан Александрович остался вдвоём с Зелинским, а кругом — пустыня и непрестанный шум волн — обстановка, идеальная для работы, и никаких житейских забот. Думаю, как теперешняя Ваша жизнь в Москве далека от подобного рая. Как бы Вы работали, живя здесь! Работаю я очень мало, почти что ничего, приходится принуждать себя; конечно, проку от такой работы будет мало. Собираюсь в марте в Москву, впрочем, — это ещё вилами по воде писано.

Ну, всего доброго, желаю Вам успешной работы и надеюсь, если не в Москве, то здесь в Феодосии свидеться с Вами.

Прошу передать привет от меня Вашей супруге.

Искренне преданный К. Богаевский.

Феодосия, Дурантовская ул., дом Дуранте

3. С. В. Шервинский — К. Ф. Богаевскому

<Москва, 26 февраля 1925 года>

Глубокоуважаемый Константин Фёдорович!

Я получил Ваше любезное письмо, в котором Вы между прочим общаете, что собираетесь в марте в Москву. Спешу Вам ответить, чтобы сообщить Вам, что у нас можно в любое время остановиться. Вы решительно никого не стесните, потому что квартира у нас по теперешним московским масштабам всё-таки довольно просторная, и для Вашего ночлега будет самостоятельная комната. В Москве сейчас остановиться, не стесняя кого-нибудь, очень трудно; у нас в этом смысле условия исключительные, мы с Марией Сергеевной обращаемся к Вам с категорической просьбой непременно остановиться именно у нас. Анна Петровна Остроумова пробыла у нас в ноябре неделю и, кажется, не тяготилась своим пребыванием в нашем доме. Итак, позвольте считать что при приезде в Москву Вы прямо с вокзала (трамвай 5) доедете до Зубовской площади, потом пойдёте по Пречистенке (ныне ул. Кропоткина) и около церкви обнаружите Троицкий (ныне Померанцев) переулок, а в нём дом № 8, войдёте под кирпичные ворота в проход с полуколоннами, где будет направо дубовая дверь, и позвоните в левый звонок, где дощечка отца моего. Поверьте, это во мне говорит не пустая любезность, а искреннее желание видеть Вас у себя и оказать Вам посильную помощь в столь затруднительных теперь путешествиях, — потому что в Москве остановиться теперь, действительно, трудно. Не откажитесь черкнуть, когда приедете, хотя можете приехать и экспромтом, это не имеет значения. Ваше письмо дышит всеми соблазнами юга, морем и ветром, и солнцем. Очень мечтаем попасть летом в Феодосию и Коктебель, но, конечно, ни в чём нельзя быть уверенным. Мы приучены жить *au jour de jour*.

Желаю Вам всего наилучшего, глубокоуважаемый Константин Фёдорович, с удовольствием ожидаю, так же, как и жена моя, Вашего приезда в Москву. Кстати, могу сообщить, что наш дом находится в непосредственной близости от Морозовской галереи, а также довольно близко (минут 15–20–25) от галереи Щукинской, Цветковской, музея изобразительных искусств, где сейчас организована галерея западной старой живописи, Третьяковской галереи и др. культурных учреждений.

Мария Сергеевна шлёт Вам свой привет.

Преданный Вам С. Шервинский.

26 февраля 1925 г.

4. С. В. Шервинский — К. Ф. Богаевскому

<Москва, 6 января 1926 года>

Приветствую Вас с Новым годом, дорогой Константин Фёдорович! Шлю Вам самые сердечные пожелания благополучия. С радостью вспоминаю о днях, когда я пользовался Вашим гостеприимством, и нетерпеливо жду Вас в Москву, к нам. Наши дела с книгой о Вас пока мало подвинулись: сначала Кандауров был на Востоке, сейчас Габричевский в Питере. Как только он вернётся, будем толковать; не знаю, что из этого выйдет (разумею практические возможности). Написал несколько сонетов о Феодосии — один посвящён Вам: как-нибудь пришлю, когда они «отлежатся» хорошенько. Целую ручки супруги Вашей, а жена моя шлёт привет и приглашение к нам.

Преданный Вам С. Шервинский.

Ул. Кропоткина, Померанцевский пер., 8, кв. 1.

5. С. В. Шервинский — К. Ф. Богаевскому

*<Кобеляки, Полтавского округа
Михайловская ул., дом Кременченских
19 августа 1930 года>*

Дорогой, глубокоуважаемый Константин Фёдорович!

Сейчас получил из Москвы скорбную весть о кончине незабвенного Константина Васильевича. Я был глубоко взволнован. Я сравнительно редко встречался с Константином Васильевичем, но всегда радовался сознанию, что он есть на свете. Разница возрастов не мешала чувствовать в нём истинного друга. Мне очень захотелось тотчас написать Вам. Мне так ясно, насколько должна быть чувствительна для Вас эта потеря! Не говоря уже о личной дружбе, доверии, взаимопонимании — с Константином Васильевичем уходит из жизни целая система прекрасных и полноценных взаимоотношений, связанных с искусством, с Феодосией, с той специфической культурой, которая так возвышала Константина Васильевича над уровнем обычной нашей художественной среды. Мои встречи с Кандауровым в Вашем доме — всегда пленительно гостеприимном! — останутся в моих воспоминаниях, как минуты светлые, именно светлые, потому что они погружали в атмосферу настоящего света, мягкого, человеческого. Конечно, таким именно светлым останется Константин Васильевич в памяти всех его любивших, но жаль, что он больше не будет делить с нами тихие осенние феодосийские вечера — поистине горько. Как больно, что его последнее свидание с Волошиным было омрачено какими-то нелепыми недоразумениями. Думаю, что Мария Степановна теперь об этом посетует. В этом году нам не удастся побывать на Киммерийском берегу, и я лишён радости видеть Вас и Ваши новые работы. Позвольте же Вас обнять, дорогой Константин Фёдорович, с чувством почтительным и дружеским. Передайте, пожалуйста, от моих и меня поклон многоуважаемой Жозефине Густавовне.

До свидания, — в Москве я буду в конце сентября, может быть, черкнёте два слова?

Преданный Вам душевно С. Шервинский.

Дорогой Сергей Васильевич!

Я был глубоко тронут Вашим вниманием к моему большому горю, к потере мною горячо любимого друга. До сего дня, да, наверное, до конца дней моих я не смогу примириться с этой смертью, т. к. живо чувствую, что с уходом Константина Васильевича в моей жизни образовалась большая пустыня, которая уже никем и ничем не может быть заполнена. Заменить мне его уже никто не сможет. Я 30 почти лет прожил с ним душа в душу, мои радости и печали были также — и его, вся моя работа прошла при его неослабном, любовно-дружеском внимании, и эта светлая дружба за все эти 30 лет ни разу и ничем не была омрачена.

Трудно в мои годы терять старых друзей, да и не так уж много их наберётся, а такой близости к человеку, какую я всегда чувствовал к Константину Васильевичу, у меня ни к кому ещё не было. С его уходом я впервые ясно почувствовал, как пустынно-печальна становится жизнь под старость лет и как страшно оставаться одному без близкого любимого человека. Меня бесконечно порадовало то, дорогой Сергей Васильевич, что Вы так горячо отозвались на смерть Константина Васильевича, что Вы сами любили и понимали этого человека и почувствовали, как с его смертью ушла из жизни и искусства навсегда целая полоса светлых человеческих взаимоотношений, таких далёких от тех, которыми мы сейчас дышим и среди которых ожесточаем свою душу.

Да будет навсегда светла память о нём в наших сердцах! Я так долго не отвечал на Ваше письмо, т. к. только недавно вернулся в Феодосию из своей поездки на Днепрострой. Оставаться там и работать после смерти Константина Васильевича я уже не мог, такая меня охватила тоска и горе, я бежал скорее в Крым. Здесь всякие неприятности, связанные с квартирой, которые и до сих пор продолжают, буквально лишили меня возможности своевременно ответить на Ваше письмо.

О том, что дал мне Днепрострой, я ничего ещё не могу сказать определённого. Смутно, в фантазии напрашиваются пока какие-то «города будущего», ночи над этими городами, где огни небесные сливаются с огнями земными, фантастические формы и силуэты грандиозных сооружений в печальном свете сумерек и искусственного света и т. п. Хочется всем этим заняться в тишине своей мастерской, да суета жизни, наша русская «la misère de la vie» очень этому мешают. Очень жалею, дорогой Сергей Васильевич, что в этом году я не увижу Вас в Феодосии. Пишете ли Вы хоть изредка стихи и какой работой заняты? От всей души желаю Вам здоровья и полного отдыха Вам и Вашим близким. Прошу передать привет от меня и Жозефины Густавовны Елене Владимировне и Василию Дмитриевичу.

Искренне и горячо Вам преданный
К. Богаевский.

13/IX—30

Получил только что своё письмо обратно из Кобеляк. Посылаю Вам его по Вашему московскому адресу.

Глубокоуважаемый и дорогой Константин Фёдорович!

Вчера побывал я на выставке «Союз советских художников», видел Ваши произведения и Ваш портрет и захотелось написать Вам. Должен сказать, что видеть и то и другое было мне очень радостно. Ваши «Днепрострой» превосходны. Правда, странно как-то видеть Вашу живопись в сочетании с этими новыми темами, но тема Вам подчинилась; думаю, что Вы и сами чувствуете, что это — удача. Любопытно, до чего они живописно претворены, а вместе с тем не оторваны от их технической реальности. Фантастический гигант мне, может быть, ещё привлекательней показался. Висят картины хорошо, два Днепростроя один над другим, а фантастический — справа от них, освещены как следует. Слышал стороной, что от Ваших этих полотен в полном восторге архитектор Жолтовский. Не знаю, как Вы относитесь к нему, но мы все с его мнением чрезвычайно считаемся. Жолтовский привык всю жизнь делать для себя внутренний отбор произведений искусства, и восприятие его сделалось необыкновенно чутким и столь же строгим. Остальная выставка в общем грамотная, есть отличная графика (Шиллинговский), как всегда мастерские в чисто техническом смысле вещи Василия Николаевича Яковлева, но вся выставка снисвелевана преобладанием однообразной индустриальной темы (впрочем, Яковлев выставил «мастерскую музыкальных инструментов» и 2 автопортрета эскизных); много на выставке почему-то видов Бахчисарая — чрезвычайно беспомощных; есть, конечно, и просто пошлятина. Ваш портрет работы Кузнецова мне доставил немалое удовольствие, потому что — Вы, но как с портретом и даже как с трактовкой Вас не могу его всецело принять. Очень хорошо, что художник Вас изобразил на фоне феодосийских укреплений, но Ваша несколько театральная поза не совсем соответствует Вашему строгому и сосредоточенному облику. А в общем портрет всё-таки неплохой и сделан, видимо, от души. Сейчас в Москве целых четыре выставки: Союз, Павла Кузнецова, «13»-ти и Беляева. Последняя посвящена русскому Северу и, как будто, интересна, но я ещё ни на одной, кроме Союза, не побывал. Только что закрылась отчётная, за 5 лет, выставка Юона — в общем слабая и безвкусная. Есть 2–3 удачных, даже хороших, снежных пейзажа. Был ещё на выставке ОХС, в отличном помещении, в актовом зале университета, — но что это был за ужас! Выставка была посвящена пятилетке, и я не знаю, чего глядела всякая цензура! Иной раз она придирается к невинным мелочам, а допускает такую наглую халтуру, которая способна дискредитировать любую идею! Бродя по этой выставке, я буквально не верил своим глазам! Отчего нигде не видно Н. С. Барсамова? Неужели его так выбила из колеи его болезнь? Если видите его, передайте ему мой привет.

У меня с весенним светом начинается тяга на юг. Однако, не знаю, удастся ли в этом году быть у моря. В Коктебель не поеду, там всё теперь не то. А в Феодосию, м. б. и загляну, — очень хочется... Мои какие бы то ни было выезды теперь осложнены тем, что у меня родилась дочь. Ей сейчас 3,5 месяца. Ради неё жена моя и отец будут жить лето под Москвой, а я, если выберусь, то ненадолго. Я не очень приглашаю Вас в Мо-

ску — мало привлекательного. А повидать Вас крайне хочется — вот и мечтаю о Феодосии. Передайте, пожалуйста, мой поклон Жозефине Густавовне. Желая Вам всего, всего хорошего. Мои Вам очень кланяются.

Душевно Вам преданный С. Шервинский.

25 апреля 1931 г. Москва.

8. К. Ф. Богаевский — С. В. Шервинскому

<Феодосия, 7/V—31>

Дорогой Сергей Васильевич!

Спасибо за письмо; оно мне доставило немалую радость и удовлетворение, прежде всего потому, что понравились Вам мои вещи, а Вашим мнением я всегда дорожу. Ещё мне было приятно слышать то, что Вы сообщаете о Жолтовском, благоприятный отзыв столь строгого и чуткого критика для меня неожидан. Нет, я далёк был от того, чтобы считать эти свои работы удачными, как Вы предполагаете. Меня несколько удовлетворял только тот пейзаж, который Вы называете «фантастическим гигантом», т. к. в нём я попробовал отойти немного в сторону от того, что навязывала мне реальность, и дал себе радость немного пофантазировать на тему «Днепростроя». Не знаю, знакомы ли Вы с Бакушинским, встречаетесь ли с ним? Пишут мне, что он в своём докладе о выставке, — где и как это было, я не знаю, — пел мне дифирамбы... Всё это было для меня полной неожиданностью, т. к. мало я был удовлетворён своей работой. На днях получил сообщение от нашего председателя о том, что Государственная закупочная комиссия приобрела две мои вещи, одну — тучевую — в Третьяковскую галерею, другую — солнечную — в Русский музей... Как будто на всех фронтах победа! Было мне весьма любопытно читать то, что Вы пишете о московских выставках; ведь об этом мне почти ни от кого не приходится слышать, ну а читать и того меньше. Конечно, Вы совершенно правы, не одобряя вполне мой портрет работы В. Кузнецова. Писал-то он меня «от души», но как я ни старался, а никак не мог его убедить, что мне не совсем приличествует поза пророка Иезекииля и смешная «вдохновенность». Ну да с учеником Владимира Маковского трудно сладить!

Рад буду видеть Вас у себя в Феодосии, дорогой Сергей Васильевич.

Моя мастерская к Вашим услугам, и поговорить с Вами и рассказать Вас о московской художественной жизни мне очень бы хотелось. Тут, к сожалению, одно является «но», когда вопрос касается питания в Феодосии; здесь приезжий может околеть с голоду, так как нет ни единой столовки или ресторана, где можно было бы поесть чего-нибудь съедобного. Может быть, дальше к лету что-нибудь откроется. Прошлогодние курортные условия жизни кажутся раем потерянным в сравнении с нынешними. Если приедете на несколько дней, то как-нибудь уже с нами пропитаетесь; будь прежние времена, то об этом и разговору не могло быть. Жизнь же где-нибудь в Коктебеле, Судаче и т. д. для приезжих, за исключением домов отдыха, будет сплошной катор-

гой и недоеданием. Жозефина Густавовна и я очень-очень приветствуем Елену Владимировну и Вас и поздравляем с днём рождения дочери. Прошу мой привет передать глубокоуважаемому Василию Дмитриевичу.

Искренне Ваш К. Богаевский.

Р. S. Всё лето буду в Феодосии. В сентябре, если ничто не помешает, предполагаю поехать на работу на нефтяные промыслы в Баку, Биби-Эйбат. Может быть, удастся получить командировку.

О Коктебеле и Волошиных я давно ничего не слышал. Как будто там всё благополучно.

9. С. В. Шервинский — К. Ф. Богаевскому

<Старки, 13 сентября 1934 года>

Дорогой Константин Фёдорович!

Пишу Вам наугад, не зная, где Вы. Однако, думаю, что время милой осени Вы наверно будете проводить на Киммерийских берегах. Может быть, Вы уже давно в Феодосии — тогда простите, что до сих пор не написал Вам. Вскоре после Вашего отъезда из Москвы мы сговорились с Юлией Леонидовной, и я с чувством радостного волнения поднимался по лестнице, зная, что мне предстоит сделаться обладателем ещё одного Вашего произведения, да ещё по своему выбору. Все вещи, поставленные передо мною доброй Юлией Леонидовной, мне были по душе, однако моё решение определилось скоро, и я более не колебался.

И сейчас, по прошествии уже двух с лишним месяцев, я так же уверенно радуюсь своему выбору. Он остановился на той картине, где в середине стройная — стройности восхитительной! — древесная купа, слева фиолетовая плоская скала, справа высокий утёс с роцей или садами у подножия, а на заднем плане плоская твердыня с городом. Я не могу перевести на язык простых аналитических определений всего обаяния этой вещи. Хочется сказать Вам, дорогой Константин Фёдорович, много больших и благодарных слов. Есть достижения творчества, которые уводят нас в какие-то сферы мифической убедительности. Вот это-то удивительное чувство, когда ясно осознаёшь, что перед тобой вымысел, и вместе с тем испытываешь убедительность в реальном его бытии, наполняет меня перед новой моей драгоценностью. Из этой акварели веет на меня воздух Одиссеи, да и едва ли остров феаков был с Бёклиновскими муравами. Нет, откуда-то внушающая Вам античность говорит через Вас своим трезвым, сухим, как камень под солнцем, словом, выражает себя в умиротворяющих душу, разрешительных соотношениях. Самое любопытное, что Вам, может быть, и не мыслилась в этой вещи никакая античность! Но это безразлично. Наши духовные корни иной раз сильнее нас самих, и не всегда мы сами сознаём, каким воздухом дышим. От сердца благодарю Вас, любимый художник, за благожелательный и дружеский дар и крепко, крепко Вас обнимаю.

Душевно преданный Вам С. Шервинский.

Надеюсь, что Жозефина Густавовна не сетует, что такая прекрасная картина попала в мои руки. Передайте ей мой низкий поклон и попросите снисхождения к человеку, для которого обладание Вашим *shef-d'oeuvrom* поистине громадная радость!

Старки.

13 сентября 1934 г.

10. К. Ф. Богаевский — С. В. Шервинскому

<Феодосия, 14/VI—39>

Дорогие Елена Владимировна и Сергей Васильевич!

Большим сюрпризом было для нас получение от вас посылки. Спасибо большое. Особенно приятно было держать в руках большие куски мыла, какового следы давным-давно исчезли у нас в Феодосии. Что касается риса, то его мы также получали в последний раз чуть ли ни при царе Горохе. Зато стал появляться в магазинах сахар, ну... и т. п. Не единственным хлебом жив будет человек...

Надеюсь, что Вы благополучно доехали до Москвы и дома всех нашли в добром здравье.

Меня, да и Жозефину Густавовну особенно сейчас тянет на Север, точно на милую родину, к тем белоствольным берёзкам, для которых Вы, Сергей Васильевич, ничего не находите, кроме жёстких слов, и я скажу — несправедливых. По-моему, нет в мире более очаровательного дерева. «...В ней есть душа, в ней есть язык...» — перефразируя Тютчева. Оттого так трудно передать её в живописи, её трепетность, её пронизанность светом. Я сейчас бьюсь над этой работой, и у меня так мало, к сожалению, выходит настоящего правдоподобия. Может быть, я и взялся не за свою настоящую работу, и, как Вы остроумно сказали: «Геркулес пошёл по грибы» (хотя я считаю себя далеко не Геркулесом), и, может быть, я и в самом деле не найду ни единого «гриба» в чужой как будто мне природе, но всё же хочу попытаться и ещё одно лето проработать на Севере.

Жозефина Густавовна и я шлём Вам свой сердечный привет и желаем всего Вам доброго и ещё раз благодарим за посылку.

Прошу передать привет глубокоуважаемому Василию Дмитриевичу.

Ваш К. Богаевский.

КОЛОМЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Знаменательные и памятные даты 2015 года

1 января. 105 лет назад родился ветеран войны и Вооружённых сил, партийный работник, журналист полковник Игнатий Иванович Козин (1910—1985). До Великой Отечественной войны работал редактором газеты патефонного завода, заведующим отделом редакции газеты «Коломенский рабочий», секретарём Коломенского райкома ВКП(б).

1 января 1945 года родилась Тамара Ивановна Шарапова — член Союза журналистов России, заслуженный работник печати Московской области. С 1977 года работает в редакции газеты «Коломенская правда»: корреспондент, ответственный секретарь, корректор.

2 января. 75 лет назад в деревне Солосцово Коломенского района родился Валерий Александрович Ковалёв (1940—2008) — член Союза писателей России, краевед. Его рассказы и очерки печатались в «Коломенском альманахе», в местных газетах. Автор четырёх сборников рассказов.

6 января. 70 лет назад в Коломне родилась Татьяна Сергеевна Моторина (1945—1996) — член Союза журналистов СССР. Работала редактором Коломенской редакции радиовещания.

10 января. 70 лет назад в Коломне родился Виктор Леонидович Катков (1945—2003) — краевед, фотограф. Его снимки использовались в качестве иллюстраций в книгах о Коломне и коломенцах.

18 января. 100 лет со дня рождения учёного-историка, краеведа, профессора Григория Петровича Ефремцева (1915—1990). Участник Великой Отечественной войны. С 1947 года работал в Коломенском учительском (педагогическом) институте. Автор книг «Коломна» (в соавторстве с Д. Д. Кузнецовым), «История Коломенского завода» и других, многих публикаций об истории Коломны в сборниках, журналах, газетах.

25 января. 75 лет со дня рождения Юлии Владимировны Шафранской (1940—2011). В течение 34 лет преподавала изобразительное искусство и черчение в Коломенской школе № 11. Единственная из коломенских учителей по этому предмету отмечена почётным званием «Заслуженный учитель школы РСФСР». Актриса Коломенского народного театра (ДК «Тепловозостроитель»).

28 января. 90 лет назад в селе Парфентьево Коломенского уезда (ныне района) родился Геннадий Иванович Бычков (1925—2006) — заслуженный работник культуры России, профессор КГПИ, кандидат исторических наук, краевед. Автор книг по истории Коломенского края и публикации в «Коломенском альманахе» (12-й выпуск) о митрополите Московском и Коломенском Филарете.

30 января 1935 года в Коломне родилась Екатерина Михайловна Абрамовская — педагог, краевед, музыкальный работник.

27 февраля 1935 года в городе Озёры родился Юрий Александрович Белов — художник. С 1940 года живёт в Коломне. Избрал стезю декоративного искусства: резьба по дереву, чеканка по металлу, произведения из других материалов. Его работы необычны, отточены, искренни.

2 марта 1960 года в Коломне родился Михаил Владиславович Тюрин — лётчик-космонавт, Герой России, Почётный гражданин города Коломны. Трижды работал на орбите.

6 марта. 100 лет со дня рождения художника-графика Нины Николаевны Ватолиной (1915–2002). Родилась в Коломне. В годы Великой Отечественной войны много внимания уделяла политическому плакату. Самым удачным считается «Не болтай!» (1941 год). Известна и как автор интересных книг: «Мы — плакатисты», «Прогулка по Третьяковской галерее», «Наброски по памяти».

8 марта 1730 года. Правительствующий Сенат утвердил «Знаменный гербовник», в котором впервые появилось изображение и описание герба Коломны.

11 марта 1940 года в Коломне родился Валентин Фёдорович Подрезов — заслуженный работник культуры Российской Федерации.

13 марта. 135 лет со дня рождения известного коломенского художника-краеведа Алексея Матвеевича Солодкова (1880–1953). В краеведческом музее хранятся его живописные полотна «Нападение татар на Коломну в 1237 году», «Приезд Ивана Грозного в Коломну» и другие. Работы художника воспроизводились в книгах, альбомах.

20 марта 1920 года в Коломне родился Константин Александрович Лебедев — доктор филологических наук, профессор.

20 марта 2000 года. Вышел первый номер газеты «Глаголь». Издание церкви Пресвятой Троицы города Коломны.

23 марта. 85 лет назад в Коломне родился Леонид Павлович Стариков (1930–1983) — фотожурналист. Тысячи снимков опубликованы в газете «Коломенская правда», где он работал, и в других изданиях. Был одним из организаторов первой фотовыставки коломенских фотографов в городском выставочном зале и сам представил высокохудожественные работы.

26 марта 1900 года в театре Коломенского машиностроительного завода состоялся литературно-музыкальный вечер. Средства, собранные за билеты, пошли на оказание материальной помощи городской общественной библиотеке имени И. И. Лажечникова.

29 марта 1970 года родился Алексей Борисович Мазуров — выпускник Коломенского педагогического института, доктор исторических наук, профессор, ректор МГОС-ГИ. В 2012 году избран депутатом Московской областной думы. Является членом общественного совета редакции «Коломенского альманаха».

31 марта. 90 лет со дня рождения Александра Ивановича Еремеева (1925–1999). Участник Великой Отечественной войны. Более 20 лет работал в редакции газеты «Коломенская правда», считался одним из самых грамотных и эрудированных сотрудников. В течение нескольких созывов прилежно и инициативно выполнял обязанности депутата Коломенского районного Совета. Шесть лет на общественных началах работал председателем горкома профсоюза работников культуры.

1 апреля. 20 лет назад умер бывший директор Колхоза, государственный и партийный деятель Николай Николаевич Смеляков (1911–1995). Член Союза писателей СССР. Автор широко известных книг «Деловая Америка», «С чего начинается Родина» и других.

7 апреля 1950 года в Коломне родился Борис Владимирович Архипцев — педагог, переводчик, шахматист. За 16 лет упорного труда наиболее полно воссоздал на русском языке поэзию Эдварда Лира, добившись академической точности, сохранив при этом мелодику и строй английского стиха.

10 апреля. 40 лет назад умер заслуженный работник культуры РСФСР Абрам Самойлович Лавут (1913–1975), бывший главный режиссёр народного театра тепловозостроителей.

18 апреля 1975 года главным режиссёром народного театра тепловозостроителей назначен Николай Николаевич Крапивин, выпускник Щукинского театрального училища. Заслуженный работник культуры Московской области.

20 апреля 1920 года в деревне Кудрявцево Коломенского уезда (ныне района) родился Владимир Николаевич Филиппов — заслуженный артист РСФСР. Много лет состоял в труппе Большого театра СССР.

В начале апреля 1975 года городская библиотека № 1 справила новоселье на первом этаже дома № 6 по проспекту Кирова. Ныне носит имя писателя В. В. Королёва.

3 мая 1950 года в Коломне родился Михаил Дмитриевич Рыбаков — профессор Московского открытого социального университета, академик Международной академии наук педагогического образования.

4 мая. 125 лет со дня рождения революционера, журналиста, дипломата Владимира Николаевича Баркова (1890—1982), детство и юность которого прошли в Коломне.

9 мая. 90 лет со дня рождения члена Союза писателей России, педагога, мужественного защитника Родины в период Великой Отечественной войны Михаила Павловича Маношкина (1925—2002). Родился в д. Орешково Коломенского уезда, с 1933 года жил в Коломне. Задумал трилогию о человечестве. В каждой части должно было быть по три книги. Успел написать шесть. Две: «Русские зори» и «Перед гуннами» были изданы в 1994 году. Рассказы, отрывки из романов публиковались в журналах «Наука и религия», «Коломенский альманах».

16 мая 1935 года родился Николай Григорьевич Илларионов — заслуженный работник культуры России. Много лет работал в Коломне.

17 мая. 70 лет со дня рождения члена Союза писателей России Валерия Васильевича Королёва (1945—1995). Последние 16 лет жил в Коломне. Его книги: «Жизнь как жизнь», «На трёх буграх», «Древлянская революция» и другие — выходили в московских издательствах, рассказы печатались в крупных журналах. С неопубликованными при жизни произведениями читателей постоянно знакомит «Коломенский альманах». Имя В. В. Королёва носит городская библиотека № 1.

В мае 1925 года на улицах Коломны появились три первых автобуса. Для перевозки людей переоборудовали грузовые машины с брезентовым верхом. Так началась история межрайонного автотранспортного предприятия «Автоколонна № 1417» (директор Н. Н. Сиделёв), которое в течение многих лет является меценатом «Коломенского альманаха».

6 июня. 105 лет со дня рождения музыканта, капельмейстера Анатолия Абрамовича Цымбалова (1910—1998). Многие годы был дирижёром духового оркестра Коломенского артучилища, возглавлял коллектив молодёжного духового оркестра Дворца культуры завода тяжёлого станкостроения, которому было присвоено звание «Народный коллектив».

11 июня. 95 лет со дня рождения члена Союза журналистов СССР, ветерана войны и труда Александра Васильевича Строганова (1920—1998). Около 30 лет работал в редакции газеты «Коломенская правда», в том числе заместителем редактора.

17 июня. 55 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Комаровского (1960—2010) — члена Союза художников России. В 11-м выпуске «Коломенского альманаха» опубликован комплект репродукций его картин «Светоносная провинция».

27 июня. 65 лет со дня рождения журналиста, музыканта Михаила Петровича Беган-Богачко (1950–1981). Один из создателей городского ВИА «Воплощение». Член Союза журналистов СССР. Работал редактором многотиражной газеты «Коломенский станкостроитель», с 1978 года — заведующим отделом промышленности газеты «Коломенская правда».

15 июля. 30 лет назад в Москве умер художник Военной студии имени Грекова Юрий Филиппович Рязанов (1936–1985). Он первым среди воспитанников изокружка коломенского Дома пионеров (руководитель Н. И. Бодрягин) был удостоен почётного звания заслуженного художника РСФСР.

22 июля. 80 лет со дня рождения Анатолия Александровича Иванова (1935–1972) — педагога, поэта. Автора книги стихов для детей «Лесные улицы», вышедшей в 1971 году в издательстве «Малыш». Его стихи о природе для детей печатались в газете «Коломенская правда», в других газетах, журналах. Подборка стихотворений «По лесным полянам» опубликована во втором выпуске «Коломенского альманаха».

23 июля 1955 года родился Илья Георгиевич Лебедев — краевед, создатель музея кузнечного дела «Кузнечная слобода», директор ООО «ЛикЪ».

В июле 1945 года в Коломне открылась первая послевоенная выставка художников.

В июле 2000 года во время раскопок на улице Яна Грунта археологи нашли гончарный горн XVIII века. Ныне он выставлен для всеобщего обозрения в музее Конькобежного центра Московской области «Коломна».

1 августа 1990 года в Коломне открыто Московское епархиальное духовное училище.

5 августа 1935 года в Коломне родился кукольный мастер член Союза художников России Борис Андреевич Щербачков-Коломенский. Работал главным художником Алтайского краевого театра кукол. Участвовал в создании более 50 спектаклей.

18 августа 1950 года в селе Лысцево Коломенского района родился Александр Борисович Сурков — педагог, поэт, общественный и государственный деятель.

23 августа (11 августа по ст. ст.). 165 лет со дня рождения Виктора Александровича Гольцева (1850–1906) — публициста, журналиста, литературного критика. Родился в Коломне.

25 августа. 85 лет со дня рождения известного коломенского живописца, заслуженного художника РСФСР Геннадия Павловича Сорогина (1930–2004). Немало работ посвятил Коломне. Живописные произведения Сорогина украшают художественные музеи страны. В том числе находятся в Третьяковской галерее.

29 августа. 105 лет со дня рождения журналиста, заслуженного работника культуры РСФСР Дмитрия Дмитриевича Кузнецова. Много лет работал в редакции газеты «Коломенский рабочий» («Коломенская правда»), в областной газете «Ленинское знамя». В соавторстве с Г. П. Ефремцевым написал книгу «Коломна», которая вышла в издательстве «Московский рабочий» к 800-летию юбилею города.

В августе 1870 года Г. Е. Струве открыл в селе Боброво первое в Коломенском уезде техническое училище (ныне ПУ № 6).

В августе 1990 года в Коломне создан ансамбль русской песни «Золотые купола».

1 сентября 1965 года на центральной усадьбе совхоза «Сергиевский» Коломенского района открыли детскую школу искусств.

1 сентября. 90 лет со дня рождения скульптора Дмитрия Борисовича Рябичева (1925—1995), автора мемориала о коломенцах, погибших в Великую Отечественную войну.

5 сентября 1990 года вышел в свет первый номер многотиражной газеты «Коломенский машиностроитель». Её учредителем был трудовой коллектив коломенского Конструкторского бюро машиностроения. Газета издавалась до 1995 года.

6 сентября 1980 года художественной выставкой, посвящённой 600-летию Куликовской битвы, в доме № 2 по улице Красногвардейской был открыт городской выставочный зал (ныне культурный центр «Дом Озерова»).

11 сентября. 125 лет со дня рождения Александра Васильевича Свешникова (1890—1980) — известного музыкального деятеля, Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР, профессора. Родился в Коломне.

12 сентября. 95 лет со дня рождения доктора филологических наук, профессора КГПИ Константина Григорьевича Петросова (1920—2001). Стоял у истоков «Коломенского альманаха», постоянный автор сборника.

22 сентября 1935 года родился митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (в миру В. К. Поярков). Почётный гражданин города Коломны.

24 сентября. 130 лет со дня рождения Сергея Александровича Курлаева (1885—1962) — музыкального работника, основателя Коломенской музыкальной школы.

25 сентября 1940 года родился Владимир Геннадьевич Дагуров — поэт, член Союза писателей и Союза журналистов СССР. Своим творчеством и работой тесно связан с коломенским краем.

1 октября 1945 года в Коломне родился Владимир Вячеславович Макеев — заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, автор-составитель книги «Выдающийся конструктор Б. И. Шавырин и спорт в Коломне».

1 октября 1960 года в посёлке Пески Коломенского района родился Сергей Павлович Швакин — член Союза писателей России. Автор трёх книг, публикаций в «Коломенском альманахе», местных газетах.

5 октября 1930 года в Коломне открыт медицинский техникум (ныне медицинский колледж).

5 октября 1955 года в посёлке МОИДС, ныне посёлок Радужный Коломенского района, родился Борис Гершевич Кинер — композитор, артист.

18 октября 1945 года в Коломне родился Виталий Васильевич Тепляков — реставратор, краевед, путешественник. Под его руководством в сжатые сроки была отреставрирована церковь Михаила Архангела и заново построена колокольня при ней.

20 октября. 100 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР Анатолия Гавриловича Рыбина (1915—2006). В 1930-е годы жил в Коломне. Окончил школу ФЗУ и машиностроительный техникум, работал слесарем на Коломзаводе, а потом литсотрудником в заводской многотиражке. Участник Великой Отечественной войны. Автор повестей и романов на военную тему.

30 октября. 110 лет со дня рождения Александра Семёновича Кузина (1905—2000) — члена Союза журналистов СССР. Работал в многотиражных газетах Коломны, заместителем редактора городской газеты «Коломенская правда».

30 октября. 100 лет назад в Коломне родился Михаил Петрович Данилин (1915—1986). Много лет работал председателем правления Дворца культуры тепловоозроителей.

31 октября 1950 года в Коломне родился Александр Евгеньевич Денисов — спортивный педагог, председатель совета Коломенского клуба краеведов, автор многих краеведческих исследований, публикаций в «Коломенском альманахе». Дважды мастер спорта СССР (по борьбе самбо и дзюдо).

8 ноября (21 октября по ст. ст.). 125 лет со дня рождения известного в Коломне театрального деятеля Михаила Васильевича Ильнарова (1890—1976).

10 ноября 1935 года родился Василий Афанасьевич Васильев — подполковник в отставке. С 1988 по 2008 год — заведующий музеем истории КВАКУ. Автор нескольких книг по истории Коломенского артучилища.

14 ноября. 85 лет со дня рождения журналиста, бывшего сотрудника газеты «Коломенская правда», автора нескольких книг Евгения Васильевича Денисова (1930—2005).

16 ноября. 120 лет со дня рождения Валентины Александровны Любимовой (1895—1968) — драматурга, лауреата Государственной премии СССР. Родилась в селе Щурово (ныне один из районов города Коломны) в семье священника. На доме, где прошло её детство, висит мемориальная доска.

17 ноября. 120 лет со дня рождения Анны Николаевны Путятинной (1895—1982) — отличника народного просвещения, педагога, краеведа. Собрала уникальный материал по истории народного образования в Коломне и районе.

21 ноября. 80 лет со дня рождения Николая Константиновича Суворова (1935—2006) — инженера-конструктора тепловозостроительного завода, поэта, автора нескольких поэтических сборников, публикаций в «Коломенском альманахе», в журналах и газетах.

21 ноября. 70 лет со дня рождения члена Союза журналистов России, фотографа, краеведа Льва Борисовича Авдеева (1945—2008). Последние 14 лет работал в редакции газеты «Коломенская правда». Его фотографии использовались в «Коломенском альманахе».

22 ноября 1960 года в селе Лукерьино Коломенского района родился Вадим Николаевич Квашнин — член Союза писателей России, автор нескольких книг стихов, публикаций в «Коломенском альманахе». Лауреат премии имени Сергея Есенина.

В ноябре 2000 года вышел первый номер Коломенской молодёжной информационной газеты «Мы».

7 декабря 1775 года приведён к присяге коломенский воевода Пётр Фёдорович Жуков (1736—1782), известный библиофил.

10 декабря 1995 года Коломенской хоровой школе присвоено имя Александра Васильевича Свешникова.

17 декабря 1935 года в Коломне родился Владислав Николаевич Леонов — прозаик, член Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР/России. Автор многих книг для детей и юношества, публикаций в «Коломенском альманахе».

24 декабря 1885 года коломенский купец первой гильдии Арнольд Борисович Тембурский получил разрешение московского губернатора создать в Коломне типографию. Ныне это ГУП МО «Коломенская типография», которая выполняет все виды полиграфических услуг: дизайн, корректура, вёрстка, предпечатная подготовка, офсетная печать, ризография, ротационная печать и др.

Календарь подготовил Анатолий КУЗОВКИН



АНАТОЛИЮ КУЗОВКИНУ

*С каким-то чувством незнакомым
Помедлишь, чтобы произнести:
«Почётный гражданин Коломны...»
Как много смысла скрыто здесь!*

*Газеты, фотоснимки, книги,
Архивов грузные вериги,*

*И строй заветных картотек,
Столетий ветхие обличья,
И, славный в горе и величье,
Омытый кровью Прошлый век...*

*И на холстах — седые горы,
И тишина твоих равнин
Сошлись в бессмертные узоры —
Отчизны верный гражданин!*

ТАЙНА ВДОХНОВЕНИЯ

Когда мы говорим о Кузовкине, то невольно прикасаемся к его загадке. В самом деле: как объяснить груды бесценной информации, бережно собранной и преобразённой в картины и фотографии, книги и статьи? Почему множество людей с такой охотой откликаются на его расспросы о прошлом, делятся самым сокровенным?

А загадка, наверное, заключена в его сердце, где удивительно сочетаются просто-та, человечность и огромное обаяние...

Анатолий Иванович, неизменный наш автор и друг! Вот уже 75 лет тепло твоей улыбки согревает коломенскую землю, привлекает к тебе людей, равнодушных к истории. И свидетельством общего признания стало присвоение тебе звания Почётного гражданина Коломны. Мы от всего сердца поздравляем тебя! Но всё же хотим как можно скорее увидеть главный труд твоей жизни — Биографический словарь коломенцев.

Пусть тайный огонь вдохновения и добра всегда остаётся с тобой!

Коллектив редакции

Издание выходит при поддержке
администрации городского округа Коломна
и коломенских меценатов

БЛАГОДАРИМ

Валерия Ивановича ШУВАЛОВА —

руководителя администрации
городского округа Коломна;

Николая Тимофеевича ВОРОНИНА —

генерального директора ООО ПКФ «ДОММ»;

Николая Николаевича СИДЕЛЁВА —

директора межрайонного автотранспортного
предприятия «Автоколонна 1417».
Филиал ГУП МО «Мострансавто»;

Сергея Семёновича ТУБОЛЕВА —

генерального директора ЗАО «Колнаг»;

Алексея Борисовича МАЗУРОВА —

ректора Московского
государственного областного
социально-гуманитарного института;

Любовь Александровну ЧЕРНОВУ —

доктора филологических наук, профессора
кафедры русского языка МГОСГИ;

Игоря Викторовича ЧИРКОВА —

индивидуального предпринимателя;

Валерия Семёновича КОССОВА —

генерального директора ОАО «ВНИКТИ»;

Михаила Яковлевича АРЕНЗОНА —

учредителя Издательского дома «Ять»;

Сергея Сергеевича СЕРГЕЕВА —

председателя Правления
группы компаний «ТЕХНО-АС»;

Редакционную коллегию журнала «РОМАН-ГАЗЕТА»

Евгения Владимировича ЗАХАРЧЕНКО —

генерального директора ООО «Прогресс»;

Юрия Михайловича УГОЛЕВА —

генерального директора ООО «Экологическая научно-производственная фирма «Новатор»;

Наталью Николаевну ДРАНЕЕВУ —

директора НОУ ДПО «Научно-учебный центр «Знание-Коломна»;

Эдуарда Насибулловича ТУМЕРКИНА —

директора ОАО «Ракурс»;

Игоря Валерьевича ШАХ-НАЗАРОВА —

директора ООО «Тираж»;

Татьяну Сергеевну ЛАПТЕВУ —

директора негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования «Коломенский компьютерный центр»;

Галину Евгеньевну ШАРОНОВУ —

генерального директора
ГУП МО «Коломенская типография».



БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ

*Мы Словом вооружены,
И книга — наше знамя.
И не казною мы сильны,
А правдой и друзьями!*

*Наш Город краше и сильней
Бессмертной речью будет.
И он — не скопище камней —
Наш Город — это люди!*

*Коломны каменный чертог
В душе берёт основу.
Спасибо Вам! Храни Вас Бог —
Друзья родного Слова!*



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ
«КОЛОМЕНСКИЙ АЛЬМАНАХ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. С. МЕЛЬНИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Р. В. СЛАВАЦКИЙ
А. А. САХАРОВ
В. В. УШАКОВА

РЕДКОЛЛЕГИЯ

А. П. Ауэр, Т. Ф. Башкирова (редактор отдела поэзии),
Е. С. Гринин (главный художник), **А. М. Дудкин, С. В. Калабухин,**
Т. И. Кондратова (шеф-редактор гуманитарных проектов), **О. В. Кочетков**
(референт главного редактора), **В. В. Королёва** (художник), **А. И. Кузовкин, Т. С. Лаптева, С. И. Патрикеев, И. Е. Ракша** (шеф-редактор аналитических проектов),
М. М. Сигал, Т. А. Форисенкова
(редактор-библиограф)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕДАКЦИИ

В. Н. Ганичев — председатель Союза писателей России
Ю. В. Козлов — главный редактор журнала «Роман-газета»
В. Н. Крупин — писатель
С. Ю. Куняев — главный редактор журнала «Наш современник»
В. В. Личутин — писатель
А. Б. Мазуров — ректор Московского государственного областного
социально-гуманитарного института
Н. В. Маркелова — председатель Комитета по культуре
городского округа Коломна
В. И. Шувалов — руководитель администрации
городского округа Коломна
С. М. Харламов — народный художник России
Е. Ю. Юшин — секретарь Союза писателей России

В оформлении обложки использован фотоэтиюд Юрия Колесникова.
Городская хроника, опубликованная в альманахе, представлена редакциями
газет «Коломенская правда» и «Вопрос — Ответ».

На стр. 2 помещены награды альманаха — медаль имени И. А. Ильина
и медаль И. И. Лажечникова.

Художники **Е. С. Гринин, В. В. Королёва**
Компьютерная вёрстка **М. А. Князькова**
Корректоры **В. В. Ушакова, Л. А. Вагина**

140402, Московская область, г. Коломна, ул. Кирова, д. 163. Тел. (8-496) 618-70-71;
e-mail: melnikov-vs@yandex.ru

Электронная версия альманаха: www.kolomna.biblio.narod.ru

Подписано в печать 25.03.15. Формат 70x100/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Усл.-печ. л. 30,5. Тираж 1000 экз. Заказ 133.

Издательство «Инлайт». Московская область, г. Коломна, ул. Левшина, д. 19.

Тел. (8496) 616-36-64. Факс (8496) 612-70-28

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография»

140400, Московская обл., г. Коломна, ул. III Интернационала, д. 2а